РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА



Борис Шергин

СЕВЕРНОЕ СЕРДЦЕ

«АЗБУКА»

Северное сердце
Борис Шергин

Аннотация
Борис Викторович Шергин. Северное сердце
Запечатленная слава
Отцово знанье
  Двинская земля
  Детство в Архангельске
  Миша Ласкин
  Мурманские зуйки
  Рождение корабля
  Новоземельское знание
  Новая Земля
  Для увеселенья. Рассказ отца
  Поклон сына отцу
Изящные мастера
  Лебяжья река
  Дождь
  Устюжского мещанина. Василия Феоктистова Вопиящина. Краткое жизнеописание
  Пафнутий Анкудинов
  Марья Дмитриевна. Кривополенова
  Соломонида Золотоволосая
  Виктор-горожанин

Пословицы в рассказах
Собирай по ягодке – наберешь кузовок
Плотник думает топором
«Акуля, что шьешь не оттуля?»
Шей да пори, не будет пустой поры
Длинная нитка – ленивая швея
Коня в гости зовут не меду пить,. А воду возить
Одно дело делаешь, другого не порть
Дуня-тонкопряха
Сказка скоро говорится,. Дело мешкотно творится
У архангельского города
Егор увеселялся морем
Ваня Датский
Мимолетное виденье
Митина любовь
Рассказ Соломониды Ивановны
Старые старухи
Аниса
Володька Добрынин
Ходили в Лявлю
Государи-кормщики
Рассказы о кормщике Маркеле Ушакове
Мастер Молчан
Рядниковы рукавицы

Кошелек
Ворон
Художество
Ничтожный срок
Видение
Ушаков и Фома Кыркалов
Достояние вдов
Долг
Понятие об учтивости
Маркел Ушаков и Василий Кекин
Треух
Вера в ложке
Пиво
Диковинный вопрос
Ушаков и архиерей
Гости у Маркела
Торговец
Сила незлобивости
Деликатность
Ушаков и Яков Койденский
Кондратий Тарара
Маркел Ушаков говаривал
О кормщике. Устьяне Бородатом
Чудские боги
Слово кормщика
Русское слово

Устьян и купец
Устьян и олени
Рассказы про старого кормщика Ивана Рядника
Диковинный кормщик
Вопрос и ответ
Павлик Ряб
Рядник и тиун
Иван Рядник говаривал
Рядник на Кедах
Соль
Иван Порядник
Последнее слово
Северные мореходцы
Нудьюжская лодья
О морских чертежах
Тонус жизни
Тяга в море
Премудрый старик
Нравы поморов
Дар-вознаграждение
Дружинник Гурей
Беседа
Матвей Шеломенский
Нравы мореходцев
Кораблестроитель Амосов

Морской устав живущий
Корабельные вожи
Стихосложный грумант
Грумаланский песенник
Круговая помощь
Грумант-медведь
Общая казна
Болезнь
По уставу
Из рукописи «Сия книга – знание» Ивана Дмитриева
«Устьянский правильник»
О хмелю
Древние памяти
Прение Живота и Смерти
Любовь сильнее смерти
Гнев
Гость с Двины
София Новгородская
Феодорит Кольский
Ингвар
Были
Кроткая вода
В относе морском
Матвеева радость
Золотая сюрприза

Офонина бабушка
Жители Новой Земли. (Фома Вылка)
Сказы
Слово о Москве
Слово о Ломоносове
Пинежский Пушкин
Пушкин архангелогородский
Сказки
Шиш Московский
Присказка
Родилось чадушко старше бабушки
Наш пострел везде поспел
Доход не живет без хлопот
Это вам не мука, а от Шиша наука
Пожила барыня на свете,. посмешила добрых людей
На весь мир и солнышку не угреть
Догадка не хуже разума
Голь на выдумки хитра
Шиш пошел черных кобелей. Набело перемывать
Дал шишу потачку,. Дак и сам от него на карачках
Пошло дело на лад, и царь ему не рад
Глупому Авдею наколотили шею
Приехал надзиратель не зван,. Уезжай не

дран

Какову чашу старичок другим наливал,. Таково и сам выпил

Про барскую совесть. Можно сказать повесть

Кто смел, тот и съел,. Кто проворен, тот доволен

Шишовы напасти

Куричья слепота

Шиш и трактирщица

Шиш приходит учиться

Летняя сказка про Шиша,. как он в рифмы играл

Праздник Окатка

Бочка

Шти

Тили-тили

Шиш пошучивает у царя

Шиш показывает барину нужду

Шиш-сказочник

Золоченые лбы

Судное дело Ерша с Лещом

Дивный гудочек

Пойга и Лиса

Волшебное кольцо

Мартынко

Данило и Ненила

Пронька Грезной
Варвара Ивановна
Кобыла. Северная сказка
Куроптев
Умная Дуня
Дураково поле
I. Иван Тетеря
Иван Тетеря на свадьбе у брата
Тетерина Улита
Акуля Тетери не лучше
Акулино хозяйство
Лиса-плачея, или Низвержение долу
II. Как внук ходил умных искать
III. Ховря
Щедрая вдова
Зеркальце
Алтын Золотое Слово. (По рукописи xvi века)
Лиса-исповедница
Лопарская детская сказка
Архангельская присказка
Поморские старины
О Сухмане Непровиче
Емшан-трава
Об Авдотье Рязаночке
Об Иване Грозном. И его сыне Федоре
Старина о госте норвежине

Старина о Запаве Путятишне. и Соловье Будимировиче
Братанна
Старина. О Соловецком разорении
Илья Муромец
Исцеление Ильи Муромца
Чищенина
Богатырский конь
Снаряженье Ильи
Поход Ильи Муромца. на Чернигов
Соловей-разбойник
Илья Муромец и Святогор
Калин-царь
Ссора Ильи Муромца. с князем Владимиром
Илья и Идолище
Три дороги
Три богатыря
Послесловие
Сказы о вождях
Предисловие
Сказы о вождях
I
II. Сталин
III. Маркс – Ленин – Сталин
О Марксе
Ленин

Сталин
Корабли поднебесные
Чкалов и Родина. (Северный сказ)
Незабытная память
Сказ о Ворошилове. и Буденном
Слово о Горьком
Две сказки
I. Провиант
II. Сказка о красноармейце куроптеве
Сборник старин у архангельского города, у корабельного пристанища
Предисловие
Зачинается слово. от седого Океана…. от Архангельских песенных рек
Мать, дочь. И сыновья-разбойники
Мать и сыновья-капитаны
Князь, кнегиня и старицы
Василий и Снафида
Мати кнезя Михаила. его кнегину погубила
Князь роман и княгиня. Марья Юрьевна
Из первых публикаций
Архангельской город
С полудня из Русской земли
Увы, увы, люто, люто живым
Корабельная пристань Российской державы
Архангельской город

А от полунощного океана на летний полдень развеличилось Белое море

Ныне солнце, красуяся, на высоту восходит. И, радуяся, землю согревает

Обильна страна та

Съезжие праздники годовые

Тут у Вознесенья обычай

Да по Петрове дни

Время наряду и час красоте

Мурманский промысел тресковый

Как зима придет

О звезды, небесам красота

Слушайте дело дивно и несказанно

Зимою в городе,

О воде великой и кроткой

Маниха

Сувой

Творю память. Великому Новгороду

Боги

Спас Ярое око

Никола Морской

Святая Пятница

Егорий Хоробрый

Из «Истории о зачале. Выговской пустыни»

Из недавнего прошлого

По вере

Велик день
Рожество твое
Из «Златоструя»
I
II
Отходящая красота. (Письмо из Москвы)
Пафнутий Осипович Анкудинов
Наталья Петровна Бугаева
Алексей Человек Божий
Из воспоминаний. О Марье Дмитриевне. Кривополеновой
Слово устное и слово письменное
Слово устное и слово письменное. Беседные очерки
«Народные русские сказки»
Слушать речь народную
Словарь поморских и специальных слов и выражений, объяснение собственных имен и названий
Юрий Коваль. Веселье сердечное
Вкладка

Аннотация

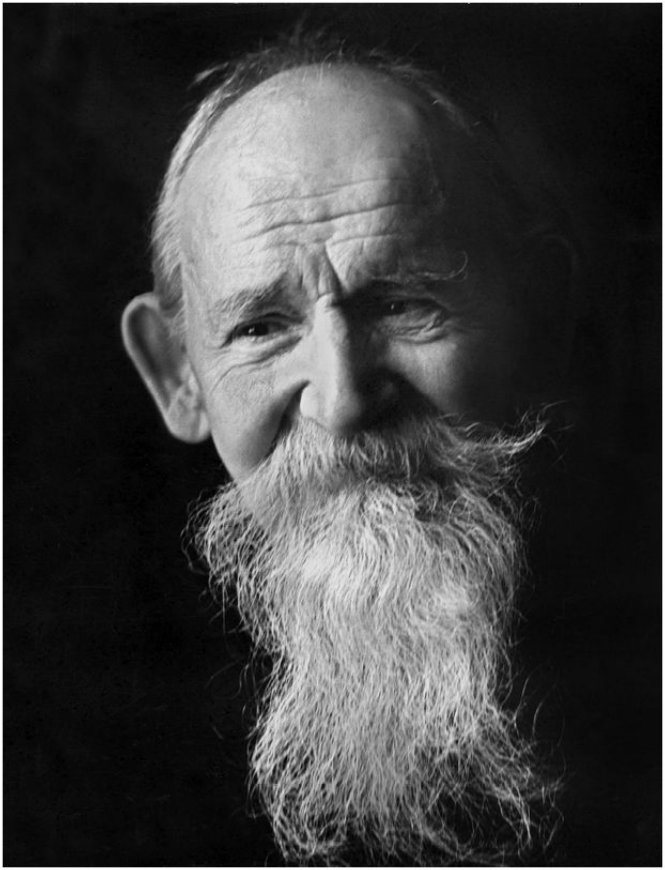
Борис Шергин (1893–1973) – выдающийся русский сказочник, фольклорист и художник, «архангельский Бажов», удивительный мастер языка, плоть от плоти народного творчества Русского Севера. Считавший себя в первую очередь «сказителем», Шергин прославился обработками древних сказок и былин, уникально поэтичными историями о поморах и северных мореходах, о «морском служении» и суровой северной красоте. С непревзойденной точностью и любовью Шергин воссоздает атмосферу, быт и диалектные особенности родного края.
Поражает и творческий диапазон мастера, отраженный в «Северном сердце» во всей полноте: от торжественно-печальных «старин» – к сочному языку гротескной авантюры и тонкому психологизму «старомещанской» романтики. И даже те, кто еще не читал этих былей и сказов, историй об изящных мастерах, государях-кормщиках, сыновьях-разбойниках и лисе-исповеднице, наверняка знают с детства мультфильмы «Золоченые

лбы» и «Волшебное кольцо», «Ваня Датский», «Про Ерша Ершовича» и многие другие, поставленные по сказкам Шергина, озвученные такими актерами, как Олег Табаков и Евгений Леонов, Леонид Куравлев и Лев Дуров, на музыку таких композиторов, как Эдуард Артемьев, Владимир Мартынов, Владимир Дашкевич… Так же мастерски, как словом, Шергин владел и кистью, виртуозно сочетая приемы северного модерна и народные мотивы Поморья. «Северное сердце» включает представительную подборку его иллюстраций, графики и набросков.

Борис Викторович Шергин
Северное сердце

© Б. В. Шергин (наследник), 2025
© Ю. И. Коваль (наследники), послесловие, иллюстрации, 2025
© М. Ю. Шульман, состав, 2025
© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®

* * *



Запечатленная слава[1]

Поморское сказание о Софии Новгородской начинается так: «По слову Великого Новгорода, шли промышленные лодьи во все концы Студеного Моря-Океана. Лодьи Гостева сына Ивана ушли дальше всех. Иван оследил нехоженый берег. Тут поставил крест, избу и амбар. Тут, кряду, и ход урочный морской…»

Устное слово и письменная память Севера свидетельствуют, что уже в XII–XV веках русские люди своим умом-разумом строили суда «сообразно натуре Моря Ледовитого». На этих судах из Белого моря ходили на Новую Землю, на Грумант, в Скандинавию. Уже в XIII веке по берегам и островам Северного Ледовитого океана стояли русские опознавательные знаки — исполинские

---

[1] Notes: 1

Данный очерк, публикуемый здесь как вступление, впервые напечатан как послесловие к сборнику Шергина «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959) и переиздан как предисловие к его сборнику «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967). Здесь и далее в подобных сносках — основой для которых послужил биобиблиографический указатель «Борис Викторович Шергин», составленный В. Смирновой и Л. Каршиной под редакцией Е. Галимовой и опубликованный в 2006 г. Архангельской областной научной библиотекой имени Н. А. Добролюбова, — учитываются, за редкими исключениями, только прижизненные издания. *–Примеч. ред.*

осьмиконечные кресты. Поперечины креста астрономически верно указывали направление стран света.

Новгородцы и дети их, архангельские поморы, науку мореплавания называли «морское знание», а судостроение обозначали словом «художество».

Еще во времена стародавние северорусские мореходцы стали закреплять свой опыт письменно. Надобно думать, уже в XVI столетии, если не раньше, распространялись среди архангельских поморов эти «уставы морские», «морские указы», «морские урядники» и «книги морского ходу». Это была литература стихийно-народная, самобытно-русская. С глубоким прискорбием надобно отметить, что невнимание, равнодушие, пренебрежение, при содействии всеистребляющего времени, сделали то, что от морской старинной литературы остались одни фрагменты и отдельные устные свидетельства. То, что рассыпано вороха́ми, приходится собирать кроха́ми.

В этих «морских уставцах», «указцах» обсказаны корабельные маршруты из Белого моря во все концы Студеного Океана — на запад, в Скандинавию, и «во Восток», к Новой Земле и Печоре.

Практическая часть этих манускриптов вполне соответствует печатным лоциям нашего вре-

мени.

Древнесеверная рукописная лоция не только зрительно преподносит береговые, попутные приметы, но буквально ощупывает дно морское, с подводными коргами, поливными лудами, ярами.

Старорусские лоции составлялись многоопытными людьми, которые «своими боками обтерли» описанные пути.

Путеводительную часть старопоморской лоции сопровождали иногда «особные статьи» о природе ветров, о распорядке приливо-отливных течений, весьма сложных в Белом море, о том, как предугадать погоду по цвету морской воды, по оттенку неба, по движению и по форме облаков. Эти статьи дополняет «Пловущий ледяной указ», или «Устав о разводьях и разделах како суды ходити и кормщику казати». Здесь говорится о том, что опытный кормщик знает суточное время прохода меж льдов. Ибо судоходные разводья во льдах регулярны, поскольку регулярна череда суточных морских приливов и отливов.

Архангельские поморы досконально изучили «мудреный обычай» своего моря. Вот записанные Н. И. Рождественской слова мезенского крестьянина Малыгина:

«В нашей местности (Койденский берег) разное течение воды у прилива и отлива. Три часа идет в нашу сторону, на полунощник (северо-восток). Потом три часа идет в шелоник (юго-запад). Так ходит и прибылая и убылая вода. От берега в голомя, на Моржовец вода компасит: два часа идет под полунощник, потом под всток идет три часа, потом под юг около трех часов, потом под запад идет четыре часа.

Опытно знаем, по компасу сверено…

Хождение воды в ту или другую стороны, на убыль или на прибыль, и у Кедовского берега бывает не круто и не тихо. В послонке вода идет кротко, а у Воронова Носа прилив и отлив ходит яро — волну разводит».

Подобное описание пульсации морских течений содержат и письменные памятники.

Другим видом северной народной литературы является письменное закрепление морских правовых обычаев. На основе уставных правил, корни которых уходят во времена новгородские, регламентируются не только практически-деловые, но и нравственно-моральные отношения мореходцев-промышленников и друг к другу, и к обществу.

Эту древнюю юриспруденцию содержит,

например, «Морской устав новоземельских промышленников».

Выдержки из другого подобного сборника, именуемого «Устьянский Пра́вильник», напечатаны в этой книге.

В рукописном сборнике XVIII столетия, вслед за статьями Никодима Сийского «О разноличных художествах», вписаны рассказы о кормщиках Иване Порядчике (Ряднике) и Маркеле Ушакове. Это как бы особый вид бытовой литературы Севера — своеобразная морская антология.

Церковный раскол, возникший в России во второй половине XVII века, был в значительной мере формой народного протеста против «сильных мира сего», против царского правительства. Вспомним сочувствие «староверия» Степану Разину и Емельяну Пугачеву.

На Севере в XVIII веке, в эпоху морального подчинения Западу, раскол носит черты своеобразного патриотизма.

В противовес мнению высшего общества, будто «русские всегда были во всем невежды», поморские писатели того времени прямо или косвенно старались напомнить о том, что у русского народа есть славное историческое прошлое.

Архангельские поморы-корабельщики, памя-

туя былую славу, обижались на Петра Первого за его увлеченье голландцами и немцами.

Современник Петра поморский деятель Андрей Денисов, сказывая поздравление выгорецкому судостроителю Венедикту, говорил:

«Полунощное море, от зачала мира безвестное и человеку непостижное, отцев наших отцы мужественно постигают и мрачность леденовидных стран светло изъясняют.

Чтобы то многоснискательное морское научение и многоиспытное умение не безпамятно явилось, оное сами те мореходцы художно в чертеж полагают и сказательным писанием укрепляют»[2].

По поводу указа Петра Первого, повелевающего строить суда исключительно по голландскому образцу, архангельский мореходец Федор Вешняков в своей «Книге морского ходу» рассуждает: «Идущие к Архангельскому Городу иноземные суда весною уклоняются от встреч со льдами и стоят по месяцу и по два в Еконской губе[3] до

---

[2] Notes: 2

Из поморской рукописи XVIII века, содержащей «примеры для поздравительных случаев». Цитата взята из слова, озаглавленного: «Андрея Денисьевича. Сию речь сказывал Венедихту у лодейного спуску... В лето 1714 г.» *–Здесь и далее примеч. авт., если не оговорено иное.*

[3] Notes: 3

Становище Еконга в восточной части Мурманского берега.

совершенного освобождения Гирла[4] от льдов. Пристрастная нерассудительность поставляет нам сии суда в непрекословный образец… Но грубой кольской лодье и нестудированной раньшине некогда глядеть на сей стоячий артикул. Хотя дорога груба и торосовата, но, когда то за обычай, то и весьма сносно… Чаятельно тот новоманерный вид судов определен на воинский поход и превосходителен в морских баталиях. Но выстройка промышленного судна, в рассуждении шкелета или ребер, хребтины или киля, образована натурой моря ледовитого и сродством с берегом отмелым».

В конце концов царский указ оказался бессильным перед… натурой моря ледовитого. Постройка лодей продолжалась до конца XIX столетия.

Поморяне это говорили не к тому, чтобы спорить да вздорить, но к тому, чтобы не обидно было жизнь строить.

Раскольник Ушаков и гонитель раскола холмогорский архиепископ Афанасий забывали распрю о вере, коль скоро дело касалось любезного им мореходства или судостроения.

Афанасий яростно не любил староверов; во

---

[4] Notes: 4
Горло Белого моря.

времена знаменитого диспута о вере в Москве, в Грановитой палате в 1673 году, Афанасий Холмогорский, как гласит протокол, «слупил с божественного старца Никиты портки и рясу». В свою очередь божественный старец выдрал у архиепископа полбороды.

Тем не менее, узнав о смерти Маркела Ушакова, Афанасий выразился так:

«Сей муж российскому мореходству был рожденный сын, а не наемный работник».

Холмогорский архиепископ Афанасий (годы его жизни — 1640–1702) принадлежит к числу старинных русских самобытных картографов.

Морские карты, или, как их называли в старину, «морские чертежи», были интереснейшей отраслью древнерусского «морского знания».

Еще на заре XV века новгородец Иван Амосов «по силе счислил и сметил» свои морские походы и начертил «Обод», то есть контур, Белого моря.

К середине XVI века соловецкий монах Филипп Колычев «многу ревность имый, еже в чертеж сложити путь морской… Но и от мореходцев неутомленно истязаше о ходех корабельных… И те мореходцы ему свои походы сметывают. И он, Филипп, ту смету счисливал в чертеж».

В начале Первой мировой войны в Соловецке

автор этих строк калькировал «чертеж морской», по местному преданию сделанный рукой Филиппа Колычева. В монастыре имелись архитектурные чертежи, план системы каналов, подписанные автором, игуменом Филиппом.

По свидетельству И. М. Сибирцева[5], почерк архитектурных и ирригационных чертежей совершенно тождествен с почерком пояснений к «морскому чертежу».

В XVIII веке художественными и тщательными «переводами» (копиями) с древних морских чертежей (преимущественно соловецкого происхождения) славилось Выгорецкое общежительство[6]. Ф. Вешняков замечает: «Надлежит смотреть, чтобы девки (мастерицы) не пестрили полуночного круга корунами и лицами». То есть не украшали белых мест на карте орнаментальной живописью. Вешняков заботится об этом на тот случай, что заказчик может нанести на «белые» места опыт своего путеплавания.

…Возникает недоумение: где же был ум «великого преобразователя России» Петра, ежели

---

[5] Notes: 5

И. М. Сибирцев — учредитель епархиального древлехранилища в Архангельске, член-корреспондент Академии наук.

[6] Notes: 6

Поморские скиты на реке Выг, впадающей в Белое море.

он из-за чужих деревьев своего русского лесу не видел?

Недоумение наше малое и худое. Петр был человек страстный и пристрастный. Пристрастие его к голландскому «штилю» покрывает страстная и плодотворная его деятельность. Деятельная натура Петра Первого была сродни натуре архангельских поморов. Вот почему так любил Петра «старовер» Маркел Ушаков и таким рьяным сторонником петровских реформ был не любивший иноземцев холмогорский архиерей Афанасий.

Ум архангельского помора никогда не был косным и неподвижным. Автор «Малого Виноградца» характеризует «судостроительное художество» Ушакова так:

«Ушаково мастерство Маркелово было рассудительно и с любопытством, а не только по старым извычаям. Ушаковские суда заморские[7] обдуманы по чертежу…

…Ушаков был ученик нехудых учителей и не хотел уважить иноземным кораблям. Однако их рассматривал испытно, чая пользы своему любезному художеству».

Петр жаловался: «Я один тащу воз в гору, а мил-

---

[7] Notes: 7
То есть предназначенные к дальнему плаванию, за границу.

лионы под гору».

Не Маркелы Ушаковы и не Федоры Вешняковы тащили воз под гору. Дело Петрово исказили господа, залакированные под Европу, не помнящие родства, но задававшие тон.

Во второй половине XVIII века заявлять о том, что у русских существует своя морская культура, уже считалось конфузным.

Федор Вешняков приводит такой факт: «У допросу от коммерц-конторы: куда которые суда ходили, я и похвалился своеручным чертежом. Да и ушаковский объявил, Новоземельской. Господин Присутственный смолчал, а конторские опосле говорят: „Для приезду господина члена ты бы постыдился карбасное-то художество казать. Соблюдал бы в сундуке“».

Упрятанная в сундуке древняя и оригинальная картография русских поморов была забыта.

Самый стиль, самая внешность древних «морских чертежей» оскорбляли вкус помпадуров XVIII века. Все, что было сделано в русском народном стиле, определялось выражением: «в подлом вкусе».

Вот почему первым картографом побережий Северного Ледовитого океана стали считать голландца Ван Клейна. Между тем Ван Клейн издал

свой атлас только около 1600 года и пользовался для своей работы поморскими чертежами. Там, где у Ван Клейна не хватало русских данных, чертеж его фантастичен.

В конце XVIII века в Петербурге предпринято было печатание карты Русского Севера. «Образованные» петербургские картографы рабски скопировали неверную голландскую карту. Тупоумие дошло до того, что даже искажения русских названий целиком перенесены были на «русскую» карту. Вместо «Канин Нос» на «русской» карте XVIII века напечатано «Кандинес», вместо «Святой Нос» — «Свети Нес» и т. п.

Пренебрежение к многовековому опыту поморов было так велико, что «русский» генерал Ф. Литке (XIX век) предпочел блуждать у Новой Земли в поисках Маточкина пролива, нежели «оконфузить себя услугами мужиков», то есть поморов, досконально знавших Новую Землю.

В конце концов в сознании русского общества исчезло всякое представление о том, что на Севере существовала большая морская культура.

Ведь мало ли в матушке-России всяких промыслов? В Кимрах шьют сапоги, в Вязьме пекут пряники, инде лепят горшки, плетут лапти, ткут рогожи. А поморы ловят рыбу. Что тут удивитель-

ного или особенного?

Древние документы, письменные свидетельства о северном мореходстве исчезали, терялись, утрачивались, оставались в безвестности, потому что люди науки не спрашивали о них, не искали, не собирали их.

Старинные виды морской литературы уничтожались забвением и временем. Но сохранилась у помора как бы врожденная потребность или привычка записывать события, хотя бы личной жизни, которые казались достопамятными. Отсюда характерное для Севера явление: каждый «архангельский мужик» непременно носит с собой записную книжку.

Во второй половине прошлого (XIX) столетия в Архангельске жил некто Шмидт. Дворовые постройки своего дома он превратил в своеобразный музей. Здесь сохранялись своеобразные «памяти», оставленные погибшими где-нибудь «на голодном острове» или «в относе морском» промышленниками.

Перед лицом неизбежной смерти промышленник вырезал ножом на бортовине судна или на дверях, на столешнице промысловой избы сведения о себе, о погибших товарищах. Здесь и деловитое завещание о долгах, «кому что дать и с

кого что взять», здесь и отцовское благословение, и «последнее прости» жене.

Даты памятных досок доходили до середины XIX столетия.

В 1862 году мещанин посада Неноксы Афанасий Тячкин описывал историю гибели своего карбаса в обстановке, довольно неподходящей для литературной работы…Лихая непогода уже несколько дней носит по Белому морю опрокинутый вверх дном карбас. Бóльшая часть людей утонула. Мещанин Тячкин, уцепясь ногами за киль, то погружаясь в ледяную воду, то всплывая, выцарапывает шилом на днище карбаса обстоятельное донесение о причинах гибели груза и людей. Конечно, при более человеческих обстоятельствах поморы пользовались пером и бумагой.

Всем, кто бывал на Западном Мурмане, напомню высеченную на большом камне малого островка изящную узорную надпись:

«Горевал Гришка Дудин. 1696 год».

Лодья Дудина отстаивалась здесь от шторма, и Дудин украсил пустынную морскую скалу изящной резьбой.

В Эрмитаже хранится кубок старинной холмогорской работы, вырезанный из мамонтовой кости. Резьба производит впечатление тончай-

шего кружева. По венцу кубка идет надпись: «На посмотрение будущим родам».

Эта любовь к достопамятности, это стремление увековечить явления живой жизни в большой мере свойственны были людям Севера. Не потому ли Северный край так долго являлся единственным хранителем русского национального эпоса?

Здесь приходится погоревать и позавидовать вот о чем: на Север с половины прошлого столетия стали приезжать специалисты по собиранию былин, специалисты по собиранию сказок и песен, специалисты по народному прикладному искусству.

В 1920-х годах Север объезжали командированные Институтом материальной культуры специалисты по собиранию и описанию оловянной посуды: кроме оловянных ложек и плошек, они не глядели ни на что!

Но, увы, никогда-никогда на Север не приезжали люди, которые настойчиво, целеустремленно спрашивали бы, искали бы, собирали бы специально морскую письменность.

Никто никогда не внушал поморам, что все «морские уставцы», «урядники», «лоции» важны для науки и имеют историческое значение. Никто специально не записывал и устных преда-

ний, устных рассказов о славных мореходцах, об именитых судостроителях.

А ведь жизнь не стоит на месте. Забывается не только все ветхое и бесполезное, но и то, что интересно для истории, для живой науки.

Я говорил о старинных видах северной морской литературы, об уставах, урядниках, указцах, лоциях, сказаниях и т. п.

Может быть, позднейшим видом морской народной литературы Севера можно считать записные книжки поморов. Даже в начале века XX любой кормщик-шкипер, мурманский промышленник, корабельный мастер, пароходский служащий непременно имел при себе записную книгу, достаточно объемистую. Сюда заносились сведения, например, о вскрытии Северной Двины. Тут тщетные арифметические выкладки с целью сообразить, почему при расчете с хозяином он не только ничего не получил, а еще остался должен «три рубли».

В записных книжках, например, восьмидесятых годов общедоступность и дешевизна постройки деревянного парусного судна сравнивается с неприступною дороговизною постройки парохода.

Нередки в этих книжках описания штор-

мов или «любознательных случаев», «морских встреч». Нередки записи преданий, связанных с тем или другим местом попутного берега.

У какого-нибудь старого мореходца таких записных книжек накоплялось немало. После его смерти они выносились на чердак или поступали в распоряжение ребят, которые заполняли своими каракулями свободные места.

Здесь было упомянуто, что историческая наука морской историей Севера специально не занималась, а наука географическая упоминала о северном мореходстве и судостроении вскользь, наряду с бесчисленными «местными» кустарными промыслами деревенской России. Но все же в силу какой-то интуиции в среде «морского сословия» «свеча не угасла». Сознание, что «морское преданье и морское писанье» для чего-то важны и кому-то нужны, теплилось в среде беломорских мещан и крестьян. В начале XX столетия в Архангельске еще немало было «домов», или семейств, хранивших память о славных мореходцах и судостроителях. Были в среде моряков, пароходских служащих, в среде судостроителей отдельные лица, любители морской старины, собиратели морских преданий.

Я, пишущий эти строки, родился в Архан-

гельске, в семье «корабельного мастера первой статьи», и половину жизни провел в среде людей, прилежащих мореходству и судостроению.

Отец мой принадлежал к типу тех поморов, которые никогда не расставались с записной книжкой. Виденное и пережитое, слышанное и читанное отец умел пересказать так, что оно навсегда осталось в памяти у нас, его детей.

Отменной памятью, «морским знаньем» и уменьем рассказывать отличались и друзья отца, архангельские моряки и судостроители М. О. Лоушкин, П. О. Анкудинов, К. И. Второушин (по прозванию Тектон), В. И. Гостев.

Кроме того, что каждый из поименованных имел многолетний мореходный опыт, каждому из них сословие наше приписывало особый талант.

Пафнутия Анкудинова и в морских походах, и на звериных промыслах знали как прекрасного сказочника и певца былин. Умел он также петь по-древнему, по древним «крюковым», знаменным книгам[8].

Виктор Шергин мастерски изготовлял модели морских судов. Был любитель механики. Любовь

---

[8] Notes: 8
Нотная система, бывшая в общем употреблении на Руси до XVIII века.

к слову сочеталась с любовью к художеству. Двери, ставни, столы, крышки сундуков в нашем доме расписаны его рукой. В живописи своей отец варьировал одну и ту же тему: корабли, обуреваемые морским волнением.

Корабельный мастер Василий Гостев сохранял в искусстве своем лучшие традиции северного судостроения. Конон Тектон говорил о Гостеве: «Я в его меру не дошел». Знание Василия Гостева творчески унаследовал сын его. Этот Гостев-сын является в наши дни видным представителем деревянного судостроения.

В противоположность собратии своей, жившей интересами и бытом своего морского сословия, Максим Осипович Лоушкин был, так сказать, человеком светским. Имел чин «капитан дальнего плавания». Картинные рассказы Лоушкина о жарких странах больше всего интересовали его слушателей. Свое, северное, казалось нам будничным. Даже наезжавшие в Архангельск писатели требовали от Лоушкина рассказов о кругосветном плавании. С просьбой рассказать что-нибудь в этом роде обратился к Лоушкину и Новиков-Прибой.

— Когда я был в Марсели… — начал Лоушкин.

— Я тоже был в Марселе, — перебил его Нови-

ков-Прибой.

— А были, дак вы и сказывайте, — отрезал Максим Осипович и замолчал.

В настоящей книге приведено несколько моих пересказов слышанного в свое время от Максима Осиповича Лоушкина о старинных северных мореходцах. К морской старине Лоушкин относился с большим интересом — чувствовал, что познания его в этой области важны и нужны.

У Лоушкина были своеручные чертежи путеплаваний его по Ледовитому океану. Интересовался М. Лоушкин и старинными картографами. По поручению Лоушкина автор этих строк незадолго до Первой мировой войны делал копии с Соловецких морских чертежей.

Уже в годы Гражданской войны я брал у М. О. Лоушкина для прочтения и переписки «Устьянский Правильник», выдержки из которого приводятся ниже.

В 1890-х годах М. О. Лоушкин был капитаном морского судна, с которого архангельский губернатор Энгельгардт обозревал берега подведомственной ему губернии.

Увидев, что губернатор ведет путевые записки, капитан Лоушкин возблагодарил Бога: «Наконец-то на жизненном пути встретился человек

не только влиятельный, связанный с Петербургом, но и ученый!» При всяком удобном случае дальновидный Максим Осипович начал внушать его превосходительству о древности северного мореходства.

Зимою Максим Осипович хвалился перед приятелями:

— Я себя не оконфузил. Энгельгардту неинтересно слушать о голых алипутах Африки. Он сам это видел. А вот встретили мы у Терского берега лодью, и я говорю: «Обратите внимание, ваше превосходительство, на этот тип судна. Это праотцы российского флота». И начну ему сказывать от книг, от старых, что помню.

— А он что, губернатор? — осведомляются слушатели.

— Он на ус мотает. Вот увидите, друзья, и наше сказанье попадет в писанье.

В 1896 году вышла книга Энгельгардта «Северный край», посвященная его путешествию по Северу. Упомянул ли автор вдохновенного помора Лоушкина, вспомнил ли его сказания? Вспомнил и упомянул в двух словах: «…наше судно вел М. Лоушкин, любитель поболтать».

— Знать, час наш не пробил, — вздохнули поморы.

Приблизительно в 1900 году в Архангельск пришла весть из Норвегии, что послы «Петербургского Комитета помощи поморам» обивают пороги у норвежских судостроителей. Просят сочинить проект промышленного парусного судна, по которому могли бы учиться русские судостроители-поморы.

Слухи оказались верными. Уполномоченный Комитета Брейтфус привез норвежские чертежи в Архангельск. На собрании поморы представили Брейтфусу ряд вопросов:

— Зачем было ходить на поклон к варягам? Разве на севере России нет своих опытных судостроителей?

— Заказывая иностранцам проект судна промыслового, имел ли Комитет понятие, что таковому судну не должно ни чуждаться льдов, ни бояться заходить в отмелый берег?

Эти принципиальные вопросы поставлены были плеядой М. Лоушкина, и они остались без ответа.

Зато Брейтфус говорил о том, что и «ваш великий земляк Ломоносов ездил учиться в Германию. И великий Петр учился кораблестроению у голландских мастеров».

— Вы, поморы, — говорил Брейтфус, — плаваете

по памяти, по дедушкиным приметам, а на Западе уже за сотню лет существует морская наука и морские книги…

Максим Лоушкин не стерпел, прервал оратора.

— Господин Брейтфус, — загремел старый помор, — а не будут ли наши морские книги постарше западных?!

С этими словами он выложил на стол древний рукописный «морской устав».

Брейтфус был приятно удивлен, но, очевидно, все еще не пришел час, чтобы петербургская наука обратила внимание на свидетельство поморов, опросила бы их и занялась собиранием древних поморских документов.

Через несколько лет, когда в Петербурге подготовлялись к печати лоции Мурманского моря, Белого моря, в Архангельск приезжал составитель лоций Арский (или его сотрудник). Секретарь губернского статистического комитета Голубцов с энтузиазмом отыскивал для них по городу поморские рукописные лоции.

Некоторый отзвук о том, как использовала комиссия Арского материал Голубцова, отзвук невнятный и односторонний, привелось мне услышать уже после революции там же, на родине, на выставке, посвященной культуре

Севера.

Среди пышно разрисованных книг выгорецкого письма XVIII века выделялись скромным своим видом «Книга морского ходу» Федора Вешнякова и «Лоция» Ивана Лодемского.

Из случайного разговора я узнал, что как раз из этих тетрадей были некогда сделаны выписки сотрудником Арского. Но в печатном издании первоисточники не названы.

Опять, значит, если «наше сказанье и попало в писанье», то без помину запечатлено, скрыто в литературном изложении.

К рукописной литературе Севера я никогда не подходил как историк-исследователь. Я не на том коне ехал. В юности выискивал в старой книге живой фабульный рассказ. Постепенно начал я замечать и ценить образность и оригинальность языка. В старых книгах замечал только картины живой жизни, старался увидеть живых людей.

В силу такого моего умонастроения любое северное предание, слышанное из живых уст, запечатлевается во мне ярче и сильнее, чем любой письменный документ.

Да и все мы, младшее поколение «морского сословия», любили больше устный пересказ, то есть предание, а не писание.

Но и учители наши, скажем Лоушкин и Анкудинов, хотя и верно передавали «вытверженное по тетрадям», но зачастую тетради эти были в их руках лет пятьдесят назад. И хотя Лоушкин сохранял в передаче, скажем, «Софии Новгородской» славянизмы, «абие», «бысть», «убо» и т. п., все же это было уже «устное предание».

Будучи таким же начетчиком, как Лоушкин, Анкудинов любой книжный текст излагал живой, искрометной северной речью. Рассказы Анкудинова о морской старине, взятые из морского писания, звучали совершенно так же, как его былины и сказки. Но дух истории, как старое вино, благоухал в рассказах Пафнутия Анкудинова.

В нашей семье рассказывали, что какие-то «одновытные чиновники», слушая Анкудинова, отозвались:

«Не знаем, богослов ты или баснослов. Кому такое нужно?»

Анкудинов отвечал словами былины:

Я сказываю нашему морю на утишенье,
Добрым людям на услышанье,
Пустоперым воронам на пограянье,
Лайчивым псам на подаянье.

Ярким представителем «морского сословия»

в следующем поколении, человеком, остро чувствовавшим богатство северной культуры, был известный мореходец-полярник Владимир Иванович Воронин. Деятельность его принадлежит советской эпохе, и в нашем поколении он, может быть, больше всех знал и живее всех умел передать унаследованное от отцов художественно-историческое слово.

Недалеко от Сумского посада, родины Воронина, находился Пертозерский скит, богатый рукописными книгами. Еще в молодые свои годы, собираясь писать историю родного берега, В. И. Воронин говорил:

— Соловецк, Пертозеро, Сорока — вот мои архивы.

Отцы наши поморы не дожили, не дождались того времени, когда русское имя вновь станет «честно и грозно от Запада оли до Востока».

Но отцы северного мореходства не завещали ли нам рассказать о них?

Если ты северному мореходству рожденный сын, а не наемный работник, засвидетельствуй свое сыновство, свою любовь к родине сказаньем и писаньем.

Если я рассказал мало и неполно или что, забве-

ньем, спутал, и ты, земляк мой, архангельский помор, исправь и дополни. Подкрепи свидетельством своим мою скудость.

Отцово знанье

Двинская земля[9]

Родную мою страну обходит с полуночи великое Студеное море.

В море до́лги и широки пути, и высоко под звездами ходит и не может стоять. Упадут на него ветры, как руки на струны, убелится море волнами, что снег.

Гремят голоса, как голоса многих труб, — голоса моря, поющие ужасно и сладко. А пошумев, замкнет свои тысячеголосые уста и глаже стекла изравнится.

Глубина океана — стра́шна, неми'рна, а будет столь светла, ажно и рыбы ходящие видно.

Полуночная наша страна широ́ка и ди'вна. С востока привержена морю Печора, с запада земли Кемь и Лопь, там реки рождают золотой жемчуг.

Ветер стонет, а вам — не печаль.

Вихри ревут, а вам — не забота. И не страх вам

---

[9] Notes: 9

Впервые опубликовано под названием «Моя родина» в журнале «Юный натуралист» в феврале 1934 г.; переработанный вариант «Двинская земля» включен в сборники «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947), «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957), «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. *–Примеч. ред.*

туманов белые саваны… Спокойно вам, дети постановных матерых берегов; беспечально вы ходите плотными дорогами.

А в нашей стране — вода начало и вода конец.

Воды рождают, и воды погребают.

Море поит и кормит… А с морем кто свестен? Не по земле ходим, но по глубине морской. И обща судьба всем.

Ростят себе отец с матерью сына — при жизни на потеху, при старости на замену, а сверстные принимаем его в совет и дружбу, живем с ним дума в думу.

А придет пора, и он в море путь себе замыслит велик.

…Парус отво́рят, якорь подымут, сходенки снимут… Только беленький платочек долго машется.

И дни побегут за днями, месяцы за месяцами. Прокатится красное лето, отойдут промысла. У людей суда одно по одному домой воротятся, а о желанном кораблике и слуха нет, и не знаем, где промышляет.

Встанет мрачная осень. Она никогда без бед не проходит. Ударит на море погода, и морская пучина ревет и грозит, зовет и рыдает. Начнет море кораблем, как мячом, играть, а в корабле

друг наш, ма́терина жизнь…

О, какая тьма нападет на них, тьма бездонная!

О, коль тяжко и горько, печали и тоски несказанной исполнено человеку водою конец принимать! Тот час многостонен и безутешен, там — увы, увы! — вопиют, и нет помогающего…

Придет зима и уйдет. Разольются вешние воды. А друга нашего все нету да нету. И не знаем, быть ему или не быть.

Мать — та мрет душою и телом, и мы глаз не сводим с морской широты.

А потом придет весть страшна и грозна:

— Одна бортовина с другою не осталась… А сына вашего, а вашего друга вода взяла.

Заплачет тут вся родня.

И бабы выйдут к морю и запоют, к камням припадаючи, к Студеному морю причитаючи:

Увы, увы, дитятко,

Поморской сын!

Ты был как кораблик белопарусной.

Как чаечка был белокрылая!

Как елиночка кудрявая.

Как вербочка весенняя!

Увы, увы, дитятко,

Поморской сын!
Белопарусной кораблик ушел за море,
Улетела чаица за синее.
И елиночка лежит порублена,
Весенняя вербушечка посечена.
Увы, увы, дитятко,
Поморской сын!

От Студеного океана на полдень развеличилось Белое море, наш светлый Гандвиг. В Белое море пала Архангельская Двина. Широка и державна, тихославная та река плывет с юга на полночь и под архангельской горой встречается с морем. Тут островами обильно: пески лежат и леса стоят. Где берег возвыше, там люди наставились хоромами. А кругом вода. Куда сдумал ехать, везде лодку, а то и кораблик надо.

В летнюю пору, когда солнце светит в полночь и в полдень, жить у моря светло и любо. На островах расцветают прекрасные цветы, веет тонкий и душистый ветерок, и как бы дымок серебристый реет над травами и лугами.

Приедем из города в карбасе. Кругом шиповник цветет, благоухает. Надышаться, наглядеться не можем. У воды на белых песках чайки ребят петь

учат, а взводеньком выполаскивает на песок раковицы-разиньки. Летят от цветка к цветку медуницы мотыльки. Осенью на островах малина и смородина, а где мох, там обилие ягод красных и синих. Морошку, бруснику, голубель, чернику собираем натодельными грабельками: руками — долго, — и корзинами носим в карбаса. Ягод столько — не упомнишь земли под собой. От ягод тундры как коврами кумачными покрыты.

Где лес, тут и комара, — в две руки не отмашешься.

Обильно всем наше двинское понизовье. На приглубистых, рыбных местах уточка плавает, гагара ревет, гусей, лебедей — как пены.

Холмогорский скот идет от деревень, мычит — как серебряные трубы трубят. И над водами и над островами хрустальное небо, беззакатное солнце!

Мимо деревень беспрестанно идут корабли: к морю одни, к городу другие. И к солнцу парусами — как лебедь.

Обильна Двинская страна! Богата рыбой и зверем, и скотом, и лесом умножена.

В летние месяцы, как время придет на полночь, солнце сядет на море, точно утка, а не закатится, только снимет с себя венец, и небо загорится

жемчужными облаками. И вся красота отобразится в водах.

Тогда ветры перестанут и вода задумается. Настанет в море великая тишина. А солнце, смежив на минуту глаза, снова пойдет своим путем, которым ходит беспрестанно, без перемены.

Этого светлого летнего времени любим и хотим, как праздника ждем. С конца апреля и лампы не надо. В солнечные ночи и спим мало. Говорим: «Умрем, дак выспимся», «Изо сна не шубу шить».

С августа белые ночи меркнут. Вечерами сидим с огнем.

От месяца сентября возьмутся с моря озябные ветры. Ходит дождь утром и вечером. В эти дни летят над городом, над островами гуси и лебеди, гагары и утки, всякая птица. Летят в полуденные края, где нет зимы, но всегда лето.

Тут охотники не спят и не едят. Отец, бывало, лодку птицы битой домой приплавит. Нищим птицей подавали.

По мелким островам и песчаным кошкам, что подле моря, набегают туманы. Белая мара морская стоит с ночи до полудня. Около тебя только по конец ружья видно; но в городе, за островами, туманов не живет.

Тогда звери находят норы, и рыба идет по ти-

хим губам.

Холодные ветры приходят из силы в силу. Не то что в море, а на реке на Двине такой разгуляется взводень, что карбаса с людьми пружит и суда морские у пристаней с якоря рвет.

Помню, на моих было глазах, такая у города погодушка расходилась, ажно пристани деревянные по островам разбросало и лесу от заводов многие тысячи бревен в море унесло.

Дальше заведется ветер-полуночник, он дождь переменит на снег. Так постоит немного, да пойдет снег велик и будет сеяться день и ночь. Если сразу приморозит, то и реки станут, и саням — путь. А упал снег на талую землю, тогда распута протяжная, по рекам тонколедица, между городом и деревнями сообщения нету. Только вести ходят, что там люди на льду обломились, а в другом месте коней обронили. Тоже и по вешнему льду коней роняют.

Так и зима придет. К ноябрю дни станут кратки и мрачны. Кто поздно встает — и дня не видит. В школах только на часок лампы гасят. В училище, бывало, утром бежишь — фонари на улицах горят, и домой в третьем часу дня ползешь — фонари зажигают.

В декабре крепко ударят морозы. Любили мы

это время — декабрь, январь, — время резвое и гульливое. Воздух — как хрусталь. В полдень займется в синеве небесной пылающая золотом, и розами, и изумрудами заря. И день простоит часа два. Дома, заборы, деревья в прозрачной синеве, как сахарные, — заиндевели, закуржéвели. Дух захватывает мороз-то. Дрова колоть ловко. Только тюкнешь топором — береги ноги: чурки, как сахар, летят.

На ночь звезды, что свечи, загорят. Большая Медведица — во все небо.

Слушайте, какое диво расскажу.

В замороз к полночи начнет в синем бархате небесном пояском серебряным продергивать с запада до востока, а с севера заподымается как бы утренняя заря. И вдруг все погаснет. Опять из-за моря протянутся пальцы долги без меры и заходят по небу. Да заря займется ужасная, как бы пожарная. И опять все потухнет, и звезды видать… Сиянье же обновится. Временем встанет как стена, по сторонам столбы, и столбы начнут падать, а стена поклонится. А то будто голубая река протечет, постоит да свернется, как свиток.

Бывало, спишь — услышишь собачий вой, откроешь глаза — по полу, по стенам бегают светлые тени. А за окнами небо и снег переливают

несказанными огнями.

Мама или отец будили нас, маленьких, яркие-то сполохи-сияния смотреть. Обидимся, если проспим, а соседские ребята хвалятся, что видели.

У зимы ноги долги, а и зиме приходит извод. В начале февраля еще морозы трещат, звенят. В марте на солнышке пригреет, сосули с крыш. В апреле обвеют двинское понизовье верховые теплые ветры. Загремят ручьи, опадут снега, ополнятся реки водою. Наступят большие воды — разливная весна.

В которые годы вешнее тепло вдруг, тогда Двина и младшие реки кряду оживут и располонятся ото льда. Мимо города идет лед стенами-торосами.

Великое дело у нас ледоход. Иной год после суровой зимы долго ждем не дождемся. Вскроется река, и жизнь закипит. Пароходы придут заграничные и от Вологды. Весело будет… Горожане — чуть свободно — на угор, на берег идут. Двина лежит еще скована, но лед посинел, вода проступила всюду… В школе — чуть перемена — сразу летим лед караулить. По дворам лодки заготовляют, конопатят, смолят. И вот топот по всему городу. Народ табунами на берег валит. Значит, река пошла. Гулянья по берегам откроются. Не до

ученья, не до работы. На городовых башнях все время выкидывают разноцветные флаги и шары; по ним горожане, как по книге, читают, каким устьем лед в море идет, где затор, где затопило.

Пригород Соломбала на низменных островах стоит, и редкий год их не топит. Улицы ямами вывертит, печи размокнут в низких домах. В городе как услышат — из пушек палят, так и знают, что Соломбала поплыла. Соломбальцы в ус не дуют, у них гулянье, гостьба откроется, ездят по улицам с гармонями, с песнями, с самоварами. А прежде — вечерами, с цветными фонарями и в масках.

Лед идет в море торосами, стенами. Между островов у моря льду горами наворотит, все льдом заложит, не видно деревень; на заводах снимает лес со штабелей. То одно, то другое устье запрет. Двине вздохнуть нéкак, выходу нет, она острова и топит. На этот случай дома в островных деревнях строили на высоких подклетях, крыльца и окна очень высоки. Около крайних домов бывали «обрубы» — бревенчатые городки: обороняют от больших весенних льдин.

Зимою наткут бабы полотен и белят на стлищах вокруг деревень. Как река шевелится, не спят ту ночь: моты, портна хватают. А проспят — все илом, песком занесет, а то и в море утянет.

Конец апреля льдина уйдет, а вода желтее теста, мутновата, потом и мутница и пенница сойдет, и река спадет, лето пойдет. Выглянет травка из-под отавы. В половине мая листок на березе с двугривенный. После первого грома ребята, бывало, ходят в лес, мастерят рябиновые флейты. По всему городу будет эта музыка. Велико еще весной удовольствие, когда Обводный канал со всеми канавами разольется. По улицам хоть в лодке поезжай. Тут ребята бродятся, один перед другим хвастают: у кого кораблик краше и лучше; пускают кораблики по бегучим каналам.

А летом везде дороги торны. От воды, от реки не отходим. Малыши в песке, в камешках, в раковинках разбираются, на отмелях полощутся, ребята постарше в лодках, карбасах меж кораблями, пристанями, меж островами живут.

Вода в море и в реках не стоит без перемены, но живет в сутках две воды — большая и малая, или «полая» и «кроткая». Эти две воды — дыханье моря. Человек дышит скоро и часто, а море велико: пока раз вздохнет, много часов пройдет. И когда начнет подниматься грудь морская, наполняя реки, мы говорим: «Вода прибывает».

И подымается лоно морское до заката солнечного. А наполнив реки, море как бы отдыхает;

мы скажем: «Вода задумалась». И, постояв, вода дрогнет и начнет кроте́ть, пойдет на убыль. Над водами прошумит слышно. Мы говорим: «Море вздохнуло».

Когда полая вода идет на малую, от встречи ходит волна «сувóй».

С полдня много дорог пришло в полу́ночный и светлый Архангельский город. Тем плотным дорогам у нашего города конец приходит, полагается начало морским беспредельным путям.

Город мой, родина моя, ты дверь, ты ворота в неведомые полярные страны. В Архангельск съезжаются, в Архангельске снаряжаются ученые испытывать и узнавать глубины и дали Северного океана. От архангельских пристаней беспрестанно отплывают корабли во все стороны света. На запад — в Норвегию, Швецию, Данию, Германию, Англию и Америку, на север — к Новой Земле, на Шпицберген, на Землю Иосифа. В наши дни народная власть распахнула ворота и на восток, указала Великий Северный путь. Власть Советов оснастила корабли на столь дальние плавания, о которых раньше только думали да гадали. Власть Советов пытливым оком посмотрела и твердой ногой ступила на такие берега, и земли, и острова, куда прежде чаица не

залетывала, палтус-рыба не захаживала.

Люблю про тех сказывать, кто с морем в любви и совете.

С малых лет повадимся по пароходам и отступиться не можем, кого море полюбит.

А не залюбит море, бьет человека да укачивает, тому не с жизнью же расстаться. Не все в одно лья'ло льются, не все моряки. Людно народу на лесопильных заводах работает, в доках, в мастерских, на судоремонтных заводах, в конторах пароходских. В наши дни Архангельск первый город Северной области. Дел не переделать, работ не переработать. Всем хватит.

Улицы в Архангельском городе широки, долги и прямы. На берегу и у торгового звена много каменного строенья, а по улицам и по концам город весь бревенчатый. У нас не любят жить в камне. В сосновом доме воздух легкий и вольный. Строят в два этажа, с вышками, в три, в пять, в семь, в девять окон по фасаду. Дома еще недавно пестро расписывали красками: зеленью, ультрамарином, белилами.

Многие улицы вымощены бревнами, а возле домов обегают по всему городу из конца в конец тесовые широкие мостки для пешей ходьбы. По этим мосточкам век бы бегал. Старым ногам

спокойно, молодым — весело и резво. Шаг по асфальту и камню отдается в нашем теле, а ступанье по доскам расходится по дереву, оттого никогда не устают ноги по деревянным нашим мосточкам.

Середи города над водами еще недавно стояли угрюмые башни древних гостиных дворов, немецкого и русского. Сюда встарь выгружали заморские «гости» — купцы — свои товары. Потом здесь была портовая таможня. Отсюда к морю берег густо зарос шиповником; когда он цветет, на набережных пахнет розами. Набережные покрыты кудрявой зеленью. Тут березы шумят, тут цветы и травы сажены узорами.

Город прибавляют ко мхам. Кто в Архангельске вздумает построиться, тому приходится выбирать место на мхах — к тундре. Он лишнюю воду канавами отведет и начнет возить на участок щепу, опилки, кирпич, песок и всякий хлам — подымает низменное то место. Потом набьет свай да и выстроится. Где вчера болото лежало, на радость скакухам-лягухам болотным, нынче тут дом стоит, как город. Но пока постройкой грунта не огнéло да мимо тяжелый воз по бревенчатому настилу идет, дом-то и качнет не раз легонько. Только изъянов не бывает. Бревна на стройку

берут толсты, долги, и плотники — первый сорт. Дом построят — как колечко сольют; однако слаба почва только на мхах, а у старого города, к реке, грунт тверд и постановен.

Строительный обычай в Архангельске: при закладке дома сначала утверждали окладное бревно. В этот день пиво варили и пироги пекли, пировали вместе с плотниками. Называется: «окладно».

Когда стены срубят до крыши и положат потолочные балки, матицы, опять плотникам угощенье: «матешно». И третье празднуют — «мурлаты», когда стропила под крышу выгородят. А крышу тесом закроют да сверху князевое бревно утвердят, опять пирогами и домашним пивом плотников чествуют, называется «князево́».

А в домах у нас тепло!

Хотя на дворе ветер, или туман, или дождь, или снег, или тлящий мороз, — дома все красное лето! Всю зиму по комнатам в легкой рубашке и в одних чулках ходили. Полы белы и чисты. Приди хоть в кухню да пол глаженым носовым платком продерни — платка чистого не замараешь.

По горенкам, по сеням, по кладовкам, по лестницам, по крыльцам и полы, и стены, и потолки постоянно моют и шоркают.

У печи составы: основание печное называется «нога»; правое плечо печное — «печной столб»; левое плечо — «кошачий городок». С лица у печки — «чело», и «устье», и «подпечек», с боков «печурки» выведены теремками. А весь «город» печной называется «тур».

«Архангельский город всему морю ворот». Архангельск стоит на высоком наволоке, смотрит лицом на морские острова. Двина под городом широка и глубока — океанские трехтрубные пароходы ходят взад и вперед, поворачиваются и причаливают к пристаням без всякой кручины.

С восточной стороны легли до города великие мхи. Там у города речки Юрос, Уйма, Курья, Кузнечиха.

В подосень, да и во всякое время, у города парусных судов и пароходов не сосчитать. Одни к пристани идут, другие стоят, якоря бросив на фарватере, третьи, отворив паруса, побежали на широкое студеное раздолье. У рынков, у торговых пристаней рядами покачиваются шкуны с рыбой. Безостановочно снуют между городом и деревнями пассажирские пароходики. Степенно, на парусах или на веслах, летят острогрудые двинские карбаса́.

Кроме «Расписания» и печатных лоций, у

каждого мореходца есть записная книжка, где он делает отметки о времени поворота курса, об опасных мелях, об изменениях фарватера в устьях рек.

Непременно на каждом корабле есть компас — «матка».

Смело глядит в глаза всякой опасности и поморская женщина.

Помор Люлин привел в Архангельск осенью два больших океанских корабля с товаром. Корабли надо было экстренно разгрузить и отвести в другой порт Белого моря до начала зимы. Но Люлина задержали в Архангельске неотложные дела. Сам вести суда он не мог. Из других капитанов никто не брался, время было позднее, и все очень заняты. Тогда Люлин вызывает из деревни телеграммой свою сестру, ведет ее на корабль, знакомит с многочисленной младшей командой и объявляет команде: «Федосья Ивановна, моя сестрица, поведет корабли в море заместо меня. Повинуйтесь ей честно и грозно…» — сказал да и удрал с корабля.

— Всю ночь я не спал, — рассказывает Люлин. — Сижу в «Золотом якоре» да гляжу, как снег в грязь валит. Горюю, что застрял с судами в Архангельске, как мышь в подполье. Тужу, что забоится

сестренка: время штормовое. Утром вылез из гостиницы — и крадусь к гавани. Думаю, стоят мои корабли у пристани, как приколочены. И вижу — пусто! Ушли корабли! Увела! Через двои сутки телеграмма: «Поставила суда в Порт-Кереть на зимовку. Ожидаю дальнейших распоряжений. Федосья».

Архангельское мореходство и судостроение похваляет и северная былина:

…А и все на пиру пьяны-веселы,

А и все на пиру стали хвастати.

Толстобрюхие бояре родом-племенем,

Кособрюхие дьяки большой грамотой,

Корабельщики хвалились дальним плаваньем,

Промысловщики-поморы добрым мастерством:

Что во матушке, во тихой во Двинской губе,

Во богатой, во широкой Низовской земле

Низовщане-ти, устьяне промысловые

Мастерят-снастят суда – лодьи тор-

говые,

Нагружают их товарами меновными

(А которые товары в Датской надобны),

Отпускают же лодьи-те за синё море,

Во широкое, студеное раздольице.

Вспомнил я былину — и как живой встает перед глазами старый мореходец Пафнутий Анкудинов.

«Всякий спляшет, да не как скоморох». Всякий поморец умел слово сказать, да не так красно, как Пафнутий Осипович.

Весной, бывало, побежим с дедом Пафнутием в море. Во все стороны развеличилось Белое море, пресветлый наш Гандвик.

Засвистит в парусах уносная по́ветерь, зашумит, рассыпаясь, крутой взводень, придет время наряду и час красоте. Запоет наш штурман былину:

Высоко-высоко небо синее,

Широко-широко океан-море,

А мхи-болота – и конца не знай

От нашей Двины, от архангельской…

Кончит былину богатырскую — запоет скомо-

рошину. Шутит про себя:

— У меня уж не запирается рот. Сколько сплю, столько молчу. Смолоду сказками да песнями душу питаю.

Поморы слушают — как мед пьют. Старик иное и зацеремонится:

— Стар стал, наговорился сказок. А смолоду на полатях запою — под окнами хоровод заходит. Артели в море пойдут — мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с восемнадцати годов имя было с отчеством. На промысле никакой работы задеть не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора — знай пой да говори… Вечером народ соберется, я сказываю. Мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит — ночи прихватим… Дале один по одном засыпать начнут. Я спрошу: «Спите, крещеные?» — «Не спим, живем! Дале говори…»

Рассказы свои Пафнутий Осипович начинал прибауткой: «С во́рона не спою, а с чижа споется». И закончит: «Некому петь, что не курам, некому говорить, что не нам».

Я охоч был слушать Пафнутия Осиповича и складное, красовитое его слово нескладно потом пересказывал.

Город не однажды горел.

В запрошедшие годы уехали горожане к празднику на Кег-остров, что против Города. И в Городе случилась беда. Занялся пожар, ветер с огнем пошел улицами от реки до мхов. Переменилось гулянье в плач, смех в слезы. И не раз Город гарывал. Страшный пожар случился в девятьсот девятом году. Новопостроенные после пожаров дома сразу видать. И цветом и фасоном непохожи на прежние. Старые дома очень велики, широки и высоки, из толстых бревен, окна коротки. Новые дома — легонькие, похожи на дачные, с балкончиками, окна широки — простенков не слышно.

О приходе иностранных судов.

Как заморских городов пароходы придут и у городских пристаней станут, горожане по вечерам, нарядившись, ходят смотреть, какой земли корабль прибежал, и какого города люди, и с какими товарами. Ребятишек иностранцы угощают корабельными сухарями — «бишками». Архангельский народ, поморы и двиняне, сами за границей зачастую бывают и у себя постоянно иностранцев видят. Так что могут спросить и ответить на любом языке. Когда кептен уволит команду на берег, матросы и штурманы пойдут по угорам и улицам гулять и смотреть. Все слич-

ные молодцы, по-своему одеты. Любо поглядеть! Гулящие пригороды тоже, бывало, промышляли по своей вере. Там:

«Гости позваны, и постели постланы».

В праздники «улимино́ваны» корабли и пароходы на Двине и упестрены цветными ветренницами-фрагами. С кораблей и с Города на ответ стреляют из пушек.

Из года в год были у горожан одни и те же гулянья. В мае ездили гулять на Вознесенский остров. Прежде этим местом шла Двина, потом переменилась — легла на другую постель. Но оставила память — озерки-невелички. Как зеркальцами обложились вознесенские деревеньки.

Здесь у Вознесенья на могилах ставят резные столбы ростом с человека. На лбу или на поясе вырезан родовой знак, как бы герб крестьянина.. У нас каждая крестьянская семья знает свой знак — тамгу, или клеймо, и вырезают его или выжигают на разных крупных вещах деревенского обихода, карбасах, санях, жердях, бочках, топорах.

В июле всем городом, кроме грудных младенцев да стогодовалых стариков, ездили на Кег-остров. Он далеко теперь от города, разделен речною шириной, а когда-то, в чудские времена, из Города на Кег кольцо перебрасывали. У Двины прежде чудь

жила. О ней память и сказки по нашим рекам.

В русских деревнях попадаются семьи черноволосые и смугловатые. Мы считаем их чудской породой. Мы-то, новгородцы, беловолосые, русоволосые.

Как поспеют ягоды, ездили в Лявлю, выше Города по Двине. Лявля — место красивое, высокое. В долине ручей гремит, а на горах шумит темный ельник. В лявленских деревнях пекут «тетерки» белого теста. Во весь лист запекают как бы птицу тетеру, и на ней посажены из теста же маленькие птички — тетерины дети. Глазки — из коринки или из изюму. Бывало, ребячьим делом, любуюсь, как стряпают эти тетерки, сам возьму теста, ничего не сотворю, только теста перемажу. Лапы-то ведь у ребят как у трубочистов.

Детство в Архангельске[10]

Мама была родом из Соломбалы. У деда Ивана Михайловича шили паруса на корабельные верфи. В мастерскую захаживали моряки. Здесь увидал молоденькую Анну Ивановну бравый мурманский штурман, будущий мой отец. Поговорить, даже познакомиться было нéкак. Молоденькая Ивановна не любила ни в гости, ни на гулянья. В будни посиживала за работой, в праздники — с толстой поморской книгой у того же окна.

Насколько Аннушка была домоседлива и скромна, настолько замужняя ее сестра — модница и любительница ходить по гостям. Возвратясь однажды с вечера, рассказывает:

— Лансье сегодня танцевала с некоторым мурманским штурманом. Борода русая, круговая, волосы на прямой пробор. Щеголь…

— Машка, ты это к чему?

---

[10] Notes: 10

Впервые опубликовано в журнале «Колхозник» в мае 1935 г. и включено в сборники «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947), «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957), «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. –*Примеч. ред.*

— К тому, что он каждое слово Анной Ивановной закроет…

— Я вот скажу отцу, посадит он тебя парусину дратвой штопать… В другой раз не придешь ко мне с такими разговорами.

Вскорости деда навестил знакомый капитан, зашел проститься к дочери хозяина и подал ей конверт.

— Дозвольте по секрету, Анна Ивановна: изображенное в конверте лицо, приятель мой, мурманский штурман, уходит на днях в опасное плавание и…

Молоденькая Ивановна вспыхнула и бросила конверт на пол.

— Никакими секретами, никакими конвертами не интересуюсь…

Капитан сконфузился и убежал. Разгневанная Ивановна швырнула было пакет ему вслед, потом вынула фотографию, поставила перед собою на стол и до вечера смотрела и шила, смотрела и думала.

Прошло лето, кончалась навигация. По случаю праздничного дня дедушка с дочкой сидели за чтением. В палисаднике под окном скрипнула калитка, кто-то вошел.

Молоденькая Ивановна взглянула да и замерла.

И вошедший — тот самый мурманский штурман — приподнял фуражку и очей с девицы не сводит…

Но и дед не слепой, приоткрыл раму:

— Что ходите тут?

— Малину беру…

А уж о Покрове… Снег идет.

Старик к дочери:

— Аннушка, что плачешь?

— Ох, зачем я посмотрела!..

— Аннушка, люди-то говорят — ты надобна ему…

Вот дед с мурманским штурманом домами познакомились. Штурман стал с визитами ходить. Однажды застал Анну Ивановну одну. Поглядели «лица» — миньятюры «Винограда российского», писанного некогда в Выгореции… Помолчали, гость вздохнул:

— Вы все с книгой, Анна Ивановна… Вероятно, замуж не собираетесь?..

— Ни за царя, ни за князя не пойду!

Гость упавшим голосом:

— Аннушка, а за меня пошла бы?

Она шепотом:

— За тебя нельзя отказаться…

В Архангельском городе было у отца домишко подле Немецкой слободы, близко реки.

Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки: окошечки коротенькие, полы желтенькие, столы, двери расписаны травами. По наблюдникам синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. С потолков птички растопорщились деревянные — отцово же мастерство.

Первые года замужества мама от отца не отставала, с ним в море ходила, потом хозяйство стало дома задерживать и дети.

У нас в Архангельске до году ребят на карточку не снимали, даже срисовывать не давали, и пуще всего зеркала младенцу не показывали. Потому, верно, я себя до году и не помню. А годовалого меня увековечили. Такое чудышко толстоголовое в альбоме сидит, вроде гири на прилавке.

Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет:

Баю, бай да люли!
Спи-ка, усни
Да большой вырастай,
На оленя гонец,
На тетеру стрелец...

… … … … … …

Бай, бай да люли!

… … … … … …

Ты на елке тетерку имай,

На озе́рке гагарку стреляй,

Еще на море уточку,

На песочке лебедошку.

Мама на народе не пела песен, а дома или куда в лодке одна поедет — все поет.

Годов-то трех сыплю, бывало, по двору. Запнусь и ляпнусь в песок. Встану, осмотрюсь… Если кто видит, рев подыму на всю улицу: пусть знают, что человек страдает. А если нет никого, молча домой уберусь.

Отец у меня всю навигацию в море ходил. Радуемся, когда дома. Сестренка к отцу спрячется под пиджак, кричит:

— Вот, мамушка, у тебя и нету деушки, я ведь папина!

— Ну дак что, я тебе и платьев шить не буду.

— Я сама нашью, модных.

Сестрица шить любила. Ей дадут готовую рубашонку и нитку без узла. Она этой ниткой весь день шьет. Иногда ворот у рубашки наглухо зашьет.

Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру на другую, ходит по горнице, поет:

Корабли у нас будут сосновы,
Нашосточки, лавочки еловы,
Веселышки яровые,
Гребцы – молодцы удалые.

Он поживет с нами немножко и в море сторопится.

Если на пароходе уходит, поведет меня в машинное отделение.

Я раз спросил:

— Папа, машина-то, она самородна?

Машины любил смотреть, только гулкого, громоносного свиста отправляющегося в океан парохода я, маленький, боялся, ревел. До свистка выгрузят меня подальше на берег. Я оттуда колпачком машу.

Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака, а об отце вестей долго нет, не знала мама покоя ни днем ни ночью. Выбежит наутро, смотрит к северу, на ответ только чайки вопят к непогоде.

Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе норд-вест. Мама охватит нас руками:

— Ох, деточки! Что на море-то делается… Папа у нас там!

Я утешаю:

— Мамушка, я, как вырасту, дальше Соломбалы не пойду в море.

А Соломбала — часть того же Архангельска, только на островах.

Не одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-нибудь, хоть на именинах, жены и матери моряков. Чуть начнут рамы подрагивать от морского ветра, сразу эти гостьи поблекнут, перестанут ложечки побрякивать, стынут чашки.

Хозяйка ободряет:

— Полноте! Сама сейчас бегала флюгера смотреть. Поветерь дует вашим-то. Скорополучно домой ждите.

Зимой отец на берегу, у матери сердце на месте.

В листопад придут в город кемские поморы, покроют реку кораблями.

Утром, не поспеет кошка умыться, к нам гости наехали.

Однажды ждали в гости почтенного капитана, у которого было прозвище Мошкарь. У нас все прозвища придумывают, в глаза никогда не на-

зовут, а по-за глаз дразнят. Мама с отцом шутя и помянули: «Вот ужо Мошкарь приедет…» Гость приехал и мне игрушку подарил. Я с подарком у него в коленях бегаю, говорю:

— Я тебя люблю. Тебя можно всяко назвать. Можно дядей, можно дядюшкой. Можно Мошкарем, можно Мошкариком…

Ребячьим делом я не раз впросак попадался из-за этих несчастных прозвищ.

Годов пяти от роду видел я чью-то свадьбу. Меня угостили конфетами, и все это мне понравилось.

На нашей улице был дом богача Варгасова, которого за глаза прозывали Варгас. Я думал, это его имя. Вот на другой день после моей гостьбы вижу, он едет мимо на лошади. Я кричу из окна:

— Варгас, постой-ко, постой!

Он лошадь остановил, ждет, недоумевает…

Я выбежал за ворота:

— Варгас, вы, пожалуйста, вашу Еленку Варгасовну никому замуж не отдавайте. Я маму спрошусь, сам Еленку-то приду сватать…

А Еленке Варгасовой год ли, полтора ли от роду еще…

Помоложе Варгасовны была у нас с сестрой симпатия, Ульяна Баженина. Ряд лет жили мы в деревне Уйме, где зимовали мурманские па-

роходы. Понравилось нам с сестрой нянчить соседскую дочку, шестимесячную Ульянку. Ульянкина зыбка висела на хорошей пружине. Мы дернем вниз да отпустим, дернем вниз да отпустим. Ульянка рявкнет да вверх летит, рявкнет да вверх летит. Из люльки девка не выпадет, только вся девка вверх тормашками, где нога, где окутка, где пеленка… Няньки-то были, вишь, немножко постарше Ульянки.

Весной по деревне проходили странники. А взрослых часто нет дома. Соберется нас, малышей, в большой Ульяниной избе много, посидим и испугаемся, что странники придут нас есть. Вот и выставим к двери лопаты да ухваты — странников убивать. А чуть привидится что черное, летим кто под лавку, кто в подпечек, кто в пустой ушат. Сестренка дольше всех суетится:

— Я маленька, меня скоро съедят буки-ти.

По Уйме-реке лес. Там орды боялись. Слыхали, что охотники орду находят, а какая она, не видали.

Ягоды поспеют — отправимся в лес по морошку. Людно малых идет. Вдали увидим пень сажени полторы, как мужик в тулупе:

— Ребята! Эвон де орда-та!

Испугаемся, домой полетим. А орда вся-та с

фунт, вся-та с векшу, пестрая. Орда не покажется людям, только собаки находят.

Конец зимы уемляне все у корабельного, у пароходного ремонта. Мелкие с утра одни дома. Мы в Ульянкиной избе все и гостим, куча ребят трехшести лет. Что у старших видели, то и мы: песни поем, свадьбы рядим — смотренье, рукобитье, пониманье. Девчонки у матерей с кринок насним-ают, ходят, кланяются, угощают — честь честью, как на свадьбе, а на дворе пост великий… И тут увидит из соседей старик ли, старуха — с розгой к нам треплют… Ведь пост! Беда, если песни да скоромное!.. Мы опять кто куда — в подпечек, на полати, под крыльцо. Час-два там сидим.

Эти отдельные картинки раннего моего детства мне позже мама и тетка рассказывали. Ну, что попозже творилось, сам помню.

Ко всему, что глаз видит и ухо слышит, были у нас, у ребят, присказки да припевки. И к дождю, и к солнцу, и к ветру, и к снегу, и к зиме, и ко всякой ползучей букашке и летучей птице.

Вот, к примеру, в зимние вечера, перед ночлегом, летают над городом стаи ворон. Ребята и приправят кричать:

— У задней-то вороны пуля горит! Пуля горит!..

Мы уверены были, что именно эти наши слова

производят среди ворон суматоху, так как ни одна не хочет лететь задней.

Я постарше стал, меня дома читать и писать учили.

Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку.

В азбуке опять корабли и пароходы, и рыбы, и птицы — все разрисовано красками и золотом. К азбуке указочка была костяная резная. Грамоте больше учила мама. Букву А называла «аз», букву Б — «буки», В — «веди», Г — «глаголь», Д — «добро». Чтоб я скорее запомнил, шутя говорила, что начертанья А и Б похожи на жучков, буква В — будто таракан, Г — крюк.

Для памяти я и декламирую:

Аз, буки – букашки,
Веди – таракашки,
Глаголь – крючки,
Добро – ящички.

И другие стишки про буквы:

Ер (ъ), еры (ы) – упал с горы.
Ер (ъ), ять (ѣ) – некому поднять.
Ер, ю – сам встаю.
… … … … … … …

А и Б сидели на трубе.

… … … … … … …

Азбуку мне отец подарил к Новому году, поэтому вначале было написано стихами:

Поздравляю тебя, сын, с Новым годом!
Живи счастливо да учись.
Ученый водит,
Неученый следом ходит.
Рано, весело вставай —
Заря счастье кует.
Ходи право,
Гляди браво.
Кто помоложе,
С того ответ подороже.
Будь, сын, отца храбрее,
Матери добрее.
Живи с людьми дружно.
Дружно не грузно.
А врозь – хоть брось!..

Отец, бывало, скажет:
— Выучишься — ума прибудет!
Я таким недовольным тоном:

— Куда с умом-то?

— А жизнь лучше будет.

Весной выученное за зиму бегали писать на гладком береговом песке.

В городе я поступил в школу, уже хорошо умея читать и писать.

Больше всего успевал я, учась, в языках, совсем не давалась математика; из-за нее не любил я школы, бился зиму, как муха в паутине. Жизнь была сама по себе, а наша школа сама по себе. Город наш стоял у моря, а ни о Севере, ни о родном крае, ни о море никогда мы в школе не слыхали. А для меня это всегда было самое интересное.

С ребятами сидим на пристанях, встречаем, провожаем приходящие, уходящие суда да поем:

У папы лодку попросил,
Папа пальцем погрозил:
– Вот те лодка с веслами,
Мал гулять с матросами!..

Или еще:

Пойду на берег морской,
Сяду под кусточек.
Пароход идет с треской,

Подает свисточек.

Насколько казенная наука от меня отпрядывала, настолько в море все, что я видел и слышал, льнуло ко мне, как смола к доске.

Миша Ласкин[11]

Это было давно, когда я учился в школе. Тороплюсь домой обедать, а из чужого дома незнакомый мальчик кричит мне:

— Эй, ученик! Зайди на минутку!

Захожу и спрашиваю:

— Тебя как зовут?

— Миша Ласкин.

— Ты один живешь?

— Нет, я приехал к тетке. Она убежала на службу, велела мне обедать. Я не могу один обедать. Я привык на корабле с товарищами. Садись скорее, ешь со мной из одной чашки!

Я дома рассказал, что был в гостях у Миши Ласкина. Мне говорят:

— В добрый час! Ты зови его к себе. Слышно, что его отец ушел в дальнее плавание.

Так я подружился с Мишей.

Против нашего города река такая широкая,

---

[11] Notes: 11

Впервые опубликовано в журнале «Пионер» в июле 1955 г. и включено в сборники «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957), «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. –*Примеч. ред.*

что другой берег едва видно. При ветре по реке катятся волны с белыми гребнями, будто серые кони бегут с белыми гривами.

Однажды мы с Мишей сидели на берегу. Спокойная река отражала красный облачный закат. С полдесятка ребят укладывали в лодку весла.

Старший из ребят кричал:

— Слушать мою команду! Через час всем быть здесь. Теперь отправляйтесь за хлебом.

И они все ушли.

Миша говорит:

— Это они собрались за реку на ночь. Утром будут рыбу промышлять. А домой не скоро попадут. Глупый ихний капитан — не понимает, что если небо красно с вечера, то утром будет сильный ветер. Если говорить, они не послушают. Надо спрятать у них весла.

Мы взяли из лодки весла и запихали их под пристань, в дальний угол, так, что мышам не найти.

Миша верно угадал погоду. С утра дул морской ветер. Кричали чайки. Волны с шумом налетали на берег. Вчерашние ребята бродили по песку, искали весла.

Миша сказал старшему мальчику:

— Забрались бы вы с ночи на тот берег и ревели

бы там до завтра.

Мальчик говорит:

— Мы весла потеряли.

Миша засмеялся:

— Весла я спрятал.

Как-то раз мы пошли удить рыбу. После дождя спускаться с глиняного берега было трудно. Миша сел разуться, я побежал к реке. А навстречу Вася Ершов. Тащит на плече мачту от лодки. Я не дружил с ним и кричу:

— Вася Ёрш, куда ползешь?

Он зачерпнул свободной рукой глины и ляпнул в меня. А с горы бежит Миша. Вася думает: «Этот будет драться» — и соскочил с тропинки в грязь.

А Миша ухватил конец Васиной мачты и кричит:

— Зачем ты в грязь залез, дружище? Дай я помогу тебе.

Он до самого верху, до ровной дороги, нес Васину мачту. Я ждал его и думал: «Миша только и глядит, как бы чем-нибудь кому-нибудь помочь».

Утром взял деревянную парусную лодочку своей работы и пошел к Ершовым. Сел на крыльцо. Вышел Вася, загляделся на лодочку.

Я говорю:

— Это тебе.

Он улыбнулся и покраснел. А мне так стало весело, будто в праздник.

Однажды мой отец строил корабль недалеко от города, и мы с Мишей ходили глядеть на его работу. В обеденный час отец угощал нас пирогами с рыбой. Он гладил Мишу по голове и говорил:

— Ешь, мой голубчик.

Потом нальет квасу в ковшик и первому подаст Мише:

— Пей, мой желанный.

Я всегда ходил на стройку вместе с Мишей. Но однажды я подумал: «Не возьму сегодня Мишку. Умею с кем поговорить не хуже его».

И не сказал товарищу, один убежал.

Корабль уже был спущен на воду. Без лодки не добраться. Я с берега кричу, чтобы послали лодку. Отец поглядывает на меня, а сам с помощниками крепит мачту. А меня будто и не узнает.

Целый час орал я понапрасну. Собрался уходить домой. И вдруг идет Миша. Спрашивает меня:

— Почему ты не зашел за мной?

Я еще ничего не успел соврать, а уж с корабля плывет лодочка. Отец увидел, что я стою с Мишей, и послал за нами.

На корабле отец сказал мне строго и печально:

— Ты убежал от Миши потихоньку. Ты обидел

верного товарища. Проси у него прощенья и люби его без хитрости.

Миша захотел украсить место, где стоят корабли. Мы начали выкапывать в лесу кусты шиповника и садить на корабельном берегу. На другое лето садик стал цвести.

Миша Ласкин любил читать и то, что нравилось, переписывал в тетради. На свободных страницах я рисовал картинки, и у нас получалась книга. Книжное художество увлекло и Васю: он писал, будто печатал. Нам дивно было, какие альбомы получаются у Миши из наших расписных листов.

Книги, и письмо, и рисование — дело зимнее. Летом наши думы устремляются к рыбной ловле. Чуть зашепчутся весенние капели, у нас тут и разговор: как поплывем на острова, как будем рыбку промышлять и уток добывать.

Мечтали мы о легкой лодочке. И вот такая лодка объявилась в дальней деревушке, у Мишиных знакомцев. Миша сам туда ходил, еще по зимнему пути. Лодка стоила недешево, но мастеру понравился Мишин разговор, Мишино желание и старание, и он не только сбавил цену, но и сделал льготу: половину денег сейчас, половину

— к началу навигации.

Отцы наши считали эту затею дорогой забавой, однако, доверяясь Мише, дали денег на задаток.

Мы с Васей ликовали, величали Мишу кормщиком и шкипером, клялись, что до смерти будем ему послушны и подручны.

Перед самой распутой зашли мы трое в Рыбопромышленный музей. Любуемся моделями судов, и Вася говорит:

— Скоро и у нас будет красовитое суденышко!

Миша помолчал и говорит:

— Одно не красовито: снова править деньги на отцах.

Вздохнул и я:

— Ох, если бы нашим письмом да рисованием можно было заработать!..

Мы не заметили, что разговор слышит основатель музея Верпаховский. Он к нам подходит и говорит:

— Покажите мне ваше письмо и рисование.

Через час он уж разглядывал наши самодельные издания.

— Великолепно! Я как раз искал таких умельцев. В Морском собрании сейчас находится редкостная книга. Ее надобно спешно списать и срисовать. За добрый труд получите добрую

цену.

И вот мы получили для переписывания книгу стогодовалую, премудрую, под названием «Морское знание и умение».

В книге было триста страниц. Сроку нам дано две недели. Мы рассудили, что каждый из нас спишет в день десять страниц. Трое спишут тридцать страниц. Значит, переписку можно кончить в десять дней.

Сегодня, скажем, мы распределили часы работ для каждого, а назавтра с Мишей Ласкиным стряслась оказия.

Он для спешных дел побежал к отцу на судно. У отца заночевал, а ночью вешняя вода сломала лед, и началась великая распута. Сообщения с городом не стало.

Люди — думать, а мы с Васей — делать.

— Давай, — говорим, — сделаем нашему шкиперу сюрприз, спишем книгу без него.

Так работали — недосуг носа утереть. Старая книга была замысловатая, рукописная, но вздумаем о Мише — и на уме станет светло и явится понятие. Эту поморскую премудрость втроем бы в две недели не понять, а мы двое списали, срисовали в девять дней.

Верпаховский похвалил работу и сказал:

— Завтра в Морском собрании будут заседать степенные, я покажу вашу работу. И вы туда придите в полдень.

На другой день мы бежим в собрание, а нам навстречу Миша:

— Ребята, я книгу разорил?

— Миша, ты не разоритель, ты строитель. Пойдем с нами.

В Морском собрании сидят степенные, и перед ними наша новенькая книга. Миша понял, что работа сделана, и так-то весело взглянул на нас.

Степенный Воробьев, старичище с грозной бородищей, сказал:

— Молодцы, ребята! Возьмите и от нас хоть малые подарочки.

Старик берет со стола три костяные узорные коробочки, подает Мише, мне и Васе. В каждой коробочке поблескивает золотой червонец. Миша побледнел и положил коробочку на стол.

— Господин степенный, — сказал Миша, — эта книга — труд моих товарищей. Не дико ли мне будет взять награду за чужой труд?

Этими словами Миша нас как кнутом стегнул. Вася скривил рот, будто проглотил что-то горькое-прегорькое. А я взвопил со слезами:

— Миша! Давно ли мы стали тебе чужие? Миша,

отнял ты у нас нашу радость!..

Все молчат, глядя на Мишу. Он стоит прям, как изваяние. Но вот из-под опущенных ресниц у него блеснули две слезы и медленно покатились по щекам.

Старчище Воробьев взял Мишину коробочку, положил ему в руку, поцеловал всех нас троих и сказал:

— На дворе ненастье, дождик, а здесь у нас благоуханная весна.

С тех пор прошло много лет. Я давно уехал из родного города. Но недавно получил письмо от Михаила Ласкина. В письме засушенные лепестки шиповника.

Старый друг мне пишет:

«Наш шиповник широко разросся, и, когда цветет, весь берег пахнет розами».

Мурманские зуйки[12]

Зуек, или зуй, — наша северная птичка вроде чайки. Где рыбная ловля, где чистят рыбу, там кружатся зуйки. Зуйками называют в Поморье и мальчиков, идущих на Мурман в услужение — обед готовить, посуду мыть, рыболовные снасти сушить. Работы много, работа тяжелая, и больше всего в зуйки шли сироты, у кого отца нет. В Поморье мурманские тресковые промыслы — самое главное. И вот у бедной матери одна забота: чтобы сынишка и семье помог, и к работе привык. Хорошего, опытного промышленника мать со слезами просит взять сына поучиться тяжелому делу мурманскому.

Плата бывала зуйку за лето, кроме содержания — еды и одежды, — пятьдесят рублей деньгами, десять пудов рыбы соленой, пять пудов сушеных

---

[12] Notes: 12

Впервые опубликовано под названием «Поморские зуйки» в журнале «Дружные ребята» в июле–августе 1929 г.; под названием «Мурманские зуйки: Из рассказов о старом Поморье» переиздано в журнале «Колхозник» в марте 1935 г.; под названием «Мурманские зуйки» переиздано в журнале «Пионер» в декабре 1956 г. и включено в сборники «У песенных рек» (М.: Гослитиздат, 1939), «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957), «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. *–Примеч. ред.*

тресковых голов.

Хорошо, если распоряжается на судне дядя или иной кто близкий мальчику, а у чужих людей трудно. Лет с девяти, с десяти повезут в море работать навыкать. Ходили зуйки и у отца и брата на корабле. Таким полдела.

Корабли поморские в море идут, когда оно очистится ото льда. Перед походом до́ма — отвальный стол, проводинный обед. Накануне зуек бегает, зазывает гостей. Зайдет в избу, поклонится и скажет:

— Хозяин с хозяюшкой, пожалуйте к нам на обед. Милости просим! Милости просим!

Во время пированья зуйки сто́льничают и ча́шничают с шитыми полотенцами через плечо. Стольники режут хлеб и угощают, чашники разносят браты'ни с квасом и брагой. Обедает зуек с хозяйкой, после гостей.

Во время стола кто-нибудь в котелок в дно постучит, скажет:

— Батюшко, припади!

Это просят ветра посильнее припасть, дунуть.

Перед последней переменой мать, в первый раз провожающая сына в море, прощается с ним. Не знает, как назвать, как пожалеть. Тихонько гладит мальчика по голове шелковым платочком, и

плачет, и поет:

Сизенький мой соколочек,
Миленький голубочек,
Скатна моя жемчужина,
Желанное мое дитятко!
Беззаботные годочки прокатились,
Беспечальные денечки миновались!
Не в доцвете траву шелкову
С поля убираю,
Не в доросте моего рожоного
В работушку провожаю…
Всхожее ты мое солнышко,
Свеча ты моя воскоярова!
Твоя молоденька головушка заподумывать,
Ребяческо сердечушко запобаливат!
… … … … … … … … … … …

Вспомнит мать и младенческие годы сына:

Ты спал у меня, высыпался,
Ты ждал, дитя, дожидался
От отца веселого покликаньица,
От матери тихого побужаньица,

От бра́телка ключевой воды,

От се́стрицы полотенышка.

У наших поморов слово слово родит, третье само бежит.

Слушая мать, и парнишка всплакнет.

После обеда на жальник сходят (на кладбище), с родными проститься.

На пристань идут, каждому нищему подают:

— Нате-ко на по́ветерь.

И все встречные и поперечные отъезжающим по́ветери — попутного ветра — желают.

Зайдут на корабль, сходни уберут, якоря выкатают, паруса откроют. Ветер паруса наполнит. Сделает рулевой поворот кораблем на восток в честь солнца, и зашумят, рассыпаясь, встречные волны.

Брызнет зуйку в лицо крепким морским рассолом, и… вся грусть забудется. Которая слеза и катилась, та назад воротилась. В море простор, ширь, свет, любо в море!

Матрос песню запоет, в гармонь заиграет, — смотришь, за кораблем тюлень молодой плывет. Головочка у него черненькая, взгляд умильный, ручками он перебирает, песни слушает. Под самым носом корабля белуха белобрюхая, зверь

морской, ростом с корову, любит перевертываться да играть. Пробку свою оттыкает, из зашéйка фонтаны водяные пускает, что кит. Чайки долго за кораблем в море летят, провожают. Это поморы любят, хлеб им бросают. К хорошей погоде чайка в гóломень летит.

Бежит корабль, воздух веселый, паруса говорят, чайки кричат. Зуйки уж за работой, канат старый для конопатки щиплют, снасти разбирают… В далях морских другой кораблик блеснет парусом, ровно чайка крылом. Надо с ним поморским обычаем поздороваться. Капитан берет медную, посеребренную трубу-рупор и кричит:

— Путем-дорогой здравствуйте!

Те отвечают:

— Здорово, ваше здоровье, на все четыре ветра!

Мы опять:

— Куда путь-дорогу правите?

Ответ уж издалека донесет:

— Из Стокгольма в Архангельской!..

Какой-нибудь матрос-молодожен схватит трубу да крикнет тем, идущим в Архангельск:

— Агафье моей расскажите, что меня встретили!

Зуйки опять за дело: медные котлы начищают.

Чайки на берег воротились. Кругом небо да вода. Навстречу английский пароход. Англичане дразнятся:

— Роши шкуна хлам! Роши шельма! Тьфу! Нет добра!

Зуйки из себя выходят, кричат:

— Роши шкуна шик! Инглиш тво фут руль, а фуль! Елефан трунк друнк!

С тем и разминемся.

Бывает, что англичане корабельные сухари, или «би'шки», зуйкам бросают. Или конфеты. Поморы вышитым полотенцем или сдобными колобами отдаривают.

Норвежане встретятся — те спрашивают:

— Куры фра? Куры фра? (куды, мол, пошли?)

Им отвечают, что на Мурман или в Данию.

Летом благодать в море, а осенью в туман страшно. Туман такой навалит, хоть топором руби. В океане, где временем иностранных судов много, бывают и столкновения. Когда поморы в шнеках плывут, в чугунную доску бьют, а заслышав стук машины или свисток, кричат со всей силы:

— Не сгубите-е!!!

Тошно в море — земля и небо стонут.

Самое опасное место в туманы Горловина —

выход Белого моря в океан. Тут всегда волненье, толкунцы.

Выбежит шкуна из Белого моря, тут во все стороны Ледовитый океан. Когда корабль идет на Печору или на Новую Землю, поворачивают направо, на восток. А Мурман пойдет на запад, влево. Мурманский берег скалистый. Горы черные, древние, как медведи лежат. Тут взводень, вал морской, горой ходит, песок со дна воротит. Кораблик в океане как чаечка маленькая. И подвигается на него «девята» — девятый вал, что всех больше… Вал черный, гребень белый — кружево белое на черном бархате. «Ну, — думаешь, — сейчас закроет — и всё тут…» Ан нет! Подымет кораблик этим валом, качнет на гребне, как мать ребенка, да и спустит вниз. Только сердце екнет да в животе холодно. А впереди другой вал, тоже с дом величиной. Как кони вороные с седыми гривами, валы летят по океану.

Это кораблику не беда, когда ветер попутный, в затылок; горе, если со всех румбов заповертывает. В такую немилостивую погодушку корабельная команда по нескольку суток не спит и не ест.

Кудлатый долгобородый помор-капитан и тут не ударит в грязь лицом. Он ревет у руля медведем на молодых помощников:

— К снастям, други, к снастям!.. Что полтинники-то на меня выкатили?! Ух, коровы косые! Крепче кливер! Рочи' шкот!.. Ух, карасином бы вас облить да сжечь! Ух, вы-ы!!!

Среди зуйков бывали тоже продувные ребята, во всяких положениях выгоду себе находили. Таков бывал Владимирко Бельских. Он плавал у старого Сувора Окладникова на гальоте.

В непогодушку, когда старик-океан в тысячу труб трубит и кипит валами, Владимирко непременно подвернется разъяренному Сувору под руку. Ясно, хорошую затрещину и заработает. Кончится шторм — юнга Бельских ходит с подвязанной щекой. Сувор к нему:

— Ты что, Владимирко?

— Что… Глаз-то худо заоткрывался…

— Ну?.. Сгоряча-то, вишь, не разберешь… По шее бы надо.

— Себя бы бил по шее-то!

— Любя ведь, леший…

— Любя… Теперь как на берег сойду! Ни погулять, ни девкам показаться. Ни котора на меня не обзадорится.

— На экого винограда чтобы не обза́рилась! Да ты первый парень по деревне.

— Первый парень… А где наряды-то? Ты много

ли нашил?

— Ужо, не ругай, подарю тебе манишку норвецку голубу.

Этот Окладников «хороший» был, а случалось на бедовых налетать. В шапке зуек в каюту не зайди. Со старшим первый речь не заводи. Жди, когда заговорят. Самодуры бывали среди поморов-судовладельцев. Вовсе загоняют мальчугана. В свободный часок взгрустнется ему, он и запоет печальную долгую песню:

В чужих-то людях рано будят,
На работушку гонят до зари.
С той-то работушки рученьки
Болят по плечам,
Со воздыханьица грудь болит.
… … … … … … … … …

По Мурману богато становищами — фиордами. В каждой такой бухте есть поморский стан, летний поселок, где промышленники, прибежавшие на кораблях и пароходах с разных концов Архангельской губернии, ночевали и отдыхали. Взрослое население дни проводит в океане, добывая рыбу, зуйки в океан выходят редко, их работа на берегу. Надо хлеб испечь, кашу сварить и уху,

да и квас чтобы был. Вот идет у бедных ребят стряпня, рукава стряхня. Замараются, припотеют, а все с песнями:

Сам толкý,
Сам мелю,
Сам и пó воду хожу!
Кашеварничаю,
Пивоварничаю!

Хлебы зуй катает — поет:

Уж и сею я муку
На полатях на боку!
Уж я по полу катаю,
По подлавочью валяю.
На печи в углу пеку,
Когти-ногти обожгу!
Растворяю на дрожжах,
Вынимаю на вожжах.

Всего хуже ребятам хлебы печь. Знаменитый капитан, архангельский помор Владимир Иванович Воронин рассказывал: будучи зуйком, пришлось ему ставить хлебы в море на шкуне. Квашню, емкостью в несколько ведер, взгро-

моздил на полку, а завязал худо. Ночью пала непогода, шкуну закачало, ржаной опарой и начало устилать спящих промышленников, накатало и в их сапоги.

В другой раз у Володи Воронина хлебы вышли как утюги, хоть ножи о них точи. Володя испугался, что дядя, хозяин шкуны, забранит, и потихоньку уплавил ковриги в море. А дядя и наехал на хлебы-то. Плывут ковриги рядышком, и чайки летят, поклевывают. Так грех и открылся.

В мурманских станах живут временно, одни мужчины. За чистотой должны следить зуйки. В праздник, бывало, стряпают из белой муки, а выйдет вроде ржаного. Лапы у поварят в саже. А всё с песнями. Один поет:

Три дня печи не топил,
Много сору накопил.
Ложки вымыл,
Во щи вылил!

Другой припевает:

Косяки скребу,
Пироги пеку…

Ну, частенько ругаются, обижаются тоже, что работы много:

Кисни квас —
С полу грязь.
Капитану
Вырви глаз!

Помню, в море дело было, на корабле. Капитан достался ребятам строжающий. Чуть не угодят — и… гроза. В наказанье на берег не отпустит. Каково мальчишкам взаперти сидеть, когда старшие гуляют! Зато как приведут этого капитана с берега мертвецки пьяного да повалят спать, ребята тихонечко танцуют около и припевают:

Как за эту выслугу,
Что нас на́ берег не выпустил,
Тебя трясло бы, потряхивало,
Выше печи бы побрасывало
Под семью одеялами,
Под тремя покрывалами.
Тебе сквозь печь бы провалитися,
Во щах заваритися,
Пирогом подавитися!
… … … … … … …

В глаза-то ведь не посмеют сказать ничего, хоть так, бедные, душу отведут.

Приход шнёк и ёл в становище возвещают своим криком чайки. Зуйки это слышат и торопятся, ног под собой не чуют. Как старшие с делами покончат, зуйки кричат с порога поварни:

— Кормщики с рядовыми, пожалуйте хлеба есть!

Надо вежливо звать. Летает этакий чумазый кок по становищу, ищет своих, рвется в куски, горячится, что обед остынет, а кричит честно:

— Господа промышленники наши, милости просим обедать!

Про себя-то всего насулит…

Стол обихаживать надо тоже умеючи. Со стен сажа, а без чистой, хотя бы холщовой, скатерти помор за стол не сядет. Пока из-за стола не встали, нельзя из чашек, мисок лить в поганое. Ужасно, если хлебная крошка упала на пол. Ее скорей с поклоном поднимут. Во внеобеденное время посуда с едой должна быть покрыта, а порожняя опрокинута. Перед едой помор трижды окатывает руки водой. Руки поморы моют ежеминутно. Есть и бани в становищах, где моются раз или два в неделю. Баню тоже зуек обязан истопить. У иного дровишки худящи, мозглящи, не горят, а только тышкаются. Другому воду носить лихо из горной речки или водопада. Дразнят друг друга:

Витька баню топит,
Ситом воду носит.
Решето-то розно,
Он принес, – порозно!

Хуже всего тюки отвивать. Тюк — часть яруса океанской рыболовной снасти. В тюке четыреста метров длины. Тридцать связанных тюков составляют ярус, который и опускается в океан. После лова ярус опять развивается на тюки. Тут много дела и зуйкам. Тысячи лесок-фóршней, тысячи крючков надо распутать. Руки ветром да морским рассолом ест, крючья остры, снасти мокры, скользки, ярусу конца нет. Сосчитай-ка, сколько долог ярус, если в ярусе тридцать тюков, а в тюке четыреста метров.

Отдыхают зуйки в дни океанского шторма. Суда вытащены на берег, взрослые спят или, бывало, пьянствуют, беседы собирают, песни поют, а зуйки в бабки, в городки играют, гуляют. Без песен тоже не живут. Много у зуйков забавных припевок:

Я вставал поутру-ввечеру,
На босу ногу топор надевал,
Топорищем подпоясывался.

Не путем, не дорогой шел.
Возле лыка гору драл.
Увидал на утке озеро,
Топором в нее шиб – не дошиб;
Другой раз шиб – перешиб,
В третий раз попал, да мимо!
Утка всколыбалась, озеро улетело.

А то запоет кто-нибудь один:

Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
По поднебесью сер медведь летит,
Он ушками, лапками помахивает,
Он черным хвостом принаправливает.

И все дружно подхватывают припев:

Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
А с горы корова на лыжах катится,
Ноги росширя, глаза выпуча.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
На дубу свинья гнездо свила,

Гнездо свила, деток вывела.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
Малы деточки поросяточки
По сучкам сидят, по верхам глядят,
По верхам глядят, улететь хотят.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
Таракан гулял сорок лет за печью,
Вдруг да выгулял он на белый свет.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
Увидал таракан в лохани воду:
– А не то ли, братцы, море синее?
– Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
Увидал таракан: из чашки ложками хлебают:
– А не то ли, братцы, корабли бегут?
Корабли бегут, на них гребцы гребут?
– Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Мужики-поморы в свободный час тоже запоют. Выйдет к океану человек сорок этаких бородачей, повалятся на утес, заложат руки за голову и подымут на голоса песню богатырскую… А седой океан будто пуще загремит, затрубит, подпевать человеку примется. Кто это слыхал да видал, не забудет.

Ох, да во синем-то, да во широком-то
Раздольице, ох, да подымалася погодушка
Немилослива.
А и плыли туры по синю морю,
Ох, да выходили туры на белы пески,
Ох, да им навстречу турица златорогая:
«Уж вы здравствуйте, туры, где вы
Были, что вы видели?»
«А мы видели диво-дивное:
Не грозна туча затучилась и не вихри
В поле солеталися. Ох, да подымался
Батый с Золотой Ордой и со всею
Своей силою несметною…»
… … … … … … … …

На мурманских пихтах — утесах — гнездятся тысячи птиц: гагар, чаек. У зуйков особый промысел и статья дохода: собирать гагачий пух. Весной гагара сядет на каменный карниз, нащиплет у себя с груди пуху и в пух снесет яйца. Этот пух можно взять, гагара второй раз гнездо пухом своим выстелит. И второй пух можно собрать. Гагара в третий раз нащиплет пуху. Этот пух нельзя тронуть. Птица бросит все и навеки отсюда улетит.

Дома гагачий пух матери выпрядут на самопрялках и навяжут теплых платков, рубашек, колпачков, рукавиц.

Кроме пуху, собирают зуйки гагачьи яйца, большие, красивые, бледно-зеленые с крапинками. На вкус — рыбой припахивают, не все любят.

И яйца брать, и пух собирать — промысел опасный. Скалы над океаном, как стены, стоят неприступны. Гнезда на узеньких карнизах, над глубокой пропастью, где кипит прибой. Как мухи по стене, ползают мальчуганы по утесам, через плечо мешок для пуху. И тут у гагар и чаек крику, стону, воплю — шума волн морских не слышно.

А дни — день за днем в работе, — как гуси, пролетают. Осень придет с темными ночами, холодными ветрами, и Мурман начнет пустеть. Летние гости — поморы — поплывут на парусни-

ках и на пароходах по домам.

Домой едучи, в праздную минуту удивляют зуйки кто как может. Вот что творят. На верхушке мачты есть шарик — «клотик». Назначают состязание: кто повернется на клотике, тому приз. Ловкий парнишка доберется до верхушки, ляжет там животом на шпиль, раскинув для равновесия руки, ноги, и вскружится в такой вершине, на полном ходу корабля, при качке. Внизу, на палубе, героя ждет премия — баранка или копеечная конфетка. Иногда калач повесят на конец реи (перекладина у мачты), и зуйки один перед другим ползут по качающейся рее, добывают эту награду. Такие вырастут — ничего потом не боятся.

Множество поморов заезжало в Архангельск на сентябрьскую ярмарку. У города столько бывало кораблей, что воды не видно. Зуйки гуляют по архангельским улицам нарядные, в узорных вязаных рубахах или в синих матросках с шейными платками.

Экипажецка рубашка,
Норвецкой вороток.
Окол шеечки платок,
Словно розовый цветок!

Покончив дела в Архангельске, корабли плывут

по деревням. Дома матери рады, сестры веселы. Собаки — Дружки, Бóрдики, Лыски, Кóпы — приезжим на грудь скачут.

Рождение корабля[13]

Знаменитые скандинавские кораблестроители прошлого века — Хейнц Шифмейстер и Оле Альвик, рассмотрев и сравнив кораблестроение разных морей, много дивились искусству архангельских мастеров.

— Виват Ершов, Загуляев энд Курочкин, мастерс оф Соломбуль. Равных негде взять и не сыскать и во всей России нет[14].

Вот какую себе наши плотники доспели честь, своей северной родине славу. А строили, бывало, без чертежей, без планов, единственно руководствуясь врожденным архитектурным чутьем и навыком.

---

[13] Notes: 13

Впервые опубликовано под названием «Постройка корабля» в журнале «Юный натуралист» в августе 1933 г. и переиздано в журнале «Колхозник» в феврале 1934 г.; под названием «Рождение корабля» переиздано в журнале «Тридцать дней» в сентябре 1937 г. и включено в сборники «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947), «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957), «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. –*Примеч. ред.*

[14] Notes: 14

Курочкин Андрей Михайлович (1770–1842); *Ершов Василий Артемьевич* (1776–1850); *Загуляев Федор Тимофеевич* (1792–1868) — знаменитые кораблестроители Архангелогородского адмиралтейства. Доставили кораблям архангельской конструкции мировую славу. Во второй

половине XVIII века славился мастер Архангельского адмиралтейства Поспелов.

Но и в нашем Поморье не каждая деревня рождает славных мастеров. Как солнце и месяц перед звездами, гордятся у нас перед другими деревнями Подужемье и Сума, Кемь и Уна, Лодьма и Емецк, и Соломбала.

Если у мастера рука легкая и он строит корабли, какие море любит, походливые и поворотливые, такого строителя заказчики боем отбивали, отымом отымали; ежели занят, то, словом заручившись, по три года ждали. Дождавшись, мастеру досадить боялись — криво ли, право ли хозяйской мошной трясет.

Суда у нас строили: шкуны, боты, гальоты, лихтеры, кутера, ёлы мурманские, шнёки, карбаса морские и речные.

Прежде были ло́дьи, бригантины, кочи, барки — всё большие корабли, на них давно мода отошла.

На шнеке, древнем беспалубном судне, еще мой отец плавал в Датску — Норвегию.

Рассказывал: как придем в Стокгольм или Копенгаген на шнеках, профессора студентов приведут обмерять и рисовать наши суда — то-де корабли древних мурманов (норманнов).

Строили из сосны. На самой дешевой еловой посудине мачта, бушприт, стеньги непременно

сосновые. Ну, остальной рангоут из ели. Ель на воде слабее сосны.

У Белого моря берега: Зимний, Летний, Кемский, Терский. И на каждом берегу те же суда строили своим манером.

Кому это дело в примету, тот, и в морской дали шкуну усмотрев, не только, какого она берега, скажет, но и каким мастером сработана, назовет.

Красен в месяцах месяц май. Славен в корабельщиках Конон Иванович Тектон[15].

Он родился у Белого моря, на Кемском берегу, в бедной рыбацкой семье. Пройдя наше поморское судостроительство, уехал в Норвегию и Данию. Здесь изучал языки английский, немецкий, норвежский, математику, навигацкие науки, морскую астрономию, рисование. Не покидая наук, работал на верфях. Вернулся на родину уже в зрелом возрасте. Рано овдовел, рано сыновей потерял: утонули зуйками на Мурмане.

В дни моего детства слава Тектона еще трубила на берегах Белого моря.

Конону Ивановичу было уже полсотни годов. Он обходил берега Ледовитого океана, строя

[15] Notes: 15

Фамилия мастера Второушин, но более известен он был под прозвищем Тектон, что значит Строитель.

шкуны, боты, бриги, гальоты и ёлы сшивая. Норвежане и датчане не раз пожалели, что отпустили из рук такого строителя, и не однова докупались до Конона, манили деньгами, но он не покорыстовался и не поехал. А ведь сам во всю жизнь не имел ни кола ни двора. Что заработает, все раздает в долг без отдачи.

Кому Конон дело делает, тот в его воле ходит.

Строил однажды Конон океанское судно богатому купцу. Была весна, и дело приходило к концу.

И у купца гостил брат, важный петербургский чиновник. Этот господин повадился кутить на постройке со своими приятелями. И мастер того не залюбил.

Однажды срядился Конон с подмастерьями, с Олафом да с Василем, в город. В городе они разошлись. Вечером мастер первый воротился на карбас и сел дожидаться ребят. Тут — не ждан, не зван — подкатил к карбасу на трех извозчиках хозяйский брат с веселой компанией; все пьяны и с песнями. Да начали нахально приказывать:

— Вези к новопостроенному судну. Нам угодно, там гулять будем.

И Конон отказал:

— А нам не угодно… И гулять там не будете.

Они не послушались, только пуще закуражи-

лись и полезли в карбас самосильно. А один, толстый, подскочил и сбил с Конона шапку, не зная его плотной силы.

Тогда Конон Иванович, губу закусив, поднял толстого за шиворот и сгрузил в воду, чтобы его благородие прохладилось… И, опять тряхнув, бросил в карбас, ажно поддон заговорил.

Гуляки — на Конона с кулаками:

— Утром мы тебя, хама, в тюрьму бросим, а теперь вези, куда приказываем!

И который с ружьем учал палить и одной барыне обжег ухо.

И Конон, бояся головщины, открыл парус и сел за румпель. До судна бы ходу четверть часа, а уж карбас бежит и все три четверти. А те припали до девок, как век не видали, — не понимают, что кормщик правит к дальнему пустому острову. Да и тот накрыло туманом.

Как на широком месте качнуло, хозяйский брат прохватился:

— Ты пьян, мужик? Куда ты правишь? Почему долго едем?

И Конон ответ держит:

— К ночи вода кротка, а карбас от народа грузен. У постройки на мель сядем. Обойдем подальше, где берег глубже.

И тут, рулем покосив, Конон причалил к берегу:

— Приехали!

Те выкарабкались на незнакомое место и опять приправили грозить и лаять: зачем стройки не видно! И охотник опять палит, как дикий. А Конон выкинул им корзины с вином и закусками, веслом отпихнулся — да и был таков…

Целую ночь бродили господа те по песку в тумане. Судна наискались, перевозу накричались, куда попали, не понимают.

Ну, коньяков с собою было на залишке — небось не озябли.

А утром туман снялся, и они увидели себя на голой песчаной кошке. И судно новопостроенное видать не так далеко; только стоит на другом острову за рекою.

Ах да руками мах, а на том не переедешь…

Вскоре подобрали их устьянские бабы-молочницы: плыли в город с палагушками.

А кто прав остался?

А Конон!

Хозяин, бояся, как бы мастер на гневе работы не покинул, тот же день причесал на стройку, по палубе за Кононом ходит. Брата с компанией всех приругал:

— Сами себе они, страдники, страм доспели. Как ты их, дорогой мастер, выучил… Хы, хы!.. А у нас с тобой нету обиды. Нету!

Однако по жалобе петербургского чиновника губернатор хотел было высвистнуть Конона Ивановича из города, да раздумал: кончилась японская война, начинались забастовки.

В те дни и годы отобралось маленькое стадышко низовских моряков в артель, чтоб не кланяться хозяевам, не глядеть из чужих рук, а самим осилить постройку большого судна для океанского плаванья. Моего отца выбрали артельным старостой и казначеем.

И отец загодя припас лес, и приплавил к городу на остров, и распилил, и кокоры обтесал.

Товарищи матерьял осмотрели, благодарили и спросили:

— Каким думаешь мастером строить?

А отец и говорит:

— У меня один свет в очах — Конон Иванович, да он сей год в Кеми завяз…

Было подумали на Пигина, кронштадтского мастера, он давно насватывался, но помянули, что Пигин человек зависимый, ему Немецкая слобода только палец покажет — он артельное дело бросит… Нет уж, без Конона Ивановича нам

не сняться.

И, надеясь на прежнюю дружбу, что он прежде к нам хаживал, хлеба едал, квасу пивал, послался отец к Конону Ивановичу с писемцем:

«Любезный мастер и друг! Охота видеть твоего честного лица и сладких речей слушать. А мы тебе в Архангельском городе делов наприпасали. Воля ваша, а большина наша!»

Старая любовь не ржавеет.

Мастер дела в Кеми довершил и на олешках через Онегу приехал в Архангельск. Стал на постой в Соломбале и дал знать отцу.

Как мы обрадовались! Долго ждав, думали: не в Норвегу ли мастер убрался?

Тот же вечер отец собрал артельных:

— Как рассудите? Деды наши с осени строили, чтобы, зимой закончив, на вешнюю большую воду спускать. А тут мастер прибыл при конце зимы…

Все зашумели:

— Радоваться надо, что прибыл, и всё тут!

Отцу давно хорошо. Утром он засряжался в Соломбалу, запряг самолучшие санки. Взял и меня с собой. Я говорю:

— Что бы мастеру-то самому к нам приехать?!

— Так не водится. Он художник, он строитель…

К добру ходят-то, не с добром.

В Соломбале едем по Бессмертной улице, не знаем, который дом. А мастер сам нас укараулил, в окно сбарабанил.

Как зашли в комнату, справили Конону Ивановичу челобитье. И он равным образом, выйдя из-за стола, бил челом.

Потом поздоровались в охапочку. И которые с Кононом Ивановичем сидели два сличные молодца тоже встали и поклонились. Один — быстрый, темноглазый, другой — светловолосый, конфузливый. Тогда пришли за стол, стали беседовать и друг на друга смотреть. А Олаф да Василь — подмастерья — опять сели красить на листах разным цветом: синим, зеленым, красным. Нарисованы корабли, как их погодой треплет. Я сам рисовать до страсти любил и уж тут все глаза растерял.

Невдолги отец домой сторопился, и я с дива пропал, что о деле ни слова не сказано.

Дорогой я не утерпел:

— Про кораблик-то уж нисколько не поговорили…

— Что ты, глупой! Ведь мы с визитом.

— Неужели они, папа, трои'ма трехмачтовый корабль поставить можут? Подмастерья-то вовсе молоды.

— Годы молоды, да руки золоты. А Конон! Нет таких дел человеческих, чтобы ему не под силу. Конечно, станут и артельные время от времени помогать.

Рекой едучи, отец все свою думу думал, а я свою. Только как стали к дому подыматься, я еще спросил:

— Папа, тебе любо ли?

— Как не любо. Пускай-ко наши толстосумы поскачут. Они Кононка-то, никак, четвертый год добывают… А второе мне любо, что ты его художества насмотришься и золотых наслушаешься словес.

На Масленице Конон Иванович у нас гостил. Его ждали — по крыльцу, по сеням половики стлали новотканые, по столам скатерти с кистями.

Я заметил, он ел малёхонько-редёхонько и пил — только прилик принимал. Потом ушли в отцову горницу. Там сразу поставили разговор на копылья. Мастер начал спрашивать: кто да кто в артели, очень ли купечество косится, на какой реке и давно ли лес для стройки ронили и какая судну мера, на сколько тысяч груза?

И отец ему учал сказывать:

— Лес сосновый, рубили на Лае-реке, зимой, два года назад. Деревá — не кривулины, не свили, не

за́болони — настоящая корабельщина. Ноне все пилено и тесано, мастера дожидается.

На полу мелом накинули план, и по этому чертежу мастер повел умом. Пошла беседа на долгой час.

Наконец дело отолковали, и порядились, и руку друг другу дали. Значит, надежно с обеих сторон.

Я тут же в сторонке сидел, помалкивал. Охота было спросить, почему художники Олаф да Василь не пришли, да не посмел.

На следующей неделе отец с Кононом многажды ездил на место стройки. Вечерами говаривал матери:

— Ты, моя хозяюшка, мастера наблюдай, пироги ему пеки да ко́лобы. Мне его моряки поручили… А вы, ребятки, будьте до Конона Ивановича ласковы, чтобы вас полюбил.

Того же месяца за Соломбальским островом начал строиться наш корабль «Трифон».

На острове на песке лежали дерева золотые, прямотелые, дельные. И мне дивно было, как из этого лесу, кокорья и тесин судно родится.

Вот как дело обначаловал Конон Иванович Тектон.

На гладком, плотном песке тростью вычертил план судну, вымеряя отношение частей. Ширину

корабля клал равной трети длины. А половина ширины — высота трюма. На жерди нарезал рубежки и такой меркой рассчитывал шпангоуты. Чертил на песке прямые углы и окружности, все без циркуля, на глаз, и все без единой ошибки.

По этому плану сколотил лекалы. Тогда приступает к постройке.

Выбрав дерево самое долгое, гладкое, крепкое, ровное, положили матицу, или колоду, то есть основание корабля — киль.

На киль легла спина корабля, поддон. Продолжение киля — упруги, или штевни; к носу — форштевень, к корме — ахтерштевень.

Как у тела человеческого на хребте утверждены ребра, так в колоду, в хребет, врастили ребра корабельные — шпангоуты. Они в ряд, как бараны, рогами вверх уставились.

Как на кости у нас наведены жилы и кожа, так остов корабельный обшивали изнутри и снаружи широкими сосновыми досками.

Чтобы обшивка льнула к шпангоутам, доски па́рили. Была сделана печь с водяным котлом. Пар валил в длинную, протянутую у земли деревянную трубу. В трубе и держали тес до гибкости.

Как кожу дратвой, прошивали корпус вересовым корнем и железом и утверждали дубовыми

гвоздями — нагелями.

Концы у нагелей расклинили и расконопатили, и железные наружные болты внутрь загнали и внутри расклепали.

Потом всё проконопатили и просмолили.

Не на час, не на неделю — на век строил мастер Конон Тектон!

В то время распута прошла и ожили реки.

С борта на борт перекинул Конон Иванович перешвы — бимсы, на них постлал палубу. А в трюм, в утробу, на поддон намостили подтоварье — ставни из тонких досок, чтобы груз не подмокал.

Шла работа — только топор посвечивал. С утра со всхожего и до закатимого стукоток стоит под Кононову песню. Далеко слышно по воде-то.

Когда «Трифон» строился, уж я там спал и лежал. Хоть до кого доведись, каждому любо поглядеть, как корабли родятся. Да и к Конону старого и малого как на магнит тянуло. Был Конон Тектон велик ростом, глазами светел и грозен, волосы желты, как шелк.

Он встречал меня тихим лицом, и много я от него узнал о греческих, римских, итальянских строителях и художниках. О Витрувии, Винчи, Микеланджело, Браманте, Палладио.

В тихий час, в солнечную летнюю ночь сядет Конон с подмастерьями на глядень, любует жемчужно-золотое небо, уснувшие воды, острова — и поет протяжные богатырские песни. И земля молчит, и вода молчит, и солнце полуночное над морем остановилось, все будто Конона слушают… А Конон сказку расскажет и загадку загадает:

Дочь леса красного,
Возраста досельного.
Много путем ходит,
А следу не родит…
Это что?

Мы с Олафом молчим. Он еще русской речи в тонкости не разумеет, я умом вожу, не знаю, к чему примениться. А Василь, быстрый, схватчивый, скорехонько бякнет:

— Лодка!

Конон Иванович, родных сыновей потеряв, любил, как детей, своих помощников Василька и Олафа. Кроме кораблестроительства, учил их языкам, английскому и немецкому, рисованию, математике и черчению, работе с морскими картами, с лоцией. Олафа Конон привез из датских городов, и тот до смерти не отходил от него. Олаф уж не похож был на гулящего парнишку. Не по-

мянет молодецких дел, хотя и бритву накладывал года три. Ему гулять не надо, нарядов не надо, не попросит уж костюма. Он и не знал, что в торгу костюмы есть. Такой не щеголь был.

Олаф со мною перво молчал. Я спросил:

— Что молчишь? Родом такой разве?

Он тогда рассмеялся. Да и с мастером Олаф больше помалкивал, а Василь придет и — разговору! Василь пьет и ест — и все говорит, не перестает, как гулял да с кем гулял.

Олаф брови насупит:

— Как хочешь — мне это не надо.

Василь недоверчиво:

— Хм… Бреешься, дак кого-ле приманиваешь. Свои и так никуда не деваются.

Олаф первый у корабельного дела помогал и всему научился, что учитель знал. Так почитал мастера Олаф, что и хлеба без него не ел.

Другой, Василь, ученик был на все талантлив, ко всему горяч, жаден на всякое добро и неистов на зло. Временем бесчинствует и мастера ничем зовет; до того дойдет — унесет с корабля дорогую какую вещь, и продаст, и прогуляет. Да укараулит пароход английский или норвежский, упромыслит себе приятелей таковых, каков сам, и в портовых притонах ножи кровью поят из-за

подруг.

Дойдет дело до властей, и Конон по судам ходит, штрафы платит, стыдом лицо кроет перед людьми, которые лицо его честное и видеть бы недостойны. Кто Конона Ивановича любил да знал, те за него оскорблялись и на Василя были в кручине, что учителя не бережет. Однажды, когда Василь подвел мастера под ответ и дело попало в газету, мать моя, заплакав, сказала:

— Ты, Конон Иванович, как река без берегов, не только человека, а и скота напояешь.

А Конон ласково:

— Хоть и вор, да мой, дак и жалко.

А погодя Василь опять придет к мастеру, и зовет, и рыдает, и просит Олафа. И Олаф приложит к слезам слезы. Конон, видя бледное Василево лицо и синеву под глазами, вспомнит родных сыновей, сокрушится сердцем и пожалеет. И, отерев Василю последнюю слезу, начнет ему добром говорить:

— Ты теперь в совершенных летах. Поезжай в Датску на верфи. Ты, Василь, талантлив, учись. Я тебе и письма дам заручные…

И Василь ухватит мастера руками, закричит:

— Я в вашей хочу быть воле! Не надо мне датских!..

Значит, опять работают вместе. На вечерней заре сядут у реки. Олаф справа, Василь слева. И руки мастера, каждый свою, держат. Перед Кононом на береговой свае книга, Шекспир или Свифт. Читает вслух и заставляет учеников переводить.

А пошло время к лету — и три мачты кондового лесу поднялись над островом. Три мачты ставят, когда судно на дальнее, океанское плаванье; если на ближнее, в своем море, то две.

Передняя — фок-мачта, средняя — грот-мачта и задняя — бизань.

С носа от форштевня уставился бушприт.

И как скрипичный мастер струны настраивает, а они гудят и звенят, так Тектонова искусная рука протянула снасти к мачтам и реям, к штевням и бортам.

В оснастке весь стоячий такелаж завели по-богатому — из четырехпрядной чесаной пеньки, только такелаж бегучий — из обыкновенной, трехпрядной.

Да в ту же оснастку корабельную блоков одношкивных и двушкивных с железной оковкой не меньше полусотни штук. От скул к носу, где хлюсты — ноздри корабельные, навернули цепи и якоря. Якорь в семнадцать пудов да якорь в пятнадцать пудов. Цепь в шестьдесят пять сажен

да цепь в пятьдесят сажен. И белыми полотняными парусами нарядили грот-мачту и фок-мачту с реями; и на бизань — косые паруса.

Много было дела у корабля, и редкий день у мастеров не работали добровольные помощники из артели. По бортам, по мачтам у рангоута все ковано железом, и дверцы, и ободверины покованы медью. И оконцами посветить «Трифону» не забыл Конон Иванович. И печку сложили. И помпы в трюме — воду откачивать.

Потом судно до ватерлинии окрасили красно, а побочины — ярью зеленою и белилами. А у носа и по корме золотыми литерами — имя «Трифон».

Кратко сказать — все было крепко и плотно, дельно и хитро. Кораблик как сам собою из воды родился.

Кто посмотрит, глаз отвести не может.

А медь сияет на солнце!..

Осенью, когда начал лист на лесу подмирать, и судно было готово.

Последний день августа завелась у нас стряпня. И первого сентября утром, когда обрадовалась ночь заре, а заря — солнцу, поплыли артельные к острову, где «Трифон» строился. И увидели: стоит корабль к востоку, высоко на городках, у вод глубоких, у песков рудо-желтых, украшен,

как жених, а река под ним как невеста.

…Мастер Конон сошел по сходням, стал на степени и поклонился большим обычаем. У него топор за поясом, как месяц, светит.

И мы на ответ кланялись равным образом.

Артельного старосту, отца моего, мастер взял за правую руку, и повел вокруг судна, и, обойдя, поднялся на палубу. Следом шли все.

В то время вода заприбылá, стала на мерную степень, да пал ветерок береговой.

Тогда Конон с Олафом сходят на землю и берут в топоры два бревна, держащие судно на городках, над водами.

В то время у старосты пуще всех сердце замерло… И внизу треснуло, и судно дрогнуло да прянуло с городков в воду. И я носом о палубу стегнулся, да и все худо устояли.

А отец смеется:

— Что ты, воронье перо, вострепещился?

Мастер, поднявшись на палубу и став на степень, говорил:

— В чем не уноровил и не по вашему обычаю сделал, на том простите.

Все к нему стали подходить и поздравлять в охапочку.

А «Трифон» покачивался на волнах — видно, и

ему любо было.

Тогда отдали тросы и отворили паруса. В паруса дохнул ветер. И пошел наш корабль, как сокол, ширяся на ветрах.

Все песню запели:

Встаньте, государи,
Деды и бабы:
Постерегите, поберегите
Любимое судно,
Днем под солнцем,
Ночью под месяцем,
Под частыми дождями,
Под буйными ветрами.
Вода-девица,
Река-кормилица!
Моешь пни, и колодья,
И холодны каменья.
Вот тебе подарок:
Белопарусной кораблик!
… … … … … … … …

И обошли кораблем далече по солнцу. А паруса обронив, бросили якоря у того же острова на живой воде.

На палубе накрыт был стол со всякой едой, рыбной и мясной, с пирогами и медами. За столом радовались до вечера. Таково напировались, ажно в карбас вечером погрузились не без кручины. Егор Осипович с Иван Петровичем, старые капитаны, в воду пали, мало не потонули. Куда и хмель девался. Домой плыли — только мама, да Конон, да еще трое-четверо гребли. Остальные вовсе в дело не годились. А к берегу причалили — и на гору подняться наши гости не могут, заходили по взъезду на четвереньках. Вот сколь светлы были.

Конец сентября отец отвел «Трифона» в деревню Уйму, города выше десять верст, на зимовку.

А придет весна-красна, и побежит наше суденышко на Новую Землю по моржа и тюленя, пойдет на Терский берег за семгой, в Корелу за сельдями. Повезет в Норвегу пеньку и доски, сало и кожу. Воротится в Архангельск с треской и палтусом.

Новоземельское знание[16]

Отец мой всю жизнь плавал на судах по Северному океану. Товарищи у него были тоже моряки, опытные и знающие. Особенно хорошо помню я Пафнутия Осиповича Анкудинова. Он был уже стар. Когда собирался в гости, концы своей длинной седой бороды прятал за жилет.

Бывало, я спрошу его:

— Дедушко Пафнутий, вам сколько лет?

Он неизменно отвечал:

— Сто лет в субботу.

Отца моего Пафнутий Осипович иногда называл «Витька» или «Викторко». Я и пеняю отцу:

— Батя, у тебя у самого борода с проседью. Какой же ты «Витька»?

Отец засмеется:

— Глупая ты рыба! Он мой учитель. Я в лодье Анкудинова курс морской науки начал проходить.

---

[16] Notes: 16

Впервые опубликовано под названием «Морское знание» в сборнике «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957) и переиздано под названием «Новоземельское знание» в сборниках «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. *–Примеч. ред.*

— Батя, как же он тебя учил?

— Мы, дитя, тогда без книг учились. Морское знание[17] брали с практики. Я расскажу тебе о первом моем плавании с Пафнутием Анкудиновым. Ты поймешь, как мы учились…

Пафнутий Анкудинов превосходно знал берега Новой Земли, где были промыслы на белого медведя, на песца. В эти дальние берега Анкудинов ходил на лодье — большом парусном трехмачтовом судне. На таком судне Анкудинов был кормщиком. Кормщику была «послушна и подручна» вся команда лодьи. Самым молодым подручным был я. Спутницей нашей лодьи всегда бывала лодья другого архангельского кормщика, Ивана Узкого.

Однажды, возвращаясь с промысла, обе лодьи шли вдоль западного берега Новой Земли. Ветер с берега развел лихую непогоду. Наш кормщик успел укрыться в губу Пособную. Лодью Узкого стало отдирать от берега, и она потерялась из виду. Через четыре дня береговой восточный

---

[17] Notes: 17

Плавание по Белому морю, Северному Ледовитому океану и их заливам требовало большого опыта и знаний. Наука кораблевождения в той или другой части Белого моря и океана обозначалась у поморов термином «знание». Различались Новоземельское знание — умение водить корабли вдоль западных берегов Новой Земли; Двинское и Соловецкое знания — вождение судов в сложном фарватере Двины, среди многочисленных островов и шхер.

ветер сменился южным, «русским» ветром. Этот ветер держал нас в Пособной еще четыре дня. Русский ветер сменился ветром с севера. Тотчас Анкудинов подымает якоря, открывает паруса и отправляется искать Ивана Узкого.

Продолжая прерванный курс, Анкудинов опять шел вдоль берега. По́ветерь была неровная. Временем накатывал туман. Мы убавляли паруса, шли тихо, по течению.

Я знал, что Анкудинов не пойдет домой, на Русь, без Ивана Узкого, и думал, что пойдем обыскивать все попутные заливы. Но кормщик наш шел подряд два дня и две ночи, шел вперед, не обращая никакого внимания на берег, чуть видный сквозь туман. Я удивился еще больше, когда кормщик круто управил лодью в залив, ничем не отличный от пройденных. Не я один, и другие из команды говорили:

— Будто тебя, кормщик, кто за руку взял и повел в эту маловидную лахту.

Но действительно, здесь, в этой лахте, Иван Узкий ждал Анкудинова.

Я удивился в третий раз, когда увидел, что нас ждали именно сегодня и Узкий с раннего утра велел готовить обед на тридцать человек, по числу команды двух лодей.

За обедом ученики Ивана Узкого говорят:

— Ты, Виктор, дивился на своего кормщика, а мы на своего. Как только мы забежали в эту лахту, Иван Узкий стал говорить, как по книге читать: «Мы сидим без дела здесь, Анкудинов тоскует там». Дня через три кормщик говорит: «Сегодня Анкудинов выскочил из заключения и устремился к нам. То летит на крыльях, то ползунком ползет». А вчера, в канун вашего прихода, высказал: «Завтра, в час большой воды[18], можно ждать гостей…» Прямо как колдун читал по тайной книге.

Старшие обедали в молчании, и наш разговор был слышен. Иван Узкий рассмеялся и сказал:

— Кормщик Анкудинов, объясни моим ребятам наше колдовство.

Анкудинов стал объяснять:

— Как известно, мы в разлуке были десять дней. Первые четыре дня восточный ветер меня держал под берегом, а вас гонил открытым морем. В следующие четыре дня дул русский ветер. Он опять держал меня на месте, но вам позволил справить к берегу.

Как я, оставшись далеко, в Пособной, мог преду-

---

[18] Notes: 18

Большая вода и *малая вода* — суточные приливы и отливы.

гадать, где кинет якорь лодья Узкого?..

Я знал, сколько верст в сутки могла проходить ваша лодья. За четыре дня, при ваших многотрудных обстоятельствах, вы сделали в направлении юго-запада четыреста верст. Этот счет мой сразу прекратился, когда ударил противный вам ветер с юго-запада. Немедленно, на всех парусах, вы устремились в берег.

Как мог я в точности определить место вашей стоянки?

Зная, что вы ушли на юго-запад и находитесь от Пособной на расстоянии четырехсот верст, я сообразил, какие бухты и заливы там имеются. А так как у меня и у Ивана Узкого один и тот же опыт и те же мысли, я знал, что он выберет эту лахту.

Точно так же кормщик Узкий знал, что я в четыре дня берегового ветра не двинусь из Пособной. Он знал, что и в следующие четыре дня дует ветер, не попутный для меня. В тот день, когда взялся северный ветер, Иван Узкий сказал вам: «Сегодня Анкудинов выскочил из заключения».

Расстояние в четыреста верст, при попутном ровном ветре, можно одолеть за тридцать два часа. Иван Узкий учел, что за туманами мы шли без парусов, учел неровность ветра и для этих трудностей прибавил к нашему походу еще часи-

ков двенадцать. Его расчет был точен.

День встречи и место встречи мы определили знанием ветра, знанием моря, знанием берегов, а не гаданьем и не колдовством.

На рассвете следующего дня лодьи Анкудинова и Узкого оставили Новоземельский берег и добрым порядком пришли домой, в Архангельск.

Новая Земля[19]

В веку мне — «сто лет в субботу». Песнями да баснями, гудками да волынками, присказками-сказками, радостью-весельем от старости отманиваюсь и людей от смерти-тоски отымаю.

Архангельская страна, Двинская земля богатеет от моря. Угрюмо Студеное море — седой океан. И поморы, идучи на дальние промысла, брали с собой на корабль песню и сказку.

Таковым-то побытом в молодые, давние годы подрядился я в двинскую артель, идти на Новую Землю, бить зверя и сказывать сказку в мрачные дни.

Из-за нас, мастеров-посказателей, артельные старосты плахами березовыми бились, дрались, боем отбивали, отымом отымали нас друг у друга.

---

[19] Notes: 19

Впервые опубликовано под названием «На Новой Земле» в журнале «Рост» в ноябрьско-декабрьском выпуске 1934 г.; под названием «Новая земля» переиздано в журнале «Тридцать дней» в сентябре 1937 г. и включено в сборники «У песенных рек» (М.: Гослитиздат, 1939), «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947), «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957), «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. *–Примеч. ред.*

Дула праматерь морская — пособная поветерь. Наша лодья от Двины до Новой Земли добежала в пятеры сутки. Зверя в тот год выстала несосветимая сила. Целое лето били тюленя, моржа, стреляли оленя. Такой задор одолел — гусли мои паутиной заткало, без них весело!

Осень пошла. Старики говорят: «Время обратно. На добычу задоримся, да кабы беды не дождаться!»

Здесь у ветров обычаи. Весной заведется ветер с юга — полудник. Очистит море от льда, угонит льдину на север, вдаль, в неведомый край, и держит льдину у полночи, в задвенной стране. А осенью приходит день и час — полуденный ветер умолкнет. Волю возьмет ветер-полуночник. Погонит льдину обратно к Новой Земле. Смены летнего ветра на зимний не жди!

Вот этак с вечера спать завалимся: «Ребята, завтра домой непременно». А утро настанет — ветер вчерашний. Опять тебя так и подмывает: «Коли' зверя-то, стреляй! Вей золото в клубок. Жёнок, невест с экой добычи в шелк и в бархат оденем!»

До бортов корабль нагрузили. Староста назначил час отхода.

Тогда артель раскололась надвое. Одиннадцать зашли на лодью. Мы, одиннадцать, толкуем свое:

«Плывите, доставьте добычу домой. А за нами сюда другой кораблик немедля пошлите. Мы будем ждать, новый груз припасать. Сей год зима не торопится».

Староста нас и клял и ругал. В последнюю минуту с нами остался:

— Я клятву давал вас, дураков, охранять! Слово дадено — как пуля стрелена. Твори, Бог, волю свою! Вы с меня волю сняли.

Те убежали, мы опять промышляем, барыши считаем. Прошла неделя, другая. Время бы за нами и судну быть. Тайно-то, про себя-то, тревожиться стали. На Здвиженье птица улетела. Лебеди, гуси, гагары — все потерялось. Полетели белые мухи, будто саван белый спустился. Тихо припало… Заболели сердца-ти у нас. Защемило туже да туже.

Как-то спросил я:

— Староста, почто ты с лодьи книги снес — Четьи-Минеи, Зимние месяцы?

Он бороду погладил:

— Вдруг да кому, баюнок, на Новой Земле зимовать доведется… Они нам за книги спасибо скажут.

— Староста, даль небесная над морем побелела. Это от снегов?

— Нет, дитя, от льдины… — И ласково так и печально поглядел мне в глаза. — А ты ладь, ладь гусли-ти. Ежели не на корабле, дак на песне твоей поедем.

Ночевали мы в избушке за горой. В пятую неделю ожиданья на заре пошел я к морю глядеть корабля. Иду и чувствую, что холодно, что ветер не вчерашний. Шапчонку сорвал, щеку подставил, а ветер-то норд-ост, полуночник… Ноги будто подрезал кто-то, присел даже. Однако усилился, вылез на гля'день. И море увидел: белое такое… Лед, сколько глазом достать, — все лед. Льдины — что гробы белые. И лезут они на берег, и стонут, и гремят. Жмет их полуночник-от… Воротился, сказываю. Только ахнули: месяц ждавши, с тоски порвались, а каково будет девять месяцев ждать!

Помолились мы крепко, с рыданием, и зазимовали.

Староста говорит:

— Не тужи, ребята! Ни радость вечна, ни печаль бесконечна. Давайте избу на зиму налаживать.

Собрали по берегам остатки разбитых кораблей. Избу заштопали-зашили. Тут и снегом нас завалило до трубы. Сутки отгребались.

Стало тепло, а темно. И на дворе день потерялся: ночь накрыла землю и море. И в полдень и в

полночь горят звездные силы.

Староста научил по созвездьям время читать, часы узнавать. В избе на ма́тице календарь на год нарезали: кресты, кружки, рубежи — праздники, будни, посты. Заместо свечи жирник горел денно-нощно…

Тут повадились гости незваные — белые медведи: рыбный, мясной запас проверять. В сени зашли, в дверь колотили; когтищами, будто ножами, свои письмена по стенам навели. Мы десять медведей убили; семь-то матерых. Перестали ходить. Они, еретики, пуще всего свистом своим донимали. В когти свистят столь пронзительно, ажно мы за сердце хватались.

Тут и всток-ветерок из-за гор приударил. По ветру льдина с камнем летела. По две недели мы за порог не ступали, как мыши в подполье, сидели. Счет дням по жирнику вели: приметили, сколько сала сгорит от полдня до полдня. Староста дышит мне: «Пуще всего, чтобы люди в скуку не упали. Всякими манами ихние мысли уводи».

С утра мужики шить сядут, приказывают мне:

— Пост теперь, книгу читай. Да чтобы страх был!

Слушают, вздыхают… А оконце вдруг осветится странным, невременным светом. Горят в небе

сполохи, северное сияние. С запада оли до востока будто река вся жемчужная, изумрудная свернется да развернется; то как бы руки златые по небу пойдут, перебирают серебряные струны…

Вечером ребята песню запросят. Староста строго:

— В песнях все смехи да хи-хи. Заводи, баюнок, лучше ста́рину.

Сказываю Соловья Будимировича:

Из-за моря, моря Студеного,
Выплывают корабли Будимировы.
Тридцать кораблей без единого,
Нос-корма по-звериному,
Бока взведены по-туриному.
А и вместо глаз было вставлено
По камню было по яхонту,
Вместо бровей было прибито
По черному соболю сибирскому…

В пост на былину-ста́рину разрешено, а уж как завыговаривает старинка про любовь да как зачнут мужики сгогатывать, так староста только головой вертит да руками машет:

— Ну, разлилась Масленица, затопила Великий пост!

Про Лира-короля слушать любили. По книжке у меня было выучено.

— Ты, баюнок, мастер слезы выжимать. Поплачешь, оно и легче.

Был у меня в артели друг, подпеватель Тимоша. Перед Святками он замолчал.

Староста мне наказывает:

— Не давай ему задумываться!

Я заплакал:

— Тимоша моложе всех, что ему печалиться!

— То и горе. Стар человек, многоопытен — беды по сортам разбирает: это, мол, беда, это полбеды. А молодому уму несродно ни терпеть, ни ждать.

Я Тимошу отчаянно любил, жалел:

— Тимошенька, чем ты будешь зиму провожать, весну встречать? Давай сделаем гудок.

На деревянную чашу натянули жилы оленьи, гриф из вереска — вот и гудок с погудальцем.

Два коровьих рога, в чем иглы держали, то сопелки-свирели.

— Староста, нам до праздника надо сы'гровку делать.

— Играть нельзя, а сыгровку можно.

«Во святых-то вечерах виноградчики стучат: виноградие красно-зеленое!»

В праздник всякий вечер ударим в гусли; запоет

гудок девическим голосом, завизжат рожки. Учинится топот-хлопот, скаканье-плясанье. Зажиг от старосты пойдет: зачнет пудовыми сапожищами в половицы бухать, перстами щелкать, закружится…

У нас песни поют,
У нас гудки гудут,
Золотая труба трубит,
Переладец разговаривает…

За старостой — стар и млад, ажно ветер по избе. И Тимоша с нами. Только я заметил: глаза у него блестели и губы рдели по-особому. Утром он не встал. И зачал наш Тимошенька таять, как снег.

Я обниму его, реву над ним:

— Тимошенька, не спи! Во снах тебя смерть схватит…

Он рассмехнется:

— Ты не отдавай меня смерти-то.

Нет, не укараулил я Тимошеньку, не сохранил, не уберег от смерти…

За Тимошей еще трое товарищей повалились в той же тоске. Сам староста перед ними в гудок играл и кружился. Все артельные попеременно плясали, смешили недужных. На Афанасьев день, января восемнадцатого, они рассмеялись

и встали. Только Тимошеньку моего не мог я рассмешить… Положили его на глядень, откуда море видать. Графитной плитой накрыли и начертали:

Спит Тимоша-горожанин,

Ждет трубы архангеловы.

На Афанасьев-от день первый свет показался над Новой Землей. В полдень заря зарумянилась. Мы и ночник погасили на часок. На Аксинью-полузимницу солнышко-батюшко как бы с красным фонариком прошло по горам.

В Сре́тенев день солнышка мы навидались. В полном лике оно над морем встало. Мы-то целовались, обнимались в охапку, по снегу катались, в землю кланялись солнцу-то красному:

— Здравствуй, отец наш родной, солнце пресветлое! При тебе теперь живы будем!

Да в землю ему, да в землю ему, солнцу-то красному.

Друг друга разглядываем:

— Ты, баюнок, ободатель!

— А ты поседатель!

— А это кто, негрянин черной?

— Ничего, промоюсь — краше вас буду!

И Благовещенье, и Пасху славить к морю вы-

ходили. В медные котлы звонили. Проталинки ребячьими глазками в небо заглядели. Мох закудрявился. На радоницу в тысячу звонков-колокольчиков Новая Земля зазвенела — с гор ручьи побежали. На Егорьев день гуся два, чайки две, гагары две прилетели, посидели, поглядели, поговорили — опять улетели. Передовые это были. На вешнего Николу слышим сквозь сон: стон стоит на дворе. Выбежали — птица прилетела! И лебеди, и гуси, и гагары, и… все прилетели. Земли не видать, голосу человеческого не слышно. Лебедь кикает, гагара вопит, чайка кричит. Любо! Весело!

На Троицу в ночь будто орган заиграл, во вселенной будто трубы запели. Это ветры сменились. Ветры с полдня, южные, летние ветры ударили. Дрогнула льдина морская, заворотилась и ушла. Море по-веселому зашумело, волна разгулялась во все стороны света белого. По горам шиповник зацвел. Березка, вся-то она ростом в аршин, притулилась за камешком, листочки по грошику, а тоже, как невеста, сережки надела. Тут и травочка маленька, и пчелка бунчит…

Мы, где эко место увидим, падем на колени, руками охапим:

— Мать-земля благоцветущая! Мать — сыра

земля!

День тогда беззакатный стоит над Новой Землей, и ночи нет ни единого часу. А мы в солнечные-те ночи и сон и еду потеряли. Своих ждем, корабля ждем. Так и живем на берегу, на высоком-то гляденье. Так и едим глазами край-то морюшка, откуда кораблю быть…

Раз этак задремали о полдне. Вдруг староста кричит:

— Парус! Парус! Парус!..

Подняло нас. Правда, парус! Да не один. Вон два кораблика, вон три соколика… Наши это! С Двины за нами идут…

Тут опять слезы. Только — ах! — сладкие это были слезы. Слаще их ничего не живет на земле.

Для увеселенья[20]
Рассказ отца

Владимиру Сякину

В семидесятых годах прошлого столетия плыли мы первым весенним рейсом из Белого моря в Мурманское.

Льдина у Терского берега вынудила нас взять на всток. Стали попадаться отмелые места. Вдруг старик-рулевой сдернул шапку и поклонился в сторону еле видимой каменной грядки.

— Заповедь положена, — пояснил старик. — «Все плывущие в этих местах моря-океана, поминайте братьев Ивана и Ондреяна».

Белое море изобилует преданиями. История, которую услышал я от старика-рулевого, случилась во времена недавние, но и на ней лежала печать какого-то величественного спокойствия, вообще свойственного северным сказаниям.

Иван и Ондреян, фамилии Личутины, были

---

[20] Notes: 20

Впервые опубликовано под названием «Для увеселения» в журнале «Нева» в мае 1955 г. и включено под названием «Для увеселенья» в сборники «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. *–Примеч. ред.*

родом с Мезени. В свои молодые годы трудились они на верфях Архангельска. По штату числились плотниками, а на деле выполняли резное художество. Старики помнят этот избыток деревянных аллегорий на носу и корме корабля. Изображался олень, и орел, и феникс, и лев; также кумирические боги и знатные особы. Все это резчик должен был поставить в живность, чтобы как в натуре. На корме находился клейнод, или герб, того становища, к которому приписано судно.

Вот какое художество доверено было братьям Личутиным! И они оправдывали это доверие с самой выдающейся фантазией. Увы, одни чертежи остались на посмотрение потомков.

К концу сороковых годов, в силу каких-то семейных обстоятельств, братья Личутины воротились в Мезень. По примеру прадедов-дедов занялись морским промыслом. На Канском берегу была у них становая изба. Сюда приходили на карбасе, отсюда напускались в море, в сторону помянутого корга.

На малой каменной грядке живали по нескольку дней, смотря по ветру, по рыбе, по воде. Сюда завозили хлеб, дрова, пресную воду. Так продолжалось лет семь или восемь. Наступил 1857 год, весьма неблагоприятный для мореплавания. В

конце августа Иван с Ондреяном опять, как гагары, залетели на свой островок. Таково рыбацкое обыкновение: «Пола мокрá, дак брюхо сытó».

И вот хлеб доели, воду выпили — утром, с попутной водой, изладились плыть на матерую землю. Промышленную рыбу и снасть положили на карбас. Карбас поставили на якорь меж камней. Сами уснули на бережку, у огонька. Был канун Семена дня, летопроводца. А ночью ударила штормовая непогодушка. Взводень, вал морской, выхватил карбас из каменных воротцев, сорвал с якорей и унес безвестно куда.

Беда случилась страшная, непоправимая. Островок лежал в стороне от расхожих морских путей. По времени осени нельзя было ждать проходящего судна. Рыбки достать нечем. Валящие кости да рыбьи черева — то и питание. А питье — сколько дождя или снегу выпадет.

Иван и Ондреян понимали свое положение, ясно предвидели свой близкий конец и отнеслись к этой неизбежности спокойно и великодушно.

Они рассудили так: «Не мы первые, не мы последние. Мало ли нашего брата пропадает в относах морских, пропадает в кораблекрушениях. Если на свете не станет еще двоих рядовых промышленников, от этого белому свету переме-

ненья не будет».

По обычаю, надобно было оставить извещение в письменной форме: кто они, погибшие, и откуда они, и по какой причине померли. Если не разыщет родня, то, приведется, случайный мореходец даст знать на родину.

На островке оставалась столешница, на которой чистили рыбу и обедали. Это был телдос, звено карбасного поддона. Четыре четверти в длину, три в ширину.

При поясах имелись промышленные ножи — клепики.

Оставалось ножом по доске нацарапать несвязные слова предсмертного вопля. Но эти два мужика — мезенские мещане по званью — были вдохновенными художниками по призванью.

Не крик, не проклятье судьбе оставили по себе братья Личутины. Они вспомнили любезное сердцу художество. Простая столешница превратилась в произведение искусства. Вместо сосновой доски видим резное надгробие высокого стиля.

Чудное дело! Смерть наступила на остров, смерть взмахнулась косой, братья видят ее — и слагают гимн жизни, поют песнь красоте. И эпитафию они себе слагают в торжественных

стихах.

Ондреян, младший брат, прожил на островке шесть недель. День его смерти отметил Иван на затыле достопамятной доски.

Когда сложил на груди свои художные руки Иван, того нашими человеческими письменами не записано.

На следующий год, вслед за вешнею льдиной, племянник Личутиных отправился отыскивать своих дядьев. Золотистая доска в черных камнях была хорошей приметой. Племянник все обрядил и утвердил. Списал эпитафию.

История, рассказанная мезенским стариком, запала мне в сердце. Повидать место покоя безвестных художников стало для меня заветной мечтой. Но годы катятся, дни торопятся…

В 1883 году Управление гидрографии наряжает меня с капитаном Лоушкиным ставить приметные знаки о западный берег Канской земли. В июне, в лучах незакатимого солнца, держали мы курс от Конушиного мыса под Север. Я рассказал Максиму Лоушкину о братьях Личутиных. Определили место личутинского корга.

Канун Ивана Купалы шкуна стояла у берега. О вечерней воде побежали мы с Максимом Лоушкиным в шлюпке под парусом. Правили в голомя.

Ближе к полуночи ветер упал. Над водами потянулись туманы. В тишине плеснул взводенок — признак отмели. Закрыли парус, тихонько пошли на веслах. В этот тихостный час и птица морская сидит на камнях, не шевелится. Где села, там и сидит, молчит, тишину караулит.

— Теперь где-нибудь близко, — шепчет мне Максим Лоушкин.

И вот слышим: за туманной завесой кто-то играет на гуслях. Кто-то поет, с кем-то беседует… Они это, Иван с Ондреяном! Туман-то будто рука подняла. Заветный островок перед нами как со дна моря всплыл. Камни вкруг невысокого взлобья. На каждом камне большая белая птица. А что гусли играли — это легкий прибой. Волна о камень плеснет да с камня бежит. Причалили; осторожно ступаем, чтобы птиц не задеть. А они сидят, как изваяния. Все как заколдовано. Все будто в сказке. То ли не сказка: полуночное солнце будто читает ту доску личутинскую и начитаться не может.

Мы шапки сняли, наглядеться не можем. Перед нами художество, дело рук человеческих. А как пристало оно здесь к безбрежности моря, к этим птицам, сидящим на отмели, к нежной, светлой тусклости неба!

Достопамятная доска с краев обомшéла, иссечена ветром и солеными брызгами. Но не увяло художество, не устарела соразмерность пропорций, не полиняло изящество вкуса.

Посредине доски письмена — эпитафия, — делано высокой резьбой. По сторонам резана рама — обнос, с такою иллюзией, что узор неустанно бежит. По углам аллегории — тонущий корабль; опрокинутый факел; якорь спасения; птица феникс, горящая и несгорающая. Стали читать эпитафию:

Корабельные плотники Иван с Ондреяном

Здесь скончали земные труды,

И на долгий отдых повалились,

И ждут архангеловой трубы.

Осенью 1857-го года

Окинула море грозна непогода.

Божьим судом или своею оплошкой

Карбас утерялся со снастьми и припасом,

И нам, братьям, досталось на здешней корге

Ждать смертного часу.

Чтобы ум отманить от безвременной скуки,

К сей доске приложили мы старательные руки…

Ондреян ухитрил раму резьбой для увеселенья;

Иван летопись писал для уведомленья,

Что родом мы Личутины, Григорьевы дети,

Мезенски мещана.

И помяните нас, все плывущие

В сих концах моря-океана.

Капитан Лоушкин тогда заплакал, когда дошел до этого слова — «для увеселенья». А я этой рифмы не стерпел — «на долгий отдых повалились».

Проплакали и отерли слезы: вокруг-то очень необыкновенно было. Малая вода пошла на большую, и тут море вздохнуло. Вздох от запада до востока прошумел. Тогда туманы с моря снялись, ввысь полетели и там взялись жемчужными барашками, и птицы разом вскрикнули и поднялись над мелями в три, в четыре венца.

Неизъяснимая, непонятная радость начала шириться в сердце. Где понять!.. Где изъяснить!..

Обратно с Максимом плыли — молчали.

Боялись — не сронить бы, не потерять бы веселья сердечного.

Да разве потеряешь?!

Поклон сына отцу[21]

Отец мой, берегам бывалец, морям проходец, ленивой и спокойной жизни не искал. От юности до старости жизнь его прошла в службе Студеному морю. В звании матроса, затем штурмана и шкипера ходил в Скандинавию и на Новую Землю. Имел степень «корабельного мастера первой статьи». Ряд лет состоял главным механиком Мурманского пароходства.

Мы видели отца дома, в Архангельске, только зимою. Прибежит в обед с верфи или из Мурманских мастерских. Для спеху уж все на стол поставлено. И убежит — не убрано.

— Мне некогда. Машину пробуем…

За ужином ушки хлебнет, а рыбы не может:

— Я устал. Я лягу.

Жизнь скоро скажется, а трудно тянется…

Я еще мал был, беда стряслась над нами: у отца жилы с правой руки машиной обрало и до смерти

---

[21] Notes: 21

Впервые опубликовано в сборнике «У песенных рек» (М.: Гослитиздат, 1939) и переиздано в сборниках «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947), «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. *–Примеч. ред.*

пальцы худо разгибались.

Еще помяну дни горя, когда с маяка телеграмма в город пришла: «Пароход „Чижов“ у Зимнего берега разбит».

А на «Чижове» отец ходил… Однако не судьба была тогда погибнуть. Отец спасся с командой.

Зимой в свободный час он мастерил модели фрегатов, бригов, шкун. Сделает корпус как есть по-корабельному — и мачты, и реи, и паруса, и якоря, и весь такелаж. Бывало, мать только руками всплеснет, когда он на паруса хорошую салфетку изрежет.

Лет семи начал я у отца проситься в море, а он не внимал:

— Рано тебе, свет, рассол морской пробовать. Лучше тебе мама кофейку нальет.

— Я рыбу хочу промышлять.

— Вот и промышляй у себя ложкой в тарелке.

Только на десятом году попал я в море до Мурмана.

Иной раз ранней весной или поздней осенью пойдет отец на бор поохотиться, тут я ему закаблучье обступал. Отец был хороший стрелок, отроду с ружьем, и я юн забе́гал с дробовкой. С компасом и часы по солнцу узнавать отец меня выучил. Ступаем по мху, по мягким оленьим пу-

тищам, и он мне рассказывает о зверях, о птицах, о рыбах, как они живут, как их добывают, как язык животных понимать…

Только пустых бесед и разговоров не терпел и боялся. Скажет:

— Праздное слово сказать — все одно что без ума камнем бросить. Берегись пустопорожних разговоров, бойся-перебойся пустого времени — это живая смерть… Прежде вечного спокоя не почивай… Слыхал ли, поют:

Лежа добра не добыть,
горе не избыть,
чести и любви не нажить,
красной одежды не носить.

И еще скажу — никогда не печалься. Печаль — как моль в одежде, как червь в яблоке. От печали — смерть. Но беда не в том, что в печаль упадешь; в горе — упавши, не встать, но лежать. А и смерти не бойся. Кабы не было смерти, сами бы себя ели…

А и ве́село подойдет, отец и того не хоронится. С мореходами за стол сядут, запоют песни, захохочут, ажно посуда в шкафу звенит. У Ледовитого океана, у Грозного промысла, без шуток да без песен и век проживешь — не усмехнешься.

А отец много на веку работы унес, много поту утер на зною у машины, на людей тружаяся. Не давая себе покоя ни в дни, ни в ночи.

В Мурманском доке у отца был кочегар — парнишка недавно из деревни. Ночью на работе его в сон склонит у топки. Отец своего отдыха час-другой оторвет, спящего заменит:

— Молод, бедной… мне эдак-то смала пришлось… Теперь легче, теперь двенадцать часов. А пускай поспит.

Среди зимы на пятьдесят пятом году жизни отец заболел, но работы ни в доке, ни в мастерских не оставлял, торопясь наладить судовые машины к навигации.

Конец апреля того же года пароходы засвистели, в море пошли, а мы снесли мужественное отцово тело на вечный отдых.

Изящные мастера

Лебяжья река[22]

Есть у Студеного моря Лебяжья река. На веках только гуси да лебеди прилетали сюда по весне, вили гнезда. Потом пришли люди, наставились хоромами-домами. На одном берегу деревня Лебяжья Гора, на другом — деревня Гусиная Гора. Земля здесь нехлебородная. Того ради народ промышляет деревянным и живописным делом. На продажу работают сундуки, ларцы, шкатулки и подписывают красками. Мастерство переходило от отца к детям. Бывали настоящие художники. И все они жили скудно. Все зависело от скупщика. Все глядели в рот хозяину. Скупщики платили не цену, не деньги — злосчастные гроши-копейки. Мастера гонялись за случайным покупателем. Из-за этого была рознь, зависть и вражда. Самолучшие живописцы Иван Губа да Иван Щека усилились однажды, сколотили артель. Артель рассыпалась. Сами учредители, Губа да Щека, до старости меж собой слова гладкого сказать не

---

[22] Notes: 22

Впервые опубликовано в журнале «Нева» в августе 1958 г. и включено в сборники «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. *–Примеч. ред.*

умели. Проезжающий в царскую ссылку человек выговорил им однажды:

— Не в ту сторону воюете, друзья!

— Против кого же воевать?

— Против тех, кому рознь ваша на руку.

— Золотое твое слово, — отвечали Губа и Щека. — Мы таких, как ты, согласны уважать. Садись в нашу лодку, берись за кормило.

Но разумного человека угонили дальше, к Мерзлому морю. Оставленные царской властью без призора, самобытные деревенские художники зачастую бросали свое художество.

Но пришла пора, ударил и час: царский амбар развалился от подмою живой воды. Как трава из-под снегов, потянулись к жизни художники-сундучники, живописцы-красильщики. Говорливая Лебяжья пуще всякой сказки расскажет о комсомольцах Гуле Большом и Васе Меньшом, которые помогли деревенским мастерам собраться в складчину-братчину.

Гурий Большаков и Василий Меньшенин были комсомольцы из первых в то время и по той далекой реке. Гуля председательствовал в сельсовете. Деревенские хвастались:

— Настоящий председатель. Худых людей словом одергивает, добрых людей словом под-

держивает.

Гуля Большой собрал в артель остаточных мастеров Лебяжьей Горы. Вася Меньшой и столяр Федот Деревянный связали в одну семью мастеров Горы Гусиной.

Артельное дело пошло бы ходко, да не хватало хитромудрых живописцев Губы и Щеки. Освободившись от хозяйской кабалы, оба Ивана ушли на дальние морские берега, на промыслы.

В красные дни на песках у Лебяжьей реки сходились обе артели. Гуля председательствовал, Вася секретарствовал. Люди говорили:

— Всякий художный запас, краски, и масло, и клей, мы добудем. Кисти и прочую художную снасть сами доспеем. А как ремесленную порядню вести, чтобы наше поделье в домовых обиходах было прочно и вечно? Это мы порастеряли, в этом мы поослабли. Вид дадим, а не красовито. Цвет покажем — полиняет. И вторая статья: как художество строить? Без Губы да без Щеки мы письмо переврем и пошиб-манеру запутаем. Живем соседственно, но в чертеже и в раскраске каждая деревня соблюдает свою добродетель. На Лебяжьей колер обожают самый нежный, «тьмо-лимонный» да «светло-осиновый», голубой да лазоревый. Человечков писали тоненьких. На

Гусиной красили пестро. Цвет пущали сильный. Мужиков писали головастеньких, а женочек коротеньких. Нам свое лицо терять не надобно. У всякой ягоды свой скус.

Старуха Губина докладывала:

— Письма от мужа были, адрес не пишет, для того что на месте не сидит. И я спрошу тебя, товарищ председатель: ужели по теперешней науке нельзя дознать местоположенье хоть бы нашего Губы? Узнать бы да стребовать письмом.

Гуля рассмеялся:

— К сожаленью, и наука не может вычислить координаты наших мастеров. Ни ихней долготы, ни широты.

Порешили на том, что будут сыскивать вестей и по тем вестям мастеров добывать. А работу начинать не мешкая для того, что время горячее.

На Лебяжьей сыскались и нехудые живописцы. Гусиная Гора в живописи пооскудела. Зато столяр Федот Деревянный умел резное дело: стамеской орудовал по дереву краше, нежели иной кистью по бумаге. Федот взялся приобучить молодежь столярству и резьбе.

И полезли ребята к Федоту, как мухи на брагу. Навыкали пилить и тесать, делали скамью и столе́ц чисто и чинно. Которые ребята были

схватчивы и ученье принимали бойко, тех Федот садил за тонкую работу.

— Вот, Михаилушко, — толковал Федот талантливому пареньку, — вот тебе художественные снасти, пилка да топорок, долото да стамеска. Построишь тут ларец. Приладишь тут кровельку. Получится для мухи для горюхи домок-теремок. К ней постойщики приедут. Пойдет житье-бытье.

Муха – Горюха,
Блоха – Поскакуха,
Комар – Пискун,
Таракан – Шаркун.

Присмотрясь к Федотовым рукам, ребята начинали делать сами. Всякую поделку, какова она будет в дереве, сначала чертили на чертеж, на бумагу. Федотовым ученикам подражали малыши-недоросточки. Мать иному репину даст, он из репы человечью образину или птичку вырежет.

Многие из старших пристрастились к рисованию, дивились сами на себя — почему это человеку художничать охота? Федот размышлял:

— Такой уж иной человек родится, чертить, да красить, да что-нибудь мастерить вроде как пить-есть ему надобно. Сундук, скажем, и без прикрасы в обиход пойдет. А художнику охота,

чтобы этим сундуком любовались. Ну и в карман лишняя копейка. Я вот резьбой да узором сколько покупателя приманиваю, друга-столько себя веселю.

Федот жил и ребят обучал в доме Ивана Щеки. На деревне все дома были великие, потому что сторона лесная, но у Щеки было особенно светло: окна рублены широко. Иван Щека, сряжаясь в море, сказал Федоту:

— У тебя глазишки маленькие, и оконца в твоей избе коротенькие. Там тебе работать темно. Заходи в мой дом, столярствуй, топи печи, карауль…

Когда к Федоту стали собираться артельные, он немножко-то обеспокоился: «Без спроса тут хозяйничаю». А и хозяин будто в канский мох провалился.

На Лебяжьей Горе ждали Ивана Губу, Гуля Большой заходил спрашивать вестей к старухе Губиной:

— Как думаете, не вместе Иван Егорович с Иваном Щекой промышляют?

— Могут ли вместе, Гулюшка, эких два воеводы! Весь век в два веника метут. Все чего-то делят. Однако по секрету вот что тебе расскажу: мой-то муженек Ивана Щекина работу в сундуке хранит. Две коробки писаных в полотенце увернуты, в

бумагу увязаны. В праздник вынет, полюбуется, вздохнет и скажет: «По живописной добродетели ни с кем Ваньку Щекина не сравню…» Опять и такой случай был: скупщик на пристани парохода ждет, сидит на ларце — Ивана Губина работа. Щека это усмотрел, к купцу подскочил и плюху дал: «Недостоин ты в руках носить Губино художество, не то что сидеть на нем…» Колотятся теперь о морскую льдину моржи, седатые, не ведают, какие дома дела открываются. Ужо по зиме, на оленях, не будут ли.

На оленях стариков не дождались. Иван Губа приехал по весне, Иван Щека — летом.

С вешней водой Лебяжья река откладывает кисти да краски. Брались за багры, за весла, за якоря, за паруса, за рыболовные снасти. Но из области было получено приглашение участвовать в осенней выставке, и люди урывали день-другой для художества.

Гуля Большой по должности и по делам выставки гонял то в область, то в район. Никто не встретил Ивана Егоровича Губу на пристани, а Гуля не сразу явился с визитом.

Губа все это принял как невнимание, как пренебрежение и как оскорбление. Пуще всего затужил о том, что артельное дело зачалось без него.

— Я век об этом деле радел, этого времени ждал да хотел. А они мимо меня и мимо Ваньки Щекина артель составили. Нарочно скорым делом стряпали, чтобы меня не пригласить. Хотя и приглашают, да после всех.

Жена уговаривала:

— Не горазды твои речи, Егорович. Артельная телега широка, садись да катись.

— Вот уж, Ананья да Маланья, Фома да кума, да и место заняли. Я не из тех, чтобы сверх канплекта проситься.

— Что тебе проситься? Гуля Большой по зиме сто раз заходил: ждем, говорит, Ивана Егоровича, как майского дня.

— Ежели я майский день, дак меня встретить да почтить должно.

— Музыки да барабану не нашли, а то бы встретили.

— Тебе, дура, смех, а мне смерть… Они и Ваньку Щекина нароком держат без вестей.

— Кто это они, не наш ли Гуля, не Вася ли Меньшенин? — негодовала старуха.

— И Гульку не за что хвалить. Обо всей реке печалится, а мне отставку дал. Пущай мое письмишко самое немудрое, но Щека — первостатейный мастер. Только норов у него тяжелый.

Но я за свою добродетель не пойду в ноги кланяться. А пропитаемся мы своей промышленной рыбешкой.

Артельные тоже не знали, как подступиться к мастеру.

— Смех и грех со стариком. Вишь, для его упрямки и для гордости встречу было надобно срядить. На тарелку посадить да по деревне пронести… Теперь уж все пропало. Он теперь и всенародного моленья не услышит. А бывало, что он, что Щека за чужую обиду первые лезли в драку с мироедами.

Молодежь дивилась:

— Как же хозяева-то дерзость такую прощали?

— Потому что у Ивана Щеки да у Ивана Губы руки золотые. Хозяин да скупщик прибыль этими руками загребали.

Пуще всех Губа обиделся на Гулю Большакова:

— В городе красуется, павлиены к выставке городит, а меня не залюбил. Ему Губа не надобен, и я их всех ничем зову и ни во что кладу.

Гуля Большой прямо с парохода забежал к Губе. Встретила хозяйка со словами:

— Иван Егорович в слабом состоянии здоровья. Принять не может. Извиняется.

Вышла Гулю проводить и зашептала:

— Не оскорбляйся, Гулюшка. Старина сам не рад, да своего упрямого обычая переломить не может. Намедни сам меня послал в артель: «Узнай обиняком, что такое нова тематика. Из артели парни шли и про каку-то „нову тематику“ песню квакали».

Гуля это намотал на ус. Укараулил Губу на улице, учтиво здоровается и подает коробочку:

— Иван Егорович, это первый мой живописный опыт. Я пытался применить новую тематику. Позвольте узнать ваше мнение.

Старик впился глазами в рисунок: звезда, краснофлотец, корабли с гербами.

— Ты это сделал?

— Я, — отвечал Гуля.

— Коробка-то лучше тебя!

Гуля рассказал артельным. Те смеялись:

— Иван Егорович уж век такой. Скупщика, бывало, штукатурит так, что — ах! Народ гогочет. Губа и на народ с веслом, с какой ни есть со снастью налетит… Ивана Губу да Ивана Щеку на весы посадить — ни который не перетянет.

Губа после встречи с Гулей Большаковым принялся за дело. Трудился днем и ночью, благо летние ночи на Севере светлы как день. Выточил большие деревянные блюда, какие шли для сва-

деб, и покрыл левкасом, мелом на рыбьем клею. Как просохло, вылощил звериным зубом.

Стал левкас, как яичная скорлупа, бел и гладок. По левкасу чертил тонким угольком и обводил рисунок чернильцем. В перо от журавлиных крыльев вдевал щепотку волоса от беличьих хвостов — готовил кисти. Потом стирал краски с яичным желтком. Краску соберет в деревянную ложку. Много ложек под левой рукой на лавке лежит. По надобью то ту, то другую ложку возьмет, из нее кистью краску берет и пишет по блюду. Рядки серебряного кружева на бирюзе изображали море. По морю золоченые кораблики. Сверху как бы розовый веничек из цветов — утренние зори. Готовое письмо, как просохло, выкрыл олифой, льняным вареным маслом. Мастер хвалился:

— Гляди, жена, олифа-то моя сколь успешна к делу. Голубец и охра здешни немудры. Багрянец из-под нашей же горы. А через олифу сколь они румяны и светлы!

Жена, любуясь, говорила:

— Гуля хоть по мелочам, а художный-то припас из города привозит. Перед распутой синего кобеля привез и нутро маринино.

Мастер усмехнулся:

— Кобальт и ультрамарин… Краски добрые,

а стратит без толку. Которую краску мизинной кисточкой задевать должно, они наплавом будут пущать, ворота красить. Недавно слышал, как они об окраске полов лжесвидетельствуют: олифу с керосином, дескать, превосходно… Я в обморок упал.

Старуха переводила разговор на приятное:

— Уж и красовито у тебя, Егорович. Как сады цветут на блюде.

— То-то! — соглашался Губа. — А разумеешь ли ты силу и смысл письма?

— Очень даже явственно. Здесь красное войско гонит из нашего моря иноземных хватов. Здесь морской парад писан: пушки с наших кораблей палят, знамена трепещутся, чайки летят. А девка с трумпеткой почто на небо залезла?

— Это Слава с трубой, — улыбался старик. — Изображено «Пришествие Красного флота на Север». Надокучили мне птички да цветочки. То желаю рассказать, что мой ум веселит, чему сердце радуется.

Губа решил похвастаться перед артельными, особливо перед Гулей. Старуха побежала к Большаковым. Оказалось, Гуля снова вызван в город. Снова потемнел Иван Егорович:

— Медали поехал лудить для своей канпании.

Конечно, все они Птицианы и Ребрамты. Их посадят в Ермитаж на божницу при освещении електричества. А позабытый художник Ванька Губин пущай поет на мокрой мостовой: «Подайте мальчику на хлеб, он Велизария питает».

— Уж и мастер ты, Егорович, слезы выжимать, — всхлипывает старуха. — Вылизарий-то кто?

— Оскорбленная невинность, — хмуро отвечал Губа.

Вскоре ему надоело жалобить самого себя:

— Председателя нет, щегольну перед артельными.

Разбирало любопытство: что-то наготовили для выставки?

Как-то утром усмотрел, что на улице народу нет, увязал свои блюда, отправился.

— Куда, Иван? — удивилась жена. — Артель-то вся небось на пристани. Пароход пришел.

— Мели, Емеля… Будут они бегать, пароходики встречать, когда выставка на носу… А ты, старуха, не звони. Я тихомолком.

Чтобы люди не подумали чего, Иван прошел по деревне не спеша, помахивая тросточкой, и, словно невзначай, юркнул в артельные ворота. Толкнул двери мастерской. Заперто. Но внутри кто-то вовсю гремел молотком. Иван приправил

стучать и кулаком и палкой.

— Ишь какое министерство! Запершись работают. «Без докладу не входить». Нет уж, я не отступлюсь. Хоть незваный посетитель, а принимать извольте!

Из соседнего дома выглянула бабка:

— Напрасно колотитесь. Народ-то на пароход убежали, дрова грузить… Ой, да это Иван Егорович? Не узнала тебя. Какой товар за пазухой жмешь, антиресность каку-нибудь сработал?

Из дома напротив вылезла другая бабка:

— Здравствуешь, Иван Егорович! Колотись шибче. Один глухой Петруха в мастерской-то, сковородки делает. Дай я пособлю, колом в простенок приударю…

Себя не помня, прилетел Иван Егорович домой. Шиб блюда под лавку.

— Наделал смеху: «Иван Губа в артель ломился, кланялся, просился». Подай мне ружье, старуха. На озеро уйду. С гагарами, с утятами поговорю. Успокою свое сердце. Раньше воскресенья не вернусь.

Лесная тишина не успокоила Ивана. В воскресенье брел домой безрадостно.

— Ничего, товарищи артельные… Я вам улью щей на ложку. Сам до области дойду. Перед ху-

дожественными начальниками свою работу положу. Пущай решат, достойно ли Ивашку Губина от дел отбрасывать…

Возле сельсовета толпился народ. Послышались голоса:

— Губа идет! Егорович идет!..

Кто-то крикнул:

— Эй, Иван Егорович! За тобой два раза бегали. Где ты провалился-то? На собрание опоздаешь!

— Какое такое собрание?

— Гуля Большаков из города доклад привез насчет артели. И наши, и гусиновские тут.

«Ладно, — подумал Губа. — Осчастливлю вас своим присутствием. Напою куплетов. Отругаю и за старое, и за новое, и вперед на три года…»

В обширном зале народу было — хоть по головам ступай. Кончились общие вопросы. Со своим сообщением вышел Гуля Большаков. Рассказывал о строительстве выставки, открытие которой приурочено к Октябрьским праздникам; о том, какое видное место предоставлено Лебяжьей реке. Иван Губа, считая, что для него все потеряно, желая досадить докладчику, начал громко разговаривать с соседями. Тогда и высокий голос Гули Большакова зазвенел как колокольчик:

— Я слышу, что среди нас присутствует наш

уважаемый мастер Иван Егорович Губин. Иван Егорович, я привез вам личное приглашение участвовать на выставке.

Иван буркнул:

— Некому меня там знать.

Гуля продолжал:

— Простите, что без вашего разрешения я показал выставочному комитету несколько ваших работ. Из тех, что хранились в артели. Ваши изделия, Иван Егорович, чрезвычайно понравились. Комитет с удовольствием предоставит вам, Иван Егорович, особую витрину или, если вы пожелаете оказать честь артели, — то в качестве ее члена, среди ее экспонатов. Вы, конечно, будете нашим украшением, Иван Егорович.

Гуля спрыгнул с кафедры, подошел к скамье, где сидел Иван Губа, и протянул ему конверт:

— Вот вам личное письмо от комитета, Иван Егорович.

Тишина стояла в зале. Сотни глаз глядели на Ивана. Иван вдруг побагровел, сморщился, и… слезы обильным потоком хлынули из его глаз. Из-за слез не видя Гулю Большакова, старик нашарил его руками и обнял:

— Заботник ты мой, печальник ты мой, доброхот ты мой, Гулюшка! Не я украшение, это

вы, молодые, великодушные, всемирное наше украшение!

Повернув в сторону артельных мокрое от слез лицо, Иван гаркнул:

— Артель, пиши меня в члены или хотя в ученики! Челом бью!

Не гуси-лебеди крыльями захлопали — артельные в ладоши загремели, закричали:

— Инструктором будешь у нас, Иван Егорович, — решено и подписано!

На Лебяжьей Горе дела идут благополучно. Про Гусиную Гору можно сказать, что если строил здесь артельное дело столяр Федот Деревянный, то увенчал Федотово строенье кровлей комсомолец Вася Меньшенин.

На Гусиной и прежде мало было живописцев. Больше столяры и резчики. В последнее время один Иван Щека умел разрисовать-расписать шкатулку-сундучок в здешнем, особливом вкусе. И краска в Щекиной работе не темнела, не линяла, не смывалась.

— Тридцать лет столешницу мочалками сдираю, — скажет деревенская хозяйка, — а цветочки как сегодня расцвели. Щекина Ивана рукоделье!

Еще зимой Щека оповестил Федота:

— В навигацию, в корабельный приход буду

дома!

Артельные обрадовались. Наготовили ларцов да ящичков: края-каемочки резные, а стенки-кровельки оставили для живописи:

— Иван Акимович приедет, нацветит и наузорит. Не поддадимся Лебяжьей Горе.

Вася Меньшой добывал рисунки, картинки о новой жизни, советской. Собирал и приговаривал:

— Пригодится нашему художнику.

Федот задумчиво покачивал головой:

— Вот только мы пригодимся ли? К своему художеству Иван Акимович относится с пристрастием. Каким глазом взглянет?.. Может, не понравится, что в его избе распоряжаемся. Мне первому достанется.

Иван Щека приехал к лету. Тут же, у морской пристани, узнал подробности об артели, о том, что для артельных в городе «куют медали». Недаром говорили, что Ивана Егоровича с Иваном Акимовичем посадить на одни весы — ни который не перевесит.

Щека рассердился, разгорячился на себя и на людей, а на Федота пуще всех. По Лебяжьей реке ходил нарочный пароходик. Щека не поехал домой. Засел в шатре знакомого рыбака.

О приезде мастера на Гусиной узнали в тот же день. Ждали трое сутки, обеспокоились: «Не захворал ли? Не лежит ли где под карбасом?» Федот Деревянный, как на грех, поранил ногу. На разведку отправился Вася Меньшой.

Щека сидел в шатре, вязал рыбачью сеть. Не поглядел на Васю, а только покосился:

— Здрасте, молодой человек. Меньше вас некого было послать? Федотка околел?

— Федот посек ногу топором.

— Умысел и хитрость… Значит, вас послали бесприютного изгнанника глядеть?.. Возвестите населению, что Ивашка Щекин, не имея где главы приклонить, кочует по морскому берегу, подобно диким племенам.

Вася старался умягчить старика:

— Как мы вас ждали, Иван Акимович. Делов вам наприписали — на барже не утянуть.

Щека уставился на Васю ярым оком:

— Не спросясь, меня в работники купили! Вы будете в моей избушке государить, а я у вас в холопах? Вы и с Губиным нахально поступаете. Он дурачится по старости. А в нашем мастерстве Ивашко Губин личность неизбежная.

— Я вам логику желаю доказать, Иван Акимович.

— А я вам и без логики спою: надменная аспида Федотко пущай опростает мое домишко. Сроку даю неделю. Через неделю покорнейше прошу уведомить меня.

Унылой показалась Васе обратная дорога.

«Как низко ставит сам себя Иван Акимович. Капризит хуже малого ребенка. В деревне будут пересуживать: „Знать, мошну толсту набил, то и куражится“. Больной Федот опечалится. Лучше помолчу. Авось наш долгожданный мастер образумится».

На Гусиной Вася заявил, что Иван Акимович прихворнул. Через недельку просил навестить. Артельные успокоились. У Федота отлегло от сердца.

Комары, безлюдье, досада вконец одолели Щеку за эту неделю.

Вася приехал, начал добрым порядком:

— Напрасно вы на нас обиделись, Иван Акимович. Для чего не едете домой?

— В чулан меня положите или на чердак закинете? — горячился Щека. — Власти из города наедут: «Где обитель оскорбленного Ивана Щекина?» — «Под крыльцом, — отзовусь я, — заместо Шарика и Жучки лаю на разные басы».

Вася не утерпел, рассмеялся.

— Ты смеяться? — загремел старик. — Ты посольство править послан или зубы скалить?!

Рассердился и Вася:

— Что вы на меня разъехались, Иван Акимович? Если я посол, вам должно меня выслушать.

— Я хозяина-мироеда не слушался, а теперь не то время. И вот вам мой последний сказ: еще недельку потерплю. А в воскресенье приеду с этим вот березовым колом. Добром Федотко со двора не выплывет — палкой выгоню!

Ехал Вася домой, думал грустную думу: «Сам себя наш мастер хочет обесславить. А я ничего не скажу в артели. Будь что будет! Неделя — долгий срок, вдруг да обойдется стариковское сердце».

В деревне Вася сказал:

— Иван Акимович выздоровел. Посылает всем по низкому поклону. В воскресенье сам приедет.

Артельные развеселились. У Федота стала бойко заживать нога.

Дом и так содержался в порядке, но к приезду художника прибрались, будто к празднику. Ребята-ученики готовили встречу.

В воскресенье с раннего утра Вася караулил пароход, стоя на высоком берегу. С беспокойством ждал: скоро ли покажется дымок? Раньше Васи пароход увидели ребята. С криком: «Едет, едет дя-

дюшка Иван!» — побежали к пристани. За ними поспевал Федот.

Иван Щека стоял у самого борта. В руках держал березовую палку. Одинокая фигура старика казалась мрачной.

«Наделал я делов!» — подумал Вася, медленно спускаясь вниз к реке.

Сидя у моря, Щека ждал, что к нему приедут на неделе с докладом, с приглашением. Подошло воскресенье, никто не явился. Увязав пожитки, ухватив березовый батог, старик сел на пароход. Всю дорогу сам себя горячил, стукал палкой в палубу: «Ладно, приятели… Я вам не нужен, так и вы мне не нужны. Вот я вас всех ужо…»

Показалась Гусиная Гора и пристань. Щека дивится:

«Кого же это народ встречает?.. Федот в красной шелковой рубахе… Девица с букетом, парнишка с разрисованным листом. Ребята в два ряда… Не начальник ли какой в каюте едет?.. Федот шапкой машет. Все кому-то радуются. На меня глядят!»

Пароход бросил причалы. Артельные ребята не стерпели, нарушили ряды. Бегут к Ивану да кричат:

— Дядюшка Иван Акимович, с приездом! Дядюшка Иван Акимович, с приездом!

Палка выпала из рук Ивана, гремя, покатилась по палубе… Девочка сует Ивану букет. Мальчик звонким голосом читает по листу:

— «Мы, ученики Гусиновской артели, приветствуем нашего художника…»

Иван сгреб в охапку зараз пятерых ребятишек и спрятал лицо в их головенках, чтобы не видно было его слез. Потом крепко обнялись с Федотом.

Было над чем радоваться Васе. Приметив его, Щека сказал:

— Васенька, пройдем-ка в каюту. Сундучок пособишь снять.

В пустой каюте Иван спросил:

— Вася, ты им ничего не говорил? Они ничего не знают?

— Ничего не говорил, Иван Акимович. Они ничего не знают.

Старик поклонился Васе в ноги:

— Не я учитель, Васенька, а ты мой учитель!

Щека ходил по своему дому:

— Занавесочки, цветы, чистота… Пол-то платком носовым продери, платка не замараешь. А эта горница почто на замке?

— Тут твое именье, — объяснил Федот. — Сундук, постель, посуда. Как уехал, так все и лежит нетронуто.

Иван зашумел:

— Эх вы, распорядители! Теснятся тут, а комнату замкнули. Вынести мое барахлишко наверх: я в светелке буду помещаться. Федот останется внизу, а этот весь этаж под мастерскую.

Вася, лукаво прищурив глаз, шепнул Ивану:

— А я, в случае чего, к себе собрался перетаскивать артель-то.

Иван засмеялся:

— У тебя улица грязна, у тебя ворота не крашены, у тебя пол не метен.

До ночи Иван не отпускал народ, а на другой же день артель взялась за краски и за живопись. Работали — «с огня хватали»: выставка была не за горами.

Щека не попал и на собранье, где Гуля Большаков так славно помирил Губу с артелью. Но гусиновцы, которые ходили на Лебяжью Гору, не то что рассказывали, а в лицах представляли и Губу, и Гулю. Щека слушал, и у него сияли глаза:

— Теперь Иван Егорович и меня не оттолкнет. Ты, Вася, и ты, Федот, махнем-ка завтра на Лебяжью.

В избе у Губы сидели артельные, любовались новыми блюдами. Вдруг хозяин, уставясь в окно, ахнул:

— Небывалый гость идет! Раскатись, моя поленница без дров!

Он бросился в сени, протянул обе руки Ивану Щеке.

— Ванька, — сказал Губа, — сколько годов мы друг по друге тужили?!

— Ванька, — отвечал Щека, — пускай лучше люди сочтут, сколько годов мы с тобой дружили.

Неспроста хвалились деревенские старухи, что в городе куют медали на сундучных мастеров. В октябре на выставке артели удостоились наград. На торжественном собрании сказала слово и река Лебяжья. Иван Щека говорил:

— Кто нас прежде знал да кому мы были надобны? Теперь нам от государства поведено быть у живописных дел. Бывало, никто и знать не хотел, что есть такой коробочник-ларечник Ванька Щекин. Теперь мне велено подписывать мои работы. Бывало, даже живопись такого мастера, как Иван Егорович Губин, валялась на базаре с ведрами, с лопатами. Теперь она в музее, под стеклом.

Бывало, мы бродили врозь, теперь нам настоящая дорога под ноги попала. Теперь мы на широкий шаг шагнули… Время покажет, успешно ли будет наше письмо у нового строительства.

Мне, старику, что-то тесно стало у коробоч-

ки-шкатулочки сидеть. Желаю этот потолок расписывать, на заводском театре кистью размахнуться. Чтобы не только птички да цветочки, а об устроении Земли, о войне и тишине рассказать.

Иван Губа говорил:

— Краше теплого лета эти осенние дни. Любо мне, деревенскому мастеру, быть на таком блестящем собрании. И при всех хочу назвать и от всей Лебяжьей реки спасибо сказать нашим комсомольцам Гурию Большакову и Василию Меньшенину. Ты, Гуля Большой, и ты, Вася… стараясь для пользы деревни, вы погасили многолетнюю вражду.

Любя родное художество, какое вы показали терпение! Как дальновидно сказалось ваше поведение… Нас, старых мастеров, звали вы в учителя. И вот я, именуемый учитель, приехал в большой город. Хожу, смотрю, размышляю. И… почувствовал себя учеником.

Дождь[23]

Эта оказия случилась годов за восемьдесят назад. Красильщики Фатьян с подмастерьями Тренькой да Сенькой Бородатым карбасом по Северной реке причаливали к деревням, красили портна, набивали узором полотна. Бабы платились тем же полотняным тканьем, и дальновидный Тренька ругал мастера:

— Выискал ты реку, дядюшка Фатьян. Преудивленные народы: без денег обитают.

Фатьян отмахивался:

— Молчи ты, хилин рассудительный. Наша-та река с деньгами живет? Здесь смолу курят, мы холсты красим: денег класть не во что, кошелька купить не на что… Ужо выплывем к Архангельскому городу, холсты продадим, в барышах домой воротимся.

Архангельск встретил неприветливо. Дул шелоник — на море разбойник. Тренька с Сенькой сроду не видали моря. Боязливо слушали рос-

---

[23] Notes: 23

Впервые опубликовано в журнале «Нева» в августе 1958 г. и включено в сборники «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. *–Примеч. ред.*

сказни о кораблекрушениях. Впрочем, всякий день бегали дивиться морскому чуду — пароходу. Пароход был в диковину не только деревенскому парнишке.

А Фатьяну было не до диковинок. Цены на деревенские холсты явились невыгодны. Фатьян не спал ночами, раздумывал, как быть с товаром. В таких заботах встретил земляка, именитого человека из города. Земляк выслушал Фатьяна и сказал:

— Через пять недель на острове, у морского лесопильного завода, состоит гулянье. При заводе слобода. Слобожанки — щеголихи, а купить нарядов негде. Купцы не ездят: срочных рейсов нет. У тебя, Фатьян, полотняный припас есть, набивные снасти есть. Напечатай своих ситцев, сплавай на гулянье. Я ради старого знакомства похлопочу тебе право поставить балаган у лесопильного завода.

Фатьяну совет полюбился. Заложил земляку свой карбас, купил хороших красок и дорогой олифы. Снял у бабушки-задворенки на огороде избушку и скорым делом стал печатать ситцы. Работали на совесть, чтобы прочно было и пригоже. От всего усердия стараются. Стукают да стукают тяжелыми узорными досками, пот в башмаки

бежит, а мастера, как дети, как художники, веселятся незатейливыми птичками-цветочками, корабликами-домиками. Мастера любили работу, и работа удавалась. Тоже, значит, мастеров любила.

Работали — как песню пели. Но лишь только разговор заходил, что надобно плыть в море, начинались споры. Тренька бубнил:

— Эстолько товару наработано. А морем поплывем, кораблик заплеснет валами. Товар замокнет, заплесневеет, запихтевеет… Тогда куда мы, человеки разоренные и многодолжные?

Сенька, молодой курносый парень с рыжей бородищею, добавлял свои резоны:

— Мне мама дальше Архангельского города плавать не велела.

Фатьян горячился:

— Один уеду! Околевайте без меня.

— Одного тебя не пустим. Не дадим тебе кукушкой в море куковать.

Приятели согласились неожиданно:

— Вези нас, дядюшка Фатьян, на пароходе. Пароход нам понравился.

Смех с ними и грех, а дело править надобно. Два-три раза сходил Фатьян в приказ с подарками, получил именное право. Приказные говорят:

— За твою добродетель тебе такое скорое доверие. И поручитель у тебя добрый. А некоторый иноземец с весны в эту поездку домогается. Ему от нас ответа нет.

Фатьян из приказа зашел в трактир, сел в уголок, сердито разглядывал гербовый лист с печатью: «Пропали бы вы кверху ногами с вашим доверием!.. Столько товару нет, сколько пошлин правите».

В трактире привелись три иноземца. Старший, с виду опытный, бывалый, сунул нос в Фатьянову бумагу, пробежал ее бойко глазом и расплылся в улыбку:

— Любопытствуем сделать с вами знакомство, мистер Фатьян. Дозвольте представиться: Гарри Пых, мануфактур-советник, иностранец. Желаю выпить за успех вашего предприятия.

Он выудил из заднего кармана штоф, налил полстаканчика себе и стакан Фатьяну:

— Прошу, мистер Фатьян. Ваше здоровье!

Фатьян недоуменно мигал глазами, отказаться не посмел:

— Покорнейше благодарю, мистер Пыхов. Равным образом и вам желаю… Какой державы будете?

— Верноподданный заморских королей.

— Чем изволите заниматься?

— Дамский туалет, маскарад кустюм. Новейшие фасоны, заграничные модели. Фирма существует двести лет! Одним словом, мистер Фатьян, возьмите нас в компанию, и поедем вместе на завод. Торгови дом Фатьян и К°. Шикарно?

Фатьяну столь стыдно за себя, простого деревенского красильщика. Тяжело вздохнув, он сказал:

— Опасаюсь, мистер, что вы, по вашей склонности, имеете высокое воображение о нашей простоте. Мы являемся простые мужики. Земля у нас нехлебородна. Хлеб надо покупать. На покупку деньги достаем отхожим промыслом. Наша деревенька, скажем, вся — красильщики-набойщики. А соседняя — швецы-портные. Вот мы из каких, а не купцы первогильдейные. Однако, не хвалясь, скажу: мы мужики по званью и художники по знанью. Искони втянулись в ремесло и достигаем мастерства.

Пых закурил и пустил дым Фатьяну в лицо:

— Ваше ремесло, мой друг, получит настоящий блеск, когда вы войдете в компанию с нами… Но что же вы не пьете, друг Фатьян? Ваше здоровье!

У Фатьяна в голове хмелинушка бродит, но немножко-то он соображает:

— А вам какая выгода в моей компании? Поче-

му от себя не промышляете, мистер Пыхов?

— Праздный вопрос, мистер Фатьян. Мы приехали сюда на малый срок. Хлопотать о мастерской и о торговом помещении нам некогда. А вас все знают. У вас на руках готовое разрешение.

— А ежели, мистер Пыхов, ваш товар пойдет, а моего аршина не возьмут?

— Барыши пополам, мистер Фатьян.

— Слово дадено — как пуля стрелена, — сказал Фатьян. — Ты как, мистер Пых, на бумаге договор будешь крепить? А по-нашему: слово да руку дал — крепче узла завязал.

У Пыха глаза сделались веселые. Он промолчал, а Фатьян ораторствовал:

— Мастерскую ты помянул. Тебе на что мастерская?

— Для производства моделей. Недельки на две.

— К бабушке-задворенке в избушку заходи и выделывай свои кадрели-модели. Мастерская — пустяки, а важность вот какая: на чем товар к месту доставим? Море сей год непогодливо.

— Я буду хлопотать о пароходе. Великое удобство!

Фатьян хлопнул Пыха по плечу так, что тот едва со стула не слетел:

— Орудуй, мистер Пых, дело подходящее.

Главное, Сенька и Тренька будут рады. Они на пароходе — с полным удовольствием.

Дома Фатьян хвастал перед подмастерьями:

— На пароходе поплывем. Я себя не оконфузил. Пых свое, а я свое. И так его ловко в свою пользу насаживаю.

Сенька с Тренькой не видали мастера во хмелю. Не могут надивиться:

— Они какой державы люди? Званья какого?

— Верноподданные заморских королей… А званьев у них много. Этот Пых, он, может, урожденный граф, его светлость! Я в людях понимаю. Насквозь вижу человека.

Новые компаньоны принялись за дело не мешкая. Забрались в Фатьянову избушку. Не спросясь схватили ведра, кисти, утюги. А главное, что повели работу с хитростью, с секретом. В избу к ним ходить никому не велели. Запрутся, как стемнеет, и пошабашат за час до свету. Удалые Сенька с Тренькой взялись доглядывать за иноземцами. Сенька бородатый впялил глаза в дверную щель. В тот же миг тряпка с краской ляпнула в рыжую бороду. Стала борода зеленая. Умный Тренька высмотрел сквозь ставни с улицы, в оконце. После докладывал Фатьяну:

— Намешано у них в ведрах всякого сословия:

желтого, зеленого, красного и синего. И Пыхов, как паук из паутины, ветошь тянет. Помощники эту ветошку щекотурят киселями разных колеров. Я гляжу, меня так в обморок и кидает… И плюют, и дуют, и пеной пырскают. Высушат и мылом налощат. А сидят не со свечой: новомодный свет, карасин горит.

В конце другой недели Тренька доносил:

— Дядюшка, ситцы-то у них пришли в полную красу: сарафаны сделались! Полну избу кофт да юбок наработали.

Фатьян поскреб в затылке:

— Твори, Господи, волю твою!

Готовые наряды иноземцы стали гладить. Из-под утюгов валил кромешный дым.

— Портной гадит — утюг гладит, — стонал Фатьян, угорая с ребятами до пропасти от этого чада.

Посоветоваться, потолковать Фатьяну было не с кем: опытный земляк ушел по должности в море.

Гарри Пых сумел подъехать к капитану парохода. Выяснил, что пароход будет грузиться на морском заводе тесом, и как раз ко времени гулянья.

Фатьяновы полотняные тюки на пароход носи-

ли — сходни от тюков гнулись. Пыховы коробки с туалетами, будто пташки, с рук на руки летали. Фатьян обиделся на Пыха, что тот ни в чем не спрашивается, а как в море вышли, Фатьян отмяк, подсел к компаньону:

— Как проворно вы управились с работой! Жаль, не удалось взглянуть, из какого матерьяла вы работаете.

— Из пены! — огрызнулся Пых.

— Хм… пена — дело легкое.

— У нас за морем из пены веревки вьют.

Ночью пароход хватила непогода. Сеньку с Тренькой с ног на голову ставило, качало. Мистер Пых тоже в дело не годился, ползал на карачках. Фатьян бранился:

— Парохода вы домогались — получайте пароход!..

Потом бежал укутывать товар брезентом, молился со слезами:

— Морские заступники, скорые помощники! Не замочите коробки и мои набойки! Убавьте волну!

Путь окончился благополучно. Пароход пришвартовался к пристани.

Иноземцы при постройке балагана снова показали хитрость и затайку. Поставили себе шатер

особенно. Рядышком с Фатьяном, а не вместе. Сверху налепили ленту-вывеску: «Пых и К°. Базар де мод». Модный-де базар. А уж товар у них: взгляни да ахни! Колера пронзительные. Кофта: по огненному полю синие лимоны. Юбка: желтая земля, синие дороги.

Привалил народ. Бабы на заморские разводы сразу обзадорились. Жужжат у Пыхова товару, будто комары. Мистер Пых того и ждал, пуще зазывает:

— Бальный туалет! Американ фурор! Модерн кустюм! Три рубля комплект!

Покупательницы из-за кофт дерутся. Юбки друг у дружки отымают. Только старые старухи опасливо косились на азартные «канплекты»:

— В глазах рябит, как набазарено. А не марко ли? Не линюче ли?

Фатьян в этот день не опочинился. Склавши руки сидел, как невеста женихов дожидаючи.

Напрасно Сенька с Тренькой раскатывали на прилавке трубы набивного полотна. Напрасно заливались звонким голосом:

— Эй, ройся, копайся! Отеческим узором украшайся!

Бабы задирали нос перед Фатьяном, фыркали:

— Вы не можете потрафлять на модный скус.

Такой ли ваш фасон, чтобы показывать себя? А у Пыха туалеты, как цветы.

Фатьян негодовал:

— А мои набойки разве не цветы? Узоры не собаки, чтобы в нос бросаться.

— У тебя цвет брусничный да цвет коричный. А у Пыха будто феверки. Оделась в мериканском скусе и пошла, как колокольчик…

Утром другого дня Пых распродал свой товар до нитки.

Девки и молодки торопились нарядиться: по обеде открывалось игрище-гулянье. Старухи опять приходили глядеть Фатьяновы набивки. Приводили своих стариков, шептались. Отходили с глубокой думой на челе.

Фатьян разговаривал, гордо поворотясь к покупателям спиной:

— На здешних клоунов и на попугаев у нас товару нет. Не задорны наши ситцы для такого племени.

Тренька по-аглицки ругался с Пыховыми препозитами:

— Нахвально поступаете. Совесть у вас широка: садись да катись! Пленти мони вери гуд до добра не доведут.

Фатьян становил его:

— Брось, нехорошо. Пых мне-ка слово дал, что барышом поделится.

— А ты спросил бы, дядюшка.

— Совестно.

Гулянье началось на лугу, на берегу, далеко от всякого жилья, чтобы простору было больше. Старухи, старики, женатые мужики, ребята расселись, как в театре, по бревнам, по доскам, по изгородям, по пригоркам. Все знают, что сегодня не в старинных штофниках и сарафанах бабы-девки явятся, а в модных туалетах. Всем известно, что триста «канплектов» продал Пых… Ждать долго, потому что от завода, от слободки, где бабы-девки белятся-румянятся, в туалеты рядятся, до гульбища — версты полторы. День стоял пригожий, но с обеденной поры старики запоглядывали в край моря:

— Теменца́ заводится…

Заежилась древняя бабка:

— Не быть ли дожжу — вся дрожжу.

Погодя, старики опять проговорили:

— Гром гремит, путь воде готовит…

Мальчишки, которые с высоких штабелей караулили дорогу, закричали наконец:

— Идут! Идут!

Щеголихи шли рядами: двести девок, сотня баб.

Шествие замыкали парни с гармонями. Старики на бревнах запели:

Слеталися птицы,
Галки и синицы,
Стадами, стадами.
Сходились девицы,
Сбирались молодки
Рядами, рядами.

Одночасно весь берег будто цветами расцвел. Разноцветно стало на лугу. Цветасто. Девки как букеты разнопестрые. Бабы будто лампы в абажурах. И что тут величанья, и смотренья, и манежности! У смотрящих стариков в глазах зазеленило. Старухи ахают:

— Глянь-ко, глянь-ко! Этой бы только в погребу сидеть под рогожей, а она как жар-птица!

— Эту бы давно на табак молоть, а она как фрегат под парусами. Сейчас зачнет палить из пушек.

Тут парни зараз в гармони жахнули. Двести девок, сотня баб песню завели; высоко занесли да в пляс пошли. Только и слыхать, что «ух-ух, ух-ух!». Топанье, хлопанье, плесканье, скаканье…

И в те поры дожжинушка ударил, как с горы.

Не то что дождь пошел как из ведра, а — бочками, ушатами заполивало. Вдруг гроза-то с моря накатилась.

Разом триста баб и девок караул закричали. Не грозы испугались: гроза не диво. С туалетами заморскими беда стряслась: краска смокла. Краска-та плывет, и ветошь-та ползет. Бабы держат ветошь-ту да визжат, как кошки. За какой лоскут хватятся, тот в руках останется. Во мгновенье вся краса стерялась. Как не бывало туалетов. Смотреть негодно. Эти щеголихи все лохмотье мокрое с себя сбросали в кучу да, как чертовки из болота, ударились бежать.

Кому горе, кому смех! Мужики, как гуси, загоготали. Парни, старики со смеху порвались:

— Ха-ха-ха-ха-а! Вот она, чудовища-а! Европейские модели побежали-и!

Маткам, бабкам не до смеху. За дочками в погоню стелют да ревут:

— Косматки вы, трепалки вы! На всю вселенну срам наделали! Теперь ни в пир, ни в мир, ни в добры люди.

Переведя дух у себя в слободке, умывшись, опамятовавшись, молодицы и девицы решили отсмеять насмешку иноземцу:

— Бабы, девки! Нельзя такого бесчестья про-

стить! Головы не оторвем, дак хоть плюх надаем этому Пыху.

Еще до света учредились они как на битву: с ухватами, с лопатами. Мужики смеялись:

— Маврух в поход собрался… Пропал теперь заграничный Пых. Он ведь сидит и ждет: «Скоро ли де бабы меня трепать придут!»

— Пущай он хоть в утробу матерню спрятался, и там добудем! — вопияли женки.

Есть пословица: «Крой да песни пой; наплачешься, когда шить будешь». Пел Пых и у кройки и у шитья. Пел, товар с рук сбываючи. Заплакал в дождик, когда началась суматоха. Бежать на пароход поопасался: бабам нигде не загорожено, а капитан не любит неприятностей. Вместе со своими препозитами Пых залез под пристань. Всю ноченьку осеннюю там тряслись, единым словом меж себя не перещелкнули. А комары их едят.

Одна была отрада: знали, что погрузка тесу кончена и пароход утром отваливает. Решили заскочить на пароход после второго, третьего свистка. Тогда уж бабам Пыха не достать. Только бы проскочить удалось.

Фатьян в своем балагане тоже ни жив ни мертв сидит.

— Вот дак мистер заграничный! Присчитается

и мне на орехи. И я с ним в паю буду… Век худых людей бегал, при старости с мазуриком связался! Рук марать не стану барышом грабительским.

— У тебя откуда барыши-то? — спросил Тренька.

— Да ведь половину барыша мне Пых-от посулил!..

— Ох, дядюшка Фатьян! Нет у тебя ума-то с наперсток. Таких, как ты, лесных тетерь, и учат.

— За мою добродетель?!

— За твою дурость, не во гнев будь сказано.

— После дела всяк умен. Уйди с глаз! — рявкнул мастер.

Ночью Фатьян не спал, бродил около палатки. На сердце росла тревога: «Влетит и мне за Пыховы дела…»

Пущего страху нагнал глухой сторож из слободки:

— Здравствуй, гость торговый. Вина штоф отпусти.

— У меня не кабак…

— Табак не надо… А вас бабы убивать придут. Я на гулянье не был, а видел, как они в деревню прибежали. Как есть — банны обдерихи.

Так и сидел Фатьян до свету:

— Убежать бы, да некуда. Укрыться бы, да

негде…

На рассвете завел глаза, задремал. И тут же со страхом прянул на ноги. Услышал топот ног и воинственные возгласы:

— В воду посадить еретиков!

Несколько запыхавшихся баб сунулись в Фатьянову палатку:

— Дедко, вчерашний Пых где?

— Голубушки, не знаю. Матушки, ни в чем не виноват.

— Ты смотри, никуда не уезжай. Тех поймаем, до тебя есть дело.

Полотняная дверца захлопнулась. Фатьян, белый как бумага, начал расталкивать Сеньку с Тренькой:

— Вставайте! Убивать нас идут! Где у нас чисты рубахи?! Помрем. Деточки, смерточка напрасная приходит.

Поняв, в чем дело, Сенька бородатый заревел:

— О, не по красу приехали, не на великую добычу. Зачем ты нас в море сбил, седая анафема?

Тренька заорал на обоих:

— Мужики вы или нет? Бежать надо!

— А товар как? — опомнился Фатьян.

— Ведь ты помирать срядился.

— Пережить не уповаю. А своего художества

непонимающим людям оставить не желаю, — торжественно сказал Фатьян.

Тренька уважительно поглядел на мастера:

— Одобряю эти слова, дядюшка Фатьян. Возьмем с вами по топору, станем у дверей. Пусть-ко сунутся которые… А ты, Сенька, лети на пристань. Нет ли там благоразумных мужиков?

Сенька побежал, на всякий случай поклонившись Треньке и Фатьяну в ноги.

Время тянулось. Никто убивать не шел. Фатьян поуспокоился; насупив брови, сел.

— Охо-хо!.. Ждать да догонять — нет того хуже…

Со стороны берега донеслись два пароходных свистка и вслед за тем крики, брань… Фатьян опять схватился за топор.

Прошел час. Фатьян простонал:

— Тренька, ради бога, сбегай, поищи бородатого. Матка его будет жалеть. Да не провались там!

Тренька ушел да и провалился. Фатьян изнемог ждавши. Охал и ругался:

— Дураков пошли, да и сам за ними иди. Порвало бы вас, разорвало бы вас! Живы ли вы, деточки мои? Брошу все, сам пойду.

Не поспел Фатьян шаг шагнуть, его с ног сбили Сенька с Тренькой.

— О, леший бы вас побрал! Где вас, проклятых, задавило?

Докладывать начал красноречивый Тренька:

— Ух, дядюшка Фатьян!.. Женки по штабелям летают, в бревнах Пыха ищут, а он под пристанью хранится. Тут с парохода два свистка. Пыховы, все трое, выскочили да по мосту и лупят, а сами кричат: «На секурс! На секурс!»

Бабы со штабелей ссыпались — да за ними. По мосту канат причальный. Пых подопнулся, и один подручный с ног долой. Бабы налетели, стали Пыха потчевать. Тут спустился с парохода управляющий заводский. Его провожает капитан. Бабы прискочили к управляющему, кладут жалобу на Пыха. Пых вопит что-то капитану на ихнем языке. А народу много, полна пристань накопилась. Управляющий говорит капитану:

«Вы что скажете, мистер каптейн?»

Капитан, такая личность представительная, с сизым носом, отвечает:

«Я совершенно ни при чем. Но мистер Пых просил дать объяснений на его товар. Это есть обычная материй аплике, накладной бумажный кисея. Весьма боится сырость. Если бы не дождик, туалет гулялся бы на год».

Управляющий к народу:

«Вот что, жёночки и девицы: вы в памяти, в сознанье эти юбки-кофты покупали. Небось у своих ситец выбираете, жуете да лижете: не марко ли, не линюче ли?.. Цену-то какую иноземец брал?»

«Три рубля за канплект».

«Это вы иноземцу за науку заплатили. Вперед пригодится… Угодно ли еще про Пыха обсуждать и сыскивать?»

«Мы его уж обсудили. Погладили мутовкой по головке. Вишь, со страху каждый лоскуток на нем трясется. Черт с ним!»

Тут бабы и капитану словцо ввернули:

«Хотя за морем эта аплике и за обычай, однако не возите к нам таких обычаев. Держите у себя».

— Уплыл Пых-то? — спросил Фатьян.

— Угреб.

— Меня-то не помянули?

— Помянули, дяденька Фатьян! Пароход-от отвалил, старухи заговорили: «Вот что, девки-молодки, сами вы на себя в кнут узлов навязали: деньги бросили и народ насмешили. Почто было у русского гостя не брать? Вчера куражились, сегодня хошь не хошь — к нему пойдешь…»

Тренька не окончил слова: в балаган полезли бабы, девки и старухи. Поклонились, заговорили:

— Здравствуйте, гости торговые! Из ваших рук набойки захотели. Вчера к вам собирались, да кони не довезли.

Фатьян приосанился, прищурил глаз:

— Доброе дело не опоздано. Милости прошу. Наши набойки за сутки не заплесневели, не заиндевели. Только что узором не корыстны, против модного базара не задорны…

Бабы застыдились:

— Карасином бы этот базар облить было да спалить!..

— То-то, — наставительно сказал Фатьян. — За морем прок потеряли, только хитрость одна. Русский мастер у работы радоваться хочет. Вот полотно: под песню прядено, под сказку ткано, на мартовском снегу белено. Мы к ткачихину художеству свое приложили. Краски натуральные: от матушки сырой земли, и от коры березовой, осиновой, от дерева сандала, от ягод, от цветущих трав. Земляную краску в пух стираем: хоть графиня рожу пудри! Сенька Рыжа Борода у выбойки, будто бабка-повивалка у родов. Тренька досточку-печатку режет, как батальный живописец. Я в свою набойку сорок лет людей сряжаю. Сколько молодежи обучил, ремесло в руки дал. И от всех, кроме спасиба, другого слова не слыхал. Я не

хвалюсь. Моя работа пусть меня похвалит. Такое наше поведенье вековое-цеховое…

Сколько бабам Фатьяновы речи нравятся, столько выбойки узорчатые глянутся.

— И как вчера такой красы не разглядели? Глаза отвел заморский пес.

Старухи брали по целой «трубе» столокотной, по целому куску. Важно говорили:

— Этот мартиал хвалы не требует. Он стирку любит. От стирки в полную красу приходит.

Бабы помоложе прикидывали набойку на себя:

— Мастер, как по-вашему, это виноградье нам к лицу?

Пришли мужики. Потребовали матерьял порточный, с продольным «форнаментом». И на рубахи форнамент «попристальней».

Иноземцы торговали полтора дня, Фатьян в полдня продал все до нитки. Остатками, обрезками товара он наделил ребятишек, безденежно, в подарок.

По случаю последнего дня гулянья покупатели не торопились расходиться, сидели вкруг палатки, балаболили, хвастались покупками.

Фатьян, выйдя из пустой палатки, весело крикнул:

— Желаю всем эти обновки сто лет носить, на

другую сторону переворотить да опять носить!

Переждав, пока кончится смех, Фатьян продолжал:

— Чувствительно вас благодарю за неоставленье. Иноземцы меня выучили, а вы меня выручили.

И Фатьян поклонился народу в землю. Бабы встали и ответили Фатьяну поясным поклоном:

— Промышлять вам с прибылью, гость торговый! За вашу добродетель, как вы есть превосходный мастер…

Обратно Фатьян правился на шкуне. Парусом бежали шибче парохода.

Фатьяновы внуки-правнуки, такие же, как дед, красильщики-набойщики, работают теперь на фабриках. Дедова оказия не вылиняла, не выцвела в пересказах внучат. Дедовской пословкой и заканчивают: «За морем прок потеряли, только хитрость одна».

И объясняют:

— Тогда прок, когда делаешь дело по совести, на общую пользу. Эту прочность ничья злохитрая корысть не переможет.

Устюжского мещанина Василия Феоктистова Вопиящина Краткое жизнеописание[24]

Любителей простонародного художества нонче у нас довольно. Уповаю, что и моя практика маляра-живописца послужит к пользе и удовлетворению таковых любителей.

Окидывая умственным взором ту отдаленную эпоху, читатель видит худощавого юношу, а еще ранее младенца, который отнюдь не получает хвалы за свое стремление к искусству, а наоборот — дёру. Рисовать и красить отваживался я только в воскресные и праздничные дни. Переводил на серую бумагу лубочные картины или из «Родины» и цветил ягодным соком, свеклой, чернилом и подсинивал краской для пряжи. Которые картинки выходили побойчее, получал за них от деревенских копейки по три и по пятаку. Тогда и родители начинали смотреть на мое художество снисходительно.

---

[24] Notes: 24

Впервые опубликовано в сборнике «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959) и переиздано в сборнике «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. *–Примеч. ред.*

Пятнадцати годов фортуна обратила ко мне благосклонные взоры в лице устюжского мещанина, живописца Ионы Неупокоева, каковой мастер работал по наружности и по внутренней отделке.

Преодолев диковатую стеснительность, я подскакивал к Ионе со всяким угождением, и добродушный человек сговорил меня в ученики за пять рублей в месяц.

С каким душевным удовлетворением гляжу я на жизненное поприще теперешней молодежи: теперь кто имеет призвание или стремление, ему не так трудно выказать себя. Нонче всякое рачительное усердие в науке и художестве неограничительно поощряется государством.

Так ли теперешний студент, принятый в Академию художеств, доволен судьбою, как радовался Васька Вопиящин, попавши в обучение к маляру Ионе Неупокоеву?!

Истинно был Неупокоев: на одном месте не любил сидеть.

С Ионою Неупокоевым обошел я мало не все выдающие пункты Вологоцкой и Архангельской губерен. Иону ничто не держит: ни дождь, ни снег. Он все идет да едет. И я за ним, как нитка за иголкой. Окроме всякого малярного поделия,

как то: левкас, окраска, отделка под мрамор и под орех, — с успехом потрафляли по художественной части. Липовой доски на Севере нету. Под краску утвари деланы из сосны, ели, ольхи.

Поновляли божество и писали изнова, свободно копируя в новейшем вкусе. Причем любопытно отметить, что население Северной Двины и Поморья имеет неопровержимое понятие к древнерусским образцам письма.

Повсеместно принятую новую живопись икон здесь почитают за простые картины, и местное духовенство нередко потакает таковому пристрастию прихожан. В японскую войну 1904 года мне довелось пособлять владимирскому иконописцу в поновлении древнего иконостаса в Заостровье, под городом Архангельском. Профессура археологов навряд ли так следит за реставрацией, каковым недреманным оком караулило нашу работу местное население, даже простые бабы, чтобы мы не превратили навыкновенных им дохматов.

Но возвращаюсь к предыдущему периоду. Перьвой мой учитель Иона достоконально знал живописную практику и мог говорить об теории. Но благодаря тому, что Иона любитель был скитаться по проселочным дорогам, а не шаркать по

городовым тротуарам, у него зачастую конкуренты удерьгивали из рук роботу или заказ.

Самозваный художник, а по существу малярешко самое немудрое, Варнава Гущин не однажды костил Иону Неупокоева в консистории, якобы пьянственную личность. Но пусть беспристрастные потомки судят хотя бы по такому факту:

«Де мортуи низиль ни бебэне». Но таково было повседневное поведение самозваного Варнашки и К°. Отнюдь не оскорбляя памяти усопших, которые, напившись, пели песни в храме Божием, где имели пребывание по месту работ! Каковые несвойственные вопли в ночное время вызывали нарекание проживающих деревень.

Но, мастер призва́нный, а не самозваный, Иона, когда ему доверено поновить художество предков, с негодованием отвергал, даже ежели бы поднесли ему кубок искрометной мальвазии, не то что простого. Но даже и принявши с простуды чашки две-три и не могши держаться на подвязях, Иона все же не валялся и не спал, но, нетвердо стоя на ногах, тем не менее твердою рукою пробеливал сильные места нижнего яруса; причем нередко рыдал, до глубины души переживая воображенные кистью события.

С Ионой Терентьевичем ходил я десять годов не

как в учениках, а в товарищах. Такого человека более не доведется встретить.

Преставился в 1895 году в городе Каргополе.

Такой удивленный житель Иона, что у него не было ни к кому хозяйственного поведения. Ходил зимой и летом одним цветом: одежонка сермяжных сукон. Прибыльные подряды на округ были в руках загребущих человеков. У Ионы его многотрудные руки простирались только ко краскам да кистям, к столярным да к щекотурным снастям, а не ко граблению. Он чужого гроша под палец не подгибал.

Иона Неупокоев имел дарование писать с живых лиц — глядит и пишет. Умел милиатюрное письмо, так что предельная величина не превышала двенадцать вершков, каковым портретом занимался в среде мещанства и торгового сословия.

Но фотография подорвала уже своей дешевизной цены. Впрочем, заказывают увеличение на красках с карточек визитного размера, чтобы отнюдь не являлось черноты, но поцветнее и посановитее.

Иона для сортовых писем холстинки накладывал на тонкую дощечку и, ежели где стоим долго, писал из яйца. Я же, худой ученик, клею

холст и на кардонку да, наведя тонкий левкас, пишу готовыми масляными красками. А из яйца писать — много обрядни. В запас яичных красок не натворишь, хотя и прочнее. Впрочем, и Иона делывал без доски. Но три холстинки одна на другую наклеит мездряным или рыбным клеем, оказывало как дощечка.

Такого рода живопись на паволоке имелась во флотском полуэкипаже адмиралтейства города Архангельска. Такие у Верпаховского в Рыбопромышленном музее на Троицком пришпекте, того же типа два шкапа на красках. Каковые шкапы делал я во свои юные годы, каждогодно посещая Архангельской город

с Ионою Неупокоевым на время ярманки для письма балаганов.

У иконного письма теперь такого рачения не видится, с каковым я приуготовлял тогда эти дверцы и ставеньки про свое наивное художество. Которое, впрочем, художеством никто и не называл, но не более как расписные ложки и плошки.

Господин Менк, пейзажист из превосходных, неоднократно удивлялся навыкновенной процедуре нашего письма. Он говорил: «Теперь я понимаю, для чего моя картина, висящая в гости-

ной, помрачнела в десять лет. А дверь, которую здешний мещанин упестрил своей варварской кистью сорок лет назад, не утратила колоритов».

Я тогда не доспросился, а, видимо, господин Менк понял: потому варварское письмо прочно и цветно, что мещанин сам и краску тер, сам олифу варил.

Которую олифу варил знающий человек, и под той олифой живопись как под стеклом. Но и краска должна вмереть в дерево, в левкас. То уж письмо вековое. Правнуки подивятся.

— Ишь, — скажут, — прежние дураки над чем старались. Рядовой работы комоды, сундуки, шкапы подписывали расхожими сужектами: вазоны, травы, цветки. Дерево или железо грунтовали охрой, крыли белилом свинцовым и писали на три краски во льняном масле.

Но возьмем предметы благородной страсти господина Верпаховского или флотского полуэкипажа. Им теперича годов по девяносту и по шестьдесят. Но они сохраняют следы былой красоты.

Но молодые бабы суть лютой враг писаной утвари. Они где увидят живописный стол, сундук или ставень, тотчас набрасываются с кипящим щелоком, с железной мочалкой, с дресвой, с пес-

ком. И драят наше письмо лютее, нежели матрос пароходную палубу.

Но любее нам толковать о художествах, а не о молодых бабах.

У стоющей работы сухое дерево приклеивали клеем, который выварен из кожаных обрезков. Как высохнет, всякую ямуринку загладим. Тогда холщовую настилку, вымочив в клею, притираем на выделяющие места, где быть живописи.

Паволока пущай сохнет, а я творю левкас: ситом сеянной мел бью мутовкой в теплой и крепкой тресковой ухе, чтобы было как сметана. Тем составом выкроешь паволоку, просушивая дважды, чтобы ноготя в два толщины. И, по просухе, лощить зубом звериным, чтобы выказало как скорлупка у яйца. Тогда и письмо. Тут и рисованье, тут и любованье. Тут другой кто не тронь, не вороши, у которого руки нехороши.

Как деланы были шкапы на морское собрание и у чела писал панораму соломбальского адмиралтейства, а по ставенькам постройку фрегата «Пересвет», каковая состоялась в 1862 году. Да на другом шкапу: «Бомбандирование Соловецких островов от англицкой королевы Виктории в 1854 году». Писано яичными красками и самой изящной работы.

Пафнутий Анкудинов[25]

Быт и искусство архангельского Севера до последнего времени сохраняли остатки культуры новгородской и феодально-московской.

Поморянин, поэтически одаренный, вполне укладывался творчеством своим в традиционные формы устной поэзии — песню, сказку, былину.

Но в этом стиле, в этой стихии он чувствовал себя хозяином и являл свое творчество не только артистическим исполнением, но и безудержной импровизацией, отвлечениями в сторону самой злободневной современности.

Поморская среда ценила и поощряла такой талант. Это способствовало тому, что носитель таланта не порывал со своим бытом и укладом.

Отправляясь на промысел зверобойный, рыбный, лесной, печорцы, мезенцы, двиняне, онежане, кемляне непременно подряжали с собой сказочника, певца былин на очень выгодных,

---

[25] Notes: 25

Впервые опубликовано под названием «Пафнутий Осипович Анкудинов» в газете «Архангельск» 26 апреля 1916 г. (см. с. 792) и в переработанном варианте включено под названием «Дед Пафнутий Анкудинов» в сборник «Гости с Двины» (М.: Детская литература, 1970), а под названием «Пафнутий Анкудинов» — в сборник «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. –*Примеч. ред.*

сравнительно с рядовым промышленником, условиях.

Таким же признанием пользовалась женщина-поэтесса, слагательница причетов, плачей, песен, истолковательница чужого горя и радости. Ей расскажут обстоятельства несчастья («муж утонул в море» и т. п.), тут же, не отходя от домашней обряди, коров, складывает она песню-плач. Далее со всем родом погибшего выходит к морю и строфа за строфой читает свой причет. Женщины вторят ей жалобным хором… Шум морского прибоя, крики чаек, воздетые руки вопленницы, пронзительный напев — картина незабываемая.

Весь народ северный вдохновенно отдается всякой игре, всякой обрядности — «театру для себя». Любимая пословица: «Чем с плачем жить, лучше с песнями умереть».

Украшают песней любую работу. Например, звякая ножницами, поет портной:

… … … … … … … … …
Вынимаю солодóново сукно,
Солодоново с россыпью.
Шью (имя заказчика) кафтан.
Чтоб он не долог был,
И не долог, и не короток.

По подпазушке подхва́тистой,
По середке пережа́мистой,
По подолу растру́бистой.

Но были на Севере талантливые рассказчики — мастера слова, которые никогда не выступали в театрах и клубах.

Умение говорить красноречиво, дары речи своей эти люди щедро рассыпали перед своими учениками и перед взрослыми при стройке корабля и в морских походах.

Таков был Пафнутий Осипович Анкудинов, друг и помощник моего отца. Пафнутий Осипович что хотел, то и творил с людьми. Захочет, чтобы плакали, — плачем.

По древним крюковым нотам рыдально выпевал он страшные вопли покаянных opus'ов Ивана Грозного:

Труба трубит,
Судия сидит,
Животная книга
Разгибается…

По той же нетемперированной нотации, дающей такой простор художнику-исполнителю, с

пергаментов XV века пел Пафнутий Осипович эллинистические оды с припевами «Эван, эво»:

Дэнэсэ, весна благоухает,
Ай, эван! Ай, эво!

Старые манускрипты, разбросанные на Севере, были преимущественно светского содержания. Это — «антологии», «диалоги», «мелисса», «хроники» — литература античная и эпохи Возрождения. Каждый такой литературный жанр исполнялся особой речитативной мелодией. Считалось невежеством читать «хронику» напевом новеллы из пролога.

Глухая бабка умиляется, бывало, на внука, вычитывающего что-то приятелю из древней книги, а книга-то «Семидневец» («Гепгамерон» — родной брат «Декамерону»).

Весной побежим с Пафнутием Осиповичем в море. Во все стороны развеличилось Белое море — пресветлый наш Гандвик. Засвистит в парусах уносная поветерь, зашумит, рассыпаясь, крутой взводень, придет «время наряду и час красоте». Запоет наш штурман былину:

Высоко, высоко небо синее;
широко, широко океан-море.

А мхи-болота – и конца не знай,
от нашей Двины, от архангельской..

Кончит былину богатырскую, запоет скоморошину… Шутит про себя:

— У меня уж не запирается рот. Сколько сплю, столько молчу. Смолоду сказками да песнями душ питаю.

Поморы слушают, как мед пьют.

Старик иное и зацеремонится:

— Стар стал, наговорился сказок. А смолоду — на полатях запою, под окнами хоровод заходит. Артели в море пойдут, мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с восемнадцати годов имя было с отечеством. На промысле никакой работы задеть не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора — знай пой да говори… Вечером народ соберется, я засказываю. Мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит, ночи прихватим… дале — один по одному засыпать начнут. Я спрошу: «Спите, крещеные?» — «Не спим, живем! дале говори…»

В свободный час Анкудинов сидит у середовой мачты и шьет что-нибудь кожаное. На нем вязаная черная с белым узором рубаха, голенища у сапог стянуты серебряными пряжками. Седую

бороду треплет легкий ветерок. Ребята-юнги усядутся вокруг старика.

Мерным древним напевом Анкудинов начинает сказывать былину:

Не грозная туча накатилася,

Ударили на Русь злые вороги.

Города и села огнем сожгли,

Мужей и жен во полон свели…

Мимо нас стороной проходит встречное судно. Шкипер Анкудинов берет корабельный рог-рупор и звонко кричит:

— Путем-дорогой здравствуйте, государи!

Шкипер встречного судна спрашивает:

— Далече ли путь держите, государи?

Анкудинов отвечает:

— От Архангельского города к датским берегам.

И встречное суденышко потеряется в морских далях, как чайка, блеснув парусами.

И опять только ветер свистит в парусах да звучит размеренный напев былины:

А и ехал Илья путями дальними.

Наехал три дороженьки нехоженых.

На росстани Алатырь – бел горюч ка-

мень,
На камени три подписи подписаны:
Прямо ехать – убиту быть,
Вправо поедешь – богату быть,
Влево ехать – женату быть.
Тут Илья призадумался:
– Не поеду я дорогой, где богату быть,
Богатство мне, старому, ненадобно.
Не поеду дорогой, где женату быть,
Жениться мне, старому, не к чему.
А поеду я дорогой, где убиту быть,
Любопытствую увидеть, как меня убивать будут.
А и едет Илья прямой дорогою.
По дороге накрыла ночка темная.
Добрый конь идет, не спотыкается;
Что по сбруе у коня камни-яхонты,
На дорогу светят, как фонарики.
Подводит дорога к лесу к черному.
В том лесу застава зла, разбойничья,
На дубах сидят разбойники, как во́роны,

Под корнями караулят, будто ястребы.

Разбойники Илью заприметили,

Со высоких дубов стали прядати,

Из-под дубова коренья завыскакивали,

На Илью они стаями насунулись,

Ладят богатыря с коня снести.

От седла Илья отхватывает палицу,

А и весу в этой палице девяносто пуд.

Вздымет, вздымет палицу выше могутных плеч,

Ударит палицей впереди себя,

Отмахнет, отмахнет созади себя,

Вправо и влево стал нахаживать,

Разбойницкую силу стал настегивать.

Что тут визгу, что тут писку, что тут скрежету!..

Валятся разбойники увалами,

Увалами ложатся, перевалами.

Не осталося в живых ни единого.

А и эта ночь кромешная скороталася,

Утренние зори зарумянились,

Над зорями облака закудрявились.

Снимал Илья с головушки свой златой шелом,

На все стороны стал Илья отслушивать…

Тишина, тишина безглагольная.

Только слышно, край дороги ручеек журчит,

На лету птичка утренняя посвистывает,

На болоте сера утица покрякивает…

Марья Дмитриевна Кривополенова[26]

Родина сказительницы Марьи Дмитриевны Кривополеновой — река Пи'нега, приток Северной Двины. На Пинеге и в начале века двадцатого можно было увидеть деревянную Русь. Там во всем: в архитектуре, в одежде, в песнях, в домашнем быту — Русь, в лице граждан Великого Новгорода, освоила Север еще в четырнадцатом веке.

Неграмотная, но любознательная Кривополенова рассказывала о продвижении Руси на Север так, как будто сама в тех походах участвовала:

«Прежде на Двине, на Пинеге, на Мезе́ни чудь жила: народ смугл и глазки не такие, как у нас. Мы — новгородцы, у нас волос тонкий, как лен белый или как сноп желтый.

Мы, русские, еще для похода на Пинегу и карбасов не смолили, и парусов не шили, а чудь знала,

---

[26] Notes: 26

Впервые опубликовано в сборнике «Гости с Двины» (М.: Дет. лит., 1970) и переиздано под названием «М. Д. Кривополенова» в сборнике «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. *–Примеч. ред.*

что русь идет, — раньше здесь леса были только черные, а тут появилась березка белая, как свечка, тоненькая.

Вот мы идем по Пинеге в карбасах. Мужи в кольчугах, луки тугие, стрелы перёные, а чудь молча, без спору давно ушла. Отступила с оленями, с чумами, в тундру провалилась. Только девки чудские остались.

Вот подошли мы под берег, где теперь Карпова гора. Дожжинушка ударил, и тут мы спрятались под берег. А чудские девки — они любопытные. Им охота посмотреть: что за русь? Похожа ли русь на людей? Они залезли на рябины и высматривают нас. За дождем они не увидели, что мы под берегом спрятались. Дождь перестал, девки подумали, что русь мимо пробежала:

— Ах мы, дуры, прозевали!

Для увеселенья и запели свою песню. По сказкам-то никому во вселенной чудских девок не перевизжать.

Было утро, и был день. Наши карбасы самосильно причалили к берегу. Старики сказали:

— Вот наш берег: здесь сорока кашу варила.

Тут мы стали лес ронить и хоромы ставить…

В эту пору здесь у водяного царя с лешим царем война была. Водяной царь со дна реки камни

хватал и в лешего царя метал. Леший царь елки и сосны из земли с корнем выхватывал и в водяного царя шибал. Мы водяному царю помогали. И за это водяные царевны не топят ребятишек у нашего берега…

Это все мой дедушка рассказывал. Он от своих прадедов слышал. От них и былины петь научился. Я у дедушкиных ног на скамеечке сидеть любила и с девяти лет возраста внялась в его былины и до вас донесла».

Имя шестидесятилетней сказительницы Кривополеновой известно стало науке еще в конце прошлого столетия. Но записи ее былин покоились в академических шкафах, а Марья Дмитриевна, всю жизнь тяжело работавшая, жила в большой бедности: «Не замогу работать, пойду побираться».

Побиралась, на свадьбах невестины речи пела, на похоронах вопила. Тем и кормилась до семидесяти двух лет!

В 1915 году отправилась на Север О. Э. Озаровская, московская артистка и талантливая собирательница народных сказаний. Вскоре она писала в Москву:

«Собирая словесный жемчуг на Пинеге, уловила я жемчужину редкой красоты. Везу ее в

Москву».

Так попала пинежская сказительница в Москву белокаменную. Не многоэтажные дома, не автомобили поразили Кривополенову. Московской старине радовалась по-детски она. Побывала в Кремле, посмотрела гробницу Ивана Грозного, нашла даже за Москвой-рекой дом Малюты Скуратова. Все, о чем пела она всю жизнь в былинах, — все оказалось правдой!

Если Кривополенова была жемчужиной редкой красоты, то Озаровская явилась для нее оправой червонного золота — она открыла людям талант сказительницы. В Москве, в Петрограде, на Украине слушатели горячо принимали «бабушку Марью Дмитриевну». Шел 1916 год.

Помню ее выступление в большой аудитории Московского Политехнического музея.

Слушателей набралось до трех тысяч: студенты, гимназисты, художники, ученые.

Марья Дмитриевна вышла на эстраду. Молодежь приветствовала ее рукоплесканиями и возгласами:

— Здравствуй, милая бабушка!

Кривополенова ответила тремя истовыми поясными поклонами на три стороны, по старинному обычаю:

— Здравствуй многодетно и ты, Москва, юная и прекрасная!

И зазвучала странная, непривычная мелодия, несхожая с русской песней. Это был голос древней былины, и слушатели восприняли его сначала как некий аккомпанемент. Но тут же сразу вникли в слова, прониклись содержанием. Ведь былина из Киева, Новгорода, Москвы, давным-давно переселившаяся на Север, нерушимо сохраняла общерусскую родную речь.

Кривополенова, блестящая исполнительница былин, и сама по себе была каким-то чудом и счастьем для всех, кто видел и слышал ее. Маленькая, худенькая, одетая в темный, старинного покроя сарафан, застегнутый сверху донизу на серебряные пуговки, в темном вдовьем повойнике, она была похожа не то на девочку, не то на древнюю старуху. Приехав из дремучих лесов Севера, она не боялась многолюдной аудитории — наоборот, полюбила ее, чувствовала себя непринужденно и всегда и везде умела держать ее в напряженном внимании.

Слушатели воочию видели древних богатырей — Вольгу Святославича, Илью Муромца, Добрыню, слышали тяжелую поступь богатырских коней.

Сказительница рисует картину вражеского нашествия на Русь:

В солнце знаменье страшное,
В полночь звезды хвостатые,
Пред зарями земля тряслась,
Шла Орда на святую Русь.
На Руси петухи поют,
Не спит Рязань полуночная,
По стенам не спят караульщики,
По уго́льным башням дозорщики…

И два, и три часа пела Кривополенова, а бесчисленная аудитория воочию видела то, что внушала вещая старуха.

Не раз приезжала Кривополенова в Москву. Посетила Марья Дмитриевна Третьяковскую галерею. Шла по залам усталая — день ее начинался с четырех часов утра. Но перед картиной Васнецова «Три богатыря» старуха оживилась, просияла.

— Глядите-ко, — обратилась она к окружавшим ее посетителям. — Жили-были преславные богатыри. Не сказка-побаска, а жизнь бывала: Илья-то Муромец из-под ручки врага высматривает. На

руке у него палица висит, свинцом налита, а ему как рукавичка.

И сказительница запела былину:

Вздымет Илья палицу
Выше могутных плеч,
Жахнет палицей впереди себя,
Отмахнет, отмахнет созади себя,
Вправо, влево стал настегивать,
Вражью силу обихаживать…

Взглянув на Добрыню, запела с улыбкой:

Три года Добрынюшка стольничал
У князя Владимира в Киеве.
Три года Добрыня в послах живал
У неверных королей, у немецких.
У Добрынюшки вежество врожденное,
Хитрость-мудрость природная…

В 1921 году Кривополенова в последний раз была в Москве. Нарком Луначарский известил Озаровскую, что рад познакомиться с знаменитой сказительницей. Его ждали с часу на час. Луначарский приехал вечером. Озаровская зовет:

— Бабушка, Анатолий Васильевич приехал!

Кривополенова сурово отвечает:

— Марья Митревна занята. Пусть подождет.

Нарком ждал целый час. Марья Дмитриевна наконец вышла:

— Ты меня ждал один час, а я тебя ждала целый день. Вот тебе рукавички. Сама вязала с хитрым узором. Можешь в них дрова рубить и снег сгребать лопатой. Хватит на три зимы…

Марья Дмитриевна и наркома покорила умом и достоинством.

…Вернулась Марья Дмитриевна на Пинегу. Снова началась бродячая жизнь сказительницы.

В 1924 году на Пинеге был недород, бесхлебица. Опять старухе пришлось себе и внукам добывать хлеб в скитаниях по деревням.

Однажды отправилась она в дальнюю деревню. Возвращалась оттуда ночью. Снежные вихри сбивали с ног. Кто-то привел старуху на постоялый двор. Изба была битком набита заезжим народом. Сказительницу узнали, опростали местечко на лавке.

Сидя на лавке, прямая, спокойная, Кривополенова сказала:

— Дайте свечу. Сейчас запоет петух, и я отойду.

Сжимая в руках горящую свечку, Марья Дмитриевна произнесла:

— Прости меня, вся земля русская.

В сенях громко прокричал петух. Сказительница былин закрыла глаза навеки…

Русский Север — это был последний дом, последнее жилище былины. С уходом Кривополеновой совершился закат былины и на Севере. И закат этот был великолепен.

Соломонида Золотоволосая[27]

Мы любуемся творчеством деревенских художников, их резьбой по дереву, расписной утварью, но мы мало знаем их быт, условия труда, их самобытную философию.

Здесь передаю дословный рассказ пинежской крестьянки Соломониды Ивановны Томиловой, в замужестве Черной.

«Наша река Пинега выпала в Северную Двину. Тут леса дремучие, реки быстрые, обрывистые горы — берега.

Мы прибежали на Пинегу в те времена, когда татары накладывали на Русь свой хомут, значит годов семьсот назад.

Наши мужья, сыновья уходили на промыслы. Мы, женки, девицы, сидели в своих деревнях, как приколочены. Я от юности до старости не бывала и в уездном городе.

Держали мы коров да овец. Промышляли семгу. Земля у нас нехлебородимая. Когда мужа взяли на первую Отечественную войну, я одна выпаха-

---

[27] Notes: 27

Впервые опубликовано в сборнике «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971). *–Примеч. ред.*

ла сохой поле, посеяла шесть пудов жита-ячменя. Сочти, каков был участок. Земля не оправдывала себя, а от нее не отвяжешься. Посеемся, всходы зазеленеют, а ночью с моря упадет мороз, значит своего хлеба не будет. Тогда мужики по первому снегу пойдут промышлять белку и куницу, каждый хозяин со своей собакой. Которая собака куницу понимала, та на белку не глядит. Бывало, что муж и брат по пятьсот беличьих шкурок выносили. Куница, белка, семга — товар дорогой, а скупщики платили дешево. Одевались мы пряжей: пряли лен, пряли овечью шерсть. Пряжу красили сами. Краску варили из осиновой и ольховой коры. Изо дня в день сидим за пряжей, за тканьем. Я, бывало, за один день вытку двадцать четыре аршина полотна.

Еще у нас, у девиц, у женок, летом была забота — ягоды собирать. Я, бывало, по два пуда черники вынашивала. В лесу и ночую. Чернику вычесывали из зелени особым гребнем, как бы чашка с зубьями. Однажды беру чернику, ссыпаю в корзину и вышла на поляну, а передо мной медведица стоит с двумя медвежатами. Я прижалась спиной к березе, а медведица начала на меня плевать, потом стала мох драть, всю меня мхом залепила. А у меня с собой были спички, я и зажгла на

березе ленточку бересты. А зверь огня боится. Медведица пнула ногой медвежат, они полетели в кусты, как мячики. И она за ними ушла.

Однажды проходили нашими деревнями ученые люди. Говорят: „Какая у вас природа прекрасная!“ А мы работаем, не разгибаясь. Бывало, ужинать сяду, ложка в руках не держится.

Так и прошла моя молодость день за днем, год за годом. Одна была отрада: я в пятнадцать лет украдкой выучилась грамоте. Отец отпускал меня к одной уважительной старушке помогать по хозяйству, а она положит передо мной книгу. Книга в кожаном переплете с медными застежками. А я не знаю, как к книге приступиться, открываю книгу с конца. А старушка стала называть мне буквы, из букв складывались слова.

И я пристрастилась к книгам. Дома читать было нельзя: девке грамота ни к чему. А меня пошлют хлев чистить, я управлюсь быстро, из-за пазухи книгу выну, сижу около коровушки и читаю.

Исполнилось мне семнадцать лет. Маменька вынула из сундука свой подвенечный наряд, в этом наряде и бабка моя венчалась. От ворота до подолу круглые серебряные пуговицы, на голову стали прилаживать жемчужное кружево, в уши вдели жемчужные серьги. Вижу на себе

подвенечный наряд. Спрашиваю: „Кого замуж выдаете? Почему на меня примеряете?“

Отец отвечает: „Выдаем тебя замуж за Степана Черного. Сегодня к нам придут сваты“.

Я заплакала. Отец говорит: „Сядь, молчи. Реветь будешь по уставу, когда девицы запоют песню“.

А в доме у жениха такие же сборы: надели на него шелковую рубаху румяного цвета, серебряный пояс, жилетку с часами.

Сваты собрались, а Степана нет. Не в лес ли убежал? А он дома за углом сидит с ребятишками, в карты играет. У Степана были кудри мягкие, как шелк. Отец и схватил его за кудри, и ведет по деревне к нашему дому, а Степан идет, слезами обливается, плачет с причетью: „Тятенька, не хочу жениться!“

Народ смеется:

— Невеста твоя дома сидит, молчит, как каменная, а ты на всю деревню причитаешь.

Зашли в избу. Я встала, поклонилась. Спросила:

— Степан Дмитриевич, почему ты меня выбрал?

Его отец говорит:

— Выбирать не его дело и не твое. Мы, родители, сговорились, и мы тебя не за красу берем, не за

отцово богатство. Берем тебя за твой ум-разум. Ты в деревне всех девиц умом-разумом перевысила.

Стала я жить у мужа в доме. Я в такой грозе дома выросла, с кем угодно и где угодно уживусь.

Муж меня ни разу в жизни не толкнул, не ударил. Разве в сердцах обзовет меня „рыжая беда“. А в деревне прозвище мне было Соломонида Золотоволосая.

Кроме книг, у меня от юности до старости осталась еще одна отрада: каждый день что-нибудь деревянное поделать. Помню, нарубила чурок, вытесала птиц, зверей, людей и приколотила к крылечным столбикам. Отец забранился: „У тебя на уме одни потешки“. Тогда я под князевое бревно, которое крышу содержит, вытесала солнце со звездами. Отец это похвалил.

Был у меня брат Трофим. Я с топорком, а он с лоскутками, с нитками, с иглой. Мастер был шить куклы. Сошьет полотняного человечка, набьет льняными оческами и оденет по нашей моде.

Однажды пропадал где-то целую неделю, только обедать домой прибежит. Скрывался в лесной избушке и сшил целый хоровод девиц. Вся деревня приходила любоваться. Он везде лоскутки выпрашивал — шелковые и бархатные.

Трофим не любил сидеть на одном месте. Часто

уезжал в Архангельск. Будучи женатым, пропал на целый год. Уж стали поминать за упокой — и получаем письмо из Москвы. Все российские города обошел и объездил.

После Октябрьской революции прибежал домой, жил неделю. День и ночь уговаривал меня:

— Ужели ты, сестра, как пень в лесу, будешь здесь догнивать? Поезжай в Москву. В Москве новая жизнь открылась. Там тебе дело найдется. Слово мое тайное и крайнее. Весной по первому пароходу плыви в Архангельск, оттуда по железной дороге в Москву.

Адрес дал точный.

Всю зиму я жила сама не своя. Дочери говорят:

— Ты, маменька, что-то задумала.

Я отвечала:

— Задумала сплавать в Москву на месяц. Вы взрослые, с отцом будете хозяйством управлять.

Пришла весна — большие воды. Пароход к нашим деревням подошел. Я сумку-котомку за плечи. Со всей семьей большим обычаем простилась, коровушкам в ноги поклонилась. Никто из семейных мне поперек слова не сказал. Муж до парохода проводил. Крикнул мне вслед:

— Соломонида, не плавай!

Я заплакала.

Больше я с ним никогда не видалась.

В Москве я определилась уборщицей в институт. Сюда приходили дети слушать рассказы и читать книги: один день — старшие, другой — мелкие ребятишки. Я стояла у входа, сортовала детей, чтобы старшие не путались с младшими. Канители было много.

Вечером к заведующей приходили художники казать свои рисунки. Меня пригласят к чайному столу:

— Соломонида Ивановна, расскажите что-нибудь о вашей родине.

Я рассказываю и рисую промышленные снасти — что на зверя, что на птицу, что на рыбу. Они слушают, слова не проронят. Вечера не хватит, ночи прихватим. Художники показывали свои картины. Я тоже пристрастилась к большим листам. У себя в кухне расстелю во весь стол кусок обоев и обдумываю рисунок. Чем я рисовала и красила? Наколю лучинок, свяжу в снопики, положу в печь, чтобы обуглились. На листе проведу дорожки крест-накрест, из одного угла в другой. Обозначится середина. Тут нарисую человеческий лик или звериный. По сторонам жительство людское или звериное. Круг меня художники стоят, переговариваются тихо и умственно.

Подарили мне рисовальную тетрадь и краски в ящичках. Это я убрала в сундук: пригодится внукам.

Краски мои были: вакса черная, вакса — коричный цвет. На веретено навяжу тугие узелки с черникой и другой цветной ягодой, и начнет моя рука летать, как птица, из края в край. Нельзя уронить капельки: обои — материал рыхлый, ягодный сок жидкий.

Художники стоят, дивятся. Я говорю:

— Что же вы, государи, хвалите безграмотную старуху?

Они отвечают:

— Соломонида Ивановна, редкий из нас умеет распределить по листу рисунок так соразмерно и с такой быстротой и чистотой разнести жидкий ягодный сок.

Ночью я лежу, разбираю их речи, как книгу читаю. Великое дело, когда всем наукам обученные люди художество понимают. Не напрасно я в Москву приехала!»

Виктор-горожанин[28]

Какие мысли-воспоминания сияют нам, как зори негаснущие? Не угасает то, что стало сокровищем от юности.

Художнику свойственно любить культуру своей родины и вникать в эту культуру. Непонятно, почему еще детское сердце устремляется к чему-то единственному, и этой любовью человек живет и дышит всю жизнь.

Примером такого целеустремленного призвания к единственному любимому в искусстве был художник — певец русского Севера Виктор Гаврилович Постников. Удивительна была целость ума и целость жизни этого человека. Удивительно изящество внешнее и внутреннее.

Меня и Витю сблизила любовь к рисованию. Во младенчестве мы с упоением размалевывали гравюры немецкого журнала «Гартен ляубе». Лица красили желтым кадмием, одежду — кармином. Потом начали переводить на сахарную бумагу сытинские лубки, полюбили рисовать «виды».

---

[28] Notes: 28

Впервые опубликовано в сборнике «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971). *–Примеч. ред.*

Сыскали образцы, доступные нашей руке. Я без конца изображал пейзаж на фаянсовом блюде: остров — чистая охра, вокруг синий бордюр — река; дерево в виде трилистника, под ним город — домик с киноварной крышечкой.

Затем с увлечением копировали мы виды Соловецких островов, изданные монастырской хромолитографией. Казалось, что картинки эти рисованы цветным карандашом. Подсознательно мы сыскивали образцы, техника которых была нам понятна и посильна.

До лет юности мы шли слепым ходом в поисках чего-то желанного, единого на потребу. На пятнадцатом-шестнадцатом году жизни нам пала под ноги наша дорога. Нам в руки попало несколько серий билибинских работ: северное зодчество, типы Севера, иллюстрации былин.

Билибинский стиль очаровал нас. Кстати, в «Журнале для всех» напали мы на статью Билибина «Искусство в северной деревне», прекрасно иллюстрированную. Все в этой статье было для нас откровением. Радость одна не приходит: в городе появились репродукции с картин Васнецова и Нестерова. Первые книги Пришвина «В краю непуганых птиц» и «За волшебным колобком» стали для нас настольными книгами.

Здесь многие художники скажут: «Это он про меня говорит. Я в том же порядке зачинался».

В 1912 году в Архангельске жил знаменитый архитектор, академик П. П. Покрышкин. Мы с Виктором отважились предстать перед ним во время реставрации Успенья на бору. Черная бородища, орлиный взгляд, одежда, залитая известью, — все поразило нас. Мы истово поклонились, и Виктор не своим голосом произнес заученное приветствие.

Вместо ответа он налетел на нас, как мальчишка, и дал нам по шеям.

«Это я благословляю вас. Художники не живут сладко, а живут терпко. Не будьте „спящие красавицы“. Не спите — не дремлите».

Жадно наблюдали мы освобождение древней живописи от почерневшего лака олифы. Чернота отодвигалась как туча, уступая место светлому перезвону красок. Корпусные краски — киноварь, охра, белила — объединялись нежно-прозрачными: голубец, празелень, багрянец. Легендарен был сюжет, сказочно изящен рисунок. И деревья, и горы, и селенье — все на фоне легкой позолоты. Она мерцала, как немеркнущая вечерняя заря.

Нам открылась неповторимая красота северно-русской культуры. Точно былину сказывали нам

исполинские избы поморов. Гениальные зодчие возводили эти сурово-прекрасные шатровые церкви.

Сколько художественной старины оказалось в наших домах: расписные столы, сундуки, шкафы, резные прялки, ендовы.

Летняя ночь на Севере разнится от полдня только тишиною. Сияющую ночь посвящали мы реставрации живописи. В такой час бежит Витя по тихой улице к моим окнам, кричит:

— Гляди, какие тона открылись хризоэлефантинные!

Я поглядел:

— Витя, ты до грунта, до левкаса все стер.

Как праздник, вспоминаются мне годы пребывания нашего в Москве, в Строгановском училище. Талантливые педагоги-художники, такие как С. С. Голоушев, С. В. Ноаковский, П. П. Пашков, искру любви к искусству умели раздувать в пламя.

Как благодатный дождь принимали мы с Виктором одобрение и поощрение наших северных тем.

Сколько душевного веселья получили мы от наших походов в Абрамцево, Сергиев Посад, в Хотьково, в Богородское. Мы знали, что здесь

начиналось возрождение народного искусства.

В деревнях из уст крестьян слышали мы рассказы о Васнецове, Врубеле, Нестерове, Поленове. Здесь, в царстве деревянной и глиняной игрушки, знали Андрея Рублева, предания о татарщине, о Грозном. Здесь Нестеров сыскивал прекрасные детские и девические лица и увековечивал их на своих полотнах.

Русь Московская стала второй моей родиной. Виктор Постников наезжал сюда редко. Помню последнее его посещение:

— Не спрашивай здоровья, гляди в лицо!

— Витя, ты совсем фарфоровый!

— Нет, я перышко гусиное. Я карандашик костяной. Не сломай меня. Я из трех лучинок складен.

Чем бы его развеселить? Начал я открывать дверцы шкафов, изнутри расписанные в поморском вкусе.

Витя обрадовался:

— Живо наше ремесло! Живы наши праздники! А модели северного зодчества все растерял?

— Все на дым пустил. Вот осталась надворотная башня Николы Морского.

Глубоко запавшие глаза Виктора засияли. Веселясь сердцем, он говорил:

— Помнишь, друг, как на карбасе подошли мы

к Никольскому урочищу. Помнишь неизрекомую тишину июньской ночи и это видение древней красоты. На взлобье серебромшистого холма стоял древний город: вековые бревенчатые стены, сказочная, с высоким шатром надворотная башня, башни угловые.

Этот древний город как бы оборонял великолепный ансамбль новгородского зодчества. Будто лебедь, возникал из-за стен белокаменный Никола; будто крылья, опустил он к северу и к югу торжественные крыльца-всходы. Я и сейчас вижу: нежное золото зари охватило запад и восток. Солнечный венец, как золотой кораблик, плыл край моря. И берега, и острова, и воды — все виделось как бы написанным на золотистом перламутре.

На прощанье он сказал:

— Я эту красоту видел и этим счастлив.

— Виктор, счастливы будут и те, кто не видел, но поверил тебе.

Виктор Гаврилович Постников не дожил до старости. Из Архангельска ушел он на Вычегду. Там и прижал к сердцу художные свои руки.

В Москве в 1958 году на выставке областных художников представлены были акварельные

пейзажи Постникова. Печать с похвалой отозвалась об этих его работах. Но художник уже не дождался ни хвалы, ни оценки.

Пословицы в рассказах[29]
Собирай по ягодке – наберешь кузовок

У Вани была бабушка — добрая, приветливая. С малышами говорила весело, каждого утешит и рассмешит. Со стариками беседовала рассудительно. Приветливая улыбка всегда была на ее лице. Старики говорили: «Хоть какая беда, а эта старуха ладно сдумает, тихонько скажет». Один старичок как-то сказал Ване:

— Твоя бабка из песен сделана, из пословиц сложена.

— Моя бабушка и рисовать умеет, — сказал Ваня.

— Это особое дело. У твоей бабки есть звание «мастер малярного дела». Она и штукатурное, и малярное дело умеет, и краску всякую знает, и древесную породу понимает. В клубе художники с ней советовались, какую краску на чем разводить, чтобы прочно было и красовито.

Вот как-то раз Ваня допытывался:

— Бабушка, о чем ты разговаривала с Митей-

---

[29] Notes: 29

Впервые опубликовано в сборнике «Незабудки: Пословицы в рассказах» (М.: Детская литература, 1969). *–Примеч. ред.*

паркетчиком? Ты кивала головой и говорила: «Верно, работа любит не молодца, а незалежливого». Ты еще сказала: «Глаза страшатся, руки делают». О чем тебе рассказывал Митя?

— Митя рассказывал о своей работе. Очень любопытно.

Митя — художник. Но работает не краской, не кистями. Он украшает деревянным узором шкатулки, столы, шкафы.

Под рукой у Мити тоненькие дощечки из дерева разных пород. Тут красное дерево, черный дуб, коричное дерево. У каждого дерева свой цвет.

Распилены эти дощечки на квадратики, шашечки, кружочки. И Митя выклеивает этими шашечками узор на шкатулке или на шкапчике. Эти деревянные листочки присаживает един к другому на клею.

Иногда узор простой: полоски идут сверху вниз, но у Мити выходило красовито и нарядно. Дорожка черная, коричневая, потом дорожка черная, потом красная, белая.

Эти дорожки повторяются в том же порядке. Благодаря прозрачности цветного дерева любая вещь кажется богато украшенной.

Недавно мастер поручил Мите выклеить столешницу — верхнюю доску стола — и сказал:

— Это заказ от академии. Сроку дано две недели.

Митя с жаром принялся за дело. Обдумал рисунок и в один день закончил верхний угол и сам пришел в восторг от своей работы.

Целую неделю Митя радовался, что ему доверена такая важная работа. Утром проснется рано и до полдня валяется в постели. В воображении своем видит работу законченной, любуется ею, всплескивает руками от радости: одеваясь, танцует и поет. На минуту присядет к столу, подберет нужные дощечки, но радость подмывает его. Бежит на улицу, встречает приятелей:

— Подумайте, ребята, моим художеством будут любоваться профессора и академики.

Вечером побежит в кино.

За неделю работа не подвинулась ни на полмизинца. В субботу вечером Митя вдруг устал веселиться. Снял газету, которою была прикрыта доска, и смутился, и испугался. Прекрасно сделанный узор одиноко красовался, как цветок на фоне голой земли.

Митя всплеснул ладонями:

— Что я наделал! Сроку осталась одна неделя. Я не успею ничего…

Часом позже мастер, проходя двором, увидел,

что на крылечке сидит Митя.

— Митька, ты плачешь?

— Мастер, я обманул ваше доверие.

— Иди покажи мне твою работу.

Зашли в Митину комнату. Взглянув на столешницу, мастер сказал:

— То, что ты сделал, сделано отменно и прекрасно.

— Мастер, милый, какие же участки надо отхватывать мне каждый день, чтобы поспеть к сроку? Работа будет тяп-ляп, а я привык красовито и тщательно.

— Слушай меня, Митя. Я твой начальник и даю тебе норму работы: каждый день выклеивай и отделывай на доске столько, сколько покроет твоя ладонь. Ни меньше ни больше. И дело будет подвигаться, и отделку будешь производить не спеша, в твоем вкусе.

Митя прилежно, как ученик, начал выполнять урок, данный мастером.

Митя сначала не верил, что при такой малой норме успеет кончить работу в срок. Пригоняет пластинки одну к другой тщательно — комар носа не подточит. Но окинет глазами, сколько еще пустого места остается, и испугается. Однако глаза страшатся, а руки делают.

А руки у Мити были золотые.

Тихо подвигалась ладонь по доске, и вслед за движением художной руки доска превращалась в цветущий сад.

За сутки раньше срока Митя закончил работу. Пригладил утюгом и вылощил волчьим зубом[30].

Мастер долго любовался работой, потом молча обнял Митю…

Бабушка закончила свой рассказ словами: «Собирай по ягодке — наберешь кузовок».

Плотник думает топором

Ваня и бабушка наблюдали работу плотника, который обновлял ограду и крыльцо напротив Ванина окна.

— Гляди, Ваня, — говорила бабушка, — плотник выбросил дряблые доски из ограды. На месте остались крепкие доски, но между ними оказались просветы разной ширины. Чтоб закрыть просветы, плотник взял новые доски и начал обтесывать их, сообразуясь с шириной просветов.

---

[30] Notes: 30

При полировке дерева иногда пользовались волчьими или медвежьими зубами, которые, не царапая дерева, помогали вылощить (отполировать) его.

Теперь плотник посадил новые доски между старыми. И так они плотно сели меж старыми, будто век тут сидели. Теперь хоть молотом бей — ни одна доска не выскочит. И гвоздей не надо. Не гвозди держат, а добрая пригонка.

Теперь мастер принялся за крыльцо. Крыша на крылечке была как шапка старая: виду не давала, на глаза лезла. Подпирали крышу два столба, вкопанные в землю. Плотник выкопал оба столба и выдернул из земли. Оказалось, столбы сильно подгнили. Плотник начисто отрубил всю гниль и слегка обтесал столбы снизу. Далее, на место нижней худенькой ступеньки он кладет добрую. По концам колоды вырубил гнезда и одним махом посадил в эти гнезда оба столба.

Так все рублено и тесано соразмерно, будто эти столбы выросли из колоды и верхушками своими приподняли кровлю крыльца. Крылечко теперь смотрит молодцевато и щеголевато.

Теперь плотник сдумал привести крылечные столбы в полную красоту. Он вырезал на столбах пояски, будто браслеты надел. Звенья между поясками сверху и снизу закруглил. Получилось, будто столбы составлены из кувшинчиков. Просто все и нехитро, но как нарядно! Простая снасть топор, но в умелых руках всякое дело родится

красовито. Неправильно говорят, что, например, живописец — это художник, а плотник, столяр — это просто рабочий.

Живописец что сдумает, то изобразит краской, кистью. Можно сказать, что живописец думает кистью.

То же можно сказать о плотнике. Плотник что задумал, то сделает топором. Отсюда и пословица: «Плотник думает топором».

«Акуля, что шьешь не оттуля?»

Однажды Ваня, сидя у окна, рисовал. Подошла бабушка, похвалила:

— Конура подходящая и собака в ней, а окно сверх конуры без понятия.

Ваня ответил:

— Учитель велел срисовать вид из окна: двор, сад. Я и начал рисовать наш двор. Это Жучка в конуре. А окно — это дом, что напротив нас. В окне нарисована кошка Муська.

— Тебе задано срисовать и двор, и дома, и сад. А у тебя Жучка да Муська весь лист заняли.

— Я и сам вижу, что несоразмерно, без плана. Сейчас Жучку с Муськой растушую карандашиком и всё сотру резинкой начисто.

Бабушка рассмеялась:

— Про тебя, Иванушка, пословица говорится: «Акуля, что шьёшь не оттуля?» — «Я еще, маменька, пороть буду».

Шей да пори, не будет пустой поры

Эту пословицу можно ко всякой бестолковой работе применить.

Помню, ученицам велено было в двух комнатах оклеить простенки меж окнами. Они полосу обоев клейстером намазали и приклеили; побежали в другую комнату — то же. Пошли поглядеть в первую комнату, а там обои под потолком просохли — ветерок из форточки прихватил, — и снизу крепко прихватило, от отопления. А середина отстала от стены. Эти девчурки разгоревались: что делать, как быть?

Пока ахали да охали, в другой комнате та же оказия: от форточек и от батареи верх и низ крепко притянуло, а середина, как флаг, треплется.

Я на другом этаже работала, но забежала взглянуть, как у них дело клеится. Вижу, все пузырем висит. Девчонки говорят:

— Где пузырем вышло, мы ножом распорем и клейстеру подпустим.

Я говорю:

— На вас, дурочки, пословица исполнилась: «Шей да пори, не будет пустой поры».

Длинная нитка – ленивая швея

Есть еще поговорка: «Длинная нитка — ленивая швея».

Была ленивая баба-молодка. Шитья много. Нитку в иголку вдевать надо часто, а молодка этого терпеть не могла. У окна шить сядет и нитку вденет длинную-предлинную. Шьет — рука в окно машет.

Мимо шел солдат. Видит, кто-то ему из окна рукой машет. Солдат забежал в избу:

— Хозяйка, ты зачем меня звала, рукой в окно махала?

Она говорит:

— Что ты, с ума сошел? Я шью, нитка длинная, рука далеко машется.

Солдат и закричал сердито:

— Ты нитку-то укорачивай и солдата с дороги не ворачивай!

Коня в гости зовут не меду пить, А воду возить

Как-то бабушка, повязавшись кружевной косынкой, сказала Ване:

— Меня пригласила к себе чай пить одна дама. Я вернусь через час.

Часа полтора Ваня ждал бабушку. Его утешала старуха-соседка:

— Сейчас придет твоя бабка. И к какой она даме чай пить ушла?

Наконец бабушка появилась. Соседка ахнула:

— Подружка, чем ты руки замарала? Что к чаю-то подавали?

— Лак черный. — Бабушка рассмеялась и села рядом. — Ну, слушайте. Встретила я утром новую свою знакомую. Умоляет прийти на чашку чая со свежим медом. Прихожу к ней. Она меня тащит к буфету:

«Посмотрите, бабулечка, что наделал столяр — запятнал черным лаком наружную полку буфета и ушел. И лак оставил. И две недели не показывается».

Я говорю:

«Эти пятна надо циклевать, то есть отскоблить, и два раза покрыть полку лаком».

Дамочка со слезами обняла меня:

«Бабулечка, завтра день моего рождения! Будут гости. Вот вам лак и кисточки. Займитесь этой полочкой, а потом я угощу вас чаем с медком».

Деваться некуда. Я стеклом пятна отскоблила, два раза полку лаком крыла и сушила. Говорю:

«Принимайте работу, сударыня. Я домой спешу».

А она:

«Бабулечка, я вас медом и чаем хотела угостить».

Я ответила ей:

«„Коня в гости зовут не меду пить, а воду возить“ — старинная пословица».

— Ну и много ли ты заработала? — засмеялась соседка.

— «Подали спасибо, да домой не донес». Это тоже пословица.

Одно дело делаешь, другого не порть

Кошка Муська, которую Ваня рисовал, приходила два раза в неделю. Бабушка и Ваня думали, что Муська приходит в гости. Угощали Муську

молоком и рыбой.

Муська была убеждена, что она приходит на работу, а угощенье считала заработной платой. Обязанностью своей считала, чтобы в квартире не завелись мыши. При этом работала в ночную смену — сидела в углу коридорчика и слушала. И вот какая случилась оказия.

Бабушка выкрасила желто-румяной краской — охрой — пол в комнате, покрыла белилами подоконник, чуточку приоткрыла окно и оставила в дверях щель, чтобы по комнате ходил ветерок.

Спать Ваня и бабушка легли в кухне, а Муська сидела в коридоре.

Ночью, сквозь сон, бабушка слышала, что Муська прыгнула и заворчала. Бабушка поняла, что Муська поймала мышонка. Но встать старуха поленилась.

По кошачьим правилам добычу надо было вынести на улицу. Муська почувствовала, что из дверей тянет холодок. Протиснулась в дверную щель, галопом проскакала по сырому окрашенному полу, прыгнула на подоконник. Здесь долго плясала, пока выбралась на улицу.

Утром бабушка приоткрыла дверь в комнату и зашумела:

— Гляди-ка, Ваня, что натворила эта дрянь

Муська! Пол наследила и своими лапищами разукрасила подоконник.

Бабушка бросила на пол полосу бумаги. Ваня подбежал к окну:

— Бабушка, а ведь красиво получилось! Точно цветочки красненькие!

— Я вам покажу цветочки, — ворчала бабушка. — Пусть только Муська явится, я ее ткну носом в эти цветочки!

Муська вернулась вечером за угощением. Бабушка поставила под нос молоко и рыбу, но пока Муська ела, бабушка делала ей строгий выговор:

— Запомни, Муська, пословицу: «Одно дело делаешь, другого не порть». Ты сделала важное дело — выловила мышь, но и я сделала дело — выкрасила комнату. Ты мое дело испортила.

Дуня-тонкопряха

Ваня стал просить бабушку:

— Расскажи что-нибудь смешное, забавное. Помнишь, ты рассказывала об Акуле?

Бабушка улыбнулась:

— Вроде Акули была Дуня-тонкопряха. Эту песенку я с подружками в детстве пела, и смеялись мы до упаду. Слушай:

Пошла наша Дуня
На базар гуляти,
На базар гуляти,
Пряжу закупати.
Три пуда купила,
Денег не платила.
Стала наша Дуня
Куделюшку[31] *прясти.*
Пряжа не прядется,
Тонка нитка рвется.
Тонка, не тонка,
Потоньше полена,
Потолще оглобли.
Стала наша Дуня
Эту пряжу ткати.
Село обежала,
Бёрда не сыскала.
Стала наша Дуня
В изгороду ткати,

---

[31] Notes: 31

Куделя — очищенный и расчесанный лен. Из кудели пряха тянула и выкручивала нити. Эти нити назывались пряжей. Из пряжи на особом станке ткали полотно. Поперек продольных нитей особой снастью — бёрдом — пропускали — притыкали — нити поперечные.

В изгороду ткати,
Колом притыкати.
Пошла наша Дуня
Полотно полоскати.
Реку замутила,
Полотно не смочила.
Едет барин с поля:
«Бог на помощь, Дуня,
Рогожу-то мыти!»
«Красная ты рожа,
Это не рогожа,
Это не рогожа,
Тонкие полотна!»
Повесила полотно
К соседу на крышу.
Крышу обломило,
Соседа задавило.
Стала наша Дуня
Рубашечку кроити.
Топором наставит,
Молотком ударит.
Стала наша Дуня

Рубашечку шити.
Напарьей провернет,
Канатом продернет.
Стала наша Дуня
Рубашечку носити.
Три года носила,
Смены не просила.

А вот я тебе про хорошего мастера расскажу.

Сказка скоро говорится, Дело мешкотно творится

Давно это было. Меня тогда кликали не бабушка, а тетенька. Я в городе пристрастилась к малярному мастерству. Но о родной деревне тосковала. Тут сорока на хвосте принесла весть, что директор нашей деревенской школы своими силами обновляет давно обветшалое школьное здание. Я стремглав полетела из города в деревню. Директор обрадовался мне, как майскому дню. Договорившись с ним, побежала смотреть школу.

Плотники перекрывали школьную крышу. А два мужичка, печные мастера, месили босыми

ногами глину. И так-то потешно, подбоченясь, плясали друг перед другом. То опять кружатся, взявшись за руки.

Я спросила:

— Дядюшки хорошие, слышала я, что три печи подрядились вы сложить в три недели. Вряд ли вы успеете вовремя.

Они говорят:

— Нас не двое, а трое. Старший заболел: колени и локти покою не дают.

Я взяла на себя внутреннюю отделку: покрыть мелом потолки, стены, печи. Мел преподнесла наша речка: в половодье вымыла крутой берег. Объявился самородный мел. Этого мела мы наломали целый воз. Я с помощницею стала этот мел дробить, на ручных жерновах молоть, просеивать.

Сказка скоро говорится, дело мешкотно творится. Мел дробила, мел молола, мел сеяла. Тут в мелу и усну, недосуг нос утереть, три недели на это потратила.

Старухи меня жалеют:

— Ох, мастерица, ты как есть кукла белая глиняная. И личность на вершок оштукатурена. Давай мы тебя на речке отмоем.

— Завтра приходите.

А назавтра за мной из школы бегут:

— Тетенька, иди с печниками прощаться! Они сегодня домой уходят.

Я со всех ног по деревне лечу. Собаки с цепей рвутся, на меня лают, малые ребята со страху ревут.

Я в школу порог переступила. За столом директор сидит и два молодых мастера. А старый мастер, такой прекрасного вида старец, руками на клюшку оперся, в сторонке находится. Они меня увидели и покатились со смеху:

— Кто ты, статуй алебастровый? Человек ты или привидение?

Я их не слушаю, я мастерству дивлюсь: каждая печь как город возведена, а выглядит как игрушечка. И кирпичики, и карнизы, и уголки — все слажено хитрым вымыслом.

И я ахнула от восхищения:

— Отсохни мои руки, если я это художество буду слепым мелом мазать!

Пречудный старик, старый мастер, подошел, обнял меня за плечи:

— Ты, дочка, сама истинная художница, но побелка необходима. Побелка будет свет дневной отражать, а в школе светлость — первое дело.

Я говорю:

— Если начальник какой прикатится, каким глазом взглянет!

Директор отозвался:

— Ответственный человек был. Вот оставил похвальный лист с благодарностью на имя каждого мастера. А вот здесь договоренные деньги сполна… Ты, старший мастер, первый расписывайся в получении.

На лицо старику будто туча накатилась:

— Шутить изволите, директор? Я сюда приходил заместо прогулки. Только два человека работали здесь. Они, как птички вокруг гнезда, сновали. Я на стуле сидел, палец о палец не колотил. Никакого касательства ни к деньгам, ни к похвалам не имею.

К старику прискочили два других мастера:

— Не гораздо твое слово, государь-дедушка. Мы у работы летали, как птички, потому что ног под собой не чуяли от радости. Веселились тому, что при нас находишься. Твоя личность силы придает. Твоего труда здесь бóльшая половина, а ты и малую законную треть не признаешь. Или ты, государь-каменщик, не ведаешь, что все наше окружное сословие — и мастера и подмастерья, может, нас триста человек, — тебя знаем и тебя называем: ты наше угревное солнышко.

Лицо старика просветлело:

— Детища мои, вот это и есть мне самая великая награда! А денежная придача как полынь горька.

Я не стерпела этой преславной тяжбы, вышла на улицу и заплакала. Следом выбежал и директор, схватил железную клюшку и начал звонить в чугунную доску, что висела у крыльца школы.

На этот набат вышли три мастера, сбежалась толпой вся деревня. Директор статно и внятно обсказал весь спор каменщиков и закончил:

— Вы, честной народ, рассудите: вправе ли старший мастер отказываться от пая?

И весь деревенский люд вымолвил ясно, громогласно:

— Приговариваем тебя, государь мастер каменных дел, принять этот пай беззвучно. Возьми твою долю непрекословно.

Старый мастер постоял молча, потом большим обычаем поклонился двум своим каменщикам, потом тем же обычаем всему народу…

Ваня спросил:

— А ты, бабушка, умываться побежала?

Бабушка рассмеялась:

— Конечно, меня старухи сутки в корыте отмачивали, потом сутки в корыте стирали, потом в

речке полоскали, потом сушили и утюгом гладили… Нет, Иванушка, я с мастерами простилась, клей обдумывать побежала. Без клею побелка не живет.

Тут опять помогла наша речка-матушка. Наказала я мальчишкам ловить рыбу мелкую и крупную сетками и бреднем. Напромышляли они рыбы вдоволь. Стала я эту рыбу в котлах варить, а уху сливать в ведра. Это и есть клей, крепкий, терпкий. Тогда я стала в эти ведра мел сыпать по пропорции. Сыплю и лопаточкой разбалтываю. Эти ведра снесли в школу. И принялась белить потолки, стены, печки, сени. Теперь белят — из брызгалок фукают, а я кистей мочальных навязала и кистями побелку делала, да во всю мочь.

Печи топятся, окна и двери настежь для просухи. И заблестели потолки, и стены, и печи, и сени — как из белого мрамора. Школа наша светом налилась.

У архангельского города

Егор увеселялся морем[32]

Впоследствии времени пущай эти слова будут мне у гробового входа красою вечною сиять.

А сейчас разговор пойдет про свадьбу. О том, как Егор жену замуж выдал. Действительно, я свою бесценную супругу замуж выдал. Замуж выдал и приданое дал! Люди судят:

— Ты, Егор, всему берегу диво доспел. С тебя будут пример снимать.

— Не будут пример снимать, ежели рассмотрят, какими пилами сердца у нас перетирались.

Жизнь моя началась на службе Студеному морю. Родом я с Онеги, но не помню родной избы, не помню маткиных песен. Только помню неоглядный простор морской, мачты да снасти, шум волн, крики чаек. Я знал Студеное море, как любой человек знает свой дом. Ты идешь в темной комнате, знаешь, где скрипит половица, где порог, где косяк. Я судно в тумане веду. Не стукну

---

[32] Notes: 32

Впервые опубликовано в журнале «Звезда» в сентябре 1958 г. и включено в сборники «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. *–Примеч. ред.*

о камень, не задену о коргу.

Теперешнее мое звание — шкипер, но судовая команда звала меня по-старому «кормщик» и шутила:

— Наш кормщик со шкуной в рот зайдет да и поворотится.

— Мореходство — праведный труд. Море строит человека.

Наше судно называлось «Мурманец». Много лет ходили мы на нем. Пятнадцать человек — все как одна семья. Зимовали на Онежском и на Зимнем берегу. Я занимался судовым строением, увлекался переправкой парусных судов на паровые. Чертил проекты и чертежи посылал в Архангельск.

Отдыхал с малыми ребятами: делал им игрушки. На Зимнем берегу был у меня приятель Колька Зимний. Обожал меня за кисти да за краски. Где меня ни встретит: «Дядюшка Егор Васильевич, срисуй кораблик!»

На Онежском берегу меня встречала маленькая Варенька. Я ей рассказывал про Кольку Зимнего. Она ему вышила платочек. Он ей послал рябиновую дудочку.

Маленькая Варенька любила мои сказки. Впоследствии она сама рассказала мне сказку моей

жизни.

Имея дарование к поэзии, я две зимы трудился над стихами. В звучных куплетах изложил мое жизнеописание. Но едва начну читать, как слушателей сковывал могучий сон.

Я тогда не думал о своих годах, о возрасте. Годы жизни были словно гуси: летели, звали, устремлялись…

Мне стукнуло пятьдесят годов.

Получаю приглашение явиться в управление Архангельского порта. Товарищи мои обеспокоились:

— Что ты, шкипер! Неужели нас покинешь? Не являйся и не отвечай.

— Ребята, я вернусь через неделю. Может, любознательность какая.

— Смотри, шкипер. Отпускаем тебя на десять дней, не более.

Я ушел от них на десять дней — и прожил в разлуке с ними десять лет.

Являюсь в Архангельск. Оказалось, что над конторой порта поставлен некто, старый мой знакомец. Он меня встречает, стул поддерьгает. Из своих рук чаем потчует:

— Садись, второй Кулибин. Я нашел твои изобретательные чертежи о примененье парового

двигателя в парусном ходу. Мы в этом направленье оборудовали мастерскую. Работай и сумей увлечь мастеровую молодежь.

…Я шел по городу без шапки. Шапку позабыл в конторе. Смеяться мне или плакать?

Мастеровая молодежь оценила жизнерадостность моей натуры. Был я слесарь и столяр, токарь и маляр, чертежник и художник.

Покатились дни и месяцы.

Сравнялся год, пошел другой.

Вышеупомянутый начальник так аттестовал мою работу:

— Я не ошибся, что призвал тебя. Но не могу тебя понять. Ты механик, чинишь пароходные машины, а твои ученики только и слышат от тебя, что гимны легкокрылым парусным судам.

Так прошло пять лет. И такое у меня чувство, будто меня обокрали. Нет — будто я кого-то обокрал. О покинутой семье, то есть о морской моей дружине, я старался ничего не знать, я усиливался позабыть…

Как весна придет, я места не могу прибрать:

— Эх, шкипер, пять годов на якоре стоишь! Выкатал бы якорь, открыл бы паруса — да в море…

…Нет, я на прибавку к якорю цепью приковался

к берегу еще на пять годов.

Получаю письмо с Онеги. Варенька, которую я помнил крошкой, пишет, что, за смертью отца, желают они с матерью жить в Архангельске. Умеют шить шелками, знают кружевное дело.

Я жил в домике, который мне достался после тетки. Пригласил Вареньку к себе.

Встретил их на пристани. Со шкуны сходит девица в смирном платье, тоненькая, но, как златая диадима, сложены на голове косы в два ряда. Давно ли на зеленой травке резвилась, а тут… Взгляни да ахни! И какое спокойствие юного личика! Какая мечтательность взгляда! Тонкость форм не во вкусе по нашему быту, но я обожаю мечтательность в женщине.

Они стали жить у меня в верхнем покойчике.

Мне — за пятьдесят, Варе — двадцать, а я по первости робел. Она выйдет шить на крылечко, я из-под занавески воздыхаю и все дивлюсь: «Что это люди-те у моих ворот не копятся на красу любоваться?»

Дальше — Варя поступила в школу, учить девиц изяществу шитья. Я тоже осмелел. Украдкою Варю дома, подымусь на вышку, будто к маменьке, а разговоры рассыпаю перед дочкой:

— Ну, задумчивая Офелия, признайтесь, кто из

коллег-учителей вам больше нравится?

Варя шутливо:

— Офелию вода взяла. Ужели я с утопленницей схожа?

— Кто-нибудь да утонет в вашем сердце…

И мать вздохнет:

— Сердце закрыто дверцей. Истинная Фефелия. Хоть бы ты, Егор, ее в театр сводил.

Я за это слово ухватился. Представление привелось протяжное. Моя дама не скучает, переживает от души. Переживал и я. В домашности даже касательство руки предосудительно, в театре — близкая доверчивость. Притом воздушный туалет и аромат невинности…

В гардеробной подаю Варе шубку, а сторожиха с умиленьем:

— Ишь, папенька как доченьку жалеет! Видно, одинака дочка-то?

Дома в зеркало погляделся: сюртук по старой моде. Борода древлеотеческая… Что же, старее тебя есть кобели, и те женились на молоденьких. Мало ли исторических примеров!

Ум мой раздвоился. Корабль руль утерял, и подхватили его неведомые ветры.

Не узнают дядю Егора его ученики: брюки с напуском при куцом пиджачке, бородка а-ля

Фемистофель. Во рту папироса, курить не умею.

Приглашаю Варю в оперетку. Половина действия не досидела:

— Как это можно любовь на смех подымать, а измену выхвалять?!

Как-то в мастерской наступил я кошке на хвост. Ребята рассмеялись:

— Егор Васильевич, жениться задумал?

— Кто вам сказал?

— Примета такая. Рассеянность чувств.

Я постарался открыть свои чувства в стихах. Варя отвечала грустным взглядом. Наконец я изъяснился со всею тонкостью, вынесенною из книг. Варя покорно опустила глаза.

Первый-то год после свадьбы «молодой муж» на крыльях летал, на одном каблуке ходил. С лестницы бегом и на лестницу бегом. На работу побежу, жене воздушны поцелуи посылаю. А поясница аккуратно дождь и снег предсказывает. Изучил тонкую светскую манеру поведенья — ножкой шаркать и ручку целовать. Да, любовь у юноши душу строит, а у старика душу мутит.

А Варя какова была, такая и осталась. Ни вздоров, ни перекоров, ни пустых разговоров. Никогда меня не оконфузила, не оговорила, не подосадовала. Чуть припаду с простуды, она и ночь не

спит. И школу посещала, ремесло свое правила радетельно. Детей любила. С улицы чужого ребенка притащит, обмоет да накормит.

Варенька была охотница до романов, изображающих высокие волнения страстей. Но к себе того не примеряла.

Таковым по́бытом мы прожили с ней четыре года. Но у меня такое чувство, будто меня обокрали. Нет — будто я кого-то обокрал.

Было ненастливое лето. В море бушевали непогоды. Ходили слухи о крушениях. В один ненастный день меня требуют в контору. Начальник говорит:

— На Соломбальском острове находится шкуна по имени «Обнова», потерпевшая аварию. Шкуна принадлежит Онежскому обществу, но контора собирается ее купить. Возлагаю на тебя ремонт. Возьми помощников. Имей в виду, что шкипер этой шкуны — аттестованный механик. Приобучался в Петербурге, Николай Иванов.

— Не слыхал такого, — говорю.

Пришел в Соломбалу на лихтере. Ребята выгружают матерьялы, инструменты, а я на эту шкуну наглядеться не могу. Истинно «Обнова»! Какая легкость и изящество постройки! Разговариваю с ней, со шкуной-то, пробоины руками глажу:

— Не горюй, голубушка моя. Залечим твои раны. Будешь краше прежнего…

Вдруг кто-то меня руками сзади охапил. Оглядываюсь: молодой детина, станом крепок, лицом светел.

— Вы кто будете? — спрашиваю.

Детина состроил мальчишескую рожицу и выговорил только:

— Дядюшка Егор, срисуй кораблик!

— Колька Зимний! Ах ты, милый мой! Ах ты, желанный…

Меня почему-то страшно взволновала новость, которую мне Коля сообщил: команда его шкуны почти целиком состояла из былых моих товарищей по «Мурманцу». Старый «Мурманец» обветшал, но согласие его дружины осталось нерушимо.

Спрашиваю Колю:

— Они где теперь?

— Поспешили на родину, в Онегу. Но я слышал, что управление порта не хочет отпустить таких отменных моряков.

Варе я рассказал о встрече с Колей Зимним, а ему устроил маленький сюрприз. Он знал, что я женат, но ожидал увидеть хлопотливую старушку. Вообразите изумление молодого человека,

когда перед ним предстала моя задумчивая Офелия в венце прекрасных кос.

— Варенька, вот этот джентльмен когда-то смастерил трумпетку из рябины и послал тебе в подарок.

Варенька смеется, протягивает ему руку. Он ее руки не замечает, покраснел:

— Так это вы… Это вы мне вышили платочек?..

Я хохочу впокаточку:

— Это я вас, сопленосых, сватал. Дары от жениха невесте за море возил. Упустили вы свое счастье. Сват-то сам не промах. Ха-ха-ха! А ты, Коля, почему не женат?

— Судьбы не было, Егор Васильевич.

С весельем я у этой шкуны работал.

Как матка дочку умывает да утирает, учесывает да углаживает, наряжает и любуется, так я эту «Обнову» уделывал и обихаживал. И то было умильно и утешно, что для старых моих товарищей стараюсь. Пускай добром помянут кормщика.

Варя иногда придет, шанег горячих принесет.

Как-то в обед сижу я, отдыхаю под берегом: чайки кричат, рыбу промышляют. Меж седого камня синий колокольчик, незабудки. Вдруг слышу смех: Коля с Варей собирают по угору шиповник

на букет. Она боится оступиться, он ее за руку содержит. И что у них смеху, разговору! Молодость их берет. А мне что-то скучен стал сияющий день, полиняло небо, поблекли цветы.

Стал я у́росить и обижаться. Ну посудите сами: этот молодой человек разбил о камни судно. Заместо того чтобы с сокрушенным сердцем помогать мне у починки этого судна, он зубоскалит с дамами, подносит им букетики.

Коля за столом пустяк соврет — Варенька смеется, как колокольчик. А я учну что-нибудь полезное объяснять — в ней захватывающего вниманья нет. А уж, кажется, любезная, могла бы ты за столько лет оценить мои любопытные познания и рассудительность понятий…

А Николай что? Неосновательность мнений, невнимание к тайнам природы. От моря пошел, а к морю должного пристрастия нет. При всем желании нечем восхищаться: ни изящества воспитанных манер, ни светской обходительности… Медвежонок! Каждая лапа с ведро. Только и есть, что располагающие глаза да зубы со смехом.

Мне были тягостны такие переживания. Будто два человека боролись во мне. Один, любящий и добрый, радовался, что Варя оживилась и повеселела, а другой кто-то ревновал и оскорблялся.

Но и Варя что-то заметила в своем сердце и чего-то испугалась. Как-то раз сговорились мы втроем на остров по морошку. Я, изобретаючи олифу, позамешкался. И Варя отказалась:

— Я без мужа ездить неповадна.

Как дом отеческий, я шкуну обновил и учинил. И, отделав дела, как с домом отеческим, простился. Николай остался жить в Соломбале.

Потянулась ненастливая осень. Залетали белые мухи. Варя ни разу Соломбалу не помянула. Николая не проименовала.

Николай приехал к нам по первопутку. Завидев гостя, Варя дрогнула и с лица сменилась. Он гостил у меня два дня. Варя не сказала с ним двух слов. По отъезде в глазах ее установилась смертная тоска. Молчит, склоняясь над шитьем. За оконцем неустанно-неуклонно падает снег…

Что же делает Егор в присутствии плачевной супруги? Вознамерился презрение показывать и безотрадно в том преуспевал. Оледенело сердце, и страшная была зима душевная.

Думали, конца зиме-то не дождаться…

Однажды Варя мне сказала:

— Егор Васильевич, Коля мне пишет. Письма все в красненьком столике.

Я процедил сквозь зубы:

— За низкость почитаю интересоваться подобными секретами.

Однажды ночью слышу: Варя вздыхает, плачет за своей перегородкой. Я выговорил ехидным тенорком:

— Бабушка, бывало, молилась: «Пошли мне, Господи, слезную тучу». Я спишу для вас?

Остегнул ее таким словом и — ужаснулся. Я ли это? Ей ли, бедной, говорю? Хотел зареветь, заместо того скроил рожу в улыбку.

Коля явился к нам на Масленой. Я только охнул. Будто кто его похитил: глаза ввалились, по привычке улыбается, но улыбка самая страдальческая.

Я был маленько выпивши и запел дурным голосом:

Где твое девалось белое тело?
Где твой девался алый румянец?
Белое тело на шелковой плетке,
Алый румянец на правой на ручке.
Плетью ударит, тела убавит.
В щеку ударит, румянца не станет.

Пою… И тяжкий груз, который меня всего давил, во едино место собрался: вот-вот скину.

Заплакать бы — еще не могу.

На другой день Варина мать мне «по тайности» высказывала:

— Коля без тебя заходил проститься. Они всегда молча сидят. А тут он глядел-глядел, да и пал перед Варей. Обнял ей ноги, положил ей голову на колени и заплакал навзрыд, как ребенок. Варя лила слезы безмолвно, прижимая к устам платок, чтобы заглушить рыданья. Потом отерла Колино лицо и сказала: «Коля, много у нас цветов было посеяно, мало уродилося. Коленька, когда мы будем в разлуке, не грусти безмерно. Моя душа всякий раз слышит твою печаль и скорбит неутешно».

Я прибежал к себе, зачал бороду рвать и кусать: «Ирод ты! Журавлиная шея, желтая седина! Что ты, мимо себя, на людей нападаешь? Что ты свою жизнь надсаживаешь?»

Опять весна пришла, большие воды, немеркнущие зори. Было слышно, что старые товарищи мои согласились поступить на «Обнову». Контора их ждала со дня на день. Но какое мне дело до вольных людей!

Какой-то вечер мы сидели с Варей, молчали. Приходит Зотов, пароходский знакомый. К разговору спрашивает:

— Что это ваш Николай Зимний затевает? Подал в управление порта просьбу о зачислении его в команду Новоземельской экспедиции. Вторую неделю живет в городе. Остановился у меня.

Варя сделалась белее скатерти. Вышла из комнаты. Слышу, наверху, в светелке, дверь скрипнула.

Когда Зотов ушел, я поднялся к Варе. Она где плакала, у окна на сундучке, тут и уснула. И столько было ейного возрыданья, что и рукав и плат мокры от слез. Негасимый свет летней ночи озарял лицо спящей. И грозно было видеть неизъяснимую печаль на сомкнутых глазах, горечь в сжатых устах.

Жалость пуще рогатины ударила мне в сердце. И, опрятно встав, руки к сердцу, заплакал я со слезами. И тихостным гласом, чтобы не нарушить скорбного сна, зачал говорить:

— Дитятко мое прежалостное, горькая сиротиночка! Где твоя красота? Где твоя премилая молодость? Ты мало со мною порадовалась. Горьки были тебе мои поцелуи. Я неладно делал, лихо к лиху прикладывал. Совесть меня укоряла — я укорам совести не верил. Видел тебя во слезах — и стыдился утешать. Сколько раз твоя печаль меня умиляла, но гордость удержала.

Кукушица моя горемычная, горлица моя заунывная! Звери над детьми веселятся, птица о птенцах радуется — ты в холодном гнезде привитала. Ты, как солнце за облаком, терялась, мое милое дитя ненаглядное! Был я тебе муж-досадитель, теперь я тебе отец-покровитель…

Шепчу эти речи, у самого слезы до пят протекают. А красное всхожее солнышко золотит сосновые стены.

Так я в эту ночь свою гордость обрыдал и оплакал.

Но часы-время коротаются, утро — в полном лике. Прилетел морской ветерок, и занавески по окнам залетали, как белые голуби. Внизу я наказал, чтобы покараулили Варин сон, чтобы, как проснется, шла она к Коле на квартиру и ждала меня там, у Зотова.

А сам достал из сундука поморскую свою одежу коричневых сукон, вязаную, с нездешними узорами рубаху, бахилы с красными голенищами, обрядился, как должно, и легкою походкой отправился в контору.

В конторе прямо подлетаю к начальнику, не обратив вниманья на людей, сидящих вдоль стены:

— Господин начальник, я по личному делу…

Удивленно взглянув на меня, он показал рукой на сидящих:

— Ты с ними не знаком, Егор Васильевич?

Я оглянулся и… повалился в ноги им, старой дружине моей.

Сколько у меня было слов приготовлено на случай встречи с ними! А только и мог выговорить:

— Голубчики… Единственные… Простите.

Они встали все, как один, и ответно поклонились мне большим поклоном:

— Здравствуй многолетно, дорогой кормщик и друг Егор Васильевич!

Меня усадили на стул. А я все гляжу на них, вековых моих друзей, на их спокойные лица, степенные фигуры.

Начальник говорит:

— Ты пришел, Егор Васильевич, более чем кстати… Да ты ведь по личному делу?

— Я шел сюда проситься в команду «Обновы».

Начальник говорит:

— Я ожидал этого. Но правление не отпустит тебя, если не представишь заместителя. А такого не предвидится.

Я спрашиваю:

— Верны ли слухи, что Николай Зимний ушел с «Обновы»?

— Ушел. Отказался от этой службы категорически. По каким-то личным обстоятельствам.

Я говорю:

— Господин начальник, вот бы кто поставил мастерскую на должную высоту. Николай Зимний — судовой механик с аттестатом.

Начальник даже крякнул:

— Эх, Егор! Лучшего бы выхода и для тебя, и для меня не было. Но Николай Зимний рвется в дальние края. Он заявил мне: «Если не устроите меня в Новоземельную экспедицию, я уйду в дальние зимовья на купеческих судах…» Уперся, уговаривай его хоть год.

Я стукнул кулаком о стол и говорю:

— Господин начальник, я берусь уговорить Николая остаться в городе. И сроку мне понадобится не год, а пять минут.

Все глаза вытаращили.

— Каким образом?..

— Цепью его прикую к пристани.

— В добрый час, Егор! Орудуй!

Я побежал к Зотову, где жил Николай. Остоялся в сенях, слушаю… Варя плачет с причетью:

Не одна родитель нас родила,
Одной участью-таланом наградила:

Что любовь наша – печаль без утешенья.

Мне не честь будет старого мужа бросить.

Он не грозно надо мной распоряжался,

Не обидел меня грубым словом.

Он много цветов посеял, мало уродилось.

Николай говорит:

— Мне должно уехать, Варенька, но не терплю без вас быть!

Я дверь размахнул, за порог высокоторжественно ступил:

— Принимайте меня с хлебом-солью! Доченька! Много ты потерпела бедностей, и ты ныне возрадуйся! Я, твой бывший муж, ныне же твой отец, торжествую над собой пресветлую победу. Отдаю тебя Николаю на́ руки, Ивановичу на́веки… Николка, я твою думу разбойницкую всю знаю. Не затевай! Не езди!

Он прослезился горько и отер слезы:

— Егор Васильевич!.. Мы вас не согласны обидеть…

Варя пала мне в ноги:

— Благодарствую, Егор Васильевич! Спасибо

на великом желаньице. Ты доспел себе орлиные крылья, нашел в себе высокую силу.

Ты мужскую обиду прощаешь,

Превысоких степеней отцовских доступаешь,

Перед тобой мы безответны и не́мы.

Я подхватил ее с полу, как ребенка:

— Дочка, подыми лицо и более ни перед кем не опущай! Дети! Я упал больно, встал здо́рово. Теперь буду вашей радости пайщик, вашего веселья дольщик, вашего счастья половинщик.

Видя мою радость, Коля с Варей стали краше утра.

Я учредил их в моем домишке и, как куропать вырвавшись из силка, устремился к старой и вечно юной морской жизни.

Радость одна не приходит: дружина моя объявила портовой конторе, что подпишутся в службу только в том случае, ежели шкипером на «Обнове» положат старого их кормщика Егора Васильева.

Вот и настал этот торжественный день моего освобожденья, день отпущенья. Низменная конторская палата будто светом налилась. Все мы

собрались сполна. Начальник конторы сам перо в чернильницу обмакнул и подает мне:

— Подписывайся, кормщик.

Я говорю:

— Дозвольте, господин начальник, чин справить, у дружины спроситься.

Товарищи зашумели:

— Егор Васильевич! Это чин новоначальных. Ты старинный мореходец.

Я говорю:

— Совесть моя так повелевает.

Они сели вдоль стены чинно. Я встал перед ними, нога к ноге, рука к сердцу, и выговорил:

— Челом бью всем вам, и большим, и меньшим, и середним: прошу принять меня в морскую службу, в каков чин годен буду. И о том пречестности вашей челом бью, челом бью.

И, отведя руки от сердца, поклонился большим обычаем, дважды стукнув лбом об пол. Они встали все, как один, и выговорили равным гласом:

— Осударь Егор Васильевич! Все мы, большие, и меньшие, и середние, у морской службы быть тебе велим, и быть тебе в чину кормщика. И править тебе кормщицкую должность с нами однодумно и одномысленно. И будем мы тебе, нашему кормщику, послушны, подручны и по-

словны.

И вот я опять в море. Попутный ветер свистит в снастях. Волны идут рядами, грядами.

Обгоняем поморскую лодью. Они кричат нам:

— Путем-дорогой здравствуйте!

Я отвечаю:

— Вам здоровья многолетнего на всех ветрах!

От них опять доносится:

— Куда путь правите?

Я отвечаю:

— Из Архангельского города в Мурманское море…

И опять только волны шумят да ветер разговаривает с парусами.

О море! Души моей строитель!

Ваня Датский[33]

У Архангельского города, у корабельного пристанища, у лодейного прибегища, в досельные годы торговала булками честна вдова Аграфена Ивановна. В летнюю пору судов у пристани — воды не видно; народу по берегам — что ягоды морошки по белому мху; торговок — пирожниц, бражниц, квасниц — будто звезд на небе. И что тут у баб разговору, что балаболу! А честну вдову Аграфену всех слышней. Она со всем рынком зараз говорит и ругается. Аграфена и по-аглицки умела любого мистера похвалить и обложить.

Горожане дивились на Аграфену:

— Ты, Ивановна, спишь ли когда? Утром рано и вечером поздно одну тебя и слыхать. Будто ты колокол соборный.

— Умрем, дак выспимся, — отвечала Аграфена. — Я тружусь, детище свое воспитываю!

---

[33] Notes: 33

Впервые опубликовано под названием «Северное сердце» в сборнике «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947) и переиздано под названием «Ваня Датский» в сборниках «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957), «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. *–Примеч. ред.*

Был у Аграфены одинакий сын Иванушко. И его наравне с маткой все знали и все любили. Не только своя Русь, но и гости заморские. Не поспеет норвецкое суденышко кинуть якорь, Иванушко является с визитом, спросит: по-здорову ли шли? Его угощают солеными «би'шками» — бисквитами, рассказывают про дальние страны.

Иванушко рано запросился у матери в море. Четырнадцати лет приступил вплотную:

— Мама, как хошь, благослови в море идти!

Мама заревела как медведица:

— Я те благословлю поленом березовым! Мужа у меня море взяло, сына не отдам!

— Ну, я без благословенья убежу.

Ваня присмотрел себе датский корабль, покамест тот стоял у выгрузки-погрузки. Явился к капитану:

— Кэптен, тэйк эброд! (Возьмите с собой!)

У капитана не хватало матросов. Бойкий паренек понравился.

— Хайт ин зи трум! (Ступай в трюм!)

Ваня и спрятался в трюм. Таможенные досмотрщики не приметили его. Так и уплыл Аграфенин сын за море.

Аграфена не удивилась, что сын не пришел ночевать. Не очень беспокоилась и вторую ночь:

«На озерах с ребятами рыбу ловит». Через неделю она выла на весь рынок:

— Дитятко Иванушко! В Датску упорол, подлец!

И не было об Аграфенином сыне слуху двадцать лет…

Нету слез против матерних. Нет причитанья против вдовьего. По утренним лазорям Аграфена выходила на морской бережок и плакала:

Гусем бы я была, гагарой,
Все бы моря облетела,
Морские пути оглядела,
Детище свое отыскала.
Зайком бы я была, лисичкой,
Все бы города обскакала,
Каждую бы дверь отворила,
В каждо бы оконце заглянула,
Всех бы про Иванушка спросила…

А Иванушко за эти годы десять раз сходил в кругосветное плаванье. В Дании у него жена, родилось трое сыновей. Ребята просили у отца сказок. Он волей-неволей вспоминал материны песни-былины. Видно, скопились старухины слезы в перелетную тучку и упали дождем на

сыновнее сердце.

Припевая детям материны перегудки, Ваня слышал материн голос, мать вставала перед ним как живая…

А Ивану было уже тридцать четыре года. Тут по весне напала на него печаль необычная. Идет Иванушко по набережной и видит — грузится корабль. Спрашивает:

— Куда походите?

— В Россию, в Архангельской город.

Забилось сердце у нашего детинушки: «Маму бы повидать! Жива ли?..» И тут же порядился с капитаном сплавать на Русь и обратно в должности старшего матроса.

Жена с плачем собрала Ваню в путь:

— Ох, Джон! Узнает тебя мать — останешься ты там…

— Не узнает… И я не признаюсь, только издали погляжу.

Дует пособная поветерь. Шумит седой океан. Бежит корабль, отворив паруса. Всплывают русские берега.

На пристанях в Архангельском городе людно по-старому. Точно вчера Иванушко бегал здесь босоногим мальчишкой… Теперь он идет по пристани высокий, бородатый. Идет и думает:

«Ежели мама жива, она булочками торгует».

Он еще матери не видит, а уж голос ее слышит:

— Булочки мяконьки! По полу катала, по подлавочью валяла!

Люди берут, хвалят. И сын подошел, купил у матери булочку. Мать не узнала. Курчавая борода, одет не по-русски.

У пристани трактир. Ваня у окна сидит, чай пьет с маминой булочкой, на маму глядит…

Неделю корабль стоял под Архангельском. Ваня всякий день булочку купит, в трактире у окна чай пьет, на маму смотрит. У самого дума думу побивает: «Открыться бы!.. Нет, страшно: она заплачет, мне от нее не оторваться. А семья как?»

В последний день, за час до отхода, Ваня еще раз купил у матери булочку и, пока Аграфена разбиралась в кошельке, сунул под булки двадцать пять рублей.

Так, не признавшись, и отошел в Данию.

Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — двадцать пять рублей лишних! Зашумела на всю пристань:

— Эй, женки-торговки! Кто-то мне в булки двадцать пять рублей обронил! Может, инглишмен какой полоротой?.. Твенти файф рубель!

Никто не спросил ни завтра, ни послезавтра.

После этого быванья прошла осень грязная, зима протяжная. Явилась весна разливна-красна. Закричала гагара за синим морем. Повеяли ветры в русскую сторону.

Опять Иванушко места прибрать не может: «Надо сплавать на Русь, надо повидать маму».

Опять жена плачет:

— Ох, Джон! В России строго: узнает мать — не отпустит.

— Не узнает. Я не скажусь ей, только издали погляжу.

Опять он порядился на корабль старшим матросом и приплыл к Архангельскому городу. Идет в народе по пристани. И мамин голос, как колокольчик:

— Булочки-хваленочки: сверху подгорели, снизу подопрели!

Ваня подошел, купил. Потом в трактире чай пьет, из окна глядит на маму. И жалко ему: постарела мама, рученьки худые… Упасть бы в ноги! Может бы и простила и отпустила!.. Нет, страшно!

Неделю корабль находился в порту, каждодневно сын у матери булочки покупал, а не признался. Только в последний день, перед отходом, сунул ей в короб пятьдесят рублей и ушел в Данию.

Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — пятьдесят рублей лишних! Все торговки подивились:

— Что же это, Аграфена! Прошлый год ты у себя в булках двадцать пять рублей нашла, сейчас пятьдесят. Почто же мы ничего не находим? Уж не сын ли тебе помогает?

— А и верно, сын! Больше некому! — И заплакала. — Дитятко мое роженое, почто же ты не признался! Поглядела бы я на тебя… Верно, уж большой стал. Дура я, детища своего не узнала! Теперь каждому буду в руки смотреть.

Таковым побытом опять год протянулся, с зимою, с морозами, с весною разливной. Веют летние ветры, кричит за морем гагара, велит Иванушке на Русь идти, мамку глядеть. Плачет жена:

— Ох, Джон! Я не держу тебя, только знай: не так я беспокоилась, когда ты на полгода уходил в Америку, как страшусь теперь, когда ты плывешь одним глазом взглянуть на мать…

Дует веселый вест, свистит в снастях Иванова кораблика. Всплывают русские берега… Вот сгремели якоря, опустились паруса под городом Архангельском. На горе стоят, как век стояли, башни Гостиного двора. Под горой сидит, как век

сидела, булочница Аграфена. Теперь она зорко глядит в руки приезжим морякам: не сунет ли кто денег в булки?

Иванушко тоже свое дело правит: у мамы булку купит, в трактире чай пьет, на маму глядит.

И в последний раз, как булку купил, сует матери в корзину сто рублей. А старуха в кошельке роется, будто сдачу ищет, а сама руки покупателя караулит.

Как он деньги-те пихнул, она ястребом взвилась да сцапала его за руки и разинула пасть от земли до неба:

— Кара-у-ул! Грабя-ят!!!

Ване бы не бежать, а он побежал. Его и схватили, привели в полицию.

Аграфена тихонько говорит приставу:

— Это не грабитель, это мой сын. Он мне сто рублей подарил. Он двадцать три года терялся. Я хочу, чтобы он сознался.

Пристав подступил к Ване:

— Признавайтесь, вы ей сын?

— Ноу, ноу! Ноу андестенд ю!

Аграфена закричала с плачем:

— Как это «но андерстенд»! Не поверю, чтобы можно было отеческу говóрю забыть… Иванушко, ведь я тебя узнала, что же ты молчишь!

Ваня молчит, как бумага белый. И все замолчали. А народу множество набилось. По рынку, по пристани весть полетела, что Аграфена сына нашла. А она снова завопила:

— Ежели так, пущай он рубаху снимет! У него на правом плече три родимые пятнышка рядом.

Пристав приказывает Ивану:

— Раздевайтесь!

Тогда Ваня пал матери в ноги:

— Маменька, я твой сын! Только не губи меня, отпусти! У меня в Дании жена и трое сыновей. Вот тебе все мои деньги — пятьсот рублей. Возьми, только отпусти!

Аграфена застучала кулаком по столу:

— Убери свои деньги! Мне не деньги — мне сын дорог. Я без сына двадцать три года жила. Я о сыне двадцать три года плакала…

Заплакал и Ваня:

— Мама, пожалей своих внучат! Пропадут они без отца…

Заревели в голос и торговки:

— Аграфена Ивановна, отпусти ты его!

Аграфена говорит:

— Ладно, дитя, я тебя прощаю и отпускаю тебя. Только ты сними с божницы Спасов образ, сними своими руками и поклянись мне, что на будущий

год сам приедешь и старшего внука мне на погляденье привезешь.

Действительно, на другой год привез старшего сына. Аграфена внука и зимовать оставила:

— Я внученька русской речи, русскому обычаю научу.

Мальчик пожил у бабушки год и уезжать не захотел. Ваня привез среднего сына. И этот остался у бабки, не пожелал лететь из теплого русского гнездышка. Тогда приехала жена Ванина с младшим сыном. И полюбилась кроткой датчанке мужнева мать:

— Джон, останемся тут! Здесь такие добрые люди.

Аграфена веселится:

— Вери гуд, невестушка. Где лодья ни рыщет, а у якоря будет.

Аграфенины внуки-правнуки и сейчас живут на Севере, на Руси.

По имени Вани, который бегал в Данию, и фамилия их — Датские.

Мимолетное виденье[34]

Корытину Хионью Егоровну, наверно, знали?.. Горлопаниха: на пристани пасть дерет — по всему Архангельскому городу слышно. И дом ее небось помните: двоепередый, крашеный? Дак от Хионии Егоровны через дорогу и наша с сестрицей скромная обитель — модная мастерская…

…Дело давнишнее: после первых забастовок пустила Хионья Егоровна петербургского студента ссыльного… И видно, что Лев Павлович был не из простых. Разговор, манеры… Мы с сестрицей, несмотря на страшный недосуг, всякий день забежим, бывало, к Корытихе чашечку кофейку выпить и, грешны богу, элегантного квартиранта повидать. Его томной бледностью многие дамы восхищались, но, казалось, его снедал роковой недуг. И мы с сестрицей сразу диагност поставили: не столько суровость северного климата, сколько разлука с любящей супругой истерзала молодую грудь. Два-три письма еженедельно в

---

[34] Notes: 34

Впервые опубликовано в сборнике «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947) и переиздано в сборниках «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. *–Примеч. ред.*

Питер Катюше своей пошлет. Одно-два от нее получит. А уж ни с Хионьей Егоровной, ни с нами, ейными приближенными фаворитками, не поделится своей сердечной тайной. А мы, не будь дуры, Левины-то письма да и супругины нежные ответы при случае распечатаем и прочитаем. Пособить не пособим, а хоть поплачем над ихней прелестной любовью.

Зима тот год была дождлива. Наш изгнанник поляживает да покашливает. И весь он как лебедь унылый, который улететь-то не в силах.

Этак сидим однажды у Хионьи, не то по пятой, не то по девятой чашечке кофейку налили, а Лев Павлович и заходит.

— Не откажите в любезности бросить письмо… — (Почтовый ящик у нас на воротах.)

Хионья и осмелилась:

— В свою очередь, Лев Павлович, окажите любезность дамам выпить с ними кофейку. Также, извините за нескромный вопрос, почему бы вашей супруге не приехать сюда? Я чужих писем не читаю, но по всему видать, что ее счастие — быть возле вас.

— Да, Катя там тоскует без меня, но климат здешний…

— На! Чем этта не климант — у дров да у ры-

бы?!

— У Кати там должность.

— Этта тоже можно — письменны упражненья найти!

— Катя такая хрупкая…

— Будь она хоть рюмочка хрустальна — она бы здесь кофейком отпилась!

Зима пошла на извод, наш Левушка — вовсе на исход. А свою принцессу все успокаивает: здоров да благополучен. Мы с сестрицей взяли да на семи ли, на восьми страницах вкратце и открыли этой Кате всю ужасную действительность. Ответа ждем, а она сама является, как майский день! И знаете, действительно принцесса! Такой тип красоты парижанки: блондинка при черных бровях. При этом ежели парижанкин тип, то лик неизбежно втолсту отщекатурен. Но у Кати, окроме добродетелей, ничего в лице не выражалось. И одета просто, но с громадным вкусом: во все белое и во все черное. Мы с сестрицей портнихи не из последних: в туалетах можем понимать!

Боже, как они с Левой встретились! Конечно, может ли какой презент быть превосходнее сего. Даже нам с Хионьюшкой досталось по нескольку поцелуев… А багажу-то дорогая гостьюшка не ахти сколько привезла. Один чемодан, да и тот

веретеном тряхнуть…

Но не поспела она этот чемоданчик расстегнуть, как сразу разговор на копылья поставила: какие в городе конторы и насколько личность, много знающая в науках, может найти упражнения. А мы с сестрицей не последние люди в городе. В деловых кругах знакомства, и весь бомонд на вестях. Раскинули умом да, несмотря на страшный недосуг, на другое же утро и порхнули в роскошный особняк купцов Маляхиных.

Фирма «Маляхин и сын» преименитая — свои пароходы, рыбой торговали.

Об эту пору мы молодого Маляхина супруге Настасье Романовне шили гардероб домашний и а-ля променад. Заказчицы обычно к нам являлись на примерку, но на сей раз мы сделали исключение, в рассуждении застать домовладыку.

И папенька и сын дома оказались. Простодушно беседуя с заказчицей, расставляю я свои коварные сети насчет новоприезжей особы, что-де умна и прекрасна, как мечта, и на двенадесяти языках поет и говорит. А Федька, молодой-то Маляхин, ужасти какой был бабеляр. Закатался, будто кот, на бархатных-то диванах.

— Папенька, какой сюрприз для нашей фирмы! При наших связях с заграницей!..

А папенька, медведь такой:

— Хм… Какая-нибудь на велисапеде приехала.

Одним словом, принялась наша протеже служить в маляхинской конторе. И мы с сестрицей ходим, поднявши нос, как две виновницы торжества. Ох, ежели бы знать, к каким это приведет плачевным результатам, дак волосы бы на себе лучше было драть и свою безумную главу толченым кирпичом посыпать… Тем более под ярким впечатлением видела я сон: будто катаемся в шлюпке при тихой погоде я с сестрой и Катя с Левой. И вдруг нас качнуло… Агромадный пароход валит на нас, обдавая рыбным запахом… Я заревела… Сон сестре рассказываю, а она:

— Вольно тебе рыбну кулебяку на ночь под носом оставлять…

Ну ладно… Не успела наша Катя на должности показаться, все мужчины принялись кидать на нее умильные взоры, а молодой хозяин ус крутить и ножкой шаркать… И нельзя винить: прежде за диковину была служащая дамочка. Притом Федькина жена, Настасья Романовна, взята была из поморского быта. Платья по журналам шить согласилась, а уж парчового повойника с головы сложить не соизволила: «Это женский венец! Не от нас заведено…» Ну куда же современный муж

такую патриархальность поведет? Ни в театр, ни в концерт. А тут на глазах, при своей конторе, богиня красоты — юбка плиссе с воланом, блузка с утюга…

Обзадорился Феденька на свою подчиненную, а какими средствами ее достигнуть, не знает. Это не певичка, в «Золотой якорь» не позовешь.

Каких только промыслов он над Катей не чинил! В Пасху плюшевое яйцо, ростом с бочку, четыре оленя к Хионьиным воротам подвезли. Из яйца выпал карлик и подал Кате самовар с французскими духами. Хионья этими духами больше году поливалась.

Опять на Катин день рожденья пряник от Маляхина, в пуд весу, прикатился. И литеры «К» и «Ф» — Катя и Федя — сахаром на прянике выделаны…

На улице молва пошла: ссыльна барыня купеческого сына присушила, приворотным зельем опоила…

Убежала Катерина из маляхинской конторы. Хотя мы и советовали: «Терпи с выжиданием». Да уж Федька-то… что ступит, то стукнет. А ведь этаку фарфоровую штучку, вроде Катеньки, надо полегонечку обдерживать, вкруг да около манежно переступывать.

Соболезнуя Настасье Романовне, мы не раз к Маляхиным для ради примерки являлись, испытующим оком выраженье ейной личности изучали. Но ничего прочесть не могли. Уродится же такая дура не от мира сего!

А Левушка недолго прожил после этого. В июньскую сияющую ночь смерть исторгла его из объятий рыдающей супруги.

На провожании мы с сестрой Катю под руки вели. Хионья Егоровна заместо духовенства впереди ступала. Шла в старинном косоклинном сарафане, в шитом золотом платке. Несла в руке ветвь благоцветущего шиповника и пела плачную причеть. Мы с сестрицей подхватывали на голоса. Все плакали, выключая молодой вдовы.

— Катя, для чего ты не плачешь?

Она — что каменная. А мы выревемся, нам и легче.

Шесть недель она к Леве на могилу ходила. Молча сидела. Домой воротится вся в комарах искусана.

Тут опять на сцену донжуан выходит. Ежели Феденька Маляхин при живом муже светским приличием пренебрегал, то теперь открыто повел лобову атаку.

В Ильинску пятницу идем с сестрой из магази-

на, а у корытовских ворот маляхинский рысак. И Хионья из окна подает отчаянные знаки. Несмотря на страшный недосуг, летим к ней черным ходом.

— Душенька, что у вас?

— Формальное предложение сделал!

— Кто?

— Федька.

— Вам?

— Черт ли мне! Катерине…

Мы даже заплакали: «Забыть так скоро!..» Коварная, прельстилась на богатство… К дверям Катерининым припали… Нет! Почтения достойное творенье ничем не обольстилось.

Федоров голос из-за двери:

— Дом отделаю во вкусе и сад во вкусе. Определю вас в золотую оправу, подобно жемчужине.

А Катин голос:

— Стыдитесь, господин Маляхин, не меня, а вашей достойной жены!..

Мы в куски рвемся под дверями-то: «Дура ты, дура ты, Катерина! Благодарение бы надо воссылать такому благодетелю. И ты-то, Федька, дурак! Тебе бы сначала пару белых лилий поднести, потом альбом грустных сонетов, потом букет пунцовых роз, а ты: «На содержанье возьму!..»

Опять и Настеньку, Федькину жену, вспомнили. Настя-то за какие прегрешения скорбную чашу будет пить?! Смолоду на нее шьем! Слова худого, взгляду косого не видели.

…Разоряемся этак под чужими дверями, а Федор и вылетел да хлоп Хионыо дверью в лоб!.. Пал в коляску, ускакал. Еще бы: обожаемый предмет заместо сабли все чувства становит.

Мы с сестрицей в тот же вечер к Настеньке Маляхиной с примеркою пожаловали. У нее, у голубушки, личность от горячих слез опухла и губы в кровь искусаны, однако разговора на острую тему не поддержала, хотя мы и делали прозрачные намеки. «Ну, — думаем, — ежели сердечного участия не понимаешь, дак и черт с тобой!»

Домой шли, ругались, а дома заревели:

— Настенька-голубушка! Назвала бы ты нас суками да своднями. Через нас твой благоверный в рассужденье Катерины изумился.

Недели не прошло, принимаем мы заказчицу, супругу жандармского полковника. К зимнему сезону шила плюшеву ротонду на лисьем меху. У нас первостатейны дамы шили. Прикидываю ей сантиметром по подолу, а жандармша и погляди в окно:

— Ох какая роскошная упряжка мокнет под

дождем!

Я посмотрела да и села со всего размаху на пол: у Хионьиных ворот старика Маляхина карета.

— Душенька, что с вами?

— Это у меня на почве сердца. Сестрица, выведи меня на воздух.

Сдали барыню помощнице, а сами кубарем через забор да соседским двором, чтобы жандармша не увидела, к Корытихе. Подолы ободрали, в крапиве обожглись — наплевать!

Хионья в коридоре на своем посту обмирает; молча нам кулаком погрозила… Папенька Маляхин в гостях. Мы к дверям припали, не смеем дух перевести.

К началу представленья не попали, однако все понятно из дальнейшего. Старик говорит:

— Возьмите отступного полтысячи, даже тысячу и удалитесь в родные Палестины.

Катя с гневом:

— Какое вы имеете право ко мне приезжать? Как вы смеете мне это говорить?

— А вы какое имеете право женатого человека завлекать?

— Я служила в вашей конторе на глазах у всех. По отношению к вашему сыну я держала себя как любой из ваших служащих. Я сразу же ушла,

увидевши себя в ложном положении.

— Порядочная женщина должна оберегаться мущин, а не действовать над ихним воображением. Мало тысячи — получите полторы, ежели вы такая практикованна особа…

Тут Хионьюшка двери рванула да как налетела на Маляхина-то:

— В моем доме нету практикованных! Со всеми соседями ставлю во свидетели, что вы благородную невинность оскорбляете. Вон отсюда, рыбьи глаза! Я честна вдова, тридцать лет вдовею! Меня сам отец Иван Кронштадтской знат да уважат!

Старик шапку в охапку, пал в карету, ускакал. Мы пых перевели, а по всему дому чад, окон не видно. Хионья кофей жарила, да и забыла с гостем-то. Сожгла огромадну сковороду. Пока окна-двери отворяли, Катя мимо нас на улицу бегом, с самым жалким выражением своего миловидного лица. А дождик с утра поливал. Хионья говорит:

— Пущай по ветерку пробежится. Я свежего кофею зажарю. Она кофейком отопьется.

А моя молчаливая сестрица и прове́щилась:

— Может, Катя-то тонуть ушла…

Хионья заревела, а мы с сестрицей подолы на голову закинули а-ля помпадур и потрепали за

Катей. Для того и носим нижние юбки на шелку, чтобы их на дождике показывать. А Катя не к реке, привела нас на кладбище. Катя мостиком пошла, мы оврагами махнули, да и спрятались в елочках, где Лева-то лежит. Катя подошла молча, постояла, молча пала на могилку. Потом и простонала:

— Левушка, мне надо уехать. Как же я оставлю тебя одного?..

В эти немногие слова такую она скорбь вложила, что заревели мы голосом в своем сокровенном убежище. Не нам Катеринушку, а ей нас успокаивать пришлось:

— Не оплакивайте меня, я ведь на минутку духом упала.

— Катенька, мы тебя своими руками в беду положили, к Маляхину свели! И в корытовском доме нет тебе покоя от визитов. Переходи к нам. Мы тебя на фарфорову тарелку посадим и по комнатам будем носить.

Она развеселилась, засмеялась. Тут и дождь перестал и солнышко выглянуло.

Однако до Хионьи кто-то допихал наши речи. Принимали мы мадам ван Брейгель, супругу датского консула. И Хионья налетела, будто туча с громом:

— Я честна вдова! Меня отец Иван Кронштадтской знат да уважат! Я сама за моих квартирантов умею кровь проливать!

Тут опять является на сцену Феденька Маляхин.

Как вечерняя заря небо накроет, так несчастный донжуан и заслепит Корытихину улицу золотыми часами и золотым портсигаром. Как перо на шляпе, мимо Корытихина дома ходит. Соседям не надо в театр торопиться, Корытихин дом — всем открытая сцена. У Егоровны, конечно, имелись с Федькой разговоры. Она калитку размахнет, выпучит глаза, а Маляхин в ейну сторону табачным дымом пустит.

— Что, Корытиха, стоишь? На кого глядишь?

— Стою для опыта. Гляжу твоего дурацкого ума.

— Ах ты, раковы глаза!..

— Ах ты, сомова губа!..

Мы браним Хионью-то:

— Вы хоть бы Катю пожалели, не делали бесплатных спектаклей для соседей. С пьяным связываетесь.

— Не подумала, что пьяной. Катенька, прости меня. Не могу своего характера сдержать.

Вот эдак, скажем, сегодня она покаялась, а на-

завтра еще с большей талантливостью сыграла… День-то рыбу в погребу укладывала, перед ужином вышла в залу отдохнуть. И покажись ей, что Маляхина нету. Обрадовалась: «Хоть один, — думает, — вечерок подышу чистым воздухом, без шпионов». Окна-то распахнула — под окном-то Федька!

Хионья Егоровна Корытова цветы с подоконника срыла да и выпихалась на улицу задним-то фасадом. Бесчествует купца первой гильдии Федора Маляхина… Прохожие путники во главе с уличными детями вопиют:

— Гордись, гордись, Корытиха, не сдавайся!

А мимо наша девка воду несла. Федор схватил ведра да мадам Корытову и окатил с головы до пят… Страм!

После этого день прошел и неделя прошла. Господин Маляхин что-то перестал являться на своем посту.

А вечера чудные, не похоже, что осень. Несмотря на страшный недосуг, оделись мы с сестрицей для прогулки, побежали за Катей.

— Прекрасная затворница! Позвольте вас пригласить для приятной прогулки по набережной, тем более ваш Отелло исчез!

Катя, как птичка, радехонька…

Вот и шествуем, три элегантные дамы. У моей сестрицы новой выдумки нарядное фуро, у меня прозаический чепец а-ля Фигаро, а Катя всегда комильфо и бьен ганте.

Оживленно беседуя, вдруг наталкиваемся на толпу. Что такое? У гостиницы «Золотой якорь» народ, извозчики, точно свадьба. Пробираемся поспешно через публику, а все в окна глядят. А там песни, бубны, топот, звон посуды и беспредельный бабий визг. На улице темно, в гостинице светло, нам некуда деваться, в окна смотрим… О ужас! Табун девок захватились вокруг Федора Маляхина и скачут, ажно ветер свистит… Лампы и свечи то вспыхивают, то померкнут… Федор опух, оородател, глаза остолбели… И он вопит:

— Сволочи, песню! Мою песню!

Прихлебатели и девки грянули под музыку:

Кат-тя, ты меня не лю-убишь!

Кат-тя, ты меня погубишь!

… … … … … … … … …

В толпе кто-то и выговорил:

— О-хо-хо!.. К каждой песне Катю помянет. Пятые сутки пьет напропалую, любовь-то утолить не может.

Слава богу, нас не узнали в темноте. Я схватила

Катю за руку, перебежали через дорогу и — окаменели, как две Лотовых жены: у чужих ворот прижалась-притаилась Настасья Романовна Маляхина и тоже глаз не сводит с ужасных сияющих окон «Золотого якоря»…

Катерина моя охнула — да бежать. Чем дальше бежит, тем громче плачет.

…Что вы думаете — в одну ночь она собралась. Мы с сестрой вещи пособляли увязывать, а Хионьюшка сидела на полу да причитала:

— Опустеть хочет корытовско подворьице!

У нас вокзал за рекой. Катя пароходом плыла мимо города. Но последний взгляд был брошен ею не на ельник, не на кладбище. Она смотрела на маляхинскую набережную, неутолимо глядела на маляхинский дом.

Она не велела никому сказывать о своем отъезде. Но разве в нашей провинции могут быть секреты!

Катя днем отбыла, а в вечерню к Хионье Егоровне явился Федор Маляхин, в черном сюртуке, в черном галстуке.

— Куда уехала? Докуда билет брала?

Хионья и сама ничего толком не знала. Билет нарочно до ближних станций был бран, чтобы следы затерять. И Федор не стал искать. Всю зиму,

как медведь, в лавке сидел. Пощелкает-пощелкает на счетах, потом уставится в одну точку, долго так сидит. Весной на пароходе в Норвегу уехал и жил там до белого снегу. Катя у него далеко стала, все перегорело, он и обошелся. Домой приехал, жене голубого шелку на платье привез, а себе в кабинет заграничную картину в золотой раме. Изображена молодая особа в виде нимфы, порхающая над бурным ручьем. Многие находят, что черты нимфиного лица напоминают Катю. Называется картина «Мимолетное виденье».

Митина любовь[35]

У меня годов до двадцати пяти к дамам настоящего раденья не было.

Конечно, при гостях пронзительность глаз делаешь, а… все не мои. Притом холостой да мастер корабельный, дак сватьи налетают, как вороны на утенка:

— Погоди, Митька! Роешься в девках, как в сору, одна некрасива, друга нехороша, а криворота камбала и достанется.

— Скажите, как напужали!

— Небось напужаешься! Над экими, как ты, капидонами вымышляют колдуны-ти. В гости тебя зазовут, в чаю, в кофею чего надо споят, страшну квазимоду и возьмешь, молекулу.

А я живу, какого-то счастья жду, судьбы какой-то. А дни, как гуси, пролетают.

…Позапрошлая наступила зима, выпали снеги глубоки, ударили морозы новогодни. Три дня

---

[35] Notes: 35

Впервые опубликовано под названием «Машенька Кярстен» в сборнике «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947) и переиздано в сборнике «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), а под названием «Митина любовь» — в сборнике «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. *–Примеч. ред.*

отпуску, три билета в соломбальский театр. Соломбала — города Архангельска пригород. От нашей Корабельщины три часа ходу.

У вдовы, у Смывалихи, остановился. Вечером в театре жарко, людно. В антракт огляделся: рядом особа сидит молодая. Сроду не видал такого взора! Не взгляд — тихая заря поздновечерняя. Больше во весь вечер не посмел в ейну сторону пошевелиться.

Другой день ушел в гости к вечеру.

Народушку в театре — как тараканов на печи.

— Ишь лорд какой расселся, член парламента! Расшеперил лапы-то!

Ейно место охраняю… Идет. Голову гордо несет, щеки, уши пылают. Стыдится. Честного поведения, значит. Привстал ей. Мило улыбнулась.

«Грозу» Островского представляли… Вместе ахнем, вместе рассмеемся, а слова за сто рублей не сказать. В антракт осмелел:

— Не угодно пройтись в фойе?

— С кем имею честь?..

— Такой-то.

— Марья Ивановна Кярстен.

И в слове, и в походке она мне безумно нравится. У ей все так, как я желаю.

— Что на меня зорко глядите?

— Очень вы, Марья Ивановна, ненаглядны. Только во взорах эка печаль…

— Оттого, что родом я со печального синя-солона моря…

— У меня тоже не с кем думы подумать, заветного слова промолвить. Марья Ивановна, мы другой вечер рядом сидим, вы меня вчера заметили ли?

У ней и смехи на щеках играют, оглядывает меня.

Экипажецка рубашка,
Норвецкой вороток.
Окол шеечки платок,
Словно розовый цветок!

— …Ну как вас не заметить?

— Это я для вас постарался, гарнитуровым платком повязался.

А в последнее действие уливается моя соседка слезами:

— Люблю слушать, как занапрасно страдают…

— Любите, а эдак плачете.

— Я сама в том же порядке.

Проводить не дозволила, одна убежала.

На третий день представленья не было, только дивертисмент музыкальных номеров. В мире звуков рассказываю Марье Ивановне, что-де у

меня мамы нету, сам хлебы пеку, тесто жидко разведу — скобы у дверей и у ворот в тесте…

А она:

— Говорите, говорите!.. Я потом вашу говóрю буду разбирать, как книгу.

— Марья Ивановна! Мы по своим делам часто в Соломбале бываем. Дозвольте с вами видаться!

— Да что вы! Ведь я замужем!

Как нож мне к сердцу приставила…

— Дак… от мужа гуляете?..

— Гуляю? За пять лет замужества случаем в театр попала… С добрым человеком поговорила… Может, до смерти нигде не бывать…

— Теперь эта неволя отменена.

— Неволя отменена, да совесть взаконена!

— Вот вы наделали делов — бросаете меня… Куда я теперь?!

…Но горячность моих упреков умиротворяет чудная мелодия вальса:

Зачем я встретился с тобою,

Зачем я полюбил тебя?

Зачем назначено судьбою

Далеко ехать от тебя?

Марья Ивановна сделалась в лице переменна… Встала, выхватила у меня из грудного карманца

батистовый платочек… Публика музыкантам хлопает, а я слышу тихое, но внятное слово:

— Пока я жива, это мне лучезарная память. А умру, глаза вашим платочком накрыть прикажу.

И ушла. Как век не бывала. Опомнился да побежал вслед — знай метелица летит в глаза да адмиралтейская часозвоня полночь выколачивает…

А Смывалиха на квартире:

— Сегодня в Соломбале два дива было. Первое диво — Машенька Кярстен в театре показалась, второе диво — с некоторым молодым человеком флиртовала.

— Она чья? Она кто?

— Мужняя жена. Замужем живет, честь наблюдает. Муж-то пьюшшой, хилин такой. Она мукой замучилась, а уж ни с кем ни-ни… Сама портниха, рукодельница…

Замужем живет… Честь наблюдает… Мне тоже бесчестно баловством-то сорвать. Кабы навеки моя, а так, баловством, мне не надо!..

И той же ночи побежал я домой. Бежу пустыми берегами, громко плачу, как ребенок:

— Эх ты, Машенька Кярстен! Навела мне беду!..

И поклялся я забыть эту любовь. За троих работу хватаю. Сам себе внушаю: «Не думай про

нее! Знай, что она не твоя». Да, а ночь-та моя, а кто же рад один-то!.. Бывало, не лягу в хороших брюках, все увертываю да углаживаю, а теперь… Ободрател, похудел…

Зима на извод пришла. На верфях стук да юк рано и поздно. У меня топор в руках, чертежи в глазах, на уме Машенька Кярстен. Голос ее, духи ее слышу — «Лориган»…

Эх, Митя, Митя, упустил ты свое счастье!..

Не курил — закурил…

Притом эту сплетню из Соломбалы принесли в нашу Корабельщину. То прежде дамы по своей части меня хладнокровно укоряли, теперь, видя полноту переживаний, в другую сторону заобиделись. Заведующая парикмахерской как-то при гостях на меня затужила:

— Не желаем соломбальску прынцессу! Счас парикмахерску замкну и ключ в море брошу. Пущай населенье ходит в диком образе!

Пришла весна-красна, с летичком теплым, с праздником майским. Со всем народом, со всем славным шествием пришел я в Соломбалу. И скопилось три дня свободных. Куда пойду?.. А Смывалиха на углу и стоит.

— Здравствуй, Митенька! Да, помнишь Машеньку Кярстен, в театре-то увлекались?.. Овдо-

вела: до краю допил…

— Она где живет?!

— В город переехала отсюда.

— Улица какая, дом какой?!

— Дом номер восемнадцать, улица… Погоди ужо; дом номер восемнадцать… улица… Забыла. Ново какое-то переменено название.

— Она где с мужем-то жила?

— Эво, где домичек зеленый!

В зеленом домике самовары лудят да паяют, никакой Марьи Ивановны не знают. Сунулся в возледворные соседи…

— Мы у ей на новоселье не бывали, городского пива не пивали. Гордиянка была и скрытница…

Я на перевоз да в город. В адресном бюро дежурна подает адрес прежний, соломбальский.

— В город она переехала!

— Может, и год проживет не прописана. У нас не торопятся.

Все пропало! Машенька Кярстен, утерял я тебя!.. Вылез на крыльцо, а кругом-то весна! Река ото льда располонилась, в море плывет, чайки кричат, пароходы свистят. На домах, на пристанях, на кораблях флаги, ленты, банты… Отвяжись худая жизнь, привяжись хорошая!

Искать пойду! Обойду город с верхнего конца

до нижнего. В каждую улицу загляну, в каждой улочке дом номер восемнадцать найду. Везде спрошу Марью Ивановну Кярстен. Взял да и пошел. Три дня ходил. Как лесом, пошел этими домами. Номер восемнадцать увидаю — так сердце и замрет. У старушки пить попрошу:

— Здесь проживает портниха такая-то?

Ответ один:

— Не знаем, не знаем никаку Марью Ивановну.

По дворам собаки приведутся, за ноги хватают. На Мхах одушевленна собачка, за штанину ухватясь, две улицы на мне ехала. Иду, фасон не теряю. Иду в желтых щиблетах, пальто серого драпу, норвецкая кепи. Дома «Дели» или «Спорт» курю за шестьдесят пять, тут «Пушку» купил. Инде домоуправляющий выскочит, как пробка из бутылки:

— Санитарный инспектор являетесь? Помойны ямы смотреть?

— Иду своим путем, за своим делом.

Ничего не доспел, а той же отвагой к Смывалихе ночевать явился.

— Нашел?

— Найду.

— Присушили тебя. Приворотным зельем опои-

ли. А то опять кошки есть троешерстны… Завтра пойдешь шляться, зайди в «Ледовитый океан». У ворот бабка-гадалка живет…

На другой день ходил главными улицами. Помню, в комфортабельну квартиру зашел, а потолки трясутся, в шкалах посуда говорит… Спрашиваю:

— Что это у вас, кабыть… последний день Помпеи?

— Это у нас пенсионер Иван Авдеич физкультурой занимается. По своему этажу кровать с перинами катает.

«Нет, моя жемчужина сюда не закатилась».

В обед на реку выгулял, тут кафе «Ледовитый океан». У ворот старинна избушечка, кабыть из-под ягой бабы. Постучался:

— Хозяйка жива?

— Жива маленько-то…

Хорошенька беленька старушоночка у оконца вяжет. И котенок у печки из чашечки лапкой ест.

— Бабушка, я не гадать.

— Что тут гадать, без гаданья видать. Нарядной, возволнованной, судьбу свою ищешь.

— Бабушка, я остался без невесты!

— Значит, курвяга кака-нибудь.

— Нет, уж всех честнее да прекраснее!

— У тебя-то, дитя, простота в лице детская, ненаглядная. Ежели она стоющая женщина, ты у ейного сердца прижат.

— Потеряю ее — буду пить, в карты играть!

— Не дичай. Праведная любовь не потеряется.

— На́ тебе, бабушка, на гостинцы.

— Не надо, не надо! Свадебного принесешь, пряничков мятных.

Как меня эта маленькая старушка развеселила! А к вечеру еле ноги перекладываю: новые ботинки жмут. О полночь в Лодейную улицу выбрел. Над городом тихо припало. Солнце присело на воды, как утка. Вот и дом номер восемнадцать, а как зайдешь… Стою, булочку доедаю. А на крыльце человек и пошевелился.

— Вам кого?

— Дозвольте с вами на крылечке посидеть, опоздал на пароход.

— Даже прилечь не угодно ли! Вот вам оленья постель. Я как выпью, меня женка всегда на улицу выгонит и постелю высвистнет. Для гостя можно бы в избу поколотиться, да боюсь, чем бы не огрела…

А я на оленину пал, пальтишком накрылся… Как у мамы за пазушкой.

Пароходные свистки разбудили. В горницах

хозяева ругаются. Больше слыхать выговор женственный, полный, окатистый. Я застегнулся да наутек… И не поблагодарил. А день серый, с дождем. Поглядел на себя: весь в оленьей шерсти. О, кто бы меня шомполом оловянным настегал! За тенью гоняюсь, за ветрами бегаю. А тут и городу конец; невеличка осталась Кузнечевская слободка. Домишки как коробки худые, а нельзя не пройти. По дороге канава: с горы вода летит, льет. Мостик был, да сплыл. Я размахнулся да — р-раз на ту сторону. Тут оступился, каблук отсадил и карман оторвал. А глины на ногах, на боках!.. Тут я духом упал, тут весь форс потерял.

«Эх, Митя, Митя!.. Век над людьми смеялся, теперь сам всех насмешил!»

И поворотил я обратно — скорее бы на пароход да домой. Плакать не плачу, а слеза бежит.

«Эх, Машенька Кярстен, потерял я тебя!..»

А поперек дороги под старым карбасом сапожник, как в магазине, сидит. Тремя гвоздиками прихлопнул мне каблук.

— Мастер, вы худо сделали.

— Худо сделал, дак и опять ко мне прибежишь. Крепко сделаешь, дак и без денег сиди…

— Мастер, вы мне карман не прилепите хоть на живую бы нитку?

— Наша фирма этими пустяками не занимается. Эво где, за углом, портниха живет, дом номер восемь.

Дай схожу, хоть пальто зашьет да почистит, а то хуже пьяного… Дом номер восемь… Крылечко и сенцы чистенькие, половички тканые. За дверью швейна машина стучит. Поколотился.

— Зайдите.

За порог ступил, у оконца… она!

…Радость любезна бывает слезна… Захватилась за меня, руками за шею напала.

— Вы въявь ли мне видитесь?! Не во сне ли мне кажетесь?!

— Машенька, в день веселья моего не плачь!

— Жить-то начинать без вас тошно было! Как в погребу сидела, с вами рассталась…

— Я-то тебя искал, в домах заблудился, в дождях замочился. Дому номер наврали: надо восемь-восемнадцать сказали…

Третий год с нею живу. Каждый день как в гостях гощу. Така хозяюшка, така голубушка!.. На пароходе со мной в море выпросится.

— Машенька, там тебя заплеснет валом.

— Митенька, ты меня крепче держи-то.

Смывалиха встретилась:

— Поздравляю, Митенька! Умно ты родился, да

умно и женился.

— Соврала номер-то, вралья редкозубая!

— Забы-ыла!..

Рассказ Соломониды Ивановны[36]

У нас родитель беда грозный был.

Еще ребята никто не родились, мамку пришли подружки на игрище звать:

— Марфа, пойдем на качели.

— Ивана дома нету.

— А что там Иван, приведем таку же.

В вечерню домой явилась, муж не глядит:

— Где была?!

— На качели.

— Неси вожжи.

Она сходила за вожжами — да в ноги:

— Прости, Иван, боле никуда не пойду.

До старости нигде не бывала.

Братишко пяти годов баловал да окно разбил. Татка его схватил, засек до кровей. А мамка ткет, слезы ручьем бежат, не смеет молвить. Братишко из-под ремня ей кричит:

— Мамушка, мамушка! Не плачь, мне совсем

---

[36] Notes: 36

Впервые опубликовано в журнале «Колхозник» в мае 1937 г. и включено в сборники «У песенных рек» (М.: Гослитиздат, 1939), «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947), «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. *–Примеч. ред.*

не больно!

Я семи лет овец пасла, с ягнятами заигралась, овцы в огород зашли… Татушка был ростом велик, я маленька… Меня за рубашонку повесил — да ремнем. Я как птица… Сек, сек — под порог свиснул.

Братья уж не молоды были. Андрей вдовел, у Мартемьяна ребят двое. Жили — не делились. Родитель коня купил с изъяном. Мы не смеем язык высунуть, что конь худой. Уж через месяц в праздник братья выпили да просказались:

— Кто рад — эку клячу!..

Родитель с полатей и заспущался, страшной, грозной.

— Андрей, подай сюда узду!

Брат узду в руки подал. Родитель схватил узду лошадину — да удилами его по лицу.

Шибанул узду под порог.

— Мартемьян, подай узду!

Тот увернулся от отцовской руки — да в двери.

Неделю прятался. Татка его в соседях нашел, в ноги сыну падал, прощался.

Никто никого эдак не боится, как мы татки боялись.

Так его боялись, без брани, а как он заходит в избу — в глаза глядим, какой взгляд.

Мы рады, как он на промысел уплывет. Мы его не порато жалели. Он и маленьких нас на колени не бирал.

Девкой я семь годов кряду с таткой семгу промышлять ездила по рекам. Семь годов молчала… Я как вода. Он куда скажет, я туда. Он меня не бранил. Он жалел меня…

Не очень так, чтобы припадал… Однажды на полатях лежу, шубу с краю подложил:

— Моя-та дева упадет!

Я выросла в такой грозе, дак человека не найти, чтобы я не уладила. Худо без добра не живет.

Было купил мне татка о празднике шелковой плат. Надо в ноги поблагодарить, потом нарядиться, я не поспела, в часовню обновкой хвастать побежала. Татка и обиделся:

— В нонешних детях благодарности нету. Им бы схватить, а за труд не покорились.

Мамка выскочила мне навстречу:

— Поди скорее, поклонись отцу!

Я — в избу, он на печи. Я думаю: пасть бы в ноги, дак спит. Что печке кланяться? Лучше подожду — с печи полезет, упаду ему в праву ножечку… До ночи караулила в обновке…

У нас река была бедна; серо-серо наряжались. Заведем обновку, дак уж навек. Завод у нас очень

трудной.

…А мы не тужим. Работа грязна, в тряпках весь век ходим. Починенное лучше нового радеем: хранить не надо.

Татушка восьмидесяти годов помер. Болен не бывал, голова не баливала. В избушке сине от угара — ему ладно. Сколько он зверя — медведей, лисиц, куниц, росомах, белки, — сколько птиц, сколько рыбы добывал!

…В умерший день с утра заскучал:

— Подайте ружье, я хоть к сердцу прижму… Нет… Напромышлялся… Возьмите мое ружье!

Лег на лавку. Больше и все. Я плакала ему:

Кого мы будем бояться?
Кто теперь будет грозить?
Все будем сами себе больши,
Все будем нарозь глядеть.
Некому будет связать…

Я замуж ушла. В нашей стороне замужем жить — надо лошадину силу иметь. Мужики — с лесом, а женки — с пашней. Земля не оправдывает, а от нее не отвяжешься. Кабы не лес да не белка, мы бы померли.

Мужа на все лето в леса провожу, сеять надо.

Шесть пудов ржи посею. Поле одна выпашу

сохой. Дома ложки не могу донести до рта, трясутся руки. Лица умыть не могу. На гору с ведрами ползунком ползу. Страда у нас, как гора, прикатывается. Свое рано выжну, к чужим наймусь. Смолода я триста снопов в день жала. Уж не глядела на небо, без расклонки жала, стоять нехорошо и сидеть нехорошо, жнея коль совестна.

Однажды я пять рублей выжала у богачки.

Вот эдак пашем, копаем, сеем, смотришь — утренник пал и все пропало… Урожая нет, дак леса начнем проведывать: леса уж сколько опять поддержат. А иные пойдут за белкой, за зверем — снег-то нападет.

Когда хлеб приходит, тогда и ягоды: морошка, черника, брусница. Вот дело-то у баб! Я за десять верст по ягоды ходила, по две ночи в лесу ночевала. По два пуда зараз вынашивала. Устану как!.. Опять без грибов не прожить. По борам хожу, все посматриваю: медведь бы не попал. Медведицы — они бедовы! Съест не съест, а уж выпугат!..

Осень придет — прясть надо, и ткать, и молотить.

С тканьем да с пряжей все, все убились!

Тканье еще легче, а пряжа — ой!.. Кудели-то чистишь… Легче стало: машины пошли да ситцы.

Горе и с ребятами было. Одни растут, другие

родятся. «Уа» да «уа» — уши сквозь. Бедны байкают:

Спи-усни.
Хоть сейчас умри,
Татка с работки
Гробок принесет,
Мамка у печки
Блинков напекет.

Мужа на германскую войну спроводила, лес рубить в артель вкупилась с маленьким Ванюшкой.

Снег под пазуху, лес охватом не охватишь… Дерев шесть-семь ссеку и снег сгребу, обделаю всю кору. Тяжело порато кору обделывать морожену — она ледяна; топор соскакиват, топор со всех сил надо держать.

Иванушко мне помогал, девяти годов, топорком и лопатой.

В потемни в лесную избушку бредем. Там повалком мужики лежат: угар, табак, матерщина. Под порог упаду, сплю как убита, на себе все мокро. Мужики меня в артель брали, думали: «Бабенка — как кошка, пустяки на ейну долю приведутся». А увидели — не меньше их выколотила. Стали

посматривать косо.

Канун Рождества стали от артели отбрасывать. Слез у меня сколько было! А Марута, мужик рассудительный, уговаривает: «Не реви! Плюнь на всех! Проси на рознь…» Выпросила участок особо. Мороз градусов сорок-сорок пять. Идешь в лес-то, зубы ломит. А там как слупишь дерево, да снегу аршина на два, да кору как железну обделаешь, дак все сбросишь. В одной холщовой рубахе — и то мокрехонька, как мышь…

Старые старухи[37]

На Севере принято долго жить. Но стогодовалые старики бывают хуже малых ребят.

«Домоправительница» наша Наталья Петровна привыкла в деревне с лучиной сидеть — у них свадьбы при лучинах рядят, — керосиновой лампой пренебрегала. Откопала в чулане древний светец, сидит — прядет или шьет у лучины.

— То ли дело соснова лучинушка! Сядешь около — светло и рукам тепло. И хитрости никакой нету. Нащепал хоть воз — и живи без заботы. Лес везде есть… А керосин — вонища от него, карману изъян, на стекла расход; лампу от ребят храни… Люблю свет, который сама сделала.

Сама с сеновала к коровам идет — лучина в зубах пластает, сено в охапке.

— Петровна, дом спалишь!

— Вы с лампами не спали'те.

Наконец провели у нас электричество. Тут

---

[37] Notes: 37

Впервые опубликовано в сборнике «У песенных рек» (М.: Гослитиздат, 1939) и переиздано в сборниках «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947), «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. *–Примеч. ред.*

объявила протест тетенька Глафира Васильевна, отцова сестра. Над головой у нее сияет «осрам», а на столе, у самого носа, — керосиновая лампа.

— Не сравню настоящего огня с вашими пустяками. То ли дело керосиновая лампа — тепло, удобно, куда сдумал, туда с ней и гуляй. А этот фальшивой пузырь чуть что — и умер. На той неделе у нас погасло, и у Люрс погасло, и по всему проспекту погасло. Полгорода на бубях остались… А уж Лампияда Керосиновна не выдаст… лампу ли, свечу зажигаешь — сначала аккуратненький огонек, потом разгорится, а тут выскочит свет — так и дрогнешь. Люблю огонь, который сама сделала.

Бывало, заведут избомытье — подобием постная Наталья Петровна и телоносная Опроксенья (по выговору моряков-скандинавов, отцовых приятелей, — Гризельда). Рано, перед лазорями, мать обряжается у печки. Мытницы подойдут с ведрами и мочалками, справят челобитье:

— Благослови-ко, хозяюшка, полы шоркать!

Мать равным образом поклонится в пояс:

— Мойте-ко, голубушки, благословясь!

Наталья Петровна, не спеша, на коленцах, мягким вехтем моет полы крашеные, левкашеные. Опроксенья сдирает пол белый струганый,

только пена из-под голика. Доски, лавки, полки, скамьи — дресвой да во всю мочь. При этом вслух сравнивают обшарпанный веник с бородой жениха, а свой характер — с тряпкой: «Мной хоть полы мой да пороги затирай!..» А пол «отдерет» — как желтилами выжелтит.

Наталья Петровна любуется на нее:

— У тебя и бело, Опроксеньюшка! Мне надо двери запереть, чтобы не зарились на твой пол. Жалко ногой ступить. Надоть мосты выстилать, гостей принимать, столы столовать да пиры пировать.

Гризельда польщена:

— Бело — не бело, да дело-то ведено!

— То и ладно, то и хорошо. Тебе замуж, мне в землю, Опроксеньюшка.

— Ты, Петровна, поглядывай вот, как я…

— Не сравняться мне, потому что веник не так шарчит. Потому старых и кладут в землю. Помоложе — дак рублем подороже. Ох, было и у меня ждано хвалы-то! Все минуло…

При двух-то лампах, электрической и керосиновой, тетушка Глафира Васильевна со своей подругой Татьяной Федоровной Люрс в карты играют… Обеим по восемьдесят лет, обе глухи, ссорятся каждую минуту. Гостья первая забунчит:

— Горе мне с глухой тетерей! Врет — глазом не мигнет. Последний раз играю!

И Глафира Васильевна не поддается:

— Беда с теми играть, которые из ума выжили!

Одна другую не слышат, им и не обидно.

Утром тетенька станет на молитву. В землю поклонится — и вдруг ахнет:

— Вот он! Вот он, бубновой-то король!.. Под Люрсихиным стулом лежит. Вчера думаю: «Куда козырь девался?» — а эта шельма его под себя срыла. Недаром и выиграла!

Положит карту на стол и продолжает молиться. То опять, поклонясь в землю, обидится, что пол худо вымыт. Высмотрит, что пыль под комодом не вытерта…

Раз, под праздник вечером, вымытый пол только что высох, тетенька перебирала чернику на пирог. Ягоды на пол сыплются, тетка не слышит, только видит — бегут по полу черные катышки. Подумала — тараканы; давай летать — давить. Испортила пол — чернику не скоро выживешь.

Татьяне Федоровне Люрс пришла однажды фантазия помыться у нас в бане. Своя была у нас банька на огороде. А там как раз парилась помянутая дева Гризельда. И видит вдруг Гризельда: лезет из предбанника чудо, стуча клюкой, косма-

тое, скрюченное. Умная девка сразу смекнула, что это банна обдериха, заверещала не по-хорошему да в чем мать родила — на улицу… Девку водой холодной обрызгивают, она — свое:

— О, тошнехонько! Я моюсь, а обдериха из-под полка́ и вышла!

Жених Гризельды, Егорша, как настоящий рыцарь, схватил топор, дует обухом в банну дверь да орет:

— Где ты, обдериха?! Зашибу!..

Татьяна Федоровна ничего не уяснила, слышит, что в двери бухают, думает: замок чинят. Как голубушка вымылась, села с Глафирой Васильевной кофей пить («первые восемнадцать чашек без сахара»). Пьет и в зеркало на себя любуется:

— Я сегодня рогозинной мочалкой вымылась, дак мяконька стала. Помнишь, Глафира Васильевна, какой кавалерчик норвецкой на мне сватался?

— А?

— Помнишь, говорю, на мне толсти'к сватался норвежин?

— Медвежин?

— Тьфу! Молчи, глуха, — меньше греха… К счастью, дворник паспорт рассмотрел. Кавалер-от оказался женатой!

Нашей Наталье Петровне мадам Люрс заказывала и свое «умершее» платье:

— Сошьешь, Петровна, саван, как положено по уставу, только кружева, и рюш, и воланчики добавишь, и чтобы сзади прорехи ни в коем случае не было. Может, на страшном суде генерал или другая благородная личность сзади будет стоять…

И тетеньку, и мадам Люрс я нередко фотографировал. Они к этому относились саркастически:

— Боря-то зря аппаратом треплет, вовсе снимать не умеет. Столько морщин наделает, вроде обезьян. Ужасти как непохоже! Помнишь, Глафира Васильевна, мы с тобой у француза снимались?.. Как живые вышли. И не так давно было, в турецкую войну… Только Боре-то не надо говорить, что не умеет… обидится. Бог с ним…

А сами кричат одна другой в ухо, на улице слыхать.

Мамина мать, Олена Кирилловна, на моей памяти уже вдовела. И ее помню на девятом десятке. У них после деда оставалась парусная мастерская. Бабушка иногда явится к мастерам с тростью, в повойнике, в черном шерстяном сарафане. Если ей тотчас поддернут стул, обидится:

— Думаете, хлам старуха стала, с ног валится,

песок сыплется… Нет, еще жива маленько. Еще шалнеры гнутся… Это вам все бы сидеть да лежать, а мне не до сиденья. У меня делов — на барже не утянуть!..

Опять непременно обидится, если зашла да стул моментально не подали:

— У нынешней молодежи нет уважения к возрасту. Сами, как гости, на стульях сидят, а старой человек стой перед ними навытяжку, как рекрут на часах…

Застучит тростью, уйдет.

Лет восьмидесяти двух бабушка Олена Кирилловна худо увидела. Оба сына ее и внуки всю навигацию — в море, невесткам скучно с полуслепой свекровью. Придумают пошутить над ней: бойкая Аниса прибежит с рынка да и спросит старуху:

— Аниса-то где у вас?

Бабушке ни к чему, что невестка про себя же спрашивает.

— Убежала в рынок на минуту, да и провалилась. Верно, чаи да кофеи с пароходскими распивает.

— Давно ушла?

— Часа два, поди… Пока у тех кофейники-то скипят…

В другой раз другая невестка, жена дяди Петра, вводит старуху в заблуждение.

Сядет рядом:

— Олена Кирилловна, как поживаете? Невестки-ти каковы?

— Ничего невестки.

— Лучше-то котора?

— Обе хороши.

— Котора-нибудь лучше уж?

У бабки на лице появляется заговорщицкая мина. Хрипит в ухо вопрошающей:

— Петькина-то уж не совсем… не очень… (а «Петькина» с нею и разговаривает).

— Что так?

— Кофейком уж не угостит…

— Бабенька, да ты целый день за кофейником!

— Свой пью. Никому дела нет…

Старухи у нас собачек около себя не держали, а курочку — непременно.

У Олены Кирилловны курочка Хохлатка тоже аредовы веки доживала. Вся облезла, только на крыльях да на ногах пучки перьев. Полуслепая бабушка по старой памяти считала Хохлатку красавицей:

— Курочка не так чтобы молода, а оперенье какое пышное! Доктор Магнус Ерикович всегда

удивлялся.

Голая Хохлатка, сидя на спинке громадной кровати, утвердительно вторит: «Ко-ко-ко-ко…»

Мы жили в Городе, бабушка — на Соломбальском острове. Погостим у них день, вечером зайдем к старухе проститься:

— Бабушка, прощай!

— Какой такой середи ночи чай?

И Хохлатка оттуда, из-за полога, сердито: «Ко-ко-ко?»

Восьмидесятипятилетней Олене Кирилловне сняли катаракт, и она опять увидела; однако, потрясенная операцией, захворала… Наконец доктор объявил, что минуты сочтены. Болящую торжественно отсоборовали. Реву было у домочадцев, причитания:

— Ты промолви нам последнее словечушко!

Болящая раба божия молчала, глаз не открывала.

Поднесли ко рту зеркало: дышит ли?..

Раба божия ловко смахнула зеркало на пол и открыла один глаз:

— Попов сколько было?

— Семеро.

— Выдать по пятишнице на плешь. Пели умильно…

Наша Петровна воротилась домой ночью, опять запричитала:

В печи вода поставлена
Олену Кирилловну омывать.
Ох, деточки, бабушка у вас
Теперь часова,
Не векова…

Утром Наталья Петровна надела черный костыч с белыми рукавами, взяла псалтырь, отправилась над «покоенкой» читать… Пришла, дверь к бабушке открыта, а та как ни в чем не бывало сидит у окошка, шьет… Косо так на Петровну посмотрела:

— Ты куда, могильна муха, срядилась? Что за пазуху-то пихаешь?

— В баню пошла… к вам забежала…

— Давно ли в городу-то бань не стало? В Соломбалу мыться пришла?!

Но Петровны и след простыл.

Однако через три года Олена Кирилловна заумирала не шутя.

Дочери говорят:

— Мама, мы батюшку пригласили.

— Созвали бы старух из Амбурской пустыни. Поп-то — «ба-ба-ба», да и все. А наши-то старухи

за рублевку три часа поют да поют.

Однако иерей явился.

— В чем грешна, раба божия?

— Ну, батько, ты и толст, сала-то, сала! Ты светло загоришь в аду-то.

— Тебя саму за эти слова в му́ку!

— Я тоща, я худо загорю: головней возьмусь, да и… Ох, кабы кучей мучиться-то… Все бы веселее…

— Раба божия, я буду тебя исповедовать, ты отвечай.

— Нет, ты мне отвечай! Вот скажи: кто меня так крепко, со всех сторон, пожалеет, так обнимет, что уж не вывернешься?

Священник недоумевает, все молчат…

Старуха рассмехнулась:

— Могила, кто же больше!.. Ну простите. Не велю вам скучать.

Тут и всё.

А тетка Глафира Васильевна, умирая, сказала:

— Не хочу больше на Севере репу есть. Поеду по яблоки в южные страны.

Аниса[38]

У отца было три сына. Старшие вовремя выучились и к торговому делу присвоились. Во пору женились и гнездо развели. Только про младшего родители горевали, а люди судачили. Санька в грамоту был востро́й, кончил коммерческу школу, а про торговлю слышать не хотел. Три дела держал на уме: первое — на корабельных верфях мастерам пособлял, еду и сон забывал; второе — в картишки играл; третье — соломбальскую красавицу Анису обожал. Знаком не был, издали любовался. Ее увидел Санька на Масленой, во время гулянья, когда бывает шествие по Архангельскому городу оснащенного корабля. Корабль везут по главной улице одношерстные кони. На корабле стоит живой бык с позолоченными рогами; кругом нарядные девицы и кавалеры. Увидел Анису Санька и закручинился. От людей слышал, что девка насмешница, баловница, почтенных родителей дочь. Санька в городе жил, она на Соломбальском острове, и парень редкий день в

[38] Notes: 38

Впервые опубликовано в сборнике «Архангельские новеллы» (М.: Советский писатель, 1936). *–Примеч. ред.*

Соломбалу не бегал — взглянуть, как с крылечка спустится, в карбас сядет, рукой парус возьмет. А попадись она лицом к лицу на мосту или в лодке, Санька в воду бы пал. Так его юность проходила.

Потом прошел слух, что Аниса замуж ушла в Норвегию. Санька надолго пропал из дому. Выпросился в подмастерья к именитому кораблестроителю Конону и два года работал в Помории — забывал свою любовь. Санькина мать радовалась:

— Теперь я спокойна — Конона-корабельщика вся вселенна почитает.

Отец в ответ:

— Конон Иванович отменитой мастер. Только не страм ли нашей фамилии, если мой сын с топором в руках будет за гроши поденщичать, а сторонние люди его корабли станут товаром нагружать, за море отправлять да тыщи загребать. Не для того я парня от солдатчины откупил, чтобы он чернорабочим сделался.

Весной Санька приехал домой на побывку, и отец начал со старшими сыновьями советовать, как бы беспутного в купеческое дело впрячь. Те говорят:

— Сосед в Норвегу шкуну сряжат. Пошли-ко с Санькой мучки хоть немножко. Пущай на рыбу

выменят. Рыба сей год у нас будет дорога́.

Отец вызывает Саньку:

— Ты, парень, в полных годах. И красен телом, да мал делом. Пора робячьи бобушки бросить. Сосед в Норвегу похо́дит и тебя прихватит. Доверяю тебе муки двадцать кулей. Норвега промену даст рыбой. Трешшочки, па́лтасинки привезешь, этта продадим, у барыша ты в паю будешь.

Парень затужил было по мастере Кононе. Конона кто раз узнал, век почитать будет, однако и за границу попасть охота. Сошили нашему путешественнику тройку хоро́шу шевиотову, рубах накрахмалили, подорожников напекли. Спровадили.

Когда в море выбежали, на волю, на ветер да на простор, радость Саньке припала. Будто новый сделался.

Капитан дразнит:

— Порато весел, Саня! Обратно ужо плакать будешь.

И в Норвеге все веселит, он тут сам себе барин. Бритой да модной сходил с визитом к консулу, далe отправился в город. На угоре норвецка керке, и там орган играт, было воскресенье. Санька зашел да и перекрестился. И кряду на него некотора прекрасна дама глаза приворотила. Народ сидят,

в книжки нос улепили, а эта на парня зарится. И Санька на ей зглянул, и сердце у него остановилось. Така она, каку ему надо. У ей все тако, как он жалат. А дума думу побиват:

— Я эту особу где-то видал?! Ейно лицо мне знакомо…

Народ из керки завыходили. Санька сзади этой барыни ступат. Она оглянулась, говорит:

— Думаю, не русской ли вы?

— Русской. И вы по говори-то русска?

…И вдруг его как ударило:

— Аниса!! Я вас знаю! Вы Аниса!

Норвежана на них запоглядывали. Санька застыдился и отстал. Однако досмотрел, что дом, куда она дошла, с магазином. Вернулся на шкуну, пал на койку, костюма не сложил. Капитан подивился:

— Саня, здоров ли?

— Болен. Влюбился.

В виде шутки помянул про свою встречу. Капитан говорит:

— А ведь я слыхал про эту особу. Взета сюда из Архангельска за старого куфмана. У мужишка-то, бывало, во всю навигацию притон, карты, пьянство. А твоя-то красавица, сказывают, многим была на радость. Ты сходи, понюхай…

Назавтра Санька таким ли щеголем ходит мимо тот дом. Из лавки и лезет пузатой старичонко, кричит:

— Тузи так! Заходи в мой крам!

Санька не отказался, думат, не покажется ли она.

Купчишко около юлит:

— Может, в картишки перекинемся? А то… есть у меня на дому товар тебе по уму. Приди, как магазины закроют. За погляденье сто рублей.

Парню жарко стало: «Видно, капитан-то не соврал!.. Не чай пить куфман приглашат».

На пристань прибежал, муку свою, не спросившись, не сказавшись, первому попавшему покупателю за сто рублей бросил и в потеменках явился к бретому старику. Тот лавку замкнул и садом провел его к себе на квартиру. Посадил в большой залы на диван, зажег лампы, занавесил окна и позвал:

— Аниса!

Зашла в зало Санькина красавица. Разделась перед зеркалом гола, и старик провел ей нагу кругом залы. Санька вскочил как безумный, кинул сто рублей и убежал на шкуну. Там спешка — завтра плывут обратно в Русь. У Саньки ни товару, ни денег. А всю дорогу от любви плакал,

не о товаре:

— Эх, Аниса, Аниса! Как ты мне на сердце села.

Дома отец покричал, покричал да и махнул рукой. Санька эту зиму из-за прилавка не выходит, кули таскат, счета ведет. На уме-то: уважу, дак в Норвегу спустят… Зимы конца не было, а весна пришла. Санька не пьет, не ест:

— Папа, спусти в Норвегу, сейгод не подкачаю!

Отец и доверил на полтретьяста норвецких крон.

Как пьяницу на вино, так Саньку в тот дом с магазином. Товар прилюбился, дак и ум отступился. Опять старичонко его зазвал и нагу красавицу при свете ламп и свечей показал. Она этот раз тихонько, как бы в танце по залы прошлась, против гостя приостановилась, рассмехнулась. Санька бросил старику весь бумажник и убежал на шкуну. А в бумажнике вся выручка, без мала полтысячи… И тысяча была бы, не пожалел бы для этой Анисы.

Домой приплыл, будто после запоя. Отец — ни на глаза. Всему племени бедно над злосчастным:

— Беда с Санькой! Оприкосили, испортили его норвежана!..

В зиму мати стряхнулась было с женитьбой — на сына не худы зарились, да он и разговору

не повел. Об Анисе пуще старого заскучал. И ото всех таит, никому не сказыват. Это тяжеле всего.

Опять весна пришла, лето и… о Норвеге заикнуться нельзя. Санька дробовку за плечо да на бор. Неделями дома нету. Ободрател, похудел. Родитель только однажды ему проговорил:

— Жалко, ах как жалко, что тебя от солдатчины откупил. Люди-те при мне тебя бродягой взвеличали!

День за днем, мрачно время приходит, осень, распута. Бредет оногды Санька по набережной, а знакомой почтовой чиновник и окликат:

— Саня, тебе загранично письмо до востребованья есть!

Санька на почту прилетел, конверт разорвал, читат: «Вызнала ваше дорогое имя у пароходских. Почто сейгод не гостили? Ждала цело лето. Обажаю вас, Саничка, с первого взгляду в керки. Я тогды тебя забыду, когда закроюцце глаза…»

Письма не дочитал, полетел по пароходским конторам.

— Пароходы в Норвегу еще будут?

— Завтра последний с тесом походит…

Дома матери в ноги:

— Где хошь, к утру сотенну добывай! Нать в Норвегу.

— Дитетко, не плавай! Санюшка, не теряйся!

— Маманька, напрасно… Папы скажи — уехал либо добыть, либо домой не быть…

Этот раз и Белым, и Мурманским морем из-за осенних туманов долго шли.

Санька лежит в каюты, не думат ни о чем, никаких планов не строит. У норвежского берега те же дожди. Нашему путешественнику это на руку. В воскресенье он застегнулся дождевиком, кепку на нос нахлупил, шагат в керку. У норвежан в праздник работы не задевают, как в клуб, в керку свою идут. Аниса хоть не моляша, тоже была. Санька из дверей смотрит, ждет… После пенья народ повалил. Санька в темном переходе прижал свою прекрасну даму за бок… Не охнула и не ахнула, — вот сколь бабы не крепки! — только побелела, как береста, уронила сумочку, и, пока Санька подымал, шепнула:

— В полночь, черным крыльцом!

О полночь он зашел во двор — ни дворника, ни собаки. Залез в сени… Кто-то его обнимат, припадат, в горницу тащит. Золото с золотом свилося, жемчужина с другою скатилась!

Санька говорит:

— Ты меня весь мой век мучила…

— Нет, ты меня мучил! Разве настояшшой му-

шшина так поступат? Придешь, эдаки деньги из-за меня старому черту бросишь да издале и любуиссе!

— Я к тебе и дороги не смел прокладывать. Думал, эдака королева…

— А ты чем не король? Я отсель тебя скоро не выпущу. Согласись у меня в секрете пожить?

— Да, Аниса. Я тебя с семнадцати годов жадал.

— А о старичонке не беспокойся. Я его во свои комнаты года два не пускаю. Да он что-то стал временем будто не в полном уме. Знат, деньги считат да в карты тешится.

Жирует Санька у своей желанной тайно от всех. Спит под ейным отласным одеялом. Утром кофейку попьет, книжку почитат, а там завтраки, обеды… Подружка куда пойдет, дружка на ключ закроет. Эдаким побытом зима на извод пошла.

Санька что-то невесел:

— Аниса, бесчестно мне у твоего куфмана в доме жить.

Честна жена на него с гневом:

— А я здесь не хозяйка? Я разве гола сюда приехала?! Мало приданого сюда привезла? Мало денег ему здесь нажила?!

— Что я спрошу тебя. Аниса, почему ты за старого пошла?

— С дику, бажоной. Перед подружками нать было похвастаться, что муж иностранец. Вышла шутя, думала, что за Европа, что за Норвега. Дале узнала… У старика тогда шикарной ресторан был, картеж… И я главна приманка. За одно погляденье англичана деньгами, американа брильянтами платили. Пять годов я как на горячем отюге жила. Дале заскучала, домой, в Русь тошнехонько захотела.

Мужишко заметил, что я приуныла, до копеечки меня ограбил. Судей купил, в опеку меня взял, сундучишки мои к себе перенес. Ну, я всегда была на это незавидна. Хватай, думаю, только меня в покое оставь… И вот ты, Санюшка, жизнь моя, явился. Я как из гроба встала…

Стариковы комнаты находились в верхнем этаже, и внизу было слыхать, как супруги бранятся по хозяйству. Как-то раз Аниса прибежала от мужа в слезах:

— О, надоело, пятаками да четвертаками у этого Кощея выманивать: на керосин и то спрашивай…

Этой ночью она вдруг спросила Саньку:

— Вот что, бажоной, ты в карты не мастер?

— Игрывал.

— Дак вот како дело, хватит тебе мышью в

подполье сидеть. Сходи сразись со стариком в картишки. И еще я придумала — наложи егову шапку оленью. Он будет на шапку дивить, а ты не зевай.

— Ведь он тому подивит, что я не в показанное время явился?

— Не подивит. Есть этта от пароходов остается шляющих.

Санька намылся, набрился, нарядился, вылез задним двором, обошел сад и ступает мимо лавки. Куфман сбарабанил в окно. Санька зашел. Хозяин стул поддерьгат:

— С приездом! В картишки сыграем?

— Можно.

Играют, и вдруг купчишко обратил вниманье на гостеву шапку: «Моя шапка!.. Ни у кого такой не бывало…» А спросить неловко… Спутался несчастной и проиграл. Три раз сыграли, и все он не о картах, а о шапке… Продул Саньке триста. Заеретился:

— Подемте красавицу за сто рублей глядеть?!

— Благодарим, насмотрелись.

Хозяин лавку запират, а Санька к Анисы. Она шапку схватила, бегом унесла наверх. Старик пришел, зашумел на лестнице:

— Аниса! Где моя шапка?

— Кака шапка?

— Моя шапка белой оленины со звенышками!

— А куда ложишь? Верно, в шкапу!

Шкап открыли, она там и висит. Старик дивится:

— Что за лешой! Чик в чик сегодня таку шапку у покупателя видел… Тьпфу!!

Санька говорит подруге:

— Против совести, против характера мне этот картеж.

Аниса вспыхнула:

— Ты для меня добывать! Это мои деньги! Судом не высудишь, силой не схватишь. Одно остается — хитрость.

Опять сколько-то времени живут. Аниса забралась к мужу наверх, добыла праздничну вышиту рубаху. Нарядила любовника.

Куфману отыграться охота, увидел, выскочил из магазина:

— Пожалте, пожалте! Вы гуляете, а картишки скучают!

Санька пальто скинул, партнер на рубаху бельма вылупил.

Карты на руках, а в головы двоит: «Моя рубаха… А пес знат, мало ли рубах… Нет, моя, руска вышивка…»

Из-за этой рубахи парень опять триста рубликов унес.

Только рубаха на место попала, муж летит:

— Черт! Тьфу! Кому ты, тварина, мою рубаху дала? Я друга триста от рубахи прогадал!

— Где быть твоим рубахам, кроме комоды?.. Вот она! Что ты орешь-то, скоблено рыло, еретик! Ах ты, балда по́ла, сатана плешива!

Досыта наругалась невинна, обиженна женщина, отвела душу.

На третий раз (на дворе-то уж весна пошла) Аниса перестень мужнев выудила. Санька перчатку напялил, идет. Куфман за ним в сугонь:

— Не дам с выигрышем уехать! Хоть раз нажгу!

За игрой наш обдувало перчатку снял. Кольцо-то и воссияло. У бедного старика опять игра сбилась: «…мое кольцо… Мой фасон… Спрошу… Нет, неудобно…»

Всего за три раза наказали наши земляки почтенного старичка на девять сотенных. Теперь они сами себе господа!

А Санька о другом забеспокоился:

— Аниса, я в городе показался. Время вешно, народу людно. Заметят, что у тебя живу.

Она день-два со стариком ладно поразговари-

вала, сказыват любовнику:

— Барину моему на лето прикашшик надо рыбу закупить. Ты эким анделом зайди, дешево запроси. Он тя схватит.

Санька заходит в лавку, куфман козой глядит:

— Нет уж, в карты наигрались!..

— Не до карт, господин куфман! Я посоветоваться. У меня шкуну разбило, незастрахованный товар потонул. Я разорен. Ищу работы.

— Так и надо! Потому и потонул, что не обыгрывай в карты. А каку работу можешь?

— Доверенным, приказчиком…

— Мне русской приказчик надо. Сколько просишь?

Санька назвал смешную цифру. Старик на дешево лакомой. Сладились.

Теперь не надо прятаться, входя-выходя. Ловче жить стало.

— А мне этого стало мало, — припадат к дружку подружка. — Мы с тобой молоды да могутны, нам песню-ту во весь голос надо спеть. Мне при всех хоть однажды охота с тобой рука в руку погулять, чтобы все увидели, все позарились. Шурочка, век наш недолгой, выпьем по полной!

— Аниса, у твоего старика в дому я связан… Каша не наша, котел не свой…

— Ужо погоди, проведаю, ладит ли он у моря дачу снимать.

Невдолги видит Санька — его любезна пляшет да поет.

— Что за радость?

— Меня посылат на дачу, тебя по рыбу, сам при лавке останется. Что губы надул? Дача-то ведь в том же рыбном становище. В одном домичке будем жить у водички. Вечерком двоима в лодочки — ты грести, я править… На мох по морошку пойдем.

— Кряду и донесут.

— Пушшай доносят. Я придумала запутать муженька.

Назавтра и приказчик наш с новостями:

— Хозяин спешно выпроваживает, боится, как бы конкуренты впереди не забежали. И тебе, Аниса, велит сряжаться.

Аниса полетела наверх.

— Вот что, милостивый осударь, ты помощника имеш, и я без прислуги одна в рыбну бочку не полезу.

— Оставайся дома. На прислугу лишних капиталов нет.

— На лешой твои капиталы! Ты прикащика жени, вот мне дарова кухарка.

— А то верно! Только с улицы бабу в дом не допущу.

— Черт ли с улицы! У соседа девка — куда с добром!

— Не помню такой. Надо посмотреть.

— А завтра чуть свет она крыльцо мести будет. Ты сходи.

На заре вверху половицы заскрипели, тот девку смотреть засобирался. Аниса набивной сарафанишко надернула, ситцевым платком завязалась, задним двором в соседи забежала и пашет крыльцо. А благоверный ейной пройдет мимо да поглядит, пройдет да поглядит. Дале ушел. Она опять кругом обежала, переоделась и наверх.

— Видел девку? Какова?

— Что за черт! До чего на тебя похожа! И ростом, и постатью, и всем. Как же люди разбираться будут — где барыня, где кухарка?

— Знамо, что котора в хорошем платье — дак барыня, а в немудром — дак кухарка.

Аниса и на самом деле бедного соседа девчонку взяла, только никому не показала, а скорехонько и с ней, и с любовником усвистала на дачу. Оттуда бросила мужу открытку, что приказчик женился.

У старика делов тоже выше головы. В гавани полно пароходов, моряков. Он винишком поторговыват, с шулерами заодно деннонощной картеж заварил. Спать некогда.

Аниски с Санькой давно хорошо. Открыто с прихехе жоночка загуляла. Хоть день, да мой! Всякой вечер в шлюпке под парусом катаются, на угоре при публике в обнимку сидят, в ресторанчике вместе выпивают, закусывают. Аниска завсе в новых туалетах. Санька тоже вытягается. И все на них глядят, все завидуют:

— Ах, кака прелестна парочка. Это счастливы молодожены медовый месяц провожают.

А дни, как гуси, пролетают.

Санька увидал как-то два-три знакомых лица.

Ночью поскучал:

— Нам аккуратно бы надо, Аниса! Прихлопнет нас твой благоверный.

— Ты меня, Саня, не брани. Я как чудный сон гляжу — с тобой гуляю. А туда написано, что прикащик соседской дочерью оженился. Пусть разбират.

Экой приятной скандальчик, что супружница кавалера наружно любит, старичку, конечно, рассказывают — каждой, кому не лень.

Он над дураком хохочет:

— Бросьте, господа! Сплошно недоразумение! С ним не моя жена, а его собственна. Это кухарка наша. Действительно, она с женой очень похожи. Я сам поражаюсь…

А счастливым молодоженам как-то вдруг стало не до смеху. Им письма обидны заподкидывали, сторонни люди нахально заощерялись… Санька брови хмурит:

— Довольно, Аниса, по ножевому острею ходить. На волоске повисла наша хитрость.

И вдруг на Анисе телеграмма:

— Буду по первому пароходу. Встретить вышли приказчика с женой.

— Что, Санюшка, дале хитрить да прятать али расставанье приходит?

— Аниса, убежим со мной!

— Возьмешь, дак…

— Я бы с первых ден. Да некуда взеть-то! Везде кошелек спросят.

— Саня, я тебе все ише нать?

— Век будешь нать, Аниса!

— Велико ты слово сказал… Теперь бежи, купи вина корзину. Половина коньяку, другу́ — рому норвецкого. Сам-от завтра будет, срядим встречу на радостях, а там увидашь…

Утром хитра баба спровадила настоящу-ту ку-

харку в гости на три дня, а к пароходу вышла с Санькой.

Старик не здоровается:

— Зачем сама? Где его жена?

— Прихворнула, ко своим отпросилась.

Молча пришли к Анисы в номер… Цветы, закуски, салфетки, бутылки в четыре ряда. Старик хлопнул стаканчик-другой и отмяк.

— Ну, поздравляю тебя, любезный, с законным браком. Бабу свою завтра же мне предъяви. А пока выпьем.

Рюмка за рюмкой, дорогой гость песню запел.

Три дня его поили. И когда в лежку лег да кокушкой закуковал, Аниса говорит:

— Он, таков, ден пять проживет. Я за кухаркой побежу, ты чемодан увязывай. Корабли на Русь по утрам уходят.

Управились. Наказывают девчонке:

— Хозяин заболел, наблюдай его, не отходи. Мы по торговому делу два дня проездим. Вот деньги, хватит на поправку.

На катере к утру добрались до города. В тот же день сели на русское судно. Саня ни праха не дозволил Анисе с собой взять:

— Оставь куфману эти часики да браслетки, шляпки да гаржетки. В Архангельске я у кора-

бельного строения кряду работу добуду.

И таким побытом в радости угребли на Русь.

Ни Санька, ни Аниса наперво не показались своей родне. Он с парохода побежал на Соломбальские верфи, к корабельщику Конону. Сразу получил работу и квартиру.

Потом и у своих побывали Саня и Аниса. Никто слова поперечного не посмел нанести.

Эту пору так радовался Санька, что и времени на сон тратить жалел.

В солнечную ночь плывет с Анисой под парусом, сам все рассказывает:

— К этому берегу, Аниса, я лета два ходил, тебя караулил… Под этой пристанью, Аниса, я однажды ночь просидел, тебя с гулянья дожидаючи, весь от дождя перемок…

Володька Добрынин[39]

У Архангельского города, у корабельного прибегища, жила вдова Добрыниха с сыном. Дом ей достался господский, да обиход в нем после мужа повелся сиротский. Добрыниха держала у Рыбной пристани ларек. Торговала пирогами да шаньгами, квасом да кислыми штями. Тем свою голову кормила и сына Володьку сряжала.

Володька еще при отце вырос и выучился. Кончил немецкую навигацкую школу. Знал языки и иные свободные науки. Как отца не стало, он связался с ссыльными. Они уговорили Добрынина поставить к себе в подполье типографию — печатать подкидные листы против власти и против царицы Катерины.

Володьке эта работа была по душе. Он стоял у станка, остальные пособляли.

И случилось, что один товарищ поспоровал с ними и донес властям. А полиция давно на Доб-

---

[39] Notes: 39

Впервые опубликовано под названием «Верховный бургомистр города Гамбурга Володька Добрынин» в сборнике «Архангельские новеллы» (М.: Советский писатель, 1936) и переиздано под названием «Володька Добрынин» в сборнике «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. –*Примеч. ред.*

рынина зубы скалила, ногти грызла.

Однажды заработались эти печатники до ночи. Вдруг сверху звонок двойной — тревога. Ниже подполья подвал был с тайным выходом в сад. Володька вывернул а́ншпугом половицу:

— Спасайтесь, ребята!.. Лезь в тайник! А я останусь. Все одно человека доискиваться будут. Не сам о себе станок ходит…

Товарищи убрались, и только Добрынин половицу на место вколотил, полиция в двери:

— Один ты у станка?

— А что, вам сотню надо?

Повели Володеньку под конвоем.

Дитятка за ручку, матку за сердечко.

Плачет, как река течет. А сын говорит:

— Не плачь, маменька! За правое дело стою смело.

Конвойный рассмехнулся:

— Какое же твое правое дело, мышь подпольная?

Володька ему:

— Ничего, дождемся поры, дак и мы из норы.

Его отдали в арестантские роты, где сидели матросы.

Близ рот на острове жил комендант. Дочь его Марина часто ходила в роты, носила милостыну.

И сразу нового арестанта, кручинного, печального, оприметила, послала няньку с поклоном, подошла сама с разговором.

Бывало, за ужином отцу все вызвонит, что за день видела да слышала, а про Володьку неделю помалкивала. До этой поры, до семнадцати годов, не глядела на кавалеров, а Добрынин сразу на сердце присел. Раз полдесятка поговорила с ним, а дальше и запечалилась. От няньки секретов не держала — старуха не велела больше в роты ходить, молодцов смотреть.

Отец Маринин, как на грех, в это время дочери учителя подыскивал. Люди ему и насоветовали Володьку:

— Не опущайте такого случая. Против Добрынина мало в Архангельском городе ученых. Молодец учтивой и деликатной. Суд когда-то соберется. До тех пор ваша дочь пользу возьмет.

Не хватило у Маринки силушки отказаться от учителя. Зачал Володька трижды в неделю ходить к коменданту на квартиру. Благодарно смотрел он на ученицу, но почитал ее дитятею.

Дни за днями пошли, и внимательная ученица убедилась, что глаза учителя опять рассеянны и печальны. Люто и ненавистно Володьке возвращенье в роты. Уж очень быстролетные часы

свободы. О полной воле затосковал. Бывало, придет, рассмехнется, а теперь — как мать умерла у маленького мальчика.

Нянька спросит по Мариниому наученью:

— Опять видна печаль по ясным очам, кручина по белу лицу. Что-то от нас прячешь, Володенька.

— Ох, нянюшка, думу в кандалы не забьешь!

Лету конец заприходил. Скоро суд и конец Мариниому ученью.

Смотрит бедный учитель в окно. Не слышит, что читает девочка. За окном острова беспредельная ширь устья двинского, а там море и воля.

Нянька говорит:

— С вашей читки голову разломит. Вышли бы вы, молодежь, на угор.

Володька говорит:

— Меня вдаль караульны не пустят.

— С лодкой не пустят, а пеших не задержат, кругом вода.

Пришли на взглавье острова. Под ногами белые пески, река в море волны катит, ветер шумит, чайка кричит.

Нянька толкует:

— Сядем этта. Солнце уж на обеднике, а в окурат в полдень от города фрегат немецкой в море

пойдет. Матросы сказывали. Подождем, насмотримся. Вишь, ветер какую волну разводит… Володя, почто побледнел?

А у Володьки мысли вихрем: «Либо теперь, либо никогда. Спросить Марину?.. Нет, бросится за мной. Моя дорога неведома. И жив останусь, дак всяко наскитаюсь. Жалко ее. Поскучает да и забудет».

А вслух говорит:

— Марина Ивановна, нянюшка, что я вас попрошу — сходите на болото по ягодки на полчасика. А я выкупаюсь.

Старуха зорко на него посмотрела, заплакала и потащила Марину на мох за горку.

Володька еще крикнул:

— Потону, матерь мою не оставьте!

Разделся и бросился в волны. Нянька вопила что-то ему вслед, но пловец уже не слышал. Вопль старухи заглушали голоса вод.

Над городом встала ночь, когда Марина и нянька, опухшие от слез, вернулись домой. Видя, что Добрынина долго нет, встревоженная и обеспокоенная девушка заставила добыть лодку, и, сколько хватило сил, гребли они в сторону моря. Марина не хотела, не могла поверить, что ее любезный учитель, такой сильный и отважный,

утонул. Нянька натака́ла до поры до времени не оповещать никого. Люди могли донести куда следует, и тогда спасенный пожалел бы, что его спасли.

Только через сутки комендант послал в город донесение о том, что Добрынин утонул во время купанья. Свидетелем ставил сам. На том дело и покончили.

Только мать, как узнала, столько пролила слез, дак ручей столько не тек. Тут уж Марина Ивановна в грязь лицом не ударила: сколько было в сердце нежности к сыну, всю на матерь его перенесла.

Володька не погиб.

Есть счастливцы, которые в огне не горят и в воде не тонут. Слушая об иностранном фрегате, ему пришло в голову, что на таких великанах всегда нуждаются в матросах. И берут людей без разбора. Почто не испытать судьбу?

Чтоб избежать горького расставанья с ученицей, он решил плыть к морю, и корабль сам его догонит. А не хватит сил, так выйти на любой попутный остров, дождаться и объявить о себе криком.

И он не ошибся. Судьба улыбнулась смельчаку. Чувствуя, что больше не в силах бороться с волна-

ми, Владимирко выбрался на песчаную отмель. И пока он дрожал тут нагой, зубов не может сцепить, мимо начал проходить величественный четырехмачтовый корабль. Володька закричал по-немецки и побежал по берегу.

Его заметили. Спустили шлюпку, подняли на борт, одели, согрели, напоили ромом. Судно было немецкое, из Гамбурга. Почуяв себя на воле, убедившись, что его отнюдь не собираются отправить обратно или сдавать русским властям, Володька ожил, развеселился. Свободно владея немецким языком, полюбился всем — от капитана до последнего юнги. Все ему рады. Вот какой уродился. Не говоря об уме, полюбился станом высоким, и пригожеством лица, и речами, и очами.

Капитан фрегата, проницательный и бывалый, часто беседовал со спасенным и однажды сказал:

— Завтра будем дома. Я убедился, господин Вольдемар, что вы человек талантливый и одаренный. Если угодно, представлю вас своему другу, бургомистру Гамбурга. Смелые сердца нам нужны, и вас никто не спросит ни о чем лишнем.

Добрынину остается только кланяться.

В Гамбурге капитан отвел свою находку к верховному бургомистру, старому старику.

В те времена Гамбург не был подвержен никакому королю. Управлялся выборным советом. Оттого назывался вольный город. Председателем был бургомистр. Стар был бургомистр, много видели на своем веку почтенные советники гамбургские, а и они не могли достаточно надивиться разуму и познаньям молодого пришельца.

Кроме родного, Володька знал язык немецкий, английский, норвежский, шведский, и его положили доверенным к приему иноземных послов.

Так четыре года прошло. Четыре холодных зимы, четыре летичка теплых прокатилось. Володька доверие гамбургского совета полной мерой оправдал. Он кому и делом не приробится, дак лицом приглянется. Дом, родина, арест, побег — как сон вспоминаются. Здесь все иное и дума другая.

Городской совет постоянно благодарил капитана за его находку.

Скоро сказывается, а дело долго делается.

Тут приходят на вольный город две напасти. Умер старый многоопытный бургомистр, а прусский король задумал нарушить с городом досельные договоры, лишить его старинных свобод. Приехали гордые прусские послы и подали лист, что прежним рядам срок вышел и больше

в Гамбурге воле не быть, а быть порядкам прусским. Сроку дается месяц.

День и ночь заседает гамбургский совет. Силой противустать город не может. Надо Пруссию речами обойти, деньгами откупиться. Сделали перебор трем главным советникам.

Один сказал:

— Берусь вырядить вольности на полгода.

Другой сказал:

— Моего ума хватит добыть воли на год.

Третий, годами старший, сказал:

— А и моей хитростью-мудростью больше как на три года вольности не вырвать…

Володька был тоже созван в ту ночь к городской думе.

И тут его сердце петухом запело.

Встал и сказал:

— А я доспею воли городу до тех пор, пока солнце сияет и мир стоит…

Выбирать не приходится.

Его и послали рядиться с пруссаками.

С утра и до темени оборонял Владимир гамбургскую волю. Где требовал, где просил, где грозил, где выгоды сулил. Говорит — как рублем дарит. Красное солнце на запад идет, у Володьки договорное дело, как гусли, гудет. Складно да

ладно. Пруссаки против его доводов и слова не доискались:

— Вы, гамбурцы, люди речисты, вам все дороги чисты.

Новые грамоты печатями укрепили. Теперь нельзя слова пошевелить. Писано, что Добрынину надо:

«Быть Гамбургу вольным городом донележе солнце сияет и мир стоит. А королю не вступиться, и прусским порядкам не быть».

Только и вырядили послы ежегодно два корабля соленой рыбы королевскому двору.

Ну, рыбы не жалко. Рыбы море-кормилец несчетно родит.

В честь столь похвального дела в стену думского ратхауза была вделана памятная плита. И на ней золотыми литерами выбита вся история и вся заслуга Владимира Добрынина[40]. А сам он возведен в степень верховного бургомистра. По заслугам молодца и жалуют.

И в новом чину он служит верно и право. И опять лето пройдет, зиму ведет. Но на седьмой год Володя, как от мертвого сна пробудясь, вдруг затосковал по родине, по матери, по Марине:

---

[40] Notes: 40

Архангельские поморы уверяют, что доска эта на том же месте и сейчас.

Мамушка, жива ли ты?
Может, где скитаешься?
Марина, помнишь ли меня?
Простили ли вы меня?

И слезы его, как жемчужные зерна. Стал молодой бургомистр в простецком платье по корабельным прибегищам похаживать, с архангельскими поморами поговаривать. Оказалось, они уже слыхали, что здесь в больших русский человек. Вдаль простираться с расспросами Володька не стал, а пришел на совет и заявил:

— Прошу отрядить под меня приправный корабль. Прошу месяц отпуска. Поеду в Русь добывать свою матерь.

Советники понурили головы:

— Любезнейший наш бургомистр. Время осеннее, годы трудные… В море туманы, в русской земле обманы. Боимся за вас, не покидайте нас!

Он на ответ:

— Никто нигде не посмеет задеть верховного бургомистра славного Гамбурга… А не отпустите — умру!

В три дня готова шкуна трехмачтовая, команда отборная и охранная грамота.

Парус открыли, ветер паруса надунул. В три

дня добежали до Двинской губы. Теперь наш Володенька и с палубы не сходит, не спит и не ест. Так и смотрит, так и ждет.

У Архангельского города якоря к ночи выметали. В корабельной конторе отметились, и захотелось нашему бургомистру той же ночи к родному дому подобраться, тайно высмотреть своих. Переоделся в штатское платье и направился окраинными улицами в обход, чтоб на кого не навернуться.

И тут его схватили грабители, отняли верхнюю одежду и хотели убить. Темна ночь, черны дела людские…

Володька закричал:

— Что вы, одичали, на своих бросаетесь! Я сам мазурик, на дело бежал…

Тут один рычит:

— Убить без разговоров!

— Кряду ножом порешить.

— Убежит, на нас докажет.

Другие возражают:

— Утром зарежем. А то с кровью проканителимся, ночная работа пропадет. Петухи уж вторые поют.

Володька надежды не теряет:

— Возьмите вы меня на ночную-то работу. На

это против меня не найдете мастера!

— Ну идем… Только уж смотри, закричишь или побежишь — тут тебе и нож в глотку.

Долго шли по продольной улице, свернули на поперечную, остановились у высокого дома. И сквозь мглу ночную узнает пленник — улица их. Добрынинская, и дом их.

Главный шепчет:

— Здесь старуха живет, Добрыниха. Налево пристройка, окно с худой ставней. Тут у них кладовая клеть. Медна посуда есть, одежонка… Пусть один в оконницу пропехается, будет добро подавать, мы принимать.

У Володьки сердце то остановится, то забьется:

— Я горазд в окна попадать. Меня подсадите.

— Тебя одного не пустим, лезьте двое.

К чужим бы не суметь, а свои косяки пропустили. И ставня под хозяйской рукой не стукнула. Следом за Володькой протискался еще один.

В опасности голова работает круто. Закричать?.. Стены глухие, кто услышит ли?

Стучать? Нет ли чего тяжелого…

Наткнулся на весы. Нащупал гирю. А страшный компаньон к нему:

— Мы что, гадюка, играть сюда пришли?! Ломай замок у сундука!

Вместо ответа Добрынин левой рукой схватил его за горло и подмял под себя, а гирей в правой руке и ногой приправил, что было сил, грохотать в стену, в двери, во что попало, неистово крича:

— Карау-ул! Спаси-и-те!

В доме поднялась тревога. Забегали люди, замигали огни. Мазурик вырвался из рук Добрынина, ударил его ножом, да мимо, только сукно рассек, затем кинулся в окно и выбросился наружу.

Скоро далекий топот ног известил, что мазурики скрылись. С чем нагрянули, с тем и отпрянули.

Того разу дверь в кладовую размахнулась, и несколько человек бросились вязать мнимого вора. Он закричал:

— Не троньте меня, не смейте. Ведите сюда хозяйку Добрыниху.

А хозяйка Добрыниха бежала по сеням с фонарем.

И тут у нее ноги подрезало, и она закричала с рыданьем:

— Не смейте!.. Это сын, сын Володя, воротился!

Пала мать сыну на грудь:

Беленькой ты да голубочик!

Миленькой мой да соколик!

Желанненько мое чадышко!
Из глаз-то ты уехал,
Из памяти ты да не вышел!
Как я тебя жалела,
Да как я тебя дожидала!

Тут не бела береза подломилась, не кудрява зелена поклонилась, повалился сын матери в ноги.

— Дитятко, не мне кланяйся. Благодари Марину Ивановну — только по ее милости я эту прискорбную пору пережила. Она меня заместо матери почитала.

— Маменька, где она?!

— Тут она! За калачами пришла да и ночевать осталась… Точно знала…

И Марина, станом высокая, а нежным лицом все та же, держит Добрынина за руки, не дает ему падать в ноги. И говорит, говорит, торопится:

— Володенька, как тогда жить-то зачинать без вас горько было. Отец женился, няня померла, я у маменьки у вашей больше гощу. А вас первое время и в живых не чаяли. Потом весть пришла, что пловца кораблем подобрали. На остатках узнали — в Гамбурге морского найденыша главным начальником положили. На вас думать боялись,

а надежды не теряли.

И Володька на ответ:

— Тошнехонько! Бил вас денечек, сам плакал годочек! Марина Ивановна, мама! Перемените печаль на радость, слезы на смех. Я и есть главный бургомистр города Гамбурга. И я за вами на корабле пришел.

Погостил тут Володя сколько привелось, а потом сел с матерью да с невестой на корабль и с вечерней водой, под красой под великой отправились в путь, чтобы жить вместе и умереть вместе.

Ходили в Лявлю[41]

Народ на гулянье плывет карбасами и пароходами.

На карбасах летят парусом с песнями, а пароходы отваливают от Города с музыкой.

Однажды напраздновались горожана в Лявле и, как стемнело, стали посряживаться домой.

Последний пароход отвалил в десятом часу; баржу поволок велику. На ту баржу миру накопилось много без меры.

Как на середку реки вышли, заиграли по музыке, затрубили в трубы, ударили по на́крам.

В том часе почало быть плесканье, и гуденье, и крики, и топот ножный.

— Роскатись моя поленница без дров!

Рады баржу разнести…

От того многовертимого плясания ссадили со стены лампу, и обшивка кряду запластала.

Другомя запели да заскакали.

Сколько-то человек сунулись во глубину речную — да и без вороти'ши. Не увидали боле белого

---

[41] Notes: 41

Впервые опубликовано в сборнике «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967). *–Примеч. ред.*

свету. А другие по тросам полезли на пароход. Пьяные. И по народу поднялся по́полох зол.

Только привелись в то время люди, не изумелые от вина. И они стали жёнок унимать от крыку и реву и чтобы до времени за борт не скакали и друг друга в воду не пехали. А капитан дал полный ход к берегу.

И хотя от огненного стремления у многих бороды и сертуки шаяли, а у жёнок сарафаны, однако все изготовились и дожидали в порядке, что-де как будет помельче, дак миром лезти в воду.

А вода привелась па́ла. И вскоре баржа намелилась.

Тогда почали скакать и на сухое место выгребаться. А истомных носко́м несли, а навых за руки и за ноги приплавили к лайды.

Была ночь, и де́ялся дождь.

Как на гору заволоклися, тут стоит лес пуст. До города верст двадцать. Лодок нету.

У кого было изможенье, сдумали идти на Уйму в деревню — часа два пешей ходьбы.

Достальны'е костры разожгли, кому вера была дожидаться свету.

И при дневных часах все побрели к Городу. Пеши и на подводах.

Не таково скорополучно и весело домой, бажо-

ны, попали, как было гадано.

На это богомолье многопамятное ездила тетенька наша Глафира Васильевна.

И на барже танцы водила, и потом горела и в воде гасла.

Мы, выслушав, да спросим:

— Уж, верно, тетенька, много лет в Лявлю не показывалась опосле такого страху?

— На! На другой год была.

— А назад опять на баржи?

— Дак на чем другом-то поедешь?

— И опять плясала?

— Все каблуки оттопала!

Государи-кормщики

Рассказы о кормщике Маркеле Ушакове[42]

Русский Север долго хранил устную и письменную память о морской старине, замечательных людях Поморья. Сказания о морской старине бытовали в морском сословии Архангельска и передавались из поколения в поколение. Включенные в данный раздел рассказы являются художественным осмыслением слышанного и записанного мною в молодых годах, запечатленного в памяти от тех ушедших времен.

Примечательными представителями «поморских отцов» были Маркел Ушаков, Иван Порядник (Рядник), Федор Вешняков.

Маркел Иванович Ушаков (годы его жизни: 1621–1701) видится нам типичным представителем старого Поморья. Он имел чин кормщика

---

[42] Notes: 42

Впервые опубликовано в журнале «Вокруг света» в феврале 1953 г. — десять миниатюр; еще три появились в сборнике «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957). Цикл полностью (семнадцать миниатюр) впервые напечатан в сборнике «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959) и переиздан в сборнике «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. Дополнительная, восемнадцатая миниатюра прежде публиковалась единственный раз, в сборнике «Изящные мастера» (М.: Молодая гвардия, 1990), и здесь публикуется с дополнениями. *–Примеч. ред.*

и, кроме того, был судостроителем. С дружиной своей он жил «однодумно, односветно», поэтому и товарищи его были ему «послушны и подручны».

Сведения об Ушакове и Ряднике взяты мною из сборника поморского письма XVIII века «Малый Виноградец». В начале двадцатых годов сборник этот принадлежал В. Ф. Кулакову, маляру и собирателю старины, проживавшему в ту пору в Архангельске. В рассказах я старался сохранить эпизодическую форму повествования и стиль речи поморского автора, избегая излишней витиеватости и славянизмов, сохраняя отблески живой разговорной речи того времени.

Мастер Молчан

На Соловецкой верфи юный Маркел Ушаков был под началом у мастера Молчана.

Первое время Маркел не знал, как присвоиться к этому учителю, как его понять. Старик все делает сам. По всякую снасть идет сам. Не скажет: принеси, подай, убери.

Маркел старался уловить взгляд мастера — по взгляду человека узнают. Но у старика брови — как медведи, бородища из-под глаз растет — поди

улови взгляд. Маркел был живой парень, пробовал шутить. Молчан только в бороду фукнет, усы распушит.

— Морж, сущий морж! — обижался Маркел.

Однажды Маркел сунулся убрать щепу около мастера.

Тот пробурчал:

— Что, у меня своих рук нету?

Маркела горе взяло:

— Что ты, осударь, мне все грубишь? Тебе должно учить меня, крошку, а не прыскать в бороду, как козел! Тебе неугодно, что я тут, и ты скажи, когда неугодно…

— Угодно, мое дитя. Угодно, милый мой помощник.

Тяжелая рука мастера нежно гладила непокорные кудри Маркела, старик говорил:

— Не от слов, а от дел и примера моего учись нашему художеству. Наш брат думает топором. Утри слезки, «крошка». Ты ведь художник. Твоего дела тесинку возьмешь, она как перо лебединое. Погладишь — рука как по бархату катится.

Наконец-то уловил Маркел взгляд мастера: из-под нависших бровей старика сияли утренние зори.

Рядниковы рукавицы

Между матерой землей и Соловецкими островами зимою ходят ледяные торосá. Ходят непрерывно, неустанно. Соловецкий трудник Ушаков водил суда меж лед бойко и гораздо.

Братия спросили:

— Чем тебя, Маркел, почествовать за экой труд?

Маркел ответил:

— Повелите выдать мне Рядниковы рукавицы.

Все удивились:

— Что за рукавицы?

Кожаный старец объяснил:

— Хаживал к игумену Филиппу некоторый Рядник-мореходец. Сказывал игумену морское знанье. И однажды забыл рукавицы. Филипп велел прибрать их: «Еще-де славный мореходец придет и спросит...» Сто годов лежат в казне. Не идет, не спрашивает Рядник рукавиц.

— Сегодня пришел и стребовал! — раздался голос старого Молчана. — Хвалю тебя, Маркел, — продолжал Молчан. — Не золото, не серебро — Рядниковы рукавицы ты спросил, в которых Рядник за лодейное кормило брался на веках, в

которых службу морю правил. Ты, Маркел, отцов наших морских почтил. Молод ты, а ум у тебя столетен.

Маркел и стал хранить эти рукавицы возле книг. Надевал в особо важных случаях.

Из-за Рядниковых рукавиц попали в плен свеи-находальники.

Но расскажем дело по порядку.

Однажды в соловецкой трапезной иноки «московской породы» сели выше «новгородцев». «Новгородская порода» возмутилась. Маркел втиснулся меж теми и теми и так двинул плечом в сторону московских, что сидящие с другого края лавки «московцы» посыпались на пол.

Баталия случилась в праздник, при большом стечении богомольцев. Маркела в наказание за бесчинство и послали в Кандалакшу, к сельдяному караулу.

В безлюдное время, в тумане, с моря послышался стук весел и нерусская речь. Маркел говорит подручному:

— Каяне идут. За туманом сюда приворотят. Бежи в деревню! Нет ли мужиков…

…К Маркелу в избу входят трое каянских грабежников. Двое захватили его за руки, третий стал снашивать в лодку хлебы, рыбу и одежду.

Маркел стоит — его держат эти двое. Наконец третий, оглядев стены, снял с гвоздя заветные Рядниковы рукавицы.

Маркел говорит:

— Это нельзя! Повесь на место!

Тот и ухом не ведет.

Тогда Маркел тряхнул руками, и оба каянца полетели в разные углы. Вооружась скамьей, Маркел тремя взмахами «учинил без памяти» наскакивающих на него с ножами грабежников. Сам выскочил в сени, прижал двери колом.

Те ломятся в двери, а он стоит в сенях и слушает: не трубит ли рог в деревне?

И деревенские, как пали в карбас, сразу загремели в рог.

А в лодке еще трое каянцев. Вопли запертых слышат и дальний рог слышат. Один выскочил из лодки и бежит к своям на помощь. С ним Маркел затеял драку, чтобы не подпустить к избе. Но рог слышнее да слышнее. Показался русский карбас с народом. В свалке один грабежник утонул. Пятеро попали в плен.

За такую выслугу Маркелу с честью воротили чин судостроителя.

Кошелек

На Молчановой верфи пришвартовался к Маркелу молодой Анфим, к делу талантливый, но нравом неустойчивый. Сегодня он скажет:

— Наш остров — рай земной. И люди — ангелы. А в миру молва, мятеж, вражда…

Завтра поет другое:

— Здесь ад кромешный, и люди — беси. А в миру веселье: свадьбы, колесницы, фараоны, всадники…

Молчан наказывал Маркелу:

— Ты поберегай этого Анфимку. Он тебе доверяется всем сердцем. И ты за него ответишь.

Маркел удивился:

— Значит, и ты, осударь, отвечаешь за меня?

— Да. Как отец за сына.

Как-то, за безветрием, стояло у Соловков заморское судно. Общительный Анфим забрался туда и всю ночь играл с корабельщиками в зернь и в кости. Днем на работе пел да веселился, вечером наедине сказал Маркелу:

— Маркел, я деньги выиграл. Хватит убежать в Архангельск. Пойдем со мной, Маркел. В Архангельске делов найдется.

Маркел говорит:

— Значит, бросить наше дело и науку, оскорбить учителя Молчана и бежать, как воры?

Анфим твердит свое:

— Не запугивайся, друг! В кои веки выпало такое счастье. Попросимся на то же судно, где игра была, и уплывем.

При ночных часах Анфим с Маркелом пришли к судну. С берега на борт перекинута долгая доска. На палубе храпел вахтенный. Маркел говорит:

— Давай, Анфимко, деньги. Я зайду на судно, разбужу ке́птена, заплачу за проезд и позову тебя.

Сунув за пазуху кошелек, почему-то неуверенно перекладывая ноги, Маркел шел по доске… Тут оступился, тут бухнул в воду… Это бы не беда — Маркел через минуту выплыл, вылез на берег. Беда, что кошелек-то с деньгами утонул.

— Обездолил я тебя, Анфимушко! — тужил Маркел, выжимая рубаху.

— Я одного не понимаю, — горячился Анфим, — ты свободно ходишь по канату с берега на судно, а с трапника упал…

Простодушному Анфиму было невдомек, что Маркел в воду пал нарочно и кошелек утопил намеренно. Иначе нельзя было удержать Анфима

от безумного намерения.

Ворон

Ходил Маркел по лопской тундре, брал ягоду-морошку. На руке корзина, у пояса серебряный рожок призывный. Ягоды берет и стих поет о тишине и о прекрасной Матери-Пустыне. А заместо тишины к нему бежит мальчик-лопин:

— Господине, не видал оленя голубого?

— Не видал, — говорит Маркел.

— О, беда! — заплакал мальчик. — Я пас оленье стадышко и уснул. Прохватился — оленя голубого нет.

— Веди меня к тому месту, где ты оленей пас, — говорит Маркел.

Вот они идут по белой тундре, край морского берега. А под горою свеи у костра сидят, в котле еду варят.

— Они варят оленье мясо, — говорит Маркел.

— Нет, господине, — спорит лопин. — Я видел, у них в котле кипит рыбешка.

— Рыбешка для виду, для обману. Они кусок оленины варят, а туша спрятана где-нибудь поблизости.

И Маркел, отворотясь от моря, зорко смотрит

в тундру. А тундра распростерлась, сколько глаз хватает. И вот над белой мшистой сопкой вскружился черный ворон. Покружил и опустился в мох с призывным карканьем.

— Там закопана твоя оленина, — сказал Маркел.

К белому бугру пришли, ворона сгонили, мох, как одеяло, сняли: тут оленина.

А свеи из-под берега следят за лопином и Маркелом. Как увидели, что воровство сыскалось, и они котел снимают, лодку в воду спихивают. А Маркел в ту пору приложил к устам серебряный рожок и заиграл. Свеи рог услышали, в лодку пали, гонят прочь от берега; только весла трещат — так гребут. Их корабль стоял за ближним островом. Так спешно удалились, что котел-медник на русском берегу покинули.

Этот котел Маркел присудил оленьему пастуху. Пастух не в убытке: котел-медник дороже оленя.

Художество

Маркел Ушаков насколько был именитый мореходец, настолько опытный судостроитель. В молодые свои годы он обходил морские берега, занимаясь выстройкой судов. Знал столярное

и кузнечное дело; превосходно умел чертить и переписывать книги. Все свои знания Маркел объединял словом «художество».

Спутник и ученик Маркела, Анфим Иняхин, спросил Маркела:

— Когда же мы сядем на месте, дома заниматься художеством?

Маркел отвечал:

— Кто же теперь отнимет у нас наше художество? Художество места не ищет.

Маркел говаривал:

— Пчела куда ни полетит, делает мед. Так и художный мастер: куда ни придет, где ни живет, зиждет добро́ту (создает красоту).

У работы Маркел любил петь песню. Скажет, бывало:

— Сапожник ли, портной ли, столяр ли — поют за работой. Нам пример — путник с ношей. Песней он облегчает труд путешествия.

Ничтожный срок

Корабельные мастера и работные люди от пяти берегов Двинской губы собрались в Соломбальской слободе выслушать отчет своих выборных людей и воочию увидеть Лисестровскую верфь

— любимое детище всех пяти берегов.

Собрались не в раз и не в час. Кого держала непогода, кто намелился, кого водило в лесах. Наконец скопились сполна. К началу собрания подоспел Панкрат Падиногин, артельный стряпчий, отъезжавший в Поморье.

Выборные люди стали докладываться, всяк по своей части. Каждый из них тут же получал оценку своей деятельности. Григорий Гневашев докладывал:

— Я удоволил Лисестровские анбары дорогим припасом, красным лесом. Хватит на два года при большом расходе.

Собрание спрашивает:

— За какое время ты управил это дело?

Григорий отвечает:

— Начал с осени, по первому снегу. Завершил с началом навигации.

Собрание говорит:

— Значит, девять месяцев. Срок немалый. Благодарим, но ничего выдающегося тут нет.

Петр Сухой Лоб докладывал:

— Я обеспечил Лисестровскую верфь столярским и плотницким струментом. Итого двести наборов. Вот что я доспел!

Собрание спрашивает:

— Сколько времени ты хлопотал?

— Сколько Гневашев, столько и я. Всю зиму этим беспокоился. Итого девять месяцев.

Собрание говорит:

— Что же… Ты исполнил свою должность. Но ничего восхитительного тут нет… «Девять дён, девять верст, как сокол летел».

Докладчик Панкрат Падиногин спросил собрание:

— Известен ли вам художественный мастер и мореходец Маркел Ушаков?

Собрание отвечает:

— Ты бы еще спросил, известны ли нам отцы наши и матери! Мореходные и судостроительные чертежи Маркела Ушакова друг у друга отымаем.

— Я уговорил Маркела Ушакова принять во свое смотрительное руководство нашу Лисестровскую верфь. Придет сюда на постоянное житье. Но чтобы расположить Маркела, мне понадобился долгий срок…

— Сколь долгий? — спрашивает собрание.

— Девять лет…

Собрание, триста человек, как один, всплеснули руками, встали, закричали:

— Мало, совсем мало времени потратил ты,

Панкрат Падиногин! Для столь полезного успеха девять лет — ничтожный срок.

Видение

Как-то Маркел с Анфимом жили в Архангельске. У корабельной стройки взяли токарный подряд. Маркел и жил на корабле, Анфим — в городе. Редко видя учителя, Анфим соблазнился легкой наживой — торговлей. Запродал даже токарную снасть. Маркел этого ничего не знает.

Но вот, рассказывают, пробует он маховое колесо у станка и видит будто, что заместо спиц в колесе вертится Анфимко Иняхин.

Опамятовавшись от видения, Маркел прибежал к Анфиму:

— Друг, с тобой все ли ладно?

— А что же, Маркел Иванович? — удивился Анфим.

— Ты сегодня в видении передо мной колесом ходил.

— Ужели? — простонал Анфим и заплакал. — Ты меня, отец, правильно обличил. Торговлишка меня соблазнила. Я задумал художество наше бросить.

Ушаков и Фома Кыркалов

Ушаково мастерство Маркелово было рассудительно и с любопытством, а не только по старым извычаям.

Ушаковские суда заморские обдуманы по чертежу. Лодья уж на воду спущена — мастер еще примечает, смекает и на догадку берет. Заботился, чтобы шито было прочно; беспокоился, насколько будет красовито на ходу, под парусами. Ушаков был ученик не худых учителей. И не хотел уважить иноземным кораблям. Однако их рассматривал испытанно, чая пользы своему любезному художеству.

Бывало, поручит Ушаков помощнику опробовать новопостроенную лодью, а сам выбежит на пристань, чтобы «из-под ручки посмотреть» на свое новорожденное.

Этак однажды привелся на пристани Фома Кыркалов[43], поздоровался с Маркелом и говорит насмешливо:

---

[43] Notes: 43

«Виноградец» примечает, что в начале царствования Алексея Михайловича Кыркалов и Ушаков ходили на Новую Землю и на Вайгач для отыскания серебряной руды, слюды и олова.

— Все ходишь, Маркел Иванович? Все любуешься на суда свои? Наглядеться, налюбоваться не можешь?..

— Нет-нет, Фома Онаньевич, — горестно и гневно отвечал Маркел. — Досадовать хожу, горячиться сам на себя хожу. Гляжу, ошибки свои считаю. Косность ума своего обличаю.

Кыркалов снял шапку и поклонился Ушакову в пояс:

— Когда так, Маркел Иванович, — ты настоящий, истинный художник!

Достояние вдов

Ушаков отлично умел делать модели кораблей. А приобучился этому в Соловецком монастыре. В монастыре не ужился: нрав имел строптивый и язык — как бритва.

Изба Маркела в Архангельске вся была заставлена маленькими кораблями. В долгие зимние вечера мастер сидел обычно на низеньком сосновом чурбане и при свете сальницы оснащал игрушечный корабль. Около Маркела всегда множество детей. Он любил рассказывать о своих удивительных путеплаваниях. В праздники Маркел ходил ругаться со всякими начальниками.

Приехавший с Петром Первым[44] знатный барин заказал Маркелу модель голландского корабля. Жена этого барина, увидев готовую модель, сказала:

— Мастер, не бери у мужа денег за эту игрушку. Я возьму их в пользу вдов и сирот.

Маркел отвечает:

— Не твое, сударыня, дело о бедняках печалиться.

— Ах ты пьяница! — вспыхнула барыня. — Я, слабая здоровьем, и то беспокою себя ради голодранцев...

— Нет, ты не слабая, — перебил Маркел. — Ты богатырка. Ты, сударыня, носишь на плечах достояние бесчисленных вдов и сирот. И не чувствуешь этого.

Плечи знатной барыни украшены были драгоценностями.

Долг

Молодой промысловец занял у Маркела денег на перехватку. Отдавать явился, а Маркел в море ушел. Так и побежало время: то Маркела на бере-

---

[44] Notes: 44
Петр Первый в молодости дважды бывал в Архангельске.

гу нет, то у должника денег нет.

Оба встретились на Новой Земле. Хотя в разных избах, да в одном становище зимовали две артели. Маркел говорит:

— Что уж, парень, ни разу меня не окликнул?

Парень снял шапку:

— Не смею и глядеть на тебя, осударь. Должен тебе.

Маркел говорит:

— Провались концом! Какие меж нас долги?

— Хотя бы работой какой отработать дозволили, Маркел Иванович…

Маркел говорит:

— Ладно. Всякий вечер приходи в нашу избу. Дела найдутся.

На зимовьях народ поужинают и повалятся. Должник пришел к Маркелу. Маркел не спит, живет у книги при огне. Книга — азбука, писана и рисована художной ушаковской рукой. Маркел стал показывать гостю буквы. Часа два учились. Во столько-то недель детина понял все «азы» и «буки». Когда полная тьма накрыла Новую Землю, ученик вытвердил титла.

Время катится, дни торопятся, — сколько парень радуется науке, столько тревожится: «Когда же я начну долг отрабатывать?»

Когда свет завременился над Новой Землей, паря читал по складам. При конце зимы читал по то́лкам. Наконец стал с пением говорить по книгам четкого Маркелова письма.

Маркел говорит:

— Ну, друг, дошла промышленная пора. Но ты всякий день урви хоть малый час для книжного чтения.

Ученик возопил:

— Благодарствую, Маркел Иванович! Ты мне бесценное добро доспел — книгам выучил. Но когда я долг-то буду отрабатывать?

Маркел говорит:

— Сколько ты должен?

— Без двух гривен пять рублей.

Маркел говорит:

— Пускай так. Теперь считай: буквы ты учил — трудился. Значит, из твоего долга сорок алтын долой. Титла изучил — другие сорок алтын долой. Склады-слоги складывал — еще сорок алтын из долга вон. По толкам ты читал усердно — остальных сорок алтын отработал. Ты за эту зиму, дитя, сполна твой долг отработал. И больше ты мне ни о каких долгах не смей поминать.

Понятие об учтивости

Деревня Лодьма славна была изготовлением изящных корабельных моделей. Здесь подолгу живал Маркел Ушаков.

…Царский чиновник едет мимо ряда лодемских крестьян, сидящих на бревнах.

— Эй, борода! — кричит чиновник.

— Все с бородами, — усмехнулись крестьяне.

— Кто у вас тут мастер? — сердится чиновник.

— Все мастера, кто у чего, — отвечают крестьяне.

— Я желаю купить здешнюю игрушку — кораблик!

— За худое понятие об учтивости ничего не купишь, — слышится спокойный ответ.

Это сказал Маркел Ушаков, который по виду ничем не отличался от любого мужика-помора.

Маркел Ушаков и Василий Кекин

Любомудрые годы неутомленной старости своей Маркел провожал в Койде. В это время мо-

лодой судостроитель в городе[45], Василий Кекин, добивался на учительный разряд.

Городовые мастера сказали:

— Домогаешься высокой степени. Но похвалит ли Маркел Иванович на Койде? Спросишь его. Мы ему писали о тебе.

Кекин в Койду прибыл. Старый мастер его встретил с усмешкой:

— Пишут о тебе: строишь карбасы, а корма-то розна. Еще не знаю, годишься ли в ученики. Возьми полено, сделай в образец лодейку.

Кекин сделал образец художно, с вымыслом. Старый мастер поморщился:

— Изукрашенье ни к чему. Отдай эту игрушку ребятишкам. Сделай проще.

Кекин сделал просто. Старый мастер говорит:

— Поживи да поучись на Койде года три. Хлебы мои, одежа твоя… Тебе любо ли, Василий Кекин?

Кекин говорит:

— Любо, Маркел Иванович! Хотя бы тридцать лет метлой стоять, только бы у ваших учительных дверей!

Это все Маркел испытывал Василия. Вскоре Маркел послал в город грамотку, к городовым

---

[45] Notes: 45
Подразумевается — в Архангельске.

мастерам на верфи. А следом пустил и Кекина.

В городе на верфях Кекина встречают честно; разрядные мастера сказали:

— Пишет о тебе Маркел Иванович: умеешь-де ты повиноваться и учиться. Знатно, что сумеешь и начальствовать.

Треух

Пристрастие Петра Первого к кораблям и к морю заставило Маркела Ушакова полюбить преобразователя России. По рекомендации Афанасия Холмогорского Маркел был вызван к корабельному строению на Неве и Ладоге.

Тут душа старого помора начала рваться на куски. Сочувствуя Петру, Маркел негодовал на преклонение перед Западом без разбору:

— Бывало, в северных морях иноземец русским в рот глядел, ждал слова. А теперь извольте стулом становиться под голландца или шведа!

На заседании «приказных господ и членов» произошел скандал. Ушаков вылез вперед, вывернул свой лисий треух наизнанку, поставил тульей себе на голову и сидит так, помавая лисьими хвостами. Все вытаращили глаза. Председатель прервал речь. В публике раздался шум и хохот.

Тогда Маркел Иванович стукнул кулаком о стол «и рек, аки гром грянул»:

— Иноземец всех нас кверху дном поставил. Всех на обезьянин лик поворотил. И это вам не дико. А я только то и сделал, что шапку свою навыворот надел, и все смутились, все оскорблены.

«Притворя себе болезнь», Маркел вернулся в Архангельск.

Вера в ложке

Ушаков и товарищи пришли в Сумский посад. Был праздник, и сумляне пригласили их к столу. Маркелов подкормщик говорит:

— Какой страх — со всеми есть и пить, а не знаем, кто какой веры! У меня и ложки с собой нет.

Маркел говорит:

— Какой страх людей обижать! В ложку ты свою веру собрал.

Пиво

Трое молодых ребят на лодье повадились тайно пробовать пьяное пиво, которое хранилось в бочке на случай праздника.

Маркел это заметил, позвал ребят к себе в казенку и говорит:

— Ребята, что-то вы поблекли. Чем вас развеселить? Или пивком угостить?

Ребята покраснели, как брусника, и старший выговорил:

— Прости, дядюшка Маркел Иванович. Вперед таковы не будем.

Диковинный вопрос

Кто-то из молодых лодейной дружины спросил Ушакова, зачем кормщик простирает походы всё дальше и дальше.

Маркел говорит:

— Сроду я не слыхивал такого вопроса… Ноги есть, так как же не ходить? Глаза есть, так как же не глядеть? Книга перед тобой, как же не читать? За стол тебя посадили, как же не есть? День светлый, зачем ложиться раньше ночи? Жизнь дана, зачем помирать?

Ушаков и архиерей

На Ушакова, когда он жил еще на Соловках,

возложен был иноческий чин и затем поповский сан.

Поскольку Ушаков уклонился в раскол, враги раскола сочли, что Ушаков утратил и монашество, и поповство. Но гонитель раскола, холмогорский архиепископ Афанасий, благоволил к Ушакову — мореходцу и кораблестроителю. Вот диалог холмогорского иерея с Афанасием:

— Господине, Матюшка ведь поет.

— Не знаю Матюшка.

— Ну, пущай будет отец Маркел.

— Он в каком соборе поет?

— Уж в соборе… У себя поет на промыслах, у лешего в болоте.

— О, далеко! Не слыхать.

— Как ты, господине, числишь Маркела — поп он или распоп?

Афанасий щурит глаза на здоровенный синяк во лбу иерея:

— Это тебя Маркел благословил?

— Он, еретик.

— Значит, Маркел — поп, ежели благословляет.

Гости у Маркела

Идучи устьем Двинским, уведомились, что Маркел шьет судно на Мосеевом острову. Тут слезли с лодьи. А нам сумнительно, что явились в непоказанное время. Он же принял нас как родных детей, которых давно не видал. За стол садит и чествует едой и питьем. И мы застыдились:

— Что ты, осударь, ради нас, ветренных гостей, чин дневной и порядок свой нарушаешь!

Он же, веселясь, ответил:

— Мой порядок всегда со мной. А вас пять годов не видел.

В морском ходу Ушаков всякий день в книгу списывал.

Положит перо и вздохнет:

— Ох, от дела не бегаю, а дела не делаю. На баснях жизнь провожу.

Но и басни Ушакова были на веселие уму.

Некоторые уверяли, что Ушаков мог явиться привидением:

— Только что видели его за островом на выстройке, а прибежали в Город, он в Губной избе с подъячими шумит!

А когда Маркел Иванович придет на верфь, у людей глаза блестят: веселятся люди над работой.

Торговец

Ушаков от добрых людей не таил свое знанье. Но вот приехал к нему некто и всякой день ходил к Маркелу. А Маркел с ним помалчивал. Когда тот уехал, дружина говорит Маркелу:

— Он во грустях уехал. Что ты с ним молчал?

— Это торговец, — отвечал Маркел. — Он любит торговать чужими речами и хвалиться.

У Маркела в долг попросят, он скажет:

— Возьми в кошеле на полке.

Принесут:

— Положи, где взял.

Маркел всегда уклонялся брать дорогие подарки.

— Отдавать нечем, а не отдаришь, замысловато будет. — Но с удовольствием примет самодельную ложку, или гребешок, или домотканый поясок.

Сила незлобивости

Маркел с учеником и еще третий мастер строили суда в Золотице. Из-за тяжелого нрава третьего мастера Маркел с учеником решил оставить Золотицу. Знали, что третий может завершить дело и без них.

…Они были уже далеко. Но третий увидел их с горы и гнался за ними, вопя и плача. Маркел остановился.

— Зачем вы оставляете меня?! Возьмите с собой.

— Ты хоть заработанное свое возьми.

— Горите мои деньги, вы убежите, оставите меня.

Видя его незлобивость, Маркел вернулся в Золотицу.

Деликатность

Промышленник сошел с лодьи и не вернулся в свою дружину, прогуляв деньги. Раз стоял в толпе на архангельской пристани, глядя на погрузку заморской лодьи. Кормщик поглядел на него и

закричал:

— Ступай обедать, сейчас садимся.

Пораженный промышленник зашел.

— Вернись в дружину.

— Стыжуся! Примут тихими очами и простертыми руками.

Так и случилось.

Ушаков и Яков Койденский

Маркел относился к делу своему и к людям страстно и пристрастно. Но людей тянуло к Маркелу, как железо на магнит. Где бы ни кидала якорь Маркелова лодья, везде являлись у него друзья и ученики. А потом оставалась незабытная память.

Маркел искал и находил людей, призванием которых было мореходство. За таких людей он полагал свою душу.

Когда Маркел пришел на Койду и срядился плыть на Новую Землю, в лодейную дружину вступил Яков Койдянин, подросток-сирота. В нем Маркел нашел ученика, потом и ревностного помощника в судостроении.

Старый мастер веселился сердцем и умом: есть кому оставить наше знанье и уменье.

Но хмель молодости начал разбирать верного Маркелова помощника. Яков стал одолевать Маркела неотступным разговором:

— Уйду в российские города. Здесь тесно.

— Яков, у Студеного ли моря тесно? Что ты будешь делать в городах? Не отпущу тебя. Погубишь мастерство, потеряешь и себя. Ты не вернешься сюда.

Яков говорит:

— Я вернусь сюда, если ты, мастер Маркел, пойдешь вместе со мной. С тобой и я вернусь. А не пойдешь со мной, останусь там.

И старый Ушаков, тревожась и болезнуя о судьбе талантливого ученика, оставляет свой дом, свой промысел и идет за Яковом неведомо куда.

Но скитались они недолго.

Однажды Яков пал мастеру в ноги с воплем и со слезами:

— Господин мой, доброхот мой! Непостижно велика печаль твоя обо мне. Не стою я тебя. Но если можешь ты простить меня, если в силах ты глядеть на меня, то вернемся в нашу Койду, к нашему светлому морю, к нашему доброчестному промыслу.

Как-то при людях Маркел почествовал Якова, назвав его мастером… Люди подивились:

— Столь молодого ты называешь мастером…

Маркел отвечал:

— Дела его говорят, что он мастер.

Кондратий Тарара

Слышано от неложного человека, от старого Константина.

У нас на городской верфи состоял мастер железных дел Кондрат Тарара. Он мог высказывать мечтательно о городах и пирамидах, будто сам бывал. Сообразно нрав имел непоседливый и обычай беспокойный. Смолоду скитался, бросал семью.

Столь мечтательную легкокрылость Маркел ухитрился наконец сдержать на одном месте двадцать лет.

Удивительнее то, что и память о Маркеле держала Тарару на месте другие двадцать лет.

А хитрость Маркела Ивановича была детская.

Весной не успеет снег сойти и вода сбежать, Кондрат является в приказ:

— Прощай, Маркел Иванович. Ухожу.

— Куда, Кондраша?

— По летнему времени на Мурман или на Мезень. Может, к промыслам каким пристану.

Маркел заговорит убедительно:

— Кондраша, навигация открылась. В якорях, в цепях никто не понимает. Именно для летнего времени невозможно нам остаться без тебя.

— Ладно, Маркел Иванович. До осени останусь.

Значит, трудится на кузнице до снегов. Работает отменно. Только снег напал — Кондратий в полном путешественном наряде опять предстает пред Маркелом:

— Всех вам благ, Маркел Иванович. Ухожу бесповоротно.

— Куда же, Кондратушко?

— Думаю, на Вологду. А там на Устюг.

Маркел руки к нему протянет:

— Кондрат! В эту зиму велено уширить кузницу, поставить новых три горна. Не можем оторваться от тебя, как дитя от матери.

— Это верно, — скажет Тарара. — Зиму проведу при вас.

Весной Кондратьева жена бежит к Маркелу:

— Пропали мы, Маркел Иванович! Тарара в поход собрался. Уговори, отец родной!

Приходит Тарара:

— Ухожу. Не уговаривайте.

— Где тебя уговорить… Легче железо уварить. Прощай, Кондрат… Конечно, этим летом по-

велено ковать медных орлов на украшение государевой пристани… Ну, мы доверим это дело Терентию Никитичу.

— Вы доверите, а я не доверю! Ваш Терентий Никитич еще в кузнице не бывал и клещей не видал…

Вот так-то год за годом удерживал Маркел милого человека.

В которые годы Маркела не было в Архангельске, Тарара все же сидел на месте:

— Воротится Маркел Иванович из Койды, тогда спрошусь и уйду.

Но Маркел Иванович из Койды отошел к новоземельским берегам и там, поболев, остался на вечный спокой.

А Кондрат Тарара остался в Архангельске:

— Мне теперь не у кого отпроситься, некому сказаться.

Маркел Ушаков говаривал

(Рассказ М. Ушакова о своем детстве)

Было мне годов девять. Караулил я с ребятами ледоход. Мать говорит:

— Бывать, не сегодня, — и постлала под берега

холсты победить.

А лед пошел ночью. Маткины холсты понесло. Я с горы слетел, собираю, меня и понесло. Самосильно тащило до Вознесенья. Льдина зачалила за обрубы, встала. Вижу: от нижнего конца деревни в мою сторону мужик с багром прядает со льдины на льдину. Спросил меня:

— Почто не вопил?

Я говорю:

— Вопил, да тихо.

Посадил на плечи верхом:

— Держись гораз(д)нее.

Так я и доправился до берега. Доброго человека звали в мое имя, Матвей.

На другой день я и домой попал. Матка меня сперва настегала, тогда уж стала обымать да ревет. В эту ночь, когда я потерялся, матка-та и пообещалась отдать меня к Соловецким в годовики. Я четырнадцать лет туда ушел да и остался (в 1631 году).

Так что неложно мое прозвище «бывалец», когда я девяти годов «в относ» попал.

— От Святого Носа в немецкую сторону, этот путь я числил легким. А от Канина в Шары туда не с охоты было. Поначалу стал туда ходить из Соловецка. Положили кормщиком. Вешний путь

меж лед. Нельзя оплошиться и нельзя усумниться. Бус накатится, туман — рядовые на тебя, как дети на матку, глядят. Тут напялю Рядниковы рукавицы и скажу:

— Это ты, Иване, господине, за прави'ло держишься.

И других преславных мореходцев стану приводить на ум. Весело на сердце станет. Живы они и все со мной в товарищах!

В книге пишет: «Как воск несогретый не может принять положенной на него печати, так неиспытанный, неискушенный человек не может принять учения».

Это про меня сказано. Ежели бы не прошел я смолоду и огонь, и воду, и медные трубы, не стал бы я кормщиком.

Маркелу многие говорили:

— Что ты эту Новую Землю облюбовал? Все туда и торопишься, будто к отцу родному в гости. Все там и сидишь… Что бы тебе в Городе у судовых дел не успокоиться?

Маркел отвечал:

— В тихомирном месте, в неопасном труде, нет надежного спокоя. На Новой Земле труд велик, значит и покой душе безмерный.

Которые слова последи слышав, Андрей Денисьев выговорил:

— Исполнилось-де на Маркеле Макарьево: «Кто гоняется за покоем, от того покой бегает. А кто бежит от покоя, за тем гонится покой».

В Архангельск пришло иноземное судно. В Горловине льдиной ободрало резные украшения и повредило носовой чердак. Ученик Маркела стал ругать иноземный покрой и строй судов. Маркел сказал ученику:

— Ежели бы ты довольно знал и видел свое дело, тебе недосужно было бы судить чужое. Ежели бы ты внятно знал русский судостроительный обычай, ты с рассуждением говорил бы и о чужом.

Маркел говорил мореходам:

— Что у вас сборов, да что у вас сряды, сколько у вас прощания да обереги, да отпусти, да обещания, да… А отцы наши как птицы — снимутся да полетят. Только крылья с собой. Летят да лететь хотят. А вы теперь, как корова на вязке, — влево до Варгаева да вправо до Печоры. Друг по друге каблук кроем.

О кормщике Устьяне Бородатом[46] Чудские боги

Шел Устьян Бородатый на кочмаре с Двины к Печоре и за встречным ветром остался у Канской речки. Рядовые спросились сходить по морошку и вовремя вернулись. Весельщик Ладошка не пришел и к паужне. Устьян повелел струбить в рог. По рогу Ладошка вышел к судну. С палой водой кочмара уноровила взойти в море.

Еще берег не закрылся, от переднего корга проплакало по-гагачьи:

— Кык-куим! Я к бабушке хочу!

И от заднего корга отвылось — как бы гагара:

— Баба, нингад няна! Отыми у Ладошки!..

К ряду несхожий ветер погонил кочмару в береговую сторону.

Устьян выговорил:

— Чудской кудес! Весельщик, за что тебя на-

---

[46] Notes: 46

Впервые опубликовано в сборнике «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957) — четыре миниатюры. Пятая миниатюра, «Чудские боги», опубликована отдельно в сборнике «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), а к циклу была добавлена уже начиная с книги «Избранное» (М.: Советская Россия, 1977). *–Примеч. ред.*

звали?

Ладошка пал дружине в ноги:

— Государи! Я занес на судно двух болванцев идольских. Бравши ягоды, я заблудился, набрел на халмеры, на погребенье. Тут кол одет в бабью малицу. Старуха сделана. В пазухе у ней болванцы, дети или внуки. Я их взял, принес на судно и запрятал в коргах. По той вере, что морскому ходу будет спех.

Ладошка плачется, а черная сила кочмару в берег тянет.

Якорь кинули, и Устьян кричит:

— Давай сюда болванов!

Ладошка сползал в судно и вынес две деревянные образины.

Устьян их излучинил топором и зажег на медном листе.

Из черного дыму вылетели с воем две гагары и пропали

в тундре.

Тогда снялись с якорей, открыли паруса. Паруса надунул добрый ветер, и кочмара пошла своим путем.

Слово кормщика

Кормщик Устьян Бородатый стал на якорь в Нежилой губе. Дружина говорит:

— Не худо бы сбродить на мох, добыть оленя. Приелась соленая-то рыба.

Устьян говорит:

— Ступайте. Только не стреляйте важенку — матку с детенышем не убейте.

Вот дружинники стоят на мшистой горбовине с луками. Видят непуганых оленей стадо. Маточка оленья со своим теленком ходит ближе всех. Самолучший стрелец тянет лук крепко и стреляет метко, прямо в эту важенку. В тот же миг крепкий лук крякнул и переломился.

Дружинник ударил этими обломками о землю и сказал:

— Не сломался бы ты, мой гибкий, тугой лук, ежели бы не переступил я слово кормщика!

Русское слово

Шел Устьян Бородатый на промысел в летних судах. Встречная вода наносила лед. Тогда Устья-

новы кочи притулились у берега. Довелось ждать попутную воду у Оленницы. Здесь олений пастух бил Устьяну челом, жаловался, что матерый медведь пугает оленей.

Устьян говорит:

— Дитятко, некогда нам твоего медведя добывать: вода не ждет. Но иди к медведю сам и скажи ему русской речью: «Русский кормщик повелевает тебе отойти в твой удел. До оленьих участков тебе дела нет».

В тот же час большая вода сменилась на убыль, и Устьяновы кочи тронулись в путь.

А олений пастух пошел в прибрежные рóпаки, где полеживал белый ошкуй. Ошкуй видит человека, встал на задние лапы. Пастух, мало не дойдя, выговорил Устьяново слово:

— Русский кормщик велит тебе, зверю, отойти в твой удел. До оленьих участков тебе, зверю, дела нет.

Медведь это слово отслушал с молчанием, повернулся и пошел к морю. Дождался попутной льдины, сел на нее и отплыл в повеленные места.

Устьян и купец

Устьян стоял при море, у Двины, ждал попутных ветров сверху. К тому же острову пристало поврежденное погодами купеческое судно. Купец повыгрузил товар и с работными людьми отправил вверх, а Устьянова дружина стала поновлять бока купеческой лодье. Трудились за спасибо и за хлеб за соль. О деньгах разговору не было. Устьян готов был на отлет во всякий час, только бы сменился ветер. Де́ла у починки-поправки оставалось уж немного. Дружина конопатит да смолит… И ударил дождь.

Устьян кричит:

— Ребята, поманите с делом! Не делайте по мокрому!

Работные скидали пеньковое прядево под лодью, а сами стали от дождя в укрытие.

Купец это увидел и прискочил к дружине с бранью:

— Вижу, только у питья да у еды вы мастера-то, а у дела только бы стоять да спать!

Устьян говорит с гневом:

— Ты на кого разъехался, купец? Мы тебя ничем зовем и ни во что кладем: горланишь, а дела

не смыслишь. Видишь, дождь валит! Судовой припас нельзя мочить: проку не будет.

Купец свое:

— Твоя дружина у меня вторые сутки по две выти в день пьет-ест! Велю работать, будь хоть потоп!

Устьян говорит:

— Хоть потоп? Ладно, будь потоп.

Устьян твердым шагом зашел на свое судно, взял рог и заиграл грозно и жалобно. На ответ далеко в море будто шум сшумел. На берег накатился взводень и смыл купецкую лодью. Купец опамятовался от ужаса и забегал на коленках вкруг Устьяновой лодьи:

— Господине, убавь воды! Господине, не сгуби мое суденко!

Устьян говорит:

— Это не от нас. А судно против ветра никуда не убежит. Гляди, волна несет его обратно.

Устьянова дружина поставила купцово судно на отстой. А сами с поветерью ушли в море.

Устьян и олени

Устьян шел берегом в становище, тянул промышленную снасть и чунку с хлебом. Увидел

оленей-дикарей и скричал:

— Подойдите которые-нибудь!

Три оленя подошли. Устьян впряг их в чунку, и снасть положил, и сам сел. Куда повелел, туда побежали.

Этот Устьян смолоду был знатлив.

Промысел оставит несоблюдно. Медведь-ошкуй подойдет, песец — понюхают и уйдут. Устьян хоть через месяц взять придет — все цело, неврежоно.

Рассказы про старого кормщика Ивана Рядника[47]

Диковинный кормщик

Ивану Ряднику привелось идти с Двины в Сумский берег на стороннем судне. Пал летний ветер, хотя крутой, но можно бы ходко бежать, если бы кормщик правил поперек волны. Но кормщик этим пренебрегал, и лодья каталась и валялась. Старый и искусный мореходец Рядник не стерпел:

— Ладно ли, господине, что судно ваше так раболепствует стихии и шатается как пьяное?

Кормщик ответил:

— Это не от нас. Человек не может спорить с божией стихией.

— Сроду не слыхал такого слова от кормщика, — говорит Рядник. — А сколько лет ты, господине, ходишь кормщиком?

---

[47] Notes: 47

Впервые опубликовано в журнале «Пионер» в июле 1955 г. — две миниатюры. Расширенная версия цикла — пять миниатюр — впервые напечатана в сборнике «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959) и переиздана в сборниках «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. Еще три миниатюры добавились в сборнике «Изящные мастера» (М.: Молодая гвардия, 1990). Девятая («Рядник на Кедах») впервые опубликована в журнале «Москва» в марте 1994 г.

— Годов десять-двенадцать, — отвечает тот.

— Что же ты делал эти десять-двенадцать лет?! — гневно вскричал Рядник. — Бездельно изнурил ты твои десять-двенадцать лет!

Вопрос и ответ

Дружина спросила Рядника:

— Почему на зимовье у Мерзлого моря ты и шутил, и смеялся, и песни пел, и сказки врал? А здесь, на Двине, беседуешь строго, говоришь учительно, мыслишь о полезном.

Иван Рядник рассмеялся:

— Я мыслил о полезном и тогда, когда старался вас развеселить да рассмешить. На зимовье скука караулит человека. Я своим весельем отымал вас у болезни. А здесь и без меня веселье: здесь людно и громко, детский смех и девья песня. Я свои потешки и соблюдаю в сундуке до другой зимовки.

Павлик Ряб

При Ивановой дружине Порядника был молодой ребенок Павлик Ряб.

Он без слова кормщика воды не испивал. Если

кормщик позабудет сказать с утра, что разговаривай с людьми, то Павлик и молчит весь день.

Однажды, зимним делом, посылает Рядник Павлика с Ширши в Кегостров. В тороки к седлу положил хлебы житные.

Павлик воротился к ночи. Рядник стал расседлывать коня и видит: житники не тронуты. Он говорит:

— У кого из кегостровских-то обедал?

— Приглашали все, а я коня пошел поить.

— Почему же отказался, если приглашали?

— Потому, что у тебя, осударь, забыл о том спроситься.

— Ну а свой-то хлеб почто не ел?

— А ты, осударь, хотя и дал мне подорожный хлеб, а слова не сказал, что, Павлик, ешь!

Рядник, помолчав, проговорил:

— Ох, дитя! Велик на мне за тебя ответ будет.

Рядник и тиун

Какое-то лето кормщик Иван Рядник остался дома в Ширше.

Его навещали многие люди, и я пошел, по старому знакомству. Был жаркий полдень. Именитый кормщик сидел у ворот босой, грудь голая, ворот

расстегнут. Вслед за мной идет тиун из Холмогор. Он хотел знать мненье Рядника о споре холмогорцев с низовскими мореходцами.

При виде важного гостя я схватил в сенях кафтанец и накидываю на плечи Ивану для приличия. А Иван сгреб с себя кафтан рукой и кинул в сторону.

Когда тиун ушел, я выговорил Ряднику:

— Как ты, государь, тиуна принимаешь: будто из драки выскочил. Ведь тиун-то подивит!

Рядник мне отвечает:

— Пускай дивит, когда охота. Потолковали мы о деле, а на рубахи, на порты я не гляжу и людям не велю. В чем меня застанут, в том я и встречаю.

Иван Рядник говаривал

Делá и уменья, которые тебе в обычай, не меняй на какое-нибудь другое. Хотя бы то другое казалось тебе более выгодным.

В какой дружине ты укаменился, в той и пребывай, хотя бы в другом месте казалось тебе легче и люди там лучше.

Пускай те люди, с которыми ты живешь, тебе не по нраву, но ты их знаешь и усвоил поведенье с каждым.

А с хорошими людьми не будет ли тебе в сто раз труднее?

Говаривал Порядник:

— Не без толку, не без прибыли маемся, болезнуем, терпим стужу. Эта нужда нас как солью солит: посоленные, мы неподатливы бываем к малодушию, унынию и страху.

Рядник на Кедах

Ивану Порядник довелось быть на Кедах у зимнего промысла. Промышленники ели как приведется…

«Стоя наедимся, сижа выспимся», — говорили они про себя.

Как-то в праздник все ели сидя и ели горячую уху. Порядник ел стоя и ел только сухую рыбу.

Он объяснил присутствующим свое поведение:

— Я ведь всегда ем сидя и всегда горячее варево. Сегодня я хочу отметить для себя праздник и потому ем стоя и ем сушеную рыбу.

Соль

(Рассказ морехода)

В Нёнокотском Усолье старуха меняла нам соль на муку. И соль, белую как снег и сладкую, нагнетала в мерку руками и сверх насыпала горкой.

Я же тощею горстью посыпал мучицы на дно меры и подаю старухе. И тут же выронил меру из рук от страха: с такой яростью и скорбью посмотрел на меня наш кормщик Порядник.

Он отдал старухе все, что оставалось в кисе, — более двух мер.

Иван Порядник

…Он пятнадцати годов зашел на лодью и много труд показал. Пятьдесят лет ходил кормщиком. И возрастил множество учеников, все совершенные мореходцы. Каждого можно было положить кормщиком… Как подарки приносили они Ивану стремления свои, в каких бы кто чинах или у какого берега ни ходил.

Но какой ум может изъяснить, какое слово рассказать, какое письмо передать.

Последнее слово

Иван Рядник помирал. Дружина плакала:

— Как без тебя останемся?

Он отвечал:

— Храните и соблюдайте мое наученье, то и я с вами буду.

Северные мореходцы[48]
Нудьюжская лодья

(Из рукописного сборника XVII (XVI) века, принадлежавшего Николо-Корельскому монастырю близ Архангельска; сборник содержал «русские» чудеса св. Николы.)

«Чудо о лодье» доказывает, что украшения былинных кораблей — «нос-корма по-звериному» — тесно были связаны с языческим культом. Христианство не без оснований видело в таких украшениях отрыжку «идольской прелести».

Лодья заморская новоделана стояше на брезе, на Нудьюжском. И как учали пущати на воды, седее лодья в бревнах и ни десятерыма возмогоша с места двигнути. Таже кликнуша на пособь волощан, с полтретьядцать человек, но ни теми что доспеша. Тогда бысть знатно, что притчина сделана от обаятельных людей.

О ту пору приде в берег лодья колмогорская, и нудьжане их зовут на споможение. И колмогорец Петр тое лодьи стал оглядывать. И досмотрелся

---

[48] Notes: 48

Впервые опубликовано в журнале «Москва» в марте 1994 г. *–Примеч. ред.*

в переднем коргу образины вырезной. И Петр рече:

— Эта харя криво делана.

То люди отвещают:

— Когда ты мастер, сделай право.

И дали Петру снасть. Он же подмостився к коргу, на месте зверя чудно ухитрил Николин образ.

И когда это управил, то лодья о себе сама на воды пойде.

И поставиша ту крест, иже до днесь стоит.

* * *

Семен Денисьевич уже был при кончине живота, и еще старухи спрашивают:

— Отче, будто вы собором Грумант разверстали и Новоземельской берег? Ты прикладывал ли руку?

— Прикладывал: мужеск пол в Новоземельской берег, а старых девок всех на Грумант.

— Отче, как нас повезут-то?

— Стоя, девка.

— Стоя мы упадем.

— Вас грумаланы будут подпирать.

Горькоплачевно время было. Денисьевичи оба

шутками от слез отманивать любили[49].

О морских чертежах

Весьма благонадежны Кологриева морские чертежи, письма 1593-го и 1602 году. В приметах пишет, что от Хорея в полунощник берега верстал по сказкам, а не опытно.

Чертежи морские Выгорецкие переводят з древних соловецких. Надлежит смотреть, чтобы мастерицы не пестрили полунощного крга корунами и лицами.

Тонус жизни

Втянувшись в мореходство, в морскую промысловую жизнь, поморы уже, как правило, не оставляли этого образа жизни до конца. Ходили в

---

[49] Notes: 49

Семен Денисов был братом и преемником знаменитого поморского деятеля и писателя Андрея Денисова (1675–1730). Организованные ими общежительные скиты на р. Выг (река эта впадает в Белое море в Сороцкую губу) с конца XVII и до середины XIX века были центрами поморской культуры. Свое завершение получили здесь поморская литература и живопись.

Денисовы были уроженцами Заонежья. Талантливый корабельный мастер второй половины XIX века Конон Иванович Второушин (прозв. Тектон, т. е. плотник) был потомком семьи Денисьевых. Промышленные выгорецкие суда ходили на Грумант и на Новую Землю.

море до глубокой старости. «Суденка отступишься, кряду остареешь».

Манила первозданность природы: «Новая Земля, она тянет… Это надо понять».

Чтоб поддержать жизненный тонус, к промышленникам присоединялись даже пожилые люди. Один старик, которому уже поздно было навыкать промышленному и мореходному делу, жил на Новой Земле, занимаясь лечением оцынжавших… Он уже весь трепетал, объятый старостью. О нем говорили, что никто уже не помнит, когда он пришел сюда. А было ему много более ста лет.

У этих старших мореходов уж привычка и нрав был есть сообща: без товарищей за столом им тоскливо.

Тяга в море

Михайло Патрушев первые годы был красильник, а когда состарился, пришел к Долгошеину на верфь, помыслив же, что не может навыкнуть корабельной хитрости дела, ни иной какой хитрости, потому что состарился.

И сначала зашивал плотникам рукавицы, потом стал посещать больных, научился править, и тереть, и мази варить от ушибов, и кровь за-

говаривать.

В Город его стали звать, но Михайло помогал корабельным. То все делал в память сыну. В тех трудах и преставился в лето 1634-го.

Премудрый старик

Этот жил у тоней, но всякую неделю приходил в становище повидаться и поговорить с людьми. Он был старик, такой премудрый в разговоре.

И вот проходит пять недель — старика всё нету.

Как завтра не придет, поплывем его искать.

А он пришел. Мы все только отобедали — он заходит, кланяется. Мы все встали и поклонились равным обычаем:

— Милости просим.

А он лег на пол, сказал «прощайте» и умер.

Мы поняли, что он проразумел свой конец и пришел умереть со своей братьей-промышленниками.

Нравы поморов

Иноземцы (норвежане) смеялись над русскими

поморами, что если сушеная рыба никем не охраняется, то они с голоду умрут, а не тронут.

Если же увидят, что на них смотрят люди, то возьмут рыбинку. Объясняют это: таём взять тоскливо.

А рыба ведь ничего не стоит, как ягоды в тундре.

Норвежцы и шутят: «Русман не съест ягоды с болота, не попросив на это благословенья у ближайшей сосенки».

Дар-вознаграждение

Артель пособила корабельщику-потерпевшему. Юровщик не принял богатого дара-вознаграждения. Так как тот настаивал, юровщик сказал:

— Положи на дороге перед избами. Может, кто и пожелает, пусть возьмет.

Дары неделю лежали на прохожем месте, день и ночь. Никто не дотронулся: «Ежели возьмешь, а с нами, бохрани, напасть случится, то уж нельзя помощи ждать будет».

Дружинник Гурей

Дружинника не могли исправить ни добром, ни лихом. Он, таём обрядив лодью, пошел на разбой.

Кормщик, выбежав на берег, увидел лодью уходящего, простер руки к морю. Кормщик возопил:

— Дружинник Гурей не добре служит мореходству. Ты сам, Океан-море русское, рассуди о нем.

И налетел в тот час вал, смыл Гурея с палубы, и тот утонул.

Беседа

N. знал корабельное строительство лучше всех, имел великий опыт и талант. Но когда сойдутся мастера беседовать, N. не любил заводить речей сверх слов другого мастера, а более хвалил и развивал высказанное кем-либо.

Матвей Шеломенский

Корабельный механик Матвей Шеломенский имел самый изобретательный ум, из карбаса мог

сделать пароход, из долбленого челна — моторку. И был до того простодушен, что не только старших, а и подмастерьев своих почитал советниками.

Работал он какую-то зиму на Мурмане, а в это время в Архангельске профсоюз присудил ему похвальную грамоту.

Доверенный член привез грамоту и вручает Матвею. Матвей снял шапку, стал читать грамоту, весь сбрусвенел и начал было драть ее. Доверенный выпугался, ухватил Матвея за руки:

— Что ты, что ты, т. Шеломенский. Не дери! Ведь с меня голову снимут!

— Зачем один Матвейка Шеломенский написан? Мы, вся бригада — один человек. Этот вот Федя — мои руки, этот вот — ноги.

— А ты голова! — перебил доверенный.

— И в голове пять чувств. Этот вот парень мои глаза, этот — уши, этот — моя речь.

Так и не принял грамоты на себя одного.

Нравы мореходцев

Два вожа корабельных, посадские люди архангельские, прежде бывшие друзья, стали обижаться друг на друга. И наконец «остуда вели-

ка пала меж них».

Случилось же старшему и больше опытному опомниться. И стал он посылать корабельщиков к бывшему другу своему.

Тогда умилился и тот. Опять стали жить дружно.

Кораблестроитель Амосов

На верфях как соберутся всякого цеха мастера, и Амосов говорил и внушал:

— Надобно нам, друзья, и себя опасно соблюдать, ежели беремся молодых в добром мастерстве устроить, в крепком постоянном, честном ремесле обучить. Мы должны прилежно разум и способность их испытывать. Сколько для молодого человека, особливо для восприимчивого, схватчивого, впечатлительного, сколько для него простерто сетей по земли! Пуще нежели силья на куропаток. Дома отца-матери боятся, а сюда в Город приедут. Здесь гульба широкая: пивные дома, кабаки, блудны дома, карты.

Нам, начальным людям, должно подначальных от разгула их пестовать. Редко в котором парне раденья и желанья к ремеслу нету.

Нам будет честь, ежели мы приведем ученика

в степень художника и мастерства.

И вот, ежели я сам мастер, буду слабо жить да проказить, какое будет ко мне уваженье от учеников? И какое вниманье и послушанье? Какая будет его ко мне откровенность? Увидит меня ученик не в порядке, унес ли я под полой казенную вещь, принял ли взятку, он в глаза мне не скажет, но уваженье его я потерял.

Морской устав живущий

Корабельные вожи[50]

В устье Северной Двины много островов и отмелей. Сила вешних вод перемывает стреж-фарватер. Чтобы провести большое судно с моря к городу Архангельску или от города до моря, нужны опытные лоцманы. В старину эти водители судов назывались корабельными вожами.

Когда Архангельский посад назвался городом, в горожане были вписаны корабельные вожи Никита Звягин и Гуляй Щеколдин. Звягин вел свой род от новгородцев, Щеколдин — от Москвы. Курс «Двинского знания» оба проходили вместе с юных лет. Всю жизнь делились опытом, дружбой украшали домашнее житье-бытье. Гостились домами: приглашали друг друга к пирогам, к блинам, к пиву.

Но вот пришло время, дошло дело — два старинных приятеля поссорились как раз на пиру.

Вожевая братчина сварила пиво к городскому

---

[50] Notes: 50

Впервые опубликовано в сборнике «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957) и переиздано в сборниках «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. –*Примеч. ред.*

празднику шестого сентября. Кроме братчиков, в пир явились гости отовсюду. Обычно в таких пирах каждая «река» или «город» знали свое место: высокий стол занимала Новгородская Двина, середовый стол — Москва и Устюг, в низких столах сидели черные, или чернопахотные, реки.

После званого питья у праздника в монастыре Звягин поспешил веселыми ногами к вожевому пиву. Здесь усмотрел бесчинство. Братчина и гости сидели без мест. Молодшие реки залезли в большой стол. Великая Двина безмятежно пировала в низком месте.

— Прибавляйся к нам, Никита! — кричал Щеколдин из высокого стола. — Пинега, подвинь анбар, новгородец сядет.

— Моя степень повыше, — отрезал Звягин.

— Дак полезай на крышу, садись на князево бревно! — озорно кричал Щеколдин.

Чернопахотные реки бесчинно загремели-засмеялись.

Звягин осерчал:

— Ты сам-то по какому праву в высокий стол залез, московская щеколда?

— Я от царственного города щеколда, а вы мужичий род, крамольники новгородские!

— Не величайся, таракан московский! — орал

Звягин. — Твой дедушко был карбасник, носник. От Устюга до Колмогор всякую наброду перевозил. По копейке с плеши брал!

— А твой дедко барабанщик был! Люди зверя промышляют — Звягин в бочку барабанит: «Пособите, кто чем может! По дворам ходил, снастей просил — не подали».

Поругались корабельные вожи, разобиделись и рассоветились. Три года сердились. Который которого издали увидит, в сторону свернет.

Звягин был мужик пожиточный, Щеколдин поскуднее: ребят полна изба. Звягин первый приразумался и разгоревался: «Из-за чего наша вражда? За что я сердце на Щеколдина держу? Завидую ему? Нет, кораблей приходит много, живу в достатке».

Задумал Звягин старого приятеля на прежнюю любовь склонить. Он так начал поступать: за ним прибегут из вожевой артели или лично придет мореходец, иноземец или русский: «Сведи судно к морю», — у Звягина теперь ответ один:

— Я что-то занемог. Щеколдина зовите. Щеколдин первый между нами, корабельными вожами.

Еще и так скажет:

— Нынче Двина лукавит, в устьях глубина об-

манная. Корабли у вас садкие. Доверьтесь опыту Щеколдина.

Корабельщики идут к Щеколдину. Он заработку и достатку рад. Одного понять не может: «За что меня судьба взыскала? Кто-нибудь в артели доброхотствует. Надобно сходить порасспросить».

В урочный день Щеколдин приходит в артель платить вожевой оброк. Казначей и говорит:

— Прибылей-то у тебя, Щеколдин, вдвое против многих. Недаром Звягин знание твое перед всеми превозносит. Мы думали, у вас остуда, но, видно, старая любовь не ржавеет.

У Щеколдина точно пелена с глаз спала: «Конечно, он, старый друг, ко мне людей посылал!»

Щеколдин прибежал к Никите Звягину, пал ему в ноги:

— Прости, Никита, без ума на тебя гневался!

Звягин обнял друга и торжественно сказал:

— Велика Москва державная!

Стихосложный грумант[51]

На моей памяти молодые моряки усердно обзаводились рукописными сборниками стихов и песен.

Иногда такой «альбом» начинался виршами XVIII века и заканчивался стихотворениями Фета и Плещеева.

В сборнике, принадлежавшем знаменитому капитану-полярнику В. И. Воронину, находился вариант «Стихосложного Груманта», написанный безвестным помором.

В старинном сборнике поморских стихов «Рифмы мореплавательны», принадлежащем моему отцу, также был вариант названной песни. Напечатанный здесь текст «Стихосложного Груманта» представляет собою свод двух вариантов.

В молодых меня годах жизнь преогорчила:

Обрученная невеста перстень вороти-

---

[51] Notes: 51

Впервые опубликовано в сборнике «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959) и переиздано в сборнике «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. –*Примеч. ред.*

ла.

Я на людях от печали не мог отманиться.

Я у пьяного у хмелю не мог звеселиться.

Старой кормщик Поникар мне судьбу обдумал,

На три года указал отойти на Грумант.

Грумалански берега – русский путь изведан.

И повадились ходить по отцам, по дедам.

Мне по жеребью надел выпал в диком месте.

...Два анбара по сту лет, и избе за двести.

День по дню, как дождь, прошли три урочных года,

Притуманилась моя сердечна невзгода.

К трем зимовкам я еще девять прибавил,

Грозной Грумант за труды меня не оставил.

За двенадцать лет труда наградил спокойством,

Не сравнять того спокою ни с каким довольством.

Колотился я на Груманте

Довольны годочки.

Не морозы там страшат,

Страшит темна ночка.

Там с Михайлы, с ноября,

Долга ночь настанет,

И до Сретения дня

Зоря не проглянет.

Там о полдень и о полночь

Светит сила звездна.

Спит в молчанье гробовом

Океанска бездна.

Там сполохи пречудно

Пуще звезд играют,

Разноогненным пожаром

Небо зажигают.

И еще в пустыне той

Была мне отрада,

Что с собой припасены
Чернило и бумага.
Молчит Грумант, молчит берег,
Молчит вся вселенна.
И в пустыне той изба
Льдиной покровенна.
Я в пустой избе один,
А скуки не знаю,
Я, хотя простолюдин,
Книгу составляю.
Не кажу я в книге сей
Печального виду.
Я не списываю тут
Людскую обиду.
Тем-то я и похвалю
Пустынную хижу,
Что изменной образины
Никогда не вижу.
Краше будет сплановать
Здешних мест фигуру,
Достоверно описать
Груманта натуру.

Грумалански господа,
Белые медведи, —
Порядовные мои
Ближние соседи.
Я соседей дорогих
Пулей угощаю.
Кладовой запас сверять
Их не допущаю.
Раз с таковским гостеньком
Бился врукопашну.
В сенях гостьюшку убил,
Медведицу страшну.
Из оленьих шкур одежду
Шью на мелку строчку.
Убавляю за работой
Кромешную ночку.
Месяцам учет веду
По лунному свету,
И от полдня розню ночь
По звездному бегу.
Из моржового тинка
Делаю игрушки:

Веретенца, гребешки,
Детски побрякушки.
От товарищей один,
А не ведал скуки,
Потому что не спущал
Праздно свои руки.
Снасть резную отложу,
Обувь ушиваю.
Про бываньe про свое
Песню пропеваю.
Соразмерить речь на стих
Прилагаю тщанье:
Без распеву не почтут
Грубое сказанье.

Грумаланский песенник[52]

В старые века живал-зимовал на Груманте по-сказатель, песенник Кузьма. Он сказывал и пел, и голос у него как река бежал, как поток гремел. Слушая Кузьму, зимовщики веселились сердцем. И все дивились: откуда у старого неутомленная сила к пенью и сказанью?

Вместе со своей дружиной Кузьма вернулся на Двину, домой. Здесь дружина позвала его в застолье, петь и сказывать у праздника. Трижды посылали за Кузьмой. Дважды отказался, в третий зов пришел. Три раза чествовали чашей — два раза отводил ее рукой, в третий раз пригубил и выговорил:

— Не стою я таких почестей.

Дружина говорит:

— Цену тебе знаем по Груманту.

Кузьма вздохнул:

— Здесь мне цена будет дешевле.

---

[52] Notes: 52

Впервые опубликовано — вместе со следующей миниатюрой, «Круговая помощь», — в журнале «Нева» в мае 1955 г. и включено в сборники «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. *–Примеч. ред.*

Хлебы со столов убрали, тогда Кузьма запел, заговорил. Его отслушали и говорят:

— Память у тебя по-прежнему, только сила не по-прежнему. На зимовье ты как гром гремел.

Кузьма отвечал:

— На зимовье у меня были два великие помощника. Сам батюшка Грумант вам моими устами сказку говорил, а седой океан песню пел.

Круговая помощь

На веках в Мурманское становище, близ Танькиной губы, укрылось датское судно, битое непогодой. Русские поморы кряду принялись шить и ладить судно. Переправку и шитье сделали прочно и, за светлостью ночей, скоро. Датский шкипер спрашивает старосту, какова цена работе. Староста удивился:

— Какая цена! Разве ты, господин шкипер, купил что? Или рядился с кем?

Шкипер говорит:

— Никакой ряды не было. Едва мое бедное судно показалось в виду берега, русские поморы кинулись ко мне на карбасах с канатами, с баграми. Затем началась усердная починка моего судна.

Староста говорит:

— Так и быть должно. У нас всегда такое поведение. Так требует устав морской.

Шкипер говорит:

— Если нет общей цены, я желаю раздавать поручно.

Староста улыбнулся:

— Воля ни у вас, ни у нас не отнята.

Шкипер, где кого увидит из работавших, всем

сует подарки.

Люди только смеются да руками отмахиваются. Шкипер говорит старосте и кормщикам:

— Думаю, что люди не берут, так как стесняются друг друга или вас, начальников.

Кормщики и староста засмеялись:

— Столько и трудов не было, сколько у тебя хлопот с наградами. Но ежели такое твое желание, господин шкипер, положи твои гостинцы на дворе, у креста. И объяви, что может брать кто хочет и когда хочет.

Шкиперу эта мысль понравилась:

— Не я, а вы, господа кормщики, объявите рядовым, чтоб брали, когда хотят, по совести.

Шкипер поставил короба с гостинцами на тропинке у креста. Кормщики объявили по карбасам, что датский шкипер, по своему благородному обычаю, желает одарить всех, кто трудился около его судна. Награды сложены у креста. Бери, кто желает.

До самой отправки датского судна короба с подарками стояли середи дороги. Мимо шли промышленные люди, большие и меньшие. Никто не дотронулся до наград, пальцем никто не пошевелил.

Шкипер пришел проститься с поморами на

сход, который бывал по воскресным дням. Поблагодарив всех, он объяснил:

— Если вы обязаны помогать, то и я обязан…

Ему не дали договорить. Стали объяснять:

— Верно, господин шкипер! Ты обязан. Мы помогли тебе в беде и этим крепко обязали тебя помочь нам, когда мы окажемся в морской беде. Ежели не нам, то помоги кому другому. Это все одно. Все мы, мореходцы, связаны и все живем такою круговою помощью. Это вековой морской устав. Тот же устав остерегает нас: «Ежели взял плату или награду за помощь мореходцу, то себе в случае морской беды помощи не жди».

Грумант-медведь[53]

Зверобойная дружина зимовала на Груманте. Время стало ближе к свету, и двое промышленников запросились отойти в стороннюю избу:

— Поживем по своим волям. А здесь хлеб с мерки и сон с мерки.

Старосте они говорили:

— Мы там, на бережку, будем море караулить. Весна не за горами.

...Наконец староста отпустил их. Дал устав: столько-то всякий день делать деревянное дело, столько-то шить шитья. Не больше стольких-то часов спать. В становище повелено было приходить раз в неделю, по воскресеньям.

Оба молодца пришли в эту избу, край моря, и день-два пожили по правилу. До обеда поработают, часок поспят. Вылезут на улицу, окошки разгребут. В семь часов отужинают — и спать. В три утра встают и печь затопляют. И еду готовят.

---

[53] Notes: 53

Впервые опубликовано в журнале «Пионер» в июле 1955 г. и включено в сборники «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. *–Примеч. ред.*

Все как дома, на матерой земле.

День-два держались так. Потом разленились. Едят не в показанное время. Спят без меры. В воскресенье не пошли к товарищам. В понедельник этак шьют сидят, клюют носом.

— Давай, брат, всхрапнем часиков восемь?

К нарам подошли и вместо шкур оленьих видят белого медведя. Будто лежит, ощерил зубы, ощетинился…

Не упомнят молодцы, как двери отыскали да как до становища долетели. Из становой избы их издали увидели. Староста говорит:

— Им за ослушанье какой-нибудь грумаланский страх привиделся. Заприте двери. Их надо поучить.

Братаны в дверь стучат и в стену колотятся; их только к паужне пустили в избу. Они рассказывают:

— Мы обувь шьем, сзади кто-то дышит-пышет. Оглянулись — медведище белый с нар заподымался. Зубами скалит, глаза как свечки светят…

Староста говорит:

— Это Грумант вас на ум наводит. Сам Грумант-батюшка в образе медведя вас пугнул. Он не любит, чтобы люди порознь жили. Вы устав нарушили, Грумант вас за это постращал.

Общая казна[54]

Был дружинник — весь доход и пай клал в дружину, в общую казну. И некогда пришло на ум: «Стану откладывать на черный день. А то вклады у нас неравные, мне не больше людей надо».

Стал давать в общую казну, равняясь по маломочным.

Бывало, когда он все отдавал, дак и люди ему все отдавали. А он отскочил от людей, и люди не столь его жалеют.

Однажды не пошел на ловы: «С меня запасу хватит». Захворал. И, бывало, как он неможет, двое при нем останутся — знают его простертую руку. А теперь никто не остался.

Он в эти дни одумался, опомнился:

— Нет, лучше с людьми. Люди в старости меня не оставят.

Скоро товарищи вернулись. Они беспокоились о нем:

---

[54] Notes: 54

Впервые опубликовано — вместе со следующей миниатюрой, «Болезнь», — в сборнике «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959) и переиздано в сборниках «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. *–Примеч. ред.*

— Мы твое добро помним.

И опять он стал весел и спокоен: поживи для людей, поживут и люди для тебя. Сам себе на радость никто не живет.

Болезнь

Опять было на Груманте.

Одного дружинника, как раз в деловые часы, начала хватать болезнь: скука, немогута, смертная тоска. Дружинник говорит сам себе:

«Меня хочет одолеть цинга. Я ей не поддамся. У нас дружина малолюдна. Моя работа грузом упадет на товарищей. Встану да поработаю, пока жив».

Через силу он сползал с нар и начинал работать. И чудное дело — лихая слабость начала отходить от него, когда он трудился.

Дружинник всякий день и всякий час сопротивлялся немощи. Доброй мыслею побеждал печаль и победил цингу: болезнь оставила его.

По уставу[55]

Лодья шла вдоль Новой Земли. Для осеннего времени торопилась в русскую сторону. От напрасного ветра зашли на отстой в пустую губицу. Любопытный детинка пошел в берег. Усмотрел, далеко или близко, избушку. Толкнул дверь — у порога нагое тело. Давно кого-то не стало. А уж слышно, что с лодьи трубят в рог. Значит, припала поветерь, детине надо спешить. Он сдернул с себя все, до последней рубахи, обрядил безвестного товарища, положил на лавку, накрыл лицо платочком, добро-честно простился и, сам нагой до последней нитки, в одних бахилах, побежал к лодье.

Кормщик говорит:

— Ты по уставу сделал. Теперь бы надо нам сходить его похоронить, но не терпит время. Надо подыматься на Русь.

Лодью задержали непогоды у Вайгацких берегов. Здесь она озимовала.

---

[55] Notes: 55

Впервые опубликовано в сборнике «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и переиздано в сборнике «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. *–Примеч. ред.*

Сказанный детина к весне занемог. Онемело тело, отнялись ноги, напала тоска. Написано было последнее прощанье родным. Тяжко было ночами: все спят, все молчат, только сальница горит-потрескивает, озаряя черный потолок.

Больной спустил ноги на пол, встать не может. И видит сквозь слезы: отворилась дверь, входит незнаемый человек, спрашивает больного:

— Что плачешь?

— Ноги не служат.

Незнакомый взял больного за руку:

— Встань!

Больной встал, дивяся.

— Обопрись на меня. Походи по избе.

Обнявшись, они и к двери сходили, и в большой угол прошлись.

Неведомый человек встал к огню и говорит:

— Теперь иди ко мне один.

Дивясь и ужасаясь, детина шагнул к человеку твердым шагом:

— Кто ты, доброхот мой? Откуда ты?

Незнаемый человек говорит:

— Ужели ты меня не узнаешь? Посмотри: чья на мне рубаха, чей кафтанец, чей держу в руке платочек?

Детина всмотрелся и ужаснулся:

— Мой плат, мой кафтанец…

Человек говорит:

— Я и есть тот самый пропащий промысловщик из Пустой губы, костье которого ты прибрал, одел, опрятал. Ты совершил устав, забытого товарища помиловал. За это я пришел помиловать тебя. А кормщику скажи — он морскую заповедь переступил, не схоронил меня. То и задержали лодью непогоды.

Из рукописи «Сия книга – знание» Ивана Дмитриева[56]

Весною и летом наибольшу непогоду в Белом море разводит ветер-полуночник. Из окияна ударит в Горловину, что в трубу, вырвяся, катит взводень серединою Белого моря в запад.

Сей ветер можно предусмотреть по внезапной иногда смене теплого воздуха на холодной.

Но ежели в море потеплеет, жди ветра с лета.

Когда в ведрие явитца в морских далях бус или туск, жди сиверных ветров.

Ежели при тумане возьмется полуночник, то он этот туман скоро пронесет.

В те же месяцы, кроме полуночника, вздымает волнение северо-запад.

А правит с Кандалацкой губы на Летний берег через все море. И в просторном месте силой не уважит полуночнику.

Полуночник и север забирает державно середу морскую, а губы хватают только в широких

---

[56] Notes: 56

Впервые опубликовано — вместе со следующей миниатюрой, «Устьянский правильник», — в сборнике «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959) и переиздано в сборнике «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. –*Примеч. ред.*

местах. В Онежской губе, по-за Кий-остров, эти ветры великих непогод не разведут. А в Кандалацкой губе, за множеством островов, взводню негде разгуляться. Разве северо-запад подымет зыбь, и то необидну.

Ветры, дуючи с лета и с полдня, порухи мореплавателю не чинят. Но шелоник, бойко задевая середу морскую, разводит толкунцы. Под Терским берегом не допущает карбасóв в речные устья.

В полом море, что сивернее, то велики непогоды живут подолгу, но бывают редко. А что южнее, непогодушка гостит не долго, но жалует часто.

В губах морских Двинской, Онежской, Кандалацкой и у Летнего берега, в межоное время, полное отишие стоит подолгу — по четыре, по пять ден и по неделе. В северных губках полное безветрие кратковременно.

В ведрие любой крутой ветер к паужне отишит, а к ночи пропадет. В ненастье ветер что к ночи, то сердитее.

Невеликая зыбь, которая во время тишины покатится с какой-либо стороны моря, нередко предвещает великую непогоду с той же стороны.

Зверь морской зачнет играть-плескать к ветру ж.

Закипела в море пена — будет ветру перемена.

В широком раздолье полого моря волна ходит порядливо, грядами-рядами, слушая ветра. По губам волна не столь сурядна. Тому пример Мезенская губа: здесь море не может нарядить правильного волнения за множеством отмелых мест и по причине разительной смены большой и малой воды.

Идучи морем, непогоды не брани и тиха не хвали.

В ненастливой, облачной день, с каковы стороны небо зачнет чистить, с той стороны жди ветра.

С каковы стороны из-за моря полетят, как перья, завивные облака, с той стороны ударит непогода.

Потому ж с каковы стороны пойдет облак как бы сенными кучами, оттуда будет ветер.

Ежели ветер, переходя от места к месту, идет посолонь, то к ведрию и отишию. А когда, дуючи, идет против солнца, то к ненастью и к непогоде.

Красно-облачный закат предвещает ветер.

Того важнее укараулить утренний рассвет, красный туск которого справедливо беспокоит мореплавателя.

Тусклый, белесо-желтый закат объявляет дождь назавтрие…

О туманах. При начале зимы вода в Белом море долгое время живет теплее воздуха. К весне морская вода долго содержит мороз. От сей разницы приражается туман. От сей же причины осенью льдина набирает толщину сверху, а к весне снизу.

Утренний бойкий ветер заподымает туман кверху — будет идти благоприятно.

А с вечера добра примета, когда туман ходит низом.

Ежели перед обеденным временем туман поредеет, то по обедах его совсем пронесет. Ежели туман до обедов не пошевелится, в тот день жди дождя.

Весною и летом бедовой туман заносит в Белое море ветер-полуночник. Сей ветер, взявшись с окияна, гонит бусую мглу в запад, на губу-Онегу и на Кандалакшу…

О зиме и о льдине. Смотря по зиме, Двинская губа оденется льдиною не ранее Михайлова дни… В морском россоле льдина долго живет тоща, и чтобы мороз хватил широко, надобно долгое безветрие. Поначалу округ всего моря, с берега установятся припаи, каковая кромка в ширину дойдет пять-шесть верст. Зимние морские непогоды накидывают на края припая торос свыше

тороса.

Но возьмется ветер западный с дождем, эти ледяные города обломит и погонит в море. Двинской губой сегодня на полозьях да в санях, а мокрый запад приударил, и ты опять на карбас да за весла.

Но не только оттепель, даже лютый веток, кующий берега, не дает замерзнуть морю, разводя неистову погодушку.

А широта морская во всю зиму не становится ни на единый день. В морозное безветрие прихватит местом, а найдет больша вода на малую, всё приломает. И у ветров здесь зимой такое поведение, что чистить середу морскую. Гулящий взводень носит льдину к берегам. Побережник-ветер тоже чистоту блюдет, что метлою берег-от опахивает, несурядну торосину посылает прочь. Не спят ветры, не спит море.

При конце зимы тем гулящим торосом наше море не бедно.

Многа она, стадна льдина-матушка. Во своем море не столь груба, а в окияне страшно с торосом со становым за ручку поздороваться. У станового тороса плывущего видно только верховище, а вся нога в водах. По образу верхушки должно разгадать, широка ли нога. Садкое судно близко

не води.

Молодая льдинка осенью твоего судна боится, что тонка и хила. А весною ты ее боишься: отечную матерую старуху толкнешь, она тебе ребро и бортовину выломит.

Пловущее ледяное согласие можно предугадать, еще не видя оного: в морской дальнозрачности объявится туманец, как белая городовая стена.

В облачное время бели'жна движущих полей, еще никем не зримых, уже дает всем зримый отблеск на небесный туск. Еще льдина за морем, а отсвет в небе знатен.

Ветер крепкий, а взводня нет — знак того, что с ветреной стороны подвигается лед и мешает взводню разгуляться.

Когда вдали от матерого берега и острова объявятся тюленьи юрова, моржи и птица, то несомненна близость льдов…

Ни на день, ни на малый час и ни в какой мороз не уставится сплошная льдина в Горле беломорском. От сотворения мира здесь спокою нет, в неустанных ветрах, в быстрине течения.

О Веденьев день полуночник сюда надвинет тороса от Канина. Но ненадолго. Налетит встречный от Двины и ветер с запада, погонит тороса обратно. А север да восток опять свое, да пуще.

Так зиму и воюют…

Который берег и которая губа зимою промышляют зверя у наледных промыслов, те на льдину не обидятся. Но всем губянам и поморам очень грубо, что вешний корабельный ход на океане и к Мурманскому морю задерживает Горловина.

Как Двина располонится, и на своих суднах торопимся вослед за льдиной. Губой и мимо Зимний берег весело бежим, что поветерь пособная и быстрина несет. У Орловских Кошек хоть торосовато, а салма сыщется, проскочим. Но у Горловины каждогодне жди досады. И речная, и морская льдина лезут в океан. Ты на промысл торопишься, и льдины дружка дружку давят, на простор спешат. Негораздые попутчики! Ах да руками мах, а на том не перескочишь.

В Двинской губе вода с весны желта и до полулета мутновата.

У Зимних гор вода зелена́ и прозрачна.

А что к Святому Носу — океанская вода острозрачна-зелена, а волна по цвету двоелична — зелена и лазоревата.

В Белом море голубец у волны отымется, а глубь прозрачна…

У высокой льдины верхний слой годен на питье. Обливная льдина вся солона.

«Устьянский правильник»

В северорусском промышленном мореходстве издревле существовало «обычное право», своеобразная юриспруденция, определяющая профессионально-деловые, а также морально-нравственные отношения промышленников друг к другу. Иногда эти жизненно-деловые отношения закреплялись письменно. Таков «Морской устав» новоземельских промышленников. Как бы дополнением к нему может служить «Устьянский правильник».

«Устьянский правильник» представлял собой главу рукописной книжицы (или тетради), писанной почерком XVIII века. К пунктам правил, касающихся мореходно-промышленной среды, приписаны правила общечеловеческого поведения: о том, как молодой человек должен вести себя в присутствии стариков, о вреде пьянства. Подчеркивается, что если старший велит тебе идти с ним о правую руку или посадит тебя с правой стороны, то этим он оказывает тебе честь. Если женщина сидит, положив «нога на ногу», этим она навеки уронит себя в глазах общества.

Чрезвычайно интересна психология тех

«устьянских» правил, где расцениваются поступки бедняков по отношению к богатым.

Если ты, не стерпев вдовьих и сиротских слез, будешь красть для этих сирот у богатого, то в этом нет греха. Поступок похвальный, но половину хвалы пусть получит и невольно пострадавший богач.

Другое постановление: если горькие, нищие люди обокрадут богатого и он не только не подаст в суд, но даже не потужит об утере, то такое разумное поведение Христос зачтет богачу за добровольную милостыню.

Имеется любопытное объяснение, почему Никола (покровитель мореходства) имеет титул или прозвище — «скорый помощник». Оказывается, когда молишься Богоматери и разным святым, они твою молитву понесут к Богу и уже от Бога ты получишь милость. Но Николе «вперед милость дана», то есть Николе отпущен от Бога как бы лимит. Этим лимитом Никола распоряжается непосредственно, без докладов и волокиты.

В статье «О хмелю» упоминается Никодим Сийский, автор трактата о «разноличных художествах». Никодим был родом с Онеги, в XVII веке именит был по всей Северной Двине как искуснейший живописец.

Что касается заглавия «Устьянский правильник», то, не имея сейчас под рукою оригинала, трудно судить, все ли заглавие рукописи было мною списано. С другой стороны, и составитель (компилятор-копиист) XVIII века выписки свои озаглавливал очень кратко: «Никодимово» (правило), «Геннадиево», «Соловецких»…

Сия книга устав,
Помните добрый нрав,
Како у моря жити:
Чтобы Бога не гневити
И люди не смешите.

Мореходством нашим промышляем прибыль всем гражаном… Не доведется таковую степень тратить…

Держитеся гораздого сего обычая. Не разорите мореходства доброго уставы.

…Сказали Звенило Ластольцу:

— Три чина мореходца — когда придет морская напасть и бороться с нею веселяся. Второе — когда ходит в послушании доброму кормщику…

Собери умы свои и направи в путь. Горе, когда для домашних печалей ум мореходцу вспять зрит.

Ежели покоренье навклиру (кормщику) напо-

каз содержится, а внутрь молва и мятеж, то ждет нас беспромыслица.

Когда дружина слушает слово твое всем сердцем, знай, что ты отвечаешь за них перед Богом.

Ежели переступил устав и учинил прошибку, не лги, но повинись перед товарищи и скажи: «Простите меня!» — и огрех мимо идет.

Ежели кто сделал ошибку, и бедственную, но понял ее, и повинился, и исправился, не могите напомянуть ему о ней.

За которым человеком сыщется какое воровство, или татьба, или какое скаредное дело, кто сироту обидит или деньги в рост давал, того в промышленный поход не брать.

И хотя принятые бедственные люди промышляют из-за хлеба и доли не просят, но, по превосходному разуму, долю им дать.

…От веков повелено начатки промыслу нищим давать, мореходных и промышленных людей вдовам и сиротам. Зверя давать мерного, а не детыша. И кожа чтобы не резана, не колота.

Которые от многие службы морские пришли в глубокую старость, давать по тому же.

В бочках пропащую рыбу сиротам не давать, а

добрую себе не оставлять. (Люта неистовая жадность. Сытости не имеет деньголюбивая душа и на последнее зло идет.)

Кто свою братью, морскую сиротину, в пир созвать постыдится, того устыдится Христос на суде своем.

Дочку или племянницу хромую или кривую подчиненным и меньшим людям не навязывать. Гораздых девок в господу [в сословие господ] не пихать.

В который берег жилой придешь, где никого не знаешь, то и меньшим себя честь оказывай как старшим.

В чужих городах не летай глазами туда и сюда. В чужих берегах будь от баб воздержателен.

В пустых берегах, в становых избушках, где оследиться привелось, оставлять хлебов, муки и, по силе, всякого припасу на производящих людей. По изможенью печь поправить, дров собрать и наколоть. И огнивцев, и кудельки оставить. Что здесь о терящем человеке попечаловал, то о тебе в ином месте люди вдвое порадеют.

Когда идешь со старшим, не опережай его. Беседуя со старшим, не сядь, пока не повелит сесть.

И, рассмеявшись, не кажи зубы.

О человече! Лучше тебе дома по миру ходити, куски собирати, нежели в море позориться, переступая вечную заповедь морскую.

Аще кто, радея о нищих, а самому подать нечем, и он украдет у богатого и даст убогому, то несть грех. Но с полдобра вменит Бог и богатому.

Которого богатого человека обокрадут. И утеря явится велика. Но он не потужит и не поклевещет, то утерю вменит ему Христос в милостыню.

О хмелю[57]

Всем ведомо и всему свету давно проявлено, какая беда пьянство. Философы мысль растрясли и собрать не могут. Чины со степеней в грязь слетели. Крепкие стали дряблы, надменные опали. Храбрые оплошали, богатые обнищали.

…Вняться надобно всякому мастеру, какова напасть пьянство. Ум художному человеку сгубит, орудие портит, добытки теряет. Пьянство дом опустошит, промысел обгложет, семью по миру пустит, в долгах утопит. Пьянство у доброго мастера хитрость отымает, красоту ума закоптит. А что скажешь — пьянство ум веселит, то коли бы так кнут веселит худую кобылу.

---

[57] Notes: 57

Впервые опубликовано в сборнике «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967). *–Примеч. ред.*

Древние памяти

Прение Живота и Смерти[58]

Живот рече:

— Кто ты, о страшное диво? Кости наги, видение твое и голос твой — говор водный. Что гадает звон косы твоея, поведай мне?

Смерть рече:

— Я — детям утеха, я — старым отдых, я — рабам свобода, я — должникам льгота, я — трудящимся покой.

Живот рече:

— Почто стала на пути моем и говоришь немо? Пойди от нас, Смерть, в темны леса, за сини моря. А се я тебя не боюся!

Смерть рече:

— Пусты темны леса, усохли сини моря. Стану с тобой смертною игрою играти.

Живот рече:

— Тише вешней воды, ниже шелковой травы, откуда приходишь ты? О Смерть, не хочу тебе! Кому будет волосы кудрити, и лице наводити, и лазореву одежу носити?

---

[58] Notes: 58

Впервые опубликовано в сборнике «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967). *–Примеч. ред.*

Смерть рече:

— Молодым-молодехонек, зеленым-зеленехонек, о Живот, красота твоя сердце мое услади. И любовь быстрее быстрой реки, острее острого ножа.

Живот рече:

— Ты — косец, коси ты нивы твои, к жатве спеющие. Я — плод недозрелый, я возрастом юн. Здесь нет тебе дела!

Смерть рече:

— Коль сладка словеса твоя, слаще меду устам моим. О Живот, слышишь ли звон тетивы на луке моем? И се из острых остра смертная стрела, тебе уготованная.

Живот рече:

— Ох, увы, увы! О Смерть, неужели я умру и не будет меня, точно меня и не было?!

Смерть рече:

— Сребролукого Феба пленивый и всепетую Афродиту низложивый Исус Христос, над богами бог, и той вкусия мене, горькую смерть, и в мрачный сошел Аид.

Живот рече:

— О Смерть, власть твоя над людьми и богами! На что тебе трепетная моя юность и бледная моя красота?!

Смерть рече:

— День гонит ночь. Скоро кочета звопят. О Живот! Время тебе снятися с души — и умереть…

Живот рече:

— Ох, увы, увы! О Смерть, отпусти меня до утра! Я пойду, я возьму от любящих меня последнее целование…

Смерть рече:

— Не имей другу веры, не надейся на брата. Днесь целует тебя, а завтра забудет. Днесь слава угасает и любовь.

Живот рече:

— О други мои милые, о братия моя! Вот я отхожу от вас, как дым расходится, как вода разливается, как огонь угасает…

Любовь сильнее смерти[59]

У Студеного моря, в богатой Двинской земле, жили два друга юных, два брата названых, Кирик да Олеша. И была у них дружба милая и любовь заединая. Столь крепко братья крестовые друг друга любили — секли стрелою руку, кровь точили в землю и в море. Мать сыру землю и синее море призывали во свидетели. Кирик да Олеша — они одной водою умывались, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлебы кушали, одну думу думали, один совет советали — очи в очи, уста в уста.

Отцы их по любови морскою лодьею владели и детям то же заповедали. Кирик, старший, стал покрут обряжать, на промысел ходить, а Олеша прилежал корабельному строению.

Пришло время, и обоим пала на ум одна и та же дева Моряшка. И дева Моряшка с обоими играет,

---

[59] Notes: 59

Впервые опубликовано в коллективном сборнике «На Севере дальнем: Сборник стихов и прозы» (Архангельск, 1919) и переиздано в сборниках Шергина «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947), «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957), «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гости с Двины» (М.: Детская литература, 1970) и др. *–Примеч. ред.*

от обоих гостинцы берет. Перестали крестовые друг другу в очи глядеть.

В месяце феврале промышленники в море уходят, на звериные ловы. Срядился Кирик с покрутом, а сам думает: «Останется дома Олеша, его Моряшка опутает». Он говорит брату:

— Олешенька, у нас клятва положена друг друга слушати: сряжайся на промысел!

Олеша поперек слова не молвил, живо справился. Якоря выкатали, паруса открыли… Праматерь морская — попутная поветерь была до Кирика милостива. День да ночь — и Звериный остров в глазах. Круг острова лед. На льдинах тюленьи полежки. Соступились мужи-двиняне со зверем, учали бить.

Богато зверя упромыслили. Освежевали, стали сальное шкурье в гору волочить. На море уж отемнело, и снег пошел. А Олеша далеко от берега забежал. Со льдины на льдину прядает; знай копье звенит, головы зверины долу клонятся. Задор овладел. Старый кормщик и обеспокоился:

— Олеша далеко порато ушел. Море на часу вздохнет, вечерняя вода тороса от берега понесет…

Побежал по Олешу Кирик. Бежит по Олешу, ладит его окликать, да и вздумал в своей-то голове:

«Олешу море возьмет, девка Моряшка моя будет». И снова крикнуть хочет и опять молчит: окаменила сердце женская любовь. И тут ветер с горы ударил. Льдина зашевелилась, заворотилась, уладилась шествовать в море, час ее пробил.

И слышит Кирик вопль Олешин:

— Кирик, погибаю! Вспомни дружбу-ту милую и любовь заединую!..

Дрогнул Кирик, прибежал в стан:

— Мужи-двиняне! Олеша в относ попал!

Выбежали мужики… Просторно море. Только взводень рыдает… Унесла Олешу вечерняя вода…

Того же лета женился Кирик, Моряшка в бабах как лодья соловецкая под парусом: расписана, разрисована. А у мужа радость потерялась: Олешу зажалел.

Заказал Кирик бабам править по брате плачную причеть, а все места не может прибрать.

В темную осеннюю ночь вышел Кирик на гору, на глядень морской, пал на песок, простонал:

— Ах, Олеша, Олешенька!..

И тотчас ему с моря голос Олешин донесло:

— Кирик! Вспомни дружбу-то милую и любовь заединую!

В тоске лютой, неутолимой прянул Кирик с вер-

шины вниз, на острые камни, сам горько взопил:

— Мать земля, меня упокой!

И буде кто его на ноги поставил. А земля провещилась:

— Живи, сыне! Взыщи брата: вы клятву творили, кровь точили, меня, сыру землю, зарудили!

По исходе зимы, вместе с птицами, облетела Поморье весть, что варяги-разбойники идут кораблем на Двину, а тулятся за льдиной, ожидают ухода поморов на промысел. Таков у них был собацкий обычай: нападать на деревню, когда дома одни жены и дети.

И по этим вестям двиняне медлили с промыслом. Идет разливная весна, а лодейки пустуют. Тогда отобралась дружина удалой молодежи:

— Не станем сидеть, как гнус в подполье! Варяги придут или нет, а время терять непригоже!

Старики рассудили:

— Нам наших сынов, ушкуйных голов, не уговорить и не постановить. Пущай разгуляются. А мы, бородатые, здесь ополчимся навстречу незваным гостям.

Тогда невесты и матери припадают к Кирику с воплем:

— Господине, ты поведи молодых на звериные ловы! Тебе за обычай.

Кирик тому делу рад: сидячи на берегу, изнемог в тосках по Олеше. Жена на него зубами скрипит:

— Чужих ребят печалуешь, а о своем доме нету печали!..

Мужская сряда недолгая. На рассвете кричала гагара, плакали женки. Дружина взошла на корабль. У каждого лук со стрелами, копье и оскорд — булатный топор. Кирик благословил путь. Отворили парусы, и пособная поветерь, прамать морская, скорополучно направила путь…

Не доведя до Звериного острова, прабаба-поветерь заспорила с внуками — встречными ветерками. Зашумела волна. А молодая дружина доверчиво спит. Кирик сам у руля. И была назавтра Олеше година.

Студеное море на волнах стоит, по крутому взводню корабль летит. И Кирик запел:

Гандвиг – отец,
Морская пучина,
Возьми мою
Тоску и кручину…

В том часе покрыла волну черная тень варяжской лодьи. И варяги кричат из тумана:

— Куры фра? Куры фра?[60]

Кирик струбил в корабельный рог грозно и жалобно. Дружина прянула на ноги. И тянут лук крепко и стреляют метко. Поют стрелы, гремят долгомерные копья. Кирик забыл тоску и печаль, отдал сердце в руки веселью. Зовет, величает дружину:

— Мужи-двиняне! Не пустим варягов на Русь! Побьемся! Потешим сердца!..

Корабли сошлись борт о борт, и двиняне, как взводень морской, опрокинулись в варяжское судно. Песню радости поет Кириково сердце. Блестит булатный оскорд. Как добрый косец траву, косит Кирик вражеские головы…

Но при последнем издыхании варяжский воевода пустил Кирику в сердце стрелу…

Красное солнце идет к закату, варяжское трупье плывет к западу. Сколько двиняне празднуют о победе, о богатой добыче, друга — столько тужат о Кирике. Он лежит со смертной стрелою в груди, весел и тих. На вечерней воде стал прощаться с дружиной:

— Поспешайте на Русь, на Двину, с победною вестью. Оставьте меня и варяжское судно в бла-

---

[60] Notes: 60
Кто идет?

годарную жертву Студеному морю.

И дружина, затеплив по бортам жертвенной лодьи воскояровы свечи, с прощальною песней на своем корабле убежала на Русь.

В полночь вздохнуло море, затрепетало пламя свечей, послышался крик гусиный и голос Олешин:

— Здрав буди, Кирик, брате и господине!

Ликует Кирик о смертном видении:

— Олешенька, ты ли нарушил смертные оковы? Как восстал ты от вечного сна?..

Снова пронзительно вскричали гуси, затрепетали жертвенные огни, прозвенел Олешин голос:

— Я по тебя пришел. Сильнее смерти дружеская любовь.

Две тяжкие слезы выронил Кирик:

— Люто мне, люто! Я нарушил величество нашей любви!..

В третий раз гуси вскричали, как трубы огремели, колыхнулось пламя жертвенных свечей, и Кирик увидел крестового брата. Глядят очи в очи, устами к устам. И голос Олешин, что весенний ручей и свирель:

— Кирик! Подвигом ратным стерта твоя вина перед братом. Мы с тобой поплывем в светлый

путь, в Гусиную белую землю, где вкушают покой души добрых и храбрых. Там играют вечные сполохи, туда прилетают легкокрылые гуси беседовать с мертвыми. Там немолчно рокочут победные гусли, похваляя героев…

Завязалась праматерь морская — поветерь и взяла под крыло варяжский корабль, где Кирик навек позабыл печаль и тоску человеческую…

О былина, о песня, веселье поморское! Проходят века, а Двинская земля поет, поминает под гусли Олешу и Кирика.

Смерть не все возьмет — только свое возьмет.

Гнев[61]

В двинском устье, на острове Кег, стоял некогда двор Лихослава и его брата Гореслава.

На Лихослава пал гнев Студеного моря. По той памяти место, где «двор Лихославль», до сих пор называется Гневашево.

Лихослав был старший брат, Гореслав — младший. Под рукою батьки своего, мореходца, оба возросли в добром промысле. Остарев, отец надежно отпускал сыновей к Новой Земле. Так же неубыточно правили они торг у себя на Двине. Лихослава и Гореслава одна матерь спородила, да не одной участью-таланом наградила.

Гореслав скажет:

— В морском ходу любо, а в мирском торгу люто!

Лихослав зубы ощерит:

— Нет! В торгу любо, а в море люто.

Отец нахмурится и скажет Лихославу:

---

[61] Notes: 61

Впервые опубликовано в журнале «Пионер» в июле 1955 г. и включено в сборники «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957), «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гости с Двины» (М.: Детская литература, 1970), «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. *–Примеч. ред.*

— Хотя ты голова делу, но блюдись морского гневу.

По смерти отца Лихослав отпихнул брата от лодейного кормила. Перешерстил всю лодейную службу, ни в чем не стал с дружиною спрашиваться:

— Я-де на ваше горланство добыл приказ.

И лодейная дружина не любила Лихослава, но боялась его.

Люди ближние и дальние говорили Гореславу:

— Что ты молчишь брату? Зачем ты знание свое морское кинул ему под ногу? Разделись с братом. Батько дом оставил на двоих.

Эти речи Лихослав знает и зубами скрипит:

— Ай, братец! Костью ты мне в горле встал.

Таким побытом братья опять пришли на Новую Землю.

Добыли и ошкуя, и песца. Ждали попутных ветров, чтобы подняться в Русь. А Гореслав с товарищем еще побежал, на остатках, по медвежьему следу. И в этот час с горы пала поветерь, пособная ходу в русскую сторону.

Закружились белые мухи: снег лепит глаза. Гореслав и дружинник кинулись к берегу — берег потерялся из виду. И бежать грубо: в Камне одну ногу сломишь, другую выставишь; и мешкать

нельзя — знают, что в лодье их ждут и клянут.

А старший брат видит, что в берегах непогода, и скаредного своего веселья скрыть не может: «Я с тобой сегодня, братец, учиню раздел! Ты сам за своей погибелью пошел».

И Лихослав начал взывать к дружине:

— Сами видите, друзья, какое лихорадство учинил мой братец. Нароком он гулять отправился, чтобы меня здесь удержать да уморить. А что вы домой торопитесь, на это он плюет и сморкает.

Дружина смутилась. Некоторые сдались на эти речи. Но которые бывали в здешних берегах, те говорят:

— Непогода пала вдруг. Это здесь в обычай. Заблудиться может всякий. Надо в рог трубить и ждать. А не выйдут — надобно идти искать.

Кормщик затрубил в рог.

Лихослав освирепел:

— Ребята! У них затеяно с Гореславом против нас! Не поддадимся нашим супостатам!

Доброчестные дружинники говорят:

— Господине, это ты затеял что-то. А мы без хитрости. По уставу надобно искать потерянных до последнего изможения. Лихослав кричит:

— Не слушайте, ребята! Они хотят вас под зимовку подвести. По уставу я ответчик за дружину.

Не дам вас погубить. Они и в рог-то трубят — свои воровские знаки подают. Эй, выбирайте якоря! Эй, вздымайте паруса! Бежим на Русь!

В лодье вопль, мятеж. А погода унялась. Над землей, над морем выяснило. Гореслав с товарищем выбежали на берег и смотрят это буйство в лодье… Лихослав управил лодью к морю, кормщик отымает управленье и воротит к берегу. Одни вздымают паруса, другие не дают.

Гореслав и закричал:

— Братцы, не оставьте нас! Доброхоты, не покиньте!

Лихослава этот крик будто с ног срезал: чаял, потеряется да околеет там, а он стоит как милый.

В злобе Лихослав забыл всю смуту в лодье. Он хватает лук и пускает в брата одну за другой три стрелы. Первая стрела, пущенная Лихославом в брата, утонула в море. Вторая жогнула Гореслава в голенище у бахил. Третья стрела прошила рукавицу и ладонь, когда Гореслав в ужасе прикрыл глаза рукою.

Сказанье говорит, что, видя это злодеянье, оцепенели море и земля, окаменели люди в лодье. А Гореслав, добрый, кроткий, стал престрашен. Он грозно простер окровавленные руки к морю и закричал с воплем крепким:

— Батюшко Океан, Студеное море! Сам и ныне рассуди меня с братом!

Будто гром, сгремел Океан в ответ Гореславу. Гнев учинил в море. Седой непомерный вал взвился над лодьей, подхватил Лихослава и унес его в бездну.

Утолился гнев Студеного моря. Лодья опрямилась, и люди опамятовались. Дивно было дружине, что все они живы и целы.

Гореслав ждал их, сидя на камне, с перевязанной рукой. Дружинники от мала до велика сошли на берег, поклонились Гореславу в землю и сказали:

— Господине, ты видел суд праведного моря. Теперь суди нас.

Гореслав встал, поклонился дружине тем же обычаем и сказал:

— Господо дружина! Все суды прошли, все суды кончились. А у меня с вами нету обиды.

С этой дружиной Гореслав и промышлял до старости. Дружина держала его в чести, а он их — в братстве.

Гость с Двины[62]

В Мурманском море, на перепутье от Русского берега к Варяжской горе, есть смятенное место. Под водою гряды камней, непроглядный туман, и над всем, над всем: над шумом прибоя, над плачем гагары и криками чайки — звучал здесь некогда нескончаемый звон.

Заслышав этот звон, остерегательный и оберегательный, русские мореходцы говорили:

— Этот колокол — варяжская честь.

Варяжане спорили:

— Нет, этот колокол — русская честь. Это голос русского гостя Андрея Двинянина.

Корабельные ребята любопытствовали:

— Что та варяжская честь? Кто тот Андрей Двинянин?

Статнее всех помнили о госте Андрее двинские поморы. Этот Андрей жил в те времена, когда по северным морям и берегам государил Новгород

---

[62] Notes: 62

Впервые опубликовано в сборнике «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959); в переработанном варианте переиздано в сборниках «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. *–Примеч. ред.*

Великий.

Андрей был членом пяточисленной дружины. Сообща промышляли зверя морского, белого медведя, моржа, песца. Сообща вели договоренный торг с городом скандинавским Ютта Варяжская.

В свой урочный год Андрей погружает в судно дорогой товар — меха и зуб моржовый. Благополучно переходит Гандвиг, Мурманское море и Варяжское. Причаливает у города Ютты. Явился в гильдию, сдал договоренный товар секретариусу и казначею. Сполна получил договоренную цену — пятьсот золотых скандинавских гривен. Отделав дела, Андрей назначил день и час обратного похода.

Вечером в канун отплытия Андрей шел по городской набережной. С моря наносило туман с дождем. Кругом было пусто и нелюдимо, и Андрей весьма удивился, увидев у причального столба одинокую женскую фигуру. Здесь обычно собирались гулящие. Эта женщина не похожа была на блудницу. Она стояла, как рабыня на торгу, склонив лицо, опустив руки. Ветер трепал ее косы и воскрылия черной, как бы вдовьей, одежды.

Андрей был строгого житья человек, но изящество этой женщины поразило его. Зная скандинавскую речь, Андрей спросил:

— Ты ждешь кого-то, госпожа?

Женщина молчала. Андрей взял ее за руку, привел в гостиницу, заказал в особой горнице стол. Женщина как переступила порог, так и стояла у дверей, склонив лицо, опустив руки. Не глядела ни на еду, ни на питье, не отвечала на вопросы.

Андрей посадил ее на постель, одной рукой обнял, другой поднес чашу вина:

— Испей, госпожа, согрейся.

Женщина вдруг ударила себя ладонями по лицу и зарыдала:

— Горе мне, горе! Увы мне, увы! Забыл меня Бог и добрые люди!

Беспомощное отчаяние было в ее рыданиях. Жалость, точно рогатина, ударила в сердце Андрея.

— Какое твое горе, госпожа? Скажи, не бойся! Я тебя не дотрону.

Переводя рыдания, женщина выговорила:

— По одеже твоей вижу, господине, ты русский мореходец. Мой муж тоже был мореходец.

— Был мореходец? — переспросил Андрей. — Ты вдовеешь, госпожа?

— Почти что вдовею. Мой муж брошен в темницу.

— За что же?

— Я расскажу тебе, господине. Мой муж с юно-

шеских лет ходил на здешних торговых судах. Когда мы поженились, загорелся он мыслью построить собственное суденышко. Сколько своими руками, столько помощью товарищей построен был кораблик, пригодный к заморскому плаванию. О, как мы радовались, господине! Тогда задумывает муж сходить в Готтский берег на ярмарку. Но где взять деньги на покупку прибыльного в Готтах товару? И опять судьба улыбнулась нам: здешняя гильдия дает моему мужу деньги в долг на срок — вернуть долг сполна по возвращении с Готтского берега. О, как мы радовались, господине! Днем муж закупал товар и погружал на судно. Ночами мы рассчитывали, сколько у нас останется прибыли по уплате долга в гильдию. Я не плакала, провожая мужа, я радовалась. Но пути божьи неисповедимы. Еще кораблик наш не дошел Готтского берега, налетела штормовая непогода. Кораблик нанесло на камни и разбило в щепы. Дорогой товар утонул.

Муж вернулся в Ютту бос и наг. По суду гильдии его бросили в темницу на срок, покуда не уплатит долга. Это было два года назад, господине.

Я осталась одна с двумя маленькими детьми. Надо было кормить мужа в темнице, прокармливать детей. Я стала работать у рыбного засола. С

рассвета до заката, на ветру, на снегу, на дожде. За труд платили рыбой. Голову варила и несла мужу, остальное доедала с детьми. Хлеб подавали соседи, добрые люди. И они же доводили меня до отчаяния. Всякий день я слышала: «Гордячка ты, бесстыдница! Рыбный засол не работа. Сама подохнешь и семью уморишь. Иди на пристань, торгуй своим телом, пока молода. Познатнее дамы торгуют любовью по нужде, а ты кто?»

С ужасом я слушала такие речи. Стать блудницей пропащей… Утопиться бы — и то нельзя: без меня замрут мои дорогие муж и дети. И вот сегодня город тонет в тумане. И я решила: вечером пойду и стану у пристани. В такую непогоду никто из горожан не ходит, никто моего позора не увидит. Меня, господине, ты и приметил у причального столба и привел сюда. Вот и все.

— Госпожа, как велик долг твоего мужа?

— Страшно вымолвить, господине: без малого сто золотых скандинавских гривен.

Андрей соображал:

«На нас, пятерых, я получил пятьсот гривен, по сто гривен на брата. Моей долей я волен распорядиться».

Он выговорил:

— Следуй за мной, госпожа.

Город накрыт был белесым туманом. Но Андрей шел быстро, уверенно. Женщина едва поспевала за ним. На спуске к пристаням еле блазнила древняя церквица. Андрей сказал:

— Стань, госпожа, в церковных воротах и не соступи с места. Жди меня. Я тотчас вернусь.

Как птица слепым полетом, в тумане, он побежал на свой корабль. Спустился в каюту, отомкнул ларец с общей казной, в кожаный кошель отсчитал сто золотых гривен. Спрятав кошель за пазуху, побежал обратно в город.

Женщина стояла в каменной нише, как изваяние. Андрей сказал:

— Я принес тебе нечто, госпожа. Но должен проводить тебя до дому.

— Господине, — отвечала женщина, — мой дом близко. Видишь, в конце улицы брезжит огонек. Это мой сынишка поставил на окне светильник, боится, чтобы мать не заблудилась.

Андрей все же проводил ее до дому.

— Теперь ты дома, госпожа. Вот, держи обеими руками этот кожаный кошель. В нем сто золотых гривен. Завтра утром иди в гильдию, объяви о себе секретариусу и казначею. Они примут гривны счетом и весом. Также выдадут тебе пергамент с печатями, что твой муж чист от всякого долга.

Завтра, до полудня, твой муж возвратится домой полноправно и свободно. А теперь прости, госпожа.

Сотворив поклон, Андрей зашагал обратно, и его накрыло туманом.

Тогда только женщина опомнилась, бросилась вслед Андрею и закричала:

— Господине, господине! Человек ты или ангел? От сотворения мира не слыхана такая великая и богатая милость!

Она бежала и кричала, но не знала, в какой переулок, к каким пристаням свернул Андрей, и крик ее был как крик чайки в море. Тогда женщина упала на дорогу и, рыдая и молясь, целовала следы Андреевых ног на сыром песке.

В ту же ночь, до утренних часов, Андреев корабль покинул Ютту Варяжскую и, открыв паруса, пошел в русскую сторону.

Оминув Варяжскую Гору, Андрей проходит море Мурманское и наконец, одолев жерло, достигает Двинской земли.

В сборной избе Андрей здравствуется с четырьмя своими товарищами. Справив поклоны, они спрашивают:

— Каково путь и торговлю справил, господине?

Андрей отвечал:

— Вашим счастьем, государи, бог дал все благополучно. В Ютте казначей и секретариус товар похвалили и договоренную цену уплатили, пятьсот гривен золотом свесили счетом и мерою.

Андрей поставил на стол ларец с золотом.

— Здесь, государи, только ваша доля — четыреста гривен золотом. Свою долю — сто гривен — я вынял и стратил.

— Суматоху говоришь, государь! Общая казна делится сообща. Никто из пайщиков не вправе выхватить из общей казны ни единой серебряной копейки. Ты, государь Андрей, поступил самочинно, самонравно, самовольно. Ты переступил Морской промышленный устав!

Ни единого слова покорного не приготовил Андрей своим товарищам. Вышел из горницы — так дверью двизнул, что изба дрогнула.

С этого дня и часа остуда легла меж Андреем и четырьмя его товарищами. Эта остуда была на руку соседственной артели. Артельный староста «подвесил Андрею лисий хвост»:

— Тебе, преименитому кормщику, не дозволено копейки взять из казны! Твоей бы дружине перед тобой на четвереньках бегать, а они свою ногу тебе на голову ставят. Переходи в нашу дружину.

Будешь над нами государить, а мы тебе будем в рот глядеть и от тебя слова ждать.

— Куда походите? — спросил Андрей.

— Зимовать на матку, на Новую Землю. Люди к походу готовы.

Андрей был крут на поворотах — дал согласие. Ушел на Новую Землю, не сказавшись, не спросившись со старыми своими товарищами. И те оскорблены были даже до слез: ушел, не простился!

На Новой Земле кормщик Андрей государил и осень, и зиму, и весну. Там в невечерний день к Андрею пришла та, которая говорит о себе: «Я — детям утеха, я — старым отдых, я — рабам свобода, я — трудящимся покой».

Андрея положили в каменном берегу, накрыли аспидной плитой. На плите высечена надпись: «Спит Андрей Двинянин, жда архангеловы трубы».

Эта весть об Андрее прилетела на Двину, и была печаль великая, и дружина плакала — ушел и нам прощенья не оставил.

Через четыре года по Андрееве исходе, значит через пять лет после его быванья в Ютте пришел на Двину скандинавский корабль, и хозяин корабля стал сыскивать об Андрее. В тот же вечер

встретился с Андреевой дружиной.

— Вы Андреева дружина. Вам должно принять эти гривны.

— Недостойны.

— Раздайте скудным, бедным людям.

— Не нашими руками раздавать. Тяжко нам будет получать спасибо за Андрееву милость.

Наконец сошлись на том, что надобно учредить память Андрею. А как Андрей был отменитый мореходец, то да будет память его знатна и слышна в морском сословии.

— Наша Двина ходит промышлять рыбу в Западный Мурман, близ Бусой салмы. Это место вы, скандинавы, зовете «Жилище туманов», и Андрей мечтал учредить здесь остерегательный звон.

— Быть по сему, — отозвался варяженин. — Я в эту же зиму вылью колокол и весной, на Троицу, привезу кораблем.

— Быть по сему, — отвечали двиняне. — Мы явимся на Мурман раньше тебя и к Троицыну дню возведем на Бусой вараке столп-звонницу. Еще кладем на тебя заповедь, государь варяженин. По ободу, по краю колокола, вылей сей стих: «Малый устав преступив, исполнил великую заповедь».

Как пообещал варяженин, так и учинил. Сыскались в Скандинавии искусные мастера-

литейщики. Вылили из меди, олова и серебра художный колокол. Только стих, завещанный двинянами, вылили латинской речью. По тому же латинскому обычаю колокол был окрещен и наречен Андреем.

Весною, когда полетели в русскую сторону гуси, гагары и утята, варяженин погрузил колокол на свой корабль и, вслед за птицей, пошел в русский ветер.

В эту пору стоит на Мурмане беззакатный день и берега грезят и манят в великой прозрачности.

Варяженин видит Бусую вараку в полном лике: на вершине возведена звонница новгородским обычаем, но в один пролет.

Варяженин трубит в рог, и Русь трубит ответно. Колокол вздымали на гору на моржовых ремнях, всем народом.

Звон был учрежден западным обычаем: в пролете, в железных гнездах, ходила дубовая матица. В матицу врощены уши колокола. От ушей спущены до земли ременные вожжи. Звонарь, стоя на земле, управлял вожжами. Матица начинала ворочаться, раскачивая колокол. Колокол летал в пролете, язык бил свободно, рождая звук певучий, грозный и жалобный.

Это звенящее нескончаемое пение носилось

по океану триста лет. И проходящие мореходцы поколение поколением поминали гостя Андрея с Двины и гостя Варяженина.

После этих времен дошел день и час, колокол зазвонил сам собою, ужасая слышавших.

«Последи же бысть трясение земли о Западный берег Мурмана».

Тряхнуло гору в Кольской губе, дрогнула Бусая варака, качнулась звонница. Колокол, звеня и рыдая, как птица слетел в глубину морскую. Но и в начале нынешнего столетия мореходцы уверяли, что звенит Андреев колокол и на дне моря-океана.

София Новгородская[63]

Сказанье о Софии «вытвердил по книгам» М. О. Лоушкин. Со слов Лоушкина вытвердил этот рассказ и я.

Видно, что новгородцы были не худого о себе понятия, если даже хозяйственную свою статистику поручили вести божеству.

Известно, что о московской вере, о московских святых новгородцы отзывались с кислецой. Впрочем, оговаривались:

— Никого не боимся, только Рыжебородого боимся. — Под Рыжебородым они разумели Сергия Радонежского, одного из организаторов русского национального сознания.

Но собирательница Руси, Москва, в конце концов похвалилась:

— Московские чудотворцы перекокали новгородских!

По слову Великого Новгорода шли промышленные лодьи во все концы Студеного Моря-Океана.

---

[63] Notes: 63

Впервые опубликовано — вместе с двумя следующими рассказами, «Феодорит Кольский» и «Ингвар», — в сборнике «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967). *–Примеч. ред.*

Лодьи Гостева сына Ивана ушли дальше всех. Гостев осследил нехоженый берег. Тут поставил крест, и избу, и амбары. Учредился промысел, уставился ход лодейный, урочный. Лодьи с промыслом Гостев сам вздымал до Русского берега. В урочные годы допровадит товар и до Новгорода. Отделав дела, пойдет в соборную божницу кланяться божьей мудрости Софии Новгородской. Да и опять к морю, опять ветры-туманы, паруса да снасти.

Вечно ходит солнце со встока в запад. Гуси и гагары с теплом летят в север, с холодами — в юг.

Тем же обычаем сорок лет мерил Гостев Иван неизмерное море. Сочти этот путь и труд человеческий!

Уже честная седина пала в бороду Гостева, и тут прямой его ум исказила поперечная дума: «Берег я прибрал себе самый удаленный, путь туда грубый и долгий. Не сыскать ли промысел поближе, чтобы дорога была покороче...»

В таком смятении ума стоит Гостев у кормила лодейного: «Кому надобны неиссчетные версты моих путеплаваний? Кто сочтет морской путь и морской труд?»

...Перед глазами бескрайное море, волны рядами-грядами. И видит Гостев: у середовой мачты

стоит огнезрачная девица. У нее огненные крылья и венец, на ней багряница, истканная молниями. Она что-то считает вслух и счет списывает в золотую книгу.

— Кто ты, о госпожа? — ужаснулся Гостев. — Что ты считаешь и что пишешь?

Девица повернула к Гостеву свое огненное лицо. Ответ ее был как бы говор многих вод:

— Я премудрость Божья, София Новгородская. Я считаю версты твоего морского хода. О кормщик! Всякая верста твоих походов счислена, и все пути твоих лодей исчислены и списаны в книгу жизни Великого Новгорода.

— Ежели так, о госпожа, — воскликнул Гостев, — то и дальше дальних берегов пойду и пути лодей моих удвою!

Феодорит Кольский

Лопин век скитался с родом своим меж Русью и Датской. Летами он призажился и годами призабрался. По душу лопина пришла Смерть. Лопин говорит:

— Я жил непокрытую жизнь, но хочу, чтобы кости мои покрыла родная земля, отеческая.

Смерть спрашивает:

— Где твоя родная земля? Где твое отечество?

Лопин говорит:

— Я век свой скитался меж Русью и Датской. О Смерть, дай мне сроку семь дней. Я обдумаю место, где мне спать вековечным сном.

Смерть дала ему срок. Он спрашивает своих детей и внуков-правнуков:

— К какой земле мне приложиться?

Род-племя говорит:

— Не спросить ли Феодорита Русского? Он широко ходит.

Лопина и привезли в кережке в Русский берег, где тогда ходил Феодорит. Лопин рассказал свое недоуменье. Феодорит сказал:

— Добро тебе и роду твоему сообщиться с Русью, добро тебе и роду твоему и приложиться к язы-

кам всея Руси.

Смерть пришла и спрашивает:

— Ну, старик, в какой земле рассудил помереть?

Лопин говорит:

— На что спрашиваешь? Здесь хочу, родной землей покрыться.

Смерть говорит:

— Знал ты, лопин, с кем подумать! Кабы ты сдумал на Датскую сторону, то бы и род твой без имени остался, и твоя память в забвение пришла.

Ингвар

В Соловецке при игумене Филиппе жил инок Ингвар, или Игорь, родом свеянин, швед. По старым памятям рассказывают так.

Свейский карбас — шесть рядовых, седьмой шкипер Ингвар — шел в Соловецкое море. Для какой потребы шли, не ведаем. Может, что купить или продать. Будучи нетверды в соловецком знании, потеряли путь и пристали в Тонскую деревню. Шкипер приказал товарищам остаться в карбасе, а сам пошел в конец деревни спрашивать вожа. Дружина, мимо слова шкипера, тотчас побежала на другой конец деревни. Свеян было мало, но и в деревне мужеского полку не было. Только бабки с мелкими ребятами. Во все лето с дальних наволоков не оказывало дыму, и люди неопасно разошлись на промыслы.

Свеи начали ломать запоры у анбара. Завопили бабки, ребятишки подняли неизреченный рев. Шкипер Ингвар это слышит, ухватил железный лом и прибежал к разбою.

Увидя, что его товарищи шибают о землю ребят, стегают воющих старух и кидают из анбаре кожи, обувь, сбрую и холсты, Ингвар стал бла-

гословлять грабежников железным ломом. Бил по головам и по зубам. И гонил их из деревни, посылая ломом. Один из грабежников увернулся и ударил шкипера в лоб камнем. Ингвар повалился заубито. Товарищи его вскочили в карбас и угребли из виду.

Старухи привели Ингвара в действие и, забывши страх, стали жалеть его, как внука.

Весть о свейском нагоне полетела далеко. Пришли из Сумского посада в Тонскую деревню приставы и взяли Ингвара. Также было велено имать свидетелей. Вся деревня лезла во свидетели. Отобрали десять старых бабок, самых мудрых и речистых.

Тонская деревня была соловецкой вотчиной и подлежала монастырскому суду. Ингвара судил случившийся в Суме игумен Филипп Колычев.

Дьяк объявил, что шестерых бежавших в море свеян Бог нашел своим судом. Только-де шесть свейских рукавиц, с одной руки, море выплеснуло на берег. Затем тонские свидетели заявили, что хотя судимый и явился с лиходеями, но оказался добрым человеком. И его-де надо не судить, а миловать. Судья Филипп сказал:

— Правда то, что Ингвар заступался за обидимых, не щадя и своей жизни. Но есть и кривда:

почему ты, Ингвар, добрый, сердобольный человек, пошел в товарищах с людьми лихими?

— Господине, — отвечал Ингвар, — все у нас затеяно бахвальством, все чинилось без ума. Но молю вас всех: не кляните их, моих товарищей, а меня не величайте добрым человеком.

Судья Филипп говорит:

— Сердце твое детское, и речи у тебя как у младенца. Ты говоришь: «Не вредите мое сердце, не поминайте мне товарищей». Лучше бы тебе о том поплакать, что из-за таких товарищей про всю вашу породу свейскую слава в мире носится самая зазорная!.. Думаю, Ингвар, что на родину тебе нельзя являться?

Ингвар говорит:

— Господине, я хочу прижаться к русским людям. Возьми меня к себе, в какой чин хочешь.

Ингвар принял в Соловецке имя Игоря.

Тут и помер в старости. И память по себе оставил — «сердобольный Игорь».

Были

Кроткая вода[64]

Несколько лет назад, читая о четырех советских солдатах, попавших «в относ» в Тихом океане, вспомнил я одну старую «мирскую оказию».

Читатель, мне кажется, без комментариев оценит разницу между старым временем и новым: в прежние времена погибавших поморов никто не искал, никто не писал о них.

Архангельские поморы, бывало, хвалились: «Морскую беду терпеть нам не диво, но когда что за обычай, то весьма сносно».

«Гибельные случаи» из своей жизни поморы иногда закрепляли в своих записных книжках.

Устный рассказ помора о своей беде всегда поэтично-образен. Но стоит ему взять перо, он, стесняясь просторечия, пишет как бы «донесение по начальству». Такой полицейский протокол написал о себе и талантливейший Афанасий Тячкин, от лица которого и ведется рассказ «Кроткая

---

[64] Notes: 64

Впервые опубликовано в сборнике «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1961) и переиздано в сборнике «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. *–Примеч. ред.*

вода»[65].

В 1915 году это протокольно-деловитое донесение разыскала и опубликовала артистка О. Э. Озаровская. Между тем внуки Тячкина сохранили в памяти живые детали устного рассказа своего деда. Их воспоминания и послужили основой предлагаемого читателю рассказа «Кроткая вода».

Мы, жители посада Неноксы, знаем ветер, и воду, и всякую морскую примету.

Но был гибельный случай, над которым я и при старости лет вздыхаю и говорю: море — измена лютая.

В тот там год весной, еще в море льдина погуливала, пришли мы в Архангельск купить жита для посева.

На шестое мая заря всю ночь была многокровавая, а у нас договоренность плыть домой. В карбасе народу двадцать два человека, а жита двести пудов. Приятель мой, Мирон Кологреев, говорит:

— Ошалеть надо, чтобы с эким грузом в море напускаться.

Карбасник говорит:

---

[65] Notes: 65

Попавшие в морской унос поморы спасались в «час кроткой воды», то есть во время отливного течения.

— Ты и не плавай. Нам и без тебя не тоскливо.

Грамотница Дарья кудемская говорит:

— Чем ругаться, сходите поставьте свещу Николе Морскому.

Мы пошли в часовню, свещи затеплили, цену положили, обратно идем, а старец-свещник под берегом сидит у котла с ковшом и кричит:

— Ей вы, утопленники, идите пиво пробовать никольское!

Мы говорим:

— Отче, благослови путь.

Он ковшом взмахнул и запел:

— Непорочнии в путь. Аллилуйя…

Мы это в карбасе рассказали. Одни рассмеялись, другие смутились:

— Ведь это он погребальную кафизму запел…

В море выплыли Никольским устьем. Точно из воды выстал белокаменный Никола.

Тут на веках потонули два сына новгородской посадницы Марфы. Она и поставила мореходную примету: белокаменный Никола, как лебедь, одно крыло распустил на север, другое — на полдень.

Карбас грузен, а под парусом ходко бежит. Уж от берега верст за пять были, и тут ветер стал чернеть. В корму поддаст шелоник, а в лицо ему всток. Волна пошла несурядна. Кологреев правил

волне вразрез, а правый борт накрыла волна со встока. В каюте вода, в корме того больше. За помпы схватились — помпы не действуют. У карбаса то нос в небо взлетит, то корма кверху. Что тут делать? Надо воду лить, баб от реву унимать…

Парус не поспели обронить.

Бабы взвыли:

— Святитель Никола, убавь воды!

Мужики кричат:

— Ройте жито в воду!

Схватились мешки в море свистать, но той же минуты ветер стегнул в парус, и суденко наше опрокинулось вверх дном, раз за разом, трижды. Сильно страшно: вверх колодой переворачивало. И груз и людей единым мгновением вымыло из карбаса, как сор из чашки.

О, коль тошно человеку водою конец принимать! Я, Афанасий Тячкин, всплыл из-под карбаса возле самый борт. Карбас лежит на водах боком: мачта с реей и парусом не дают ему обвернуться вверх колодой-килем.

Ухватясь за обшивку, я вытянулся за борт, а из-под карбаса вынесло Мирона Кологреева. Я ухватил Мирона за волосы и подал руку. В тот же миг карбасник наш, чая спасения, схватил Мирона за ногу, и толь несоблюдно, что сдернул

с ноги, с левой, сапог и унес в пучину моря.

Еще разом выстали из воды, возле карбаса, братишко мой Степка и Лукьян Лгалов. Степка сам залягнулся ногами на сухой борт, а Лукьяна выудил Кологреев.

Еще сколько-то держалась на водах Дарья Ивановна, грамотница из Кудьмы. Сарафан широко спузырился и не дает тонуть.

Но не успели ахнуть, как она, махнув бахилами, исчезла в бездне.

И вот мы четверо посреди смертей многих. Пособить бы, да некак, помочь бы, да нечем.

А нас, четырех, понесло вниз и к вечеру спустило до Летних гор. Несло в великой нужде: карбас на боку, волна ударит, нас ледяной водой полощет, зубов сцепить не можем.

Как вода пошла на прибыль, и наше суденко покорно плывет в обратный путь. Верст за пятнадцать подносило к родному берегу. Видели Ненокотскую вараку и белый Климент на ней. Тогда Кологреев говорит мне:

— Ты, Афоня, в грамоту горазд. На тебе шило. Напиши память.

Сроду этак никто не писывал, как я, — уцепясь ногами за борт, головой вниз, рукой буква за буквой царапаю на обшивке. И о долгах было

писано: кому что отдать и с кого что взять.

Опять часы дошли, и кроткая вода понесла нас вниз, попутные воде летние ветры управили карбас на середину моря. При конце убылых часов завидели Терский берег. Там еще снег белел. Загорелась надежда зачалиться за льдинку и вылезти на гору. Но ударил с Терских гор ветер, а теченье пошло на прибыль… Нас понесло обратно и стало осаживать во всток, в Зимнее море.

Только глазами ели берег-то… Жажда нас томила. Выудили льдинку, пососали: как полынь горька. И опять вздохнула грудь морская. Прибыль сменилась на убылую воду. Палая вода стала нас осаживать вниз, но несет ближе к земле, и находимся от берега в семи верстах. Однако вешние воды с Двины садят о Зимний берег сильно и неодержимо. И мы сказали друг другу:

— Ежели за этот берег не захватимся, то полетим вниз и в океане пропадем.

Чтобы как-нибудь прибарахтаться к берегу, надо было обронить мачту с реей и парусом, которые держали судно на боку.

Вот ведь злое горе! Дома, хоть в избе, хоть во дворе, завсегда топор за поясом и нож у пазухи, а в грозном море оказались с голыми руками. Но усилились, и отогнули железные обоймы, и

развязали, ногтями да зубами, бортовые снасти-крепи. Но мачту еще сдерживает штак — снасть, протянутая от верхушки к носу. Благо ночи светлые, и мы, раздеваясь догола, по очереди лезем в ледяную воду, от носового корга этот штак отвязывать.

Восьмого мая штак был отвязан. Той же минуты мачта выпрянула из своего гнезда, и той же секунды карбас обвернулся вверх колодой-килем. А мы, все четверо, разом ухнули в воду. Но скорополучно вычарапались на днище и сдумали думу: обвернуть карбас как следует. Для сей акции уперлись коленями в киль, а руками в воде по локоть ухватились за борт и тянули на себя. И толь ловко преуспели, что, обвернувшись, карбас чуть нас не утопил. Но опять вынырнули и залезли в карбас. Сели, в воде по пояс, двое с той и двое с другой стороны. Сняли по сапогу, стали воду отливать. Воды не убывает: взводень через ходит. Между тем теченье гонит мимо берег, ждать некогда.

Отодрали от поддона две доски матерых. Зачали грести и задаваться в берег. А Кологреев у руля. Румпель утерялся, и Кологреев держит руль в охапке. А мы изо всей мочи гребем, действуем досками. А сами ведь по грудь и по пояс в воде.

Девятого мая, раным-рано поутру, шаркнул наш карбас по прибрежному песку — хрящу. Выбрели на землю, пали, поклонились трижды. Напились водицы из ручья, сели на сухом на бережку, поплакали от радости.

Место, на которое мы вышли, находится в половине Зимнего берега и называется Добрыниха. Рассудили, что разумнее всего идти в Зимнюю Золотицу. Кологреев, глядя на меня и на Лгалова, вздохнул:

— Справите ли, осудари, экой путь?

Я действительно при утоплении разбил себе колени, а Лгалов оскудел всем телом, но и у Мирона одна нога была босая. Я говорю:

— Хоть ползунком ползти, а в Золотице быть.

Пошли мы берегом, брели водою, вязли в глинах.

Лезли мы через наносный хлам, ползли по глиняным оплавинам. Изваляемся, как куклы глиняные. И везде ручьи гремят, как добрые жеребцы ржут. Так дошли до становища Лысунова: крест, изба, амбар. И — безлюдье. В избе на блюде — кости рыбьи прошлогодние, мы пожевали. И уснули, будто люди, в доме; на лавках, будто господа какие.

Дальше путь пошел до наволока Вепрь. А по-

года взялась ненастлива: сито с дождем. Мы с Лукьяном Лгаловым под руку ведем друг друга. Кологреев в Лысунове полотенце драное нашел, босую ногу завернул. Лукьян шутит:

— Чем так идти, поедем друг на дружке попеременно. Ты, Афонасий, садись на Мирона, я сяду на Степку. Час проедем и сменимся.

Кологреев смеется:

— Я боюсь, Афонька и Лукьян зачнут скакать. Мы упадем, убьемся…

Дошли до наволока Вепрь. На полугоре часовня древняя, и божество в ней древнее. Лестно было постоять. У иконы воск нашли и пожевали. Нам досадно было, что ни в одной избушке на странных, на людей терпящих припасу никакого не оставлено. Но — год был скудный.

В часовне и обночевали. Сон отрясли — утро ясное, холодное. Опять бредем, идем песками прибрежными. Пески зыбучие, мы еле ноги перекладываем.

Этак о полдень привалились на песок, забылись… Вдруг чайка надлетела, звонко крикнула. Мы прохватились, а невдалеке от берега бежит судно поморское под парусами.

Мы по берегу забегали, закричали, замолились. Видим: на судне паруса убавляют, лодку спу-

щают. Кормщик и хозяин судна, дошед до нас, спрашивают:

— Вы какие?

— Осудари корабельщики, не оставьте нас, губительных людей!

Без дальних расспросов в лодку они нам забраться помогли, а из лодки на судно затянули. Далее спрашивают:

— Куда вы попадали?

— В Золотицу в Зимнюю.

Они говорят:

— В Золотицу вас доставим. А теперь выпейте, поешьте

и усните.

Тут нам несут уху горячую, и хлебы мягкие, и вина по чайной чашке.

Судно к Золотице подошло, а у меня и у Лукьяна ноги ничего не понимают. Доброхоты-корабельщики нас в деревню на руках снесли.

Золотицкий староста хотел нас положить к себе, но житель Степан Субботин отпросил нас в свой дом. Тут доброхоты-корабельщики прощаются, торопятся на судно.

Мы их только тем отблагодарили, что в ноги пали со слезами.

В Золотицу мы пришли одиннадцатого мая. Мы приметили, что люд одет нарядно и поют девицы. Здесь был престольный праздник — Троица.

Хозяин наш Степан Субботин нас зовет к гостям. Мы подивились:

— Степан Иванович, какие же мы гости?!

Он говорит:

— Самые дорогие: нынче я вас, потерпевших, принимаю, а в иное время сам могу попасть в морской унос. Тогда вы меня не оставьте.

Прихаживал к нам и золотицкий старшина. Он советовал:

— Вам веселее будет попадать домой через Архангельск. Когда поотдохнете, я наряжу под вас карбас.

Преудивленный человек Степан Субботин держал нас десять дней. Нами беспокоился и нас воспитывал, как отец родной. Приводил знающих старух, которые определили, что я болею от простуды, а Лгалов от кручины.

Двадцатого мая мы выплыли из Зимней Золотицы на казенном карбасе. Из Архангельска поехали домой на конях.

Узнали, что, когда еще нас четверых носило по морю, в Неноксу уж прилетела гибельная весть и велик был плач с рыданьем.

В относе морском[66]

В основу рассказа положен действительный случай спасения унесенных на льдине зверопромышленников.

Про нашу жизнь промысловую послушаешь, так удивишься, удивишься и устрашишься. Расскажу про себя, про сынишку моего и про брата, как мы на промысел пошли и в какую беду попали.

Беды терпеть да погибать помору не диво. Море — измена лютая. Спроси того-другого робенка в Поморье: «Где тата?» — скажет: «Вода взяла».

...Море нас поит, кормит, море и погребает... А мы вот от морской напасти спаслись, и таким ли дивом спаслись, дак всю жизнь на другу сторону

---

[66] Notes: 66

В периодике рассказ публиковался под разными названиями: «Поморская быль: Рассказ помора» — в журналах «Литературный современник» (декабрь 1933 г.) и «Костер» (июнь 1933 г.), «Беломорская быль» — в журналах «Юный натуралист» (июнь 1933 г.) и «Костер» (февраль 1934 г.), «В относе морском» — в газете «Известия» (14 апреля 1934 г.). Под этим последним названием включен в сборники «У песенных рек» (М.: Гослитиздат, 1939), «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947), «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957), «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. *–Примеч. ред.*

повернуло.

Мы — Белого моря, Зимнего берега народ. Коренные зверобои-промышленники, тюленью породу бьем. В тридцатом году от государства предложили промышлять коллективами. Представят-де и ледокольной пароход. Условия народу были подходящи. Зашли кто в артель, кто на ледокол.

А я да брат старший Егор Иванович не то что на ледокол, а из своей артели убежали.

Сынишко мой Олександр в колхоз бы любил, да отчишку с дядей перечить не посмел.

Стретенева дня дождались: стали флюгера полуношник-ветер сказывать — норд-ост. Зачали наши деревни на промысел снаряжаться. Тюленьи женки в эту пору детей народят, стада зверины на отдых повалятся, и это богатство полунощник к нашему берегу льдинами притянет.

Мы, значит, троима срядились. Лодочку доспели на креньях, погрузили дровец, хлеба, котелок, пики, обулись, оделись по-промысловому, с племенем простились и поволоклись.

Сутки горой шли, други сутки — припаем береговым. На льду и огонек разведем, поедим и выспимся, лодочкой накрывшись. Путь вороны казали: на зверя же летели. На третий день бе-

реговой лед кончился, пошла раздельна льдина. Беда беду родит — встречу полунощнику из-за горы побережник-ветер выскочил. Зачали друг другу в лицо мокрым снегом плевать.

Опасен в эту пору побережник: он лед от берега отдирает, нашего брата в море уносит…

Остановились, глядим на своего юровщика:

— Егор Иванович, что велишь?

Он шапку снял, ветра пытает: то ту, то другу щеку подставит. А ветер явно с горы, в спину. И Егор командует:

— Заворачивай обратно! Сей день напромышлялись!

А Олексишко забежал на торос на высокой и вопит:

— Дядя! Татка! Юрово!! О, коль велико!

Мы охотники природны. Петухом сердца-ти запели. Выстали на льдину, а в полуверсте зверя-то как дров! И любо на них глядеть: посередине матки лежат с робятами. Как бабы в бане, гладят их, моют, плавать учат. Ежели робенок капризит, мамка его и круто в море роет. Кругом, как стена нерушима, ограда крепка — самцы-лысуны…

— Егор Иванович, что велишь?!

— Играть давайте!

Значит, надо нам зверины ухватки принять,

зверем притвориться. Он нас видит, пущай на своих думает.

Лезем на юрово, по душу его морскую, рукавицами гребем, задом подхватываем, головами покачиваем — как есть тюлени! Спину ломит, колени отпали, а любо это и весело!

Вот мы приехали. Душина от них! Глядят, говорят меж собой, что-де ихнего полку прибыло… Тут мы прянули на зверя, как волки. Пика свистнула, да кровь пробрызнула. Песню поморским обычаем завели:

Сила земна,
Сила водяна,
Земна толщина,
Морска глубина!
Зверь идет,
Зверя ведет!
Четыре ветра,
Четыре вихря.
Ходит сила
Из жилы в жилу.
Зверь идет,
Зверя ведет!

День с ночью,
Медь с кровью.
Стрела калена,
Тетива шелкова.
Зверь идет,
Зверя ведет!

Тюлень упал, и другой — твой, и третий опрокинулся. Любо это и весело. Зверь ревет, мы поем, охота нами обовладела. Знай железо блестит, кровь свистит да туши ложатся…

И тут как пологом побоище завесило — снег стеной повалил. Опомнились:

— Егор Иванович, что велишь?

А ветер-от с горы да с горы. Не знаем, когда он полунощника одолел. И льдина под ногами завизжала, не любит тоже в море идти. Егор кричит:

— Кидай все, попадай к горе на пиках!

Не бежим — летим. И чуем: не стоит лед-от, гонит его разбойный ветер. Полынью перемахнули, другу перескочили и — аминь… Поперек разводье легло велико, широко, как река. Вода чернил чернее, а мы бумаги белее. Где стояли, тут и пали. Конец нам…

И мой Олександр затрясся и меня с дядей — черной бранью… Последнее слово кинул:

— Пошто с народом не пошли! От людей бы нас унесло, телеграмм бы наподавали на ледокол, по маякам!

Егору нельзя духом падать — он юровщик:

— Еще не ревите, еще не конец! Буде, во своем море останемся, всяко нас к тому ли, к другому берегу прикачает.

До вечера ни единым словом меж себя не перещелконули.

Ночь передремали, утром по окольным льдинкам с полдесятка зверя нашли убитого, тюленины пожевали: душная она, рвало нас. Заместо воды — снег. А тюленьи тушки — и постель, и окутка.

На другой день показало Летние горы. Лодкой достали бы берега…

На третий день мы наревелись — жаланненьки Зимние горы в глазах были. Чалились мы за лед, всяко к берегу прибарахтывались. Да где тут!..

Потом трое сутки — лед, да небо, да вода. Лед, да небо, да вода… Всего семь дней, семь ночей в Белом море кружало.

Дале туманами шли сутки, не знали где. А ночь привелась звездна, по звездам прочитали, что шествие льда — на полночь, в океан. Опять Олексишко воет, опять на меня тоска, опять Егор утешает:

— Еще не тужите, еще не конец, еще не смерть! На свету Горлом беломорским пойдем, должны нас с маяков оприметить.

Утро серое взялось со снегом. Влево Лопский берег чернел. Мы до сумерек кричали. На пику рубаху повесили, махали. Никто не услышал, никто не увидел. Только нерпы в воду булькают. Брат лысуна заколол, в распоротом брюхе ноги грели.

Мы с братом каждый про себя знали, что, чем скорей замерзнуть, тем бы краше, но ради парнишки показывали вид надежды.

В Горловине заторами неволило нас пять ден. А лед мелок, не несет человека. Беда беду родит: ноги натекли, у рук персты опухли, с тюленины душу воротит, знобит — все бы спал. Докучаю брату:

— Это конец. Цинга пришла, черна смерть…

Он как стукнет меня по шее:

— Это простуда! Еще не смерть, еще не конец!

На двенадцаты сутки бедствия вынесло нас в Ледовитый океан. А нам все одно — только бы крепче заснуть. И уснули бы вечным сном, да двинуло торосом становым. Наша льдина лопнула. Тут разбудились, прянули на ноги:

— Егор Иванович, что велишь?!

Он огляделся: во все стороны развеличился

окиян-батюшко…

Снял наш юровщик шапку и выговорил:

— Брат, племянник!.. Смерточка пришла!

Подает из сумки сверток мне, парню, себе:

— Хранил для торжественного дня. Сей день приходит.

Развертываем. У каждого рубаха смертная долгая, саван с кукулем, венец на голову, лестовка полотняная.

Я заплакал, кланяюсь:

— Благодарствую, братец Егор Иванович, что подумал да позаботился, срядил нас в жизнь бесконечную.

А Олександр недоумевает:

— Дядя, разве ты знал, что мы помрем?!

Брат говорит:

— Дитя, вековечной это поморской обычай — смертную одежду в море брать.

Умылись мы, волосы, бороды расчесали, обрядились в рубахи, в саваны, в венцы. Поклонились под южной ветер в родиму сторонушку, с желанными простились.

Великим падежом пал Олексишко да запричитал:

— Мила моя матушка, знаешь ли, что сына во гроб наладили? Желанна невеста Катенька,

осталась у нас с тобой игра не доиграна! Дорогой подруг Герман Олегович, песенка наша не допета!

Обычай родительской — детищу своему живота, здоровья хотеть, а я тогда сыну одинакому смерточки скорей молил.

Отошел отпев, стали мы друг другу в очи глядеть на последнее прощание. Нагляделись, тогда — обычаем мертвых — глухо заокутали себе лица саванным наголовьем. Легли. И учало нас затягивать в смертные сны…

Часы прошли или минуты, услышал я звон явно, близко. Говорю:

— Брат, слышишь звон?

Он как со сна:

— Это тебе к смерти, брат. Помирай дале.

Дале я забылся… Да вдруг в самые уши гремит, гудит!.. Дрогнул я, сдернул кукуль, а над головами-то… аэроплан!!! Не блазнит ли? Не привиденье ли? Нет, кружит, трещит… Схватил я пику, машусь да реву:

— Пособите, пособите!!

И парнишко мой:

— Батюшки, миленькие, пособите!

А оно скружило над нами два накона и потерялось…

О, горе взяло!.. Лучше бы не казался, надеждой не манил.

Эту ночь наборолся я с Олександрушком моим.

Кричит:

— Дядя или тата! Заколите меня пикой!

Топиться лез. И бил я его, и обымал, и опять бил, и плакал над ним.

А о полдень, как рог серебряный, запел над нами аэроплан.

Мы скакать, мы реветь:

— Помогите!!! Пособите!!!

Что же далее?.. Кружит машина ниже да ниже, да надлетела над нами и выронила посылку. Мы опять:

— Товарищи! Возьмите нас!

Они не слышат. Улетели птичкой.

Посылка в воду пала, пикой добыли. Там консервов две коробки, в каждой фунта по три, сухарей кил пять, мазь кака-та, морошки банка. Вот сколь люди внимательны — морошечки послали! И письмо. Письмо сто раз на дню читали:

«Товарищи! Мы вчера оприметили вас и опять прилетели с ледокола, который подвигается теперь в вашу сторону. На аэроплан принять вас не можем для того, что льдина мала для разгону. Но мы вас не оставим».

Ну, ожили мы, воскресли. Шабаш помирать-то! Хлебу рады, письму рады. Холоду опять оберегаемся, больших торосов хранимся, орудуем пиками сидя да лежа. Ногами уж так себе владели. Однако ждать да погонять — нет того хуже: разводьем плывем — боимся, что от парохода утеряемся; в затор попадем — тужим, что пароходу не пробиться.

Однажды как бы стрельбу услышали, еще машину почули. С той поры без отдыха блазнило: то дымом пахнет, то мотор стучит. Без дня неделю этак… Извелись!

В последнюю ночь сменный ветер пал. Торос на торос лезет, визгу, грому… Тут и свисток донесло, и дымом запахло. И метелица нас заносит. Остатню силушку собираем, чтобы не угаснуть.

Но как обутрело, тишина стала в мире, и мы головы подняли из-под снегу. Пароход стоит саженях во ста…

Обезумели от радости. Кричим, как на лошадь:

— Тпру! Тпру!

Да ползунком по льдинам-то. И с парохода нас увидали, свисток дали, трап спустили.

Пароходские нас под руки принять хотят, а мы «ура» кричим да им в ноги падаем.

По трапу сами взняться не могли, нас носком

занесли. Тут раздели, тут в тепло положили, рому поднесли норвецкого. Сам капитан Владимир Иванович Воронин обихаживал за доктора. Он воспитывал нас и беспокоился нами, как отец родной[67].

Ден через десяток я с сынишком помогали, чем могли, на пароходе. Брат Егор до весны в мурманской больнице немог. На другой год мы втроем на этот ледокол в коллектив зашли.

Всего погибали мы в относе морском восемнадцать ден. Семь ден в Белом море, пять ден в Горловине, шесть ден в окияне.

---

[67] Notes: 67
Капитан В. И. Воронин командовал тогда ледоколом «Седов».

Матвеева радость[68]

На новой беломорской верфи расхвастались старые поморы, кто в жизни больше работы унес.

Матвей Иванов Корельской сказывал:

— Родился я в Корельском посаде, на морском бережку. Отец был корелянин, мать русская. Род наш на Мурмане, у Семи островов, промышлял. Отец там и утонул. Матка стала поденщичать в людях. Года за два до смерти робить не замогла, по миру пошла и меня с собой повела.

Шести лет начал я скитаться по чужим дворам один-одинешенек. Лохмотья с плеч валятся, колени в дыры выглядывают. О, горе сиротам! Каждому в глаза гляди, каждого надо бояться…

В такой маете, в такой позоре́ и вырос. О празднике молодежь на улицу пойдет петь, гулять, играть, а я в лес побежу, чтобы моих трепков да грязи не увидели.

---

[68] Notes: 68

Впервые опубликовано в журнале «Колхозник» в июле 1938 г. и включено в сборники «У песенных рек» (М.: Гослитиздат, 1939), «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947), «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957), «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. *–Примеч. ред.*

Весь я пристыдился. Так уж и привык, что мое счастье — дождь да ненастье.

Двенадцати годов ушел я на Мурман в зуйки. Ведь я не на смех родился. Работы я не боялся.

Три лета в зуйках ходил. Ушел на Мурман бос и наг, в три навигации стал на человека похож и голову поднял. Может, думаю, и я не хуже других.

И загорела у меня, у сиротины, душа в люди выбиться. Зачал я у вывозки, у выгрузки работу ломить.

У меня такой ум-от обозначился — нать свое нажить. Сверстные ребята наряжаются, а я убогой лопарской малицы не сменяю. Копейки, значит, выколачиваю. Молодой, а задорной стал: давно ли с сумой бегал, а теперь задумал карбас, свою промыслову посудину, строить.

Нам, поморам, море — поилец, кормилец. Но море даст, что возьмешь. А чтобы взять, надо суденышко. Без своей посудины, хоть самой утлой, помор не добытчик, а раб богачу. Смала я это понял и терпеть не мог. Редкую ночь суденышко мое мне не снилось: вижу, будто промышляю на нем и рыбы — выше бортов.

Год за годом двенадцать лет медными копейками собирал Матюшка Корелянин, сколько нужно на карбас.

До тонкости у меня было все сосчитано, что возьмут за доски, за гвозди, за снасти, за работу. Насчет матерьяла с лопью договорился, мастера в Коле нашел.

Люди строят к весне, а я, как деньжонки собрались, осенью построился. Карбас недолго сошить. Карбас работали, как именинницу сряжали. Я на работу как в гости ходил.

Время бы к снегу, а молодой «хозяин» новым-то суденком подрядился триста пудов жита в Норвегу доставить. Моря бойся пуще осенью, а молодецкое сердце зарывчиво. Веку мне тогда стукнуло двадцать пять годов. Так бы карбас-то взял в охапку да пешком по водам побежал…

Погрузились. Поплыли океан-морем. Не доходя Тана-губы пала несосветима погодушка. Парус оборвало, мачту сломало, руль не послушался. Положило карбас вдоль волны, бортом воды зачерпнуло. Не поспели мешков выкидать, опружило кверху дном. Было народу пять человек, трое поспели за киль ухватиться, двоих отхватило прочь…

Сутки океан-батюшко нашим карбасом играл, как мячиком. Наигрался, в камни положил. Мы трое на гору выползли, а суденышко мое погибло. Я ноги и живот ознобил, идти не замог, послал

товарищей объявить жителям, а сам еще двои сутки на этой горе волосы рвал да рот открывал. Для чего я двенадцать лет силу складывал, недопивал, недоедал?! Прости, моя свобода…

Добры люди поставили меня на родину, в Корелу. От морской горькой погибели постигла меня болезнь. Ползимы день и ночь трясло кабыть от морозу от большого, хотя на печке лежал. Одна вдова с молоденькой дочкой жалели меня, водились как с родным. У них в избе я зиму огоревал.

Тут весна подошла. Лед из губы вынесло, дни заблестели.

Как-то хозяйка ушла карбас смолить. И вижу, на подоконник чайка села и закричала на меня по-своему: долго ли, мужик, бока править будешь?

Меня ровно кто на ноги поставил.

Вылез я на улицу, забрался на глядень — и охнул: волны морские играют, шумят; стада лебединые под север летят, и облака небесные туда же плывут, и корабли белопарусные в ту же океанскую сторонушку… А свету! А солнца! А ветру!

И Матюшка Корелянин от болезни, как от сна, пробудился… Топнул ногой о камень да кричу:

— Остер топор, да и сук зубаст! Турью гору сворочу, а полечу в океан на своих крыльях! Да не на шнеке, а на шкуне!

Так я выздоровел. Опять, значит, работу как бешеный хватаю.

Часов шестнадцать подряд отчубучу, сунусь отдохнуть, да как сдумаю, будто я на своем суденышке плыву, и паруса что снег, и я вольный промышленник, — дак и окутки в сторону и постели прочь… И ночь не сплю, работу ворочаю.

Люди надо мной посмеиваются. «Пока, — говорят, — Матюша, твое солнце взойдет, роса очи выест».

Пожалуй, эта пословица не мимо дела. Работал я в кабале у богатея. Главная-то отчего у нас кабала учинялась? Своего суденка нет — в ложке за море не поедешь. А у богача судно, да еще океанское, трехмачтовое. У него снасти из Норвегии да из Англии, у него все возможности…

Поморская земля нехлебородима; зима нас прижмет, вот и явимся к благодетелю: дай муки, дай хлеба, дай круп, дай денег, дай того-другого. Он добр, он даст в долг, чтобы летом у него на судах да на промысле отрабатывали.

Что же выходит? Товар-то свой по самой бессовестной цене поставит, а работу нашу оценит грошами. В одну навигацию зимнего долгу не отработаем, а другая зима подходит — в новые долги заберемся у того же хозяина. Одно остается

петь:

Осудари наши,
Воля ваша!
Хоть дрова на нас возите,
Лишь не помногу кладите!

И то знай: этот твой хозяин — и единственный торговец на всю деревню. Кроме него, ни спичек, ни соли, ни мыла, ни аршина ситца купить негде.

Теперь понимаете, как трудно копейку-ту откладывать. А я откладывал. У меня, как звезда в ночи, как маяк в пути, свой-то кораблец, своя-то волюшка.

У какого дела надо втроем-вчетвером, я один берусь. Товарищи косо на меня глядят. Они на работе сидят, да лежат, да перевертываются, а я не могу тихо работать.

Чтобы люди дружны были, следует пить и других поить, а я над каждой копейкой трясусь, меня и не любят. Иродом зовут.

...Опять год за годом десять лет пробежало. Вижу, что не зря сказано: пока солнце взойдет, роса очи выест. Хозяину — рубль, рабочему — нищие копейки; хозяин осенью в Архангельск едет бумажки на золото менять, а у меня те же медяки.

Тут я чуть было маленько с копыл не сбился.

Что такое, думаю: мне тридцать лет, а я не наряживался, не гуливал… Купил в Норвеге брюки-клеш, синюю матроску с большим воротником, полотняну манишку, платок шейный шелковый и явился на родину, в Корелу. Парень я был высокий, плечистый, говорили, что и с лица красивый.

И… тут я большой шаг шагнул: женился на дочери той самой старухи, которая меня десять годов назад пожалела.

Женился и испугался: «О, зачем за себя баржу привязал?! Мне ли гнездо разводить! Теперь не выбиться из бедности».

А пожил с Матреной и увидел в ней помощницу неусыпающую, друга верного. Она со мной заодно думу думала. При ней я на свои ноги начал вставать.

Я на Мурмане, жена дома сельдь промышляет, сети вяжет, прядет, ткет, косит, грибы, ягоды носит. Матрена моя и мужскую работу могла. Тес тесала, езы била, кирпичи работала…

Ребятишки родились — труднее стало. А Матрешка, хоть какая беда, уж тихонько она сдумает, ладно скажет…

В шесть годов мы избу свою поставили. Вместе

лес возили, стены рубили, вместе крышу крыли.

В эту пору я кинул якорь у Василия Онаньевича Зубова, нашей же Корелы у богатеющего купца: на Мурмане своя фактория, промысловое оборудование, три шкуны, одна — что твой фрегат.

В море ли, на берегу ли работаю — все нет-нет да погляжу на чужие кораблики, как они плывут, брызги на сторону раскидывают. Погляжу да подумаю: «Ничего! Проведу и я свою борозду».

Деньжонки я усердно копил, а что строить буду не малую скорлупку, а заправскую шкуну, это я давно решил.

Семья в Корелах, я на Мурмане; что добуду, им оторву, остальное в кошель; на себя ни полушки. И кошель на груди носил.

Каждый рубль — что гвоздь на постройку моему желанному кораблю, каждым рублем я на волю выкупался сам и детей выкупал.

Я людей-то насмешил: в Соловецке картину заказал, два рубля потратил, написана приправная норвецкая шкуна.

По праздникам на эту картину любовался. Любовался — не думал, не гадал, какая гроза над моей головой собирается.

Хозяин мой, Василий Зубов, в нас, в рабочих, не входил. Платит грошами, в зиму пропащей

рыбой кормит — и ладно, думает, дородно им.

Покамест я у него в кулаке сидел, хоть и жужжал, да не рвался, он до меня ровный был. А как усмотрел, что Корельской на ноги встает, запосматривал на меня немило.

Осенью, при конце промысла, не утерпел, скричал на меня при народе:

— Эй, любезный! Люди смеются да и вороны каркают, будто кореляки собственные пароходы заводят. Ты не слыхал?!

— Про людей не слыхал, — говорю, — может, и пароходы. А вот насчет шкуны я подумываю.

Он зубы оскалил:

— Подумываете? Ай да корельская лопатка! А по-моему, спустить бы тебе на воду нищу коробку, с которой по миру бегал, а заместо паруса маткина нища сума. Экой бы корабль по тебе!..

Это он меня да матерь мою нищетою ткнул…

Сердце у меня остановилось:

— Ты! Ты, который нас по миру с сумой пускаешь, ты сумой этой нас и укоряешь? Мироед! Захребетник мирской! Погоди… Умоетесь вы, пауки, своею же кровью!..

Кругом народ, стоят, молчат.

Уж не помню, чего я еще налягал языком; что было на сердце, все вызвонил. Хлопнул шапку о

землю, побрел прочь. Иду — шатаюсь, как пьяный. Сердце себе развередил.

Тут испугался: «Пожалуй, заарестуют меня». Урядник все слышал, он Зубову слуга… И до того мне Матрешку да ребят увидать захотелось!.. А мимо пристани гальот знакомого человека и плывет, в Ковду пошли. Ковда с Корелой рядом.

Взяли меня без разговоров. Ничего, что пассажир без шапки.

Долгу за Васькой семь рублей с полтиной оставалось, я всего отступился.

Дома сельдь промышляю, а сердце все неспокойно. Не простит мне Васька Зубов. Через годик можно бы кораблик тяпать-ляпать, а тут как бы помеху какую Зубов не сунул…

Скоро и он сам домой пожаловал. Я мимо иду, он в окошко окликнул:

— Корельской, ты что, чудак, тогда от меня убежал? Кроме шуток: скоро ли шкунарку свою ладишь стряпать?

— Мне ведь не к спеху, Василий Онаньевич. Через год, через два…

Он воровски огляделся:

— Ну-ко, зайди в сени.

В сенях и шепчет:

— Хочешь, тебя со шкуной сделаю на будущую

весну?

Я и глаза вылупил, а он:

— Ум у тебя дальновидный, ты опыт имеешь, практику знаешь. Пора, пора тебе, Матвей Иванович, в люди выходить.

Такой лисой подъехал. Я и растаял. Слушаю — как мед пью. А Васька поет:

— Знакомый норвежский куфман запутался в делах. Наваливает мне за гроши — за две тысчонки — новенький пароходик. А у меня деньги все в дело вложены. Денег нет. Ничего не решив с куфманом, поехал в Архангельск, а в Архангельске частная контора на упрос просит сосватать пароходик тысяч на восемь… Понимаешь, Матюша, — Васька-то говорит, — мы норвецкий пароходик и сбагрим им за восемь тысяч, а сами за него заплатим две. Барыш-то, по три тысчонки на брата.

Я глазами хлопаю:

— Это кого же вы в братья-то принимаете?

— Как кого? Да тебя! Принимаю тебя, Корельской, в компаньоны. Тысячу рубликов я у себя наскребу. Тысчонку ты положишь.

Я заплакал:

— Не искушай ты меня, Василий Онаньевич! Всего у меня капиталу семьсот семьдесят четыре

рубля шестьдесят одна копейка.

— Давай семьсот семьдесят четыре рубля. Прибыль все одно пополам.

Я воплю:

— Дай до утра подумать!

Ночью с Матреной ликую:

— Три тысячи барыша… Мне их в двадцать лет не выколотить. А тут сами в рот валятся. Три тысячи! Ведь это шкуна моя, радость моя, к моему берегу вплотную подошла: «Заходи, говорит, Матюша, берись за штурвал, полетим по широкому раздольицу…» Ох, какой человек Василий Онаньевич! Напрасно я на него обиделся!

Жена говорит:

— Может, так и есть. Только бумагу вы сделайте.

Утром сказываю свое решение Зубову, что согласен, только охота бумажку подписать у нотариуса. Он глазищи опустил, потом захохотал:

— Правильно, Корельской! Ты у меня делец!

Поехали на оленях в уезд. На дворе уж зима. Зубов к нотариусу пошел, долго там что-то вдвоем гоношили.

Потом меня вызывают. Чиновник бумагу сует:

— Подпишись.

А я неграмотный вовсе. Только напрактико-

вался чертить свою фамилию. Надо бы велеть прочитать, что в бумаге писано, а я где дак боек, а тут как ворона лесна.

Накаракулил подпись, может задом наперед, — и получил копию. Сложил Зубов мои денежки в сертук, во внутренний карман, и еще наказывает мне:

— Ты смотри, до времени языком не болтай и бумагу не показывай. Мы с тобой потихошеньку да полегошеньку.

Конец зимы Зубов в Колу на оленях уехал, оттуда хотел в Норвегу, а я дома проживаю в радужных мечтах. Барыши делю. Тысячи свои распределяю.

Началась навигация. Лето. Жена с ребятишками рыбешку добывают, а Матвей Корельской от компаньона телеграммы ждет.

Пришла весточка, что пароходик этот в Архангельске продан. Я телеграмму жду. И на Мурман это лето не пошел.

Весь распался что-то, весь поблек.

Жена уговаривает:

— Погоди ты падать духом. Мало ли какие в городах, в конторах да в банках, задержки. Может, Зубов и денег еще не получал.

А у меня сердце болит, в трубочку свивается.

Осень пришла, и Зубов домой прибыл. Приехал ночью. Я с утра дорогого гостя ждал, обмирал. В паужну сам полетел.

Он разговаривает, расхохатывает, о деле ни слова. «Может, — думаю, — семейные мешают». Шепчу:

— Мне бы с вами, Василий Онаньевич, по секрету...

А он на всю избу:

— Что? Какие у нас с тобой секреты?

— А дельце наше, Василий Онаньевич?

— У Василия Зубова с Матюшкой Кореляком дела?!

— А пароход-то!

— Что пароход? Скорее, Корельской! Мне некогда.

— Да ведь деньги-то у меня брали...

— Что? Я у тебя, у голяка, — деньги? Ха-ха-ха!..

Я держусь обеими руками за стол, все еще думаю — он шутит.

— Василий Онаньевич, бумагу-то нотариальную забыли?

— Какую бумагу?

— Зимой делали.

— Мало ли я зимой бумаг сделал! Неси ее и приведи писаря.

Слетал домой за бумагой, добыл писаря. А руки-то, а колени-то трясутся. Зубов рявкнул:

— Читай Корельскому его бумагу!

Писарь читает:

— «Я, крестьянин такой-то волости, Матвей Иванов Корельской, сим удостоверяю, что промышлял на купца Василия Ивановича Зубова на обычных для рядового мурманского промышленника условиях. Договоренную плату деньгами и рыбой получил сполна и никаких претензий не имею. В чем и подписуюсь.

М. Корельской»

…Не хочу рассказывать плачевного дела! Две недели я без языка пролежал. Опомнюсь — клубышком катаюсь, поясом вьюсь. Мне сорок годов, я до кровавого поту работал — и все, все прахом взялось!

Все отнял Зубов, оставил с корзиной…

Тут праздник привелся. Я вытащил у жены остатние деньжонки, напился пьян, сделался как дикой. Полетел по улице да выхлестал у Зубова десять ли, двенадцать ли рам. Меня связали, бросили в холодную.

После я узнал, что в тот же вечер мужики всей деревней приступили к Ваське Зубову, просили мои деньги отдать. Он от всего отперся:

— Пусть подает в суд. Вы ставаете свидетелями?

Мужики ответили:

— Не знаем, Зубов, не знаем, можно ли, нет ли на тебя в суде доказать, по делам твоим тебе давно бы камень на шею безо всякого суда. Помни, Зубов, собачья твоя совесть, что придет пора, ударит и час. Мы тебе Матюшкино дело нарежем на бирку.

Спасибо народу, заступились за меня. Не дали мне духом упасть. Я не спился, не бросил работать и после Зубова разоренья, только радость моя потерялась, маяк мой померк, просвету я впереди не увидел. Годы мои далеко, здоровье отнято. Больше мне не подняться.

Да я бы так не убивался, кабы одинокой был. Горевал из-за робят, из-за жены.

С воплем ей говорю:

— Ох, Матрешка! Мне бы тебя в землю запихать да робят в землю, вот бы я рад сделался, что не мучаетесь вы!

Она рядом сядет, мою-то руку себе на голову тянет:

— Матюша, полно-ка, голубеюшко! Мы не одни, деревня-то как за нас восстала… Это дороже денег! Гляди, мужики с веслами да с парусами

несутся: видно, сельдь в губу зашла, бежи-ко промышляй!

Однако я в море не пошел, поступил в Сороку на лесопилку. Мужики ругают меня:

— Эдакой свой опыт морской под ногу Ваське хочешь бросить! Мало ли хозяев, кроме Зубова…

— Все хозяева с зубами.

Доски пилю — в море не гляжу, обижусь на море. Сколько уж в сонном видении по широкому раздольицу поплаваю… Сердце все как тронуто. Я в Корелу не показываюсь, фрегата Васькиного видеть не могу.

Копейки, конечно, откладываю. Не на корабль — кораблем батраку Матюшке не владеть — откладываю робятам на первой подъем, чтобы не с нищей корзиной жизненной путь начинали. Дети мои зачали подыматься, об них мое сердце заболело. Боюсь — не хочу, чтобы дети к Зубовым в вечну работу попали.

После Зубова разоренья еще пятнадцать лет я не отдыхивал ни в праздник, ни в будни, ни зимой, ни летом. Было роблено… Сердита кобыла на воз, а прет его и под гору, и в гору.

В одном себя похваляю: грамоте выучился за это время, читать и писать.

Матрешке моей тяжело-то доставалось. Ухло-

пается, спину разогнуть не заможет, сунется на пол:

— Робята, походите у меня по спине-то…

Младший Ванюшка у ей по хребту босыми ногами и пройдет, а старшие боятся:

— Мама, мы тебя сломаем…

Тяжелую работу работаем, дак позвонки-та с места сходят. Надо их пригнетать.

Матрена смолоду плотная была, налитая, теперь выпала вся. Мне ее тошнехонько жалко:

— Матрешишко, ты умри лучше!

— Что ты, Матвей! Я тебе еще рубаху стирать буду!.. Пятнадцать годов эдак. Всю жизнь так!..

Что же дальше? Дальше германска война пошла. Два сына кочегарами на пароходе ходят, я на заводишке дерьгаюсь; только и свету, что книжку посмотрю.

А потом — что день, то новость. В Петербурге революция, у нас бела власть. Про свободу сказывают, а Зубов в Учредительно собрание срядился.

Преполовилась зима девятьсот двадцатого года. В одно прекрасно утро бреду с завода, а в Сороке переполох. Начальники и господа всяких чинов летят по железной дороге, кто под север, кто под юг… Что стряслось?

— Бела власть за море угребла. Красна армия весь Северный край заняла…

Наутро мне из Корелы повестка с нарочным — явиться спешно в сельсовет. Все как во сне. Бежу домой, а сам думаю: «Судно зубовско где? Красна власть отобрать посмела ли? Вдруг да Васька на меня из-за лесины как тигр выскочит…»

С женкой поздороваться не дали, поволокли на собранье. Собранье народа в Васькиных палатах идет вторы сутки.

Сажусь у дверей, меня тащат в президиум и кричат всенародно:

— Товарищи председатели! Матвей Иванов Корельской здесь!

Над столом красны флаги и письмена, за столом товарищи из города, товарищи из уезда. Тут и мое место. Васька бы меня теперь поглядел…

Шепчу соседу:

— Зубов где?

А председатель на меня смотрит:

— Вы что имеете спросить, товарищ Корельской?

Я встал во весь рост:

— Василий Онаньев Зубов где-ка?

Народ и грянул:

— О-хо-хо-хо!! Кто о чем, а наш Матюша о Зубове

сохнет! О-хо-хо-хо!!

Председатель в колокольчик созвонил:

— Увы, товарищ Корельской! Оставил нас твой желанный Василий Онаньевич, усвистал за границу без воротиши.

— А судно-то егово? Это не шутка, трехмачтово океанско судно!

— Странный вопрос, товарищ Корельской! Вы — председатель местного рыбопромышленного товарищества, следовательно, весь промысловый инвентарь, в том числе и судно бывшего купца Зубова, в полном вашем распоряжении…

— Я?.. В моем?..

— Да. Вчера общее собрание Корельского посада единогласно постановило просить вас принять председательство во вновь организованных кооперативных промыслах, как человека исключительного опыта.

Я заплакал, заплакал с причетью:

— Я думал, мой корабль — о шести досках, думал, по погосту мое плаванье, а к моему плачевному берегу радость на всех парусах подошла: полетим, говорит, по широкому морскому раздольицу! Сорок восемь годов бился ты, батрак Матюшка Корельской, в кулацких сетях, а кто-то болезновал этим и распутывал сеть неуклонно,

неутомимо…

И чем больше реву, тем пуще народ в долони плещут да вопиют:

— Просим, Матвей Иванович! Просим!

Ну и, я на кого ни взгляну, слезы утирают. И вынесли меня на улицу и стали качать:

— Ты, Матвей, боле всех беды подъял, боле всех и чести примай!

…Кому до чего, а кузнецу до наковальни: запустил Зубов, до краю заездил свой фрегат — и я по уши в ремонт ушел. Сам с робятами лес рубил для ремонта, сам тесал, сам пилил. Сам машину до последнего винта разобрал, вычистил, собрал. Сам олифу на краску варил. Перво охрой сплошь грунтовал, потом разукрасил наше суденышко всякими колерами. До кильватера — сурик, как огонь, борта — под свинцовыми белилами, кромки — красным вапом, палубу мумией крыл по-норвецки, каюты — голубы с белыма карнизами.

Обновленный корабль наименовали мы «Радостью». На носу, у форштевня, имя его навели золотыми литерами: «Радость». И на корме надписали: «Радость. Порт Корела».

За зиму кончил я ремонт. Сам не спал и людям спуску не давал. В день открытия навигации

объявили и нашу «Радость» на воду спущать. Народишку скопилось со всего Поморья. Для народного множества торжество на берегу открылось.

Слушавши приветственные речи, вспомнил я молодость, вспомнил день выздоровленья моего после морской погибели… Сегодня, как тогда, чайка кричит, и лебеди с юга летят, как в серебряные трубы трубят, и сияющие облака над морем проплывают. Все как тридцать пять годов назад, только Матюшка Корелянин уж не босяком бездомным валяется, как тогда, а с лучшими людьми сидит за председательским столом. Я уж не у зубовского порога шапчонку мну да заикаюсь, а, слово взявши, полным голосом всенародно говорю:

— Товарищи! Бывала у меня на веку любимая пословка: «Ничего, доведется и мне, голяку, свою песенку спеть». Вы знали эту мою поговорку и во время ремонта, чуть где покажусь, шутили: «Что, Матвей Иванович, скоро свою песню запоешь?»

Я отвечал вам: «Струны готовы, недалеко и до песни».

Товарищи, в сегодняшний день слушай мою песню. И это не я пою — моими устами тысячи таких, как я, бывших голяков, поют и говорят…

Двенадцати годов я начал за большого работать. В двадцать пять годов ударила меня морская погибель. Сорок пять лет мне было, когда меня Зубов в яму пихнул. Шестьдесят лет мне стукнуло, когда честная революция надунула паруса купецких судов не в ту сторону и подвела их к бедняцкому берегу. Наши это корабли. Все наше воздыхание тут. Каждой болт — наш батрацкий год. Каждая снастиночка нашим потом трудовым просмолена, каждая дощечка бортовая нашими слезами просолена… Слушай, дубрава, что лес говорит: теперь наша Корела не раба, ейны дети — не холопы! Уж очень это сладко. Не трясутся наши дети у высоких порогов, как отцы тряслись; не надо им, как собачкам, хозяевам в глаза глядеть.

Уж очень это любо!..

Мое сказанье к концу приходит. Ныне восьмой десяток, как на свете живу. Да годы что: семьдесят — не велики еще годы… Десять лет на «Радости» капитаном хожу.

Как посмотрю на «Радость» — будто я новой сделаюсь, как сейчас из магазина. При хозяевах старее был.

Оногды земляна старуха, пустыньска начетчица, говорит мне:

— Дикой ты старик — все не твое, а радуиссе?

А я ей:

— Дика ты старуха — оттого и радуюсь, что все мое!

Золотая сюрприза[69]

– Уточка моховая,
Где ты ночь ночевала?
– Там, на Ивановом болоте.
Немцы Ивана убили;
В белый мох огрузили.
Шли-прошли скоморошки
По белому мху, по болотцу,
Выломали по пруточку,
Сделали по гудочку.
Тихонько в гудки заиграли,
Иванушкину жизнь рассказали,
Храброе сердце хвалили.

— Сидите, заезжие гости. Не глядите на часы. Вечера не хватит — ночи прихватим. Не думайте, что я стара и устала. Умру, дак высплюсь. Вы пришли слушать про Ивана Широкого? Добро сдумали. Небо украшено звездами, наша земля таковых Иванов именами. И не Иваны свою славу

---

[69] Notes: 69

Впервые опубликовано в сборнике «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967). *–Примеч. ред.*

затеяли — время так открывается.

Иван Широкий был русского житья человек. Шелковая борода, серебряная голова, сахарные уста. Он был выбран с трех пристаней наделять приезжающих рыбой, хлебом и вином. За прилавком стоит, будто всхоже солнышко. Поздравляет и здравствует, кого с обновкой, кого с наступающим…

Иван был вдовец, и моя сестра, Марья, честна вдова-баловница, против праздника набелится добела, нарумянится доала, ждет Ивана. Он прикатит с закусками, с гитарой. Учинится плясанье, гулянье, топот ножный. Я ругаться, они смеяться: «Не тогда плясать, когда гроб станут тесать. Царь Давид плясал перед ковчегом!»

У Ивана от первой жены был сын Вася; в городах учился, до большой науки доходил. Своим детищем Иван всенародно восхищался: «Сегодня Васенька письмо послал с довольным наставленьем, скоро сам прибудет. Я ему все расскажу и обо всем спрошу».

Сын приедет в самую навигацию. Отец пароходы встречает, пароходы провожает…

Вася строгий был:

— Отец, вы не того стоите, чтобы в столешницу стаканчиком колотить.

— Сын, напрасно вы будете обременять мои понятия. Я сам скажу экспромту.

…В эту пору с Запада, из-за Корельских болот, припахнули к нам ненастливые ветры, приносили ратные вести: прусская аспида пивом опивалась, во хмелю похвалялась:

— Я сера липучая. У меня пушки скакучие и на ногах бегучие. Вы до смерти на меня будете работать, до гроба мое дело делать. Я ваш ум растлю.

И Красная армия ответила просто и не спесиво:

— Ты к нам за своей смертью приехала.

Вася Широкий ушел на войну добровольно, с товарищами.

Иван разум сына любит и хвалит:

— Пущай любодейцу тряхнут, выгонят хмель-от из сучки.

Когда Вася пал храброй смертью, Иван горе свое на люди вынес. Сядет в народе, руками всплеснет и слезами зальется. Люди ему слезы отирают:

— Твой сын в невеликие свои годы исполнил лета многа. Не тот живет больше, кто живет дольше.

Иван скажет:

— Верно! Сын обо мне промышлял. Слово тайное, крайное мне припасал. Теперь я слышу его

слово… Горе мне! Я летами призаживши, годами призабравши, что я живу?.. Кисла шаньга деревенска!

И пришла пора-времечко, докатилась час-минуточка — сделали деревни выбор на Ивана, везти подарки на войну. Эта дорога Ивану под ноги попала, и он повеселел:

— Не до горя, когда дела вдвое. Теперь у меня много детей. Поплыву глядеть… Марья, не реви, не держи меня. Дай от полной души вздохнуть.

На отъезде неведомо как Иван вередил свои серебряные часы. Марья говорит:

— Обрадуй меня, прими от меня золотую сюрпризу, мои красного золота часики.

С войны Иван писал, бойцов похвалял: «Много доброхотов наших, а все одного моего сердца. Светло и статно промышляют воинским делом. Их ни дождь, ни снег не держит. Болотами идут, по неделе бахилы с ног не скидывают, Отечеству нашему радеют. На воинов глядя, и я молодею. Всего меня переновило, переполоскало».

Теперь до главного дело доходит.

Пришвартовался наш Иванушко к госпитали. У Карельских пристаней. Тут лежал сбинтован молодой начальник Марко Дудин. Днем товарищей на совет созовет и так-то их щекотурит. А в ночи

не спит, Ивана за руку держит, Иван ему сказку говорит. Будто сын и отец друг друга жалеют.

Гитлерова аспида тогда разъехалась, широко щеки разинула. Наши перешли до времени на озеро. Молодой Марко уж на ноги попал. На него вся госпиталь опрокинулась. Беспомощных людей сряди и соблюди и за озеро их на пароме переведи.

Марко на всякое дело сам кидался, сон и еду позабывал. Иван Широкий с Марком рядом бегает, его на ходу, как собачку, кормит.

Марко по должности своей приказывает и Широкому сплыть за озеро. Широкий не послушался. Утаился на отводном дворе, и вести о Марковых скорых шагах принашивал еврей-гостинник. Прежде госпитали тут гостиница стояла, и старобытному гостиннику поставили кроватку для его древней немощи. Никакими манами не мог его Дудин сманить за озеро. Старичонко бородой тряхнет да костылем махнет:

— Я еще перину буду зашивать. Кто рад без перин-то?

А у Дудина не то что часы — минуты сосчитаны. Некогда стало гостинника нянчить, о Широком обыскивать. Дудин Ивана давно за озером числил.

Марко, скажем, вечером остатную койку на паром погрузил, к рассвету сам изладился, а в полночь враг налетел.

Мятежно было в ту ночь. Иван прибежал в госпиталь, гостинника добыл. Тот шепчет по тайности:

— Пятерых попавших людей замкнули в палате. Марко в том числе. На заре им будут языки тянуть — спрашивать.

Иван спросил:

— Тебе-то не потянут языка?

— Мне, Иване, за восемьдесят. Умру — и все тут.

— Дедко, ты разумеешь немецкую речь. Как бы мне докупиться до Марка?

— Караулит нашего Марка немецкий Тырк Обезьянин. Чем ты его купишь, Иване?

— Есть у меня золотая сюрприза — червонные часы и с цепочкой.

Гостинник привел Ивана к дежурному Тырку и, хотя через порог едва ноги переволок, вежливо справил челобитье и ска-

зал:

— Господин начальник, этот купец желает преподнести вам золотую сюрпризу. Взамен просит отпустить одного незначительного человека.

И в те поры Иван показывает из своих рук золотые часы.

За перегородкой храпели другие немцы, и Тырк говорит осторожно:

— Можно. Имена и возраст арестантов еще не переписаны. Но я принял пять человек и должен сдать пять человек.

И тут дело преславно бывает. Иван говорит:

— Ежели надобно только пятичисленный конплект соблюсти, то возьмите меня в это число, а молодого человека, Марка Дудина, отпустите.

Тырк говорит:

— Давай часы.

А Иван часы в пазуху прячет.

— Возьмешь, когда дело справишь. Станешь силой отымать — я зареву, придется тебе с комрадами делиться. И еще ведай, немец: ни словом не заикнись Дудину, что его некто выменил. Немедля запри меня в сенях, в чулане: я услышу, как Дудин побежит. Ежели по его следу стрелишь, или феверку пустишь, или гаркнешь, не увидит часиков твоя немецкая фря!

Тырку Обезьянину лестно на себя одного схватить золотую сюрпризу. Он Ивана Широкого спрятал, Марка Дудина тихомолком отпустил со двора.

Отдал Иванушко немцу золотую сюрпризу, купил доброму человеку свободу, а себе, старику, горькую смерть.

Осенняя ночь скороталась. Стали Ивана вязать и ковать. Повели под допрос.

Рыжий фашист вопросил:

— Любопытствую знать: будешь ли к нам прихаживать и слова принашивать, что в Советах деется?

Иван говорит:

— Любопытствую узнать про фашизму, где вы эту грязь покупаете.

— Я тебя муками утомлю! Выручки тебе из Москвы не будет.

— Будто вам из Москвы и писали, что выручки не будет. Столько волосов нет на ваших головах, сколько силы Красной армии идет на нашу выручку. Будет Корела вашими головами рыб кормить.

Тогда прусская аспида исполнилась гнева и, рыкнув, как лев, осуждает Ивана под расстрел. Небось каково было страшно и трепетно, но Иван взял силу больше страха.

День ненастливый дождевой тучей покрывается. Иванушко в последний путь снаряжается… Хлопнули ружья немецкие. Пал Иван честным

лицом в белый мох. Того часу и снегу туча велика накрыла болото, и лежал снег три дня и три ночи.

Безвестно уснул Иван, а слава его полетела на золотых крыльях. Вся река Иванов разум похвалила. Он верховную добродетель исполнил: положил свою душу за друга.

О смертном и славном труде Ивана Широкого узнали в деревне от Марка. Из-под немецкого замка Дудин выбежал в лес. Шел горою и водою, набрел на своих. Искал Ивана и не нашел…

По зиме, по белому снегу, Красная армия выдула фашистскую душину из Корелы. Марко Дудин стал обыскивать в народе про Ивана. Гостинник оказался жив, только после немецкого быванья трясся всем составом и временем говорил сумотоху. Однако Иванову судьбину объяснил внятно.

Дудин от Ивановых рассказов знал нашу пристань и деревню. Приехал к нам весной по первому пароходу. Стребовал Иванов портрет, припал устами и заплакал:

— Отцом ли тебя назову? Но ты больше отца, добрый печальник жизни моей! Ужасается разум, и сердце трепещет, и слово молчит, похваляя твое великодушие.

Огненными слезами плакал Марко. Не в обы-

чай ему были слезы. Но эти мужественные слезы усладили нашу горькую печаль…

…Утолила Марья свои причитанья и говорит:

— Коли Ивану так было годно, то и мне любо. Сердцу-то жалко, а умом-то я рада. Марко, вези меня в свою гошпиталь полы мыть.

Он отвечает:

— Будешь ты моей маменькой.

Офонина бабушка[70]

Наша Корела от всея Руси болотами отгородилась. А достаток от всея Руси берем. Мужики на все лето в Русь, к морским пристаням, убежат.

В Гражданскую войну мы на рубеже привелись, одна нога в полдень[71], в красной половине, друга — на полночь, в белой. Мы со всей волостью в красну тянули. В красну рекрута ушли, в красну промысел сдали. Бела обиделась, пала на грабежи. Разговор стал такой: «Там-то бела хлеб отняла, там-то мужиков увела, деревню сожгла».

Ждем напасти, а житье править надо. С Покрова белка побелела, мужики в леса побежали. Внук мой Офонасей промышленник не из последних. Бывало, шуточкой срядится, а тут, оружье за плечами, собака у ноги, три раза круг дому обошел, постоял, головой покачал:

— Не идти не можно и идти тошно. Баба, кара-

---

[70] Notes: 70

Впервые опубликовано под названием «Вдова Немирова» в журнале «Колхозник» в марте 1937 г. и под названием «Офонина бабушка» включено в сборники «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. –*Примеч. ред.*

[71] Notes: 71

На полдень — на юг.

уль пуще, этта вся сила складена…

…Я молода овдовела, дочь Офоньку родила — умерла, зять у сплава утонул. Внучек Офоня смала как мужик заработал; добытчик вырос: зверя бил, птицу, рыбу добывал. С германской войны воротился, листов, книг навез, стал про Ленина внушать. Народ внялись, рассудили красной власти держаться…

…Неделя прошла ли, летят наши промышленники обратно, а Офони нету.

— Бела идет! Побегайте в волость!

— Мужики, где мой Офоня?

— Они троима в волость погонили за помощью. Там красна часть.

Мужики коней запрягают, женки причитают. Надо бежать. А с собой, кроме одежды да хлеба подорожного, ничего не возьмешь. До морозов на Русь дорог нет, только тропы зверины. Я говорю:

— Бабы, есть у нас на бору девять берез, десята сосна виловата. То наши кладовые.

По беличьим дуплам всю одежду мужску и женску, хлеб, у кого сколько запасу, посуду медну, оловянну упрятали, кожано да железно по сенным зародам распихали. А снег падат, следы замолаживат. Мышам не найти.

— Теперь, бабка, бежать!..

— Как хотите, мужики, мне от деревни не оторваться. Этта сорока кашу варила. Это гнездо мой дедушко свил. Я в каждом доме всяк сучок знаю, я всем прабаба — мои это дома.

— Офонасей наказывал тебе от народу не оставаться.

— Велика ему радость будет: «Офоня, я все бросила, к тебе гола прибежала». Бежите, а мне без хозяйского догляду нельзя деревню оставить. Офоня с Красной армией воротится, кто их стретит?

— Убьет тебя бела.

— Паду, да под своим потолком!.. У меня в Заозерье Егору шесть шаек банных заказано, ужели все бросить!

Ушли. Одна я осталась барыня на всю деревню. Двое сутки ждала белу-то кость, перепрятывала кое-что.

С Митревой субботы в ночь на воскресенье налетело их, как ворон. По-русски говорят и не по-нашему лекочут. Иностранцы-ти высоки, под полати не входят, морды бреты.

Выпалили раз десяток для опыта, с обыском пошли.

Ко мне какой-то полковник Каськов на постой стал. Тако начальниченко бедово, с нерусскими

— малина, со своими — собака ядовита. Я принялась полы мыть: увидит, что хозяйка, не сожгет дом-от. А он меня под допрос:

— Где народ?

— Разошлись по своим делам, кому куда ближе…

— Народ ушел к красным. По которой речке, в котором чертовом болоте красный штаб?

— Ты почто эко-то спрашиваешь стару старуху?

— Ах, ты по старости осталась! Мы, дураки, думали — шпионить…

— Осталась — радею своему месту.

— Пушной товар красным сдан или спрятан?

…Скажу, что красным сдан, — деревню спалит; скажу, что спрятан, — скажет: веди, показывай…

— Сдано купцам проезжающим. Откуда приехали, куда увезли — адресу нам не оставили.

— Одежда где?

— Ваша — не знаю где, моя на мне: пестрядинник да рубаха. Еще маменькино полукапотье в коробейке — зад стоячий, перед шумячий…

— Хлеб в лесу или в поле заборонен?

— У нас этой моды нет — прятать.

— Ну а я тебя спрячу под замок на мороз…

Свели меня в подполье. Холодно, темно, око-

шечко — кошкам ползать. На крыльце часовой русской, на повети — иноземец. Вот как я! У меня стража изо всех держав! А перекусить нечего, забыли бросить кусочек.

На утренней лазори в понедельник повели печи топить. Начальниченко мимо прошел, я не поздоровалась: пропал бы ты кверху ногами! Под мой потолок зашел да как воровку, под полом и морозишь… А меня и к допросу. Их людно сидит, стратилатов. Каськов говорит:

— Мужик из лесу нам все рассказал, где штаб, где хлеб и прочее. И тебе нет пользы запираться. У нас записано…

Я говорю:

— Записано, дак вы читайте. Я неграмотна.

Сгрубила им эту грубость, неруской в медалях и подходит:

— Ваш муж сбежаль. Его гардероб где?

— Наш муж уж двадцать годов эво куда, на мертву горку, сбежал. И гардеробу на нем — деревянный тулуп о шести досках.

Командиришко полтуши ко мне и поворотил, у его глазки сделались кровавы:

— Копайте себе могилу рядом.

Покосился мне вслед:

— Храбрый, не плачет.

Я вышла, не сморщилась:

— Поплачу, да не при вас…

Возле мужа, под приметным вересовым кустышком, снег разгребла — три аршина вдоль, полтора поперек — и моху вершка на два сняла. Мое вечно место обозначилось. Тут заплакала:

Стойте, резвы ноги,
Подо мной не подгибайтесь.
Машитесь, могутные руки,
Заступа не выпущайте.
Всем могила надо,
Никто сам себе не роет.
Я сама себе яму копаю.
Себе похоронну припеваю.
… … … … … … … …

Глаза страшатся, руки делают. По колено выкопала. Суморок пал, домой свели под пол. Смилостивился неруской солдатик, хлебца подал и половик окутаться. А то бы до смерти ознобило.

Во вторник Каськов опять про хлеб, про куньи меха нажимал. Сам с похмелья, исподлобья выглядывает:

— Ты понимаешь, Немирова, что против царя идешь?

— Царска власть из России, как вода из утлой посудины, вытекла.

— Это тебе не Ленин ли сказал?

— Хоть бы и Ленин. Ленина слово по всем рекам розвезли.

— Кто же именно разносит?

— Что лесну тетерю спрашивать. Суди, как знаешь.

— Таким, как ты, суда нет. Сострелим — да в яму. Копай иди!

Я досель не вникала в Ленина-то, а тут под горячий час за Ленина стала. Раскуражилась, дверью хлопнула, пошла.

Этот день еще по вот чему помню. С иностранным человеком прилежно поговорила. Я ширюсь в могиле-то, ругаю их, обменов заморских, а заморский солдатик и сует мне четыре галеты. Говорит:

— Болшевик добра.

— Есть добра, — отвечаю, — Ленин!

Он опять карточку показывает, кто-то снят молоденькой:

— Ми братер, спать земля Архангель.

У меня сердце отдало, как из-под снегу трава выскочила.

— О, верно, верно! Бесчисленно на войны пало

молодых да именитых, а мне, старой гагары, что не помереть! Удалы да пригожи безвестно кучами валяются по дорогам, а я, грязна ворона, буду шириться на славном буеве, под приметным вересовым кустышком…

Он еще меня утешат: сухой листик в яму бросил, на меня указал. Опять поняла:

— Верно, верно! Лист не тужит, что завял да с ветки упал. Так и старой человек. Я, дитя, не хочу на могилу обидеться, а о том тужу, что начальники ваши — звери-съедники. У нас Ленин каплю пота славит и мозолистым рукам честь воздает, а вы истребляете честной труд. Сожгете Заозерье либо до окладного бревна раскопаете. Сколько мастерства пропадет, сколько богатства! Полы, потолки, рамы, двери, лавки, столы, бороны, сани, ушаты. Работано все гладко да чисто, тесано да строгано. Сколько у моего Офони ловушек на зверя, на рыбу, сети, верши. Два стула венских… Сколько он работал, как трудно заводил…

Кто знает, много ли понял неруской-то. Я его поблагодарила за хлеб:

— Мне совестно у вас брать. Вас, верно, самих хлеба нужда из-за моря выгоняла?..

Он это не понял.

Во вторник по пояс выкопала. Я все эти дни в па-

мяти собрала. В какой день что было, все помню.

Со вторника на среду западной ветер переменился на север. Ночью вызвездило да пал мороз. Знай бревна лопаются. Сижу под половиком, как кукла, зуб до зуба не доходит. Хорошо бы эк до смерти затрясло… Не поспела помереть, живу отомкнули.

В избы солдатишшов толсто. Накурили — окон не видно. Болота подмерзли, дак разведка за озеро походит. Каськов тоже сряжен по-дорожному. На столе планы, начальники карандашиком пишут, волость именуют. Меня горе берет: «Не наших ли убивать походят?»

Солдаты вышли, Каськов говорит:

— Не взялась за ум, Немирова? Застрелю середи полу!

— Стреляй! Помереть нашему брату краса.

Неруской в медалях на меня поглядел:

— Что есть краса?

— Как не краса. В лесах замерзать не надо, у сплава тонуть не надо, с землей биться не надо, начальников бояться не надо, водку пить не надо, драться не надо, реветь не надо.

Неруской в очках ко мне подошел, стал возле носу рукой водить, мне велел за его пальцем глазами ходить. Вверх, вниз, вправо, влево… Верно,

доктор. Засмеялся, сел. Им нечего делать, они вымышляют надо мной. Каськов говорит:

— Немирова, я буду в отлучке до воскресенья. Захочешь жива остаться — укажешь тайники, а нет — к понедельнику тебя кончим.

— Мне-то что, кончай. У меня не дети малы.

С этого часу стала сила худо забирать. Яма глубока, глызы тяжолы, выздынешь лопату, глина обратно.

В среду я до подпазухи в землю ушла. При звездах домой увели.

А в каськовску квартиру неруской с медалями перешел. Песня да плясня учинилась для новоселья. За полночь топтались да гайкали. «Что же, — думаю, — неужели не вспомнят, что под полом старушонка мерзнет, как торокан?»

В четверг к допросу уже не водили, неруской начальник приказал могилу кончать. Четвержной у меня был прощальный день… В последний раз деревней иду, некому слушать, а не могу в себе жать:

Мое житье скороталось,
Мне три дня веку осталось.
Прощай, прекрасно место Заозерьско,
Простите, порядовные домы.

Сколько по дворам обиходу,

По анбарам промыслового доспеху!

Простите, топорища гладкие,

Ездовые шесты мягкие,

Прости, колье огородное и жердье сосновое.

О, сколько богатства, сколько хозяйства!

Не на кого оставить, некому доглядеть.

Дорога-та встала,

Кабы Красна армия сюда прибежала.

Ужель прекрасно место Заозерьско

Белым под ногу бросят!..

До Мертвой горы шла — пела. Что вижу по пути, с тем и прощаюсь. Часовой незнакомой, а не унимат: командиров нету близко.

На морозе не будешь тихо шевелиться. Засветло пошабашила. Глубока, суха, хороша могилушка… Сама вынуться не могу, часовой за руку вытянул… Перед глазами вся красота поднебесная. Зимня заря догорат, и озеро видать, и тундру, и лес. А за плечами — земля, мати всех, ширит на меня многоядными устами…

Пора с белым светом проститься. Всему стала кланяться:

Прости, матушка тундра ягодна,

Прости, батюшко ветхово рыбно озеро,

Прости, мати сплавна Курья-река,

Прости, прямотелой бор, корабельщина,

Прости, кормилица нива житная,

Прости, сударь белой снег,

На сенных угодьицах поляживашь.

Прости, Ленин-господин,

Я твоего лица не увижу,

Твоей грамоты не узнаю.

День пришел в гости к вечеру.

Легла секира при корени.

… … … … … … … …

Внученько Офонасьюшко! Ты маленькой был, бабки дома нет — все на окошке сидишь да ждешь.

Теперь я тебя не могу дождаться,

Приходит на меня жатва.

Ты домой воротишься,
Далеко не росхаживай,
Широко не обыскивай.
Меня укрыла сыра земля
От частого дожжичка
И от красного солнышка.
… … … … … … … …

Мне бы жалобиться негоже, да домашности жалко, деревенских жалко… А воротятся, дак они где будут меня искать? Надо признак оставить… На мне сарафанишко красный пестрядинной. Дай флак по себе оставлю; я того достойна. Хочу кромку оторвать, не могу. Пряла сама, ткала сама, шила сама, на сто годов загадывала. Зубами да заступом отсадила оборки аршин да вересовой куст, которой у меня в головах будет, и повязала.

Часовой солдатенко давно за подол тянет, бегом в деревню погонил. Замерз, бедной.

Я тоже в худых душах сделалась, уползла в казематку-ту, пала как сноп… В головах дресвяной камень, а вижу: вот я маленька, с таткой плыву на струге речкой. Сунула шест-от[72], дна не достала, сама в воду ушла.

---

[72] Notes: 72
В стругах плавают стоя, отпихиваясь шестами.

…Очнулась — пятнична ночь за окошечком… Опять вижу, будто избу топлю, охапками дрова ношу, а согреться не могу. Огляделась — среди снегов печь-та. Ни стен, ни кровли.

Не знаю, как до всхожего дожила; спина одеревенела, руки не подымаются. Наработалась больше, хоть ременкой стегайте, не пошевелюсь. Стала пятница светать.

Над головой обмен заморской шагат, а по мою душу не посылат, ни топить, ни мыть не ведут и милостинку не несут. Понимают, что день коротенькой — много ли уешь?.. Пятница постояла, тьма голову накрыла. Ходьба перестала, ночь пошла глуха. И рука спит, и нога спит, ум во вселенной плавает, вижу грады и корабли…

И вот чую, в ворота кольцом боткают. И Каськова голос, кричит кабыть с перепугу. И по всей деревне громко стало, снег заскрипел, люди заходили… К оконцу подобралась, стеколышко проскоблила: по звездам — немного за полночь. Что же они середи ночи засбивались? Каськов почему рано воротился?.. Оли до зорь эту хлопотню расслушивала. Изнемогла, хлопнула на пол.

…Прохватилась — в окно суббота синет. Каськов-от приехал!.. Сон прошел, страх пришел: меня ведь стрелять потащат.

…Умерше-то платье вверху, в сундуке; рубаха там, и костыч, и плат. Срам — в грязном пестрядиннике лечь; подол — как собаки выгрызли. Дай караульного достучусь, стребую хоть рубаху да пояс. Обязаны последнюю волю исполнить.

Приправила в дверь стучать. Постучу да послушаю… Колотилась, колотилась, ревела, ревела — гробовая тишина! Куда извелись?.. Видно, это сонна греза была, ночной-то переполох. И Каськова голос сном показало… Для чего же вся деревня спит? Иноземец наверху не ходит почто? Ведь полдень по свету-то… Я не оглохла ли? Перстами возле уха пошабаршила — слышу.

Зимний день показался, да и нет его. В потеменках увидела домову хозяйку. Прошла с ведром и с вехтем, подол подоткнут — мыть срядилась… Я поклонилась:

— Мой-ко, хозяюшка, благословясь!

Сама думаю: «После кого же она мыть срядилась?»

…Часы не считаны, сижу середи полу… Почто же тихо-то припало? Я не умерла ли? Может, это я на будущем в мрачно место посажена без суда навеки?! Ужаснулась, щупаю круг себя. Кабыть наше подполье, и окошечко тут, и на двор захотела. Значит, еще на сем свете.

На ночных часах сбагрянело оконце-то. Кто горит? Стеколко оттаяло — по земле снег, по хоромам снег, а небо кроваво. От востока до запада сполох играет, ходят столпы огненны, как в море волна… Что же тихо-то в мире? Может, я одна во всем свете? Хотя бы собачка лайконула, хоть бы петух звопил…

Зубы затрясло, заокуталась постилахой, залезла в угол. С этой ночи потеряла время. Ум стал мешаться, не знаю — часы идут, не знаю — дни.

На дневных ли, на ночных ли часах увидела себя на бору, бежу боса и нага. А на каждом сучке белка: в этих бы белках шубенко сошить! А впереди мужик с собакой. Ружье признял, двенадцать раз стрелил: пык-пык, пык-пык… Белки нападало, как снег… Он ко мне поворотился: «Обирай!» И узнала Ленина — красив, велик… Хотела вякнуть с радости и… опамятовалась, и чую: «пык-пык-пык» — явно палят от деревни на полдень.

— Стрелять начали! Сейчас за мной придут! Неготову, ненаряжену, без домовища в землю складут…

Ползаю по полу-то, реву:

— Красавица моя смерточка! Ты за мной сторопилась!

…Еще по разу бабахнуло близко возле домов.

По улицы побежало… Скорее бы конец! По лестницы зашло, по дому застукало, зовет кого-то… Голос знакомый, а не помню… Опять круг дома и на поветь… Называт кабыть меня. Меня ищут… Сами под пол посадили да сами и забыли… Нет, спомнили — дверь подерьгало да и позвало:

— Баба!

— Офоня! — Хочу зреветь, дышанье захватило…

Он замок отвернул:

— Бабенька!

— Дитятко!..

…Я дня три глупа была. Потом стала радоваться. Дальше да больше.

Вот как дело сотворилось: Офоня в волость с вестью прибежал, они с ним враз на Заозерье отряд для выгонки белых послали. До морозу худа была попажа. Наших с обозом встретили. Офоня ругал их, плакал, что безумну старуху одну бросили. Мороз пал, отряд напрямик побежал. Каськова разведка это унюхала, как пробка из суземов вылетела. Не до того было, чтобы наше Заозерье зорить, успеть бы людей да багаж собрать.

Этот переполох я и слышала ночью, да ко сну применяла.

Бела к субботе в ночь ушла, красна в понедель-

ник пришла. Два дня деревня порозна была, то и тихо стояло.

Поругал меня внук-от, что осталась от народа:

— Много ты мне, бабка, печали придала!..

— Тебе, Офоня, от безделья печалиться. Мне дак недосуг было печалиться: деревню караулить надо, за белыми доглядывать надо, иностранных людей наблюдать надо, могилу копать надо… Да, Офонюшка, вы Заозерьем проходили?

— Проходили.

— Ты Егора видал?

— Мне и ни к чему.

— Вот ты делов-то наделал! У меня Егору заозерьскому шесть шаек банных заказано. Растащат теперь белы.

С Офонькой на лавке красноармейцы сидят. Он смеется:

— Моя бабушка век така! Ей кол на голове теши, она своих два ставит…

Красноармейцы говорят:

— Достойно бы твою бабушку при почестях перед войсками на блюде носить или на кореты возить!..

Я их всех захватила распростертыма руками:

— Деточки, я заживо смертну нужду перешла. Теперь как вновь на свет родилась. Учите меня

в справедливу ленинску грамоту, а то я Ленина называю, а ничего не понимаю.

Жители Новой Земли (Фома Вылка)[73]

У каждой народности нашего Союза есть свои герои, свои замечательные люди. Одним из таких, далеко не заурядных людей среди ненцев (самоедов) является Фома Вылка, пионер новоземельской оседлости.

Есть Ледовитый океан, залив Голодная Губа, близ Печорского Устья. Тут у бедного оленного пастуха родился Фома. Семи лет он остался без отца, без матери и попал в пасынки к богатому зырянину-оленеводу.

Однажды увидел Фома — достал хозяин с полки как бы плоскую коробку и сказал: «Это книга». Но мальчик не понимал, что такое книга... А тот раздвоил книгу и стал нараспев читать.

В книге были цветные картинки, и у мальчика разгорелись глаза. Он навалился на чистую скатерть рукавами своей малицы и спросил:

— Книга, это цего? Его кто работал? Это цей ум?

---

[73] Notes: 73

Впервые опубликовано в журнале «Родина» в апреле 1993 г. *–Примеч. ред.*

Хозяин рассердился на смелость сироты, стукнул его книгой по лбу:

— Это, Фомка, спрос! Кто спросит, того в нос!

Долго Фома не смел взглянуть на книгу. Но в сердце загорелась охота научиться читать. И счастье улыбнулось ему — начал учиться грамоте хозяйский сынишка. Фома видел, как тот ревел над книгой, сидя на оленьей постели, видел, как дули мальца учебной псалтырью, и взялся ему пособлять.

Вечерами у стада вычерчивали они вдвоем буквы на снегу, на песке, и Фома незаметно для себя научился грамоте сам и мог на самом деле помогать несхватчивому, ленивому товарищу.

Когда старших не было дома, они со страхом и трепетом снимали с полки толстую книгу с картинками и с золотыми и красными буквами. Узорные заглавия особенно восхищали Фому, казались похожими на оленей. Иногда он подкрадывался к книге ночью, уносил ее в холодные сени и с замирающим сердцем читал при лучине. Проснись хозяева, здорово влетело бы нашему грамотею.

Фомины хозяева любили пить чай, сидели за самоваром долгими часами. Но мальчику-самоедину не давали чаю никогда.

Обиженный, устав подогревать самовар, бегать за водой, он намешивал иногда в ведро глины и грязи.

Фома подрос. Однажды к весне хозяин взял его в Усть-Цильму — зырянскую столицу. Было перед Пасхой, и мальчик удивился, что народ идет с вербами, в тундре на вербу и не глядят…

А хозяин утром так отстегал его вербой, что в пот ударило, и Фома, большой уж парень, заревел. Хозяин успокоил его, что от этого умнее бывают.

Фома и впрямь поумнел. При удобном случае снял с полки любезную с детства хозяйскую книгу, спрятал ее под малицу и ушел в тундру, к дальнему родственнику. Так и чаю не попробовал.

У дяди именья было — чум дырявый да жена-старуха. Но дядя был страстный охотник и рыболов. Стал Фома ему помогать и сам сделался хорошим промышленником. Только не было собственного ружья.

— Ах, дядя, — часто мечтал племянник, — кабы ты меня стал ругать да бить… Я бы в Большую Землю ушел и ружье унес!..

Но дядя был добрый ласковый человек.

Летом промышляли они у океанского берега. Плывут в лодке и протяжно свистят. Из воды вы-

курнет голова нерпы… другая. Охотники запоют песню, зверь ближе… ахнут из ружья, смешается вода с кровью. Вытянут в лодку за гладкие катарки. Вот и варево есть — раушка, и шкурка пестрая на пимы, и сало на ночник.

Всякому Фома у дяди промыслу научился, все обычаи узнал, зверины и рыбьи. Особенно в тихих озерах любо рыбку добывать. Тундряное озеро, как зеркало, в зеленом бархате лежит. Вода хрустальная, каждую раковинку на дне видно. Фома с вечера поставит сети, утром плывет за уловом и нагрузит в лодку полон нос. Возьмет рыбину пожирнее, положит на весло, клемы соскоблит, в хвост потычет, чтобы кровь проступила, и режет тонкими ленточками, и ест живую, сырую без соли. Она сладка, приятна рыбка печорская, сиги, пеляди, чиры, нельма, омули.

Так Фома и взрослым стал.

Тундры, где кочевали самоеды, искони были владеньем их племени. Есть у самоедей на то древние кожаные грамоты и памяти со свинцовыми печатями. По строенью самоедских отцов и дедов русские и зыряне, проходящие тундры со своими оленями, должны отдариваться подарками.

Раз около озера, где стоял Фома с дядей, поста-

вился чумами богатый оленевод. Оленей он вел несколько тысяч.

Фома поехал к гостям здороваться. Ему, как бедняку и хозяину тундры, надлежало получить с гостя оленя. Но купец, хотя и угостил Фому рюмкой водки, оленя не подарил.

Фома вернулся домой в слезах:

— Как так?! Наш мох травит, топчет, а на обычай плюет!..

Через месяц пали в тундре туманы. Под их густым покровом заехали Фома с дядей в зырянское стадо, отбили косяк оленей да и «провалились в тундру»... Суда не страшились, погони не боялись. Судиться оленеводу в то время дороже бы стало. Свора судейских крючкотворов-чиновников только этим и кормилась, а найти в тундре самоедина, как рыбину в океане, — нельзя.

К новому лету, когда важенки — матки оленьи отелились, стало у Фомы триста оленей. Триста оленей и ружье свое!

Некогда стало Фоме самому себе еду варить, малицу и пимы чинить. Иньку надо, жену.

Осенью на Усе-реке, притоке печорском, ярмарка. Оленя бьют на мясо, купцы наедут, торжище, игры, женихи невест смотрят. Тут Фоме пала стрела в сердце. Встретил красавицу. Косы убра-

ны медью и серебром, глаза как изюминки, щеки как брусника, нос ягодкой, ходит вперевалку, как утка. Зовут Иринья.

Самоедским обычаем стал Фома ходить в чум отца ее каждый день. Вечер сидит и спать тут повалится. Девица к нему и привыкла.

Фома ей говорит:

— Идешь, девка, за меня замуж?

— Ты меня прокормишь-ле?

— Сыта будешь.

— Бить порато станешь?

— Здоровее будешь.

Жених на другой день послал сватов торговать невесту. Сваты подали ее отцу палочку с красным лоскутком. Старик ножом сделал столько нарезок, сколько оленей хотел получить в калым за дочку.

Долго ходили сваты из чума в чум. Старик нарезывал, а жених срезывал. Подумывал, уж не лучше ли крадом, как любезную книгу, Иринью увезти, да дело обошлось. Заплатил двадцать оленей, двадцать оленьих постелей и бочку ворвани.

Приехал с женою в Пустозерский городок. Тут наконец чаю удалось попробовать… О, какой пустяк! Тьфу!.. Вот в кабаке другое дело!.. Так

сдружился с «водочкой проклятой у казеночки богатой», что к весне — ни одного оленя…

— Фомка, как жить будешь?

— У меня приятелей много, вместе зиму гуляли!

А попробовал у приятелей в долг на шкалик попросить — протурили. Стал стыдить — вздули…

Все же нашелся добрый человек, пустозерский лавочник.

— Вот что, — говорит, — парень, жалею я тебя до слез… Пал ты, хочу тебя поднять. Дарю тебе карбас, отпускаю из лавки пороху, муки, крупы, масла, водки ведро… За благодеяние мое поезжай на остров Вайгач, привезешь мне сальца звериного, харавинки, рыбки… На Вайгаче-островке зверя как песку в море, гуляючи съездишь… Ведь согласен, сокол мой, голубь мой, самоединушко?.. В подручные тебе дам работников моих.

Фома обрадел, в праву ножечку поклонился благодетелю.

Поплыл на Вайгач, сам десятый… Жену и младеня взял. Путь этот помнил до седых волос.

…Океан-то батюшко грозен, погодушка страшна, ветры буйны. Руль сорвало, мачту сломало, парус унесло. С жизнью промышленники простились, смертные рубахи надели… Вдруг ветры

утихли, море улеглось, и чайка — вестник земли — пролетела над карбасом.

А беда не вся. Плывет навстречу стадо моржей. Играют, дуют, карбас окружили: они любопытные. Дочурка Вылкина и заплакала, испугалась. Моржи подумали, что моржонок ревет, моржонка люди обидели… Около карбаса из воды завыставали, еле карбас не опружили… Одна самка до берега гналась.

А на берегу охотнику раздолье. На берегу олешки бродят, гага пуховая гнездышко вьет, песец самку вечерами кличет, гусь стадом ходит, и всякая птица без конца.

Ружья наш Фома свободного не опускал, до тех пор стреляет, пока руки не умолкнут. Однажда мужики на моржовую лежку наскочили. Голов полтысячи лежало, около стариков дети ползали. Смраду, сопенья, пыхтенья — на три версты. Вожак хоть не спал, да на него против солнца зашли. Он глаза таращит, а солнце слепит. Вожаку пуля каленая, тут все проснулись. Начал зверь в море опрокидываться, еле люди посторониться успели. А добычи многонько на горе осталось. Барышный товар — морж, шкура, сало, бивни.

Еще осенью птица не улетела, Фома обратно собрался. Судно до бортов набито; сало бочками,

кожа тюками, песцы, гагачий пух.

Наш удалец веселится.

— Преподнесу хозяину этакое богатство, и карбас по совести будет мой. Сам себе голова буду!..

Да нет, не сразу… Три годика карбас и снаряженье благодетелю отрабатывал. В эти три года весь Вайгач выползал, моржового сала-сыротеку, харавины первосортной, тинков, рыбы, пуху, птицы кораблями вывез. А все купцу, прорве ненасытной. Все за карбасишко людоед засчитывал.

А про удалого Вылку слава пошла. Стали хвалить, в коршики приглашать.

И пало ему на сердце итти в Новую Землю. Старики-промышленники рассказывали о сказочном богатстве новоземельских промыслов, там-де моржа, как бревен на сплаве, медведя, как коров на поскотине, песец за каждым камнем.

Однажды Новая Земля показалась Фоме миражом в океане. Далеко над водами протянулись неведомые берега, высокие горы. Марево растаяло, а Фома во главе отборной артели собрался на Новую Землю.

Благодетель-лавочник только руки потирал. Он же ведь потом и цену за добычу назначит.

Обрядили в долгий путь два морских карбаса. Старики советов надавали: как цингу выживать,

в какой губе промысел богаче, где от ветров отстаиваться.

При отвальном столе наш Фома так угостился, что только в океане опамятовался. Земля уж еле-еле в тумане блазнит. Фома земно родине поклонился, как бы навек простился. У него своя думка была.

Страшен и долог путь к Новой Земле. Океан беспределен, глубь несосветимая, ветры грозные. На просторе люто, люто было. Какой-то день Фому валом стегнуло, за борт смыло. Товарищи за волосы вытащили. Не раз, не раз он спокаялся, что полым океаном напрямик напустился, не послушался советов дружиться берега. На случай нового шторма оба карбаса связались, чтобы не растеряться на просторе.

На пятый день, когда растаяли утренние туманы, показались безмолвные берега Новой Земли. Сделалась тишина… Путники справили на высокую гору, уж близко были, но… кряду ударил всток — отдорный ветер с гор. Сутки в карбасах на одном месте веслами гребли, чтобы хоть в голомя не унесло. За этой бедой другая — туман пал, небо и земля из глаз потерялись. Еще сутки на веслах держались, из последних сил выбились, спасенья не чаяли, но одолели и немилостивый всток, и

туман, дорвались до желанной земли.

Наперво плыли опостен с берегом, скалы отвесные, лайды нет, пристать некак. Наконец зашли в губу. О, какая радость человеку после морской бездны ногами на землю встать!

Однако место оказалось скудно, некрасиво, незащищено от ветров. Отдохнув, открыли парус, дальше побежали… Нашли губку — заливчик побольше, покрасивей. На бережку изба стоит, крест на горке, остатки карбаса у воды. И человеческие черепа валяются. Поморы тут зимовали годов сто назад. Встарь архангельский народ на Новую Землю во множестве ходил, потом это все пало.

Наши путешественники промышляли здесь все лето. Стало добычу некуда складывать. Засобирались домой. Тут Вылка объявил, что остается на Новой Земле жить.

Товарищи только ахнули:

— Что ты, бажоный! Это слыхано ли дело?! Помрешь со всем семейством. Или про черную новоземельскую смерть не слыхал? Встока-ветерка не пробовал?.. А ночь-то настанет бесконечна… В могиле веселее… Окстись, опомнись!

Фома выслушал, встал, поклонился в пояс:

— Челом бью на вашем разговоре. А я оста-

нусь.

Промышленники открыли парус и убежали в море, в Русь.

Вместе с семьей Вылки остался бедняк Самде.

У старой избы перебрали полы, сделали два подпольных вылаза на случай прихода белых медведей. Стены оленьими постелями обили, на крышу камня наворотили (чтоб не раскрыли избу медведи и ветры). Еды было в запасе года на два, пороху на год. Голода не боялись, боялись цинги.

Вот птица улетела. Тихо стало. Вышел как-то утром Фома — бело кругом, как саваном наряжено. Только холодное море чернеет. Дни стали круто убывать. Еще был день последний — красное солнышко горные вершины позолотило и закатилось на долгую ночь. Вместо света в полдень сумерки.

С востока ветры пали. Море гудит не по-веселому. Снегу иную ночь столько навалит, что трубой вылезали. Из-за лютого встока по неделе наружу не показывались. Иринья приоткрыла раз двери, хотела помои выплеснуть, ветром выдернуло ведерко из рук и, как бумажку, унесло в океан.

А припадет тихо, ребятишки из зимовки выползут, на саночках с крыши катаются. Старшие по дрова в то время сбродят, хламу берегового

наберут, на льду поохотятся.

Морозы пошли — скалы лопались, камень расседался. Из тепла выкурнешь, слезы льдом возьмутся. Море застыло; полдня серого не стало; тьма пала круговая, звезды не гаснут. Зато началось зимнее диво — полярное сияние. Полуночное небо запереливалось изумрудными, янтарными, лазурными дорогами, загорелось перламутром, зажглось огнями алыми, синими. И грохот, и гул бывал временами от сияющего эфира.

Чтобы счета дням не потерять, сделал Фома деревянный календарь. Будни — рубежок, праздники — крестик.

Вечерами в сковороде трещит, горит ворвань. Хозяин свою книгу по складам разбирает. Прочтет слово, поймет — обрадуется, с женой поделится, не поймет — дальше читает. Иринья малицу шьет, в игле вдеты оленьи жилы, тонкие, крепкие. Девочки играют, у них куколки меховые с утичьим носиком — вместо головочки. Самде спит.

Ох, долги ночи у зимы новоземельской! Конечно, белого медведя в гости дождались. Тот день мужиков дома не было. Иринья слышит, кто-то по крыше ступает, у стены роет. Выгляну-

ла в волоковое окно, в дымник, да нос к носу с белым медведем и поцеловалась… Она отпрянула, а медведь головищу в избу продел и нюхает. Как косяков не высадил? Инька не потерялась. Бересты, щепы, хламу всякого в печь бросила, зажгла. Дым к волоковому окну подошел, въелся ошкую в глаза. Тот отступился, опять забрался на крышу, выудил с чердака тюленя, стал у дверей закусывать. А мужики к дому подходят, на гостя дорогого собак натравили. Ошкуй наутек, но у Фомы пуля метка, ружье не врет.

Потом Фома много белых медведей бивал. От одной медведицы девочкам медвежонок достался. Ему под стеной, у тайника, домок состроили, спали с ним, с маленьким. Мягок он, теплый, наперво салом тюленьим питался. Бывало, что и зубом цапнет, у зверя не без этого.

Долга зима на Новой Земле, а живет и ей конец. В полдень стало посветлее. Ребятишки на гору стали наведываться, солнце караулить. На оленя охота открылась, повеселее стало. Во второй день февраля девочки прилетели в избу с радостью — солнце показалось. Все выбежали на улицу — горные вершины сияют, озарены восходом. На другой день солнце выкатилось в половину, на третий — в полном лике пожаловало. Дни начали

быть с той поры. Сколько радости людям прибыло! Не понять того в ином месте живущим.

Только бедный Самде, Вылкин товарищ, не дождался солнышка. Спал по двои сутки еще с ноября, потом запух, ноги отнялись. К свету его и не стало.

Положил Фома товарища на гранит, навалил сверху каменный курганец в защите от зверя. Медведь мертвых не тронет, а песец обижает. Могилу в славном новоземельском граните не выдолбишь, приходится либо в камень закладывать, либо срубом накрывать. Сверху могилища ставят столб или крест с колокольчиком. Колоколец устроен так, что звонит и от малого ветра. Песец боится этого звона пуще выстрела, и люди боятся. Один ошкуй не боится.

Поморские кресты высокие, медведь на дыбы встанет и когтем отведет на древе черту, столь высоко, сколько может достать; рост свой меряет. На другой год опять придет и снова на перекладине чиркнет, узнает, много ли подрос. Это новоземельцы рассказывают. Может, и басня.

Красное времячко на Новой Земле весна и лето! Гаги, утки летят, говорят, ночами солнечными; белая сова поет, песец опять псицу зовет; снежный жаворонок-пунашка звенит высоко. Лебеди

на озерах — как в гусли играют, гуси будто купцы на торгу народ зазывают. Речки шумят, ручейки перекликаются. И от моря не отошел бы! Вода живет, тюлешки на льдинах едут — греются.

В эту пору Фома нового человека без терпения повидать захотел. Не уходит с гляденя. И однажды усмотрел парус… Вскочил, шапкой машет… Но судно убежало под северный ветер.

У Фомы весь день сердце билось, сдумал сам пойти людей по северным становищам поискать. И нужда неволила. Порох был на выходе, свинца для пуль мало, ружье избилось. Но пуще всего с человеком поговорить стало надо.

Спихнули на воду карбас, уложили короб с едой, одежду, лишнее спрятали в камни, открыли парус и пошли к северу.

Шли о берег… Вылка в каждый залив заходил, каждую бухту осматривал. Остановится, выстрелит, слушает… Только птица встрепенется на ответ, камень сорвется. И опять все молчит. Молчит от века…

У какого-то залива повиделась лодка и в ней человек. Фома закричал, справил в ту сторону рулем. Но человек причалил к берегу и потерялся.

Фома весь берег выбегал — никаких следов, ни судна, ни жилья, ни человека… Это была обычная

марь новоземельская, мираж.

Но самоедин верил в чудь, неведомый народ, который показывается живым людям только перед бедою. Вспомнил Фома об этом, встали у него волосы дымом, бросился в карбас да от берега…

Подвинулся Вылка до Гусиного Носа. Дальше, на осень глядя, побоялся напуститься. Мыс Гусиный далеко в океан уходил, страшно на утлом карбасе на вольный простор с семьей. Хоть место пустынное, невеселое — камень нагой, а пришлось остаться на зимовку. Только и удовольствия было тут — гагар множество. Крик у них нестерпимый — будто плач и визг женский, и хохот, и болтовня, и вопли.

Девчушкам это забавно было. До поздней осени у гнезд гагачьих на камнях и спали. Птица не боялась, в то время новоземельская птица еще не пугана была, с человеком рядом посидеть любила.

А Инька Ириньина родилась догадлива, руками наловила птицы больше сотни и спрятала на случай голода.

Так у Вылок вторая зима наступила. Птица улетела, Новую Землю в снега опеленало, во льды заковало. Опять ветры засвистели, дня не стало.

У зимовщиков на сей год и худенькой избушки

не было. В чуме зиму лютую жить досталось. Чум тепла не держит, в погоду снег набивается.

Как море замерзло, никакого зверька стало не сострелить. Живого мяса нет — цинга пришла. Иринья опухла, девочки свалились. Отец плакал ночами, думал — все пропадут, да случай помог, ошкуй под пулю попал. Больные кровью горячей отпились и на отжив пошли.

А много здоровья эта зима унесла. Как светлое утро явилось, оказалось, Фома поседел, как куропать.

Эту весну у него сердце пуще прошлогоднего затосковало. Тошнехонько на люди захотел. Рад бы даже в Пустозерск к хозяину с повинной ехать. Но вот какое дело сотворилось.

В губу судно зашло, якорь выкинуло… Фома прилетел в чум, начал именье хватать, в узлы связывать, велел семье в горы бежать… Потом бросил все, зарядил ружье, сел у воды… С борта корабельного его тоже приметили, закричали по-своему. Фома опять испугался, прибежал к жене — и дочек в охапку захватил.

Норвежане (судно было норвежское) несмело подошли к чуму, стоят, зайти не решаются, глядят. И самоедин на них из чума уставился. Один норвежанин выступил вперед, сказал что-то.

Фома пуще затрясся, выскочил, пал ему в ноги и заплакал, не то с радости, не то с горя. В чуме Иринья запричитала, девчонки в голос заревели. Норвежане утешать принялись, да слов не слышно от вопля и рыданий. Кто-то поднял Вылку и проговорил:

— Корош руски, корош! Пропаль нет…

Возрадовался Фома понятному слову, слетал в кладь, выволок медвежью шкуру и преподнес гостям. Тут ему кто сухарь, кто папиросу, кто карандаш, кто книжечку записную… Тот день Фома от радости еле не убился. Кормит норвежан мясом, свежей рыбой; те его на шхуну повели, на стул посадили, кофею налили с бисквитами. От кофею дорогого гостя едва не стошнило, а сухарики за пазуху сложил — детям. Тут и рому поднесли… Давно бы так-то! От рому радости прибыло. Всех стал обнимать, целовать, припадать, всем кланяться. Ему и пороху дали, и свинца, даже ружье подарили патронное. Фома, хоть не без труда, тут же и заряжать научился и приезжих стрельбой своей удивил. На лету у гагарки голову снес. Не помнил Фома, как его на берег вывезли, когда проснулся, шхуны на рейде уже не было.

Вылка тоже времени терять не стал, лишний промысел убрал в камни, склался в карбас, от-

крыл парус и отправился дальше на Север.

Рассказывать скоро, плыть океаном долго…

И только Гусиную Землю обогнул, в первом же заливе нашел новое поморское погребение, свежую щепу, колоду тесали… Но жильем тут не пахло, а колокольчик над гробом звенел так жалобно, что Фома и не оследился в этой губе. Открыл парус и поехал на север.

Еще губу, другую миновал, и зашел в становище, называемое у промышленников Большие Кармакулы.

Губа обширная, на утесе три поморских креста, на песке лодка разбитая, сети рваные, кучи рыбных голов, раушка моржовая и тюленья. По всему видать, что сюда промышленники каждое лето приходят.

Фома на берег выгрузился, на виду и чум поставил:

— Здесь мне сорока кашу варила. Здесь буду жить.

Спят однажды Вылки в чуме и слышат: пес лает и другой рвется… Выскочил Фома, перед ним люди высокие, бородатые. Попятились они от самоедской радости: а тот не знает, как их принять, где посадить, чем угостить.

Радуется, что теперь на родину попадет, с людь-

ми наживется, лес увидит.

Но хозяин судна сдумал иначе. Дал Фоме пороху, свинцу, ружье, муки, круп; Иринье — ситцу, платков и уговорил их пожить еще на Новой Земле.

— Живи, самоединушко, да промысел копи. Ничего нету хорошего на родине твоей. Здесь у вас туманы, а там — обманы… А мы весной опять к тебе прибежим, чего прикажешь — всего привезем.

Фома вином угостился, на все согласился. Поморов обнимает, подарками оделяет. Те его честно отдаривают, хвалят за смелость, за терпенье, за грамотность. Рядовые промышленники помогли Фоме чем могли, да хозяин корабля не таков. За ружье и припасы, что самоедину дал, до праха у него весь промысел зимний вычистил. И строго наказал ни с кем другим дела не иметь, добычи не отдавать.

Фома не спорит. Что будешь делать? Русский товар всегда дорогой, самоедский всегда самый дешевый.

Так Вылка и третью зиму на великом пустынном, уединенном острове отгоревал. Он перестал и Печору поминать. Новую Землю стал родиной почитать.

Слух, тот слух, что на Новой Земле человек с семьей поселился и живет благополучно несколько лет, этот слух весь северный край облетел. Отважные русские мореходы из Архангельска, Поморья, Мезени, Печоры хаживали на Новую Землю за зверем, знали, что промыслы богатые, но зимовать там никто не решался. А какой-то самоедин три года!..

Когда эта весть пришла в Печорские и Мезенские тундры, бедные самоеды спокой потеряли. Пьют ли, едят ли, все о Новой Земле разговор. Вовсе тяжело стало в тундре. Грузно нажали зырянские и русские купцы и кулаки. Засобирались безоленные бедняки вслед за Вылкой.

Наконец и правительство обратило благосклонный взор в ту же сторону. Весной 1870 года к Новой Земле подошла целая эскадра. На борту одного из парусников был брат царя. Эскадра привернула и в Кармакулы смотреть первого поселенца. К приему высоких гостей Вылку приготовили заранее. Еще с осени разъяснили, кто приедет, научили, как надо стоять, как называть, как отвечать…

А наш герой, как только весна началась, склался в карбасок и удрал с супругой, детьми и собаками на Карскую сторону. Там все лето до белого снегу

просидел, как мышь в подполье.

Фома догадлив родился. Он такую картину себе рисовал:

— Вот приедет русское начальство, все чиновники со светлыми пуговицами, схватят его, увезут и посадят в тюрьму за то, что когда-то без спроса завладел карбасом пустозерского лавочника.

Фома ни на минуту не сомневался, что эскадра только за тем и послана была, чтобы его изловить.

К зиме вернулся на старое место — опять зажил. Промысла были хорошие год от году. Помор ежегодно привозил все, что самоедин наказывал, до крошки отбирая его промысловый запас. Пуд любого Вылкина товара хозяин оценивал в рубль. И пуд сала, и пуд хоравины, и пуд шкурок песцовых, и пуд меха медвежьего. Все с краю шло в рубль. Фома не жаловался на грабеж:

— Ницего! Он тоже порато трудицце, морем ходит далеко. Я его оцень жалею, подаю ему Кристаради — мне Нова Земля больше дает!

Наконец явились на Новую Землю Вылкины единоплеменники, привлеченные его примером и славою. Были такие, что хозяев надули, чужим снаряженьем пришли, были и самосильные. Стали они рыбу промышлять, зверя постреливать,

хорошие места узнавать. Хозяева*(нрзб.)*

Фому Вылку эти поселенцы старейшиной новоземельским почитали, по имени называли, по отчеству величали.

У Фомы сын родился. Этому Новая Земля была настоящая родина. Дочери Вылкины выросли, стали невестами.

Годы шли, как гуси пролетали.

На двенадцатом году Вылкина жительства новоземельского в Кармакулы пришел пароход из Архангельска, привез лес для постройки настоящих домов. Общество спасения на водах поставило здесь свой пост. Привезено было еще несколько самоедских семей.

Это времячко для Фомы было самое отрадное. Ему отвели дом, дали обстановку. Местные и приезжие относились с почтением. Фоме даже власть поручили, назначили старостой. Он принимал норвежцев, ученые экспедиции и оказывал ученым людям многополезные услуги.

Никто не знал так Новую Землю, ея климат, природу, горы, реки, озера, заливы, зверя, рыбу, как он, старый самоедин. Стало и начальство перед Фомой шапку снимать. Когда начальство отъезжало с острова, Вылка распоряжался единолично. Принимал припасы с пароходов,

распределял их, размещал людей, указывал стоянки судам. Он приставлен был и к расходу казны, и его разумом все было споро и прочно.

Много раз Фома спасал корабли, погибавшие у берегов Новой Земли, избавлял от голодной смерти русских и норвежских мореплавателей.

Вот один из многих случаев. Произошло это еще до того, как в Кармакулах открылся спасательный пункт, но с Печоры уже пришли к Фоме семьи новоселенцев.

Была поздняя осень. И вдруг является в Кармакулы кучка норвежцев. Страшно на них было смотреть. Лица посинели, губы почернели, кожа к костям приросла, ноги, руки поморожены, одежда в клочьях. Их шхуна разбилась на севере у неведомой губы, им неделю пришлось брести до Кармакул…

Самоеды приняли несчастных как самых дорогих званых, желанных гостей. Уложили, салом натерли, согрели, напоили, накормили. Стали норвежане тут зимовать. Самоеды, как за малыми детьми, за ними ходят. Иньки им белье стирали, теплую меховую одежду сшили, обувь, шапки, рукавицы. С ног до головы обули, одели. В обед, в паужну, в ужну лучшие куски гостям, в избушке, в чуме лучшее место, лучшая постель тоже им.

Норвежане не могли есть тюленье мясо, и любезные хозяева с Фомою в самые лютые морозы, в кромешную темную пору ходили искать дикого оленя… А олешка не найдут, дак хоть ледяную утку, снежную куропатку добудут, чтобы гостей побаловать.

Когда некоторые из норвежан все же заболели цингой, самоеды все силы приложили, чтобы не дать им погибнуть. Теплой кровью насильно поили, целыми днями тело им, руки, ноги растирали, ходить, бегать понуждали, всяко неволили, чтобы только жизнь людям сохранить. Сказки им рассказывали, чтобы рассмешить, песни пели, хотя больные и не понимали.

Фома у всякого хорошего дела привык в первых, не отходил он и от норвежцев. Иногда ночью больных схватывала смертная тоска, начинались рыданья. Фома вскакивал, будил свою старую Иринью (дочки уж были замужем). Вместе с ней, засветивши еще несколько плошек, пели веселые песни, рассказывали сказки; видя, что лица больных проясняются, водили иногда старинные самоедские танцы, пыхтя и отдуваясь.

Самоеды, как и русские поморы, считают, что развеселить цинготного больного — лучшее лечение.

У своих пациентов Фома научился понимать их язык и в старости говорил по-норвежски свободно.

При конце зимы норвежцы затосковали все, стали рваться в море, домой. Самоеды умоляли их дождаться первых промысловых судов, пугали опасностями плавания в вешних льдах. Норвежане ничего не хотели слушать, не уходили с океанского берега, перестали есть… Тогда Фома подарил им единственную свою собственность, свой карбас с полной оснасткой и снаряжением, с запасом провизии на несколько месяцев, и норвежцы плакали, целуясь, как братья. Единственное, что взял Фома при прощании, — маленькую глиняную трубочку, которую отдарил моржовым клыком.

Года через три наши кармакульцы с радостью узнали, что их гости встретили в океане норвежское судно и благополучно прибыли на родину.

Не сосчитать будет пота и трудов, положенных Фомою Вылкой на Новой Земле. За несколько лет перед смертью он перенес страшную зиму. На западном берегу был плохой промысел, и смелый Фома с женою и сыном откочевали на Карскую сторону. Там под ударами зимних штормов лишились Вылки всего снаряжения и стали умирать.

Кармакульцы разыскали их. Со стариком и старухой удалось отводиться, а юноша, любимый, единственный сын их, погиб.

Эти последние, печальные годы осиротевших Фомы и Ирины всячески скрасил своим участием, своею поистине сыновней заботливостью молодой путешественник К. Д. Носилов, зимовавший на Новой Земле. Благодарные старики платили ему любовью самой нежной, самой горячей. К. Д. Носилов принял и последний их вздох. Иринья умерла годом позже Фомы[74].

[74] Notes: 74

В книгах Носилова подробно описана жизнь Вылки и большеземельских самоедов.

Сказы

Слово о Москве[75]

Что звенит, что поет утром рано, перед зорями? Жаворонок звонкий, в красные дни утеха, летит под синие облака, поет великую славу. Летит крылатая мысль, соглядая дивный возраст великого города. Память смущается, исчисляя века и годы Москвы, а сердце ликует и хвалит ее неразоримую славу. Обветшала честь спесивых заморских столиц, но вечно юнеет Москва. Москва Великая… Не в книгах, не в письменах — в наших сердцах живет разум и сила этого слова.

Здесь, над Москвой-рекою, начала Русь собирать свой дом. И ныне народная власть кроет этот дом золотою кровлей. Город заветный, Москва заповедная…

«…Москвой-рекою налейте кувшин и пошлите мне, — писал некогда безымянный служилый человек с далекой чужбины, — я выльюю в здешнюю реку, и тут будет мне родина».

---

[75] Notes: 75

Впервые опубликовано — вместе со следующим рассказом, «Слово о Ломоносове», — в сборнике «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959) и переиздано в сборнике «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967). «Слово о Ломоносове» также включено в сборник «Гандвик — Студеное море» (Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971) и др. *–Примеч. ред.*

Во дремучем бору Москва рублена, на веселое место поставлена. «Тут любо уму, тут сорока кашу варила», — сказала великая Русь и плотной ногой ступила на холме Боровицком.

Суздальцы и владимирцы усмехнулись: «На бруснику, на клюкву, на ягодки обзарились московские князья, да на болотце и остались. Городок, будто белка хвостом, лесом накрылся. Мы бы и не ведали, да веник оттуда к нам принесло по течению. И владыка Петр — ни к нам, ни в Киев, а тоже туды ж, на болотную кочку. Знать, умом опростел от старости!»

Где ныне простираются улицы, там древние мужи московские деяли ловы зверины, «и княжая одежда от поту звериного и от слюн медвежьих всегда зарудилася». Уток, гусей, лебедей москвецы стреляли с крылец.

Отец дарил старшему сыну гнездо стрел. Вместо мостков по мхам, по ручьям были кинуты жерди.

Время катится, годы торопятся. Москва «бело лицо принаполнила, русу косу поотростила». Суздаль и Владимир дивятся на Москву: гораздо невеличка, а промышляет около нас, будто большая!

Годы катятся, дни торопятся.

Москва шагнула на полный шаг и в своих многотрудных путях терпела всякую дорожную невзгоду. В огне по пазуху горела, и в воде тонула, и, насилу отдыхаючи в бедах, доспела себя в разум государственный.

Москва опытно узнала, что «сладкой быть — проглотят, горькой быть — расплюют». Перед татарами Москва до поры до времени показывала вид покорности. Но крепко заботилась, чтобы «свеча не угасла», не иссякла бы под чужеземным игом живая струя народного сознанья. «Татарская журьба часовая, московская гульба вековая!»

Благодаря Москве перестала на Руси княжья крамола. Удельные князья обиделись, что Москва стала «на словах спесива, на речах горделива». Но перед гордостью Москвы преклонились наконец татарские цари.

Восстает Москва, и — внутренние обиды минуются. Восстает Москва — сторонние страхи далече катятся. Восстает Москва, и — немецкая латыня ужасается!

Москва опоясала меч. Москва белокаменная стала щитом и забралом всея Руси. Вот «швицкий король многие страхи наводит, славу пущая войною на Русь». Вот «латинские немцы подошли к русским краям»... Москва ополчается первая.

«Против врага московские люди твердо стоят и бьются до смерти». Европа, хочет не хочет, слушает славную весть: «Москва королевское войско отбила, и воеводок у них полонила, и меч латынский обнизила».

В древности в боях под Москвою «пели стрелы каленые, гремели копья долгомерные, блестели топоры, как синие молнии». При отце Ивана Четвертого Москва встречает неприятеля «с огненным боем, с самопалами и пищалями». Воевода XVII века доносит: «Швецкие люди показали новые в ратном деле вымыслы. И против тех хитростей старое ратное устроение показалося на боях неприбыльно».

После царя Бориса Годунова Москва «отовсюду терпит рати и бури. Извне страх, внутри мятежи». Москва ненавидела «королевских польских людей и своих миропродавцев». Московские патриоты, брошенные в тюрьмы и казематы, пламенным словом своих посланий подняли на освобождение столицы всю Россию. Когда народное ополчение Минина и Пожарского подступило к Москве, убедительное слово ее патриотов обращено было к тем «шпыням московским», которые, «живучи посреди смертей многих, потеряли правый путь». «Бегуны, пота-

ковщики! Мертвое ваше дело! Вся тварь на вас, миропродавцев, негодует. Звезды помрачились, земля хлебородимая сохнет, поля вянут. Не хочет Мать-Земля предателям служить. Опомнитесь, отряхните мрачный сон! Горе человеку, который, упавши, забудет прежнее достоинство, но в темной измене валяться полюбит».

Московское житье-бытье Смутного времени показывает одна грамотка-жалобница: «…В ночи на овторник два человека ляцкой породы, со своим бутенантом, приходили жегчи мое дворенко. И я с ребятишками, послышав, выскочили на улку и почали гаркать. И те ляцкие люди побежали и на Коровьем Броду сожгли овин. А приходили по наущенью вора, мирского захребетника Митьки Олферова».

После изгнанья врагов было указано:

«Всем того дела беречь и остерегаться, чтобы воров не укрывать по дружбе. А на добрых людей по недружбе поклепов не сказывать».

Москва не изнемогла в напастях. Корабль ее жизни плывет дальше. Белокаменная зорко следит, чтобы нигде не учинилось порухи ея имени. В Мадриде московских послов невежливо спросили:

— Правда ли, что Москву часто разоряют чу-

жеземцы?

Послы ответили:

— Рати бывали. И теперь всему миру ведомо, что к Москве войною ходить дело неприбыльное. А ваши гишпанские пристани арапы разоряют каждогодне. Мы, идучи кораблем, разоренные ваши морские города видели. И о том печалились…

Испанская королева готовила в Москву ответную грамоту. Послы наказывали: «Чтобы в грамоте, какову шлют с нами на Москву, титлы преименитого Московского государства были написаны сполна». Раз десять переписывала королевина канцелярия ответную грамоту. То оказывалось, что грамота подчищена. «И нам такой чищеной хартии казать на Москве не доведетца». Недовольны послы и новым списком. «Хотя титульные речи написаны сполна, а не по чину. И вы бы, которые слова у вас писаны позади, поставили напереди». Канцелярия доказывала: «Российских титулов гишпанскою речью нельзя перевесть слово в слово, для того что грамматика не сходствует». Послы не сдавались: «Хотя и не сходствует, но вы для всемирного покоя и тишины и для первого нашего любительного к вам приезда учините в грамоте по-нашему».

Титул Московского царства чрезвычайно высоко ставил Иван Грозный. Лично свой род он исчислял от римского цезаря Августа и большинство современных монархов считал худородными.

В ответ на «звягливое» послание шведского короля царь пишет:

«Нам твои титулы дьяк до обеда вычесть не поспел. В которых ты своих чуланах откопал, что твой род от кесарей римских? А на Москве добре ведомо, что твой род сермяжный. Ты забыл, а мы знаем: твой родитель, в рукавицы нарядяся, по рынку ходит, коней меняет, жеребцам в зубы смотрит. И ты над твоими думными боярами не больше и не краше старосты в деревне. И потому тебе непригоже с нами, великим государем московским, лицо в лицо грамотами ссылатись. А пиши ты к нам через наместника. Не обидься… Еще звонишь ты в большой звон, что Москва твои рубежи воюет. Мы про то не слыхали. Знатца, порубежные мужики спьяна подрались, а твоему величеству война приснилась… Не затевай! Не мастери кроволитья! А некоторые плачевные гласы во вселенную пущены, что московский-де царь великость новгородскую потоптал, и я спрошу: „Тем ли Новгород велик был, что с

Литвою стакався, на Московское государство злоумышлял? То ли теперь Новгороду бесчестье, что со всею Русиею в единомыслии стоит?“ Еще пишешь, будто Москва окраинные города от латинских королей отлучить замышляет… А и то бы не дико: вера едина, язык един… А что твое величество, взяв собачий рот, лаю пишет, будто я твою жену у тебя отымаю, и о том у нас много смеху было…

Сыщи ты переводшиков пограмотнее. Пущай новгородскую нашу грамоту ладом перетолмачат. А твоя королева нам не надобна. Никто ее у тебя не хватает».

Только через сто лет после Грозного явился на Москве писатель, столь же смело и самостоятельно употреблявший живой, разговорный народный язык. Это строптивый Аввакум Петров будоражил книжников московских искрометной, яркой речью. Книжники негодовали: «Неухищренное и нехитро плетеное писательство его зазорно. Аки бы неистовых жен вопли». Аввакум горячился: «Плюю на ваше рукоделие, плети кто хошь: сиди да кропай, путай да мотай. Подпирай русскую речь эллинскими костылями, будто она ходить не умеет!.. А я люблю свой природный русский язык. Не унижаю его чуждыми прикрасами.

Недосуг мне-ка с тобой узоры-те вывязывать. А я размахнясь да брязну по роже!» Сосланный в Печору Аввакум пишет царю Алексею: «Михайлович, плюнь ты на греков! Вздохни-тко по-русски, а „кириелейсоны“ оставь. Ведь ты, Михайлович, русак, а не грек. Греки-те с турецким салтаном одно блюдо облизывают!»

В старинной Москве только знатные и заслуженные люди имели право писать свое имя-отечество полностью. Люди нечиновные писались в деловых бумагах — Ондрюша, Митя или — Иванец, Степанец, Павлик, Карпик. «Черный» народ писался: Никитка, Павлютка, Дунька, Марфутка. Московская женщина, даже знатная дама, в письмах к мужу именовалась уменьшительно. Княгиня Голицына подписывается: «Женишка твоя Аришка челом бьет». Духовные лица подписывались: поп Еремеище, игумен Терентьище, старчище Иванище. На приеме у царя люди простого звания стояли на улице. Люди «получше» — на крылечной лестнице, кто выше, кто ниже, смотря по важности своей.

Чиновные лица стояли в сенях. Знатные персоны допускались в царские палаты. Из-за мест на лестнице и в сенях шли великие споры. Царь посылал унимать спорщиков от ругательства и

от драки, «для того, что и речей в палате от того горланства и бою не слышно». Бывало, что и на царском пиру бояре, споря из-за мест, волочили друг друга за бороды.

Не о всякой старине язык беспечально выговаривает. Но весело сердцу вспомянуть московское искусство и художников. Кончилась татарская зима. Сияют зори русские, весенние. И как верба кудрявая и как подснежник на проталинке, возвеселил Москву Андрей Рублев.

Через двести пятьдесят лет после Рублева другой старинный живописец, Никодим Онежанин, восторженно дивится светлости рублевского художества: «Не ведаю, как обсказать. Язык мой короток, не достанет тех красот. Разум мой не обнимет того преизящества. Но дивна мне и чудна светлость мастерства. Ум исхититься может от прегудания (перезвона) многоцветущих вапов…»

Как-то выпросили москвичи у города Владимира одно достопамятное произведение греческого художества. «На малые сроки, на посмотренье и умиленье». Выпросили на время, да и не захотели с «посмотреньем» расстаться. Отвечая на докуку обиженных владимирцев, москвичи сказали: «Который град честнее для пребыванья оного сокровища? Не царственная ли Москва?..»

Во Владимир послали копию «Андреева письма Рублева». И владимирцы «приняли Рублево дело благодарно и с весельем. Потому что Андрееве письмо все чудотворное».

Древнемосковские художники знали-ведали всю хитрость и устав ремесленный. Изготовляли доски к живописи, терли вапы — краски многоцветные, варили олифы, умели золотить, чеканить, штукатурить… Эти мастера заботились, чтобы художество для радости людской явилось прочно.

Книжица «Нарядник» говорит: «Подмастерье мастеру повинуйся. Мастер о подмастерьях промышляй. Не говори грубо-досадительно. Не возносися. Не закрывай полезных речей мудростью.

…Дарование художное подобно черпающим воду из реки. Один подымает велик сосуд, другой посредний, а иной — малый. Всяк несет по своей силе. И ты богатству дарованья радуйся. И намеренье посредственных целуй. И спех умедливших люби».

Кроме картин на липовых досках, эти мастера «писали потолки на полотне и золотом и серебром, изображая круг небесный и планиды». Делали рисунки для художниц — вышивальщиц

и ткачих, золотошвеек и кружевниц. Художники не презирали ремесла и были крепко связаны с народным бытовым искусством. «Которые образчики, и лица, и узоры купили в Оружейную палату Онтонидки Кружевницы из Хамовников, и те листы переплести в тетради, и хранить особою статьей, на погляденье подмастерьям, а мастерам для ведома».

Мастерица Настька со Скатертного переулка при посылке сестрам в Серпухов «первоучебного тканья, вязьбленного и берчатого», пишет: «Рукодельице мое примите и, сочинив одежду, да носите на здоровье».

Московскую шубку, «струйчатый атлас, камку — жаркий цвет, ожерелье из соболя» московские послы дарили герцогине флорентийской. И та «надела на себя и дивилася изрядному шитью».

Королева испанская на приеме московских послов держала их подарки в руках и «лицом была светла гораздо». А пятилетний король «с золотого стула соскочил и шляпу скинул, играючи московскими гостинцами».

Изящными искусствами ведала Оружейная палата. В рядах художников «второй руки» поименованы: «Соломонида Лоскутница, Девятко Шапочник, Васька Пуговичник, Бориско Седелян-

ный Мастер, Игнатко Часовик».

Поставщиками художников были торговые ряды — полотняный и холстинный, пестрядинный и крашенинный, тафтяной и суконный, медный и оловянный.

Москвич тонко разбирался в оттенках любого цвета. Красный цвет делился на мясной, румяный, брусничный, жаркий, маков цвет, багрянец. Белый цвет — на бумажный, сахарный, седой, облакитный (облачный).

Возле домов москвичи ставили «щоглы с ветреницами» — мачты с флагами. «У дьяка Таракана Андреевича на Яузе ветреница: пятнадцать аршин по лазоревой крашенине нашито сукном разных цветов и шахмат, клетка коричневая да клетка соломенный цвет. У гостя Нежданa Комара ветреница: шито сукном тьмо-зеленым да румяным через полосу».

Помянутый Никодим Онежанин приводит отзыв датчанина Ольса: «Сколько-де он, Ольс, земель проехал, а не видал такого узорочья и рукоделья доброго. У них-де, на Москве, и плотник рубит с вымыслом».

Ветхие листы, поблекшие письмена, выцветшие строки нередко донесут живительную весть о верности друг другу мастеровых людей в ар-

тели: «Как Прохор — каменный мастер за нас у Голицына кирпичного заводу пострадал, так и нам друг по друге радетельно стоять повелел».

Наряду с художеством «рукотворным» стародавняя Москва любила музыку: «Москва из песен сделана». Были свои композиторы. «В созвездии творцов московского мастеропения имена Ивана Грозного и сына его Федора занимают далеко не последнее место. Их музыка столь же чувствительно действует на воображение, как и нонешняя», — пишет один московский деятель прошлого столетия. Свое музыкальное творчество царь Иван изложил в древней крюковой нотации. Древние нотные манускрипты часто имеют пометку: «Роспев царя Ивана Московского». Федор Иванович написал музыку к песням Цветной Триоди: «Днесь весна благоухает...», «Днесь светло красуется славный град Москва...»

Мастерица была Москва песню спеть, и сказку сказать, и пляску сплясать под гудок, под волынку, под гусли. Но «всякий спляшет, да не как скоморох». Москва всегда любила «действо феатральное». Московские актеры-скоморохи славились по всей Руси. Иные жили «смирно, за царем и боярами». Но большинство скитались артелями «меж двор». Власти опасливо

поглядывали на этих лицедеев-пересмешников. Благочестивые люди не любили скоморошьего «плесканья, гуденья, многовертимого скаканья». Почтенный гостинодворец тужит: «Сын мой, Пронька, стакався с веселыми людьми — перегудниками, не почал меня, отца своего, слушать».

В Москве у бродячих скоморохов была своя актерская биржа под вывеской «колашни». Соседи жаловались: «Держит подворье баба Курка Колашница да Васька Чиж, скоморох. И он ей не муж: живут без закону. А колачей николи не пекут; держат приход гулящим людям — скоморохам. Неведомо откуда придут и по ночам укладывают, куда пойдут. И у того Чижа по вся дни игра в зернь и в кости, и приходят картовщики и табашники. И та Курка и Чиж сказывают у себя на тое воровское становье грамоту, а нам, добрым людям, тое грамоты не покажут. А куда поедут, и свое дворишко запечатают тельным крестом и зубами. А земского судейку Володю Короля, и приставов, и понятых потачат деньгами и поят вином».

По Москве при царе Алексее против скоморохов был объявлен «заказ крепкий с заповедью». «Веселые люди» артелями стали уходить на Север. Грустью веет от их «жалобницы»: «Промышляли

мы на Москве необидным делом… Не убийцы, не грабежники, не воры: прихаживали ко дворам для добрых бесед. И за что нас так тратят?»

У светлого Гандвига, Белого моря, изгнанники оставили добрую память. «Веселые люди-те, святые», — величает скоморохов пинежская былина. Скоморошья эпопея «Шиш Московский» повествует о проказах над богатыми и сильными. На Двину скоморохи принесли икону своего патрона-покровителя — легендарного Вавилы-скомороха.

Но и кроме столбовых скоморохов, водились на Москве неприписные песенники, сказочники, вопленицы-плачеи. Таких «словесных людей» показывает челобитная первых лет петровского времени: «Бьют челом нищие старухи-богаделенки, Степанида Шипихина со товарищи, пять человек… С похвальные недели привитали мы у Андрона Головы на дому в Сыромятниках. А в жилом подклете Федька Шваль шьет шубы на стенной караул с маткой да с женкой. И мы, нищие, займовали у того Шваля на перехватку три рубли денег. Заложили ему для веры шубу, сукно травяной цвет, подложено бархатом черным, косматым. И он, Шваль, того закладу не отдает, надеючись на свое горланство. И о радонице

звали нас, сирот, на Божедомку плакать… И тот Шваль, по наущенью иванского попа Вахромея, прискочив, да у старицы Хевроньи шлык со главы сбил и меня, нищую, при народе окосматил: „Суки-де вы, раскольницы! Воскресению не веруете: клянете, плачучи, небо и землю!..“ Да по Петрове дни у того Головы, у крестницы, на зарученье выговаривали мы невестины речи. И, сидячи в пиру, Федькина матка Татьянка лаяла нас неподобною лаей: „Вы-де икотницы, чернокнижницы! Можно-де вас на кого хошь, на погибель накупить…“ И мы, сироты, на Федьку Шваля, и на Федькину матку, и женку Матрешку являем: ходят они по кабакам, бражничают. Который рубль зашьют, тот пропьют. А меня, Степанидку, и матушку Хевронью с товарищи на Москве все добрые жены знают и ведают. Птичье житие проходим, что сирины. День и ночь в неумолчных беседах на общую человеков пользу… А ходим мы, нищие, по Москве утром рано и вечером поздно. И которая над нами, божьим попущеньем, беда случится, или бойственное дело, или утеряется кто из нас, сирот, безвестно. И мы, опричь того Федьки Шваля, и матери его Татьянки, и жены его Матрешки, иных на себя супостатов не знаем».

Старинные москвичи охотно прибегали к га-

данью и волшебству. В почете были «сведущие люди, которые умеют учение и хитрость о звездном течении и о седми планитах. Сии мужи, соглядая переходы звездные, промышляют на Москве волшебством своим».

Царевна Софья, затеяв борьбу с братом, Петром Первым, для возвеличенья своего имени задумала поход на крымского хана. Во главе похода встал князь Голицын, фаворит Софьи. Дело начато было ворожбой и гаданьями. Царевна многажды добывала ведунов. И лопской породы мужичок смотрел в солнце и видел, что Василий Васильевич Голицын ходит колесом, а Софья Алексеевна стоит печальна и смутна. Колдун добавил: «Всех вас переведут, так что и ухватиться будет не за кого».

Не терял времени и князь Василий: «У Голицына, в Охотном ряду, гадатель Бахтияр смотрел по звездам. И звезды значат: „Князь Василий в том походе казну стратит и людей изомнет“». Гадатели, конечно, знали шаткое положенье Софьи и ее сторонников.

Борьба с царевной Софьей породила у Петра нелюбовь к самому быту московских теремов. Боярыням приказано было «обрядиться на одну моду по голландскому обыкновению. Посещать

галант-собрания и на оных ходить в контрадансах — танцевать. И чтоб для тех парадов дьявольские бабьи камилавки, кокошники да кики скинуть».

Но, как в дубовой бочке квасной дух, долго сохранялись на Москве и песни, и гусли — любовь к сказкам. За год до нашествия Наполеона домашняя московская чтица пишет: «По модному обыкновению определили меня в должность лектрисы, и, заместо того, вижу себя в положении самом низменном. Барыня скучает чтением и оное даже ненавидит, предпочитая простонародные россказни. Каковым старухам определяют и ночь проводить на стуле, от души восхищаясь глупыми анекдотами крестьян. Что надлежит до меня, то до полуден убираю барыне голову, варю кофей… причем обхождение самое неучтивое».

Кое-где в московских домах шелестели еще в эту же пору и жильные струны прадедовских гуслей. Один современник пишет: «Парижская парфюмерия перешибает дух московский. Слышал неаполитанские канцоны из уст подмосковных ваших крестьян… Отрицать не желаю, утверждать не убеждаюсь… Кто мне даст крылья, чтобы настигнуть дни мои прошедшие? Кто мне возвратит век мой?.. В Богородске, у деда моего, обучился я игре на гуслях. Увеселял гу-

слеиграньем слух Платона. И доныне увлекаюсь шелестящим говором жильных струн».

Добро хвалить море, на берегу сидя. Хорошо любоваться стариной, глядя на нее издалече. Старая оскомина у нас теперь сошла с зубов, мы их и скалим весело.

Царский амбар от подмою живой воды на наших глазах завалился. Но река этой живой воды издалече, издавна собиралась малыми ручейками. Про Москву говорили, что «у них внутренние обиды минуются, когда посторонние страхи накатятся». А внутренних обид с веками накопилось много. Еще триста лет назад один московский строптивец кричал: «Свиньи да коровы больше вас знают — перед грозою визжат да ревут. А вы небесные круги размеряете, а что в народе деется, не видите!»

А народ видел и негодовал, что «бояре друг другу норовят и государство заодно разоряют». Кончалась война, народ «крамолился» на иных: «Вы-де и в осадное время жили сыто, потому что запасено у вас много черных людей трудами». Черные люди, деревня, жаловались на господ: «Оброк на нас кладут насильством». Пригороды вторили: «Нас, посадских людей, пятинною деньгою мучат. Обо всем об этом у меньших людей с

лутчими, временем, живет смута велика». Вспыхивали бунты. На Москве — «медный, соляной, стрелецкий». Известны народные движенья Разина, Пугачева. Хотя люди в те времена думали, что «без царя земля не стоит», но с упованьем и с надеждой смотрели на смену царей, особенно частую в веке XVIII. «Анну, мол, Ивановну спихнем — Анна Леопольдовна будет истинной матерью».

«Про государей начались слова. На Москве-де прямого царя нет, а нонешний царь обманный!» На московских рынках, на площадях вслух вычитывались подметные письма. Начинаются эти бунтовские «зазывные грамоты» торжественно:

«Всем от мала до велика. Всякому возрасту и чину. Славным и неславным… Слушайте всемирную пользу внятно, буде кто и ухом туг, лишь бы был не глуп…»

Тревожилось начальство и других городов: «Люди с Москвы прихаживают и сплошные вести принашивают».

…Степан-де Разин говорит: «Вы на царские грамоты не сдавайтесь. Не бойся, огонь, кочерги. Московские-де слободы не устрашились. Царскому указу учинились ослушны. Время-де к великим делам идет». «И многие люди к тем его,

Стенькиным, словам притакивают: сбудется-де!»

Царская власть тоже свое дело правит: «Про тех мужиков сыскивают, и про их умышленье спрашивают, и пытками пытают крепко — откуда такие слова про государей носятся?»

…И те мужики с пытки винилися: «Слышали-де те царственные слова на Москве от неложного человека».

Иногда власти посылали натодельных людей уговаривать народ: «Дохтур Матюшка Клоп с Лефортова зело красноречив, говорит, яко плачет…» Но и доктор признавался: «Легче мне у болящих в животе грыжи уговаривать, нежели тех мужиков унимать».

Много дорог исхожено было народом в поисках правды и свободы. Ленин своим светлым разумом рассмотрел эти вековые исканья. И, рассмотрев, утвердил путь прямой, новый, верный, единственный.

Древнемосковская книга «Хронограф» повествует:

«Есть птица Феникс, раз в сто лет молния сжигает ее гнездо. И сам Феникс тут сгорает. Но в том пепле возродится, и опернатеет, и обновится. И восстанет в новой, небывалой красоте».

Как в огне горела Москва, отражая вековые

напасти. И восставала из пепла. И мы видим ее неувядаемую славу.

Слово о Ломоносове

Ум веселится, вспоминая Ломоносова. Радуется мысль, соглядая его жизнь и дела. Любо говорить о Ломоносове, и, если я скажу звягливо и рогато, ты расскажи степенно и комоло.

Кого любишь, о ком думаешь, за тем и ходишь глазами ума… Вижу Михайлушку Ломоносова юнгой-зуйком на отцовском судне… Двинская губа только что располонилась ото льда. Промысловые лодьи идут в море. Многопарусная «Чайка» Ломоносовых обгоняет всех. Михайло стоит на корме и дразнит лодейщиков, протягивает им конец корабельного каната — нате, мол, на буксир возьму. Лодейщики ругаются, а Михайло шапкой машет: «До свиданья, дожидаться недосуг!»

Пока жива была маменька-потаковщица, со слезами покидал родной дом.

С годами «маменькин запазушник» втянулся в морскую жизнь. Его уму, острому, живому, пытливому, все вокруг казалось чудным и дивным. Сколько спит, столько молчит.

— Татка, у солнца свет самородный?

— На солнце риза царская и корона. То и светит.

— А звезды? Маменька сказывала: лампады ангельские…

— Ну да! Звезда бы на Холмогоры пала, весь бы город покрыла!

— А молния?

— Это Бог тянет лук крепко и стреляет метко. Где увидишь дерево или камень, грозой обожженные, там в песках стрелку ищи.

— А край земли близко ли? А почто немцы говорят несходно с нами?

— Ужо в грамоту тебя отдам учиться. Там толкуй, что откуль. Порато ты у меня любопытен!

— Ну и сын у тебя, Василий Дорофеевич! — дивился сельский дьячок. — Сколько учится, друга-столько меня учит. Неладно-де называть «собака», надо — «солбака». Бог-де человека создал, и не понравилось, что лоб велик… Лишек от лба отнял и в том собаку сделал. Потому собака и умна, что со лба… Филолог!!

— Ну и парень! — вторили монахи архиерейского подворья. — Принесли владыке книгу древлеписьменную для справок. Он поглядел и очки бросил: «Витиевато и узорно, а нечетко…» А Миша зачитал, будто с парусом по ветру побежал. И кряду вопрошает: «Владыка, куда солнце заходит?» Ну, тот пояснил, что в окиян-де — умыться,

чтобы лучи просветить.

Годы шли. Михайло перечитал все церковные книги, что были под рукой. Многое выучил наизусть. В особенности очаровала его Псалтырь в стихах Симеона Полоцкого.

Михайло терял сон и еду, пока не получал на руки какой-нибудь полюбившейся книги. Вот он узнает, что за рекой, в доме Дудиных, есть две книги по новой мудрости. «Как свеча я теплился перед старым идолом Дудиным, — рассказывает сам Ломоносов. — Помер, а не дал. В воду я совался ради этих книг пред наследниками Дудиными и наконец получил в вечное владение. „Арифметика“ Магницкого и „Грамматика“ Смотрицкого, печати 1645 года, то были врата учености моей… У мужиков разговор: „почем хлеб да почем рыба“; у баб: „кто где женился, богату ли взял“. А книга моя беседует мне: „Разумей читать книгу природы, живую грамоту. Подивися, как из малого семени вырастает великий дуб. Поразмысли чудное устройство тела твоего: глаз, орган тончайший хрупкого стекла, безопасно прибран в чашку костяную. И ресницами от пыли загорожен; и бровями от поту со лба защищен“».

Новые мысли, новые вопросы рождались в молодом уме. Бывая с отцом в Архангельске, где

жило много иностранцев, Михайло начал пытать у многограмотных людей, нет ли таких книг, где бы протолковано было о дубах и семенах, о звездах и о теле человека. Городские грамотеи отвечали, что о звездах и о небе трактует наука астрология, а человеческим телом ведает антропология купно с медициною. Сия последняя знает и о растениях. Потому что «всяк злак на пользу человека…», кроме табаку… Науки эти все заморские, изложены латинским языком.

— Латинскому языку где учат?

— В Москве, в Славяно-греко-латинской академии. Принимают детей дворянского и духовного звания. Тебе, крестьянскому сыну, латыни не нюхать…

— Ну… Сей день не без завтра…

Михайлушко любил природу и очень радовался, что цветы, и травы, и деревья — это не только сено и дрова, но и наука этим занимается.

Недалеко от Холмогор, в деревне Вавчуге, крестьяне исстари занимались постройкою морских судов. Здесь Михайло узнал, что и корабли бегучие строятся, и мельницы стоячие ходят, и материна самопрялка кружится не так просто, а по законам науки — механики и физики. Юноша пристрастился делать модели кораблей и

мельниц, придумал хитрые замки к амбару и житнице, смастерил стенные часы с боем. Это увлечение сменилось страстью к стихотворству по правилам грамматики Смотрицкого и по образцам старинного поэта Полоцкого.

Отец, занятый промысловыми заботами и расчетами, а затем постройкою каменного собора на селе, сквозь пальцы смотрел на «игрушки» сына:

— Слава богу, достаток имею, могу позволить единственному сыну и побаловаться. Остарею, все на него опрокинется, не до книг будет…

Во всем покрывала детище и маменька-потаковщица. Но вот… «маменька родимая, свеща неугасимая, горела, да растаяла. Жалела, да оставила»… Василий Дорофеевич женился на другой. Мачеха, как зверь, ощетинилась на Михайловы книги и бумаги. Юноша стал прятаться по соседям, читать ночью в бане, при свете лучины. Мачеха ругалась, рот не запирала. Налетала и на мужа:

— Вырастил книжника, еретика! Целу зиму на книге лежит! Ни по воду, ни по дрова… Дармоедина!

— Пошто дармоедина?! Он на промыслах пособляет радетельно! А за книги его два игумена о празднике хвалили.

— Вот! Они его и сманят в пустыню. Они на дешево лакомы. А татенька-родитель посиди без работника… Поил-кормил двадцать лет…

— Михайло не в попы… Он цифирь, рихметику каку-то выкладывает…

— Вот! Я и говорю! Пойдет ли банна жихоня в попы?! Ночью в бане сидит, по книге волхвует… Оборотень!

Наедине отец пенял сыну:

— Горе на меня твоя грамота! Она попам нужна, чтобы в службах не сбиться. А деловому человеку при здравом уме и твердой памяти грамота все одно что костыли при здоровых ногах. Я неграмотен, да памятен, и в голове все управленье содержу — морское, и береговое, и домашнее. На умах рассчитаю краше, нежели пером на бумаге.

— Татенька! А все господа многограмотны.

— Ври больше! На что благородному господину читать да писать самому?! Он писца да чтеца нанять может. Все равно как «Иван, сошей башмаки! Марья, пеки пироги!..»

Михайле исполнилось девятнадцать лет. Управя морские промыслы, осенью тысяча семьсот тридцатого года он упал отцу в ноги:

— Государь мой татенька, Василий Дорофеевич, пусти в Москву учиться!

У отца сердце озябло и ноги задрожали:

— Люди меня давно ума доводили и мне говорили: сын взгляду отцова должен бояться, от взгляда с ног падать, а у вас-де с сыном дружба-приятство… Добра-де не жди. Так и вышло: думал с сыном век вековать, а приходит: век горевать.

— Татенька! Ужели ты произволяешь детищу своему лучше быти враг, нежели друг?

— Как это враг? А для кого я потом кровавым дом и все богатство наживал? Для тебя! Кому оставлю? Тебе!.. Миша! Погляди-ко, руки-те отцовы… как крюки!.. Сколько я на веку работы унес!.. Ужели отцовы труды людям под ноги бросишь?..

— Татенька Василий Дорофеевич! Я с Божьей помощью вознамерился шире да выше свой жизненный полет управить… Татенька, государь, благослови в Москву учиться…

— Ну, сын… Воля твоя… Люди-те, люди-те что скажут: «У Василия Дорофеевича сын по миру пошел, скитаться…»

— Татенька, не плачь!.. Воля твоя…

— Нет, сын! Ты с отца волю снял!..

Той же зимы Михайло ушел из дому. Мимо шел на Москву рыбный обоз. Миша и ушел с обозом. Снес на себе шубу, да кафтан, да три рубля денег.

…Буря-непогодушка унесла его с родной сто-

ронушки. В архиве холмогорского воеводы сохранился документ: «7-го декабря 1730 года с дозволенья отца своего отпущен к Москве Михайло Васильев сын Ломоносов. О чем выдан ему пашпорт».

С помощью обозников Михайло отыскал в Москве рыбного старосту, холмогорца. Земляк, выслушав юношу, умилился и прослезился:

— Неслыханно! Отрок, из одной токмо жажды знания, презирая тысячи препятствий, за тысячу верст бежит в Москву учиться!..

Славяно-греко-латинская академия учреждена была еще в XVII веке при Заиконоспасском, что на Никольской улице, монастыре. Сюда земляк и привел Михайла. Удивился и отец архимандрит, ректор академии:

— Преудивленно! У нас ребята от учения, как от заразы, бегают. Дубьем не можем приневолить, а этот ради наук с Белого моря прибежал!.. Податное сословие не препятствие: несть правила без исключений.

Принятый в Спасские школы, как называли в Москве академию, Михайло ног под собой не чуял от радости. Ежели по доме какая слеза катилась, та назад воротилась. Низшие классы он прошел в один год. Через год умел уже сочинять латинские

вирши — стихи. Латынь была тогда преддверием всех наук. Сочинения писались по-латыни. Михайло быстро одолевал класс за классом. Был первым в богословии и в философии, в красноречии и в поэзии. Но в Москве не оказалось тех наук, ради которых он сюда прибежал. Ни физика, ни механика, ни астрономия, ни иные науки, объясняющие природу и ее явления, в школе не преподавались.

Конечно, пытливый и живой ум везде находил себе пищу. Библиотекарь и ключ отдал ревностному любителю наук: «Начитаешься, дак закрой! А я ужинать да спать!..»

Между тем житье-бытье в школе было скудное и суровое. Пища грубая; посты строгие: кроме хлеба, звено рыбы, чаша квасу… А дома у отца нищим пирогами подавали… Холмогорцы-обозники ежегодно привозили письма от отца. Отец звал домой неотступно: «Воротись, дитя! Я состарел… на кого брошу дом и промыслы, нажитые потом кровавым… Воротись, дитя! Лучшие люди отдадут за тебя своих дочерей…»

Сытой, богатой жизнью соблазнял отец, а сын, хотя и хлеба от обеда к ужину не оставалось, наук не бросил. Еще пасмурно, неясно, неустроенно было все вокруг, но в туманных далях житей-

ского моря ярко и призывно светил свет науки. Туда, не оглядываясь, управлял Михайло корабль своей жизни.

Отец ректор однажды, положив иссохшую десницу на Михайлины соломенные кудри, сказал:

— Преуспевай, остроумец, я на тебя надеюсь!..

Однако наш остроумец, как ни старался, не мог выжать из славяно-греко-латинских фолиантов никаких любезных сердцу сведений по физике, естествознанию, математике…

До Михайла доходили слухи, что «в Европах новые науки давно пришли в явление. Для физикус и химикус сфундованы стеклянные палаты…». Об Европах мечтать было нечего, но Михайло начал собирать сведения насчет Петербургской академии. Питерских затей в Москве не признавали, и отец ректор, сделав скучное лицо, говорил: «Академия основана там без году неделя. Петр Алексеевич опару поставил, да тесто что-то худо подымается… Сидят, надувшися, немецкие и шведские персоны. При них университет сущие казармы: семеро капралов при одном рядовом. Советую тебе в рассуждении наук опробовать Киев. Там учреждено иное и на польский образец, во вкусе новых времен… Благословляю тебя на годичное там пребывание…»

Как пчела за медом, полетел Михайло в Киев. Но оказалась верна присказка: «Жернова говорят — в Киеве лучше, в Киеве лучше, а ступа говорит — што тут, што там; што тут, што там!..»

Киевская школа отличалась от московской только тем, что была старше лет на сотню, книги здесь были толще да мантии у профессоров-монахов длиннее. И читали они студентам из века в век одну и ту же славяно-греко-латинскую премудрость. Точных новых наук наш взыскатель и здесь не нашел. Воротился в Москву раньше срока.

Пребывание в московской и киевской школах было для будущего ученого и поэта драгоценно в тех отношениях, что он великолепно усвоил здесь языки и литературы греческую и римскую, изучил классическую философию и логику.

Философия содержит начала всех наук. Логика учит правильно мыслить. И во всех сочинениях Ломоносова, которые он потом написал по разным отраслям знания, поражает нас отчетливость, стройность и последовательность мысли. Этому научился он в Москве.

А в Москву наш непоседа поторопился не напрасно. Здесь поджидала радость. Как достойнейшего, начальство избрало его к отправке в

Петербург, в новооткрытую гимназию.

Петербургская академия наук и при ней университет с гимназией были основаны Петром Первым для распространения и умножения в России нового образования. Ученых для академии Петр набрал за границей, но с набором учеников дело худо клеилось. Наконец в столичную школу были вытребованы лучшие студенты из Москвы. Ломоносова ректор аттестовал как «юношу чрезвычайного остроумия».

Со всяким желанием, со всею охотою устремился Михайло в столицу. Здесь надеялся найти новых учителей, новые науки. Приглашенные в Россию распространять новейшее образование немецкие профессора палец о палец не колотили в этом деле. Однако наш Михайлушко ликует. Дорвался до физики, до геометрии, до математики!.. Нох ейнмаль, еще раз погодите радоваться, молодой человек! Преподаватели приехали в Россию «один десяток лет назад», и они не успели выучить «ни один русский слов...».

Учителю наплевать, что его не понимает ученик, а ребятам больше, что ли, надо!.. «Вас ис дас?.. — кислый квас» — и все тут.

Но, оказалось, «на Руси не все караси, есть и ерши». Не смыслит учитель, с чего надо начать, но

смыслит ученик Ломоносов. Учебники написаны по-немецки: Михайло сам их переводит ночами, сидя за словарем. Мало-помалу становятся понятнее и разглагольствования немца-профессора на кафедре. Ближе и желанные науки. Нет худа без добра! Скупой немец посадил золотую рыбку науки у себя в пруду. Разумный ученик немецкою же сетью уловил эту рыбку и унес домой на развод.

Пословка говорит: «Не родись умен, а родись счастлив». Видно, Михайлушко родился и умен и счастлив. Уж несколько лет правительство отыскивало подходящих, знающих людей для научно-приисковой экспедиции в Сибирь. Не было химика, понимающего горное дело. Единственный знаток горного дела, профессор Генкель во Фрейберге, в Германии, посоветовал: «Не волочите делом, искавши. А пошлите ко мне академического студента, посмышленее. Я обучу горному делу и металлургии. То вам будет свое добро — дома».

Михайла Ломоносова из смышленых не выкинешь. Он и поплыл за границу… Что там поплыл: на крыльях полетел! Это случилось в 1736 году.

Но для поступления к Генкелю требовалось совершенное знание математики, физики, механики. Поэтому академия предписала Ломоносову

сначала прослушать лекции знаменитого физика Вольфа в городе Марбурге. Вольфа за дельные советы отличал еще Петр Первый. Внимательно отнесся Вольф и к русскому студенту. Не только обучал, но и следил за поведением, выдавал содержание, присылаемое из Петербурга.

И вот Ломоносов, будто к источнику живой воды, припал наконец к тем наукам, к тому знанию, которого с детства взыскивал алчно и жадно.

— Студиозус из России есть горячего сложения. Ум живой и схватчивый… — определяет новичка Вольф.

За опытами в лабораториях физической и химической студиозус наш проводит дни и ночи: «добрался Макар до опары»… «В часы же отдыха несытая душа моя, аки земля безводная, упивается литературою и языком французским, литературою и языком немецким, купно итальянским, и английским, и гишпанским».

Студенты шутили: «Старый Вольф рад носить русского медведя на тарелке…» Сначала действительно было так. Но однажды, приставив к носу Михайла указательный перст, Вольф спросил:

— Какие первые слова первого псалма?

— «Блажен муж…» — ответил тот, недоумевая.

— А первые слова второго псалма?

— «…вскую шаташася…»

— Вот!.. — многозначительно закончил Вольф.

Слава профессора гремела далеко, в Марбурге скоплялось много молодежи. Жили без родительского надзора. Пирушки, попойки, драки были за обычай. Наш Михайлушко после московского монастыря и питерских казарм присвоился к молодецкому веселью с полным удовольствием.

На пирушках Михайло имел чин Бахуса, в венке из плюща восседал на винной или пивной бочке. Карлы, Гансы, Фрицы венчали «Бахуса», пели и пили, потом убирались восвояси, а трактирщик ставил вино в счет осовелого «Бахуса».

Если попервости Михайло стеснялся товарищей-немчиков, то теперь и в лектории, и в лаборатории сыпал им плюхи и подзатыльники: ничего, что он один, а их сотня.

Этим методом старался подкрепить правильность своих научных доводов.

Стесняясь своих могучих плеч и широких ладоней, понурив голову, стоит наш детина перед Вольфом и оправдывается:

— Вы сами, господин профессор, одобрили мою формулировку. А Карл оспаривает… Я лично для него с пером в руках с начала до конца проделал выкладки и раз и два… А он не слушает… Я и

ткнул его мордой разика два в тетрадь…

В науках Михайло был первый, да и в проказах не последний. Шуточки шутил не горазды: как-то в праздник, в базарный день, выполз он из-под церкви на площадь, накрывшись гробовою крышкой… Народишко в реку начал бросаться…

Вся затея оказалась ломоносовская. Но консультировал целый факультет.

Иногда наш прокурат вспоминал отца, родину… Тогда шел в тихий домик ратмана Цильха. Старик, ежели не заседал в ратуше, клевал носом в кресле над Библией. Дочка Лизхен вязала, шила, гладила, крахмалила… Михайлушко помолчит, спросит:

— Для чего гладите вы это белое, столь нарядное платье?

— Я глажу это нарядное платье для того, чтобы надеть в воскресенье, если к нам придет в гости господин Ломоносов. Но я выгладила еще много маленьких белых платочков.

— Для чего гладите многие белые платочки?

— Я утираю ими слезы радости, когда слышу об успехах господина Ломоносова в науках, и плачу от горя, когда слышу о его поведении…

Вольф писал: «Я любил видеть в лектории этот высокий лоб, этот взгляд, сияющий разумом.

Но, ах! Как часто этот лоб украшается зловещею шишкой и фонарь под глазом светит ярче „сияния ума“… Царственный друг мой, император Петр Первый, успокаивая мою тревогу относительно количества вина, употребляемого его величеством зараз, говорил: „Пьян да умен — два угодья в нем!“ Увы! Вижу справедливость сего изреченья на русском моем ученике. А в немецких буршах я многое понял, одного не понимаю: молодость — это крылья; юность — это боевой конь! Зачем же этому естественному скакуну эта презренная плеть, этот рабский кнут, это проклятое вино? У тех, кто пьет, впустую уходит прирожденный пафос и творческая мысль не переходит в дело… Впрочем, моего русского ученика пьяным я не видал. Хитрая бестия!

…Диссертации свои сдает ранее сроков. Они блещут творческим проникновением в предмет. Недавно он затеял ученый спор с самим Гагеном об атмосферных осадках. Ломоносов — северный помор, и умозаключения его о плавающих айсбергах прелюбопытны!..»

Ломоносов также отдавал должное этому своему учителю:

«…Любовь мою к физике и математике переношу я на Вольфа и Эйлера. Это люди отменитые,

а не по ихнему немецкому ранжиру поступают. Во студенчестве я от Вольфа всегдашнее снисхождение и добро видал. Немцы любят науку засолить да завялить, и солониною без нужды кормят старого и малого. У Вольфа малые сии едят молоко…»

Этим свойством истинного педагога — уметь преподнести знание не в виде сухарей, дерущих рот, а в виде… «млека и меда», то есть сделать предмет живым и интересным, — этим свойством в высшей степени одарен был сам Ломоносов — «отец наук российских»…

В Марбург Ломоносов заехал по пути, да и прогостил три года. Кроме точных наук, кроме языков и литературы, штудировал он здесь новейшую философию.

Литературу, прозу и поэзию Ломоносов любил не как развлечение. Он испытывал и исследовал все, о чем горела душа.

Вот он приехал во Фрейберг учиться горному делу. Из металлургической лаборатории его палкой не выгонишь и пряником не выманишь. Однако в это же время особенно серьезно, внимательно и плодотворно работает он над теорией русского стихосложения.

Оценив изящество и звучность стиха француз-

ского и немецкого, Ломоносов страстно принялся думать, в какой же склад и лад лучше и глаже укладывается русская поэтическая речь?.. Уже было ясно, что латинские и польские вирши, которым доселе подражали русские стихотворцы, не могут оставаться образцами.

Работой над стихом Ломоносов начал одно из великих дел своей жизни — преобразование русского литературного языка. Как раз в это время Россия взяла у турок город Хотин, и Ломоносов послал в Петербург стихи в новом вкусе: «Ода на взятие Хотина». Ода понравилась. Ее поднесли ко двору. Стали переписывать ранние, еще московские стихи поэта, вроде:

Услышали мухи
Медовые духи,
Прилетевши, сели,
В радости запели.
Едва стали ясти,
Попали в напасти,
Увязали бо ноги.
Ах, плачут убоги:
Меду полизали,
А сами пропали.

Надо сравнить эти стихи со стихами Симеона Полоцкого, которые помещались в азбуке:

Древний вождеству образ даяху,
зрящую в нощи сову писааху.
Якоже бо она во тьме прозревает,
тако и вежда в делех правды знает.

То есть: «Древние люди изображали знание-мудрость в виде совы. Так же, как сова видит ночью, образованный знает суть вещей».

Обыкновенно бывает так: кто посвятил себя поэзии или живописи, тот равнодушен к математике, к физике. Но талант Ломоносова был всеобъемлющ. Вдохновенно любя стихи и поэзию, едва ли не с большим волнением слушал он лекции Генкеля о богатствах земных недр. Мысленному взору юноши представлялись сокровища Урала и Сибири раскрытыми, явленными…

Первое время у профессора Генкеля и студента Ломоносова отношения были мирные. Но вот этот студент пишет приятелю в Россию: «В Спасских школах почитали мы скаредом келаря Варнаву. Поглядел бы ты немецкий обиход! Генкель свечу лучше мышам скормит, нежели зажжет не для дела. Общая площадь заплат на камзоле

превышает общую площадь целого места. От поставца с серебром и порцелином ключ девять годов утеряли. Тому рады и едят из оловянных торелей троеденную кашу. Мягкого хлеба вкуса не ведают, доедают вчерашний».

Начались неприятности. Дело в том, что в Марбурге Ломоносов наделал долгов. Учитывая воинственный нрав русского юноши и тяжесть его десницы, марбургские трактирщики помалкивали до времени. Но лишь только Михайло Ломоносов сменил резиденцию, к Вольфу посыпались счета: «Под заглавием студента Ломоносова выпито бочонков столько-то…» Вольф отправил счета в Петербург. Академия оплатила, но во Фрейбергский университет была дана жесткая инструкция насчет выдачи Ломоносову казенного пособия. Ставилось в известность, что долгов никто платить не будет. Для нашего добра молодца настал великий пост. В инструкцию из Петербурга он мало верил, взвалил всю вину на скаредность Генкеля: «Как жил я у Генкеля в столе, и прейскурант он мне ставил, что двинский плотовщик хозяину:

Сел паром на мели – три рубли,
сняли паром с мели – три рубли,

попили, поели – три рубли.
Итого: тридцать три рубли!»

Когда студенты учиняли дебош, Генкель считал зачинщиком Ломоносова. Однажды обвинил даже в покушении на жизнь своего сына. Михайло возмущается:

«Кайафа (Генкель) сказывает ябеду, будто се я ево сына топил. Я не топить, я носил ево крестить для того, что католицкое обливание почитаю недовольным. И я Генкелева Яшку трижды благочестно сгрузил в реку. И то ему, Яшке, на пользу. Кряду прочухался и стрелой от меня полетел. А к купели я его, эдакова пьяную тушу, на себе нес, сам будучи худ на ногах…»

Но в конце концов на чужой стороне растерял Михайлушко свою веселость, готовность к шуткам и проказам. Нотка горечи слышится в его письмах:

«Заместо беспристрастного ученого колоквия на дыбу меня Кайафа тянет. Туды вопросы закидывает, где и самому не достать. Битый час гоняет, и я ни в чем не плошаю, ответ пущаю со смелостию. Токмо пот по спине, по жолобу бегит в башмаки… Ажно я на Генкелеву докуку плюю. Я в товарищах злорадство примечаю и обижусь

до слез…»

Давно ли кругом виделись берега садовые, реки медовые? А наяву оказалося, что чужедальня сторонушка тоскою посеяна, слезами полита, горем огорожена… Всякая немецкая щепиночка торчком встала, всякой угол толкнуть норовит. Опостылела Германия, и — не стерпела душа, на простор пошла. Не спросившись, не сказавшись, не глядя на зиму, пошел Михайло Васильевич в город Лейпциг, к российскому консулу, просить об отправке на родину. Оказалось: консул отбыл в Кассель. Михайло притопал в Кассель: консул не бывал, и не ждут, и не слыхали…

Где деться?.. Деньжонками обнищал, платьишком обносился… И пришло на мысль, что в Марбурге жил не хуже людей. Вспомнил старого Цильха и Лизхен… и сердце согрелось: «Вот кто меня жалеет…» Явился в Марбург, как майский день. Оказалось, Лизхен плакала не над горсточкой — над пригоршней, — у нее умер отец. Михайло Васильевич осушил слезы.

— Лиза, пошла бы ты за меня?

— Кроме тебя, у меня никого не осталось…

Но «князь первобрачной» вскоре сказал своей «первобрачной княгине»:

— Лизхен, вот мы пообещались жить вместе

и умереть вместе, но я в Германии гнезда вить не буду. Я в России родился, там и пригодился. Сплаваю в Амстердам. Там консул природный россиянин. Он меня отправит в Петербург.

К весне Рейном-рекою управился Ломоносов до Амстердама. Но природный россиянин граф Головкин даже не принял бедно одетого студента. Ломоносов являл свои аттестаты, граф был глух и нем. Не взвеселили и архангельские поморы, стоявшие кораблями в порту. Они всячески отсоветовали являться в академию без вызова.

Земляки от Амстердама плыли в Питер. Повезли с собой и бумагу Ломоносова о вызове. А Васильевич опять потопал в Марбург, ждать…

Чтобы убавить дорогу, пошел через Пруссию. Тут едва убежал великой беды: прусский король объявил поголовный набор молодежи. Вербовщики гоняли по всем дорогам. Михайло и нарвался на них. Пруссаки похвалили рост и поступь молодецкую, поднесли чару зелена вина и поздравили с чином гвардейца его величества прусского короля.

— Я прусскому королю не подвержен!

— А что с тобой разговаривать! Надеть ему браслеты!

В кандалах привезли в крепость. Ломоносов три

дня хвалил Пруссию и казармы. Его расковали, но ход из крепости был через караульню. Ломоносов сменял сапоги на вино, напоил часовых и, когда они заползали по полу и задрались, выпал оконцем из крепости и побежал. Но уже обутрело. С крепости выстрелили. Побег был обнаружен. Беглец завалился в канаву под мост. Таился тут весь день. Четыре раза погоня проезжала над его головой: под мост заглянуть не сдумали.

В потеменки прянул в лес, не хуже зайца. Ночью перебрался через прусскую границу. И на следующий день безопасно и безбедно шествовал вестфальскою землею, не подвластной прусским королям.

Лизхен только что наладилась по крайней мере год реветь, ожидаючи свидания с милым другом, а он, что заря, у оконца стоит:

— Ох, Лиза! Ходил ни по что, принес ничего! В капкане еще был у прусского короля… А из Питера велят ждать вызова…

— Жди! Сиди! Я хоть месяц, хоть недельку с тобой еще покрасуюсь!

И… год прожил в Марбурге, занимаясь науками. Не вспомнил никаких досад и Вольф. Всю зиму ходил к нему талантливый ученик: начал переводить на русский язык капитальный труд

Вольфов — «Физику».

Весною был получен вызов из России, и на первых кораблях, по распуте, поплыл счастливец в Россию. Жена опять осталась ждать.

— Была бы я алмазная искра, унес бы ты меня в своем перстне!

— Лиза! Я поехал вить свое гнездо. Зимовать и ты ко мне прилетишь!

Последнюю ночь корабельного плавания не спал, в каюту не заходил. Так и стоял, так и ждал, скоро ли-де всплывет русский берег.

«…Но на рассвете вздремнул и увидел сон необыкновенный.

Вижу, будто мой корабль огибает остров Моржовец, что в горле Белого моря. Вхожу в губу Глухую. Падает снег. На берегу карбас, в нем, под снежной пеленою, человеческое тело. Я рукою охитил снег с лица и… узнаю отца. Он испытно глядит на меня и вопрошает: „Дитятко, ты меня на страшном суде не будешь уличать, что я тебе встать на ноги не пособил?“

И я будто отвечаю ему:

— Нет, татушка, не буду. А ты на меня вечному судии не явишь, что я тебя при старости лет бросил?

— Нету твоей вины, дитятко!

И тут его накрыла мятель. Это побережье Моржовца мы не раз навещали с отцом ради промысла. В Петербурге я поспешил разыскать своих земляков-двинян, весенних гостей столицы. Они уже стояли кораблями на Неве. Здесь встретило меня известие, что отцов корабль не вернулся прошлой осенью с промысла. Неведомо и то: на каких берегах погиб… Я, — рассказывает далее Ломоносов, — немедля отправил на родину депешу, дабы искали в Глухой моржовецкой губе. Послал и деньги, потребные к расходу по сей экспедиции. Снаряженный из Архангельска гальот нашел останки отца моего в указанном мною месте. Понеже грунт явился кремнист, накрыли кости бревенчатым обрубцем».

Хотя при царице Елизавете немецкое засилье ослабло, Российскую Академию наук продолжал держать в своих цепких руках советник Шумахер. Он поддерживал профессоров-немцев, и один из русских членов Академии, сподвижник Петра, Карпов, жаловался Ломоносову:

— Накрыл нас горстью Шумахер. Жужжим, да бьемся!

Немцы поглядывали на Ломоносова с любопытством: «Этот учился в Германии и нахватался

немецкого духа».

Ломоносову дали чин и должность при Академии. На заседании он говорил:

— Вот я расправлю крылья свои на родине. Академия моя, ты даешь мне крылья! Изволяю до последнего вздоха послужить отчизне разумом и знаньями моими. Академия моя! Блаженна ты, ежели во мраке невежества вознесешь светоч разума, ежели в сердцах россиян возгнетишь любовь к наукам!..

Шумахер с компанией стукали табакерками, чихали, здравствовались, казали оратору кукиши под столом. Шумахер говорил:

— На ретиву лошадку не кнут, а вожжи!..

Академия была основана для того, чтобы показать народу значение и важность наук, доказать пользу просвещения.

Ломоносов с малых лет бился и изнемогал, чтобы отцу и всем старшим доказать, что науки нужны и полезны… Теперь Ломоносов член Академии наук. Теперь не отцу, не мачехе, а всему народу русскому он должен и может показать важность, надобность образования…

Ломоносов писал: «Весь свой век я науку любил бескорыстно. Блаженство мне в ней единой полагал… А люди глядят, каков от его наук до-

ход, во что одет ученый, что ест да что пьет?.. А глаза попялят да рукой махнут: „Решетом в воде звезды ловит“. И ребятам нашим суму наденет наука-та!»

Для России было счастьем, что столь деятельный, столь гениальный ум оказался направлен в сторону наук, наиболее нужных в то время стране и народу.

Отец, бывало, доказывал сыну:

— Твоя наука от житья-бытья отводит. Моя наука что ложка у обеда, что игла у портного. Хожу в море и промышляю, руководствуясь собственным опытом и вековыми дедовскими приметами.

Сын устраивал лабораторию, отправлял научные экспедиции и тем как бы с отцом беседовал, отцу доказывал:

— Вот, татенька, и я в моем деле опыты и приметы применяю. Ежели поэзия и философия — суть соловьи в небе, то физика моя и химия — это синица в руках… Еще и то ведай, татенька, что и твой опыт, морской и промысловый, во свою многополезную сокровищницу наука прибрала.

Скоро немцы горько спокаялись, что «неистовой особе поручили важную миссию». Думали: сядут да поедут, а вышло: ты впрягать, а она

лягать!.. Бывало, Шумахер сам-друг с зятем Таубертом дела вершит. А Ломоносов всякого сословия к заседанию назовет да наберет. К президенту ездит без докладу канцелярии. А сам великая ябеда: тихи-де у нас наряды, не скоры у нас повороты. Канцелярия-де по году всяким делом волочит.

Ломоносов действительно шумел: еще батюшка Петр Алексеевич приказывал послать в Сибирь по минералы, а Шумахер тем приказом дверь оклеил… К делам академиков не допущает, а сам тихо едет, что горшки везет: «Тихой воз будет на горе!»

«Часы наши считаные, приедешь в канцелярию с делом неотложным. Шумахер сидит боком; заместо ответа вынет свою табакерку, постучит по табакерке, откроет табакерку, держит табак щепотью, не нося еще к носу. Вдруг нюхнет обеими ноздрями. Закроет табакерку, утирается, чихает, сморкается. Ты с огнем, а он с водою… а се и своя братия-академики тужат на меня: не суй палку в подворотню, не дразни собак! Что ты из кожи рвешься?! „Жалованьишко нам казна по году не платит, изданьев-де лежалых у нас и мыши не едят, разбирайте да продавайте…“»

С приходом Ломоносова стали чаще заседанья

Академии. Шумахер презрительно кривил губы: «Не поспеет кошка умыться, у Ломоносова прожект готов… На Белом-де море железо и серебро, соль и слюда. А Яик-де река золотая. А Кемь-де река жемчужная. Наш Миллер его как шапкой накрыл:

„Учителю премудре, учи нас! Будто се мы того и не слыхали. Батюшка Петр Алексеевич не тебе, мужику, чета, а недалеко уехал, понеже народ — смерд, непросвещенной грубиян!“»

И Ломоносов по столу кулаком грянул, ажно скатерть в трубу завилась:

— Немцы с Бироном благоцветущие всходы Петровы копытами своими притоптали. Кабы-де не дщерь Петрова, немец бы нас съел!..

Вот и завелась у Михайла Васильевича с немцами дружба: схватятся, дак колом не разворотишь…

Немцы долбили, как дятлы, что русские Иваны только на печи лежать горазды. Не поспел Ломоносов разослать по Уралу требованье от лица Академии о присылке на образец минералов, горных пород, — отовсюду откликнулись голоса любознательные. Призывные ломоносовские грамотки, мол, как весенние листочки. Знать, дело Петрово не умерло! В одно лето Академия

собрала знатную коллекцию минералов, уральские домодельные старатели начали ссылаться с Академией письмами.

При университете Ломоносов устроил физическую и химическую лаборатории. Не было приборов, не было посуды для опытов по химии, физике. Ломоносов исхлопотал и учредил стекольный завод, где работали стекло про всякую домашнюю потребу. При заводе была особая мастерская, где Михайло Васильевич сам выдувал колбы и шлифовал оптическое стекло.

С помощью изобретенных им приборов для наблюдений за звездным небом Ломоносов установил, например, что планета Венера окружена слоем воздуха, имеет атмосферу.

При своем доме ученый устроил кабинет для электрических опытов. Эту силу природы тогда впервые начали серьезно изучать. Исследованьям Ломоносова принадлежит одно из первых мест. Михайла Васильевича однажды чуть не убило грозовым разрядом. Своему покровителю графу Шувалову он пишет:

«За диво почтите, ваше сиятельство, мое письмо. Жив остался дивом, а товарищ мой Рихман тою же грозовою силою убит. У меня жена зашумела, что-де шти остынут, и я пошел обедать…

Рихман умер прекрасною смертью за науку, на своем посту. Ходатайствую перед государыней о помощи семье Рихмана, чтобы и сын его вырос таким же наук любителем, каков был отец…»

Изготовляя цветное стекло на заводе, Ломоносов вспомнил виденные им на стенах древних киевских церквей прекрасные мозаичные иконы. Из мелкого граненого стекла на мастике древние художники составляли целые картины. Мозаика может простоять тысячи лет… Ломоносов учреждает мозаичную мастерскую. Лучшая из мозаичных его работ — «Полтавская баталия», картина из цветного стекла на медном листе, во всю стену. Рисунок и колорит ломоносовских мозаик доказывают, что великий ученый был и художником с большим вкусом.

Живой творческий ум и ученая любознательность Ломоносова не имели границ. По монастырским книгохранилищам разыскивал он древнерусские летописи. По ним составили «Историю Российскую». За этой работой следил Шувалов. Он ценил Ломоносова больше всего как поэта, который «чистый слог стихов и прозы ввел в Россию». Ревниво и капризно требовал стихов и гиштории поэтических: «Брось, брось, Михайло Васильевич, свои стеклянные дудки

и блюдки, пусть их перемывает Дарья. Плюнь в свою химическую кухню. Твое место Парнас, а орудие — лира…»

Поэт отвечал: «Великие люди, Невтон и Франклин, Эйлер и Вольф, тем дышут, что вы кухонным делом величать изволите. Сказывают: делу время, потехе час. Этот час иной посидит за картами, иной за бильярдом. Мне мой потешной час да позволено будет провести в моей кухне. С тем живу и умираю…»

Сильная рука Шувалова по возможности отодвигала от Ломоносова козни завистников. Ученому было пожаловано поместье. В петербургском его доме жена Лизавета Генриховна с дочкой учинили весь обиход на русский образец. Но хозяин мало бывал дома. Под его команду был отдан университет с гимназией, и «семеро капралов над одним рядовым» заменились иною картиной. Ломоносов был как матка в улье. Памятуя трудности, с какими ему пришлось добывать образование, Михайло Васильевич много хлопотал о допущении в университет крестьян. Но Шумахер с компанией ощетинились, как звери.

— Нам не десять Ломоносовых надобно, довольно одного! Великую я прошибку сделал в своей политике, — кричал Шумахер, — что допустил в

Академию Ломоносова!

Горячечность, страстность, вспыльчивость, готовность ежечасно умереть за свою правду, праведный гнев, движимый на всех, кто мешает и не радеет об умножении наук в России, — эти свойства Ломоносова и врагов ему создавали, и ярость их поддерживали.

— Мужик! Грубиян! Колотило деревенское! — дразнил Михайла Васильевича из-за угла спорщик его Тредьяковский.

Однако гений архангельского мужика сиял столь светло, что загородить этот свет уже было не под силу никому.

В области литературы Ломоносов знаменит не только торжественными одами, стихами. Он явился первым преобразователем русского литературного языка.

До Ломоносова приняты были в литературе формы церковнославянской речи. Писатель подбирал слова особливые, книжно-старинные, и склонял и спрягал эти словеса на церковнославянский манер.

«Прочтоша, написаша», «беззаконновахом, неправдовахом». Вместо «еще, если, тотчас» писали «паки, аще, абие». Письменная речь пестрела славянизмами: «иже, якоже, понеже…»

Говорили русские люди тем же языком, что и мы говорим, но употреблять «простой» язык в сочинении книжном считалось невежеством и необразованностью.

Ломоносов отделил, разграничил русский язык от церковнославянского. Составили первую грамматику языка русского. Народный русский язык получил достойную честь и самостоятельность. Но преобразователь все же советует поэтам учиться красотам и важности церковных книг.

Поэты наши вплоть до Пушкина писали: дщерь, власы, брада, праг (порог), млеко, злато, младый, драгий… По заветам ломоносовского «высокого штиля» поэты наши долго конфузились слов «низких», уличных, простонародных. Оберегая от низкости поэзию, ученый наш для прозы разрешает — «на щи и на квас» — язык народный.

Ломоносов восхищался явлениями природы как поэт и вникал в них как ученый. Исследовал грозы и бури, звезды и северное сиянье и попутно слагал о том же торжественные песни. Такова возвышенная ода «Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного сияния»:

Лице свое скрывает день,

Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы черна тень,
Лучи от нас склонились прочь.
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна!

Как первостатейному поэту, Михайлу Васильевичу поручено было составление поздравительных стихов «на случаи знатных происшествий придворных и всенародных». Ко двору императрицы Елизаветы, затем Екатерины постоянно требовались «именинные», «новорожденные», «салфет»-стихи. Великий ученый бросал свою лабораторию, прерывал лекции и шел сочинять куплеты. Он шутил над собой:

У физики с химией
Пот проливаю.
А за вирши, за басни
Хвалы пожинаю…

Однажды государыня пригласила Михайла Васильевича ко двору с докладом о последних работах. В кружке придворных дам было сообщено о причинах бурь и ветров. По докладу ученый осведомился, сумел ли он быть понятным. Императрица обращается к фрейлине Голицыной:

— Дарьюшка, ты уразумела ли?

— Чего не понять, — отвечает Голицына. — Господь-батюшка чем хочет, тем и шумит…

— То так, — продолжала Елизавета, — а у меня до тебя, господин советник, дело: сказывают по секрету, что живописец Растреллий ко дню нашего тезоименитства доспевает альбум на красках… Птички, фортуны, капидоны. И тебе бы, Михайло Васильевич, в тот альбум сочинить гратуляцион. Против тебя никому не потрафить!..

С Шуваловым Елизавета говорила:

— Какова академия-та! Слышь-ка: Шумахер с Ломоносовым в два веника метут?

— Жалуется наш поэт: я-де с огнем, Шумахер с водою…

— А ты скажи Михайле-то Васильевичу: «Не бойся-де, огонь, кочерги!»

В правленье Бирона немцы повадились стращать русских людей. Наш Михайло Васильевич сам пугнул их до смертной икоты.

Семье Ломоносовых неустанно досаждал их сосед Штурм, приятель Шумахера. Лизавета Генриховна разводила цветы, любила курочек, котяток. Штурм лил помои в цветник, давил у Лизхен кур и кошек. Михайлу Васильевичу все некогда было заняться этим делом. Разве встре-

тятся со Штурмом, приставит ему кулак к носу или тряхнет за шиворот. Но однажды чаша праведного гнева переполнилась. Вот что доносил Штурм:

«Торжества моего день рождений омрачил злодеяния Ломоносова. Двадесять немецких господ и дамен, моих гостей, пошел воспевать невинный мадригал в Ломоносов палисад. Внезапно на головы воспеваемых господ и дамен из окна Ломоносов квартир упадет пареных реп, кислых капуст, досок и бревна. Я и мой зупруга сделали колокольный звон на двери, но он вырвался с отломленным перилом и вопияще: „Хорошо медведя из окна дразнить!“ — гонял немецкий господ по улице, едва успел гостеприимная дверь захлопнуть всех моего дома. Но два даментуалет похитил на ходу и утерял клейнод на переду. Я и моя зупруга маялись на балкон поливать его водами и случайно может быть ронялись цветочными горшками. Но Ломоносов вынес дверь на крюк и сражался в наших комнат. Стукал своим снастием двадесять господ. И дамен выскакнили окнами и везде кричали караулы! Дондеже явился зольдатен гарнизон!!»

Известно, что во время этого сражения Михайло Васильевич сам был изрядно ранен, сидел на

гауптвахте и ходил в университет с повязкой на лбу.

В Питере сложили песню:

Немец гут,

А русский тут!

А дщерь Петрова перед иностранными гостями хвалилась, что-де «русский немцу задал перцу!..»

— Вам смех, а мне смерть! — говорил Михайло Васильевич друзьям. Он с горя все сидит, стаканчиком в столешницу колотит... — Вам смешки, мне перевертышки: историки Миллер и Шлецер, состоя на русской службе, тасуют, что карты, свои выборки и выметки из наших летописей, сшивают на Россию пашквиль и печатают за границей. Шлецер косоротится: какой Ломоносов историк, токмо-де похвальная восписует, в свою пользу насаживает... Нет! Сердце, любящее родину, никогда не солжет! Я сын отчизны, а они нахлебники! Повадились думать: русак дурак и век будет в чину учимых... Нет! Придет и наш черед садиться наперед!..

Друзья говорили:

— Михайло Васильевич, в твоем лице русский народ вперед пошел. Академия, что квашня на холоду, стояла. Тебя Бог послал, будто дрожди

добрые. Тесто науки российской кряду поднялося. Ломоносовской закваски хватит Академии на внуков и на правнуков.

По случаю десятилетия царствования Елизаветы Академия готовила торжественную ассамблею. Ждали государыню. Шумахер с канцелярией чуть в уме не повредились: кому поручить парадную речь?

Шумахер говорил:

— От президента сказано: Ломоносов у нас величав и красноречив, а там судите сами… А как судить самим? Мы от Ломоносова так в обморок и падаем… Если возможно, да минет нас чаша сия!.. От оратора требуется картинный вид и звонкоглаголание. Вот кандидат вам — Гаген. Видом есть как лев, но голос как комар и муха… Кандидат фон Шульц голосит, как стрельба есть пушки, но внешний вид как маленький зобачка, до старости щенок, из подворотни… Профессор Глянце, егда говорит, машет руками, сучит ногами и кланяется в бояз… Советник Минервин на масляной бублично плясал вприсядку и лазил на мачту за кренделем… Выходит, что Ломоносов один имеет фортуну во всем: и ростом, и дородством, и постатью… «С ужином раженые огнем не обедаешь!»

— «Суженого, ряженого конем не объедешь», — уныло поправляют канцелярские писцы.

Одним из самых славных деяний Ломоносова было основание и устройство университета в Москве.

«Я сие великое училище задумал и обдумал, охлопотал, выносил его и породил; горячими слезами воспитал и жить пустил, и за гробом стану о нем Бога молить…»

Ломоносов и план чертил, и кирпич сортовал, и за кладкой следил, создал образцовый университетский устав, излюбовал и избрал профессоров, экзаменовал студентов.

Для подготовки юношества устроил две гимназии.

Шувалов помогал здесь особенно ревностно и ходатайством, и покровительством, и безотказной денежной казной.

Всякий год в июне месяце у Ломоносовых бывали морские гости — земляки из Архангельска. Они привозили гостинцы: рыбу, житные колобки, ягоду морошку. Однажды привезли и племянника. Сестра писала: «Научи, милый брателко, на дела на добрые, на речь на умильную, на походку постатную…»

Брат отвечал сестре: «Государыня моя Мария Васильевна, здравствуй на множество лет с мужем и детьми! Мишенька приехал в добром здоровье, и то мне на него добре радостно, что научен читать хорошо и пишет для ребенка нарочито. Сделали ему кафтан василькового сукна, петербургского шитья. Волосы полюбил убирать по-нашему и пудрить, и кланяется пышно по-французски. На Колмогорах его бы теперь и не узнали. Удивительно, что Мишенька и виду не показал, чтобы тосковать или плакать. Тотчас к нам и к нашему кушанью привык, как век у нас жил. При Академии наук есть гимназия, состоящая под моею командою. Здесь Мишенька будет жить и учиться. По воскресным дням и праздникам будет у меня гостить с ночевкою. От меня приказано учить его латинскому языку, арифметике, письму и танцам. Будь спокойна, сестрица, я стараюсь о нем, как добрый дядя и отец крестный. Хозяйка моя всплакнула не раз, каково-де тебе было с детищем расстаться. Так же и дочь моя нянчится с малым и жалеет его. Не сомневайся, сестра, что сын твой через науки счастлив будет».

Этот Мишенька Головин пошел по стопам дяди. Был впоследствии математиком и физиком,

членом Академии наук.

Была в гостях у Ломоносова и императрица Екатерина Вторая. В знак благоволения к наукам приказывала хозяину ходить и сидеть по правую руку около себя.

Михайло Васильевич не дожил до старости. Весною 1765 года он простудился и четвертого апреля умер.

Перед смертью говорил другу своему Штелину:

— Я пожил, потерпел и умираю спокойно. Жалею только, что не мог завершить всего, что делал для родины, для блага науки в России, для славы Академии. Не тужу о смерти, дети отечества вспомнят обо мне и пожалеют…

Удивительная была жизнь Ломоносова, прекрасно дело его жизни, незабываемы слова к русскому юношеству:

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих,
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте, ныне ободренны,
Раченьем вашим показать,

Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!

Пинежский Пушкин[76]

Здесь предлагается текст северного рассказа о Пушкине. Происхождение его таково. В зиму 1934/35 года, когда начиналась подготовка к пушкинскому юбилею, я читал и рассказывал о Пушкине в квартире пинежанки С. И. Черной. Я на опыте знал, что как сама С. И. Черная, неграмотная, но обладающая поэтическим даром, так и земляки — гости ее, в особенности даровитейшая А. В. Щеголева (сумская поморка), не замедлят отразить слышанное в ярких пересказах.

Эти пересказы, впечатления, отображения слышанного, своеобразно понятого, реплики, афоризмы, отрывочные, но эмоционально насыщенные и поэтически-образные, послужили материалом для компоновки «пинежского» рассказа о Пушкине.

Он певец был, песенной наблюдатель, книгам сказатель, грамоты списатель. Землю, как цвета-

---

[76] Notes: 76

Впервые опубликовано в сборнике «У песенных рек» (М.: Гослитиздат, 1939) и переиздано в сборниках «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. –*Примеч. ред.*

ми, стихами украсил.

Он порато в братии велик, острота ума нелюдска была.

Книги писал, слово к слову приплетал круто и гораздо. Книги работал и радовался над има.

Ленин Пушкина книги целовал и к сердцу прижимал.

Он пусты книги наполнил, неустроену речь устроил, несверше́но совершил. Теперешны писатели от Пушкина взялись да пошли.

Родился умной, постатной, разумом быстрой, взором острой, всех светле видел.

А род давношной, от араплян — этого роду черных людей, а закону греческого.

Я его карточку ночи две продержала: высокой, тоненькой… Ему только песни петь да у грамоты сидеть, а тако-то робить он не сильной.

Ужо кто у нас на Пинеге экой есть… Якуня Туголуков. Только Пушкин-то порусее.

Отроком-то читал много и часто. Всяку грамоту навык, иноземску и русску.

Ребята-ти буки, он с каждым заговорит, каждому-то уму, что надо, скажет. Люди-то дивятся: «Что уж этот Саня! Год бы с ним шел да слушал».

Возрастом поспел рано, красивенькой, пряменькой такой, все бы пел да веселился. У его

молодость широка была, и к женскому полу подпадывал, и это умел не худо.

Долго молодцевал-то, долго летал по подругам. Ну, он не на семнадцатом году девушка. Неладно делал, дак себе…

Пушкин курил ли, не курил?.. Не курил. Выпивать выпивал, а не курил. Нету на портретах-то ни с трубкой, ни с папиросой.

Не помню, что ише проказил он мальчишечкой…

Не бывало от сотворенья, чтобы таки многолюдны книги в такой короткой век кто сложил. Век короткой, да разум быстрой: годы молоды, да ум тысячелетен. Пенье безмолчно — стихам нет конца.

У другого человека ум никуда не ходит, на спокое стоит. У Пушкина как стрела, как птица, ум-от.

Что люди помыслят, он то делом сотворит. В его стихах как ветер столь ли быстрой. Вот дак птица! Поет, забудет — ел ли, пил ли…

И настолько он хитрой прикладывать слово-то к слову! Слово-то выговаривать одно-то, друго-то — ведь надо взять скоро… Пушкин говорил как с полки брал; и все разно сказывал. Век не придумать никому, как он придумывал.

Пушкин нов чин завел в стихах. Сердцем весел, не хотел над старыма остатками. Сам повел, никого не спросился. Сел выше всех, думу сдумал крепче всех. В еговых словах не заблудиссе. Кабыть в росстил лежит. Все-то видишь, все-то понятно: выговаривать-то не спуташь. Сколь письмо егово до людей дохоже! Старых утешат, молодых забавлят, малых учит…

У Пушкина речь умильна, голос светлой, выводить-то мог без отрыву. Други водят круто либо тихо, есть читатели — читают, как собаки отгрызают, он выносит каждо слово как следует; разводно поет, голос не перепевается, не дребезжит.

У других писателей колосина, и мякина, и зерно — в одно место, у Пушкина — хлеб чистой.

Я даве упряг слушала Пушкина-то. Он тяжелы мысли уводит, на скуку не молвит ничего. Весело умет, опять друго-грозно да заунывно по старому образу.

Бориса Годунова долги-ти строки, кручинны-ти речи, вот чего люблю! «Счастья нету в душе», — голосом-то так по слезам ездит…[77]

В кую пору гремят трубы-ти да набаты-ти, в ту

---

[77] Notes: 77
Говорится об опере.

пору Годунов-от слово-то выпеват.

У Пушкина показана солева-то строка, строчной-то развод. В исподи головой горько-то слово поется. Начинают выговаривать стоя, открыто лицо-то, а станет преклоняться, проведет по лицу-ту платом. Это пенье Пушкин сам списал.

Я сегодня навидалась Пушкина-та в окне в магазине. На книгах стоит. И женочка рядом, не в ту сторону личешком. Не эта ли Наташа-та егова?.. Краса бы холостому, как лошадка на воле? Нет, женился, влепил голову-ту. Много подруг было, одну ей пуще всех зажалел…

Наташа-та на карточки: глаза грубы, волосы как ящерицы, грудешко голо. Эку бы только на выставку, напоказ стоя возить… Замуж-то с пятнадцати годов собиралась: «Не жарьте рыбы крупной. Жонихи приедут, дак чем принимать будете?..» А женихи-ти — дуга за дугой — все мимо. Хоть на пирах, на балах она всех красивее, да приданого-то — веретеном тряхнуть…

Пушкин на придано не смотрит. Сватается у ейной матери:

— Маменька, вы бы мне бы Наташу дали…

— У меня дочки как пробки замуж летят, и все за богатых. Вы ей голодом заморите. Вам папа много ли выделят?

— Я не на папу надеюсь, все на свое письмо.

— Я подумаю.

Ей родня и ругат:

— Что ты, ди'ка, этажиссе, он у всех в славы, приданого не спрашиват… На сухари будешь сушить девку-ту?..

Свадьба отошла, зажили молоды… Наталюшка выспится, вылежится, вытешится, тогда будет косу плести, у ей зажигалка така была пучок завивать. Где бы пошить или чашку вымыть, у Наташи шляпка наложена, ножка сряжена погулять… Придет — рукавицы, катанцы мокры бросит кучей. Пушкин высушит, в руки ей подаст. Он чего спросит, она как не чует… Ложки по тарелкам забросат порато, хлебать сядет без хлеба. И сказать нельзя… Как скажешь?.. Пушкина матка ли, сестра ли обиходили коров-та. Наталья-то не радела по хозяйству.

Живут задью наперед. С утра гости — по хлебам ходят, куски топчут, курят, о кака скверна!.. Станут плясать, гром эдакой учинится: «Держите двери-то, чтобы не зашел Пушкин. Что он мешать-то!» Гремят да шумят, да нарошно, да никак не уймешь…

Все к изъяну да к убытку пошло. Пушкин все как не во своей воле. От табаку-то он весь угорел!

Пробовал Наташу-ту добра доводить. Она уши затыкат:

— Вы мне уши опеваете своими стихами, всю квартиру заставили книгами да засыпали бумагой!

Знакомые спрашивают Пушкина:

— Все-то успокоится, в ночь-то вы пишете ли?

— Весна была, дак ручей-то летел, кипел, ломал. А холодна пора, дак вода-то не шевелится…

Долго он терпел, только стихом подкреплялся, песнями отманивался от бед. А к Наташе приезжой кавалер Дантест заподскакивал, долгой, как ящерица…

Пушкину свои наговаривают:

— Ты в бумагах-то сидишь, ничего не видишь?

— Вы ничего не понимаете!

Только горюет в стихах:

Куда бежу?
Тесен град Петров.
Негде спрятаться от клеветы,
Жена меня в беду положила,
Обещание свое борзо позабыла…
Наташа, что ты надо мною сделала?!

Которы ему привержены, плачут:

— Саня, не жалей ты жену-то; жалей, да с умом. Не падай духом. Без такого песенного наблюдателя нельзя стоять царству. Не роняй своего чину…

Вот газету добыла, почитай-ко, почему он на белом свете нажился скоро… Ужо молчи, я засказываю сама.

Ноне досмотрелись в книгах, что царь кавалера-то подослал. Дантест-от был на жалованье, что он царю на ложе чужих жен да дочерей добывал.

Царь-то хоть бравой, как сунут кол, как палка прям, а плоть-та обленилась — дак все нова надо. Царь, а вот что проделывал!

Он Пушкина жоночку прилюбовал на гулянках. Самому ей доступать неприлично, приезжего кавалера и нанял. Ему от дела тысячу посулил. Чуть Дантест через порог, царь встречу бежит:

— Наташу видел ли? Давно ли видел? В гости-то сулилась ли?

Однако и Пушкин знат свою очередь. Он не хочет навыкнуть срам терпеть. А некуда на царя просить. И некуда убежать…

Чины и вельможи видят, что Пушкину от царя управы не будет, стали с маху щелкать:

— Ты велик ли зверь-то, Пушкин! Шириссе больно. На твое место охочих много будет стихи писать. Кому нужны эки-ти комары летучи!

Пушкин их зачнет пинать, хвостать…

Царь тоже забоялся. Он давно Пушкина ненавидел, для того что Пушкин смала письмами да стихом властям задосадил. Этот Перьвой Николай терпеть не может людей, которы звыше его учены. Выговску пустыню, эко место знаменито, он сожгал.

Укладывают с Дантестом:

— Женку мы у его урвали, тепере надо самого убить.

А не убить, дак от него быть убитым. Кто его, смутьяна, хлопнет, тот у меня первым генералом будет.

Этот кавалер побродяга была всемирна, бесстрашна. Всю жизнь с пистолетами промышлял.

Пушкин этот заговор узнал, высказал Дантесту при народе:

— Мне с тобой говорить не с кем… Бесчестно мне о тебе рук марать, да уж негде деться, выходи на прямой бой…

Тут была беда месяца января в двадцать девятой день. Белы снеги кровию знаменуются. Не в городе, не в поле: в пусте месте четыре человека приходили, четыре ружья приносили. Учинился дым с огнем на обе стороны. Где Пушкин — тут огнем одено, где Дантест — тут как дым. Царски

полаты затряслися, царь с вельможами, по ямам сидя, выглянуть не смеют.

Кавалер-от был стрелять горазд, пустил пулю не в очередь, отшиб звезду от месяца, убил соловья в саду. Упал наш Олександрушко, за елочку захватился:

— Рости, рости, елочка, без верха; живи, живи, Россиюшка, без меня!

Ударила Пушкину пуля под сердце, прошла меж крыл. Пал на белы снеги, честным лицом о сыру землю. Пал, да и не встал. Который стоял выше всех, тот склонился ниже всех…

Кровь-то рекой протекла кругом града. Не могли семь ден из реки воду пить.

…Он выкушал смертную чашу, зачал с белым светом расставаться:

— Прости, красное солнце; прости, мать сыра земля и все на тебе живущие. Я в мире сем положен был как знамя на стреляние, летели на меня стрелы от всех сторон. Мне в миру было место не по чину. Я неволей пил горьку смертную чашу…

Жене сказал:

— Я устал, дак рад спокою-то. В день покоя моего не плачь.

Тут Давыдов псалмы, тут заунывное пение… Пушкин глаза смежил, а город розбудился. Пуш-

кин умолк, а в городе громко стало: «Пушкин в соборе лежит, застрелен!..»

К царю пристава летят:

— Народу в домах уж нет, все у Пушкина…

У Пушкина лицо светло и весело. Вокруг народное множество от мала до велика. И все плачут с причетью:

Звезда восточна на запад ушла.
Жизнь пробежала, как речна быстрина.
Молодость прошла непомилована.
Жито пожато недозрелое!
Горе ходило под ручку с тобой.
Не мог ты от горя уехати…
Во гробе изволил вселитися,
От горя землею укрытися…

Чтенья не слышно во многом-то плаче.

Царь в окно эти дни смотрит:

— Почему все черно одели, как вороны?!

— Вдовственны дни…

Где в Пушкина стреляли, теперь там пусто место безугодно; ничего не ростет, только ветер свистит.

Пушкин поминал:

— Буду сказывать, дак вы забудете. Я в книгу свой ум спишу.

Он многих людей в грамоту завел. В каждом доме Пушкин сердце всем веселит речью своей и письмом.

Егово письмо как вешна вода. Его стихам нет конца. Сотворена река, она все течет — как Пушкин. Землю он посетил да напоил. Что на свете есть, у него все поется.

Пушкин с ласковым словом приходил. Он как летний ветер, хоть и бухат, да теплой…

Сын дню, дитя свету, Пушкин малыми днями велико море перешел. Ему уж не будет перемены.

Пушкин архангелогородский[78]

Не скрою от вас: различных поэтов читаю, но Пушкин — мой фаворит. И папенька всегда повторял: пущай сойдутся в сонм все поэты, но Пушкина тут первое место будет. Многие писали стихи, но против пушкинских — нет никакого сравнения.

Настолько он превосходил всех во всех случаях.

О чем древние писали темно и невнятно, то Пушкин изъяснил лучшим образом. Смала этому приобучился: соберет все, что где услышит или узнает, и потом расположит как возможно лучше. Притом изъяснит в стихах со всею нежностию нашего времени и — ни одного пустошного слова.

Развращенный свет в поэте многое грубиянством именовал, но это были подлинные знаки великой души.

У нас папенька любил Пушкина стихи нараспев произнести. Говором читать будешь, дак никакой

---

[78] Notes: 78

Впервые опубликовано в сборнике «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947) и переиздано в сборниках «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. *–Примеч. ред.*

печали нету. Что это за поэзия…

Пушкина многие живописцы изображали. Папенька определил так, что он был более посредствен возрастом, нежели высок; кость тонка, но мышцы крепки. Пушкин довольны лета мог исполнять. Сухощавые люди долголетнее дородных, для того что у сухих жилы толще, а в жилах кровь живая жарче ходит. В дородных людях крови свободного обращения иметь нельзя. Оттого сухие люди и к чувствам более способны.

Характером поэт был чистосердечен, откровенен, доверчив, распыльчив. Говорит всегда с движением рук. Шутит-плетет, в глаза глядит и не смеется. Пошутит над кем не гораздо, кряду примется целовать. В глазах то чрезвычайное веселье, то не менее привлекательная меланхолия. Пушкину детей показывали на счастье: хороший был глаз.

До конца остался обычаем как мальчик пятнадцати годов. В гостях утащит яблочко, изюмцу, конфетку.

При всем при том был честного благородия муж. Нету чина, до которого он бы не имел права. Но даже чин тайного советника ничем звал: ордена ни разу не надел.

Ел мало — пошутит:

— Ем — не доедаю, святому духу место оставляю.

После обеда не повалится сразу: книжечку возьмет, а нет, дак так посидит. Любил рано вставать: «Заря — поэзии другиня…»

Будучи в деревне, предпочитал уединение, но и с простым народом обожал под веселый час. С девками лучину щиплет на вечереньках зимой; полна изба дыму, окошек не видно. Снегом роется с девками, водой брызжет. На мельницу сбегает, будто поседатеет, только чихает. Когда-то, смала, весь мокрый пришел:

— Мама, я с девками лен мочил да в озеро упал.

За ним в мальчишках прозвище было: «Девичий пастух».

Попадья проживала в деревне, любила потанцевать, а редко кто решался пригласить, для того что вдова толста… Пушкин каждый раз ей удовольствие сделает.

Папенька все смеялся, как Пушкин с ней танцевал, каблуки особливо кверху выкидывал.

Еще у него была привычка считать кукушку. В пиру покалы наполнят, заздравницу запоют — он среди веселья замолкнет. Считает кукушку, кукуючи. Улыбнется:

— Я не буду с вами доживать веку, слышу плеск весла Харонова.

…И весна его жизни прошла, холостая жизнь надокучила: лето пришло, жениться пора.

Вся история женитьбы доказывает, что узы брака были для поэта священны. Взял за себя великую модницу и был влюблен до ужасти. Страсти своей не умел уму покорить. Какими письмами ее осыпал, сколько блестящих стихотворений ей посвящено! «Божество, кумир, вы родились для доставления моего щастия…» И тому подобное в духе легкомыслия. Небольшое пригожество ангельской красотой называл. Слов не находил для выражения тонкости своих чувств.

Теперешняя любовь не заслуживает алтарей, но прежде… Ах, сколько приятно любить! Воздух всегда чист, небо всегда ясно, земля всегда украшена цветами…

Ежели бы Натали хотя однажды потрудилась попристальнее рассмотреть мужнев характер. Он читать да писать, а ейны все упражнения состоят в том, чтобы сделать платье особливой своей выдумки да проговорить все дневные новости. Уж не унизит голоса, что поэт в глубоких размышлениях.

Опять на балу весь мир забудет со знакомыми. Друг у дружки наряды хвалят, уговариваются на контрдансах вместях танцевать… Ей интересно, кто прежде бал зачнет; тужит, что мало танцующих мущин. Ей на ум не придет, что супруг изнывает в тоске о потерянных минутах труда и вдохновения.

С ейным нравом лучше бы в девках сидеть. Бывало, у самого-то для спешности манишки нету крахмальной, а надобно в люди ехать. Одевану выгладит, так и поедет.

Не помню, Жуковский или кто замечали в горести сердца:

— Натали, будьте попечительны, учредите домашний порядок, наблюдайте нашего поэта.

Она с принуждением слушает эти увещания.

— Я не в состоянии познавать все степени странных нравов. Я принуждена быть в самом скучном положении.

Конечно, если б поэт ей во всем подражал, то был бы относительно щастлив, но скажите: у кого же хватит терпения и сил вытягиваться, да ломаться, да уважать тиранству модного света!

Меня молоды люди слушают, может, не в ту сторону подумают. Брачного союза со усердием желать должно. В супружестве откровенность,

которой ни в каком другом чине и состоянии сыскать не можно. Женатые много бед претерпевают не от супружества, а от неразумия тех жен и мужей, которые выгодами сего состояния пользоваться не умеют.

Браню Наталию Николаевну, а сомнительно — могла ли бы какая женщина сделать щастие Пушкина…

Жена Пушкина… Слово-то какое, ответственность какая! В ейны годы Пушкину надо было соответствовать, да еще, как теперь выясняется, царскому настойчивому искательству противостоять.

По силам ли это молоденькой дамочке с соответственным воспитанием и характером! Выйди она за какого-нибудь генерала, никому бы теперь не виновата была.

Это все и послужило поводом для трагедии. Как известно, Пушкин сочувствовал декабристам, письменно хулил времена, наскакивал на правительство прискорбными стихами. Власти принялись изыскивать способ, как бы его погубить. Нещастное легкомыслие молоденькой Натали послужило к тому орудием. Власти знали, что делали, когда решили затронуть у поэта честь, величайшее в свете сокровище.

Некто Дантес, красавец высокого роста, но подлой души, открыто начал волочиться за Натали на балах. Есть такие шельмованные бездельники — мужьям льстят и похлебствуют, а женам посылают записочки в букетах.

Будучи ветреной, Натали отнюдь не переступала границ, а тут — что-то роковое.

…Весь Петербург вскоре стал известен, что мадам Пушкина имеет конфиденцию с посторонним кавалером. Сплетни не надо в «Ведомостях» объявлять. Есть добровольные разносчики новостей, ничего подлинно не разведавши, все болтают. И до тех пор ни есть, ни спать не можут, пока домов десяток разными сумасбродствами и безделицами не наполнят.

Гордый поэт рачительно старался убегать подобных разговоров. Слушал намеки с презрительным видом:

— Натали меня любит, но нарочно притворяется.

Однако тревога его умножалась день ото дня. Предался мрачности, приобрел нещастный навык ко гневу. Придумал в одиночестве скитаться по берегам Невы. А злорадство и праздное глупство светских завистников наводило на мысли, все более смутные и печальные. Впрочем, пока-

мест утверждал свои подозрения на слухах, то хотя был в страхе, однако имел и надежду. Тогда просит с горячностию, дабы жена объявила ему все обстоятельнее:

— Натали, не могу более показывать принужденного равнодушия. Лютая зима душу сморозила, все чувства оледенели… Ах, Натали! Удалимся от многолюдства, нам непристойно здесь оставаться.

А она пригласительный билет на придворный бал в карман прячет…

Вот на этаком балу, у государя императора во дворце, не где-нибудь в кузнечевском… «Новом Свете»[79], Пушкин вошел в буфет без оповедания, а Дантес поит Натали из покала неучтивым образом.

Я Ольге Эрастовне[80] эти папенькины воспоминания передавала, она утверждает, что Натали с Дантесом Николай Первый в своих целях сводил: «Пущай, — говорит, — дураки друг друга ухлопают, мне красотка достанется».

Я прежде в это не вникала, но Ольга Эрастовна

---

[79] Notes: 79

Дом свиданий в старом Архангельске.

[80] Notes: 80

Артистка О. Э. Озаровская, известная собирательница северного фольклора.

представила неопровержимы доказательства.

По всему видать, что Пушкин знал, что Дантес не более как подставна фигура из дворца, иначе бы он его давно на дуэль вызвал. Но уж тут — забыты все соображения:

— Нещастная, уйдем! Сей дом — вертеп разврата! Не медли долее в сих ужасных стенах!.. — вот его подлинные слова. Кричит в горести сердца; кругом придворные лица и чины.

Сей страх недолго продолжался, за ним последовал другой, ужаснее сего. Пушкин стал с Дантесом ополчаться на поединок, при этом Нева и дворцы одеваются тьмою. Поэт высказал друзьям:

— Всему решение приближается! Завтра он пошлет меня к Харону в гости.

…Стрелялся смело и небоязненно и поражен был смертоносною пулею. До исхода прекрасной своей души был в памяти.

— Сколько поплачут обо мне в хижинах, а во дворце рады моему концу.

…Да, умер в цветущих годах. Говорят, матери поэта предсказали еще до рождения его: проживет недолго и будет торжествовать в веках.

Папенька всегда говорил:

— Пушкин привел отечественную литературу в такое состояние, что она приобрела удивление

целого света. Будущие после нас люди могут умнее быть, науки выше теперешнего состояния могут вознестись, но в поэтах выше Пушкина не будет.

С папенькой мы не спорили, но нет сомнения, что и в новейшие времена такие же великие сочинители быть могут, да и подлинно есть, каковые в прежние времена бывали.

…Приходит весна, зеленеют поля, древеса одеваются новым листвием, а кого нет — того не воротит и весна.

Папенька, пока был жив, имел намерение меня и сестру свозить в пушкинские места. Нет надежды на личное свидание, дак хоть на могилку уронить признательную слезу.

Уж очень приятно было бы подивиться, что вот тут-то Пушкин уединялся для вдохновения, здесь принимал посетителей, здесь сочинял вдали от шумного света…

В разлуке с предметом почитания и это служит немалым утешением.

* * *

Старожилы Архангельска хорошо помнят барышень Генрихсен, двух сестер — Анну Эдуардовну и Марью Эдуардовну, «Аничку и Маничку Генри-

совских». Марья Эдуардовна умерла, помнится, в 1922 году, ее старшая сестрица — несколькими годами раньше. Домик Генрихсен, построенный еще «папенькой» лет сто назад, и теперь красуется в Архангельске.

Этот «папенька» был человек в некотором роде замечательный. Раннюю свою молодость — двадцатые, тридцатые годы XIX века — он провел в Петербурге, учеником аптекаря. Здесь каким-то образом имел возможность часто видеть Пушкина, страстно Пушкиным интересовался, артистически повторял манеру поэта говорить, его жесты, походку. Не раз удавалось юному аптекарю имитировать Пушкина в присутствии его самого.

В середине XIX века Эдуард Генрихсен живет уже в Архангельске своим домом, женатый на архангельской горожанке. Дочери родились в это время. Умер этот очезритель Пушкина в летах преклонных, до конца интересуясь литературой, внушив любовь и вкус к поэзии в особенности младшей дочери, Марье Эдуардовне.

В дни моей юности барышни Генрихсен были уже достаточно ветхи годами, но беспредельно молоды душой. Обе обладали даром слова, даром неутомимого общения с людьми. При этом Анна

Эдуардовна была домоседка: любила встретить, принять, угостить кофейком. Марья Эдуардовна, массажистка по профессии, целыми днями «славила» по домам Немецкой слободы Архангельска. Никто лучше нее, подробнее и достовернее не знал городских новостей.

Между собой сестры жили дружно.

Вот о полдень пушка на Соломбальском острове возвестит адмиральский час. Ударят часы на городóвой башне. Анечка, в шелковой наколке на седых кудрях, угощает Манечку обедом, тащит на стол обливной чугунок со щами.

— Пожалуйста, не подумай, дорогая сестрица, что мне лень вылить щи в миску. Я затем подаю в цыгуне, что тебе кушать будет горячее.

Марья Эдуардовна, вхожая во все дома, редкий день не бывала у моей тетки, такой же старинной архангельской кофейницы. Здесь нам, младшему поколению, рассказывала Марья Эдуардовна о своем «папеньке», который, бывало, «каждое слово Пушкиным закроет».

В 1915 или в 1916 году гостившая у нас проездом на Пинегу артистка О. Э. Озаровская интересовалась пушкинским материалом Марьи Эдуардовны, в особенности пачками старинных дагерротипов и фотографий.

Переписываясь затем с Озаровской в течение ряда лет, я нередко посылал ей образцы речи М. Э. Генрихсен, стараясь передать дух и стиль ее бесед. Черновики этих писем и послужили материалом для составления «Пушкина архангелогородского».

Сказки

Шиш Московский[81]

Слово «шиш» в народном языке северно-восточной области означает — бродяга.

Веселые сказки и анекдоты о бродяге Шише, который обижает богатых и защищает бедных, были распространены в народе с давних времен. Некоторые из них созданы в последние столетия, некоторые в XVII веке, в так называемое «смутное время», когда на Руси было много бродяжных людей — беглых крестьян. Жестокие налоги, жестокая барщина заставляли крестьян убегать от помещиков, жечь усадьбы.

В сказках и анекдотах о Шише встречаются странные слова, которых в нашем современном языке нет. Наряду с современными понятиями, как, например, «адресный стол», встречаются такие слова, как «дом стоит на одине́», «чадушко», «беси». Употребление старинных слов рядом с новыми, современными словами объясняется тем, что рассказы о Шише создавались в разные

---

[81] Notes: 81

Сказки о Шише впервые опубликованы в сборниках «Шиш Московский» (М.; Л.: Госиздат, 1930), «Архангельские новеллы» (М.: Советский писатель, 1936), «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957) и «Небылицы в лицах» (М.: Малыш, 1970). *–Примеч. ред.*

времена.

В Северной области нашего Союза и до сих пор можно услышать от крестьян анекдоты о Шише, о его злых, подчас грубых шутках и веселых проделках над барами.

Присказка

Цынцы-брынцы
Балалайка,
Цынцы-брынцы
Заиграй-ка!
Тень, тень – потете́нь!
Ветер стонет целый день.
Туна-на́, туна-на́!
Ходит по морю волна.
Птица-синица
За море летела,
Перо уронила.
Беру перо в руки,
Пишу письмо от скуки.
Синичье перышко скрипит,
Мое сердечишко кипит.

Начинается рассказ,
Люди добрые, для вас.

Дело было против неба на земле, не в покрытой улице. Тут стоял дом, на колу дном, дверями в воду, ниоткуда не было ходу. Домик был красивенький. На первом венце порог, на втором потолок, окна да двери буравчиком провернуты. Собачка мимо бежит — в окошко глядит. А хозяйка в эту дыру глаз впялит, на улку смотрит. У хозяйки именья было много. Тулуп с борами, да юбка с рукавами.

Чулки новы — нет ни пят, ни носков. Еще у ней шапочка ушиста, пушиста, завесиста. Спереди не видно бела лица, сзади не видно желтых кудрей. Из посуды было — липовых два котла, да в прошлом годе сгорели дотла. Был чайник без крышки, без дна, только ручка одна.

С табаком свиной рожок, да для щей деревянный горшок.

Ну, это, ребята, присказки, а дело все впереди.

Родилось чадушко старше бабушки

Дом был, стоял добрым порядком на гладком месте, как на скатерти. В дому отец жил с сы-

новьями. Старших и врать не знаю как звали, а младшего все Шишом ругали. Он еще в зыбочке качался, а уж песнями утешал. Его мать в кружевное одеяльце завернет, шапочку с кисточкой наложит, в люди придет, станет дитем хвастаться, а он как грянет:

Ходи, барыня, смелее,
Музыканту веселее!
Эх, тырли,
Бутырли,
Карáкульки!

Ему в рот соску… Куда там, давай папироску!

То же и отец, вынесет сына гостям. Те обступят:

— Мальчик, скажи — тятя!

А мальчик с присвистом:

Я не тятькин сын,
Я не мамкин сын,
Я на елке рос,
Меня ветер снес!

Только гармони парню не хватает, мало что грудной.

Каши поест, непременно крякнет и скажет:

— Хороша кашка, да мала чашка!

Что-нибудь спроказит, его спросят:

— Это кто разбил?

А Шиш:

— Это уж так и было.

Спросят его:

— Это кто сделал?

А он:

— Это ж давно так!

На Шиша глядя, люди только головой вертят да руками машут.

Время ведь как птица летит, его не остановишь.

Вот Шиш и вырос. Братья — мужики здоровенные, скопидомы, а он все как саврас без узды.

Такой был Шиш: на лбу хохол рыжий, глаза как чашки, один голубой, другой как смородина. Нос кверху. Начнет говорить — как по дороге поедет. Слово скажет, другое готово. И ловок был — в рот заедет да и поворотится.

Наш пострел везде поспел

Рано Шиш начал шуточки зашучивать.

У них около деревни, в лесу, барин с барыней землю купили. Домок построили, садик развели.

До людей жадные и скупые были, а между собой жили в любви и согласье, всем на удивленье. Оба маленькие, толстые, как пузыри.

По вечерам денежки считали, а днем гуляли, сады свои караулили, чтобы прохожие веточки не сорвали или травки не истоптали. У деревенских ребят уши не заживали все лето — старички пóходя дрались. А уж друг с другом одни нежности да любезности.

Шиш на них давно немилым оком смотрел:

— Ужо я вам улью щей на ложку!

И случай привелся. Забралась в лес старушонка из дальней деревни за грибами. Ползала, ширилась да и заблудилась. И заревела:

— О-о! Волки съедят!

Шиш около шнырял:

— Бабушка, кто тебя?

— У-у, заблудилась!

— Откуда ты?

— Из Горелова.

— Знаю. Выведу тебя, только ты мне сослужи службу…

Шиш и привел ее к барской усадебке:

— Видишь, в окне баринок сидит, спит за газетой?

— Ну, не слепая, вижу.

— Ты постучи в окно. Барин нос выставит, ты тяпни по плеши да скажи: «На! Барыне оставь!»

— Как же это я благородного господина задену? Они меня собаками затравят!

— Что ты! Они собак не держат, сами лают.

— Ну, что делать, не ночевать в лесу…

Побежала старуха к дому, стукнула в раму:

— Барин, отворьте окошко!

Толстяк высунулся, кряхтит:

— Кто там?

Старушонка плюнула в ладонь, размахнулась да как дернет его по плеши:

— На! Барыне оставь!

А сама от окна — и ходу задала.

Ну, ее Шиш на Русь вывел.

Этот баринок окошко захлопнул, скребет затылок, а барыня уже с перины ссыпалась:

— Тебе что дали?

— Как — что дали?..

— Я слышала, сказали: «На, барыне оставь».

— Ничего мне не дали!

— Как это ничего? Давай, что получил.

— Плюху я получил.

— Плюшечку? Какую? Мяконькую?

— Вот какую!

И началась тут драка. Только перья летят.

Вот что Шиш натворил.

Доход не живет без хлопот

Вот отец пристарел. Братья волю взяли, дом на себя и скот на себя отобрали. Отцу говорят:

— При твоем худом здоровье первое дело — свежий воздух. Ты теперь ночуй в сарае, а день гуляй по миру. Под одним окошечком выпросишь, под другим съешь…

А Шишу дали коровку ростом с кошку, удоя с ложку:

— Вот это тебе, братец, наделок. И вообще — люби нас, ходи мимо.

Отец сидит на крыльце, не смеет в избу зайти. У Шиша в сердце как нож повернулся. Он отца в охапку:

— Тятенька, давай заодно жить! Есть — пополам, и нет — пополам. А братцам дорогим я отсмею насмешку, припасу потешку!.. Тятенька, ты меня дожидайся, а я пойду эту коровенку продавать.

Шиш лесом идет, а дело к вечеру. И гроза собралась, близко громыхнуло. На ночь мокнуть неохота. Шиш и сунулся в боковую тропиночку, в дебрь, где бы лесину, ель погуще найти. Он в лесу

не боится. Шагов сотню ступил — в ельнике дом стоит. Еле доколотился.

Старуха открыла:

— О, куда ты, парень, попал! Уваливай, пока жив.

— Бабинька, пусти, где коровке хоть перестоять грозу.

— Дитятко, уходи: разбоем хозяева-то живут.

А к воротам еще двое бегут. Шиш сразу узнал — два богатея из соседнего села. Кричат:

— Эй, бабка, где тут дождь переждать?

Что будешь делать! Старуха и спрятала всех в подполье:

— Только уж чтобы ни кашлянуть, ни дохнуть, ни слова не сказать, как хозяева придут. Убьют и меня с вами.

Под полом Шиш их спрашивает, будто не знает:

— Вы чьи? Куда?

Те не смотрят на него:

— Со всяким сбродом не разговариваем!

Тут над головами затопали, заходили… Разбойники приехали.

Там у них питье пошло, еда. Напились пьяны, песню запели: «Не шуми, мати-дубравушка…»

Тут Шиша как шилом подняло.

— Ах, люблю! Даже до слез! Запою и я с ними…

Купцы его в охапку:

— С ума тебя скинуло, собаку?

— Заткни глотку! Убьют!

— Ох, не осудите меня! Я певец природный. Запою!..

— Молодой человек, не сгубите! Возьмите деньгами! По десятке дадим!

— А уж по сотне не дадите?

— Подавись сиротским! На!

Шиш деньги убрал в карман, сел в уголок, будто спит.

Не успели купцы кисеты завязать, наверху плясовую грянули — «барыню».

Ходи, хата, ходи, хата!

Ходи, курица хохлата!..

Шиш к купцам:

— Рабы божьи, теперь не вытерплю! Я на то родился, чтобы плясать. Ух!..

Пошла плясать,

Дома нечего кусать!

Сухари да корки!

На ногах опорки!

Ух, ух, ух!

Купцы у него на ногах повисли:

— Возьми что хошь, пожалей не нас — сироток наших! Благодетель, не погуби!

— Так уж, чтоб вам не обидно, еще по сотне с человека.

Вот у Шиша и четыреста рублев, да все золотыми.

А наверху-то и учуяли, что под полом неладно. Дрогнули разбойники:

— О, согрешили, грешники! Бесы в доме завелись! Не будет боле удачи…

Старуха слышит — на ней каждый трепок трясется:

— Я, хозяева, бесов-то выживать туда человека запустила…

— Какой человек?

Шиш это услышал, он всех смелее, и лезет из подполья.

Разбойники к нему:

— Ну что? Благополучно ли? Всех ли бесов-то выжил?

Шиш и смекнул:

— Пятерых выжил, двое остались больших. Те там подпольем ушли, этих надо избой выпускать…

— Молодец, выведи эту напасть! Отблагодарим

тебя.

— Не стоит благодарности. Давайте кудели[82] да огонька. Сами зайдите за печь, чтобы, как полетят, вас не задело.

Сам Шиш спустился под пол:

— Ну, купцы, я с вас взял по два ста, а разбойники вас найдут и душу вынут. А за ваши деньги я вас отблагодарю.

Вот Шиш обоих купцов куделей замотал по одежде:

— Как я вас подожгу, вы и летите избой да на улицу.

Чиркнул спичкой, вспыхнула куделя. Взвились купцы по лесенке, да в избу, да в сени, да на улицу. А там после грозы лужа. Они в эту лужу. Даже одежда не затлела. Да скорее в лес, да домой. А разбойники не скоро в себя пришли:

— О, молодой человек! И не видали мы на веку такого страху…

— О, коль страшно у бесов огненно-то видение! О, погубили мы свои душеньки, уготовали себе вечный огонь!..

— Руку даю, что эти черти боле к вам не прилетят, не досадят.

---

[82] Notes: 82

Кудель — пучок льна, вычесанный и завязанный для прядения.

— Тебя как благодарить-то?

— Да вот строиться собрался…

— Держи сотенную. За такую услугу сто рублей — плевое дело.

А коровку Шиш старухе ихней подарил. Шиш домой пришел. Деньги на стол, считать начал. Сбился, опять снова. Братья около, рот раскрыли, стоят…

— Шиш, откуда таково богатство?

— А прихожу на рынок, а у меня коровенку из рук рвут. Пять сот за шкуренку дали.

Братья в хлев. От жадности трясутся. Коров колют и шкуры с них дерут. Запрягли пару коней да в город с кожами. Стояли-стояли в кожевенном ряду… Кто-то подошел:

— Почем шкура?

— Сто… нет, триста… пятьсот рублей!

Покупатель глаза выпучил да бегом от них.

Народ собрался, пальцами кажут:

— Глядите-ко, безумные приехали. За коровью шкуру сотни просят…

Вернулись братья домой да на Шиша с кулаками:

— Обманыва-а-ать?!

— Да что с вами? Что?

— Да ведь нас весь рынок дураками почтил!

— Да вы в каком ряду стояли?

— Как в каком? В кожевенном!

— А я в галантерейном.

Братья на другой день в галантерейном стояли. Публика ходит чистая. Барыни братьев ругают, городовые их гонят.

Один кто-то спросил опять:

— Да почем шкура-то?

— А вот третьего дня за маленькую шкуренку пятьсот давали, дак уж у нас нежели дешевле!

Тут уж их в шею натолкали. До самой заставы с присвистом гнали. Кричат мальчишки:

— Самашеччих[83] везут! Самашеччих везут!

Прикатили братья домой, кони в мыле.

— Подать сюда злодея, всегубителя, разорителя!..

Не успел Шиш увернуться. Бочка во дворе стояла. Шиша в нее заколотили да с берега в реку и ухнули. Пронесло бочку с версту да к берегу и прикачало.

Шиш и слышит, что по берегу кто-то с колокольчиком едет. Шиш и заревел:

— О-о-о! Ни читать, ни писать, ни слова сказать, а в начальники ставят!

---

[83] Notes: 83
Сумасшедших.

А с колокольцем-то ехал становой с бедной деревни подати выколачивать. Он с тройки да под угор:

— Я знаю читать, и писать, и слово сказать! Я в начальники годен. Кто здесь?

— Я! В бочке сижу.

Становой дно выбил. Шиш вылез.

— В начальники силом ставят, а я бы другому уступил.

— Возьми отступного. Я в начальники горазд.

— А давай меняться. Вы в бочку залезете — в начальники вас направят на мою должность, а я ваших лошадок с кибиточкой — себе.

— Согласен. Хлебна ли должность та?

— Обзолотиться можно.

— Заколачивай скорее. Жив-во!

Забил днищем Шиш да как пнет бочку ту! Ух, она в воду полетела, поплыла…

А Шиш домой на тройке подкатил.

Братья под кровати лезут:

— У-у, утопленничек, не ешь нас!

— Что вы, дикие! Глядите-ко, мне там каких лошадок выдали!

— Где выдали-то?

— Куда меня спихнули, там.

Братья коней гладят. От зависти руки трясутся.

— Шишанушка! У нас вон бочка порожняя…

— Ну, порожняя, вижу.

— Мы бы в бочку ту… да в речку ту… Не откажись. Тоже хоть по конику бы!

— Дак что ж, можно. Неужели для братьев единоутробных пожалею?

О, сколь тяжело было бочку ту катить! А те там сидят — торопят:

— Кати круче! Всех хороших-то упустим.

Опять с горы как дунет их Шиш…

Поехали братаны вниз по матушке по Волге, по широкому раздолью. Выплеснуло их в Нижнем, у ярмарки. Лавку там себе поставили. В домашнюю сторону и смотреть перестали.

А Шиш с отцом зажил. Он до отца хороший стал, ласковый. Отец его залюбил.

Это вам не мука, а от Шиша наука

Раз в деревню приехала проветриться городская компания. Навезли вина, закусок. На лугах траву мнут, рожь на полях топчут. Мужики не знают, что уж и делать. А те лодыри захотели ночевать в лесу. Шиш отправился их посмотреть. Видит — на полянке толпится человек с дюжину. То повалятся в ряд, то вместе, то врозь…

Шиш к ним:

— Граждане, о чем беспокойство?

— А тебе, любезный, какое дело?.. Впрочем, вот, мы хотим ночевать на открытом воздухе. Но никто не решается лечь с краю. Ведь здесь, наверно, водятся медведи?!

Шишу смешно:

— Не только медведи, но и львы! Но я вас повалю. Каждый в середке приведется.

— Каким же это образом, любезный?

В сторонке была большая куча-муравейник.

Мураши уж спали. Шиш сюда компанию и собрал:

— Ложитесь все в этот сухонький холмик головами, а ножками врозь. Получитесь все в кругу. Никого не будет с краю. Всяк в середочке.

Господа развалились. Головы в муравейник улепили, а башмачки врозь. Благодарят Шиша:

— Мерси, любезный. Вот тебе на чай или, там, на водку!..

— Не требуется! Приятного сна!..

И Шиш от них ходу задал. Десятка саженей не отбежал, заревели там господишки лихим матом. На весь лес заругались, завизжали. Мураши-то взяли их в работу!..

А Шишу то и надо. Не задирайте нос перед

мужиками. Ставьте себя в рубль, да не кладите нас в грош!

Пожила барыня на свете, посмешила добрых людей

Однажды Шиш далеко от дома ушел.

Вышел из лесу, а у речки господское имение. Дом белый, ограда железная. На балконе барыня сидит, кофей пьет. А по двору свинья ходит с поросятами. Шиш во двор зашел, стал перед свиньей да и ну ей кланяться, челом бить.

Это барыня с балкона и увидала. И ну кричать:

— Машка! Дуняшка! Агашка!

Дуняшка летит:

— Чего, барыня изволите?

— Поди узнай. Вон мужик нашей свинье кланяется. Что все это значит?

Горничная к Шишу:

— Молодой человек, барыня приказали у вас спросить, чего это ты нашей свинье кланяешься?

— А видите ли, барышня, ваша свинья пестра моей жене сестра. У меня жена замуж выходит, дак я вашу свинью на свадьбу зову.

Горничная к барыне:

— Барыня, барыня! Наша та свинья пестра его жене сестра. Его жена замуж выходит, дак он свинью на свадьбу приглашает.

Барыня и кофей на себя пролила:

— Ха-ха-ха-ха-а-а. Ой, сколóло! О-о, караул! Вот дурак! Вот чудо гороховое! Ну разве слыхано, чтобы свинью, бессловесную животную, на свадьбу звали?!. Жалко, барина до вечера не будет, а то бы он посмеялся. Агашка! Машка! Давайте высмеем его, дурака, до конца. Я что надумала… Несите сюда мое модное кружево, полукапоты, плюшеву ротонду, розову уваль, шляпу о двенадцати перьях…

Горничные наворотили гору нарядов.

— Наряжайте эту свинью!

Смотрит Шиш. Нарядили свинью в кружевной капот, закутали в ротонду, наложили шляпу, завесили рыло вуалью.

Барыня опять вопит:

— Девки! Несите сюда мои двенадцать чепчиков, нарядите этих поросяточек.

Сказано — сделано. Барыня опять:

— Девки! Ведите сюда баринова коня с каретой!

Коня подвели. Конь — хоть на выставку. Карета под лаком.

— Девки! Посадите свинью с поросятами в карету. Мужик! Садись за кучера. Вези гостью!

У Шиша сердце взыграло. Вожжей шевельнул, только пыль в глаза.

А барыня до того дохохотала, уж ее водой отливали.

— О, дурак, дурак! Ведь теперь над ним стар и мал, встречный и поперечный смеется!

А Шиш — парень юлавый, поворотливый, к вечеру опять у того имения.

А там барин вернулся.

Его жена встречает:

— Ах, Жорж, я сегодня порвалась со смеху. Какой дурак к нам приходил…

Да все подряд и рассказала.

У барина рожа по шестую пуговицу вытянулась.

— А наряды, карету, лошадь призовую он вернул???

— Н-н-н-е-ет…

— Так, выходит, не он дурак, а ты дура-то?! Пропала бы ты вверху ногами! Только бы тебе коровам шайки носить, а не в барынях сидеть!!

На весь мир и солнышку не угреть

Опять в другой раз добыл Шиш денег всеми правдами и неправдами и справил обед на нищую братию. Все на пиру напивались, все на честно́м наедались.

На лавках, на полу, в сенях спать ласковый хозяин всех уложил. Сам в чуланчике привалился. Не успели третьи петухи прокричать, будит Шиша старуха из нищих гостей:

— Очнись-ко ти голубеюшко! Убудись!

— Что ты, бабушка?

— Ты вот всяких, без разбору, принимаешь, поишь и кормишь, а гости дорогие обокрасть тебя ладят! Ведь на огороде твои ульи?

— Таткины.

— Двое бродяг страшных сговорились — улей с медом чуть свет в город потащат. Деньги на пропой надобны… Сама слышала, своими ушами.

— Ладно, бабушка. Иди всхрапни еще часиков восемь, а я татку в обиду не дам.

Чтобы никого не обеспокоить, вылез Шиш из чулана окном. На огород пробрался да и сел в пустой улей.

Только вздремнул, слышит шаги по траве, сту-

пают двое, пробуют — который улей потяжелее. Вот взялись за тот, куда Шиш влип.

— У-ю-юй! Вот где мед дак мед!!! Бери на плечи! Айда в город!

Подняли, потащили.

Шиш поотдувался там четверть часика да и закричал потихоньку:

— Ви-и-жу, вижу-у!

Дядьки дрогнули:

— Никак нас догоняют? Бежим круче!

И Шиш во всю силу:

— А вижу! Ви-и-жу-у-у!

Бродяги рявкнули со страху, брякнули улей на дорогу да в город без оглядки. Хрен с ним и с медом.

Шиш выбрался из улья, домой поволокся. Идет, отбитые бока трет да смеется.

Догадка не хуже разума

Было раз, шел Шиш из города перелеском, а навстречу ему быка ведут. О, велик бычина. Тяжол. От поступи земля дрожала. Охраны около него идет семь человек.

Шишу бык понравился.

— Ребята! Куда с быком-то?

— Царского быка прогуливать изволим.

— Хм! Царского… Как бы это мне о себе царю-то память оставить…

Ну, Шишу долго думать не надо.

Он был обут в новеньких сапожках. Он их снял да сторонкой, леском возле дороги и полетел за быководами теми. Забежал вперед да и выкинул на дорогу сапог. Сам опять спрятался. Охрана с быком подошла:

— О, робята, сапог! Да и новенький! Взять бы, да куда один-то, кабы пара!

Подумали… бросили сапог обратно:

— Ах, кабы пара.

Только они отошли вперед, Шиш опять кустами да тропками забежал вперед да другой сапог бросил. Сам в куст сел.

Погонщики издали сапог увидали:

— Не пара ли тому?

Подбежали:

— Пара!.. Ох, зря тот там бросили!

Кричат один перед другим:

— Я вернусь! Нет, я увидал, я вернусь!.. Мои сапоги! Нет — мои!

Недолго и спорили. Всем табуном полетели обратно за сапогом. Быка-то забыли, тут оставили. Шишу то и надо. Взял за повод да сторонкой-тро-

пинкой и задал ходу. Он в лесу как дома. Привел домой — запер в хлев.

Никто не видит.

Царская полиция с ног сбилась, да Шиша разве поймаешь. Не тот человек.

Шиш быка до осени прокормил, а как дело попризабылось, порешил его с отцом. Сорок пудов говядины досталось. Ползимы прохожая голь перекатная этим быком сыта была. Первое время еще каждому с собой по фунту мяса давали.

— Вали, ребята! Режь да ешь, ломай да другим давай!

Голь на выдумки хитра

Середка зимы. Шишово подворье опять хлебом оскудело. Народ бредет голодный, холодный, угостить нечем. С горя отправился Шиш в дальнюю деревню на праздник. Там гулянье, ярмарка, карусели. Шиш у веселья первым бесом. Где он — там народу табун. Приехал гулянья смотреть барин из ближнего поместья.

— Это что там народ скопился?

— Это парнишка один публику утешает.

— Не Шиш ли?

— Так точно — Шиш.

— Позвать сюда! Я, можно сказать, в той надежде и приехал.

Шиша кликнули. Барин развеселился сразу:

— Ну-ка, сшути мне шутку позанятнее!

Шиш перед барином во фрунт:

— Для вас, сударь, от всей души. Только понимаете, досада какая: шутки-то я все дома забыл…

— Ну уж ты, любезный, постарайся, устрой как-нибудь. Сбегай, наконец, за твоими шутками.

— Ждать озябнете, сударь… Разве вот что: пока вы на гулянье любуетесь, я могу на вашей лошадке съездить за шутками.

Барин согласился.

Шиш на коня да и полетел, вместо своего дома, к этому барину в именье. Шиш во все пути дорогу знает. Ко крыльцу подкатил, у лакея спрашивает:

— Барыня дома?

— Дома.

— Доложи спешно.

Барыня выплыла из комнат, на парня лорнет навела:

— Что тебе?!

— Ваш супруг у нашей фирмы сена с хреном да соломы с уксусом на сто рублей купить изволили и послали меня сюда на своей лошадке за этими

деньгами-с.

Барыня ничего не поняла. Подумала: заграничные закуски, — однако, свою лошадь видя, поверила. Отсчитала Шишу сто рублей. Рада:

— Вот уж поедим теперь, подзакусим. Люблю с хреном и чтобы с уксусом!

Шиш к барину на ярмарку не вернулся. Пальнул с деньгами в город, накупил хлеба, рыбы, ситцов, обуви теплой. Опять, значит, Шишова драная компания сыта, обута и одета.

А барин, не дождавшись, домой на извозчике прикатил. Барыня сена с хреном да соломы с уксусом требует, а барин скачет, адреса Шишова добиться не может. Господа не знают, а крестьяне не сказывают. Когда-некогда дознался. Бросился в Шишову деревню. Навстречу старух с десяток нищих от Шиша.

— Эй, побирушки, который дом Шишов?

Те смекнули, что не с добром гость едет. Послали его по фальшивому адресу не в ту улицу, и две самых ходких старухи круто зашаркали к Шишову дому. Шиш на старух дивит:

— Бабушки, вы что, в перегонки разыгрались? Или медведь за вами гонится?

— Медведь, кормилец, медведь! Да и по твою душу! Барин тебя ищет по деревне!..

А барин легок на помине. Разыскал-таки. В ворота стучит. Отца дома не было. Не с кем посоветоваться. Одна старуха говорит:

— Оболокай скорее мой сарафанишко да плат. С подружкой моей как ни в чем не бывало выходи да и в лес. А я глуха прикинусь, больна. Отдуваться буду за хозяйку.

Шиш сарафан надернул, платком завязался; котомку за спину; в руки палку, согнулся и заковылял из дому. Старуха за ним кряхтит. Барин их заметил:

— Эй, корзóвки, чьи вы?!

— По миру ходим, благодетель, по миру.

— Есть кто дома?

— Старуха одна хвора, старуха.

— А Шиш где?

— Шиш господину одному первостатейному шутку сшутил негоразду, дак со страху в город Брехов Вралевой губернии сбежал.

Барин записал это в книжку и побежал в избу. На лавке старуха лежит, охает.

Барин:

— Чья ты, старуха?

— Глуха на оба уха!

— Дома Шиш?

— Не топлено, не угоришь!

— Ты мать Шиша?

— Погода очень хороша!

— Прощай!

— Какой тебе у старухи чай?!

Явно, что старуха глуха и глупа.

Вернулся барин в поместье ни с чем. Карту географическую развернул, три дня и три ночи город Брехов Вралевой губернии искал. Не нашел — отступился от своих денег. И в суд не подал. Не хотел народ смешить.

Шиш пошел черных кобелей Набело перемывать

К весне Шиш опять в город засобирался. Город был от них не так далеко.

— Я, татушка, думаю завтра встать пораньше да шагнуть подальше.

— Не знаю, Шиш, что тебе сказать: много ли есть у твоей работы добра, а худа втрое, впятеро. Сам смекай, где берег, где край.

Вот Шиш по городу похаживает. Пытает себе дела.

Погулял по продольной улице, вышел на поперечную.

И тут царские огороды.

Тогда цари были.

Гряды у царя — конца не видно. Подошел Шиш к воротам — оторваться не может. Семь человек работников боронят на вороном жеребце. Конь как зверь лютый… Каждая жилочка играет. Десять тысяч за такого коня плевое дело.

От умиления у Шиша слезы покатились.

— Эта лошадка будет моя!

Тут у огорода и куры царские рылись, по́рхались в грядах. И коровка его величества паслась. Три ушата молока в день доила. Ешь — не хочу.

В полдня работники обедать ушли и коня увели. (А борону на борозде кинули.) Шиш того и ждал. Он поймал петуха. Петух-то был как собака здоровый. Поймал петуха, ощипал до гола. О, какое чудо получилось! Как бы человек, а борода красна, гребень и хвост. Ужасно, ужасно! Этого чуда Шиш под борону посадил и сверху еще сеном накрыл. Сам спрятался.

Вернулись работники. Впрягли коня. Поехала борона, а петушина как оттуда выскочит да давай устилать по грядам. Работники сразу-то повалились кверху лаптями:

— О, тошнехонько! Дьявола из-под земли отколупнули!

А потом вскочили, да за дьяволом этим в по-

гоню:

— Поймаем, так первой приз выдадут.

И коня забыли. А Шиш того и смотрит.

Конька выпряг, потом хвост у него снизу обрезал да царской корове хвост-от в рот и вставил.

А сам на коня, повод в руки да стрелой из города.

Ни конному, ни крылатому не догнать. А на огороде около коровы весь царский двор скопился.

Народишко тоже со всего города летит.

— Куда-а, ребята-а?

— На огороды-ы! Царская Пестро́ня жеребца съела-а-а!

На огороде работники рассказывают:

— Сами видали своими глазами. Пришли, а она остатки доедает. С головы начала исть. Покуль мы за облизьяном бегали — всего схряпала. Только из роту фостик Карюшкин видать.

— Нету боле Ка-рю-шки-и-и… Ы-Ы-Ы!

— У-у, дьявол рогатой!

Только тут ученые оказались профессора.

— Корова не тигра, а млекопитающаяся, насекомоядная, травоядная тварь.

Эту корову лучами Радина просветили.

— Не едала. В роте не бывало.

А куда же Карюшко девался?..

Народ опросили. Люди показали — слышали топот конский. А ни коня, ни седока не было возможности разглядеть. Только видели по дороге курева стоит, курева стоит, пыль столбом валит.

— А в котору сторону проскакало?

— А кабыть к лесу.

Лес обшарили — нету. Всяких шляющих нищих, оборванцев опросили. Да разве лоскутки с заплатами — Шиша выдадут! А коня Шиш в комнату завел. В подызбицу. Найди-ко поди!

До осени коня искали. Многие уж на то сложились, что на самом деле его корова языком слизнула. Ну, образованные люди не верили.

А царю не столько потери жалко, сколько охота узнать, кто это так ловко украл, что о коне ни слуху, ни духу, ни вестей, ни костей.

Вот и объявили по народу, что пусть этот явится и покажет, куда дел коня. За ловкость выдадут награду.

Отцу не нравится эта игра:

— Не ходи, Шиш, из воли да в неволю. Ишь потеху себе выдумали!

— Нет, татушка, не стану дома углы подпирать. Пойду!

Дал шишу потачку, Дак и сам от него на карачках

Явился Шиш перед царя:

— Поклон с хохлом! Челобитье с шишкой!

Такой прохвост сразу понравился, он такой уродился, — все ему рады. Он красным девушкам во сне снится. Румяный, разноглазый, вертлявый.

Царь сразу над ним начал сгогатывать.

— Ты в татку ли в матку, в кого ты экой?..

На конец разговора царь говорит:

— Это что, с огорода коня увести. Это робенок уведет. А вот есть у меня лошадка за семью дверями, за девятью замками. За посмотр англичане и мериканцы по сту рублей, может, платили! Вот уведи этого — тыщу рублей за успехи!

Шиш осмотрел стойло, где этого коня берегли. Действительно — замки, двери, запоры. Только крыша досчатая и потолок худой. А в стойле конь… Не конь — сокол ясный. Орел. У каждой ноги по сторожу поставлено. При хвосте двое, за повод держат двое. А главный с ключами верхом сидит.

Людей бы на ум, а Шиша сразу на дело. Он вина,

от которого ум отходит и язык отнимается, такого вина боченок купил да в потемёнки к царскому сеновалу и прокрался. Крышу разобрал в два счета, потолок над конем тоже без гвоздей был настлан. В эту дыру Шиш и начал боченок на веревках спускать.

Охрана сграбилась на этот боченок. Думают — громила. А в нос им винным духом крепким. Тут уж некогда разбираться — почему да откуда. Может, думают, с небеси награда. И хоть на девять человек боченка вина и не так много, а только Шишу и часу ждать не пришлось. Попели малость, повопили да и захрапели. Лежат все девятеро без задних лап.

Который с ключами давно под порогом валялся. Эти ключи Шиш взял, отомкнул девять замков, семь дверей, сам на коня да пулей из города домой. Видели Шиша — на коне сидит, а не видели поездку богатырскую. Только видели в поле курева стоит, курева стоит, пыль столбом валит, в куреве этого прокурата не видно ведь.

Утром царь сунулся в конюшню. Сидят конюхи на полу, глаза на выпучку.

Нету коника…

Царь руками хлопнул:

— Проворонили коня, коровы косые! Чтобы

в пять минут у крыльца тройка стояла! Еду к Шишу.

Конюхи полетели на поскотину. В пять минут тройка запряжена. Царь кучера в спину, кучер по коням…

Дунули из города — сторонись, народ честной! Лес миновали — тут и дом Шишов.

И сам Шиш на крыльце. Царь к нему:

— У тебя конь?

— А где ему быть-то!

— О, на кого я навернулся. Из тысячи не найти такого подлеца, как ты!

А Шиш:

— За деньжонками когда зайти?

— За какими?

— А тысяча-та за успех ряжена была.

— Не торопись! У меня дядя все спешил да и помер… Раззадорил ты меня… Вот сведи теперь со двора царицу мою, Маремьяну. Чисто сработаешь — приз выдам. Попадешься — не обрадуешься.

— Нет уж, Ваше Велико, я люблю жить с радостью.

Пошло дело на лад, и царь ему не рад

Зимой царь в сенате заседает. Лошадь с кучером у подъезда ждет. Раз, к вечеру, кучер и видит: молодец стоит нарядный и глаза на него выкатил…

— Ты что?

— Любуюсь. Очень у вас на облучке местоположение величественное. Мне хоть бы минутку так покрасоваться. За столь сладкое мгновение трешны бы не пожалел.

— А пятишну?

— Держи!

— Ладно. Лезь на мое место. Я покаместь сбрую оправлю.

Только кучер из сангей, Шиш за вожжи да как гикнет!

Стоит кучер на карачках середи дороги. А лошадка далеко полощет.

Царица сидела дома. От скуки песню пела свою любимую:

Кофешику грешного
С месяц не пила.
Немножко сварила.
И тот пролила.

Вдруг кто-то под окном коня на всем маху остановил.

Взглянула — конь свой, царский. Послала узнать, в чем дело.

Фрейлины Агашка, Машка и Дашка выскочили на крыльцо:

— Под кого лошадка?

— Император послали под свою супругу, чтоб сию секунду к им в сенат. Жёнские вопросы разбирать.

Царица прокатиться без памяти рада.

Машки, Дашки на нее шелков, бархатов накрутили. В сани посадили…

Пошел!

А Шиш царицу не к сенату, а из города, да в свой домок.

Царь вернулся пешком.

Ничего понять не может.

— Царица у себя?

— Как вы за ей конька и саночки послать изволили, оне к вам в сенат и отбыли…

— Я??! Конька?! О-о, беда, беда! Он это! Шиш… О-о, разнесчастной я детинушка родился! Под кем лед трещит, а под нами ломится…

Вельможи царя утешают:

— Ваше Величие, лучше бы вам не слезить сво-

его белого лица, а сыпануть в погоню.

— Неужели у меня, сироты, еще хоть одна коняшка осталась?

— Что вы?! Хватит!

К Шишову подворью на тройке полетели. Царь всю дорогу стоя ременкой намахивал.

У Шиша в окнах свет. Не заперто. Царь в горницу…

В углу самовар пышет. За самоваром царица и Шиш.

— Маремьяна — ты?

— Я.

— Давно ты тут?

— Не как давно. Всего ише восемнадцату чашку допиваю. Тебе, с дороги, не налить ли стаканчик?

Царя и горе берет, и смех до́лит:

— В землю бы я лег да укрылся, а не чаи распивать!.. Налей!

После второго самовара царь с царицей песню заревели:

Эх-ы, ветры дули,
Шапку сдули;
Кафтан сняли,

Рукавицы сами спали!

Шиш гостям три самовара выпоил. Тогда спросил:

— Я опять насчет призов. Когда выдача?

Царю старый долг платить обидно:

— Погоди, не торопись. Я тебе должность придумал. Останешься при мне в виде шута. Завтра первостатейного военного генерала за победы чествовать будем. Он с рожи болван, да ему во всем таган. Дак ты гостей утешать придешь!

Шиш зубами соскрипел:

— Я вам нашучу!

Глупому Авдею наколотили шею

Наутро во дворце пир. Вино из бочек льется, пироги из печек летят. Все на пиру пьяны-веселы.

Фрейлины песни поют, как кошек режут:

Валяй Матвей,
не жалей лаптей!
Ходи барыня смелее,
музыканту веселее!

Царица Маремьяна под эти песни середи зала выплясывает.

Его превосходительство генерал против Шиша. Сидит высоко, плюет далеко. Брюшина раззолочена. Шиш на него немилым оком смотрит. Думает: «Тебя бы на салотопенный завод».

Генерал пьян был, а Шишов взгляд оприметил. Да как гаркнет:

— А ну, шут гороховый, покажи, как ты генералов уважаешь! Распотешь-ка меня!

Шиш и видит — над генералом муха вьется. На лысину села…

Шиш вскочил на ноги, схватил блюдо с киселем да по мухе как грянет!

Блюдо в крохи, стул под генералом вдребезги, сам генерал под стол улетел… Фрейлины завизжали:

— Убиваю-у-у-т!!!

Шиш на стол, руками машет, всех голосом покрывает:

— Ведь только подумать, какова наглость! Какое бесстыдство! Ничтожная насекомая осмелилась сесть на столь высокопоставленную личность. Я, господа, не мог сдержать свое негодование, свой юношеский пыл. И вот, муха истреблена. Оскорбление смыто.

Царь в затылке скоблит:

— Вот какой оборот… Выходит — его еще бла-

годарить надо за юношеский пыл… Ах ты!.. Нет, живого он меня в доски сгонит!..

Приехал надзиратель не зван, Уезжай не дран

Выслали Шиша на родину. Да еще надзирателя в очках к нему приставили, следить за поведением.

Попал Шиш из воли да в неволю.

Дома живет, а радость вся потерялась. Наблюдатель ходит за ним по пятам. Другой раз Шиш нарочно его томит, с утра до закатимого окольными дорогами водит да водит. Сам с ног свалится, слезы ручьем, а тот все бы гулял.

— А и господин наблюдатель! И когда тебя извод возьмет!

Вот раз вечер их застал далеко от дома в чужой деревне.

Наблюдатель говорит:

— Иди просись ночевать. Выбирай где почище.

Шиш в первые ворота забежал, хозяина нашел:

— Пустишь двух ночь перележать?

— Тесновато будет. Как на грех проездом из города полицейский чин остановился. Только

что закусил да отдыхать лег…

Шиш дальше не слушает:

— И со мной полицейский чин! только такой… дикий — не дикий, а пол-дика есть. Ты его за стол ужинать не приглашай. Он с ума сойдет. Ну, раз позови, а другой — оборони бог!

На улице Шиш шепчет телохранителю:

— Только имейте в виду, по первому зову еще не садитесь за стол. Как благородный господин дожидайтесь второго и третьего приглашения.

— Ну ясно! Учить меня вздумал.

Зашли. В избе ужин накрывают. В углу полицейский нахрапывает. Хозяин Шиша запросто к столу подтолкнул:

— Сядь, закуси.

А к чиновнику опасливо подошел:

— Может, вы бы… С нами откушать не желаете?

Тот только нос скривил.

Ужин к концу.

Шишов наблюдатель сидит, губы окисли, руки отвисли. И хозяину неловко, а больше звать страшится.

Ночью голодный к Шишу:

— Где хочешь жрать добывай!

— Тише! Я видел — хозяйка в печь большой

кувшин со сладкой опарой ставила…

— Тащи!

Шиш выдвинул горячую посудину на шесток.

— Ложку!

— Искать темно. Вы поскорей руками. Сколько есть — все ваше.

Тот протолкнул руки в горлач. А опара без терпения горяча.

И кувшин сел плотно. Не скинуть.

Вот чиновник заскакал по избе…

Шиш к нему:

— Ваше высокородие, кувшин-то глиняный. Вон в углу медный котелок светит. Хлопни по котелку.

А это плешь полицейская блестит. Проезжающий-то полицейский там спал. Чиновник сослепу как махнет по лысому-то.

Тот рявкнул да и пятки вверх.

И чиновник с ног слетел да из избы клубом. Да на большую дорогу в город.

Шиш вслед:

— Ва-а-ше Высоко!.. Очки потеряли!..

Гори ты и с очками! Так сыплет, пуля не догонит.

Больше его Шиш не видел.

Какову чашу старичок другим наливал, Такову и сам выпил

Опять было зашел Шиш в дальнюю деревню.

У колодца две молодухи с ведрами стоят.

Бледны, унылы.

— Жаланнушки, что это, будто вы на каторге выгостились?

— А каторга и есть!

Ласково слово лучше мягкого пирога.

Что на сердце накипело, все молодки Шишу рассказали.

На жадного свекра жаловались. Еду под замком держит. Семью голодом заморил. Сам до отвалу наедается…

Шиш говорит:

— Сегодня выпрошусь у него ночевать. Авось помогу.

Пустили Шиша за гривенник. Во время ужина загляделся на хозяина. Старичок с кувшин, борода с аршин, у семьи куски, глотки считает. Потом все — сыты ли, голодны ли — спать повалились.

И слышно в темноте — старик в шкап по смета-

ну, по масло поехал.

Шиш с лавки:

— Брысь! Брысь, окаянная!

Тишина…

Мало, опять замок брякнул. Зачавкало в темноте, запыхтело.

Шиш на ноги. В избе зги не видно. По пути табуретку ссадил. Подскочил к шкафу и давай ремнем нахаживать.

— О, беда с этими кошками! Будешь пакостить?! Будешь?! Будешь?!

…Только ремень свистит…

Отлились сытому голодные слезки.

Еле старик под кровать увернулся.

Оттуда зашумел:

— Не бей кота-то! Рубаха та тонка!

С той поры полно, старик, семью голодом морить. А невестки с мужьями от радости даже помолодели.

Про барскую совесть Можно сказать повесть

Отец дома говорит:

— Ладно ли это? Ты, молодой парень, старого человека настегал…

— Человека? Этому человеку пришить бы хвост, так настоящий пес.

— Ты, Шиш, про дикого барина слыхал?

— Это заводы-то свои?

— Да. Ты бы туда наведался. Вот это пес! Народ-то у него: упились бедами, опохмеляются слезами.

Других бы на ум, а Шиша на дело. Хлеба в узелок да на пристань. Лодок много.

— Эй, нет ли кого на заводы?

Нашлись. Привезли Шиша. Место чужое. Барской дом и фабрика на холме. Кругом горе в лохмотьях, беда нагишом — мужики населились.

Шиш в деревню:

— Вы от хозяина кормитесь?

— Сдох бы этот хозяин! Пропал бы кверху ногами…

Шиш в другую:

— Вы почто бедно живете?

— А по то, что у диких бар волчья пасть да глаза ненасытны.

В третьей деревне Шишу мужика показали.

Лежит на досках.

— Ты, дядя, что отдыхаешь?

— Беды да печали с ног скачали. Лес барину на

стройку рубил. Не угодил. Высекли сегодня.

— А в суд?

— Чья сильнее, та и правее.

— Не горюй. За собакой палка не пропадет. Вашему барину за все присчитается.

Весь Шиш над этими деревнями притужился. Весь поблек.

Явился в именье:

— Доложите — плотник.

Барин вышел. Глаза на выпучку. Говорит — как сатана отвечает:

— Отправляйся в лес по бревна, ежеля плотник. Стой! Я с тобой…

В лес заехали. Шиш подскочит к дереву, руками охватит и слушает. Барин глаза пучит:

— Ты что?

— Проверяю, дельно ли к стройке. Ежели в ухе зазвенит — руби. А нет — бросай.

Барин с коня, пузо к елке прижал, сам кричит Шишу:

— Проваливай теперь! Мне только секрет и надо.

Как коршун Шиш взвился. Отстегнул вожжу да барину руки о дерево и замотал.

А потом чересседельником свистнул…

— Будешь у людей слезы выжимать?! Будешь?!

Вот тебе! Вот тебе! Мироед! Весь мир переел!

Попал гвоздь под молот… Голосу-то господского как хватило… На версту слышно.

Заслышав людей, Шиш отступился.

Наутро узнал — на горе дворню секут за барскую обиду. Шишу это очень не в снос.

Он привязал рыжую бороду и к барину:

— Честь имею, я лекарь, из-под Каменного моста аптекарь.

— Такого и надо. Ступай за мной в баню.

Шиш говорит дворне:

— Ежели его высокородие подадут голосок, не беспокойтесь. Лечение не шутка.

— А хоть весь заревись! Не обеспокоимся.

В бане привязал Шиш барина к лавке полотенцем. Да ивовым прутьем и хватил во все хвосты.

О, бедово дело. Кадык не велик, а реву много.

Дворня под окошком, так порвалась:

— Эка пасть! Кабы ей пропасть!

Это за чужую обиду Шиш сделался такой злой. Через него отлились волку коровьи слезы.

Народ радуется господской беде. По деревням как праздник открылся. Узнал барин — его такое сердце взяло, что сам бы себе язык перекусил.

— Солдат выпишу — всех перестреляю!

Созвал дворню:

— Стар и мал, — марш на поиски! Без злодея не возвращаться! Запорю!

Народ из поместья как ветром выдуло.

Кто в лес, кто в поле…

Шиш безлюдью и рад. Преспокойно зашел в барский кабинет. Устроил барина на шелковых диванах да так угостил в третий раз, что заклялся тот всеми клятвами, что не будет больше народ обижать.

Пора Шишу домой.

Видит — старуха старая ребенка нянчит.

«Дай спрошу, ладно ли натворил…»

— Баба, слыхали, барина-то как к ногтю прижали?

— Как не слыхать?! Послал Бог благодетеля!

— Так не жалко барина?

— Я бы его проволокой настегала! Сколько он трудового именья схватил!..

— Может, лучше бы речами убедить?

— Глупый ты! Доброе слово не уймет злого!

Кто смел, тот и съел, Кто проворен, тот доволен

У Шиша пословица:

— Кто богат, тот нам не брат.

Горько стало барам от Шиша.

Несладко и ему от них. В город жалоб наподавали.

Зимой отправился полковник со стражниками Шиша брать.

Теперь Шиш мало дома сидит. В лесок уходит.

Как-то разложил он костерок у дороги. Поставил котел уху варить. Рыба с собой была.

И только ухе закипеть — в лесу люди загорланили.

Шиш смекнул — кто. Костер снегом загреб. Котел сверху сугроба. В одну руку ложку, в другую ломоть хлеба…

Начальство налетело:

— Ты Шиш?!

— Он.

А те глаза выкатили. В снегу котел стоит, из котла пар клубом.

— На чем скипело?!

— На снегу. Секрет заключается в котле, каковой варит пищу на снегу или на земле без применения огненной стихии…

Полковник ухи хлебнул:

— Какой прогресс и агрикультура!.. При дворе бы показать… Вот что, этот котел будет мой. За это оставлю тебя на свободе.

Шиш не спорит. Только бы проваливали скорей.

Не терпится и полковнику волшебным котлом похвастаться.

Тот же вечер по городу приглашения разослал. Наутро к нему полон двор гостей скопилось.

Середи двора куча снегу. Котел принесли. Все кругом стали. Царь да царица в первых, в руках ложки держат большие.

Полковник гаркнул:

— Минуту внимания! Перед вами куча снега и котел с рыбой. Доливаю котел водой, закрываю крышкой и… через пять минут вы будете кушать кипящую стерляжью уху!

Царица Маремьяна ложку сухую облизала:

— Ох, луковку забыла взять. Уж так к сердцу поем!

Ждут пять минут… Ждут пятнадцать.. Люди мерзнут, топчутся. Царица Маремьяна не стерпела:

— Нахоте́ла я больше ждать! Заколела вся. Извод с ей и с ухой!

Полковник подскочил, крышку с котла сдернул. А там… лед.

…Кто хохочет, кто ругается. Маремьяна-государыня больше всех пасть дерет.

Полковник на коня да в деревню к Шишову дому. А в доме ни души и на дверях замок.

Погоня к соседям:

— Где Шиша искать?

— Да ведь он больше в городе проживает.

В городе искали, искали — не могли найти.

В первом адресном столе справились:

— Такой-то, Шиш Московский значится?

— Значится. Угол Сливочной и Колбасной, а дому номер красный.

— Тьфу!

Пошли во второй адресный стол:

— Шиш Московский прописан?

— Прописан. Гостиница Эрмитаж, второй этаж, форточка номер первый.

Шишов разум всех перешиб!

Всех Шишовых дел в неделю не пересказать.

Про него говорить — голова заболит. Про Шиша теперь уж и собаки лают.

Шишовы напасти

Жили в соседях Шиш Московский да купец. Шиш отроду голой, у его двор полой, скота не было и запирать некого. Изба большая — на первом

венце порог, на втором — потолок, окна и двери буравчиком провернуты. Сидеть в избе нельзя, да глядеть на ей гоже! Шиш в эдако окошечко глаз впялит да и любуется.

Именья у Шиша — для штей деревянный горшок да с табаком свиной рожок. Были липовых два котла, да сгорели дотла.

Зато у купчины домина! Курицы на крышу летают, с неба звезды хватают. Я раз вышел в утрях на крыльцо, а петух полмесяца в зубах волочит.

У купца свинья живет,
двести пудов сала под шкурой несет
да пудов пятьдесят соли в придачу.
Все равно – совру наудачу —
и так никто не поверит…
У купца соха в поле сама о себе
пашет,
а годовалый ребенок мельничный
жернов с ладошки на ладошку машет.
А две борзых суки мельницу
на гору тянут,
а кляча ихну работу хвалит, себе
на спину

мельницу валит, кряхтит да меня ругает.
– Мне, – говорит, – твое вранье досаждает!
Всего надобно впору,
а ты наплел целу гору!

Это, светы мои, присказка, а дело впереди.

Пришла зима, а дров у Шиша ни полена, и притянуть не на чем. Пришел к купцу, конается:

— Не дайте ли коняшки в лес съездить?

Купец покуражился немного, однако лошадь отпустил.

— Бери, пейте мою кровь, летом отработаешь. Чувствуй, что я отец и благодетель. Что ише мнессе?

— Хомута, пожалста, не соблаговолите ли ише хомута?

— Тебе хомута?! А лаковой кореты ише не надо? А плюшево одеяло ножки накрыть не прикажете-с?

Так и не дал хомута.

Шиш привел кобылу домой, вытащил худы санишки о трех копылишках и поехал в лес. Нарубил дров, наклал большашшой воз, привязал кобыле за хвост да как зыкнет… Лошадь сгоряча

хватила да себе хвост и оборвала. Сревел Шишанко нехорошим голосом, да нечего делать!

Повел кобылу к хозяину:

— Вот получите лошадку. Покорнейше благодарим-с!

Купец и увидел, что хвоста нет:

— Лошадку привел? Иде она, лошадка?

— Вот-с, извиняюсь…

— Это, по-вашему, лошадка? А я думал — зайчик, без фоста дак… Только и у зайчика намечен известной фостик, а тут фостика нет… Может, это ведьмедь?! Но мы ведьмедев боимся!..

В суд, в город, того же дня поташшил купец Шиша.

Надо идти по мосту. Железнодорожный мост матерушшой через реку. Ползет бедной Шишанушко, а у его дума думу побиват:

«Засудят… Сгноят в остроге… Лучше мне скорополучно скончачче, стукнучче об лед да…»

Разбежался, бедняга, да и ухнул вниз, через перила… А под мостом по льдю была дорога. И некоторой молодой человек на ту пору с отцом проезжал. Шишанко в окурат в сани к им и угодил да на один взмах отца-то до смерти и зашиб…

Несчастной сын сгреб Шиша — да тоже в суд.

Тут кряду стемнело, до городу неблизко, приво-

ротили и Шиш, и купец, и парень на постоялой, ночь перележать. Наш бедняга затянулся на полати. Ночью ему не спится, думы тяжелы… Ворочался да с полатей-то и оборвался. А под полатеми зыбка с хозяйским робенком. Робенка Шиш и задавил. Робенковы родители зажили, запели. И они на Шиша в суд. Теперь трое на его ногти грызут. Один за коня, другой за отца, третий за младеня.

Едет Шиш на суд. Грустно ему:

— Прости-прошшай, белой свет! Прошшайте, все мои друзья! Боле не видачче!

Не знат, что и придумать, чем оправдаться или чем пригрозить… На случай взял да и вывернул из шассе булыжник. Завернул в плат и спрятал за пазуху.

У судьи в приказе крык поднялся до потолка. Купец вылез, свое россказыват, в аду бедному Шишу места не дает…

Судья выслушал, зарычал на Шиша:

— Ты что, сопляк?! По какому полному праву хвост у их оторвал?

Шишанко вынул из-за пазухи камень в платке да на ладони и прикинул два-три раза. Судье и пало на ум: «Ух, золота кусок у мужика!.. Это он мне золото сулит…»

И говорит:

— Какой несимпатичный факт!.. Выдернуть у невинной животной фост… Ваше дело право, осподин купец! Пушшай оной Шиш Московской возьмет себе вашую кобылу и держит ее, докуль у ей фост выростет… Секлетарь, поставь печать! Купец и ты, Шиш Московской, получите копии решения.

Подкатился отецкой сын. Судья спрашивает:

— Ты пошто ревишь? На кого просишь?

— Все на их жа, на Шиша-с! Как они, проклятики, папу у меня скоропостыжно задавили.

— Как так?

— У нас, видите ли, папа были утлы, стары, в дело не гожи, дак мы везли их в город на комиссию сдавать. И токмо из-под мосту выехали, а они, дьявола, внезапно сверху пали на папу, папа под има скоропостыжно и скончались!

Судья брови насупил:

— Ты что это, Шиш голай? Родителей у проезжающих давить? Я тебя…

Шишанко опять камень в платке перед судьей и заподкидывал. Судья так понял, что опять золото сулят.

И говорит:

— Да! Какой бандитизм! Сегодня папу задавил,

завтра маму, послезавтра опять папу… Дак это что будет?! Опосле таких фактов из квартиры вытти страшно… Вот по статьям закона мое решенье: как ты, Шиш Московской, ихного папу кокнул, дак поди чичас под тот самой мост и стань под мостом ракообразно, а вы, молодой человек, так как ваше дело право, подымитесь на мост да и скачите на Шиша с моста, пока не убьете. Секлетарь поставит вам печать… Получите…

Безутешный отец выскочил перед судью:

— Осподин судья, дозвольте всесторонне осветить… Оной злодей унистожил дитятю. Ехал-ехал на полатях, дале грянул с вышины, не знай с какой целью, зыбку — в шшепы и, конечно, дитятю.

Шиш затужил, а платок с камнем судье кажет.

Судья ему мигат — понимаю-де, чувствую…

И говорит:

— Этот Шиш придумал истреблять население через наскакивание с возвышенных предметов, как то: мостов, полатей и т. п. Вот какой новой Жек Патрушитель! Однако Хемида не спит! Потерпевший, у тя жена молода?

— Молода, всем на завидось она!

— Дак вот, ежели один робенок из-за Шиша погиб, дак обязан оной Шиш другого представить,

не хуже первого. Отправь свою молодку к Шишу, докуль нового младеня не представят… Секлетарь, ставь печати! Обжалованию не подлежит. Присутствие кончено.

Шишовы истцы стали открыто протестовать матом, но их свицары удалили на воздух.

Шиш говорит купцу:

— Согласно судебного постановления дозвольте предъявить лошадку нам в пользование.

— Получи, гадюга, сотню и замолкни навеки!

— Не жалаю замолкать! Жалаю по закону!

— Шишанушко, возьми двести! Лошадка своерошшена.

— Давай четыреста!

Поладили.

Шиш взялся за отецкого сына:

— Ну теперь ты, рева Киселева! Айда под мост! Я на льдю встану короушкой, на четыре кости значит, а ты падай сверху, меня убивай…

— Братишка, помиримся!

— Желаю согласно вынесенного приговора!

— Голубчик, помиримся! На тебя-то падать с экой вышины — не знай, попадешь, нет. А сам-то зашибусе. Возьми, чем хошь. Мне своя жисть дороже.

— Давай коня с санями, которы из-под папы, дак

и не обидно. Я папу в придачу помяну за упокой.

Сладились и с этим.

Шиш за третьего взялся:

— Ну, ты сегодня же присылай молодку!

— Как хошь, друг! Возьми отступного! Ведь я бабу тебе на подержанье дам, дак меня кругом осмеют.

— Ты богатой, у тебя двор постоялой, с тебя пятьсот золотыми…

Плачет, да платит. Жена дороже.

Только все разошлись, из суда выкатился приказной — и к Шишу:

— Давай скоре!

— Что давай?

— Золото давай скоре, судья домой торопится.

— Како золото, язи рыба?!

— А которо из-за пазухи казал…

— Вы что, сбесились? Откуль у меня быть золоту? Это я камнем судьи грозил, что, мол… так — да так, а нет — намеки излишны. Пониме?

Приказного как ветром унесло. Судье докладыват Шишовы слова… Тот прослезился:

— Слава тебе, осподи, слава тебе! Надоумил ты меня сохраниться от злодея!

Куричья слепота

Недалеко от Шишова дома деревня была. И была у богатого мужика девка. Из-за куриной слепоты вечерами ничего не видела. Как сумерки, так на печь, а замуж надо. Нарядится, у окна сидит, рожу продает.

Шиш сдумал над ней подшутить.

Как-то, уж снежок выпал, девка вышла на крыльцо.

Шиш к ней:

— Жаланнушка, здравствуй.

Та закланялась, запохохатывала.

— Красавушка, ты за меня замуж не идешь ли?

— Гы-гы. Иду.

— Я, как стемнеет, приеду за тобой. Ты никому не сказывай смотри.

Вечером девка услыхала — полоз скрипнул, ссыпалась с печки. В сенях навертела на себя одежи — да к Шишу в сани. Никто не видал.

Шиш конька стегнул — и давай крутить вокруг девкиного же дома. Она думает: ух, далеко уехала!

А Шиш подъехал к ее же крыльцу:

— Вылезай, виноградинка, приехали. Заходи

в избу.

— Да я не знай, как к вам затти-то. Вечером так себе вижу.

— У нас все как у вас. И крыльцо тако, и сени… Заходи — да на печь, а я коня обряжу.

Невеста с коня, а Шиш дернул вожжами — да домой.

А девка на крыльцо, в сени, к печи… На! — все как дома…

Сидит на печи. Рада, ухмыляется. Только думает: «Что же мужня-то родня? По избе ходят, говорят, а со мной не здороваются…»

Домашние на нее тоже поглядывают:

— Что это у нас девка-то сегодня как именинница?..

А она и спать захотела. Давай зевать во весь рот:

— Хх-ай да бай! Хх-ай да бай! Вы что молчите? Я за вашего-то парня замуж вышла, а вы, дики, ничего и не знаете?!

Отец и рот раскрыл.

— Говорил я тебе, старуха, — купи девке крес, а то привяжется к ней бес!..

Шиш и трактирщица

По свету гуляючи, забрел Шиш в трактир пообедать, а трактирщица такая вредня была, видит: человек бедно одет — и отказала:

— Ничего нет, не готовлено. Один хлеб да вода.

Шиш и тому рад:

— Ну хлебца подайте с водичкой.

Сидит Шиш, корочку в воде помакивает да посасывает. А у хозяйки в печи на сковороде гусь был жареный. И одумала толстуха посмеяться над голодным прохожим.

— Ты, — говорит, — молодой человек, везде, чай, бывал, много народу видал, не захаживал ли ты в Печной уезд, в село Сковородкино, не знавал ли господина Гусева-Жареного?

Шиш смекнул, в чем дело, и говорит:

— Вот доем корочку, тотчас вспомню…

В это время кто-то на хорошем коне приворотил к трактиру. Хозяйка выскочила на крыльцо, а Шиш к печке; открыл заслонку, сдернул гуся со сковороды, спрятал его в свою сумку, сунул на сковороду лапоть и ждет…

Хозяйка заходит в избу с проезжающим и снова трунит над Шишом:

— Ну что, рыжий, знавал Гусева-Жареного?

Шиш отвечает:

— Знавал, хозяюшка. Только он теперь не в Печном уезде, село Сковородкино, живет, а в Сумкино-Заплечное переехал.

Вскинул Шиш сумку на плечо и укатил с гусем.

Трактирщица говорит гостю:

— Вот дурак мужик! Я ему про гуся загадала, а он ничего-то не понял… Проходите, сударь, за стол. Для благородного господина у меня жаркое найдется.

Полезла в печь, а на сковороде-то… лапоть!

Шиш приходит учиться

Шиш бутошников-рогатошников миновал, вылез на площадь. Поставлены полаты на семи дворах. Посовался туда-сюда. Спросил:

— Тут ума прибавляют?

— Тут.

— Сюда как принимают?

— Экзамен сдай. Эвон-де учителевы избы!

Шиш зашел, котора ближе. Подал учителю рубль.

Учитель — очки на носу, перо за ухом, тетради в руках — вопросил строго:

— Чего ради семо прииде?

— Учиться в грамоту.

— Вечеру сушу упразднюся, тогда сотворю тебе испытание.

После ужина учитель с Шишом забрались на полати.

Учитель говорит:

— Любезное чадо! Грабисся ты за науку. А в силах побои терпеть? Без плюхи ученье не довлеет. Имам тя вопрошати, елика во ответах соврешь, дран будешь много. Обаче ответствуй, что сие: лапкой моется, на полу сидяще?

— Кошка!

Учитель р-раз Шиша по шее…

— Кошка — мужицким просторечием. Аллегорически глаголем — чистота… Рцы паки, что будет сей свет в пещи?

— Огонь!

Р-раз Шишу по уху:

— Огонь глаголется низким штилем. Аллегорически же — светлота. А како наречеши место, на нем же возлегохом?

Шиш жалобно:

— Пола-ати.

Р-раз Шиша по шее:

— Оле, грубословия твоего! Не полати, но вы-

сота!.. На конце восписуй вещь в сосуде, ушат именуемом.

— Вода.

Р-раз Шиша по уху:

— Не вода, но — благодать!

Я тут не был, не считал, сколько оплеух Шиш за ночь насобирал. Утром учитель на улку вышел, Шиш кошку поймал, ей на хвост бумаги навязал, бумагу зажег. Кошка на полати вспорхнула, на полатях окутка зашаяла, дыму до потолка… Шиш на крыльцо выскочил. Хозяин гряду поливат. Шиш и заревел не по-хорошему:

— Учителю премудре! Твоя-то чистота схватила светлоту, занесла на высоту, неси благодать, а то ничего не видать!!!

Сам ходу задал — горите вы с экой наукой!

Летняя сказка про Шиша, как он в рифмы играл

Однажды Шиш по своим делам в город пошел. Дело было летом, жарко. Впереди едет дядька на лошади. Шиш устал, ему хочется на лошадке подъехать. Он и кричит этому дядьке:

— Здравствуйте, Какойто Какойтович!

Дядька не расслышал, как его назвали, но толь-

ко понял, что по имени и отчеству. Он и кричит Шишу:

— Здравствуйте, молодой человек.

А Шиш опять:

— Как супруга ваша поживает, как деточки?

Дядька говорит:

— Благодарим вас, хорошо живут. А если вы знакомый, так присаживайтесь на телегу, подвезу вас.

Шишу то и надо, сел рядом с дядькой. А Шиш молча сидеть не может. Он только тогда молчит, когда спит.

Он говорит:

— Дяденька, давайте играть в рифмы.

— Это что такое — рифмы?

— А давайте так говорить, чтоб складно было.

— Давай.

— Вот, дяденька, как твоего папашу звали?

— Моего папашу звали Кузьма.

Шиш говорит:

– Я твоего Кузьму
За бороду возьму!..

Дядька говорит:

— Это зачем же ты моего папашу за бороду брать будешь?

Шиш говорит:

— Это, дяденька, для рифмы. Ты скажи, как твоего дедушку звали.

— Моего дедушку звали Иван.

Шиш говорит:

– Твой дедушка Иван
Посадил кошку в карман.
Кошка плачет и рыдает,
Твово дедушку ругает.

Дядька разгорячился:

— Это зачем мой дедушка будет кошку в карман сажать? Ты зачем такие пустяки прибираешь?

— Это, дяденька, для рифмы.

— Я вот тебе скажу рифму. Тебя как зовут?

— Меня зовут… Федя.

Дядька говорит:

– Если ты Федя,
То поймай в лесу медведя.
На медведе поезжай,
А с моей лошади слезай!

— Дяденька, я пошутил. Меня зовут не Федя, а Степан.

Дядька говорит:

– Если ты Степан,

Садись на аэроплан.

На аэроплане и летай,

А с моей лошади слезай!

— Дяденька, это я пошутил. Меня зовут не Степан, а… Силантий.

Дядька говорит:

– Если ты Силантий,

То с моей лошади слезантий!

— Что ты, дяденька, такого и слова нет — «слезантий».

— Хотя и нет, все равно слезай!

Шишу и пришлось слезть с телеги. Так ему и надо. Если тебя добрый человек везет на лошадке, ты сиди молча, а не придумывай всяких пустяков.

Праздник Окатка

Смолоду-то не все же гладко было у Шиша. Ну, беды мучат, да уму учат. Годов-то двадцати пришвартовался он к некоторой мужней жене. Муж из дома — Шишанко в дом.

Собрался этот муж в лес по бревна.

— Жена, с собой чего перекусить нет ли?

Она сунула корок сухих.

— Жена, неужели хлеба нету помягче, с маслицем бы?

— Ладно и так. Не маслена неделя.

Муж уехал, а к ней Шишанушко в гости. Засуетилась, блинов напекла гору, масла налила море, щей сварила.

А у мужа колесо по дороге лопнуло, он сторонился домой. Жена видит в окно:

— О, беда! Мой-то хрен без беды не ездит. Ягодка, ты залезь в кадку, она пустая… Он скоро колесо сменит…

Муж заходит:

— Колесо сменить вернулся… Ишь как у тебя дородно пахнет. Дай закусить.

Жена плеснула щей.

— Я блинка любил бы…

— Блины к празднику.

Взяла миску с блинами и выпружила в кадку спрятанному Шишу.

— Жена! Ты что?!

— Сегодня праздник Окатка — валят блины в кадку…

Муж и догадался. Схватил чугун со щами:

— Жена, ты блины, а я для праздника, для Окат-

ка, щей не пожалею.

И чохнул горячими щами в кадку.

Шишанко выгалил оттуда на сажень кверху — да из избы…

Бочка

В каком-то городе обзадорилась на Шиша опять мужня жена. Одним крыльцом благоверного проводит, другим Шиша запустит.

Однажды муж негаданно и воротился. Куда друга девать?

А в избе бочка лежит. Туда Шиш и спрятался, да только сапоги на виду.

Муж входит — видит сапоги…

— Жена, это что?!

— А вот пришел какой-то бочку нашу покупать, залез посмотреть, нет ли щелей… Продадим ему, нам бочка без пользы… Эй, молодец! Ежели высмотрел, вылезай, сторгуйся с хозяином!

Муж не только что бочку продал, а и до постоялого двора домой нести Шишу пособил…

Шти

Одна Шишова любушка крепко его к другой ревновала. Бранить не бранила, а однажды с горя шуточку придумала.

Поставила ему шти с огня, кипячие.

Да забылась, хлебнула поваренку на пробу и рот обварила. Не стерпела — заревела.

Шиш дивится:

— Ты чего? Обожглась?

А эта баба крепка была:

— Не обожглась, а эдаки шти маменька-покоенка любила. Как сварю, так и плачу…

А Шишу в путь пора. Ложку полну хватил и… затряс руками, из глаз слезы побежали.

Ехидна подружка будто не понимат:

— Что ты, желанный? Неуж заварился?

— Нет, не заварился, а как подумаю, что у такой хорошей женщины, как твоя была маменька, така дочка подла, как ты, дак слезы ручьем!

Тили-тили

Какой-то день прибежали к Шишу из волости:

— Ступай скоре. Негрянин ли, галанец приехал, тебе велено при их состоять.

Оказалось, аглицкой мистер, знающий по-русски, путешествует по уезду, записывает народные обычаи и Шишу надо его сопровождать. На Шише у всех клином свет сошелся.

Отправились по деревням. Мистер открыл тетрадку:

— Говорите теперь однажды!

Шиш крякнул:

— Наш первой обычай: ежели двоим по дороге и коняшку нанять жадничают, дак все одно пеши не идут, а везут друг друга попеременно.

Мистер говорит:

— Ол райт! Во-первых, будете лошадка вы. Я буду смотреть на часы, скажу «стоп».

— У нас не по часам, у нас по песням. Вот сядете вы на меня и запоете. Доколь поете, я вас везу. Кончили — я на вас еду, свое играю.

Стал Шишанушко на карачки. Забрался на него мистер верхом, заверещал на своем языке песню: «Длинен путь до Типперери…» Едут. Как бедной Шиш не сломался. Седок-то поперек шире. Долго рявкал. Шиш из-под него мокрехонек вывернулся. Теперь он порхнул мистеру на загривок.

— Эй, вали, кургузка, недалеко до Курска, семь

верст проехали, семьсот осталось!

Заперебирал мистер руками-ногами, а Шиш запел:

Тили-тили,

Тили-тили,

Тили-тили!..

... ...

Мистер и полчаса гребет, а Шишанко все нежным голосом:

Тили-тили,

Тили-тили,

Тили-тили!..

... ...

У мистера три пота сошло. Кряхтит, пыхтит... На конце прохрипел:

— Вы будете иметь окончание однажды?

Шиш в ответ:

— Да ведь песни-то наши... протяжны, проголосны, задушевны!

Тили-тили,

Тили-тили,

Тили-тили!..

… … … …

Бедный мистер потопал еще четверть часика да и повалился — где рука, где нога:

— Ваши тили-тили меня с ног свалили!

Шиш пошучивает у царя

Всех Шишовых дел в неделю не пересказать. Про Шиша говорить — голова заболит. Про Шиша уж и собаки лают. Здесь я от большого мало возьму, от многа немножко расскажу.

Ходил Шиш, сапоги топтал, версты мерил. Надоело по деревням шляться. В город справил. Чья слава лежит, а Шишова вперед бежит. Где Шиш, там народу табун.

Это увидал из окна император:

— Что за народ скопивши?

— Это парнишка один публику утешает-с.

— Не Шиш ли?

— Так точно-с.

— Позвать сюда!

Шиша привели. Царь сразу над ним начал сгогатывать:

— Ты в татку ле в матку, в кого ты экой? Сшути-ко мне шутку позазвонисте. Выкради из-под

меня да из-под моей супруги перину. Выполнишь задание — произведу тебя в жандармерию и твой патрет — во все газеты. Сплошаешь — в Сибири сгною!..

Только Шиш за двери — император своим караульщикам ружья выдал:

— Мы с Шишом Московским об заклад побились. Перину из-под меня придет воровать. Спальну нашу караульте день и ночь!

Шиш выбрал ночку потемнее и в щель дворцового забора стал охрану высматривать. Видит — дремлют под спальными окнами, вора ждут. Людей бы на ум, а Шиша на дело.

Он дунул на огороды, выдернул с гряды пугало, опять к тому же забору примостился, вызнял пугало кверху — и ну натряхивать…

Это караульщики и увидали:

— Ребята, не робей! Вор пришел! Через тын лезет…

— Рота-а, пли!!!

Шиш того сразу пугало удернул. Будто убили.

А стража радехонька:

— Ну, ребята, мертвое тело оттуль завтра уберем. А теперь на боковую. Боле некого ждать.

Только они восвояси утянулись, Шиш через забор да в поварню. Стряпки спят. На печи в горшке

тесто подымается, пузырится. Шиш с этой опарой да в царскую спальню окном.

Царь с царицей на перине почивают. Царь истолста храпит, царица тихонько носом выводит…

Шиш на перстышках подкрался да как ухнет им опару ту под бок…

Сам с подоконника — и в кусты…

Вот царица прохватилась:

— О-о, тошнехонько! Вставай-ка ты, омморок!.. Эво как обделался! Меня-то всю умарал!

— Нет, гангрена! Это ты настряпала!..

До третьих петухов содомили. Тут царица одумалась:

— Давай лучше выкинем перину-то на подоконник, на ветерок, а сами соснем еще часиков восемь.

Только они музыку свою завели — захрапели, Шиш перину в охапку да со двора. На извозчика да домой.

Навстречу бабы-молочницы:

— Шиш, куда полетел?

— У нас дома не здорово! Таракан с печи свалился.

Царица рано вскочила:

— Что я, одичала — сплю! Министры перину увидят — по всей империи ославят… На!!! Где перина-та???

Фрелины Машки, Дашки забегали, заискали.

Царя разбудили… Его и горе берет, и смех долит.

— Полковник! Запрягай коня, скачи к Шишу. Он меня в дураках оставил… Ох, в землю бы я лег да укрылся!..

Полковник на добра коня — да пулей в деревню, к Шишову дому. Не поспел наш Шишанушко увернуться. Начальство на дворе.

Людей бы на ум, а Шиша на дело. Он в клеть, достал бабкин наряд: сарафан, жемчужную повязку, ленты — накрутился и — в горницы. Полковник там. Видит — девица заходит, личиком бела и с очей весела.

Шпорами брякнул:

— Вы… видно, сестра?

— Да… сестра Шишова…

Забыл полковник, зачем приехал. Около этой сестры похаживает, похохатывает. Шиш думает — пронеси бог тучу мороком…

— Вы бы по лесу его, прохвоста, искали…

— Хе-хе-хе! Мне и тут приятно-с!

Шиш бутылку откупорил: «Напьется пьян —

убежу...»

А тот охмелел, хуже стал припадать:

— Желаю с вами немедленно законным браком.

О, куда от этого жениха деться?..

На шаг не отпускает. Сиди рядом. Стемнело.

Полковник велит постель стлать. Попал гвоздь под молот. Над другими Шиш шуточки шутит, а над собой их не любит.

Только у Шиша уверток — что в лесу поверток. Он давай руками сарафан ухлапывать.

— О, живот схватило! О, беда! На минутку выпустите меня...

— Убежишь?

— Что вы, у нас рядом! Вы даже для верности подол в дверях зажмите.

Полковник выпустил эту невесту в сени, а подолёшко в притвор. Сидит ждет.

Шиш того разу из сарафана вывернулся да вместо себя козу и впряг в эти наряды. Сам шубенку на плечи, шапку на голову, котомку в руки — да и... поминай как звали.

Полковник слышит — коза у дверей топчется, думает — невеста:

— Милочка, ты что долго?

— Б-э-э-э!

…Двери размахнул, а в избу коза в сарафане. Полковник через нее кубарем — да на коня, да в город. Потом год на теплых водах от родимца лечился.

Шиш показывает барину нужду

Зима была лютая. Выскочил Шиш однажды на улицу, выдернул жердь из огороды и стал рубить. А мимо проезжают барин с барыней на тройке:

— Эй, мужик! Зачем забор на дрова рубишь?

— Не я рублю — нужда рубит!

— Что значит нужда?

— Неужто нужды не видали?

— А она что, где?

— Где? В чистом поле, под горкой.

— Мы желаем посмотреть. Проводи нас туда заместо прогулки.

Люди бы за ум, а Шиш за дело.

Уселся в господские сани и поехал в чисто поле.

Ехал, ехал, дале надоело.

Остановил коней:

— Дальше конями не проедешь. Ежели угодно, полем пройдитесь пешком. Нужда — она вон где: вправо, четвёрта горочка слева, куда галка

полетела…

Господа из саней вылезают:

— Эй, мужик! Мы прогуляемся туда, а ты покарауль тройку.

— Пожалста.

Вот и полезли барин с барыней по снегу. К горке подойдут, другу́ завидят, эту осмотрят, вдали четвёрта блазнит. А нужды этой кабыть не сидит нигде…

Ну, они бродят, а Шиш свое дело правит. Тройку выпряг, на коренника[84] сел да с конями в свою деревню ускакал. Сани в поле на дороге покинул.

А барин с барыней бродят по колено в снегу да по пояс ныряют. Умаялись, упы'хались. К вечеру еле-еле по старым своим следам на дорогу к саням выгреблись.

Сани-то на месте, а лошадей нет.

И поругались, и поплакали… Вот где нужда-та!

Барин говорит:

— Придется вот что: ты за одну оглоблю возьмись, а я за другую. Так и повезем сани!

Барыня не слушает:

— Ни за какую оглоблю я браться не намерена!

---

[84] Notes: 84

Коренни'к — в тройке коренной конь в оглобле.

Хочешь, так впрягайся, а я, в крайнем случае, сбоку, впристяжку.

Делать нечего, впрягся барин в корень, а барыня впристяжку. Поволокли сани. Подвезут да отдохнут, подъедут да посидят.

Заблудилися в великих снегах.

Очень хорошо они теперь нужду узнали!

Шиш-сказочник

Вот вы сказки любите, а Шишу однажды из-за сказок беда пришла. Дело было осенью, время к ночи, и дождь идет. По дороге деревня. Надо где-то переночевать. Шиш в один дом постучался — не открывают. В другой дом поколотился — не пускают. Шиш в третью избу стучится:

— Пустите ночь переночевать!

Хозяин говорит:

— А ты сказки сказывать мастер?

Шиш говорит:

— Слыхал маленько.

Хозяин говорит:

— Маленько нам ни к чему. А если разговору на всю ночь хватит, тогда заходи. А нет — до свиданья.

Шишу деваться некуда. Зашел в избу. Хозяин

постелился на лавке; хозяйка залезла на печку, работник ихний на полу. А Шишу, извольте радоваться, поставили середи избы стул — сиди рассказывай всю ночь…

Мы бы с вами загоревали, а Шиш деловой человек. Он говорит:

— Ладно, буду сказывать всю ночь, только под таким условием: кто меня хотя одним словом перебьет, тому и сказку дальше говорить. Согласны?

Все ответили:

— Согласны, согласны!

Шиш начал:

— Как у вас на селе мужики поголовно все дураки… Как у вас на селе мужики поголовно все дураки… Как у вас на селе мужики поголовно все дураки…

Говорил, говорил — раз двести это слово повторил. Хозяин терпел-терпел, далее разгорячился:

— Невежа ты, невежа! Я тебя ночевать пустил, а ты нас дураками называешь!

Шиш говорит:

— Хозяин, ты меня перебил, тебе и сказку дальше говорить.

Хозяин начал сказку:

— Чур, не перебивать… Дурак будет тот, кто

тебя ночевать пустит, а я тебя никогда не пущу… Дурак будет тот, кто тебя ночевать пустит, а я тебя никогда не пущу… Дурак будет тот, кто тебя ночевать пустит, а я тебя никогда не пущу…

Говорил, говорил — раз двести эту речь повторил.

Хозяйка на печи разбудилась, заругалась:

— Беда с вашими сказками! Ночью спокою нету…

Хозяин за жену сграбился[85]:

— Ты меня перебила, тебе и сказку говорить.

Не могла старуха отдуться[86], сказку заговорила:

— Каков хозяин дурак, такого и ночлежника пустил… Каков хозяин дурак, такого и ночлежника пустил… Каков хозяин дурак, такого и ночлежника пустил…

Говорила, говорила — раз сотню это слово повторила.

Работник на полу разбудился, забранился:

— День на вас работай и ночью от вас спокою нету!..

Хозяйка на него мухой пала:

---

[85] Notes: 85

Сграбиться — вцепиться во что-то, ухватиться за что-то с жадностью.

[86] Notes: 86

Отдуться — здесь: отделаться, отговориться.

— Ты меня перебил, тебе и сказку говорить.

Работник сказку заговорил:

— Как не спали мы с вечера, так не спать нам и до свету: скоро надо на работу идти… Как не спали мы с вечера, так не спать нам и до свету: скоро надо на работу идти… Как не спали мы с вечера, так не спать нам и до свету: скоро надо на работу идти…

До рассвета работник это слово говорил.

Шиш заметил, что в оконцах утро синеет, светло стало, схватил шапку да бегом из этого дома. Часа два без оглядки бежал. Долго потом сказок не рассказывал.

Золоченые лбы[87]

На веках невкотором осударсьве царь да ише другой мужичонко исполу промышляли. И поначалу все было добрым порядком. Вместях по рыболовным становищам болтаются, где кака питва идет, тут уж они первым бесом.

Царь за рюмку, мужик за стокан. Мужичонка на имя звали Капитон. Он и на квартире стоял от царя рядом.

Осенью домой с моря воротяцца, и сейчас царь по гостям с визитами заходит, по главным начальникам. Этот Капитонко и повадился с царем ходить. Его величию и не по нраву стало. Конешно, это не принято.

Оногды амператора созвали ко главному сенатору на панкет. Большой стол идет: питье, еда, фрелины песни играют. Осударь в большом углу красуется. В одной ручки у его четвертна, другой рукой фрелину зачалил. Корона съехала на ухо,

---

[87] Notes: 87

Впервые опубликовано в сборнике: О. Э. Озаровская. Пятиречие (Л.: Издательство писателей, 1931). Переиздано в сборниках «Архангельские новеллы» (М.: Советский писатель, 1936), «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. *–Примеч. ред.*

мундер снят, сидит в одном жилету. Рад и тому, бажоной, што приятеля нету.

Вот пир к концу заприходил. Царицы Аграфены пуще всех в голову вином ударило. И как только ейной адъютан в гармонь заиграл, она вылезла середка залы и заходила с платочком, запритаптывала:

Эх, я стояла у поленницы, у дров.
По угору едет Ваня Королев.
Отчего далеко видела:
От часов цепочка светила.
Цепочка светила в четыре кольчика,
У милого нету колокольчика.
У милого коробок, коробок,
Я гуляю скоро год, скоро год!

Сенаторы, которы потрезве, смеются:

— Хы-хы! При муже хахаля припеват. Вот до чего — и то ничего.

И вдруг это веселье нарушилось. Капитонко в залу ворвался, всех лакеев распехал, увидал, что царица Аграфена утушкой ходит, сейчас подлетел, ногами шарконул и заходил круг ей вприсядку, с прискоком, с присвистом. Песню припеват:

Разве нищие не пляшут?

Разве песен не поют?

Разве по миру не ходят?

Разве им не подают?

А у самого калошишки на босу ногу, у пинжачонка рукав оторван, карманы вывернуты. Под левым глазом синяк. И весь Капитон пьяне вина. Царь немножко-то соображает. Как стукнет по столу да как рявкнет:

— Вон, пьяна харя! Убрать его!

Капитонко царя услыхал, обрадовался, здороваться лезет, целоваться:

— На, пес с тобой, ты вото где? А я с ног сбился, тебя по трактирам, по пивным искавши!

Придворны гости захикали, заощерялись. Это царю неприлично:

— Кисла ты шерсь! Ну куда ты мостиссе?! Кака я те, пьянице, пара? Поди выспись.

Капитонку это не обидно ли?

— Не ты, тиран, напоил! Не тебя, вампира, и слушаю! Возьму батог потяжеле, всех разбросаю, кого не залюблю!

Брани — дак хоть потолоком полезай. Царь с Капитоном драцца снялись. Одежонку привали, корону под комод закатили. Дале полиция их

розняла, протокол составили.

С той поры Капитона да амператора и совет не забрал. И дружба врозь. Мужичонко, где царя увидат, все стращат:

— Погоди, навернессе ты на меня. Тогда увидам, которой которого наиграт.

Судятся они друг со другом из-за кажного пустяка. Доносят один на другого. Чуть у царя двор не убрали или помойну яму закастили, мужичонко сейчас ко квартальному с ябедой.

Вот раз царь стоит у окна и видит: Капитонко крадется по своему двору (он рядом жил) и часы серебряны в дрова прятат. Уж верно крадены.

Царь обрадовался:

— Ладно, зазуба! Я тебе напряду на кривое-то веретено.

Сейчас в полицию записку. У мужика часы нашли — и самого в кутузку. Он с недельку отсидел, домой воротился. И даже супу не идет хлебать, все думат, на царя сердце несет. Вот и придумал.

У царя семья така глупа была — и жена, и дочки, и маменька. Цельной день по окнам пялятся, кивают, кавалерам мигают, машут. Царь их никуда без себя не пускат в гости. Запоежжат на войну ли, на промысел — сейчас всех в верхней этаж созбират и на замок закроет.

А в окурат тот год, как промеж царем да Капитонком остуда пала, в царсьве свекла не родилась и сахара не стало. Капитонко и придумал. Он в короб сору навалил, сверху сахаром посыпал да мимо царской дворец и лезет, пыхтит, тяжело несет… Царские маньки да ваньки выскочили:

— Эй, мужичок! Откуда эстольку сахару?

— На! Разве не слыхали? Заграничны пароходы за Пустым островом стоят, всем желающим отсыпают.

Ваньки-маньки к царю. Царь забегал, зараспоряжался:

— Эй, лодку обряжай! Мешки под сахар налаживай!

Аграфена с дочкой губы надувают:

— Опять дома сидеть… Выдал бы хоть по полтиннику на тино, в тиматограф сходить. Дома скука, вот так скука дома!

Царь не слушат:

— Скука? Ах вы лошади, кобылы вы! Взяли бы да самоварчик согрели, грамофон завели да… пол бы вымыли.

Вот царь замкнул их в верхнем этажу, ключ в контору сдал, мешки под сахар в лодку погрузили и, конешно, пива ящик на свою потребу. Паруса открыли и побежали за Пустые острова. С царем

свиты мужика четыре. Провожающий народ на пристани остался. Все узнали, што царь по сахар кинулся. Капитонко украулил, што царя нету, сейчас модной сертук напрокат взял, брюки клеш, камаши с калошами, кепку, заместо бороды метлу, штобы не узнали. Потом туес полон смолы, пеку черного налил, на голову сдынул, идет по городу да вопит:

— Нет ли лбов золотить?! А вот кому лоб золотить?

К царскому дворцу подошел да как вякнет это слово:

— А нет ли лбов золотить?!

Царева семеюшка были модницы. Оне из окна выпехались, выпасть рады.

— Жалам, мы жалам лбов золотить! Только ты, верно, дорого спросишь?

— По причине вашей выдающей красоты отремонтируем бесплатно. К вам которой затти?

— Мы сидим замчёны и гостей к себе на канате, на блочку подымам.

Вот они зыбочку спустили, тот примостился:

— Полный ход!

У Аграфены силы не хватат. Мужик тяжолой, да смолы полпуда. Аграфена девку да матку кликнула. Троима за канат ухватились, дубинушку

запели:

Эх, што ты, свая наша, стала!
Эх, да закапершика не стало!
Эй, дубинушка, ухнем!
Эй, зеленая, сама пойдет!

Затянули Капитона. На диван пали, еле дышут:

— Первой экой тяжелой мужик. Вы откулешны будете, мастер?

— Мы европейских городов. Прошлом годе англиску королеву золотом прокрывали, дак нам за услуги деплом из своих рук и двухтрубной мимоносец для доставки на родину. Опеть французскому президену, извините, плешь золотили.

— А право есь?

Капитонко им стару облигацию показыват, оне неграмотны, думают — деплом.

— А, очень приятно. Этого золота можно посмотреть?

— Никак нельзя. Сейчас в глазах ослепление и прочее. Во избежание этого случая, докамест крашу и полирую, глаз не отворять. Пока не просохнете, друг на дружку не глядеть и зеркало не шевелить.

Царицы жалко стало золота на бабку:

— Маменька-та стара порато, уж, верно, не гожа под позолоту-ту… Маменька, ты в позолоту хошь?

— Ась?

— Хошь, говорю, вызолотицце?

— Ась?

— Тьфу, изводу на тебя нету! Вот золотых дел мастер явился. Хошь, обработат?

— Но, как не хотеть? Худо ли для свово умиления к празднику вызолотицца!

Капитон их посадил всех в ряд.

— Глазки зашшурьте. Не моги никотора здреть!

Он смолы поваренкой зачерпнул — да и ну ту, да другу, да третью.

— Мастер, што это позолота на смолу пахнет?

— Ничево, это заготовка.

А сам насмаливает. Мажет, на обе щеки водит.

У их, у бажоных, уж и волосья в шапочку слились. А он хвалит:

— Ах кака прелись! Ах кака краса!

Те сидят довольнехоньки, только поворачиваются:

— Дяденька, мне этта ишше положь маленько на загривок…

Капитон поскреб поваренкой со дна. Потяпал

по макушкам.

— Все! Ну, ваши величия! Сияние от вас, будто вы маковки соборны. Сейчас я вас по окнам на солнышко сохнуть разведу.

Аграфену в одно окно посадил, девку в друго, а бабенька на балкончик выпросилась.

— Меня, — говорит, — на ветерку скоре захватит.

Мастеру некогда:

— Теперь до свидания, о ревуар! Значит, на солнышке сидите, друг на дружку не глядите, только на публику любуйтесь. Папа домой воротицца, вас похвалит, по затылку свой колер наведет. Ему от меня привет и поцелуй.

Тут Капитон в окно по канату, да только его, мазурика, и видели.

У царя дом глазами стоял на плошшадь на большу, на торгову. Там народишку людно. Мимо царской двор народу идет, как весной на Двины льду несет. Окна во дворце открыты, как ворота полы. В окнах царска семья высмолены сидят, как голенишша черны, как демоны. Бабушка на балконе тоже как бугирь какой сидит. Народ это увидел и сначала подумали, што статуи, негритянска скульптура с выставки куплена. Потом разглядели, што шевелятся, — россудили, што

арапы выписаны ко двору. А уж как царску фамилию признали, так город-от повернулся. Учали над черными фигурами сгогатывать. Ко дворцу со всех улиц бежат, по дороге завязываются. Матери ребят для страху волокут:

— Будете реветь, дак этим черным отдаим!

Мальчишки свистят, фотографы на карточку царску семью снимают, художники патреты пишут…

О, какой страм!

Напротив царского дома учрежденье было — Земной удел. И тут заседает меницинской персонал. Начальники-ти увидали царску фамилью в таком виде и народно скопленье. Не знают, што делать. И тут ише явились извошшишьи деликаты. На коленки пали и сказали:

— Господа начальники! Бабенька царская, прах с има, в черном виде на балконе сидят, дак у нас лошади бросаются, седоки обижаются, двоих седоков убило. Пропа-а-ли наши головушки! И-и-хы-хы-хы-ы!

Извошшики заплакали, и все заплакали и сказали:

— Пойдемте всенародно умолять ихны величия, не пожалеют ли, пожалусто, простого народу!

Вот запели и пошли всема ко дворцу. Выстроились перед палатами в ширинку, подали на ухвате прошенье. Аграфена гумагой машет да кивает. И бабка ужимается, и девка мигает. Оне думают — народ их поздравлять пришел.

Што делать? Нать за царем бежать. А всем страшно: прийти с эдакой весью, дак захвоснет на один взмах. Однако главной начальник сказал:

— Мне жись не дорога. На бутылку даите, дак слетаю.

Чиновники говорят:

— Ура! Мы тебе ераплан либо там дерижаб даим, только ты его за границу не угони.

Начальник в ераплан вставился, от извошшиков деликат в кучера. Пары розвели, колесом завертели, сосвистели. Ух, порхнули кверху, знай держи хвосты козырем!

Пока в городе это дело творицца, царь на Пустых островах в лютой досады сидит. Ехал ни по што, получил ничего. Ехал — ругался, што мешков мало взяли, приехал — сыпать нечего. Ни пароходов, ни сахару; хоть плачь, хоть смейся. Сидит егово величие, пиво дует. В город ни с чем показаться совесно. Вдруг глядит — дерижаб летит. Машина пшикнула, пар выпустила, из ей начальник выпал с деликатом. Начальник почал

делать доклад:

— Так и так, ваше высоко… Вот какие преднамеренны поступки фамилия ваша обнаружила… Личики свои в темном виде обнародовали. Зрителей полна плошшадь, фотографы снимают, несознательны элементы всякие слова говорят…

Царь руками сплескался — да на дерижаб бегом. За ним начальник да деликат. Вставились, полетели. Деликат вожжами натряхиват, начальник колесом вертит, император пару поддает, дров в котел подкидыват… Штобы не так от народу совесно, колокольчик отвязал.

Вот и город видать, и царски палаты. На плошшади народишко табунится. Гул идет. Меницинской персонал стоит да кланеится. Мальчишки в свистюльки свистят, в трумпетки трубят. Царь ажно сбрусвянел:

— Андели, миру-то колько! Страм-от, страм-от какой! Деликат, правь в окно для устрашения!

Народ и видит — дерижаб летит, дым валит. Рра-аз! В окно залетели, обоконки высадили, стекла посыпались, за комод багром зачалились. Выкатил царь из машины — да к царицы.

— Што ты, самоедка… Што ты, кольско страшилишшо!

Аграфена засвистела:

— Ра-а-атуйте, кто в Бога верует!!

Царь дочку за чуб сгорстал. У ей коса не коса, а смолена веревочка.

Царь на балкон. Оттуда старуху за подол таш-шит, а та за перила сграбилась да пасть на всю плошшадь отворила.

Народ даже обмер. Не видали сроду да и до этого году. Еле царь бабку в комнату заволок:

— Стара ты корзина! Могильна ты муха! Сидела бы о смертном часе размышляла, а не то што с балкона рожу продавать.

Вот оне все трое сидят на полу — царица, бабка да дочка — и воют:

— Позолоту-ту сби-и-л, ах, позолоту-ту сгубил! Ах, пропа-а-ла вся краса-а!..

— Каку таку позолоту?!

— Ведь нас позолотили, мы сидели да сохли-и.

— Да это на вас золото??? Зеркало сюда!..

Ваньки-маньки бежат с зеркалом. Смолены-ти рожи глаза розлепили, себя увидали, одночасно их в омморок бросило.

Полчасика полежали, опять в уме сделались. Друго запели:

— Держите вора-мазурика!.. Хватайте бродягу!

Царь кулаком машется:

— Сказывайте, как дело было.

Вот те в подолы высморкались, утерлись, рассказывают…

Царь слушал и сам заплакал:

— Он это! Он, злодей Капитонко, мне назлил… Он, вор, меня и из города выманил. Не семья теперь, а мостова асфальтова! Ишь пеком-то вас как сволокло… Охота народ пугать, дак сами бы сажи напахали, да розвели, да и мазали хари-ти… Дураки у меня и начальники. Кланяться пришли… Взяли бы да из пожарного насоса дунули по окнам-то. Холеры вы, вас ведь теперь надо шкрапить…

— Ничего, папенька, мы шшолоку наварим, и пусть поломойки личики наши кажно утро шоркают.

Царь побегал-побегал по горнице, на крыльцо вылетел.

Народишко, который ради скандалу прибежал, с крыльца шарахнулся.

Царь кричит:

— Стой! Нет ли человека, кто мужика со смолой в рожу видел?

Выскочили вперед две торговки, одна селедошница, друга с огурцами:

— Видели, видели! Мушшина бородатый в сертуке туда полз с туесом, а обратно порозной.

— В котору сторону пошел?

— А будто по мосту да в Заречье справил.

— Тройку коней сюда! — царь кричит.

Тройку подали. Царь с адъютаном сел, да как дунули-дунули, только пыль свилась да народ на карачки стал. Через мост к зарецким кабакам перепорхнули. Катают туда-сюда, спрашивают про Капитонка:

— Тут?

— Нет, не тут.

— Тут?

— Нет, не этта!

Буди в канской мох мужичонко провалился… А Капитонко ведь там и был. Учуял за собой погоню — бороду, метлу-ту, отвязал, забежал в избушку. Там старуха самовар ставит, уголье по полу месит.

— Ты, бабушка, с чем тут?!

— Чай пить средилась. А ты хто?

— Чай пить?! Смертной час пришел, а она чай пить… Царь сюда катит, он тя застрелит.

— Благодетель, не оставь старуху!

— Затем и тороплюсь. Скиновай скорей сарафанишко да платок, в рогозу завернись да садись под трубу заместо самовара.

Живехонько они переменились. Капитонко уж

в сарафане да в платке по избы летат, самовар прячет, бабку в рогозу вертит, на карачки ей ставит, самоварну трубу ей на голову нахлобучил:

— Кипи!

Тут двери размахнулись, царь в избу. Видит — старуха около печки обрежаится:

— Бабка, не слыхала, этта мужик в сертуке мимо не ехал?

А Капитонко бабьим голосом:

— Как не видеть! Даве мимо порхнул, дак пыль столбом.

— В котору сторону?

— Не знай, как тебе россказать… Наша волость — одны болота да леса. Без провожатого не суниссе.

— Ты-та знашь место?

— Родилась тут.

— Бабка, съезди с моим адъютаном, покажи дорогу — найди этого мужика… А я тут посижу, болё весь росслаб, роспался… Справиссе с заданием, дак обзолочу!

Мазурик-то и смекат: «Золотить нас не нать, а дело состряпам».

— Сидите, грейте тут самоварчик, мы скоро воротимся, чай пить будем.

Капитонко в платок рожу пуще замотал — да

марш в царску коляску. Только в лесок заехали, эта поддельна старуха на ножку справилась, за адъютана сграбилась да выкинула его на дорогу; вожжи подобрала, да только Капитонка и видели.

А царь сидит, на столе чашки расставлят.

Бедна старуха под трубой — ни гугу.

На улице и темнеть стало. Царю скучно:

— Што эко самовар-от долго не кипит?

Его величество трубу снял, давай старухе угольe в рот накладывать… Удивляется, што тако устройство. Потом сапог скинул, бабке рожу накрыл, стал уголье раздувать. Старуха со страху еле жива, загудела она, зашумела, по полу ручей побежал…

Царь забегал:

— Охти мне! Самовар-от ушел, а их чай пить нету. Скоре надо заварить…

Хочет самовар на стол поставить:

— На! Где ручки-те?

Старуху за бока прижал, а та смерть шшекотки боится: она как визгнет не по-хорошему… И царь со страху сревел — да на шкап. А старуху уж смех одолел. Она из рогозы вылезла.

— Ваше величество, господин анператор! Не иначе, што разбойник-от этот и был. Как он нас

обех обмакулил, омманул…

Ночью царь задами да огородами пробрался домой, да с той поры и запил, бажоной.

А Капитонко в заграницу на тройке укатил и поживат там, руки в карманах ходит, посвистыват.

Судное дело Ерша с Лещом[88]

Зачинается-починается сказка долгая, повесть добрая.

Ходило Ершишко, ходило хвастунишке с малыми ребятишками на худых санишках о трех копылишках по быстрым рекам, по глубоким водам. Прожился Ерш, проскудался. Ни постлать у Ерша, ни окутаться, и в рот положить нечего.

Приволокся Ерш во славное озеро Онего. Володеет озером рыба Лещ. Тут лещи — старожилы, тут Лещова вотчина и дедина со всем родом-племенем. Закланялось Ершишко рыбе Лещу. Ерш кланяться горазд: он челом бьет, затылком в пол колотит:

— Ой еси, сударь рыба Лещ! Пусти меня, странного человека, на подворье ночь переночевать. За то тебя Бог не оставит, родителям твоим Царство Небесное…

---

[88] Notes: 88

Впервые опубликовано под названием «О рыбе Ерше и о рыбе Леще, как у них суд был за славное озеро Онего» в коллективном сборнике «На Северной Двине: Сборник Архангельского общества краеведения» (Архангельск, 1924). Переработанный вариант под названием «Судное дело Ерша с Лещом» напечатан в сборнике Шергина «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947) и переиздан в сборнике «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957) и др. *–Примеч. ред.*

Пустил Лещ Ерша ночь обночевать.

А Ерш ночь ночевал, и две ночевал… Год жил, и два жил!.. И наплодилось в озере Онеге ершей втрое, впятеро против лещей. А рыба ерш ростом мала, да щетина у ей — как рогатины. Почали ерши по озеру похаживати, почали лещей под ребра подкалывати. Три года лещи белого свету не видали, три года лещи чистой воды не пивали.

С этой напасти заводилась в озере Онеге бой-драка великая. Бились-дрались лещи с ершами от Петрова́ до Покрова́. И по этой лещовой правде взяли лещи Ерша в полон, рот завязали, к судье привели.

Судья — рыба Сом с большим усом — сидит нога на ногу.

Говорит Лещ:

— Вот, господин судья… Жили мы, лещи, в озере Онежском, ниоткуда не изобижены. Озеро Онего век было Лещова вотчина и дедина. Есть у меня на это письма, и грамоты, и судные записи. Откуль взялся в озере Онеге Ершишко Щетинников, не ждан не зван? Лисий хвост подвесил, выпросился у меня в Онеге ночь перележать. И я за его сиротство ради малых ребят на одну ночь пустил. А он, вор, ночь ночевал, и две ночевал. Год жил, и два жил… И теперь ершей в озере впятеро больше

против нас, лещей. Да та худа рыба ерши ростом мала, а щетина у их — что лютые рогатины. И они по озеру нахвально похаживают, лещей под ребра подкалывают. Наши деушки-лещихи постатно себя ведут, постатно по улочке идут, а ерши наших девок худыми словами лают. С этой беды заводилась у нас с ершами драка немилостива, и по моей Лещовой таланести взяли мы Ершишко Щетинникова в полон и к тебе привели: сидите вы, судьи, на кривде, судите по правде!

Говорит судья — рыба Сом:

— Каки у тя, Леща, есть свидетели, что озеро ваше, лещово?

Лещ говорит:

— Нас, лещей, каждый знает. Спроси рыбу Семгу да рыбу Сига. Живут в озере Ладожском.

Спрашивает судья Ерша:

— Ты, ответчик Ерш, шлесся ли на таковых Лещовых свидетелей, Семгу да Сига?

Ерш отвечает:

— Слаться нам, бедным людям, на таковых самосильных людей, Семгу и Сига, не мочно. Рыба Семга да рыба Сиг люди богатые. Вместе с лещами пьют и едят. И хотят они нас, малых людей, изгубить.

Судья говорит:

— Слышишь, истец Лещ. Ерш отвод делает… Еще какие у тебя есть свидетели-посредственники?

Лещ говорит:

— Еще знают мою правду честна вдова Щука да батюшко Налим. Живут в Неве-реке, под городом Питером.

Спрашивает судья Сом:

— Честна вдова Щука да батюшко Налим тебе, Ершу, годны ли в свидетели?

Ерш в уме водит: «Рыба Налим — у его глаза малы, губища толсты, брюхо большо, ходить тяжело, грамотой не доволен. Он не пойдет на суд. А Щука — она пестра, грамотой востра, вся в меня, в Ерша. Она меня не выдаст».

И Ерш говорит:

— Честна вдова Щука да батюшко Налим — то общая правда, на тех шлюся.

Посылает судья — рыба Сом — Ельца-стрельца, пристава Карася, понятого Судака по честну вдову Щуку, по батюшку Налима.

Побежали Елец-стрелец, пристав Карась, понятой Судак из Онега-озера на Ладогу, с Ладоги на матушку Неву-реку. Стали щупать, нашли Щуку. Учали батюшку Налима искать. День искали и два искали, не пили, не ели и спать не валились.

На третьи сутки — день к вечеру, солнце к западу — увидали под островом Васильевским колодину. Колодину отворотили — под колодиной батюшко Налим сидит.

Елец-стрелец, пристав Карась, понятой Судак челом ударили:

— Здравствуешь, сударь-батюшко Налим! Зовет тебя судья — рыба Сом с большим усом — во славное озеро Онего во свидетели.

— О-о, робята! Я человек старой, у меня брюхо большо, мне идтить тяжело, язык толстой, непромятой, глаза малы — далеко не вижу, перед судьями не стаивал, у меня речь не умильна… Нате вам по гривенке. Не иду на суд!

Привели на суд Щуку.

Суд завелся.

Вот судья — рыба Сом — сгремел на Ерша:

— Сказывай, ответчик Ерш, каки у тя на Онежское озеро есть письма и крепости, памяти и грамоты?

И Ерш ответ держит:

— У моего-то папеньки была в озере Онежском избишка, в избишке были сенишки, в сенишках была клетишка, а в клетишке сундучишко под замчишком. В этом сундучишке под замчишком были у меня, доброго человека, книги, и грамо-

ты, и судные записи, что озеро Онего — наша, ершова вотчина. А когда, грех наших ради, наше славное Онего горело, тогда и тятенькина избишка, и сенишки, и клетишка, и сундучишко под замчишком, и книги, и грамоты, и судные записи — все сгорело, ничего вытащить не могли.

В те поры Леща, и Щуку, и всех добрых людей, которые рыбы из озера Онега, горе взяло:

— Врешь ты, страхиля! Нища ты коробка, кисла ты шерсть! Наше славное озеро Онего на веку не гарывало, а у тебя, у бродяги, там избы не бывало!

А Ерша стыд не имет. Он заржал не по-хорошему да опять свое звонит:

— Был у моего тятеньки дворец на семи верстах, на семи столбах. На полатях бобры, под полатями ковры — и то все пригорело… А нас, ершей, знают в Питере, и в Москве, и в Соломбальской слободе, и покупают нас, ершей, дорогою ценою. И варят нас с перцем и с шафраном, и великие господа, с похмелья кушавши, поздравляют…

И честна вдова Щука не стерпела:

— Нищая ты копейка! На овчине сидишь, про соболи сказываешь! Тридцать ты лет под порогом стоял, куски просил. А кто тебя, Ерша, знает да ведает, тот без хлеба обедает. Останется у голи

кабацкой от пропою копейка, дак на эту копейку вас, ершей, сотню купят. А и уху сварят — не столько наедят, сколько расплюют.

И Ерш к Щуке подскочил и ей плюху дал:

— Вот тебе раз! Другой бабушка даст!

И Щука запастила во весь двор:

— Караул, убивают! А озеро Онего век было Лещово, а не Ершово! Лещово, а не Ершово!

Судья возгласил:

— Быть посему! Получай, Ерш, приказ от суда: уваливай из озера Онега.

Ерш в ответ:

— На ваши суды плюю и сморкаю!

И Ерш хвостом вернул, головой тряхнул, плюнул в глаза всей честной братии, только его и видели.

Пошел Ершишко, пошел хвастунишко на худых санишках о трех копылишках с малыми ребятишками по быстрым рекам, по глубоким водам. По пути у Леща в дому все окончательно выхвостал…

Из Онега-озера Ерш на Белоозеро, с Белаозера в Волгу-реку.

Река Волга широка и долга.

Стоит в Волге-реке Осетер. Тут Осетрова вотчина и дедина.

Закланялось Ершишко рыбе Осетру, челом бьет, затылком в пол колотит:

— Ой еси, рыба Осетер! Пусти меня в Волге-реке одну ночь перележать. За то тебя Бог не оставит. Родителям вашим Царство Небесное…

А рыба Осетер хитра и мудра. Она знает Ерша.

— Не пущу!

Ерш на него с кулаками. Ерша схватили, с крыльца спустили.

Ерш придумывает: «Рыба Осетер хитра-мудра, а если будет вода мутна, Осетер в гости пойдет и невода не минует».

Начал Ерш Волгу-матушку со дна воротить, с берегов рыть. Волга-река замутилась, со желтым песком смешалась.

Стали люди поговаривать:

— О, сколько рыбы поднялось! Воду замутили…

Люди невод сшили, стали рыбу промышлять. А рыба Осетер хитра-мудра: видит, вода мутна — и она дома сидит, в гости не ходит.

Это Ершу хуже ножа. Он мимо Осетровых хором свищет, рад оконцы выстегать.

— Эй ты, Осетрина, старая корзина! Отпирай окна и двери, будем драться четыре недели. И я тебе голову оторву. Схожу сейчас пообедаю и

приду тебя, Осетра, убивать.

Пошел Ершишко обедать да и попал в невод. Из невода в медный котел. Уху из Ерша сварили, хлебать стали. Не столько съели, сколько расплевали. А хоть рыба костлива, да уха хороша…

Сказка вся, больше врать нельзя.

Дивный гудочек[89]

У отца, у матери был сынок Романушко и дочка — девка Восьмуха. Романушко — желанное дитятко, его хоть в воду пошли. А у Восьмухи руки загребущие, глаза завидущие.

Пришло красное лето. Кругом деревни лежат белые оленьи мхи, родятся ягодки красные и синие. Стали брат с сестрой на мох ходить, ягодки брать.

Матка им говорит однажды:

— Тятенька из-за моря поясок привез атласный лазорева цвету. Кто сегодня больше ягод принесет, тому и пояс.

Пришли ребята на мох, берут ягоду-морошку. Брателко все в коробок да в коробок, а сеструха все в рот да в рот.

В полдни стало жарко, солнечно.

---

[89] Notes: 89

Впервые опубликовано как запись стихотворного сказания «О дивном гудочке» в коллективном сборнике «На Северной Двине: Сборник Архангельского общества краеведения» (Архангельск, 1924). Переработанный в прозу вариант под названием «Скоморошина о дивном гудочке» напечатан в сборнике Шергина «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947); переиздан как «Дивный гудочек» в сборнике «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957), как «Сказка о дивном гудочке» — в сборнике «Гости с Двины» (М.: Детская литература, 1970) и т. д. *–Примеч. ред.*

У Романушки ягод класть некуда, а у Восьмухи две морошины в коробу катаются, и те мелки и зелены.

Она и сдумала думку и говорит:

— Братец, солнце уж на обеднике! Ляг ко мне на колени, я тебе головушку частым гребешком буду учесывать.

Романушко привалился к сестре в колени. И только у него глазки сошлись, она нанесла нож да и ткнула ему в белое горлышко… И не пуховую постелю постилает, не атласным одеялом одевает — положила брателка в болотную жемь, укутала, укрыла белым мохом. Братневы ягодки себе высыпала. Домой пришла, ягоды явила:

— Без расклонки брала, выдать мне-ка атласный пояс!

— Романушко где-ка?

— Заблудился. Его лесной царь увел.

Люди в лес побежали, Романушку заискали, в колокол зазвонили… Романушко не услышал, на звон колокольный не вышел. Только стала над ним на болотце расти кудрявая рябина.

Ходят по Руси веселые люди — скоморохи, народ утешают песнями да гуслями. Поводырь у скоморохов свет Вавило. И пришли они на белые оленьи мхи, где Романушко лежит. Видит Вавило

рябинку, высек тесинку, сделал гудóк с погудáлом. Не успел погудальце на гудок наложить, запел из гудочка голосок жалобно, печально:

Скоморохи, потихоньку,
Веселые, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белый мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Продрожье взяло скоморохов:

— Эко диво, небывалое дело! Гудок человеческим языком выговаривает!

А Вавило-скоморох говорит:

— В этом гудке велика сила и угодье.

Вот идут скоморохи по дороге да в ту самую деревню, где Романушкин дом. Поколотились, ночь перележать попросились:

— Пусти, хозяин, веселых людей — скоморохов!

— Скоморохи, здесь не до веселья! У нас сын потерялся!

Вавило говорит:

— На-ко ты, хозяин, на гудке сыграй. Не объявится ли тебе какого дива.

Не поспел отец погудальце на гудок наложить, запел из гудочка печальный Романушкин голосок:

Тятенька, потихоньку,
Миленький, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белые мхи положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Мать-то услыхала! Подкосились у нея с колен резвы ноженьки, подломилися с локот белы рученьки, перепало в груди ретиво сердце:

— Дайте мне! Дайте скорее!..

Не поспела матерь погудальце на гудок наложить, запел гудок, завыговаривал:

Маменька, потихоньку,
Родненька, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белый меня мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Пала мать на пол, клубышком закаталась… И почто с печали смерть не придет, с кручины

душу не вынет!

Сошлась родня и вся порода, собрались порядовные соседи. Ставят перед народом девку Восьмуху и дают ей гудок:

— На-ко, ты играй!

Побелела Восьмуха, как куропать. Не успела погудальце на гудок наложить, и гудок поет грозно и жалобно:

Сестрица, потихоньку,
Родненька, полегоньку!
Ты меня убила,
В белые мхи схоронила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Восьмуха шибла погудальце об пол. Вавило подхватил да стегнул девку в пояс. Она перекинулась вороной, села на подоконник, каркнула три раза и вылетела оконцем.

Скоморохи привели родителей и народ на болото. Вавило повелел снять мох под рябиной…

Мать видит Романушку, бьет ладонями свое лицо белое.

А Вавило говорит:

— Не плачьте! Ноне время веселью и час кра-

соте!

Заиграл Вавило во гудочек, а во звончатый во переладец, и народ запел:

Грозная туча, накатися,
Светлы дожди, упадите!
Романушко, убудися,
На белый свет воротися!

И летает погудало по струнам, как синяя молния. Гременул гром. Над белыми мхами развеличилось облако и упало светлым дождем на Романушку. И ожил дитя, разбудился, от мертвого сна прохватился. Из-под кустышка вставал серым заюшком, из-под белого мха горностаюшком. Людям на диво, отцу-матери на радость, веселым людям — скоморохам на славу.

Пойга и Лиса[90]

Жил юный Пойга Корелянин. Жил житьем у вершины реки. Наехала на него шведка Кули'мана[91], дом и оленей схватила. Пойга и пошел вниз по реке. У Лисьей горы изготовил ловушку и пошел умыться. Видит — на воде карбас, в нем спят. На берегу девица, не спит. Ночь летняя, сияющая.

Пойга испугался красоты этой девицы:

— Ты не звезда ли утренница?

Она засмеялась:

— Если я звезда, ты, должно быть, месяц молодой. По сказкам, он гоняется за утренней звездой.

— Чья же ты?

— Я дочь вдовы Устьянки. В карбасе моя дружина, пять уверенных старух. Плавали по ягоды по мамкину указу.

---

[90] Notes: 90

Впервые опубликовано в сборнике «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957). *–Примеч. ред.*

[91] Notes: 91

Кули'мана, шведка Кули'мана. — В преданиях карелов сохранилась память о «свейских нагонах» (шведских набегах), которые бывали на Севере в XVI веке. Отсюда сказочная «шведка Кули'мана».

Пойга взмолился к ней:

— Девица, подожди здесь! Я тебе гостинец принесу, лисичку.

Он к ловушкам поспешил к своим — туда залезли Лисьи дети. Он обрадовался: «Не худой будет подарок для девицы».

И тут прибежала Лисья мать. Стала бить челом и плакаться:

— Пойга, милый, отдай мне моих детей!

Он говорит:

— На что много плачешь, Лиса? Мне твое горе внятно. Меня самого шведская Кулимана обидела. Возьми детей.

Пока Лиса да Пойга разговаривали, старух на карбасе заели комары. Устьянкина дочь и уплыла домой…

Пойга опять идет вниз по реке.

На новый месяц догоняет его Лисья мать. Пойга удивился:

— Ты на кого детей-то бросила?

Лисица говорит:

— Есть у меня родни-то. Это ты один, как месяц в небе. Я тебя женю на дочери вдовы Устьянки. За твое добро тебе добро доспею.

Вот они дошли до Устья. Тут сделали шатер из белого моху. Лисица говорит:

— Пойга, нет ли у тебя хоть медной денежки?

— У меня серебряных копеек пять.

Лисица прибежала в дом к Устьянке и говорит:

— Государыня Устьянка, Пойга, мой сынок, просит мерку-четверик: хочет жито мерить.

— Возьми.

Лисица принесла мерку в шатер, запихала в заклеп две серебряные денежки и несет мерку обратно:

— Государыня Устьянка, дай меру побольше — четвериком мерить долго.

Вдова дала Лисе полмеру и говорит дочери:

— Гляди, в четверике-то серебро застряло. Вот какое «жито» меряют, хитряги!

Лиса опять там в полмеру за обруч влепила три серебряных копейцы и несет обратно. Устьянка опять приметила серебро, однако виду не подала, спрашивает:

— Для какого случая зерно-то меряли?

— Жениться собирается.

— Пожи'точному человеку что собираться? Посватался — и все.

— Государыня Устьянка, я ведь и пришла твою дочку сватать.

Вдова говорит:

— Надобно жениха-то в лицо поглядеть.

Ведет Лисица Пойгу на смотрины и думает: «Не гораздо ты, жених, одет. В чем зверя промышляем, в том и свататься идем». А идут они через болото, по жерди ступают. Лиса и подвернулась Пойге под ноги, он и слетел в болото.

На сухое место выбрался, заплакал:

— Испугается меня теперь невеста. Скажет, черт из болота вылез…

А Лиса над ним впокаточку хохочет:

— Сохни тут, тетеря косолапая! Я хорошую одежу принесу.

Лисица к Устьянке прилетела:

— Как быть, государыня? С женихом-то смех и горе! К вам на смотрины торопился, на болоте подопнулся и ляпнул в грязь. Обиделся, назад пошел.

Вдова зашумела на Лису:

— Как это назад пошел?! Глупая ты сватья! Возьми вот мужа моего одежу. Пусть переоденется да к нам, к горячим пирогам.

Вот Пойга в дом заходит. Невеста шепнула ему украдкой

в сенях:

— Ты виду не показывай, что мы встречались.

Пойга за столом сидит, ни на кого не глядит, только на себя: глянется ему кафтан василько-

вого сукна, с серебряными пуговками. Вдова и шепчет Лисе:

— Что это жених-то только на себя и смотрит?

Лисица отвечает:

— Он в соболях, в куницах ведь привык ходить. Ему неловко в смирном-то кафтанчике.

Вдова и говорит Пойге:

— Ну, добрый молодец, сидишь ты — как свеча горишь. Не слышно от тебя ни вздора, ни пустого разговора. Ты и мне, и дочке по уму, по сердцу. Однако, по обычаю, надо съездить посмотреть твой дом, твое житье-бытье.

Пойга смутился: как быть? Ведь дом-то шведка схватила.

А Лиса ему глазком мигает, чтобы помалкивал, и говорит:

— Обряжай, Устьянка, карбас. Возьми в товарищи уверенных людей, и поплывем смотреть житье женихово. Не забудь взять в карбас корабельный рог.

Вот плывет дружина в карбасе: Устьянка с дочкой, Пойга, да Лиса, да пять уверенных старух. Подвигались ме́шкотно: по реке пороги каменные; однако до вершины добрались.

На заре на утренней Лисица говорит:

— Теперь до нашего житья рукой подать. Я

побегу по берегу, встречу приготовлю. А вы, как только солнышко взойдет, что есть силы в рог трубите. Гребите к нашему двору и в рог трубите неумолчно.

Лисица добежала до Пойгина двора и залезла в дом. Шведка Кулимана еще спит-храпит. По стенам висит и по углам лежит Пойгино добро: шкуры лисьи, куньи, беличьи, оленьи.

В эту пору из-за лесу выглянуло солнце. И по речке будто гром сгремел — затрубили в рог. Кулимана с постели ссыпалась, ничего понять не может.

А Лисица верещит:

— Дождалась беды, кикимора? Это Русь трубит!

Кулимана по избе бегает, из угла в угол суется, лисиц, куниц под печку прячет:

— Ох, беда! Я-то куда? Я-то куда?

Лиса говорит:

— Твои слуги-кнехты где?

Кулимана вопит:

— Кнехты мне не оборона! У стада были, у оленей, а теперь, как русский звук учуяли, побежали в запад. Так летят, что пуля не догонит.

Лиса говорит:

— Тебе, чертовка, надо спрятаться. Я при дороге

бочку видела. Лезь в эту бочку.

Кулимана толста была, еле запихалась в бочку. Лисица сверху крышку вбила:

— Хранись тут, Кулимана, в бочку поймана. Не пыши и не дыши. Я потом велю тебя в сторонку откатить.

А Пойга с гостями уж по берегу идет и невесту свою за руку ведет.

Лиса к нему бежит:

— Гостей ведешь почетных, а на дороге бочка брошена. Ну-ка, гостьюшки-голубушки, спихнем эту бочку в воду, чтоб не рассохлась.

Пять уверенных старух мигом подкатили бочку к берегу и бухнули с обрыва.

Кулимана ко дну пошла. Больше никого пугать не будет.

Устьянка с Пойгой по дому ходит, дом хвалит:

— Дом у тебя как город! И стоит на месте на прекрасном. Моя дочка будет здесь хозяюшка и тебе помощница.

Вот сколько добра доспела Пойге Лисья мать за то, что он ее детей помиловал.

Волшебное кольцо[92]

Жили Ванька двоима с матерью. Житьишко было само последно. Ни послать, ни окутацца и в рот положить нечего. Однако Ванька кажной месяц ходил в город за пенсией. Всего получал одну копейку. Идет оно́гды с этими деньгами, видит — мужик собаку давит:

— Мужичок, вы пошто шшенка мучите?

— А твое како дело? Убью вот, телячьих котлетов наделаю.

— Продай мне собачку.

За копейку сторговались. Привел домой:

— Мама, я шшеночка купил.

— Што ты, дураково поле?! Сами до короба дожили, а он собаку покупат!

Через месяц Ванька пенсии две копейки получил. Идет домой, а мужик кошку давит.

— Мужичок, вы пошто опять животину тираните?

— А тебе-то како дело? Убью вот, в ресторант

---

[92] Notes: 92

Впервые опубликовано в сборнике: О. Э. Озаровская. Пятиречие (Л.: Издательство писателей, 1931). Переработанный вариант под названием «Ванька доброй» напечатан в сборнике Шергина «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947). *–Примеч. ред.*

унесу.

— Продай мне.

Сторговались за две копейки. Домой явился:

— Мама, я котейка купил.

Мать ругалась, до вечера гудела.

Опять приходит время за получкой идти. Вышла копейка прибавки.

Идет, а мужик змею давит.

— Мужичок, што это вы все с животными балуете?

— Вот змея давим. Купи?

Мужик отдал змея за три копейки. Даже в бумагу завернул. Змея и провещилась человеческим голосом:

— Ваня, ты не спокаиссе, што меня выкупил. Я не проста змея, а змея Скарапея.

Ванька с ей поздоровался. Домой заходит:

— Мама, я змея купил.

Матка язык с перепугу заронила. На стол забежала. Только руками трясет. А змея затенулась под печку и говорит:

— Ваня, я этта буду помешшатьсе, покамес хороша квартира не отделана.

Вот и стали жить. Собака бела да кошка сера, Ванька с мамой да змея Скарапея.

Мать этой Скарапеи не залюбила. К обеду не зо-

вет, по отчеству не величат, имени не спрашиват, а выйдет змея на крылечке посидеть, дак матка Ванькина ей на хвост кажной раз наступит. Скарапея не хочет здеся жить:

— Ваня, меня твоя мама очень обижат. Веди меня к моему папы!

Змея по дороги — и Ванька за ей. Змея в лес — и Ванька в лес. Ночь сделалась. В темной дебри стала перед има высока стена городова с воротами. Змея говорит:

— Ваня, я змеиного царя дочерь. Возьмем извошыка, поедем во дворец.

Ко крыльцу подкатили, стража честь отдает, а Скарапея наказыват:

— Ваня, станет тебе мой папа деньги наваливать, ты ни копейки не бери. Проси кольцо одно — золóтно, волшебно.

Змеиной папа не знат, как Ваньку принеть, куда посадить.

— По-настояшшему, — говорит, — вас, молодой человек, нать бы на моей дочери женить, только у нас есь кавалер сговоренной. А мы вас деньгами отдарим.

Наш Иванко ничего не берет. Одно поминат кольцо волшебно. Кольцо выдали, рассказали, как с им быть.

Ванька пришел домой. Ночью переменил кольцо с пальца на палец. Выскочило три молодца:

— Што, новой хозеин, нать?

— Анбар муки нать, сахару-да насыпьте, масла-да…

Утром мати корки мочит водой да сосет, а сын говорит:

— Мама, што печка не затоплена? Почему тесто не окатываш? До ночи я буду пирогов-то ждать?

— Пирого-ов? Да у нас год муки не бывало. Очнись!

— Мама, обуй-ко глаза-те да поди в анбар!

Матка в анбар двери размахнула да так головой в муку и ульнула.

— Ваня, откуда?

Пирогов напекли, наелись, в город муки продали, Ванька купил себе пинжак с корманами, а матери платье модно с шлейфом, шляпу в цветах и в перьях и зонтик.

Ах, они наредны заходили: собачку белу да кошку Машку коклетами кормят.

Опять Ванька и говорит:

— Ты што, мамка, думаш, я дома буду сидеть да углы подпирать?.. Поди, сватай за меня царску дочерь.

— Брось пустеки говорить. Разве отдадут из

царского дворца в эдаку избушку?!

— Иди сватай, не толкуй дале.

Ну, Ванькина матерь в модно платье средилась, шляпу широкоперу нало́жила и побрела за реку, ко дворцу. В палату зашла, на шляпы кажной цветок трясется. Царь с царицей чай пьют сидят. Тут и дочь-невеста придано себе трахмалит да гладит. Наша сватья стала середи избы под матицу:

— Здрасте, ваше велико, господин анператор. У вас товар, у нас купец. Не отдайте ли вашу дочерь за нашего сына взамуж?

— И кто такой ваш жених? Каких он родов, каких городов и какого отца сын?

Мать на ответ:

— Роду кресьенского, города вашего, по отечесьву Егорович.

Царица даже чай в колени пролила:

— Што ты, сватья, одичала?! Мы в жонихах, как в сору каком, роемся-выбираем, дак подет ли наша девка за мужика взамуж? Пускай-вот от нашего дворца да до вашего крыльца мост будет хрустальной. По такому мосту приедем женихово житье смотреть.

Матка домой вернулась невесела: собаку да кошку на улицу выкинула. Сына ругат:

— Послушала дурака, сама дура стала. Эстолько

страму схватила…

— На! Неужели не согласны?

— Обрадовались… Только задачку маленьку задали. Пусть, говорят, от царского дворца да до женихова крыльца мост будет хрустальной, тогда придут жанихово житье смотреть.

— Мамка, это не служба, а службишка. Служба вся впереди.

Ночью Иванко переменил кольцо с пальца на палец. Выскочило три молодца:

— Што, новой хозеин, нать?!

— Нать, штобы наша избушка овернулась как бы королевскими палатами. А от нашего крыльца до царского дворца мост хрустальной и по мосту машина ходит самосильно.

Того разу, со полуночи за рекой стук пошел, работа, строительство. Царь да царица спросонья слышат, ругаются:

— Халера бы их взела с ихной непрерывкой… То субботник, то воскресник, то ночесь работа…

А Ванькина семья с вечера спать валилась в избушке: мамка на печки, собака под печкой, Ванька на лавки, кошка на шешки. А утром прохватились… На! што случилось!.. Лежат на золоченых кроватях, кошечка да собачка ново помешшенье нюхают. Ванька с мамкой тоже

пошли своего дворца смотрять. Везде зерькала, занаве́сы, мебель магазинна, стены стеклянны. День, а ланпы горят… Толь богато! На крыльцо выгуляли, даже глаза зашшурили. От ихного крыльца до царского дворца мост хрустальной, как колечко светит. По мосту машинка сама о себе ходит.

— Ну, мама, — Ванька говорит, — оболокись помодне́ да поди зови анпе́ратора этого дива гледеть. А я, как жаних, на машинки подкачу.

Мама сарафанишко сдернула, барыной народилась, шлейф распустила, зонтик отво́рила, ступила на мост, ей созади ветерок попутной дунул — она так на четвереньках к царскому крыльцу и съехала. Царь да царица чай пьют. Мамка заходит резво, глядит весело:

— Здрасте. Чай да сахар! Вчерась была у вас со сватеньем. Вы загадочку задали: мое состряпать. Дак пожалуйте работу принимать.

Царь к окошку, глазам не верит:

— Мост?! Усохни моя душенька, мост!..

По комнаты забегал:

— Карону суда! Пальтё суда! Пойду пошшупаю, может, ише оптической омман здренья.

Выкатил на улицу. Мост руками хлопат, перила шатат… А тут ново диво. По мосту машина бежит

сухопутно, дым идет и музыка играет. Из каюты Ванька выпал и к анператору с поклоном:

— Ваше высоко, дозвольте вас и супругу вашу всепокорнейше просить прогуляться на данной машинке. Открыть движение, так сказать…

Царь не знат, што делать:

— Хы-хы! Я-то бы ничего, да жона-то как?

Царица руками-ногами машет:

— Не поеду! Стрась эка! Сронят в реку, дак што хорошего?!

Тут вся свита зауговаривала:

— Ваше величие, нать проехаться, пример показать. А то перед Европами будет канфуз!

Рада бы курица не шла, да за крыло волокут. Царь да царица вставились в каютку. Свита на запятках. Машина сосвистела, звонок созвонил, музыка заиграла, покатились, значит.

Царя да царицу той же минутой укачало — они блевать приправились. Которы пароходы под мостом шли с народом, все облеваны сделались. К шшасью, середи моста остановка. Тут буфет, прохладительны напитки. Царя да царицу из каюты вынели, слуги поддавалами машут, их в действо приводят. Ванька с подносом кланяится. Они, бажоны, никаких слов не примают:

— Ох, тошнехонько… Ох, укачало… Ух, растрес-

ло, растрепало… Молодой человек, мы на все согласны! Бери девку. Только вези нас обратно. Домой поворачивай.

Свадьбу средили хорошу. Пироги из печек летят, вино из бочек льется. Двадцать генералов на этой свадьбы с вина сгорело. Троих сеноторов в драки убили. Все торжесво было в газетах описано. Молодых к Ваньке в дом свезли. А только этой царевны Ванька не надо был. У ей в заграницы хахаль был готовой. Теперь и заприпадала к Ваньки:

— Супруг любезной, ну откуда у тебя взелось эдако богасьво? Красавчик мой, скажи!

Скажи да скажи и боле никаких данных. Ванька не устоял против этой ласкоты, взял да и россказал. Как только он за́спал, захрапел, царевна сташшила у его с перста кольцо и себе с пальца на палец переменила. Выскочило три молодца:

— Што, нова хозейка, нать!..

— Возьмите меня в этих хоромах, да и с мостом и поставьте среди городу Парижу, где мой миленькой живет.

Одночасно эту подлу женщину с домом да и с хрустальным мостом в Париж унесло, а Ванька с мамкой, с собакой да с кошкой в прежней избушке оказались. Только Иванко и жонат бывал,

только Егорович с жоной сыпал! Все четверо сидят да плачут.

А царь собрался после обеда к молодым в гости идти, а моста-то и нету, и дому нету. Конешно, обиделся, и Ваньку посадили в казематку, в темну. Мамка, да кошечка, да собачка христа-ради забегали. Под одным окошечком выпросят, под другим съедят. Так пожили, помаялись, эта кошка Машка и говорит собаке:

— Вот што, Белой, сам себе на радось нихто не живет. Из-за чего мы бьемся? Давай побежим до города Парижа к той бледи Ванькино кольцо добывать.

Собачка бела да кошка сера кусочков насушили и в дорогу переправились через реку быстру и побрели лесами темныма, пошли полями чистыма, полезли горами высокима.

Сказывать скоро, а идти долго. Вот и город Париж. Ванькин дом искать недолго. Стоит середи города и мост хрустальной, как колечко. Собака у ворот спреталась, а кошка зацарапалась в спальну. Ведь устройство знакомо.

Ванькина молодуха со своим прихохотьем на кровати лежит и волшебно кольцо в губах держит. Кошка поймала мыша и свистнула царевне в губы. Царевна заплевалась, кольцо выронила.

Кошка кольцо схватила да в окно, да по крышам, по заборам вон из города! Бежат с собачкой домой, радехоньки. Не спят, не едят, торопятся. Горы высоки перелезли, чисты поля перебежали, через часты дебри перебрались. Перед има река быстра, за рекой свой город. Лодки не привелось — как попасть? Собака недолго думат:

— Слушай, Маха, я вить плаваю хорошо, дак ты с кольцом-то седь ко мне на спину, живехонько тебя на ту сторону перепяхну.

Кошка говорит:

— Кабы ты не собака, дак министр бы была. Ум у тебя осударсьвенной.

— Ладно, бери кольцо в зубы да молчи. Ну, поехали!

Пловут. Собака руками, ногами хлопат, хвостом правит, кошка у ей на загривки сидит, кольцо в зубах крепит. Вот и середка реки. Собака отдувается:

— Ты, Маха, молчи, не говори, не утопи кольца-то!

Кошка ответить некак, рот занет…

Берег недалеко. Собака опеть:

— Ведь, ежели хоть одно слово скажешь, дак все пропало. Не выброни кольца!

Кошка и бякнула:

— Да не уроню!

Колечко в воду и булькнуло…

Вот они на берег выбрались, ревут, ругаются.

Собака шумит:

— Зазуба ты наговориста! Кошка ты! Болтуха ты проклята!

Кошка не отстават:

— Последня тварь — собака! Собака и по Писанью погана… Кабы не твои разговоры, у меня бы за сто рублей слова не купить!

А в сторонки мужики рыбину только што сетью выловили. Стали черевить да солить и говорят:

— Вон где кошка да собака, верно, с голоду ревут. Нать им хоть рыбины черева дать.

Кошка с собакой рыбьи внутренности стали ись да свое кольцо и нашли…

Дак уж, андели! От радости мало не убились. Вижжат, катаются по берегу. Нарадовавшись, потрепали в город.

Собака домой, а кошка к тюрьмы.

По тюремной ограды на виду ходит, хвос кверху! Курняукнула бы, да кольцо в зубах. А Ванька ей из окна и увидел. Начал кыскать:

— Кыс-кыс-кыс!!

Машка по трубы до Ванькиной казематки доцапалась, на плечо ему скочила, кольцо подает. Уж

как бедной Ванька зарадовался. Как андела, кота того принял. Потом кольцо с пальца на палец переменил. Выскочили три молодца:

— Што, новой хозеин, нать?!

— Нать мой дом стеклянной и мост хрустальной на старо место поставить. И штобы я во своей горницы взелся.

Так все и стало. Дом стеклянной и мост хрустальной поднело и на Русь поташшило. Та царевна со своим дружишком в каком-то месте неокуратно выпали и просели в болото.

А Ванька с мамкой, собака бела да кошка сера стали помешшаться во своем доме. И хрустальной мост отворотили от царского крыльца и перевели на деревню. Из деревни Ванька и взял себе жону, хорошу деушку.

Мартынко[93]

Мартынко с артелью матросов в море ходил, и ему жи'ра была хорошая. Хоть на работу не горазден, а песни петь да сказки врать мастер, дак все прошшали. С англичанами, с норвежанами на пристанях толь круто лекочет, не узнать, что русский. Годы подошли, взели на военную службу. Послали караульным в стару морску крепость. Место невесёло, начальство строго, навеку бедной парень эдак не подчинялся, не покорялся.

Вон оно́гды на часах у складов и видит: подъехали компания лодкой и учали в футбол играть. Мартына и раззадорило:

— Нате-ко меня!

Ружье бросил и давай с ребятами кубарем летать.

В это время комендантова супруга на балкон сели воздухом подышать. Ей от Мартынова пинка мяч в зубы прилетел и толь плотно сел, дак фельшер до вечера бился, добывал.

---

[93] Notes: 93

Впервые опубликовано — вместе с тремя следующими сказками: «Данило и Ненила», «Пронька Грезной», «Варвара Ивановна» — в сборнике «Архангельские новеллы» (М.: Советский писатель, 1936). *–Примеч. ред.*

Мартынку утром суд. Перва вина, что благородной дамы в рот грезной футбол положил, втора вина — с поста убежал. На ночь замкнули в башню. Башня заброшена — хлам, пыль, крысы, паутина. Бедной арестант поплакал, полежал у порога, и захотелось ему исть. В углу стол. Не завалялось ли хоть сухаря в ящике? Дернул вытяжку, есть что-то в тряпице. Развернул — как огнем осветило: карт колода золотых, на них нельзя насмотреться. А в каземат часовой лезет:

— Тебе с огнем играть!!!

Тут на карты обзадорился, тут сели играть. И видит Мартынко — карты сами ходят, сами на хозяина играют. Часовой арестанту в минуту все гроши продул.

Нас бы с вами на ум, Мартына на дело: «Я этими картами жить зачну». Часовому долг простил, выгонил его, в потеменки раму вынял, железно прутье вышатал да окном и выпал.

Утром арестанта хватились, а он уже в городе, в порту похаживат. В портерной иностранного кептена присмотрел, ему карты показал. Кептен ум потерял, сел с Мартыном — не то что деньги, с себя мундир проиграл. Мартынко говорит:

— За проигрыш перепехни меня за море на своем пароходе.

Вот Мартынко в заграничном городе разгуливат по трактирам да по пивным. Где карты явит, там люди одичают. Мартынко один с барышом. Денег стало черту на печь не закинуть. Тогда загрустил: «Мне это низко, желаю по своим капиталам в высшее общество». Заказал брюки клеш, портянки сатиновы, нанял такси:

— Вези в трактир, куда первостатейны господа ездят.

Ну, завезли в самолучшей ресторан. Зеркала до потолку, посуда, самовары, публика ослепительно одета.

«А что тако, — думат Мартын, — нисколько не совестно за свои деньги...»

— Эй, молодцы, бутылку водки!

Чтобы ловкость показать — и штопору не взел, а по-мужицки о долонь половинкой как хватит. Пробка соседке в плешь, водка соседу во что ешь... Тотчас вся зала заверешшала, налетели господа с орденами в лентах:

— Вон отсюда, невежа! Твое место под забором с бродягами распивать!..

— На свои пью, не на ваши!

— Ты понимаешь, куда забрался? Этта генералитет, а которы есть и министры, чай пить соизволяют. Король приворачиват. Этта рюмка

водки рублем пахнет.

Потащили бажоного вон за шиворот. Бажоный затужил:

— Вот как! Вот как!! Набывался в высшем свете.

За прилавок зачалился, карты из-за пазухи вывернул:

— Предлагаю сразиться в картишки.

Эких карт на веку никто не видывал. Льзя ли отказаться? И проиграла почтенна публика и коней, и кореты, и одежду, и штиблеты. Мартынко ихни брюки да сертуки нафталином посыпат да в ломбард отправлят. Далее удоволился, говорит:

— Содвигай столы! Угощаю пострадавших за свой счет!

Этим генералам да профессорам все одно делать нечего. Голой домой не побежишь. У кого дома телефон, позвонили, чтобы костюм послали, у кого телефона нет — с запиской лакея турнули, а сами сели закусить. Мартынко выпил и отмяк:

— Друзья! Наша игра не более как милая шутка. На фига мне ваши клячи да кареты. Получай обратно ломбардны квитанции. Пущай всяк при своем!

Тут хмель сборол Мартынка. Он поговорил, песенку еще спел да и растянулся на полу.

Дежурной генерал с докладом к королю:

— Явился в ресторане субъект, с первого взгляду малостоющий. Выкинул на прилавок необыкновенные карты и этими картами всех до копейки обыграл. Но проигрыши не токмо простил, а и всех собравшихся самолучшим питьем и закусками удоволил.

Король говорит:

— Эта личность где сейчас?

— Где гулял, тамотки и повалился.

Король туда лично пальнул в легковом автомобиле, спрашиват лакеев:

— Где-ка гостя-то положили?

— Они сами под стол удалились.

Мартына рострясли, душетырного спирту дали понюхать, в сознание привели. Король с им за ручку поздоровался:

— Мимо ехал — и вдруг жажда одолила, не иначе с редьки. К счастью, вспомнил про этот лесторан.

Мартынко осмелел:

— Ваше королевское величие, окажите монаршее внимание с выпитием рюмочки при надлежашшей закуске.

— Ха-ха-ха! Вы в состоянии короля угошшать?

Мартын сидельцу мигнул, лакеи полон стол

наносили. Король сколько сам уписыват, боле в чемодан складыват:

— Деточкам свезу гостинчика.

— Не загружайте тары эким хламом, ваше величие. Есть у нас кока с соком в чемодан ложить.

— Это вы не про карты ли?

— Имеются и карты.

Король колоду позадевал:

— Этих картов я и на всемирной выставки не видел.

Сели за зелено сукно. И проиграл король Мартыну деньги, часы, пальто, автомобиль с шофером. Тогда расстроился:

— Тошнехонько машины жалко. Летось на именины ото всей инперии поднесёна…

— Ваше величие! Папаша всенародной! Это все была детская забава. Велите посторонним оставить помещение.

Король выпнул публику, заложил двери на крюк, подъехал к Мартынку. Нас бы с вами на ум, Мартына на дело. Говорит:

— Ваше велико! Держава у вас — место самое проходное. В силу вашего географического положения пароходов заграничных через вас плывет, поездов бежит, еропланов с дипломатами летит ужасти сколько. Никакому главному бухгалтеру

не сосчитать, сколько через вас иностранного купечества со своима капиталами даром пролетит и проплывет… Ваше велико! Надеюсь, вы убедились, кака сила в моих картах… Поручите мне государственну печать, посадите меня в главно место и объявите, что без пропуска и штенпеля нету через вашу границу ни пароходу проходу, ни ероплану пролету, ни на машине проезду… Увидаете, что будет.

Король троекратно прокричал ура и объявил:

— Министром финанцевым быть хошь?

— Велите, состоим-с!

— Завтра в обед приходи должность примать.

Отвели под Мартына семиэтажной дом, наголо окна без простенков. По всем заборам наклеили, что «через нашу державу без пропуска и министерской печати нет ни пароходу проходу, ни на ероплане пролету, ни на машине проезду».

Вот Мартын сидит в кабинете за столом, печати ставит, а ко столу очередь даже во всю лестницу.

Иностранно купечество, дипломаты — все тут. Новый министр пока штемпель ставит, свои карты будто ненароком и покажет. Какой капиталист эти карты увидал, тот и ум потерял. Не только что наличность у Мартына оставит — сколько дома есть денег, все телеграфом сюда

выпишет.

Ну, Мартынкино королевство разбогатело. Сотрудникам пища пошла скусна. Ежедень четыре выти, у каждой перемены по стакану вина. В каком прежде сукне генералы на парад сподоблялись, то сукно теперь служащи завседенно треплют.

Однако соседним государствам ужасно не понравилось, что Мартынко у них все деньги выманил. Взяли подослали тайных агентов — какой бы хитростью его потушить.

Тут приходит вот како дело рассказать. У короля была дочерь Раиска. И она с первого взгляду влюбилась в нашего прохвоста. Где Мартынко речь говорит или доклад делат, она в первом ряду сидит, мигает ему, не может налюбоваться. Из газет, из журналов Мартынкины портреты вырезат да в альбом клеит. Уж так его абажат. А она Мартыну ни на глаза. Он ей видеть не может, бегом от ей бегат. Однажды при публике выразился:

— Эту Раиску увижу, меня так блевать и кинет!

Которые неосторожные слова прекрасно слышали тайны агенты других держав и довели до сведения Раиски… Любовь всегда слепа. Несчастна девица думала, что ейна симпатия из-за скромности на нее не глядит. А тут, как ужасну

истину узнала, нахлопала агентов по харе, также отдула неповинных фрелин и упала в обморок. Как в себя пришла, агенты говорят:

— Вот до чего довел вас этот тиран. Конешно, дело не наше, и мы этим не антиресуимся, а только напрасно ваш тятенька этого бродягу в главно место посадил. Вот дак министр с ветру наскочил! И вас своими секретами присушил. Такого бы без суда в нужнике давно надо утопить. Но мы вас научим…

Утром получат Мартынко записку:

«Дорогой министр финанцев! Пожалуте выпить и закусить к нам на квартеру антиресуимсе каки таки у вас карты известная вам рая».

Мартынко этой Раи боитсе, а не идти неможно, — что он у ней с визитом не бывал.

Только гость созвонился, агенты за ширмы, а Мартын заходит и от угошшения вежливо отказывается. Заговорили про войну, про погоду. А Раиска речь пересекла:

— Я слыхала, у вас карты есь бутто бы золоты? Я смала охвоча карты мешать.

И зачала она проигрывать деньжонки, кольца, брошки, браслетки, часики с цепочкой — все продула гостю.

Тут он домой сторопился:

— Однако поздно. На прошшанье дарю вам обратно ваши уборы. Мне-ка не нать, а вам от папы трепка.

А Раиска нахальне:

— Я бы все одно в суд подала, что у тебя карты фальшивы.

— Как это фальшивы?

Она искусственно захохотала:

— А вот эк!

Выхватила колоду да к себе под карсет.

— Докуль у меня рюмку-другу не выпьете, дотуль не отдам.

Делать нечего. Дорогой гость две-три рюмочки выкушал и пал на ковер. В графине было усыпаюшшее зелье. Шпионы выскочили из-за ширмов, раздели сонного догола и кошелек нашли. Тело на худой кляче вывезли далеко в лес и хвоснули в овраг, куда из помойных ям вываливают.

На холоду под утром Мартын очнулся. Все вспомнил:

— О, будь ты проклята, королевнина гостьба! Куда теперь подамся, нагой, без копейки?

Како-то лохмотье вырыл, завесился и побрел лесом. Думат: «Плох я сокол, что ворона с места сбила».

И видит: яблоки растут белого цвету.

— Ах, как пить охота!

Сорвал пару и съел. И заболела голова. За лоб схватился, под рукой два волдыря. И поднялись от этих волдырей два рога самосильных.

Вот дак приужахнулся бедный парень! Скакал, скакал, обломить рогов не может. Дале заплакал:

— Что на меня за беды, что на меня за напасти! Та шкура разорила, пристрамила, разболокла, яблоком объелся, рога явились, как у вепря у дикого. О, задавиться ли, утопиться?! Разве я кому надоел? Уйду от вас навеки, буду жить лучче с хичныма хехенами и со львами.

Во слезах пути-дороженьки не видит и наткнулся опять на яблоню. Тут яблочки красненьки, красивы.

— Объистись разве да умереть во младых летах?..

Сгрыз яблоко, счавкал друго — головы-то ловко стало. Рукой схватился и рога, как шапочку, сронил. Все тело согрелось, сердце звеселилось, и напахнула така молодось, дак Мартын на голове ходить годен.

Нас бы с вами на ум, Мартына на дело: этих красных молодильных яблоков нарвал, воротился на старо место, рогатых яблоков натряс, склал за пазуху и побежал из лесу.

Дорога в город повела, а Мартынко раздумался:

«В эдаких трепках мне там нельзя показаться. В полицу заберут».

А по пути деревня, с краю домик небольшой — и старуха кривобока крыльцо пашет. Мартынко так умильно:

— Бабушка, дозвольте в ызбу затти обогреться. Не бойтесь этих ремков, меня бродяги ночесь раздели.

Старуха видит: парень хоть рваной, а на мазурика не похож — и запустила в кухню. Мартынко подает ей молодильного яблока:

— Баба, на-ко съешь!

Баба доверилась и съела.

— Парень, чем ты меня накормил, будто я вина испила?

Она была худа, морщевата, рот ямой; стала хороша, гладка, румяна.

— Эта я ли? Молодец, как ты меня эку сделал? Мне ведь вам нечем платить-то!

— Любезна моя, денег не надо. А нет ли костюма на мой рост — мужнева ли, братнева ли? Видишь, я наг сижу.

— Есь, дитетко, есь!

Отомкнула сундук:

— Это сынишка моего одежонка. Хоть все по-

неси, андел мой, благодетель!.. Оболокайся, я самоварчик согрею.

Мартыну гостить некогда. Оделся в простеньку троечку и в худеньки щиблеты, написал на губы усы, склал свои бесценны яблоки в коробок и пошел в город.

У Раискиных ворот увидел ейну стару фрелину:

— Яблочков не прикажете-с?

— Верно, кисляшши.

— Разрешите вас угостить.

Подал молодильного. Старой девки лестно с кавалером постоять. Яблоко на обе шшоки лижот. И кряду стала толста, красна, красива. Забыла спасибо сказать, полетела к королевны:

— Раичка, я-та кака!

— Машка, ты ли? Почто эка?

— Мушшина черноусой яблочком угостили. Верно, с этого… У их полна коробка.

— Бежи, ростыка, догоняй. Я куплю, скажи: королевна дорого даст!

Мартынка того и ждал. Завернул пару рогатых, подает этой Машки:

— Это для барыни. Высший сорт. Пушшай едят на здоровье. За деньжонками потом зайду.

Раиска у себя в спальны зеркалов наставила,

хедричество зажгла, стала яблоки хряпать:

— Вот чичас буду моложе ставать, вот чичас сделаюсь тельна, да румяна, да красавица…

Ест яблоко и в зеркало здрит и видит — на лбу поднелись две россохи и стали матеры, и выросли у королевны рога долги, кривы, кабыть оленьи.

Ну уж эту ночку в дому не спали. Рога те и пилой пилили, и в стену она бодалась — все без пользы.

Как в зеркало зглянет, так ей в омморок и бросат.

Утром отправили телеграмму папаше, переимали всех яблочных торговцев, послали по лекарей.

Нас бы с вами на ум, Мартына на дело: наклеил бороду, написал морщины, наложил очки. Срядился эким профессором и с узелочком звонится у королевиной квартеры:

— Не здесь ли больная?

— Здесь, здесь!

Раиска лежит на постели, рошшеперя лапы, и рога на лямках подвешаны. Наш дохтур пошшупал пуп — на месте ли, спросил, сколько раз до ветру ходила, и были ле дети, и были ле родители, и не сумашеччи ле были, и папа пьюшшой ле, и кака пинтература?

Также потребовал молоток, полчаса в пятки и в

темя колотил и дышать не велел. Тогда говорит:

— Это вполне научное явление с рогами. Дайте больной съись два куска мыла и ташшыте в баню на снимок.

Она ела-ела, тогда заревела:

— О, беда, беда! Не хочу боле лечицца-а! Лучче бы меня на меленки смололи-и, на глину сожгали, на мыло сварили-и!

Тут Мартын выгонил всех вон и приступил накоротки:

— Я по своей практике вижу, что за некотору подлось вам эта болесь!

— Знать ницего не знаю, ведать не ведаю.

Тогда добрый лекарь, за рога ухватя, зачал ей драть ремнем:

— Признавайся, дура, не обидела ле кого, не обокрала ле кого?!

— О, виновата, тепере виновата!

— В чем виновата?

— У тятенькиного министра карты высадила.

— Куда запехала?

— Под комод.

Мартын нашел карты. Достал молодильные яблоки:

— Ешь эти яблоки!

— О, боюсь, боюсь!

— Ешь, тигра рогатая!

Она яблоко съела — рога обмякли и отпали; друго съела — красавица стала.

Была черна, суха, стала больша, красна, налита!

Мартынко взглянул, и сердце у него задрожало. Конешно, против экой красоты кто же устоит! Глядел, глядел, дале выговорил:

— Соблаговолите шайку воды.

Подала. Он бороду и краску смыл. Раиса узнала — где стояла, тут и села.

Мартынко ей:

— Рая, понапрасну вы на меня гору каменну несли. Это я из-за многих хлопот не поспел вас тогда высмотреть, а тепериче страстно абажаю.

Дальше нечего и сказывать. Свадьба пошла у Мартынка да у Раиски. Песни запели, в гармонь заиграли.

Вот и живут. Мартынко всех в карты обыгрывать, докуль этих карт не украдут. Ну а украдут, опять и выпнут Мартына.

Данило и Ненила

В некотором месте королёшко был старой, утлой, только тем поддярживался, что у его в секрете вода была живая. Каждо лето на эти воды ездил, да от воды наследники не родятся. Люди натака́ли знающу старуху. Старуха деньги взяла вперед и велела королевы нахлебаться щучьей ухи. Щуку купили, сварили, ушки поела королева и ейна кухарка. И с этой ухи обрюхатели. Стара королиха принесла одного Федьку-королька, а у молоденькой кухарки родилось два сына, два белых сыра — Данилко да Митька, по матери Девичи.

Время идет, Данило рос, как на опары кис, Митька не отставал, а королек все как котенок. Он с мала врали'на был, рева и ябеда. Братья много из-за него дёры схватили. И в училище Данило впереди учителя идет, а Федька по четыре года в каждом классе.

Вот пришли молодцы в совершенны лета. Данило Девич красавец и богатырь; высок — под полати не входит. И Митька в пару. А Федька-королек — чиста облизьяна. Отчишко оногды спьяна розмяк, своей шипучей воды сыну полрюмки

накапал, да росточку-то уж не набавил.

А хоть сморчок — да королю сын. Куда поедет — на мягких подушках развалится, а Данило — красавец, да на облучке сидит.

Вот однажды Федькин отчишко прилетел с рынку, тычет наследника тросью:

— Ставай, дармоедина! Счастье свое просыпаш! Соседка наша Ненила Богатырка, из походу воротивши, замуж засобиралась. Женихи-ти идут и едут. Из ейной державы мужики наехали, дак сказывают. А добычи-то военной, добра-то пароходами притянула! Деветь неверных губерен под свою руку привела. Небось не спала!!

— Я, папенька, воевать боюсь.

— Где тебе воевать, обсечек короткой! Тебе чужо царство за женой надо взять… Ох, не мои бы годы!.. Ненилка та — красавица и молода, а сама себя хранит как стеклянну посуду. А работница! Бают, жать подет, дак двенадцать суслонов на упряг. А сенокосу-то у ей, пашни-то! Страм будет, ежели Ненилину отчину, соседню, саму ближню, чужи люди схватят.

— Папенька, мне бы экой богатыркой ожениться. Люблю больших да толстых, только боюсь их, издали все смотрю.

— Ты-то любишь, да сам-от не порато кус лако-

мой. Ей, по сказкам-то, матерого да умного надо. Испытанья каки-те назначат, физическу силу испытыват. Однако поезжай.

— Я Данилку возьму.

— Да ведь засмеют. Ты ему до пупа!

— Адиёты! Кто же будет ровнеть мужика с королями.

Все же к Федькиным новым сапогам набавили каблуки вершка на четыре. А у Данила каблуки отрубили. Дале — Федьке под сертук наложили ватны плечи и сверьху золоты аполеты, также у живота для самовнушения. Подорожников напекли и проводили на пристань. Плыли ночь. Утре в Ненилином городе. Чайку на пристани попили и к девети часам пошли на прием к королевы. Дворец пондравился — большой, двоеперёдой, крашеной, с подбоями, с выходами.

Думали, впереди всех явятся, а в приемной уж не мене десятка женихов и сватовей. Королек спрашиват секретаря:

— Королева принимают?

— Сичас коров подоят, и прием откроитсе.

А публика на Данила уставилась:

— Это какой державы богатырь?

Федьке завидно, командует на парня:

— Марш в сени!

А министры Федьку оприметили, докладывают Ненилы:

— Осударына, суседского Федьку испытывайте вне всяких очередей и со снисхождением. Ихна держава с нашей — двор возле двор. Теперь вам только руку протянуть да взять.

— Ладно, подождет. Открывайте присутствие, а я молоко разолью да сарафанишко сменю.

Погодя и она вышла в приемну залу. Поклонилась:

— Простите, гости любящи, задержалась. Скота обряжала да печь затопляла.

Федька на богатырку глянул, папироса из роту выпала. Девка — как Волга: бела, румяна, грудь высока, косы долги, а сама полна, мягка, ступит — дак половица гнется, по шкалам посуда говорит. Федька и оробел. Королевна тоже на его смотрит: «Вот дак жених — табачна шишка, лепунок...» И говорит:

— Твоя робоча сила нать опробовать, сударь. У меня в дому печи дров любят много. Бежи, сруби вон лишну елку, чтобы окна не загораживала.

Федька затосковал — ель выше колоколен, охвата в три. Однако нашелся:

— Стоит ли костюм патрать из-за пустяка. Это и мой кучер осилит.

У Данилы топор поет, щепа летит. Ненила в окно зглянула, замерла:

— Откуль экой Бова-королевич?! Где экого архандела взели?

Королек сморщился:

— Я сказал, что мой кучер.

Зашумело, ель повалилась. Ненила пилу со стены сдернула:

— Побежу погреюсь. Роспилю чурку-другу.

Одночасно Данило да Ненила печатну сажень поставили, хотя не на дрова, а друг на друга глядели.

Да с погляденья сыт не будешь.

Утром королек торопит:

— Сударына, когда же свадьба?

— Добро дело не опоздано. Нам еще к венцу-то не на чем ехать. Зимой дядя от меня у подряду дрова возил, дак топере кони-ти на волю спушшены. Дома один жеребеночек, в упряжи не бывал. Ты бы объездил.

Федька сунулся в конюшну, пробкой вылетел. Конь — богатырю ездить — прикован, цепи звенят.

— Таких ли, — Федька говорит, — я дома рысаков усмиряю, а этого одра мой Данилко объездит.

Данило не отказался, спросил бычью кожу,

выкроил три ремня, свил плеть в руку толщиной, пал на коня. Видели — богатырь на коне сидит, а не видели повадки богатырские. Только видят: выше елей курева стоит, курева стоит, камни, пыль летят.

Королек от такого страху давно в избу убрался и дверь на крюк заложил. Одна Ненила середи двора любуется потехой богатырскою. Двор был гладок, укатан, как паркет, конь и всадник его что плугом выорали. Теперь на жеребца хоть робенка сади.

Назавтра и Федька, разнарядясь, верхом проехаться насмелился. Конешно, Девич повода держал.

Советники к Ненилы накоротки заприступали:

— Как хотите, сударыня, а Федькины земельны угодья опустить нельзя. Дозвольте всесторонне осветить по карты. Вот ихна держава, вот наша. Вот этта у их еловы леса, этта деревья кедровы…

— Мне спать не с деревом кедровым и еловым, а с мужиком! Дня три поманите.

Ненила грубо советникам отрезала, а сердце девичье плачет.

Веселилась, да природумалась, радовалась, да приуныла, пела, да закручинилась. Полюбила Даниловы кудри золотые, завитые.

День кое-как, а ночью — соболино одеяло в ногах да потонула подушка в слезах:

— Данилушко, я твой лик скоро не позабуду!

И во сне уста сами собою именуют:

— Данилушко!

Данилушко не дурак, это заметил. Тоже сам не свой заходил. Ненила где дак бойка, а тут не знает, как быть. И сроку не то что дни, часы остались считаные.

Данило пошел на заре коня поить, Ненила навстречу. Мешкать некогда. Он выговорил:

— Неужели, госпожа, ты моя да моя?!

— Уж и вправду, господине, твоя да твоя!!

И любуют друг друга светлым видом и сладким смехом.

Федька это вышпионил, сенаторам наскулил. Сенаторы опять поют:

— Ох, государыня… Конечно, Федька против Данилы — раз плюнуть, но ведь за Федькой-то земельных угодьев у-ю-юй!

Ненила заплакала:

— Ах вы, бессóвестны хари! Я на двенадцати войнах была, разве мало земли добыла?!

Сенаторы Ненилу зажалели, отступились уговаривать. Корольку сказали:

— Наша Ненила досюль была спяща красавица.

Данило ее разбудил. Пущай она дичат как знат.

Федька взял да купил знающу личность по медицине. Личность дала травы сбруне́ц, от которой память отымается. Федька подсыпал сбрунца́ Нениле в чай. Она выпила две чашки и сделалась без понятия. Федька забегал по дворцу:

— Сию минуту сряжать королевну под венец!!

Фрейлины испугались, что Ненила молчит, однако живо обрядили, к венцу повезли. Тут Девич налетел, растолкал свадебников, схватил Ненилу за руку:

— Госпожа! Ты помнишь ли?

Она долго на него смотрела:

— Ваша личность мне кабыть знакома…

Он заплакал навзрыд. Ушел к морю.

На обрученье Ненила только одно слово выговорила:

— Данилушко, ты у меня слезами полит, тоскою покрыт!

Ей ни к чему, что возле-то Федька.

Сенаторы и народ засморкались, слезы заутирали. И как венчать стали, невеста второ слово высказала:

— Венчается Данило Нениле, а маленька собачка Федька не знай зачем рядом стоит.

Тут весь народ и с попами по домам полетели:

— Это свадьба не в свадьбу и брак не в брак!

Личность, у которой королек траву купил, тоже спокаялась, отыскала Девича, шепчет ему:

— Не реви! Этот угар у королевны к утру пройдет. Мы обманули Федьку. Он на месяц дурману просил, а мы дали на сутки.

А Федька скорехонько погрузил Ненилу на пароход. Она в каюте уснула как убита. Плыть всю ночь. Данило вахту дежурит. По морю лед идет весенний, по молодецкому лицу — слезы.

И королек свое дело правит. Подкрался да оглушил Девича шквóрнем. Тело срыл в море.

Утром берег стал всплывать и город.

Федька ходит козырем:

— Ненилка месяц будет не в уме. Я ее выучу по одной половице ходить.

Повернулся на каблуке, а Ненила сзади стоит, здорова и в памяти, только брови, как медведи, лежат:

— Я как сюда попала?

У Федьки живот схватило:

— Вы, значит, со мною обвенчавши. И плывете, значит, в наши родные палестины-с!

Ненила вдруг на палубу упала, руки заломила:

— Что со мной стряслось? На войне я была удала и горазда, а тут…

Она вдруг сделалась стра́шна, гро́зна:

— Где Данило Девич?!

— Данило накачался на свадьбе как свинья; не свалился ли в воду с пьяных глаз…

Но тут пароход к пристани заподоходил. Музыка, встреча, отчишко с министрами, народ. В пристанском буфете сряжен банкет. Все в одну минуту напосудились без памяти. Явился Митька пытать о брате. Королек насильно налил Митьку вином, с отцом пошушукался, и под шумок стянули они пьяного в лодку. Отчишко уплавил тело к морю, валил на пески, ножом вывертел сонному глаза и угреб обратно.

А Федька, как за стол-то воротился, думает: ничего никто не приметил. Глядь, Ненила подходит:

— Кого куда в лодке повезли?

— Митьку, Данилкинова брата, папаша вытрезвлять поехал.

Мать Данилы да Митрия тут привелась, заревела медведицей:

— Убивать повезли моего детища! И Данилу убили!!

На дворе тишина стала. Ненила, как туча грозова, приступила к Федьке:

— Где Данило?!

Королек завертелся собакой:

— С пароходу пьяной упал, на моих глазах захлебнулся.

Матка опять во весь двор:

— Врешь ты, щучий сын! Не пьет мой Данилушко, в рот не берет. Где они?! Где мои рожоны дети?!

Ненила королька за плечо прижала, ажно он посинел:

— Сказывай, вор, где ейны дети?!

Федька вырвался, по полу закатался, заверещал свиным голосом:

— Эй, слуги верны-ы! Хватайте мою жену Ненилку, недостойную королевского ложа! Я Данилку ейного своеручно в море спихнул, как комара, а ее, суку, на воротах расстреляю! Вяжите ее! Каждого жалую чином и деньгами!

Середи двора телега привелась ломовая, оглобли дубовы велики. Ненила Богатырка вывернула эку семисаженну снасть да как свиснет, свиснет наокруг: по двору пыль свилась с каменьем, из окошек стекла посыпались. Брызнул народишко кто куда, полезли под дом, под онбары, на чердак, на сенник, в канаву. Сутки так и хранились, как мертвы. Старой королешко ухватил с собой десяток мужиков поудалее да на двух телегах и удрал

неведомо куда.

Воля во всем стала Ненилина.

Перво дело она послала людей к морю искать Данила и Митрия, да от себя подала во все концы телеграмы. Посыльны бродили неделю, принесли голубой Данилов поясок:

— Не иначе, рыбы съели братанов. По берегу есть костья лежит.

Ненила убрала в сундук цветны сарафаны, наложила на голову черной плат. Ни с кем боле не пошутит, не рассмехнется. День на управленье да при хозяйстве, а после закатимого сядет одинехонька у окошка, голубу Данилову опояску к сердцу прижмет и запричитат:

Птичкой бы я была воронкой,
Во все бы я стороны слетала,
Под каждо бы лесинку заглянула,
Своего бы дружочка отыскала.
Месяц мой светлый,
Почто рано погиб?!
Цвет мой прекрасный,
Почто рано увял?!

Народ-от мимо идут, дак заслушаются.

А Федьки королевна объявила:

— Не знаю, что скажет осень, а нонешно лето будь ты пастух коровий в Митькино место.

Он и пасет, вечером домой гонит. Ненила с подойником у хлева ждет и считат, все ли коровы. Пересчитат и велит корольку последню под хвост поцеловать. Эта корова так уж и знат. Дойдет до конюшны, остановится и хвост подымет.

А Данило не утонул, с парохода упал. Примерз рукавом к льдине. Утром прикачало к берегу. А встать не может — ноги умерли с морозу. Федьки боится, в лес на коленцах бежит, ноги, как кряжи, волокет. И вдруг слышно — лес трещит впереди. Не медведь ли? И закричал:

— Зверь али человек?!

И увидел слепого брата. Поплакали, посидели, россказали друг другу.

— Помрем лучше, братец, — говорит слепой, — кто нам рад, эким-то?

— По миру будем ходить, коли работать не заможем, — утешат безногой. — У тебя ноги остались, у меня глаза. Посадишь меня на плечи, целой человек и станет. А теперь затянемся в та́йболу, переждем, не обойдецце ли Федькино сердце.

Зашагал слепой под север, на себе несет брата, тот командует:

— Право!.. Лево!.. Прямо!..

У глухого озера нашли избушку — от ветру, дождя схорониться. Связали из вичья морды-ловушки, рыбку промышляют.

Ненилины послы далеко заходили, а глухого озера половины не дошли.

Живут братья, бывать, и месяц.

Оборвались, в саже умаралась. Данило и сказыват:

— Вот что, Митя, зима этта пострашнé будет Федьки. Топора нет, ножа нет, соли нет, спичек нет. Надо выходить на люди. Я надумал вот чего попытать. Отсюда под юг должна быть трактова дорога. Я смала езжал. По дороге, все под юг идти, Федькиного отчишка летней дом с садом. В саду гора, в горы две дыры вьюшками закрыты. Одна дыра — шипучих минеральных вод, друга дыра — огнедышаща, подземну лаву выкидыват. Шипуча-та вода прежде всем хромым, слепым пользу подавала. Про это заграбучий Федькин папенька пронюхал, сад и гору каменьем обнес, никому ходу не стало. Только сам летом окатываться да пить наезжат. К этой воды станем-ко подвигаться.

У озера отмылись, вяленой рыбки увязали, сел хромой слепому на плечи, командует:

— Право!.. Лево!.. Прямо!..

Подойдут да полежат у ручейка либо где ягод побольше. Нашли трактову дорогу, по дороге в сутки добрались до королевской дачи. Кругом горки и сада высоченна ограда. Рядом деревнюшка. В деревню бедны странники и зашли. Кресьяне забоялись эких великанов, на постой не пускают. Что делать? Сели у колодца, рыбки пожевали, напились. И пришла по воду девица, то́ненька, бе́ленька, личушко как яичушко, одета пряжей по-деревенски. Данило и заговорил:

— Голубушка, не бойся нас, убогих людей, мы случаем жили в лесу, оборвались, обносились. Приволоклись сюда по добру живу воду.

Девица покачала головой:

— Напрасно трудились, бедняжки. Единой капли не добудете. Видите, коль ограда высока. А теперь королешко приехал, дак и близко ходить не ведено.

— Старик приехал? Когда?

— Да уж около месяца. Прикатили на двух телегах, кони в мыле… Не стряслось ли чего в городе?

Данило весь стрепенулся — не моя ли там желанна воюет? Да поглядел на свои ноги, приуныл: кому я, увечной, надо?.. Дале говорит:

— Голубушка, обидно ни с чем уходить. Охота здесь вздохнуть хотя недельку. Не слыхала ли

баньки, кухонки порозной? У нас цепи есть серебряны, мы бы хлебы и постой оплатили.

Девица на братьев посмотрела: хоть рваны, убоги, а люди отмени'ты, приятны, красивы, обходительны.

— У меня горница свободна. Я одна живу сирота. За постой ничего не надо. Я портниха, зарабатываю.

Девицу звали Агнея. Братья тут и стали на постое.

Данило на хозяюшку все любуется, свою зазнобу вспоминат, а Митя разговору не наслушался бы. Настолько Агнея приветлива, розумна, рассудительна. Данило и спрашивает:

— Скажи-ко, Агнея, старик-от в деревню показывается ли?

— Навеку не бывал. Только и видим — в усадьбу едет да оттуда.

— О, горе наше, горе! Чашечку бы, ложечку этой доброй водички — стали бы целы. Помрем лучше, Митька!

Агнея слушат, зашиват ихну одежду, свою думу думат. Назавтра принесла деревенски вести:

— Королешко-то сторожа в деревню гонял, нет ли бабы для веселья… Жалею я вас, молодцы, может, ради водички схожу туда?

— Брось, Агнея! Слушать негодно!

Вечером она срядилась по-праздничному:

— Я, братцы, к девушкам на игрище.

Вот и отемнало, люди отужнали, ей все нету.

Митрий пошел к соседям:

— Сегодня игрище где?

— В страду что за игрища?!

Братья заплакали:

— Она туда ушла! Ушла ради нас!

А она и идет:

— Не убивайтесь, каки вы эки мужики! Никто меня не задел. Уверилась только, что воды ни за каки услуги старичонко не даст. Добром никак не взять, надо насильно.

Митька перебил:

— Ты, Агнея, с краю сказывай.

— Я даве, нарядна-то, прохаживаюсь возле ворот, меня король и оприметил. Сторожа выслал. «Пожалуйте в сад». Зашла, трясусь, а королешко возле ездит, припадат, лижет. Я будто глупенька — зачем гора, и зачем вода, и кто сторожит? Он вилял, вилял, дале рассказал. Перва от ограды труба и есть минеральня, дальня огнена. Крышки у труб замкнуты и ключи затаены. Вам придется ломать. Вся дворня спит в дому. У ворот один сторож. Вот, братаны, завтра у нас либо грудь в

крестах, либо голова в кустах. Сегодня я отдулась, завтра ночевать посулилась. Вы к ночи-то, будто пьяны, валяйтесь там у ворот. Я караульного напою и вас запущу.

— Благодарствуем, Агнеюшка, целы уйдем — в долгу у тебя не останемся.

На другой день, на закате, Агнея опять приоделась, в зеркало погляделась — лицо бумаги беле. Нарумянилась и брови написала, в узелок литровку увязала, простилась, ушла. Как вовсе смерклось, и хромой со слепым полезли туда же. Один ломом железным подпирается вместо клюки, другой на короушках ползет, видно, что оба пьяне вина. Дальше стены пути не осилили. Тут запнулись, тут захрапели.

И Агнея свое дело правит. Позвонилась, со сторожем пошутила, бутылку ему выпоила. Короля по саду до тех пор водила, пока дворня спать не легла. Как огни в дому погасли, и Агнея на отдых сторонилась. Кавалера в спальню завела, сапоги с него сдернула, раздела, укутала, себе косы расплела, да и заохала:

— О, живот схватило!

Вылетела из дому — в сторожке храпят. Ключ схватила, ворота размахнула, а хромой уж оседлал слепого. Она Митрия за руки и — в сад:

— Ближну трубу ломайте с одного удару. Лишний гром наделаете, тревога подымется, умыться не поспеете. Я побежу, старик хватился.

Старик в самом деле на лестнице ждет:

— Что долго?

— Сударь, пожалуйте в горницу! Ночь холодна.

Вдруг грохнуло где-то, окно пожаром осветило. Старик всполошился:

— Что это?

— Луна выкатилась больша, красна. А стукнуло — охотники в лесу стрелили.

Сама плешь ему одеялом кутат, обнимат, балует. В саду опять гременуло, люди забегали.

Старик соврал Агнее, что с живой водой ближний колодец, соврал не без умысла. Данило подполз на коленях к первой трубе, ахнул ломом по чугунной крыше, оттуда лава огнедышащая. На счастье, братьям опалило только волосы и одежду, а огнем осветило в стороне другой колодец. Данило бросился туда ползунком, — лом вместо костыля, да опять как грянет в чугунные затворы… Замки, краны отлетели, чохнула вода ледяна, игриста. Данило пал под поток, зовет:

— Митя, Митя!

А слепой уж тут, глаза полощет.

От доброй воды живой срослися кости с костя-

ми, вошли суставы в суставы. Данило вскочил на ноги, и Митька во все глаза смотрит — стал видеть. А радоваться некогда. Дворня бежит с топорами, с саблями. Ну, теперь-то Данило да Митрий богатыри, целы да здоровы — никого не испугаются. Как туча с громом, налетели на королевску челядь, у Данила лом в руках, у Митьки столб оградной, только воевать не с кем. Кто лежит, кто за версту бежит.

Агнею нашли, весело поздравились. Лакей — из тех, что со старичонком приехал, — выложил все новости.

— Королевство под Ненилой, а под Федькой — коровы. А королевна Ненила каждый вечер Данила оплакиват — за версту слыхать.

Данило боле не терпит:

— Сегодня же в город!

Митрий добавлят:

— Агнея с нами. Она за меня замуж согласилась.

Покатили с колокольчиком. Дорогой коней три раза кормили. В городе Митя с Агнеей на постоялом стали, Данило попозже задней улицей подошел ко дворцу. Слышит, скот мычит, Федька коров гонит. До того Данило думал: встречу, изуродую. А тут жалко стало. Спрятался за навоз-

ны вороты и видит: Ненила, в черном платке, с подойником вышла и прислонилась у конюшни. Стали коровы заходить, а последня остановилась и хвост призняла, и Федька ей целует… Этого Данило не стерпел. Налетел как орел, схватил коровенку за хвост, ажно шкура долой. И Ненилу за косу да о землю:

— Как ты можешь над мужиком эдак изгиляться??!

Ненила как с ног слетела, так и не встала. Обняла парня за праву ножечку, плачет да смеется:

— Бей меня, трепли, убивай! Ведь я твоя, твоя, Данилушко! Изгасла по тебе!

Как дорожны-ти люди в себя пришли, села Ненила с Данилом рука об руку — неделю с ним проговорила:

— Отступиться хочу здешнего Осьего гнезда. Эта все не мое и сердце ни к чему не радет. А дома короушки, осударственно управление, огороды, мельница — все на людей кинуто. Поедем ко мне, Данилушко, вместях будем королевствовать. У нас место обширно — пашня тут и сенокос тут. Агнею с Митей утенем за собой. Агнюшка нас с мели сдернула.

Вот и уехали, увезли свое счастье Данило и Ненила, Агнея и Митька. Матерь-та при них же.

А Федька с отчишком и остались на бубях.

Пронька Грезной

Было три брата, три американа, и сидели они за морем. Старшой прошел все науки и нажил больши капиталы. Однажды созвал он братьев и говорит:

— Пока сила да здоровье позволят, охота мне белой свет посмотреть и себя показать. Домой не вернусь, покамест славы не добуду.

Братья запричитали:

На кого ты нас оставляешь,
на кого ты нас покидаешь?!
Мы ростом-то велики,
а умом-то мы малы.
Уж мы лягем да не вовремя,
уж мы встанем да не во пору!

Расстроили старшого:

— Разорвало бы вас, как жалобно сказываете… Вот вам тысячу золотых на разживу.

Молодцы деньги приняли, благодарно стукнули лбом в половицу и сказали:

— Дорогой брат и благодетель! Ежели не секрет, в каку ты державу прависсе?

— Надумано у меня в российски города.

— Дорогой брат и благодетель! И нам в Америки не антиресно. Тоже охота счастье испытать. Возьми нас с собой.

— Россия страна обширна. Хотите — поезжайте, хотите — нет.

Вслед за старшим братом приезжают эти молоды американы в Питербурх. Сидят в гостиницы, головы ломают, на како бы дело напуститься. Увидали на столе календарь. В календаре на картины царь написан с дочерями. Эти дочери пондравились.

— Давай посватаимся у царя! Вдруг да наше счастье?

Послали во дворец сватью. А царские дочки были самовольны и самондравны. Кажна по четыре кукиша показала:

— Мы в женихах-то, как в навозе, роемся. Князьев да прынцов отсылам. На фига нам твои американы, шваль такая!

Младша добавила:

— Не хотят ли на нашей рыжей кобылы посвататься? Она согласна.

Так эта любовь до времени кончилась.

Теперь пойдет речь за старшим братом. Он тоже посиживат на квартиры, рассуждат сам с собой:

— Годы мои далеко, голова седа, детей, жены нету, денег не пропить, не происть. Нать дикови-ну выкинуть всему свету на удивленье.

В торговой день от скуки он пошел на толкучку и видит — молодой парень ходит следом и глаз не спускат.

Через переводшика спросил, что надо. Парень не смутился:

— Очень лестно на иностранной державы че-ловека полюбоваться. Костюм на вас первый сорт-с…

Американин портфель отомкнул, в деньгах порылся и подает парню трешку:

— Выпей в честь Америки!

А тот на портфель обзарился. Навеку столько денег не видал. Американину смешно:

— Верно, нравятся богатые люди?

— Бедны никому не нравятся.

— Имя ваше как?

— Пронькой ругают.

— Зайдите, мистер Пронька, вечером погово-рить ко мне на квартиру.

В показанное время Пронька явился по адресу. Хозяин посадил его в мягки кресла:

— Увидел я, мистер Пронька, велику в тебе жад-ность к деньгам и надумал держать с тобой пари.

Я, американский гражданин, строю на главном пришпехте магазин, набиваю его разноличными товарами и передаю тебе в пользование. Торгуй, розживайся, капиталы оборачивай, пропивай, проедай… За это ты, мистер Пронька, пятнадцать лет не должен мыться, стричься, бриться, сморкаться, чесаться, утираться, ни белья, ни одежды переменять. Мои доверенны будут твои торговы книги проверять и тебя наблюдать. Ежели за эти пятнадцать лет хоть однажды рукавом утрессе, лишаю тебя всего нажитого и выбрасываю тебя босого на улицу. Ежели же вытерпишь, через пятнадцать лет хоть во ста миллионах будь, все твое бесповоротно. Далее, как ученой человек, буду я про тебя книги писать и фотографом снимать. Вот, мистер Пронька, подумайте!

Мистер Пронька говорит:

— Живой живое и думает. Согласен.

К нотариусу сходили, бумаги сделали, подписи, печати.

Дело, значит, не шутово.

Вот наш счастливец заторговал. Пошли дни за днями, месяцы за месяцами… Первы-то годы Пронька спал по два, по три часа. Товары получат, товары отпускат — из кожи рвется, торгует. В пять годов он под себя дом каменной

— железна крыша — поставил. К десяти годам в каждом губернском городе Пронькин магазин, в каждой деревне лавка. Наблюдение за выполнением американин доверил двум своим братьям, несчастным от любви, узнавши, что они не при деле да не при месте.

День за днем, год за годом зарос Пронька, аки зверь, аки чудо морское. Лицо, руки — чернее башмаков, грива на голове метлой, бородишша свалялась, лохмотья висят. Летом дождик попадат на голову — то и мытье.

Год за годом хлебошшится в грязи, только и порадуется, что над деньгами. А денег — всей конторой считают.

Стал Пронька именитым купцом. Ездит на рысаках. Как навозну кучу, повезут по городу. Однако этой куче ото всех почет и уважение. Все у ней в долгу. Сам осударь тысячами назаймовал. К двенадцати-то годам у Проньки на царя полна шкатулка кабальных записей. Вот каку силу мужичонко забрал!

Только своего американина наш капиталист боится. Все терпит. Американин его помесячно аппаратом снимат во всяких видах, измерят, во сколько слоев грязи наросло, вшей вычислят, каждогодне насчет Проньки сочиненье издават.

В американских тиматографах стали шевелюшших Пронек показывать. Ну, экой бы славы не все рады.

Год за годом, скоро и сроку конец. И ни разу Пронька с копыл не сбился, ни разу братья-наблюдатели на него слова не нанесли.

Тут соседни державы на царя войной погрозили. Надо крепостям ремонт, надо ерапланы клеить, выпускать удушливы газы. А казна порозна.

Царь Проньки записку:

— Одолжите полдесятка миллиончиков.

Пронька сдумал думушку и не дал. Царь, подождав, посылат министра. Пронька сказался, что болен. Царь лично прикатил:

— Ты что, сопля пропашша, куражиссе? Как хошь, давай денег!

— Никак не могу, ваше величие! Вы и так в долгу, что в море, — ни дна, ни берегов.

— Хошь, я тебя, бандита, енералом пожалую?

— Даже в графы нам и то не завлекательно. А коли до самого дела, дозвольте с вами породниться и вашу дочь супругою назвать.

— Что ты, овин толстой! Что ты, вшива биржа! Да поглядись-ко ты в зеркало…

— В зеркало мы о святках смотряли, и вышло,

что воля ваша, царская, а большина наша, купецкая.

У царя губы задрожали:

— Ты меня не заганивай в тоску, сопля пропашша!.. А у меня девки-то три, котора нать?

— Каку пожалуете.

— Тогда хоть патрет сресуй увеличенной с твоей рожи. Я покажу, быват, котора и обзарится. Только имей в виду — в теперешне время нету настояшшого художника. Наресуют, дак блевать и кинет.

За мастером дело не стало. В три упряга окончено в красках и приличной раме.

Пронька со страху прослезился:

— Сатаной меня написали… Знают, как сироту изобидеть… Уж и кажной-то меня устрашится, уж и всяко-то меня убоится!..

Царь на портрет взглянул, оробел, старших девок кличет:

— Вот, дорогие дочери! Есть у меня про вас жених. Конечно, по внешности так себе, аригинальный старичок, зато комерсант богатеюшшой.

Старша глаза взвела на картину, с испугу в подпечек полезла. Папа ей кочергой добывал и ухватом — все напрасно. Друга дочка сперва тоже заревела, дале сграбилась за раму да с размаху

родителю на голову и надела…

Младша дочь явилась, папаша сидит в картины и головой из дыры навертыват:

— Вот, дорогая дочь, сватается денежный субъект. Не гляди, что грезишша да волосишша, он тебя обажать будет нельзя как лучче…

Девка его пересекла:

— Плевать я хотела, что там обажать да уважать! Ты мне справку подай, в каких он капиталах, кака недвижимость и что в бумагах!..

Она с отчишком зашумела. В те поры старша из подпечка выбралась да к середней сестры катнула:

— Сестрича, голубушка, татка-то одичал, за облизьяна за шорснатого замуж притугинива-а-ат! Убежим-ко во болота во дыбучи, а мы схоронимся в леса да во дремучи!

— В дыру тебя с лесом! Мы в Америку дунем. Черт ли навозного лаптя лизать, когда нас американы дожидаются.

У старшухи слезы уж тут:

– Ох, чужедальня та сторонушка,
Она слезами поливана,
Горьким горем огорожена…

— Реви, реви, корова косая! Вот уже таткин

облизьян обнимать придет.

— О, не надо, не надо!

— Не надо, дак выволакивай чемоданы, завязывай уборы да сарафаны! А я фрелину к тем понаведаться сгоняю.

Два брата, два американа рады такому повороту. Ночью подали к воротам грузовик, чемоданы и обеих девок погрузили да и были таковы. Дале и повенчались, и в Америку срядились на радостях. Мужья рады дома женами похвастаться. Жены рады, что от Проньки ушли.

Царь как узнал, что дочки к американам упороли, только для приличия поматерялся, про себя-то доволен, что на свадьбу изъясниться не нать.

Тут Пронькины пятнадцать годов на извод пришли. У него мыло просто и душисто пудами закуплено, мочалок, веников, дресвы возами наготовлено. Везде по комнатам рукомойники медны, мраморны умывальники, а также до потолку сундуков с костюмами зимними, летними, осенними, весенними и прочих сезонов.

В последний нонешний денечек является Пронька к своему американину. Опять к нотариусу сходили, все договоры разорвали, по закону ни во что положили и любезно распростились. Пронька, что птичка, на волю выпорхнул.

Радось за радосью — царь объявляет о дочкином согласии. Поторговались, срядились. На остатки нареченной жених говорит:

— Итак, через полмесяца свадьба. В венчальной день публика увидит неожиданной суприз.

На друго утро он снял под себя городски бани на две недели и пригласил двенадцать человек баншиков и двенадцать паликмахтеров. И вот бани топятся, вода кипит, аки гром гремит, баншики в банны шайки, в медны тазы позванивают. Паликмахтеры в ножницы побрякивают.

Неделю Проньку стригли садовыми ножницами, скоблили скобелем, шоркали дресвой и песком терли. Неделю травили шшолоком, прокатывали мылами семи сортов, полоскали, брили, чесали, гладили, завивали, душили, помадили.

В венчальной день двенадцать портных наложили царскому жениху трахмальны манишки, подали костюм последней париской моды, лаковы шшиблеты и прочее.

И как показался экой жентельмен на публику, дак никто буквально не узнал. А узнали, дак не поверили. Он явился, как написаной, бравой, толстой, красной, очень завлекательной. Царевна одночасно экого кавалера залюбила. До того все козой глядела, а тут приветлива сделалась,

говорунья. Свадьба была — семь ден табуном плясали, лапишшами хлопали, пока в нижной этаж не провалились, дак ишшо там заканчивали.

А Пронькин американин, приехавши на родину, не избежал некоторой неприятности. Американска власть на его заобиделась, что пятнадцать лет в России потратил, эдаки деньги на вшивого мужичонка сбросал.

— Неужели, — власть говорит, — ты за эстолько лет не мог его соблазнить хоть раз сопли утереть?

Тогда достойной субъект показал им пятнадцать научных изданных томов насчет Проньки. Также открыто спросил:

— Разве вы не в курсе, что две особы императорской фамилии вышли замуж за американов и принели американску веру?

Власти говорят:

— Это мы в курсе. Вот этот случай — велика честь. Америка гордицца теми двумя молодцами.

— Дак эти два молодца мои родны братья. Кабы не я да не мой Пронька, им царских-то дочек не понюхать бы!

Публика закричала «ура», тем и кончилось.

Варвара Ивановна

У Якуньки была супруга Варвара Ивановна. И кажной день ему за год казался. Вот она кака была зазуба, вот кака пагуба. Ежели Якунька скажет:

— Варвара Ивановна, спи!

Она всю ночь жить буде, глаза пучить. А ежели сказать:

— Варвара Ивановна, сегодня ночью затменье предвешшают. Посидите и нас разбудите.

Дак она трои сутки спать будет, хоть в три трубы труби.

Опять муж скажет:

— Варя, испекла бы пирожка.

— Не стоишь, вор, пирогов.

А скажет:

— Варя, напрасно стряпню затевашь, муку переводишь…

Она три ведра напекёт:

— Ешь, тиран! Чтобы к завтрию съедено было!

Муж скажет:

— Варя, сходим сегодня к тетеньке в гости?

— Нет, к здакой моське не пойдем.

Он другомя:

— Сегодня сватья на именины звала. Я сказал

— не придем.

— Нет, хам, придем. Собирайся!

У сватьи гостей людно. Варвара пальцем тычет:

— Якунька, это чья там толстомяса-та девка в углу?

— Это хозяйская дочь. Правда, красавица?

— А по-моему, морда. Оттого и пирогов мало, что она всю муку на свой нос испудрила.

Муж не знат, куда деться:

— Варя, позволь познакомить. Вот наш почтеннейший начальник.

— Почтеннейший?.. А по виду дак жулик, казнокрад.

Тут хозяйка зачнет положенье спасать, пирогом строптиву гостью отвлекает:

— Варвара Ивановна, отведайте пирожка, все хвалят.

— Все хвалят, а я плюю в твой пирог.

И к Варваре кто придет, тоже хорошего мало.

Который человек обрадуется угощению, тот ни фига не получит, а кто ломаться будет, того до смерти запотчует.

Мода пришла — стали бабы платьишки носить ребячьи. Варвара наросьне ниже пят сарафанов нашила. Всю грязь с улицы домой приташшит.

Вот кака Варвара Ивановна была: хуже керосина. Она и рожалась, дак поперек ехала. Муж из-за такого поведения сильно расстраивался:

— Ах ты… проваль тебя возьми! Запехать разве мне ей на службу. Может, шелкова бы стала?

Вот наша Варвара Ивановна на работу попала. Ежели праздник и все закрыто, дак Варвара в те дни черным ходом в учрежденье залезет и одна до ночи сидит, служит, пишет да считат. А ежели объявят:

— Варвара Ивановна, эта вся будет спешна неделя. Пожалуйста, без опозданиев…

Дак Варвара всю эту неделю назло дома лежит.

Настанет праздник какой, Варвара одна в учрежденье работу ломит.

Муж дак за тысячу верст рад бы от этой Варвары уехать, из пушки бы ей рад застрелить.

Оногды идет он со службы, а домой неохота. И видит: дядьки на бочке за город едут. Ах, думает, хорошо б и мне перед смертью на лоно природы.

— Дяденька, подвези!

За папиросу вывезли и Якуньку за город. Стали навоз в яму сваливать. Яма страшна, глубока. Якуня думат:

— В эту бы яму мою бы Варвару Ивановну!

Яма смородинным кустьем обросла. Это Якуня

тоже на ус намотал. Домой явился:

— Хотя ноне и лето, ты, Варвара, за город ни шагу!

— Завтра же с утра отправимся! И ты, мучитель, со мной.

Утром бредут за город. Варвара Ивановна, чтоб не по-мужневу было, задью пятится.

К ямы подошли, к смородиннику. Якунька заявил:

— Мои ягоды!

— Нет, холуй, мои! Лучче и не подступайся!

Замахалась, скочила в куст, оступилась и ухнула в яму. Якунька прослезился и бросил следом три пачки папирос:

— Прости, дорогая!

Затем домой воротился. Никто его не ругат, никто его не страмит. Самоварчик наставил, сидит, радуется:

— Вот кака жисть пошла приятная!

Однако соседи вскоре заудивлялись, почему из Варвариной квартиры ни крыку, ни драки не слыхать. Донесли в участок, что не на кирпич ли даму пережгли, боле не орет. Начальник вызвал Якуньку:

— Где супруга?

— Дачу искать уехала.

— Смотри у меня!

Якунька до полусмерти напугался:

— Лучше побежу я добывать свою Варварку.

С веревкой полетел к ямы. Припал, слушат… Писк, визг слыхать…

…А вот и Варин голосок…

Слов не понять, только можно разобрать, что произношение матерное. Якунька конец размотал. Начал удить:

— Эй, Варвара! Имай веревку! Вылезай!

Удит и чует, что дернуло. Конец высбирал, а в петле кто-то боязкой сидит, не боле фунта. Якунька дрогнул, хотел эту бедулину обратно тряхнуть, а она и проплакала:

— Дяденька, не рой меня к Варвары! Благодетель, пожалей!

— Вы из каких будете?

— Я Митроба, по-деревенски Икота. Мы этта в грезной ямы хранились, митробы, инпузории. Свадьбы рядили, сами собой плодились. И вдруг эта Варвара на нас сверху пала, всех притоптала, передавила. Папиросу жорет, я с табаку угорела. О, кака беда! Хуже сулемы эта Варвара Ивановна, хуже карболовой кислоты!

Якунька слушат да руками хлопат:

— Ах да Варвара! Ну и Варвара! А все-таки по

причине начальства приходится доставать.

— Якуня, плюнь на их на всех! Порхнем лучче от этого страху в Москву.

— Что делать-то будем?

— Там делов, дак не утянешь на баржи. За спасение моей жисти от Варвары я тебя наделю капиталом. Я Митроба и пойду вселяться по утробам. За меня дохтура примуцца, а я их буду поругивать да тебя ждать. Ты в дом, я из дому.

Якунька шапку о землю:

— Идет! Отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая!

Митроба завезалась в шелково кашне, на последни деньги билет купила да в Москву и прикатили. На постоялый двор зашли, сели чай пить. Икота в блюдце побулькалась, заразговаривала:

— По городу ле в киятры ходить, у меня платье не обиходно, да и на Варвару боюсь нарвацца. Лучче без прогулов присмотрю себе завтра барыну понарядне да в ей и зайду.

— Как зайдешь-то?

— Ротом. С пылью ле с едой.

— А мне что велишь?

— Ты в газету объяви, что горазен выживать икоты, ломоты, грыжу, дрип.

Утром Якунька в редакцию полетел, а Мит-

роба в окне сидит, будто бы любуется уличным движением. Мимо дама идет, красива, полна, в мехах. Идет и виноград немытый чавкат. Митроба на виноград села, барына ей и съела. И зачало у барыни в животе урчать, петь, ходить, разговаривать. Ейной муж схватил газету, каки есть дохтора? И читает: «Проездом из Америки. Утробны, внутренни, икоты, щипоты, черевны болезни выживаю».

Полетели по адресу. Якунька говорит:

— Условия такая. Вылечу — сто рублей. Не вылечу — больной платы просит.

Наложил на себя для проформы шлею с медью.

Приехали. Икотка барыниным голосом заговорила:

— Здравствуй, Якунюшка! Вот как я! Все тебя ждала. Да вот как я! Лише звонок, думаю, не Якуня ли! Вот как я!

Якуньке совестно за эту знакому:

— Ладно, ладно! Уваливай отсель!

Икота выскочила в виде мыша, только ей и видели. Больна развеселилась, кофею запросила. Американского дохтура благодарят, сто рублей выносят.

Теперь пошла нажива у Якуньки. Чуть где задичают, икотой заговорят, сейчас по него летят. У

Якуни пальтов накуплено боле двадцати, сапогов хромовых, катанцей, самоваров, хомутов, отюгов бывать пятнадцать.

Бедну Митробу на дому в дом, из души в душу гонит, деньги хапат. Дачу стеклянну строить зачал, думал — и век так будет. Однако на сем свете всему конец живет. Окончилась и эта легка нажива.

Уж, верно, к осени было. Разлетелся Якунька одну дамочку лечить, а Икота зауросила:

— Находилась более, нагулялась!.. Пристала вся!

Якуня тоже расстроился:

— Ты меня в Москву сбила! А кто тебя от Варвары спас?

— Ну, черт с тобой! Этта ешше хватай, наживайся! А далеша! Я присмотрела себе подходяшшу особу, в благотворительном комитете председательшу. В ей зайду, подоле посижу. Ты меня не ходи гонять. А то я тебя, знахаря-шарлатана, под суд подведу.

Якунька удобре́л:

— Ну дак извод с тобой, боле не приду. Не дотрону тебя, чертовку!

Получил последню сотенку, тем пока и закончил свою врачебную прахтику.

А Икотка в председательшу внедрилась. Эта дамочка была така бойка, така выдумка, на собраньях всех становит. Резво говорит — часа по два, по три рот не запират. Вот эдак она слово взела, рот пошире открыла, Митроба ей туда и сиганула.

Даму зарозбирало, бумагами, чернильницами зачала на людей свистать. Увезли домой, спешно узнаю't, кто по эким болезням. В справочном бюро натакали на Якуньку.

Якунька всеми ногами упирается:

— Хоть к ераплану меня привяжите — нейду!

Забегали по больницам, по тертухам, по знахарикам. Собрали на консилиум главную профессуру. Старший слово взял:

— Науке известны такие факты. Есь подлы люди. Наведут, дак в час свернет. В данном случае напушшено от девки или от бабы от беззубой. Назначаю больной десеть баен окатывать с оружейного замка.

Другой профессор говорит:

— И я все знаю скрозь. По-моему, у их в утробы лиситер возрос. Пушшай бы больна селедку-другую съела да сутки бы не попила, он бы сам вышел. Лиситер полдела выжить.

Третий профессор воздержался:

— Мы спину понимам, спину ежели тереть. А черев, утробы тоись, в тонкось не знам. Вот бабка Палага, дак хоть с торокана младень — и то на девицу доказать может.

Ну, они, значит, судят да редят, в пятки колотят, в перси жмут, в бани парят, а больна прихворнула пушше.

Знакомы советуют:

— Нет уж, вам без американского дохтура не сняцца.

К Якуньки цела делегация отправилась:

— Нас к вам натакали. Хоть двести, хоть триста дадите, а без вас не воротимсе.

Якунька весь расслаб:

— От вот каких денег я отказываюсь!.. Сам без прахтики живу, в изъян упал.

Он говорит:

— Ваш случай серьезной, нать всесторонне обдумать.

Удалился во свой кабинет, стал на голову и думал два часа тридцать семь минут. Тогда объявил:

— Через печать обратитесь к слободному населению завтре о полден собраться под окнами у недомогающей личности. И только я из окна рукой махну, чтобы все зревели не по-хорошему:

«Варвара Ивановна пришла! Варвара Ивановна пришла».

Эту публикацию грамотной прочитал неграмотному, и в указанной улицы столько народу набежало, дак транваи стали. Не только гуляющие, а и занятой персонал в толпе получился. Также бабы с детями, бабы-молочницы, учашшиеся, инвалиды, дворники. Все стоят и взирают на окна.

Якунька подкатил в карете, в новых катанцах, шлея с медью. Его проводят к больной. Вынимат трубку, слушат… Митроба на его зарычала:

— Зачем пришел, собачья твоя совесть?! Мало я для тебя, для хамлета, старалась? Убери струмент, лучче не вяжись со мной!

Якунька на ей замахался:

— Тише ты! Я прибежал, тебя, холеру, жалеючи. Варвара приехала. Тебя ишшет!

У Митробы зубы затрясло:

— Я боюсь, боюсь!.. Где она, Варвара-та?

Якунька раму толкнул, рукой махнул:

— Она вон где!

Как только на улице этот знак увидали, сейчас натоби'ли загудели, транваи забрякали, молочницы в бидоны, дворники в лопаты ударили, и вся собравшаяся массыя открыли рот и грянули:

— Варвара Иванна пришла! Варвара Иванна пришла!

Икота из барыни как пробка вылетела:

— Я-то куды?

— Ты, — говорит Якунька, — лупи обратно в яму. Варвара туда боле не придет!

Народ думают — пулей около стрелили, а это Митроба на родину срочно удалилась. Ну, там Варваре опять в лапы попала.

А Якунька, деляга, умница, снова, значит, заработал на табачишко…

Кобыла[94]
Северная сказка

Этот год у нашего государя женин брат гостил, немецкой король. Из-за гостя наш-то и на теплы воды не поехал.

— Лучше, — говорит, — нам навестить скромные хижины наших поселян.

В бедной деревнюшке приворотил к старичонку напиться квасу. Старичонко весь залетался, дочку свою загонял:

— Куда провалилась-то, кобыла?..

— Квасу тащи, кобыла!

— Поклониться, кобыла, не умеешь!

А девка, как Волга: глаза с поволокой, роток с позевотой, косы до пояса. Поклонилась и убежала.

Государь, на нее глядевши, все глаза растерял.

— Эта бы красавица мне.

А как скажешь? Потоптался. Вышли за калитку.

— Дед, а где кобыла?

А у старичка была кобыла, кляча рабоча.

---

[94] Notes: 94

Впервые опубликовано в сборнике «Изящные мастера» (М.: Молодая гвардия, 1990). *–Примеч. ред.*

«И в каку пору, — думает старичонко, — государь мою кобыленку успел увидать?»

— Дед, почему кобыла нейдет нас проводить?

— Хы-хы, дак ведь известно ихнее кобылье понятие, ваше величие: сейчас наработавши в огороде и сейчас валяется где-ле на задворье вверх копытами.

— Она много работает?

— Что бы не работать! А вот сосед Егор, извольте радоваться, утром увел и одночасно на огороде ногу ей вывернул.

— Вы ее не жалеете!

— Хы-хы! Как тоже не жалеть. Она понятна така! Утром сейчас к окну и губы на подоконник: фр-р-р. И ногой вот эк. Значит, хлеба давай; схряпает полковриг и в знак полного удовольствия хлоп на спину, и туды ногами и сюды ногами. Изволите видеть, перед домом какое место выкатала! Это все она.

— Дед, уступи ее во дворец.

— А с полным нашим удовольствием! И не сумлевайтесь, что в данный момент грива в репьях и с хвоста замаравши. Есть там у вас во дворце кому скоблить да шоркать.

— Да, да. Вот тебе триста рублей, и — никаких претензий.

— Дай вам господи. Пошли вам и деточкам вашим!

— Ладно, ладно. Приведи утром пораньше.

— Будьте благонадежны. Как часики. Хвост заплетем и алле маширом. Поимейте в виду: сзаду аккуратнее заходите, она лягаться охотница.

Утром его величество с дорогим гостем, с немецким королем, кофей пьют, камердинер и входит:

— Ваше величество, там кобылу привели.

— Да-да, проведите ее наверх.

— Она грязная.

— Устройте ей ванну, оденьте ее, приготовьте кофе и печенье. Уложите ее в постель.

Вот лошаденку в верхни покои заводят. В ванной моют, шелковый капот на кобылу напялили. Кофею она выдула два ведра, ящик печенья съела. С кофею ее, голубушку, разобрало. Далее на кровать кобылу повалили, шелковым одеялом покрыли; только хвост выпущен наружу.

Немецкому королю до всего дело есть:

— Дорогой брат, кого это вы в постель приказали уложить?

— Замечательную красавицу, мой дорогой. Нашел ее в деревне. Глаза, зубы, косы до колен!

— Верю вашему вкусу, братец. Уступите мне эту красавицу.

Что вы думаете! Уступил ведь государь за тридцать тысяч эту красоту германскому королю.

Вот идет король в верхни покои. Кобыленка на постели развалилась, с головой кружевным покрывалом закутана, только хвост наружу выпущен.

У короля во рту пересохло. Пал у кровати на коленки:

— Красавица, не отвергайте меня! Дозвольте расцеловать вашу роскошную косу!

Сграбился за кобылин-то хвост, кобыла дрогнула, размахнулась да как бабахнет немецкого короля копытом в лоб, дак немец окном из комнаты вылетел. У ворот двух городовых сбил. Ему, бедному, дурно стало. И от денег своих отступился, на родину упорол.

Куроптев[95]

Куроптев навоевался, по окопам навалялся, всех вшей досыта накормил, тогда службе еговой строк вышел. Можот идти на все четыре стороны, куда любо. А у Куроптева ни кола, ни двора, ни милого живота, ни образа помолицца, ни веревки задавицца, ни ножа, чем зарезацца. Идет он, идет день до вечера, и тут ноги шагать перестали. Сел край дороги и разгоревался. У птицы гнездо, у зверя нора, а человеку некуда головы преклонить. Хотел закурить — табаку нет. И вдруг смотрит — около человек взялся, такой хорошо оде́ной, и говорит:

— Куда, Куроптев, пошел?

Присел этот человек рядом, и всю ему Куроптев жись свою рассказал, как воевал, как в окопах позорился.

Человек, выслушав, говорит:

— Правильной ты, Куроптев, человек. В рай хочешь?

— Как это понимать, в рай…

---

[95] Notes: 95

Впервые опубликовано в сборнике: О. Э. Озаровская. Пятиречие (Л.: Издательство писателей, 1931). *–Примеч. ред.*

— Очень просто: записку дам и вне очереди.

Этот прохожий был сам Бог, а Куроптев не знат и ничего понеть не можот:

— В рай, конешно, приятно, но как туда попась, и чья дорога, и нать-ли помирать?

Бог в книжечке черкнул, листок вырвал:

— Держи, предъявишь Петру-ключарю. До утра иди прямо, о всхожем поверни на восток, в павечерии возьмессе в Царсви Небесном.

Куроптеву выбирать не из чего. Он сделал налево кругом да и зашагал.

Утром поворотил на солнце. О вечерней зори уздрел камены ограды. У ворот позвонился. Отворили. Документ проверили, все правильно. По книгам провели. Райско-нетленно обмундирование выдали — проходи, блаженствуй. В раю худо ли? Сады, виноградy, палаты, фонтаны! В раю рано ставать не надо, на работу не гонят, ни в поле, ни пахать, ни молотить, ни по дрова ехать. Поокруг празник.

Куроптев отоспался, отъелся, ко всему пригляделся. И што же это? Ему невесело стало. Што случилось? А покурить захотел. Спросить неловко. Какой же в раю табак? Весь парень приуныл, весь поблек. Все сады, все кустики обшарил, нет ли где окурочка, — не нашел. С горя што приду-

мал: веревочку нашел, мелом намелил, давай на главной просеки лужайку мерять да колье вбивать.

Праведны понеть не можут, што он творит.

— Куроптев, ты што затеял?

— Я-то? Я вот план снимаю на предмет застройки пустуюшшей плошшади зданием трактира.

Праведны бегом к Богу.

— Осподи, осподи, твой-то Куроптев как отличился! В Царсве Небесном трактир ставит! Разрешенье имет!

Осподи брови насупил да скорым шагом к безобразнику:

— Куроптев, ты знашь, што полагается за нарушение тишины и спокойствия в обшественном месте?

— Так точно. Только понапрасну они шум поднели. Опосле сами благодарить будут.

— За что благодарить?

— А вот за трактирно заведение, распивочно и навынос, с продажей папирос.

— Дурачина ты, табашна шишка!

Осподу смешно.

— Люди всю жись рай зарабатывают, а ты без заслуг, только в силу моих к тебе личных синпатий сюда попал — и то тебе, болвану, не

сидится… Больше ничего, што в аду тебе лучша прописаться.

— Сопроводительну бумажку получить можно?

— Спешно известим сами. Ступай туда. В аду ворот много и все входы настежь.

Выписали Куроптева из рая. Ключарь Петр и дорогу сказал:

— Поди прямо, вечером поворотиссе на запад.

Куроптев идет день, о закатимом повернул во мрачну сторону. И вот горелым запахло, потом скрежет и визг слыхать стало. Дале — корпуса увидал высоки, ворот много. Ад есть. Черти Куроптева под локотки примают, в жарко место садят. А Куроптев свое:

— Покурить, ребята, нет ли?

Ему лоток с папиросами в колены высыпали, и всё дороги сорта. Он три папиросы подряд закурил. Сидит нажигается. С утра опять за табак. С бесями дружба, и чертовкам Куроптев надо. Кажна обниматься лезет, в губы припадат, кажна записываться зовет, и видом кажная как жаба. Мужику это каково? Он и табаку не рад, на волю запросился, да нет, не уйдешь. В ад входы по́лы, а выходу нет. Куроптев опеть потемнел. Брови нависли, дума на мысли.

Против главного корпуса лужок был травами высажен узорами. Этта малы бесенята с няньками гуляли. Куроптев веревку намелил, ходит с метром да эту лужайку измерят.

Бесям интересно:

— Товариш Куроптев, вы это што делаите?

— Я-то! Я планирую. Церькву-храм будем ставить на сем месте. Направо колокольна, прямо алтарь, звон будет, ладан, пение…

У бесей со страху животы того разу схватило. Ко главному сотоны прилетели:

— Дедушко, отаманушко! Куроптев в аду церькву строит. Уж колокольна готова. Всех, всех задушит, закадит…

Сотона в чем был к Куроптеву:

— Товариш Куроптев, это што?

— Храм божий ставим. Слыхано ли, штобы помолицца затти некуда было. План готовой, сейчас на биржу за рабочима пойду.

— Поди-ка ты лучче вон. Проваливай, куда хош!

— Нет, я раздумал, мне тут дородно.

Сотона на небо депешу:

— Зачем таких богомолов в ад посылаете? Ваш Куроптев в преисподней церьков строит…

Из раю ответ:

— А мы што будем делать, коли он сам так захотел?

— Возьмите, ради бога, обратно.

— Довольно мы с им бились. Нам свой спокой дороже.

Што делать? Лихо-то ведь споро, его не сбудешь скоро. В аду кажной день заседанье, как Куроптева выжить. Вот бес Потанька предложил:

— Дедушко, отаманушко, ты с меня шкуру спусти, натени на барабан, я с барабаном за ворота выйду, тревогу ударю, увидаете, што будет.

Дедушко с внучка шкуру спустил, сделали барабан. Потанька с барабаном за ворота выбежал, ударил сбор. Куроптев старой службы солдат, привык слушаться команды. Барабан услыхал, амуницию подтянул, ранец на плечи и ать-два — вымаршировал из аду. Только он за ворота, беси ворота на забор, да еще бревно изнутри привалили.

А Куроптев осмотрелся: тревога ложна…

Ах, дуй вас горой! Он в ворота ломится, а беси исподворотни языки кажут, хвостом дразнят:

— Не пустим боле! Не пу-у-устим! Нам тоже своя жись дорожа.

Опять, значит, Куроптев, куда глаза глядят, бредет по дороги. У птицы гнездо, у зверя лого-

вище, а ему, человеку, негде глава подклонить. И на стрету ему опеть тот человек, такой хорошо оденой. А это был сам Бог:

— Куда, Куроптев, пошел?

— Да вот, осподи, из аду выгонили.

— В раю тебе было неладно и в аду нехорошо… Што я с тобой буду делать?

— Осподи, мне бы где-ли на часах постоеть.

— Куда тебя, Куроптев, деваешь… Видишь, вон около ростанья будка наружна. Становись, охраняй! На зиму тулуп тебе выдам и валенки.

Куроптев этта и теперь в будке караулит.

Умная Дуня[96]

Были Саня и Дуня, брат и сестра. Саня в городе работал, Дуня дома хозяйничала, в деревне.

Вот она от брата записку получила: «Завтра приеду домой на побывку».

Дунюшка обрадовалась: «Чем буду братца угощать?.. Ах, братец котлеты любит!»

Котлету большую замесила, с тарелку, поставила жарить. «Ох, забыла: братец уксус любит!»

В подпол спустилась, стала из бочки уксус цедить. «Ох, котлета сгорит!»

В избу полетела, котлету на окно поставила студить. «Ох, забыла кран завернуть, уксус выбежит!»

А уж уксус выбежал: во весь пол лужа. «Ах, меня братец забранит: сырость развела!»

В углу мешок муки стоял. Дунюшка мешок в охапку взяла, давай эту лужу мукой посыпать. По полу ходит, грязь месит. «Вот теперь сухо, хорошо… Ох, кошка котлету съест!»

Бежит в избу, а уж кот давно котлету съел. Нет

---

[96] Notes: 96

Впервые опубликовано в сборнике «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957). *–Примеч. ред.*

ни муки, ни уксуса, ни котлеты.

А брат приехал веселый, не стал браниться:

— Дуня, я поеду на завод насчет железа, крышу крыть. А деньги вот, в сундук кладу.

Дуня говорит:

— Деньги бывают золотые и серебряные, а тут бумажки пестрые.

— Ладно, не толкуй.

Брат ушел, Дуня села у окна покрасоваться. Мимо горшечник едет:

— Эй, красавица, горшков не надо ли?

— Надо, только денег настоящих нет, а все бумажки пестрые.

— Покажи!

Она деньги из сундука вынула, показывает. Деньги как деньги: рублевки, трешницы, пятишницы. Горшечник видит — девка глупая.

— Ладно, деньги мои, посуда твоя.

Дунюшка посуду в избу носит, всю избу заставила.

На окнах кринки, на лавках кринки, на столах, на полках…

Брат приходит, глаза вытаращил:

— Дуня, это что?

— Посуда.

— Где взяла?

— Купила.

— Где деньги взяла?

— Я не деньги, я твои бумажки пестрые отдала.

— Авдотья, ты меня разорила! Опять надо в город на заработки идти. И ты со мной пойдешь. Собирайся.

Саня и видит: Дуня дверь с петель снимает, тяжелую, дубовую.

— Куда ты с дверью-то?

— А может, в чистом поле будем ночевать. Я без двери боюсь.

Брат идет, и Дунюшка за ним пыхтит, дверь прет.

Вечер. Темень. На перекрестке сосна матерая.

Саня говорит:

— Залезем на эту сосну, ночь пересидим на сучьях. Безопасно будет.

Брат на сосну лезет, и Дунюшка за ним с дверью мостится. Расположила дверь на сучьях и легла.

А давишний горшечник домой едет мимо этой сосны. «Эх, я неладно сделал, глупую девку обманул. Надо ее деньги сосчитать».

С телеги слез, под сосну сел, стал считать Дунины деньги: рубль… три рубля… девять… двенадцать…

Дунюшка сквозь сон слышит этот счет. На край

двери привалилась, чтобы поглядеть. Дверь перекувырнулась, Дунюшка и полетела, загремела с дверью вниз.

Горшечник рявкнул со страху, пал в телегу, лошадь настегал да домой без оглядки.

Брат с сосны слез, видит — деньги лежат.

— Дуня! Мои деньги!

Сосчитал — все до копеечки целы.

— Ну, Дуня, пойдем домой хозяйствовать. Нет нужды в город идти.

Дураково поле[97]

I. Иван Тетеря

Иван Тетеря на свадьбе у брата

Поначалу-то был Иван Тетеря, как чурка древ нетесана, нестрогана. У него старший брат жениться вздумал. Со свадьбой всем дела хватило. Послали и Тетерьку в город купить горшков, ложек, соли. Парень кое-как управился и едет лесом домой. У болота пни обгорелые торчат. Он и зажалел их:

— Ах вы, старички! Без шапок на улице! Дай-ко я вас согрею.

Свалил свои горшки с телеги да пни и накрыл. Едет дальше и видит — зайцы по кустам ушками помахивают. Парню вздумалось поиграть. Давай ложками кидаться. Ложки разбросал, в зайца не попал.

По пути река пробежала. Надо лошадь напоить. А она глядеть не хочет. Тетеря вспомнил:

— Да ведь скоту пойло всегда солят.

Мешок с солью в воду и ухнул.

---

[97] Notes: 97

Впервые опубликовано в сборнике «Архангельские новеллы» (М.: Советский писатель, 1936). *–Примеч. ред.*

Уж и влетело детине дома за соль, за горшки, за ложки! Пришлось брату все самому справлять. Вот он пива наварил и наказывает Тетере:

— Мы по невесту отправились. Грей самовары, наблюдай, чтобы пироги не сгорели, шти не выкипели. Дам тебе рюмку денег да решето вина.

Тетерька посулу рад. У печки топчется, за штями смотрит, пироги караулит, самовары ставит, уголье по полу месит, в избе как в кузнице стало. Упарился деляга. И захотелось ему пить. Погреб отомкнул, стал пиво из бочки в ковш цедить. А на дворе собака загремела. Иванко разгорячился да затычкой в нее и кинул. Пиво ручьем на пол. Догадливый парень из другой квасной бочки кран вывернул да эту заткнул. Накатало квасу выше колен. Наш Филат тому и рад. Он выбрался в корыто, веселком гребет, плавает из угла в угол да песню поет:

Вниз по матушке по Волге, ах по Во-о-олге!

По широкому раздолью…

А там в избе самовары распаялись, и шти сгорели, и пироги — в уголь.

Тетерина Улита

Наконец брат последнего терпенья лишился. Выделил Тетере именья и прогонил его. Тетеря с матерью покамест зажил. Старший брат женат. И младший говорит — не поддамся. Упромыслил себе невесту, и богату. Звать ее Улита, голова секретами набита.

Мать спрашивает:

— Далеко ли собрался, сынок?

— К невесте, маменька.

— Смотри, не сплошай, сынок, не все ври, что помнишь.

— Не сплошаю, маменька.

Ввалился к невесте, как мышь в закром:

— Здорово, Улита!

— Здравствуй, Ваничка Тетеря!

Он гостит тут до вечера. На прошшанье получил в подарок иглу. Шастает домой, а по дороге воз с сеном. Иглу ту в сено и сунул.

— Вот и я, маменька!

— Каково гостил, сынок?

— Невеста тебе поклон послала, а мне иглу дала.

— Где игла-та?

— Я в сено сунул.

— Глупо сделал! Ты бы на рукав приколол.

Вот день миновался и два прошло.

— Я к невесте, маменька!

— В добрый час, дитятко!

Пришел к Улите:

— Здорово, Улита!

— Ах, здравствуй, жала́нчик! Гостинчик принес?

— Гостинцы за нами не пропадут.

Ну, чаю попил да поел. Улита и подарила жениху ножик.

Он воткнул нож в рукав и айда домой. Мать забранилась:

— Нет у тебя ума-та с наперсток! Рукав изрезал… добрые люди ножи в карманах носят.

Опять через день:

— Я к невесте, маменька.

— Смотри, не подгадь, сынок!

— Небось, не подгадим!

Явился перед невесту:

— Здорово, Улита!

— Здорово, дружок! Гостинца принес?

— Какие у нас гостинцы! Гостинцы все у тебя.

На прошшанье добрая Улита и ташшит поросенка. Детина вбил поросенка в карман и

является к матери.

— Я пришел, маменька.

— Что хорошенького, сынок?

Тетерька тянет из кармана поросенка, а тот еле пышет! Задохся.

Мать загудела:

— С оглоблю вырос, а ума не вынес!.. Не хватило догадки животину на веревку привязать!

Опять день миновался и два прошло.

Жених за шапку берется. Мать строжит:

— Подбери губы-те! Жениться идешь!

Притопал к Улите:

— Здорово, невеста!

— Здорово, жених! Принес гостинцев?

— Гостинцы ты припасай!

Она и свесила Тетерьке масла. Умник привязал масло на веревку и поволок домой. Сколько было в деревне собак, все на масло. В минуту расхватали. У Тетерьки в руках веревка да бумаги лоскут. Мать ругалась, рот с утра до вечера не запирала:

— Ах ты, балда! Собакам масло скормил! Нес бы на пустой своей башке, дак не достала бы ни одна собака.

При новом свидании щедрая Улита вывела жениху теленка. Тетеря бестолков, да памятлив. Теленка на голову и взгромоздил. Тот приправил

лягаться. Пока парень к дому правился, невестин подарок ему лицо сплошь копытами проштемпелевал.

Мать испугалась:

— Кто тебя, дитятко, испечатал?!

— Ы-ы! Теленок всю дорогу копытами звонил… Ы-ы-ы!

— Мало тебе, мало! Худо назвонил! Так тебе и надо! Что, ты не видал, как телят — палкой ля, чем ли в хлев гонят?

Когда опять Иван Тетеря к невесте заявился, она ему шиш показала, ничего не дала, сама в гости запросилась.

Только с крыльца спустилась, Иванко выдернул из огороды жердь и давай невесту по дороге посылать. Так до женихова дома и летели. Только пыль клубом стелет. Навозные ворота настежь. Тетеря в хлев невесту загнал и ворота на запор.

Мать в соседях добыл:

— Мама, я к невесте ходил.

— Чем опять наделила?

— Сама прибежала.

— Сама? Где она, Улитушка?

— В хлев положена.

— Околел бы ты, дурова голова! Выпускай скорее! Веди в горницу под ручку!

Только хлев открыли, не поспели слова сказать, пулей вылетела оттуда разъяренная Улита, съездила навозным лаптем жениху по мордасам и покатила к себе домой без оглядки.

Акуля Тетери не лучше

От судьбы не уйдешь. Вскоре после Улиты выиграл Тетеря в лоторею свинью. Из-за нее деляге и жизнь не мила открылась. Матка, разгорячившись на Ваньку из-за Улиты, упорола к старшему сыну. Тетерька один со своей свиньей. А свинья — то в чужи гряды полезла, то соседску изгородь разворотила, то в канаву усела. Бывало, парень до полдня за самоварчиком проклажается в потяготку да в распояску, а теперь за свиньюшкой глазами ходи да с погонялкой бегай.

Напротив Тетерина дома Акуля жила, отецкая дочь, и тоже свинью пасла. К полудню вылезет из калитки, зевнет, да подумает, да посидит, тогда к полю тронется не спеша.

Тетеря и догадался:

— Посватаюсь я на Акулюшке. У нее носик востренький и глазки есть. Она со своей свиньей и мою упасет.

Акулины родители без памяти рады дочку с рук

сбыть. И свинью ей в приданое отвалили.

Настало у Иванка желанное времечко. Ни о чем заботы нет. Одна работа осталась — глазами хлопать да языком трепать, коли не спится. Однако и у Акули лень впереди Акули родилась. Недельку побродила молодка за свиньями, и вдруг ей комар ногу отдавил, да еще муха крылом задела. Тетерина хозяюшка и слегла. Невдолги отлегчило, да встать неохота. Вот и запричитала:

Ох и горькая судьбинушка
Поутру рано вставать,
ясны очи утруждать,
со свиньями, с грязавами,
молоды годочки провожать!

Иванко жену зажалел:

— Акулина, не реви, слушай, что муж надумал. Давай выбросим свиней соседу, а промену спросим улей пчел. Поставим улей на солнышке позади дома — да и печаль вся. Пчел ни в поле гонять, ни дома кормить. Сами слетают, сами наедятся.

Акуля только ладошками сплескала:

— Верно, Ваничка! Заживем теперь — одна рука в меду, другая в патоке.

Сосед на мену согласен. Со всем удовольствием

свиней схватил.

Зажили теперь Акуля да Тетеря. Муж зевать, жена спать. А пчелы свое дело правят, мед в улей носят.

Осенью молодые хозяева набрали горшок меду. В радости дождавшись, даже есть не стали, поместили на полку от воров. Акуля около своей кровати и метлу поставила, чтобы, не вставая с постели, мух гонять.

Как-то разболтались Акуля да Тетеря. Муж говорит:

— Съедим мед, и не будет ничего. По-моему, лучше сменять его на гуся с гусенком.

Жена говорит:

— Ну-к что ж. Сменяем, пожалуй… Только уж не раньше, как у нас дочка или сын родится. Они и пасти этого гуся с гусенком будут. А я больше не караульщица. У меня и здоровье не то, и воспитание не такое.

Муж отвечает:

— Держи карман шире! Станут нынешние дети родителей слушать… Попробуй пошли своих сыночков гусей пасти, дак они тебе зараз трижды девять кукишей подставят.

Акуля даже с постели упала:

— Меня?! Меня мои дети не послушают?! Да я

как возьму палку да начну по головам хрястать!..

Она схватила метлу и так шва́ркнула о стену, что полка полетела на Акулю, а горшок с медом на Тетерю.

С этого перепугу Акуля да Тетеря сутки без движения

лежали, другие сутки черепки облизывали и слезами их омывали.

Однако нет худа без добра.

Меду лишились — это верно, зато гуся с гусенком самим пасти не надо и от детей неприятностей не получишь.

Акулино хозяйство

Однако в деревне жить нечем стало. Ваня Тетеря в город уехал, нанялся в ботанический сад караулить финикову пальму. Акуля зиму одна жила. К лету получила телеграмму — Ваня едет домой. Забегала, засуетилась, чем бы угостить: хозяин мало не год дома не был.

— Ах, Ваня коклеты любит!.. — стала жарить…

— Ах, Ваня уксус любит! — в каждо место уксус льет…

Побежала в погреб, кран у бочонка отворила… Ахти, коклетка сгорит!

Побежала. Выложила котлету на стол, вспомнила:

— Ахти мне! Кран забыла завернуть, уксус выбежит.

Прилетела в погреб — уксус вытек. Лужа на весь пол…

— Ох, Ваня меня забранит, что сырость развела.

Схватила мешок муки, давай пол засыпать.

— Вот хорошо, сухо теперь, приятно… Охти мне! Кошка коклету съест!

Прибежала в избу, а котлеты уже нет, котенок съел. Вот так нахозяйничала. Ни котлеты, ни уксусу, ни муки…

К счастью, Ваня приехал домой такой веселый:

— Ну, Акуля, я денег много заработал, теперь хозяйство с тобой будем подымать…

А она думает: какие же это деньги — бумажки. Деньги бывают золоты.

Отдохнул Ваня и собрался на базар.

— До свиданья, Акуля, я по хозяйству отправился.

Кредитки спрятал в сундук:

— Ты посматривай!

Сидит Акуля под окном, а мимо горшечник едет.

Увидел Акулю, кричит:

— Эй, краля, горшков не надо ли…

Краля засуетилась:

— Надо горшки, надо! Да ведь ты дорого возьмешь.

— Неуж денег нет?

— Есть, да худы, не золоты, а бумажны.

— Давай сюда.

Акуля принесла мужнев бумажник, горшечник положил его себе за пазуху и говорит:

— Бумажки мои, а посуда твоя.

Свалил горшки с воза и уехал.

Ваня вернулся, видит — вся изба горшками улиминована…

— Акулина, это что!..

— Посуда.

— Откуда?

— Купила.

— Где деньги взяла?

— Не деньги, а твои бумажки отдала.

— Ох, Акулина! Ты меня разорила! Ограбил тебя торговец. Думал годик дома пожить. Придется теперь обоим итти финикову пальму караулить.

Акуля в дорогу собралась, хлеба в котомочку положила и давай дверь с петел снимать.

— Акулина, куда ты с дверью?

— На, может, в чистом поле или в пустом лесу ночевать придется, да чтобы своей дверью не запереться…

Идут, Акуля двери прет. К ночи в лес зашли.

Иванко говорит:

— Жена, здесь от зверя небезопасно. Надо на сосну лезть ночевать.

Он на сосну лезет, и Акуля за ним с дверью пыхтит, мостится. Кое-как она угнездилась на сучьях, лежа на двери, задремала. И аккурат горшечник, который деньги выманил, по пути домой проезжал этим лесом. Наехал на сосну, где Акуля с дверью ночевала, и сдумал тут свою добычу подсчитать…

Акуля слышит — под сосной кто-то вслух считает: «пять рублей, шесть рублей», захотела поглядеть.

Нагнулась, опрокинулась да с дверью вниз и полетела, загремела… Горшечник в ужасти подскочил на сажень кверху, пал на коня и палил до дому без памяти.

И кошель с Ваниным жалованьем забыл.

Ваня подсчитал — все цело. И пошел с женой на радостях домой, хозяйствовать.

Лиса-плачея, или Низвержение долу

Не то год, не то два хозяйничали в деревне Ваня да Акуля. Опять дожили до ручки, угребли в город.

Тетеря опять выпросился в ботанический сад вместе с женой наблюдать финикову пальму. Пальма вымахала теперь выше облак. Ну, это все видали на открытках. Однажды Тетеря, начитавшись газет, сообразил:

— Сползаю я по моей пальмы ввысь, побью мировой рекорд.

Взял градусник, бутерброт, бутылку ситро, поплевал в ладошки и поехал. В таки высши сферы залез, что и аэропланы ниже его, и воздух стал фиолетовый, и мороз градусов сорок. Ванька струмент посмотрел — шесть тысяч метров. Сделал зарубку, прокричал трижды «ура», закусил и стал делать посадку вниз, механически записывая наблюдения.

Дома говорит жене:

— Акуля, полезем в безвоздушно пространство?

— Без кислородного прибора?! Нако, выкуси!

— Дура, мы хоть тысячи на три. Тамотки хоть

го́ла сиди. Нас на картинку снимут. Только обедать тебе сейчас не дам. Ты восемь пудов до обеда тянешь, а как пообедаешь, дак и гирь не достанешь.

Посадил Акулю в мешок, взял мешок в зубы и поехал вверх на пальму подобно таракану. Едут час и полтора. Акулюшка, сидя в мешке, вела дневник, но вскоре заскучала:

— Ванька, я вылезу температуру смерять?!

Ему зубов разнять нельзя, у него мешок с женкой в зубах. Он ни гу-гу.

Акулю горе берет:

— Ванька, я пенсне в черепаховой оправе уронила. Спущайся!

Наш герой не сдается. Думает: еще сотня метров — и финиш. А выговорить нельзя, мешок в зубах.

Только мычит:

— Угу!

Акулинино терпенье лопнуло.

— У меня живот заболел!

Ванька забылся да и гаркнул:

— Ага!

Рот раскрыл, мешок и выпал. Акуля парашют распустить не поспела, грянула сквозь облаки, только пыль столбом…

Иванко сделал вынужденную посадку в кра-

пиву, а где Акулюшка упала, образовалась колоссальная воронка, как от падения крупного снаряда.

Ну, так ли, эдак ли, а надо поминки править. Иванушко приготовил легкий закусон на двенадцать персон и пошел в контору добывать плачею для завывания во время обеда на тему прискорбного случая. Пришел в контору, а встречу медведь.

— Тетеря, куда?

— Супруга убилась. Кто бы про это на обеде повопел?

— Я по радио реветь мастер.

— Извиняюсь, не слыхал.

— Съимпровизируем в лучшем виде. Слушай.

— Ррр… Акулинка! Убил тебя, Тетеря-рря-ррярря!!!

Ванька чуть не оглох, замахался на медведя. А сбоку волк подъехал:

— В чем дело, любезный?

— Певчего ищу, выполнить арию про Акулюшку.

— А какие условия?

— А вы на какой глас поете?

— О-о-у-у! баба-а-а, убил тебя му-у-у-ж-ж-ж!

— Извиняюсь, не подойдете! Аж мороз по ко-

же…

Тут из детского вещания выскочил заяц:

— Здрасьте, я мастер эстрады!

— Вы как поете?

— А «пык-пык»!

— Тьфу на вас!

Тогда из сектора художественного вещания выплыла лиса и оттерла зайца:

— Ваничка! Что с вами, каки вы печальны! Совсем себя не бережете.

— Ох, Лиса Патрикеевна, Акуля-та моя…

— Слышала, слышала! Ужасно, ужасно!

— Да. Сюда пришол — нет ли кого, повыть, поплакать.

— А я-то на что? Двадцать годов здесь плачу да реву.

— Как плачете?

Лиса пригорюнилась лапкой и запела:

А была у Ванички Акуля.
Масляну кашку варила,
своего Ваничку кормила,
тонкопряльюшка была,
беломоюшка-а!
… … … … … … …

Тетеря прослезился.

— Подем, Патрикевна. То и надо…

Пришли на квартиру. На столе цветы, бутылки, десерт, крембрюле. Иванко говорит:

— Вы, Патрикевна, сядьте на диван и вой во всю силу, как по радио воешь. А я побегу знакомых собирать на обед.

Он со двора, а лиса давай с краю тарелки, бутылки, салатники опоражнивать. Ванька мимо бежит.

— Лиса, что худо плачешь?

— Слезы утираю!

А сама последнюю бутылку вылакивает.

Выпила, вылакала, вылизала все до капли и — окном да на трамвай.

Сродники и сродницы пришли — все чисто. Не надо мыть посуду.

А туда, где воронка после Акули получилась, приехали профессора спорить — аэролит, метеорит или болид упал на это место.

II. Как внук ходил умных искать

У бабы да у дедка были желанные внук да внучушка, Офоня да Манюшка. Вот дедко рыбы

соленой напромышлял, бабка наелась и пить захотела.

— Манюшка, наставь-ко самоварчик!

— А с чем пить будем?

— С лонпасьём, бажона.

Внучка с ведерком к речке ссыпалась, зачерпнула со дна, где погушше, да на ту сторону и взглянула. Взглянула и раздумалась, раздумалась и горько заплакала.

Бабка ждала-ждала — в роте пересохло, ша́ркат за внучкой.

— На, Манька, кто тебя, девка?

— У-у-у, бабинька-а! Видишь, за рекой деревня?

— Пес ли не видеть, она век там стоит.

— У-у-у, бабинька, вырасту я велика и красива. И вдруг да на мне кто из той деревни и посватается. Может, я и замуж выйду. И родится у меня паренек. И будет он на двенадцатом годку, пойдет к вам в гости по молоденькому ледку, провалице да и пото-о-онет!..

Бабка ахнула, пала рядом и завыла:

— Жаланненькой правнучек, дождалсе бы ты морозу! Отпустили тебя дики родители по тонкому ледочку!

Дедко чаю приждался, дале полетел обоих ис-

кать. Видит, катаются по песку.

— Кто вас, окаянные? Кака беда стряслась? Ведро утопили?

— У-у-у, дедко-о! Ни фига ты, плешивый мерин, не знаешь. Наша Манюшка вырастет красива да толста. И быват, на ей хорошой жених из-за реки и посватается. Замуж выйдет да вдруг и паренька родит. И сдумат паренек-от к нам в гости по молоденькому льду… Провалицце да и захлебнецце-е!

У деда бороденка затряслась, слезами облился:

— Под лед попадешь, не хошь, да захлебнессе!.. А кабы, голубчик, не потонул-то да вырос бы, должность бы хлебну получил, нам бы денежки отдавал… Теперь на кого ты нас покину-у-ул!..

Все трое катаются по песку клубом, верешшат, будто кто их режет…

Внук Офоня в это время в пяти с половиной верстах под овином сидел. Услышал по речке благой рев. Снялся да полетел, — не пожар ли, думает? Прибежал к речке — рот нараспашку, язык наотмашку.

— Кто утонул?.. Я думал, не пожар ли?.. Не медведь ли кого дерет?..

— Ах, Офонюшка-а-а! Ничего ты не знаешь и не ведаешь. Как твоя-та сестричушка Манюшка да подрастет она бóльшинька. Быват, на ей какой

жених из-за реки и обза́рицца. И замуж она за его, дурака, выйдет. Вдруг да и парничка́ родит. И будет наш правнучек на двенадцатом годку, пойдет к нам в гости по молоденькому ледку, провалицце да и по-то-о-онет!

И опять по берегу вьются, землю роют.

Офоня глаза выпучил, рот открыл:

— Вот… язи рыба! Тьфу! Вот стихопаты! Ише детки в матке, а матка в бабке, а они с крыку порвались. Опосле такого факту я жить с вами не хочу! Заревитесь хоть до смерти, а я пойду умных искать!

Взялся от того места да и пошел. Идет день, идет два. Видит: вкруг худой баньки леса сколочены, блок скрипит и народу толпа за канат тянет. Корову на этот овин канатом подымают.

— Граждане, это что? Дом новой системы строите? А животна при чем?

— Вишь, на бане два куста травы зеленеют?

— Ну?

— А сено знаешь почем?

— Дорогое.

— Чтобы трава не пропадала, мы корову на баню и тянем…

— Граждане, коса у вас есть?

— Кто знает!..

Офоня косу добыл, на баню залез, эти кустышки на землю смахнул… Мужики рады, корова рада, все рады.

Зовут умного в гости.

— Не! Мне с экими гугенотами не жира. Я пошел умных искать.

Опять шляндат, долго ли, коротко ли. Забрел в деревню. Видит — из избы старуха выскочила с ложкой, улицу перебежала, нырнула в погреб, из погреба в избу полетела, из избы опять в погреб…

Офоня диву дался:

— Баба, ты зачем с ложкой-то взад да вперед? Физкультурой занимаиссе?

— На! Обедаю! Пудин хлебаю с молоком. В квартеры пу'деня ложку хлебну, на погребицу гоню, там ложку молочка. Дале опять во свою квартеру пуденя хлебнуть, оттуль опять в погреб… Устанешь, конешно.

— Бабушка, ты в погребе-то крыночку налей, домой занеси да и хлебай сижа, радуйся.

Сделала старуха, как Офоня советует… Возликовала:

— Молодой человек, каки вы опытны! В благодарность жалаю за вас вытти замуж!

— Что ты, очумела? Мне ведь умну надо!

Идет наш искатель дальше. Видит — дом состроен, а окон не прорублено, и застройщики свет в квартиру ситами, коробами да решотами носят. Выфурнут на улицу, корзинку или решето на солнышко наставят да бегом в дом. Все в синяках, там ведь темно…

Офоне бедно над има:

— Хозяева, пора́то ли светло в избы-то?

— Ужо, не все сразу…

— Топора дайте!

Топором наш Офоня окошки прорубил, стало светло. Всем весело и приятно.

— Ах, осподин анжинер, останьтесь хоть на один сезон. Белым хлебом будем кормить, на одного две карточки сделаем!

— Нет, не завлекайте напрасно. Я пошел умных искать да опять на дураков наехал.

Он в путь отправился, а хозяева выпехались из этих окошечек, кивают ему с милой улыбкой, машут.

Сказывать скоро и легко, итти долго и тяжело. Подошел Офоня к большому селу. Тут праздник, ярмарка. Смотрит Офонька — некоторой дядя накупил мебели. На воз насторожи'л, а столик маленький никак не входит. Этот дядя и говорит:

— У стола четыре ноги, все равно что у коня

четыре. Сзади добежит…

Стегнул кнутом по столешнице, гу́кнул, свистнул и уехал.

Другой житель накупил глиняных тарелок, латок, горшков. А скласть не во что. Житель что придумал: кол из огороды выдернул, днища у горшков, у тарелок пробил, на кол посуду надел и отправился восвояси. С гордостью на Офоню поглядел:

— Вы-де, нынешние, нутка! Догадайтесь так, как я.

Офоня с ярманки в село. Около крайней избы галдеж, крык, мужики кучей бегают… В воротах хомут — на гужах распялен, и в этот хомут мужики лошадь палками загоняют:

— Эй, эй!.. Вали, вали! с того боку забегай! Эй, забегай…

Где беда, Офоня первой:

— Мужички, что с коняшкой?

— Кого тебе? Видишь, лошадь на ярманку гулять запряга́м.

— Дак разве палками надо в хомут? Разве так запрягают?

— А по-твоему, за хвост надо привязывать телегу-ту?

— Дозвольте, я покажу, как в нашей губе́рни.

Хомут от ворот отвязал, лошаденку погладил, этот хомут тихонько наложил — без крыку, без канители…

— Поезжайте! Да как я велю, век так делайте!

Кресьяна к ему на шею всем обществом бросаются, обнимают, дарят безумны поцелуи и клятвы:

— Незабвенной юноша, у нас завтра перевыборы. За вашу хениальность выбирам тебя в бессменны придседатели.

— Душевно рад, но не могу. Я специально умных искать иду, да все вот на эких безумцев навертываюсь. Адью!

Стоит Офоня, приуныл:

— Не домой ли поворотить?.. Везде народ однакой… Нет, вон ешше хто-то скачет… Не умной ли человек что работат?

Близко подошел да и сел, где стал.

Против дома на тыну брюки стоя распялены, и почтенной гражданин в подштанниках в эти брюки с разбегу попасть норовит. Сажен за пять разбежится, выгалит ногами, а все мимо.

Наш парнишко хохотал, хохотал, наконец гражданину за рубаху сграбился:

— Папаша! Умоляю! Разъясните вкратце, почему эти скаковы рекорды?

— Что тебе? Видишь, на ярмарку наряжаюсь! Брючки выутюжил, теперь в них стремлюсь попасть.

— Скакать-то почто?!

— А у вас как? Через голову надевают? Или голы ходят подобно негритянам и алипутам? Нет, мы на таку низость не способны.

— Я не к тому: ты сядь да надень.

— Коман?

— А вот как.

Часу не прошло, уяснил этот гражданин, как надо одеваться. Расплакался как дитя. Говорит:

— Все хениальное просто! Какой прогрец и угрикультура! Хорошо, теперь лето, дак можно на улке разбежаться, занимаясь тувалетом, а зимой!.. С полатей скачем в брюки-ти. Так же и при обувании — со стола, с печи в поставленные валенки с налету стремимся. В пиджаки с лавок ныряем… В преклонном возрасте дак горе.

Офонька заплакал громким голосом и убежал домой. Живет теперь с сестрицей, с дедушком и с бабушкой.

III. Ховря

Муж с женой, с Хóврей, пришли в город.

Ховря зазевалась да и потерялась. Муж затряс-ся, глаза выпучил и заревел:

— Хóвра!! Хóвра-а!!!

Народ собрался:

— Ты что пасть открыл? Здесь город! Эдак не ревут!!!

— Из-за вашего гóрода да пропадать Ховриной гóловы?! Хóвра!! Хóвра-а!!!

Щедрая вдова[98]

У купеческой вдовы дочка помре́ — богатая невеста. По городу пошел слух, что вдовица дочернее приданое раздает неимущим. Является к ней бедная девка.

— Здравствуйте, Матрена Савишна.

— Что скажешь, голубушка?

— Люди-то сказывают, у вас дочерниного именьица много осталось…

— Не знаю, много ли, мало ли, а одного платья шесть сундуков, белья два комода, обутки три ящика, саков да пальтов два гальдеропа…

— Слышала я, что по бедным невестам — сиротам вы кое-что пожелали раздать…

— Не кое-что, а все. Потому — добрее да проще меня на свете нету. Я вам, беднякам, мать, вы мои дети!

— Благодетельница, наделите меня платьем, хоть немудрящим…

— Пла-атьем?! Ишь, како слово выворотила…

---

[98] Notes: 98

Впервые опубликовано в сборнике «Архангельские новеллы» (М.: Советский писатель, 1936) и переиздано в сборниках «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1961), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. *–Примеч. ред.*

Да ты понимаешь ли, каковы у нашей Манюшки платья были?.. Все по моды да с фасоном!.. Да к твоей ли роже барышнино платье?..

— Платье нельзя, дак башмачков нет ли худеньких?..

— Станет наша Манюшка худеньки носить! Покажи-ка ногу… Ну и лапишша! Дам я тебе магазинны ботиночки!.. Хороша и в лаптях!

— Может, платок головной старенькой есть?

— Платок?! Что ты, дура, неужто наша дочь платки носила, как простá девка! У ней шляпок семнадцать картонок осталось…

— Ну простите, что побеспокоила… пойду.

— Стой! Я бедным мать и благодетельница. Платок ты просила — на тебе платочек ситцевенькой. Только его дочка вместо отюжки держала, дак он с краев оборвался и середина выгорела… Заплату нашьешь… Бери, пользуйся. Я для вас, бедняков, гóла рада роздеться!

Зеркальце[99]

Это было в старинные времена — еще люди зеркалов не знали. Один дядя привез в свою деревню зеркальце карманное. А от людей его таит и жене не показывает. А жена порвалась от любопытства: что такое муж разглядывает утром рано и вечером поздно? А спросить не смеет, как спросишь?

Однажды муж со двора пошел, зеркальце в сундук сунул. Жена это доглядела, в сундук сплавала, зеркальце выудила. Разглядывает:

— Хм, пустяковина какая-то… Блестит… Что же это такое?.. О! Морда бабья!.. Баба написана. Чья же эта баба?? Ох, тошно-о! Это он в городе подругу себе завел. Харю ейную, патрет ейный домой привез, не постыдился-а-а!

И что тут у нее слез и крику! Соседки сбежались. Хозяйка сидит ревет:

— Поглядите-ко, голубушки! Мой-то, подлый, подругу в городе завел. Личность ейную на патрет списал и в кармане у сердца носи-ит!

---

[99] Notes: 99

Впервые опубликовано в сборнике «Изящные мастера» (М.: Молодая гвардия, 1990). *–Примеч. ред.*

Бабы сроду зеркалов не видали и не слыхали. Та зеркальце схватит, другая схватит.

— Ну-ка, ну-ка, какая у него полюбовница-то?

Старуха за зеркальце взялась:

— О, беда-а! Каку облизьяну полюбил! Она морщевата, у ей рот ямой, у ей зубов нету…

Другая за зеркальце взялась:

— Как зубов нету? Зубы у ней как у лошади. А губы-то, губы! Хоть студень вари. Ну и морда!

Опять третья на зеркальце уставилась:

— Личность у нее полненькая, решетом не покрыть. Глазки заплылись. Носик у ей как пуговка, роток как копилочка.

В этой толпе мужик привелся:

— Ну-ка, бабы, дайте посмотреть, что там за подруга у соседа завелась?.. О, господи помилуй! У ней и борода рыжа!

Алтын Золотое Слово[100]
(По рукописи xvi века)

В мрачные времена, в мутные годы правил Татарской Ордой хан Гирей, жесток и жаден до крови.

Еще славны были в Орде два брата, два юноши. Старший телом велик, дороден богатырь, да глуп. А младший ростом мал, с лица тонок, да таково разумен, что народом и к ханской думе для совета был приказан. За умные речи прозван — Алтын Золотое Слово.

Случилось Алтыну поехать в отцовский улус, а больший его брат промышлял, гонял зверя в степи. А приехал в поля и без всякого береженья, забежал в ханскую думу, перебил судейные слова, начал хвастать:

— Ездил я, богатырь, на лов, убил оленя. Ударила ему стрела в правое ухо, а вышла вон левым ухом да задней левой ноги копытом.

Хан разъярился:

— Слыхано ли, стреле ухом да задней ноги ко-

---

[100] Notes: 100

Впервые опубликовано в: Б. В. Шергин. Собрание сочинений. Том 4. Очерки. Статьи. Письма (М.: Москвоведение, 2015). –*Примеч. ред.*

пытом вон лететь?! Солгал явно! За ложь повинен смерти!

Думные люди ужаснулись, но смолчали. Такой обычай в Орде бывал: кого уличат ложью, того казнить смертью…

Наложили осужденному колодку на шею, повели в чистое поле рубить голову.

А встречу из улуса едет Алтын Золотое Слово. Увидел, брата ведут палачи, дрогнул, спрашивает палачей. И те ему рассказали:

— За то казнят, что уличен ложью.

И Алтын палачам:

— Пожалуйте, не пролейте невинной крови до тех мест, пока Гиреевы волчьи очи вижу!

Сам стегнул коня, полетел к ханской думе, ударил челом Гирею и судьям:

— Хан, ужели не сыт ты напрасной кровью? Брат мой не солгал, с глупости не умел рассказать. Велик он и силен, да глуп. А то он не солгал, а было так. Доступил он до оленя, уставил лук, натянул стрелу, а олень, стоячи в болоте, обивает левою заднею ногою от левого уха комаров и мошек… И тотчас стрела, ударив в правое ухо, левым ухом и задним копытом выпала вон.

И совет закричал:

— Алтын ладно сказал! Лжи не было! Только

тот объяснить не умел. Слышишь, хан?!

И Гирей уступил. Освободил невинного.

Так Алтын Золотое Слово вырвал брата у хана.

Лиса-исповедница[101]

Зело умилительно!

Шла лисица из-за девяти пустынь. Не пила и не ела, тошнехонько есть захотела. Увидала петуха на древе высоком, взвела на него ясным оком и рекла таковы словеса:

— Гой еси, возлюбленное мое чадо, петел! Сидишь ты на высоком месте и держишь на уме недоброе.

…Ох, петухи: живете вы на миру бесстрашно, любите жен помногу — кто десять, кто двадцать, кто тридцать!.. Где вместе сойдетесь — там из-за своих жен и деретесь… А я-то, постница и молитвенница, иду ныне из дальних пустынь. Не пила и не ела, много труда претерпела, все тебя, мое чадо, исповедать хотела. Сойди, чадо, на земельку да покайся.

---

[101] Notes: 101

Впервые опубликовано в сборнике «Архангельские новеллы» (М.: Советский писатель, 1936) и переиздано в сборнике в сборнике «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947) и др. –*Примеч. ред.*

Петух

— Ох, мати духовная, я еще не постился и не молился, придите в иное время.

Лиса

— Золотые твои словеса, возлюбленное чадо! Надобно нам поститься и молиться. Токмо я, духовная ваша мати, не могу на всяк час здесь пребывати. А в иное время кто тя покает?

Петух

— О мати духовная, лисица! Сахарны твои уста, ласковы словеса, льстивый твой язык… Боюсь я тебя. Как да в молодых годах съеден буду от тебя напрасно.

Лиса

— Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илия — потерплю же и я… Не горазды речи выговариваешь, чадо духовное! За гордость будешь погублен, аки фараон. Фараон-от возгордился, в море утопился, а мы возгордимся — куда годимся?! Последнее время близко, концы к концам

приходят… Сойди, чадо духовное, пониже, будешь ко спасению поближе, прощен и разрешон и во Царство Небесное допущен!

Петух умилился и прослезился. Стал спускаться с ветки на ветку, с сучка на сучок, с пенька на пенек. Сел перед лисицей:

— Благослови, мати духовная…

— Ух! — взвилась лисица, как ястреб-птица, скряпит острыми зубами, зрит свирепыми глазами. Крылышки, перышки на стороны расклала. — Я те благословлю!.. Что, попался, вор-разбойник?!

Петух

— Ох, о-о-ох, мати духовная!.. Так-то ты меня спасаешь, жития меня решаешь, цветное мое платье рвешь?!

Лиса

— Плюю я на твое цветное платье, а плачу тебе давнишнюю обиду! Помнишь ли, вор-бездельник, шла я, постница и молитвенница, приворотила к мужику, хотела малого куренка съесть. А ты, пасть худая, ногами затопал, крыльями захлопал, запел, заревел истошним гласом… Куры заго-

ворили, гуся загоготали, собаки залаяли, кони заржали, коровы замычали, прибежали мужики с топорами, бабы с помелами, меня, постницу и молитвенницу, из-за малого куренка чуть живота не лишили! Не быть тебе, вору, живу!

Петух

— О-ох, мати моя лисица! Того ты не слыхала, как вчерашнего числа звали меня, петуха, к римскому папе во дьяки. Выхваляли всем собором — хорош-де будет петух в певчих, по солям петь знает и партес понимает… Знаешь ли, мати Лисица, выхлопочу я тебя во просвирни, будешь печь пироги да шаньги, блины да оладьи с яичком да с масличком, в посты с медами да с патокой.

Лисица распустила слюни, развесила уши, расслабила когти… Ах! Взвился петух, взлетел на высокое древо, ногами затопал, крылами захлопал, запел, завопил великим гласом:

— Сударыня Лисица — до свидания! Велик ли у тебя, мати, доход?! Мягки ли пироги, сладки ли меды?.. Да тебе ли, погана твари'на, калачи есть?! Не сломать бы тебе, стерва, на сахаре зубы!..

Ушла лиса в лес, подальше от сих мест. Сутки под колодой лежала, плакала, рыдала.

— В каких делах ни бывала, а экого сраму не

примала!

Лопарская детская сказка[102]

— Лисичка, иди играть!
— Ступай в болото!
— Дед, убей лиску!
— Лису почему не любишь?
— Играть не идет.
— Ступай в болото!
— Пика, дай тычка деду!
— Деда почему не любишь?
— Лису не стреляет.
— Лису почему не любишь?
— Играть не идет.
— Ступай в болото!

— Камень, иди затупи пику!
— Пику почему не любишь?
— Деда не тычет.
— Деда почему не любишь?
— Лису не стреляет.
— Лису почему не любишь?
— Играть не идет.
— Ступай в болото!

---

[102] Notes: 102

Впервые опубликовано в сборнике «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947). *–Примеч. ред.*

— Огонь, иди нажги камню!
— Камень что тебе сделал?
— Пику не тупит.
— Пику за что не любишь?
— Деда не тычет.
— Деда за что не любишь?
— Лису не стреляет.
— Лису за что не любишь?
— Играть не идет.
— Ступай в болото!

— Дождик, лей, дождик, лей на огонь!
— Огонь что тебе сделал?
— Камня не воюет.
— Камень что тебе сделал?
— Пику не тупит.
— Пику почему не любишь?
— Деда не тычет.
— Деда почему не любишь?
— Лису не стреляет.
— Лису почему не любишь?
— Играть не идет.
— Ступай в болото!

— Олень, иди выпей дождик!
— Дождя почему не любишь?
— Огонь не гасит.

— Огонь почему не любишь?
— Камня не воюет.
— Камень что тебе сделал?
— Пику не тупит.
— Пику почему не любишь?
— Деда не ткнула.
— Деда почему не любишь?
— Лису не стреляет.
— Лису почему не любишь?
— Играть не идет.
— Ступай в болото!

— Комар, иди ешь оленя!
— Олень что тебе сделал?
— Дождя не пьет.
— Дождик что тебе сделал?
— Огня не гасит.
— Огонь что тебе сделал?
— Камня не воюет.
— Камень что тебе сделал?
— Пику не тупит.
— Пику почему не любишь?
— Деда не тычет.
— Деда почему не любишь?
— Лису не стреляет.
— Лису почему не любишь?
— Играть не идет.

— Ступай в болото!

— Дунь, дунь, ветер, с моря!
Бей, бей комара! —
Ветер стал комара бить,
Комар стал оленя томить,
Олень стал воду пить,
Дождь стал огня гасить,
Огонь стал камень палить,
Камень стал пику тупить,
Пика дала тычка деду,
Дед тянет лук крепко,
Стреляет метко,
Лиска испугалась,
С нами играть прибежала.

Архангельская присказка[103]

Ехал дядя на кони
В синем зипуни,
Шапка рыжа,
Борода каракулева.
Кобылка леденна,
Плеть горохова.
Не сегодня сказано:
Хоть в нитку тенись,
Да за модой гонись.
Товару – короб лоскутья
Да две ложки серебряных.
Вот стоит дом
Глазами на лето,
Дверями в воду,
Неоткуль нет ходу!
В дому жонка Манька сидит.
Из окна рожу продават

---

[103] Notes: 103

Впервые опубликовано в коллективном сборнике «На Северной Двине: Сборник Архангельского общества краеведения» (Архангельск, 1924).

И крычит:
«Кум, приворачивай на спутье!»
А дядя этот думает:
«Кинь лоскутье».
Он лоскутье на дорогу и вывалил.
Едет дале,
Дорога тряска,
Корзина порозна;
Ложки – те и забренчали.
Он думат: задрались.
И ложки выкинул:
– У меня, – говорит, – раз, два,
Третьего не дожидайсе!
Едет дале.
На росстани господа онежане сидят,
Уху варят.
Онежана – они хлебосольны.
– Ей, – кричат, —
Приворачивай ухи хлебать!
Ну, кому жонки нарядной,
А ему – ухи наварной.
Поел трески с тоски,

С горя палтасинки,

Отдохнуть привалился:

– После обеда слуга отдыхает,

А наше дело хозяйско!

А конька-то леденного к костру поставил.

А он стоял, стоял да и ростоял.

А этот дядя не унывает.

У меня, говорит, ише есь горохова плеть.

Пока говорил,

Плеть ту вороны и склевали.

Летят да кричат:

– Синь кафтан да хорош!

– Синь кафтан да хорош!

А дядя думает:

– Скинь кафтан да положь.

Он снял,

Положил под кокору,

Да и теперь не знат, под котору.

Поморские старины

О Сухмане Непровиче[104]

У кануна у праздника
Угощает князь Сеславьевич
Свою дружину хоробрую.
Ходит чаша рядовная,
Гости пьют, похваляются,
Кто могутною силою,
Кто красой молодецкою.
А Сухман-то Непровьевич
Испивает по-малёхоньку,
Говорит по-редёхоньку.
Князь по гридне похаживает,
У Сухмана выспрашивает:
– Что сидишь не улы'бнешься?
Али чара шла не по́ ряду?
Али место не по Отчине? —
Ответ держит молодой Сухман:

---

[104] Notes: 104
Впервые опубликовано в сборнике «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957) и переиздано в сборниках «Авдотья Рязаночка» (М.: Детгиз, 1958), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. *–Примеч. ред.*

– Та и чаша чиновня,
Я котору ко устам несу.
То и место степенное,
На котором я сижу. —
Говорит князь Сеславьевич:
– Не спесиво ли высловил,
А не хвастливо ли вымолвил?
Ты о чем ладишь хвастати?
Богатырской ли силою
Али красой молодецкою? —
Ответ держит молодой Сухман:
– Моя сила не вам чета,
Моя кра́сота не вам ровня.
А похвастаю силою:
Оснастишь ты, князь Сеславьевич,
Боевые лодьи мерные,
Зайдешь в лодьи с дружиною,
Со конями, со сбруями,
Я лодьи те повыздыму,
Во сине море вынесу.
А в мою-то во кра́соту
Поглядит солнце красное,

Полюбуются звезды частые. —
Говорит князь Сеславьевич:
– Нам догадку высказываешь,
Нам загадку загадываешь.
То ведь кудесы заветные,
То волшба́ хитромудрая,
Вещим бабам показана,
Старикам заповедана.
А твои возрасты ранние,
Твои степени молодшие.
Дам тебе службу сверстную:
Ты сгуляй ко Непре-реке,
Настреляй гусей-лебедей,
Серых малых утёнышей
Во дворы-ти во княжие,
Нам в потребы домовные. —
А и Сухман не ослышится.
Он и едет Непрой-рекой,
На реку-то дивуется,
У реки-то выспрашивает:
– Гой ли, мати Непра-река,
Что течешь не по-старому?

Что волной разгулялася,
Во песках замутилася? —
Отвечает Непра-река:
– Мне ведь как не мутитися,
Во песках не мешатися?
К моему-то ко берегу,
С полудённую сторону,
Подошли злы татаровья,
Семь полков, орда Синяя.
Они мосты-то вымащивают,
Через меня-то, Непру-реку,
Переходы выкладывают.
Что они в день-то повымостят,
Что во дни-то повыстроят,
То я ночью повырою,
То я ночью повымою.
Я из сил-то повыбилась…
А идут-то татаровья
Ко княжному ко городу,
Ладят город на дым пустить,
Старых-малых повыгубить. —
А и тут молодой Сухман,

Он и гонит добра коня
В полудённую сторону.
Красно солнце на за́кате,
Красна солнца не видети,
Что от духу татарского,
Что от поту ордынского.
А и тут молодой Сухман,
Он хватал сыр матёрый дуб
Со корнями из берегу.
А не гроза-то накатится
И не туча навалится,
А ударил молодой Сухман
На полки-то татарские.
Он здымал сыр матёрый дуб
Выше плечи могучие,
Он и жахнул ко западу,
Отмахнул на восточную.
То-то писку татарского,
То-то визгу ордынского!
А и бил молодой Сухман,
Как косец-то траву косил.
А и ложатся татаровья,

Ложатся увалами,
Лежат перевалами.
А и мати Непра-река
Со постели повыстала,
На орду-то опружилась.
Она мыла татаровей,
Уносила поганыих
Во поддоны – желты пески.
То-то ноченька грозная,
То-то ноченька светлая.
Заря-то вечерняя
С зарею со утренней
Как сестра с сестрой со́йдутся,
На заре той, на утренней,
Заходил молодой Сухман
На гору на Окатову,
Он оглядывал к северу,
Отслушивал к западу.
А ни писку, ни голосу,
А ни визгу, ни шороху.
Лежит орда Синяя,
Как трава-то покошена.

А в живых-то остался,
Остали'сь три татарина.
Они под гору укрылися.
В кусты схоронилися.
А Сухман-то Непровьевич
На горе постаивает,
Сымает золотой шелом,
Расстегнул латы булатные,
Отирает кровавый пот
По трудех-то великиих.
А и три-то татарина
Тянут туги' луки',
Пустили три стрелы.
Ударили три стрелы
Во крепку грудь Сухманову,
Во сердце ретивое.
То-то ноченька грозная,
То-то ноченька светлая.
Говорит Непра-река:
– Родимое мое дитятко,
Не вынимай каленой стрелы
Из сердца ретивого!

Дождись зари утренней,
Простись со дружиною. —
А во ту пору времени
Во своем-то во городе
Не спит князь Сеславьевич,
С дружиною советует:
– Что без ветру река шумит?
За рекой будто гром гремит.
То не туча грозовая,
Не гроза разгулялася,
Тамо сеча кровавая,
Тамо бой-драка великая!
А и нет ли невзгодушки
Над молодым-то Непровичем?
А и князь со дружиною
На добрых коней падают,
А и гонят Непрой-рекой
В полуденную сторону.
А и тут становилися,
А и тут острашилися:
Круг горы-то Окатовы
Лежит орда Синяя,

Лежат злы татаровья,
Как трава-то покошена.
А и скачет князь с дружиною
На гору Окатову.
Стоит молодой Сухман,
О коня ослоняется,
Говорит таковы слова:
– Здравствуй, князь со дружиною!
Я служил службу раннюю
По моим малым возрастам,
По молодшим по степеням.
Набил гусей-лебедей,
Серых малых утёнышей. —
Говорит князь Сеславьевич:
– Уж ты, гой еси, Непровьевич,
Богатырь святорусский!
Мне-ка чем тебя жаловать?
В города ли воеводою
Аль несчетной золотой казной? —
Ответ держит молодой Сухман:
– Уж воеводить мне некогда,
И казна стала ненадобна. —

А и тут молодой Сухман,
Он правой-то рученькой
Выхватывал калену́ стрелу
Из своего-то сердечушка…
И не белой снежочек пал —
Непрович с ног упал.
Он упал, упал; лежит.
Белый снег на лицо бежит.
Из груди-то Сухмановой
Ударили три ключа.
Три ключа, во́ды светлые
Во потоки свивалися,
Большой рекой разбежалися.
Объявилась Сухман-река.
От очей-то Сухмановых
По той же Сухман-реке
Объявились два озера,
Во́ды синие, светлые.
Налетели тут гуси-лебеди,
Серы малы утёныши.
От костей-то Сухмановых
Поднялись круты бе́реги.

От кудрей-то Сухмановых
По той ли Сухман-реке
Верба раскудрявилась.
А от уст-то румяныих
Расцвели цветы алые.
А в красу-то Сухманову,
В воды чистые, светлые,
Днем глядит солнце красное,
А в ночи – звезды частые.
А дошла пора времени,
Оснастил князь Сеславьевич
Боевы лодьи мерные;
На лодьи зашел с дружинами,
Со конями, со сбруями.
Подымала их Сухман-река,
Понесла во синё море.

Емшан-трава[105]

Емшан-трава благоухает,
Песню в уста мои влагает.

Деялось в стародавние годы:
Князь Владимир[106] *– Грозные Очи*
Дружил с половецкой ордою;
В гости звал князей половецких,
Братьев Отрока и Сырчана.
И на пиру братьев обидел —
Обнес круговою чашей:
Почтил перво Юнду, чудина.
И Сырчан на князя оскорбился:
– У Владимира-князя правды нету,
В гости звал, величал сыновьями,
А чествовал ниже холопа. —

---

[105] Notes: 105

Впервые опубликовано в сборнике «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947) и переиздано в сборниках «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гости с Двины» (М.: Детская литература, 1970) и др. *–Примеч. ред.*

[106] Notes: 106

Владимир Мономах (XII век).

И Отрок Сырчана унимает:
– Не по делу крамолишься, брате.
Со всеми Володимир ровно грозен,
С боярином грозен и со смердом.
А мы не князю – мы Киеву дружим,
С Киевом у нас нету обиды. —
Сырчан на то рассмехнулся:
– Ты и наймися Киев караулить.
Повесь на бедро колотушку,
Ходи по улицам, стукай!
А моя голова не поклонна,
Я надвое сердце разбиваю:
Родимые степи покидаю,
А с Владимиром-князем мне тесно! —
И ушел Сырчан на чужбину,
С родимою степью простился,
С травами, со цветами…
– Прости и ты, милый брате,
У меня с тобой нету обиды! —
И после этого быванья
Черкесские горы и долы
Родиной Сырчан называет,

Стоит за них честно и грозно,
Мечом и щитом обороняет.

И после этого быванья
За годами проходят годы,
И грозный Сырчан-воевода
Царем на горах учинился,
Надел золотую шапку,
Принял серебряный посох,
Сел на высоком троне.
Позабыл родимые степи
Со травами, со цветами,
С вешними ручейками…

И после этого быванья
За годами проходят годы.
Умер в Киеве князь Володимир,
Закрыл свои грозные очи…
И Отрок гонца снаряжает:
– Поспешай в Черкесские горы,
Сказывай кончину Мономаха,
Домой зови брата Сырчана,
Пой ему половецкие песни.

А если не послушает песен,
Подай ему пучок травы-емшана,
Подай вот эту горсть травы душистой...
И гонец в дорогу напустился.
Горные дороги протяжны,
Емшан в пути завял и высох,
Но живет его благоуханье,
Сладкое степей воспоминанье.

И после этого быванья
Гонец доступает до Сырчана.
Сырчан с дружиной пирует.
На челе золотая шапка,
В руках медвяная чаша.
– Здравствуй, гонец половецкий!
Сказывай вести от брата.

И звенят половецкие гусли,
Под гусли гонец держит слово:
– Вернись домой, господине!
Умер грозный князь Володимир,
Закрылись орлиные очи.
Вернись домой, господине!

Новый князь любителен и ласков.
Сырчан на то усмехнулся:
– Что мне до княжеской ласки!
Я царь над тремя городами,
Над всею Черкес-горою!
Я Киевского князя не меньше. —
Но звенят половецкие гусли
Перелетных птиц голосами,
Весенними ручейками:
– Вернись домой, господине!
Помяни половецкие степи.
У нас реки, озера разлилися,
Лебеди и гуси – будто пена. —
И Сырчан хмурит грозные брови:
– Добро, игрец половецкий!
Мне мать певала эти песни.
Вспомнил я голоса степные…
Да мне домой не вернуться,
С золотою клеткой не расстаться,
Не сменить дворца на кибитки.

Тогда гонец половецкий
Подает царю пучок емшана,

Подает пучок травы душистой.
И царь берет траву, дивяся,
И к лицу пучок травы степной подносит.
И стряслося дивное диво:
Грозный царь прикрыл глаза рукою
И, пучок степной травы целуя, плачет.
Жмет к устам пучок травы душистой,
И по грозной бороде струятся слезы…
Нежное травы благоуханье,
Сладкое степей воспоминанье…

И Сырчан не видит гор, теснин угрюмых.
Степь перед ним бескрайная сияет,
Половецкие кибитки вереницей,
Мать поет, емшан-траву сбирает;
Та трава печали отымает…

И молчит разгульная дружина,
И дивит на слезы господина…
А Сырчан встает тих и весел.
С головы сложил царскую шапку,
Царский посох в угол поставил;

Надевает сукман[107] половецкий,
Пастушью шапку баранью,
Меч по бедре опоясал.
Сел на коня и молвил:

– Прощайте, живите, други!
Зовет меня милая отчизна.
Ухожу в половецкие степи,
В родимую землю навеки!..
И после этого быванья
Два всадника правят дорогу,
Правят под северный ветер.
Сырчан и гонец половецкий
В милую едут отчизну, —
Едут денно и ночно,
Синие дали соглядают:
Не блеснут ли реки степные,
Не сбелеют ли шатры кочевые.

---

[107] Notes: 107
Сукма́н — суконный кафтан.

Об Авдотье Рязаночке[108]

Зачинается доброе слово
Про Авдотью-жёнку, Рязанку.

Дунули буйные ветры,
Цветы на Руси увяли,
Орлы на дубах закричали,
Змеи на горах засвистали.
Деялось в стародавние годы.
Не от ветра плачет сине море,
Русская земля застонала.
Подымался царище татарский
Со своею Синею Ордою[109],
С пожарами, со смертями.
Города у нас на дым пускает,

---

[108] Notes: 108

Впервые опубликовано в сборнике «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947) и переиздано в сборниках «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957), «Авдотья Рязаночка» (М.: Детгиз, 1958), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гости с Двины» (М.: Детская литература, 1970) и др. *–Примеч. ред.*

[109] Notes: 109

Синяя Орда — прозвище одного из племен во времена нашествия монголо-татар на Русь.

Пепел конским хвостом разметает,
Мертвой головой по земле катит.
И Русь с Ордой соступилась,
И были великие сечи…
Кровавые реки пролилися,
Слезные ручьи протекали.
Увы тебе, стольный Киев!
Увы, Москва со Рязанью!
В старой Рязани плач с рыданьем:
Носятся страшные вести.
И по тем вестям рязанцы успевают,
Город Рязань оберегают:
По стенам ставят крепкие караулы,
В наугольные башни – дозоры.
Тут приходит пора-кошенина.
Житье-то бытье править надо.
Стрелецкий голова с женою толкует,
Жену Авдотью по сено сряжает:
– Охти мне, Дунюшка-голубка,
Одной тебе косить приведется,
Не съездить тебе в три недели,
А мне нельзя от острога отлучиться,

Ни брата твоего пустить с тобою,
Чтобы город Рязань не обезлюдить.
И Авдотья в путь собралася,
В лодочку-ветлянку[110] *погрузилась.*
Прощается с мужем, с братом,
Милого сына обнимает:
– Миленький мой голубочек,
Сизенький мой соколик,
Нельзя мне взять тебя с собою:
У меня работа будет денно-нощна,
Я на дело еду скороспешно.

После этого быванья
Уплыла Авдотья Рязанка
За три леса темных,
За три поля великих.
Сказывать легко и скоро,
Дело править трудно и долго.
Сколько Авдотья сено ставит,
Умом-то плавает дома:
«Охти мне, мои светы,

---

[110] Notes: 110
Ветля'нка — лодка, прошитая корнями ветлы — ивы. Такое крепление было прочнее железного.

Всё ли у вас поздорову?»
А дни, как гуси, пролетают,
Темные ночи проходят.
Было в грозную ночку —
От сна Авдотья прохватилась,
В родимую сторонку взглянула:
Над стороной над рязанской
Трепещут пожарные зори…
Тут Авдотья испугалась:
– Охти мне, мои светы!
Не наша ли улица сгорела? —
А ведь сена бросить не посмела:
Сухое-то кучами сгребала,
Сучьем суковатым пригнетала,
Чтобы ветры-погоды не задели.
День да ночь работу хватала,
Не спала, не пила, не ела.
Тогда в лодчонку упала,
День да ночь гребла, не отдыхала,
Весла из рук не выпускала.
Сама себе говорила:
– Не дрожите, белые руки,

Не спешите, горючие слезы! —
Как рукам не трястися,
Как слезам горючим не литься?
Несет река головни горелы,
Плывут человеческие трупы.
На горах-то нет города Рязани,
Нету улиц широких,
Нету домовного порядка.
Дымом горы повиты,
Пеплом дороги покрыты.
И на пеплышко Авдотья выбредала.

Среди городового пепелища
Сидят три старые бабы,
По мертвым кричат да воют,
Клянут с горя небо и землю.
Увидели старухи Авдотью:
– Горе нам, жёнка Авдотья!
Были немилые гости,
Приходил царище татарский
Со своею Синею Ордою,
Наливал нам горькую чашу.
Страшен был день тот и грозен.

Стрелы дождем шумели,
Гремели долгомерные копья.
Крепко бились рязанцы,
А татар не могли отбити,
Города Рязани отстояти.
Убитых река уносила,
Живых Орда уводила.
Увы тебе, жёнка Авдотья,
Увы, горегорькая кукуша!
Твое теплое гнездышко погибло,
Домишечко твое раскатилось,
По камешку печь развалилась.
Твоего-то мужа и брата,
Твоего-то милого сына
В полóн увели татары!
И в те поры Авдотья Рязанка
Зачала лицо свое бити,
Плачем лицо умывати.
Она три дня по пеплышку ходила,
Страшно, ужасно голосом водила,
В ладони Авдотьюшка плескала,
Мужа и брата кричала,

О сыне рыдала неутешно.
Выплакала все свои слезы,
Высказала все причитанья.
И после этого быванья
Вздумала крепкую думу:
– Я пойду вслед Орды, вслед татарской,
Пойду по костям по горелым,
По дорогам пойду разоренным.
Дойду до Орды до проклятой,
Найду и мужа и брата,
Найду своего милого сына!
Говорят Авдотье старухи:
– Не дойти тебе Орды за три года.
Пропадешь ты, жёнка, дорогой,
Кости твои зверь растащит,
Птицы разнесут по белу свету.

Говорит Авдотья старухам:
– То и хорошо, то и ладно!
Дожди мои косточки умоют,
Буйные ветры приобсушат,
Красное солнце обогреет. —
Говорят Авдотье старухи:

– В Орде тебе голову отымут,
Кнутом тебе перебьют спину.

– Двум смертям не бывати,
А одной никому не миновати! —
И пошла Авдотья с Рязани:
Держанный на плечах зипунишко,
На ногах поношены обутки.
И поминок[111] *добыла своим светам:*
По́яса три да три рубахи.
– Найду их живых или мертвых,
В чистые рубахи приодену.

Шла Авдотья с Рязани,
Суковатой клюкой подпиралась.
Шла она красное лето,
Брела она в грязную осень,
Подвигалась по снегу, по морозу.
Дожди ее насекают,
Зимние погоды заносят.
Страшно дремучими лесами:
В лесах ни пути, ни дороги;

---

[111] Notes: 111
Поми'нок — памятный подарок.

Тошно о лед убиваться,
По голому льду подаваться.
Шла Авдотья с Рязани,
Шла к заре подвосточной,
Шла в полуденные страны,
Откуда солнце восходит,
Смену несла своим светам:
Три пояска да три рубахи.
Шла, дитя называла,
Мужа и брата поминала.
Тогда только их забывала,
Когда крепким сном засыпала.
Шла Авдотья близко году,
Ела гнилую колоду,
Пила болотную воду.
До песчаного моря доходила.
Идут песчаные реки,
Валится горючее каменье,
Не видать ни зверя, ни птицы;
Только лежат кости мертвых,
Радуются вечному покою.
В тлящих полуденных ветрах,

В лютых ночных морозах
Отнимаются руки и ноги,
Уста запекаются кровью.

И после этого бываньи
Веют тихие ветры,
Весна-красна благоухает,
Земля цветами расцветает.
Жёночка Авдотья Рязанка
На высокую гору восходит,
Берега небывалые видит:
Видит синее широкое море,
А у моря Орда кочевала.

За синими кудрявыми дымами
Скачут кони табунами,
Ходят мурзы-татаре,
Ладят свои таборы-улусы.
Тут-то Авдотью увидали,
Врассыпную от нее побежали:
– Алай-булай, яга-баба!
– Алай-булай, привиденье! —
Голосно Авдотья завопила:

– Не бегайте, мурзы-татаре!
Человек я русского роду,
Иду в Орду больше году,
Чтоб вашего царя видеть очи. —
И в ту пору, и в то время
Авдотью к царищу подводят.
Блестят шатры золотые,
Стоят мурзы на карачках,
Винькают в трубы и в набаты,
Жалостно в роги играют,
Своего царища потешают.

Сидит царище татарской
На трех перинах пуховых,
На трех подушках парчовых.
Брови у царища совины,
Глаза у него ястребины.
Усмотрел Авдотью Рязанку,
Заговорил царище, забаял:
– Человек ты или привиденье?
По обличью ты русского роду.
Ты одна-то как сюда попала?
Ты не рыбою ли реки проплывала,

Не птицей ли горы пролетала?
Какое тебе до меня дело?

И жёнка Авдотья Рязанка
Его страшного лица не убоялась:
– Ты гой еси, царище татарский,
Человек я русского роду,
Шла к тебе больше году,
Сквозь дремучие леса продиралась,
О голые льды убивалась,
Голод и жажду терпела,
От великой нужды землю ела.
Я шла к тебе своей волей,
У меня к тебе обидное дело:
Приходил ты на Русь со смертями,
С пожарами, с грабежами,
Ты разинул пасть от земли до неба,
Ты Рязань обвел мертвою рукою,
Катил по Рязани головнею,
Теперь ты на радости пируешь…

Ей на то царище рассмехнулся:
– Смело ты, жёнка, рассуждаешь,

Всего меня заругала!
Не слыхал я такого сроду.
А не будем с тобою браниться,
Давай, Рязанка, мириться.
Какое тебе до меня дело? —
Говорит Авдотья Рязанка:
– Ты увел в полон моего мужа и брата,
Унес моего милого сына.
Я ночью и днем их жалею,
Покажи их живых или мертвых.
Я одену их в чистые рубахи,
Поясами их опоящу,
Покричу над ними, поплачу,
Про запас на них нагляжуся.

И царь на Авдотью дивится:
«Орда молодцов видала,
Такого образца не бывало!
Не князь, не посол, не воин —
Жёночка с Рязани, сиротинка,
Перешла леса и пустыни,
Толкучие горы перелезла,
Бесстрашно в Орду явилась...»

– Гой вы, мурзы-татаре,
Приведите полонянников рязанских,
Пущай Авдотья посмотрит,
Жив ли муж ее с братом,
Тут ли ее милое чадо!
И полон рязанский приводят,
И Авдотья видит мужа и брата,
Живого видит милого сына.
И не стрела с тугого лука спряну́ла,
Не волна о берег раскатилась,
С семьей-то Авдотьюшка свидалась.
Напали друг другу на шею,
Глядят, и смеются, и плачут.
Говорит царище татарский:
– Жалую тебя, жёнка Авдотья,
За твое годичное хожденье:
Из троих тебя жалую единым,
Одного с тобою на Русь отпущаю.
Хочешь, бери своего мужа,
Хочешь, бери себе сына,
А хочешь, отдам тебе брата.
Выбирай себе, Рязанка, любого.

И в ту пору и в то время
Бубны, набаты замолчали,
Роги и жалейки перестали.
А жёнка Авдотья Рязанка
Горше чайцы морской возопила:
– Тошно мне, мои светы!
Тесно мне отовсюду!
Как без камешка синее море,
Как без кустышка чистое поле!
Как я тут буду выбирати,
Кого на смерть оставляти?!
Мужа ли я покину?
Дитя ли свое позабуду?
Брата ли я отступлюся?..
… … … … … … … …
Слушай мое рассужденье,
Не гляди на мои горькие слезы:
Я в другой раз могу замуж выйти,
Значит, мужа другого добуду.
Я в другой раз могу дитя родити,
Значит, сына другого добуду.
Только брата мне не добыта,

Брата человеку негде взяти…
Челом тебе бью, царь татарский,
Отпусти на Русь со мною брата!

И в то время жёнка Рязанка
Умильно перед царищем стояла,
Рученьки к сердцу прижимала,
Не мигаючи царю в очи глядела,
Только слезы до пят протекали.
Тут не на море волна прошумела,
Авдотью Орда пожалела,
Уму ее подивилась.
И царище сидит, тих и весел,
Ласково на Авдотью смотрит,
Говорит Авдотье умильно:
– Не плачь, Авдотья, не бойся,
Ладно ты сдумала думу,
Умела ты слово молвить.
Хвалю твое рассужденье,
Славлю твое умышленье.
Бери себе и брата, и мужа,
Бери с собой и милого сына.
Воротися на Русь да хвастай,

Что в Орду не напрасно сходила,
На веках про Авдотью песню сложат,
Сказку про Рязанку расскажут…

А и мне, царищу, охота,
Чтобы и меня с Рязанкой похвалили,
Орду добром помянули.
Гей, рязанские мужи и жены,
Что стоите, тоскою покрыты?
Что глядите на Авдотьину радость?
Я вас всех на Русь отпущаю.
Гей, жёнка Авдотья Рязанка!
Всю Рязань веди из полону,
И будь ты походу воевода.
И в те поры мурзы-татаре
Своего царища похваляют,
Виньгают в трубы и в роги,
Гудят в набаты, в бубны.
И тут полонянники-рязанцы
Как от тяжкого сна разбудились,
В пояс Орде поклонились,
Молвили ровным гласом:
– Мир тебе, ордынское сердце,

Мир вашим детям и внукам!

И не вешняя вода побежала,
Пошла Рязань из полону.
Понесли с собой невод и ка́рбас
Да сетей поплавных – перемётов,
Чем, в дороге идучи, питаться.
Впереди Авдотья Рязанка
С мужем, с братом и с сыном,
Наряжены в белые рубахи,
Опоясаны поясами.

После этого быванья
Воротилась Рязань из полону
На старое свое пепелище,
Житье свое управляют,
Улицы ново поставляют.

Были люди, миновались,
Званье, величанье забывалось.
Про Авдотью память осталась,
Что жёнка Авдотья Рязанка
Соколом в Орду налетала,
Под крылом Рязань уносила.

Об Иване Грозном
И его сыне Федоре[112]

Высоко, высоко небо синее,
Широко, широко океан-море,
А мхи-болота – конца им нет
От нашей Двины, от Архангельской.
Заволакивает небо в темны' тучи,
Остеклело широко океан-море,
Надо мхами-болотами метель метет,
Та ли осення непогодушка.
Заводилась непогода у синя моря,
Доносило непогоду до Святой Руси.
На Святой Руси, в каменной Москве,
В каменной Москве, в Кремле-городе,
У царя у Ивана у Васильевича
Было пированье, почестей стол.
Все на пиру пьяны-веселы,

---

[112] Notes: 112

Впервые опубликовано в сборнике «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957) и переиздано в сборнике «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. *–Примеч. ред.*

Все на пиру стали хвастати.
Прирасхвастался Иван Грозный царь:
– Я взял Казань, взял и Астрахань.
Я повывел измену изо Пскова,
Я повывел измену из Новагорода,
Я повыведу измену из каменной Москвы!
Говорит же тут его молодший сын,
Молодший сын Федор Иванович:
– Вы слыхали ли, бояре, такову беду,
Что сей ночи, со полуночи,
Москва-река течет кровию,
Той ли кровию княженецкою?
А на крутых бережочках не камешки,
А валяются головушки боярские…
А и гости-то царевичу перстом грозят,
Поют-ревут, его унять хотят.
А расслушал же Малюта, Скуратов сын,
Говорит Малюта царю Грозному:
– Хоть ты взял Казань, взял и Астрахань,

Хоть повывел измену изо Пскова,
Хоть повывел измену из Новагорода,
Тебе не вывести измену из каменной Москвы:
С тобой измена за столом сидит,
С одного с тобой блюда хлебы кушает,
Из одной ендовы пива-меду пьет.
Твой-то сын Федор Иванович
Сказывает боярам таковы слова:
«Москва-де река течет кровию,
Той ли кровью неповинною.
А на крутых берегах лежат не камешки —
Валяются головушки християнские».
И Грозный-царь распрогневался,
Скачет царь на резвы ноги.
От того поскоку ретивого
Белодубовы столы пошатались,
В ендовых питья расплескалися,
Хлебы ситны колесом покатилися,
Браны скатерти в трубу завивалися.
Кричит же царь зычным голосом:

– Вы гой, палачи немилостивы,
Имайте царевича за белы руки,
Тащите его за Москва-реку,
На то на Болото на Торговое.
Кладите на плаху на липову,
Секите ему буйну голову!
И все палачи приустра́шились,
И все палачи приужа́снулись…
Один Малюта не ужа́снулся,
Один Скуратов не устра́шился.
Хватал царевича за белы руки,
Поволок его за Москва-реку,
На то на Болото на Торговое.
Кладет его на плаху на дубовую,
Ладит сечь буйну голову.
А и эта весточка престрашная,
Что царь казнит своего сына, —
Летит эта вестка по всей Москве,
По той по улице Никитския.
Тут стоят хоромы высокие,
Живет царевичев дядюшка,
Боярин Никита Романович.

И дядюшка приужáснулся.
Пря'дал с постели со мягкия,
Сапожки насунул на босу ногу,
Шубоньку на одно плечо,
Шапоньку на одно ушко.
Ему некогда седлать добра коня,
Он падал на клячу водовозную.
Он гонит клячу через всю Москву;
Он застал Малюту на зáмахе.
Схватил любезного племянника,
Спрятал племянника за пазуху,
Застегнул на пуговки серебряны,
Кричит, зычит таковы слова:
– Собака, вор ты, Скуратов сын,
Мироед ты, съедник, переел весь мир!.
Сплыви, собака, за Москву-реку,
Поймай в чистом поле татарина,
Ссеки ему буйну голову,
Снеси царю саблю кровавую,
И царь тому делу поверует. —
И дядюшка Никита Романович
Увез племянника во свой во двор,

Спрятал во покои во особые,
Созвал скоморохов веселыих
Утешати опального царевича,
Поколь утолится отецкий гнев.
А Малюта сплыл за Москву-реку,
Поймал в чистом поле татарина,
Срубил ему буйну голову,
Принес к царю саблю кровавую.
И Грозный царь зажалел сына.
Снимал с головы золотой венец,
Заокутал лицо во черно́й клобук;
Свои же он ризы царские
Заокутал манатьёй чернеческой[113].
Засветил лампаду негасимую,
Отворил книгу Псалтырь великую
И заплакал по сыне по Федоре:
– Белопарусный кораблик ушел за море,
Улетела чаица за синее.
Кудрявая елиночка посечена,
Золота верба весенняя порублена.

---

[113] Notes: 113
Манатья чернеческая — мантия монаха.

Нет у меня сына милого,
Я казнил свое детище любимое…
И плачет царь ровно шесть недель.
Шестинедельная панихида миновалася,
Незатворна Псалтырь затворялася,
Негасима лампада погашалася.
Поехал царь за потехами,
За утками поехал, за лебедями.
А и надо ехать через всю Москву,
По той по улице Никитския.
А у дядюшки Никиты Романовича
Песни поют и гудки гудут,
Играют скоморохи удалые,
Веселят опального царевича.
И Грозный-царь распрогневался,
Позвал дядю на красно крыльцо,
Ему ткнул копье во праву ногу,
А сам говорит таковы слова:
– Ты, старая курва, седатой пес!
Что у тебя за пир такой?
Что у тебя за весельице?
Не знаешь ли ты, не ведаешь,

Что померкло у нас солнце красное,
Погасла звезда раноутренняя?
Ведь казнил я своего сына милого,
Ведь нет в живых твоего племянника!
Так всегда в каменной Москве:
По всяком по воре по боярине,
По всяком князе-изменнике
Много на Москве плачу-жалобы,
По моем только по милом по детище
Никого в Москве нету жалобного.

В те поры Никита Романович
Бежит во покои во особые.
Он выводит к царю сына Федора,
Жива, здрава, невредимого.

И Грозный-царь Иван Васильевич
Падал дяде в праву ножечку:
– Ты от смерти спас мое детище,
Ты от муки спас мою душу грешную!
Я как тебя, дядя, буду чествовать?
Я чем тебе буду благодарствовать? —
Говорит Никита Романович:

– Садись-ко, царь, на ременчат стул,
Пиши-ка ярлык скорописчатый,
Дару́й льготу нерушимую
Для нашей улицы Никитския:
«Кто-де на улицу Никитскую
От царского гнева укроется,
Не тронуть того царским при'ставам,
Не задеть того лютым опричникам».

Старина о госте норвежине[114]

У синего моря, у солоного,
у светлого Гандвика студеного,
у Двины-реки в Низовскóй земли
поживала женочка Устьяночка.
Было у женочки девять сынов,
десята дочка любимая.
Первого сына вода взела,
второго сына земля взела,
третьего мать на войну сдала.
Шесть сыновей на лодью зашли,
во студеное море промышлять пошли,
разбивать кораблики гостиные[115].
Дочку-то женочка выростила,
выдала замуж за норвежанина,
за умного гостя отменитого.
Увез ей норвежин за сине море,

---

[114] Notes: 114

Впервые опубликовано в сборнике «Архангельские новеллы» (М.: Советский писатель, 1936). *–Примеч. ред.*

[115] Notes: 115

Гостиные — купеческие.

во свою землю, во большую семью.
Жила молода, не печалилась.
Отставала обычая крестьянского,
навыкла обычая латыньского.
Тут повытают снежочки у чистá поля,
придет весна разливна красна.
Тогда молода стосковалася,
стала мужа упрашивать:
– Поплывем, норвежин, во святую Русь,
светлым-светла земля русская!
Она травами, цветами изукрашена.
Поплывем, норвежин, в гости к маменьке.
Норвежин ей на смех отворачиват,
отнялся норвежин недосугами.
Она год жила, и другой жила,
родила сына, закручинилась.
Повеяли ветры весенние,
побежали кораблики за море.
Молода-то мужу разговариват:
– У нас русска-та земля хлебородимая,

житными полями изукрашена,
кунами-соболями изнаполнена.
Дорогу́-то рыбу кораблем берут;
добрых коней с торгу табуном ведут!
Поплывем, норвежин, во крещену Русь!
А и тут норвежин не ослышался.
Оснастил кораблик белопарусной.
Нагрузил товарами мено́вными[116],
которы товары в Руси надобны.
Порядил подсобных корабельщиков.
Выпало пове́терье на Русь идти;
скричала гогара за синим морем;
сплакала мати норвежина.
Побежал корабличек за море,
во светлое печальное раздольице.
Парусом бежали полтретья дни,
оминули береги варяжские.
Варяжско-то море на волнах стоит,
встречу норвежанам лодья летит.
На той лодье Русь крещеная,

---

[116] Notes: 116
Для меновой торговли.

шесть братов – дружина разбойная.
Струбила Русь во серебрян рог
грозно, и звонко, и жалобно.
Ударила Русь на норвежаны;
сгремели копья долгомерные
о булатны доспехи норвецкие.
Молода дружина корабельная
твердо стала о норвежине.
Они телом толсты, а умом просты.
Западали норвежана труп на труп.
А разбойна та дружина натодельная,
от роду доспеху с плеч не складывали,
оприче копья забавы не задеивали.
Молода-то жоночка-норвежанка
жмет своего детища посечена,
на полы младеня порублена.
Видит норвежан, крепко бьючися,
молит себе смерти скорые:
– Не видеть бы в мертвых своего мужа.
А он в первых испил чашу смертную,
от Руси крещеной без правды убит.
Ра́тились норвежане мужественно,

билися дни'ну до вечера —
никто не избыл смерти горькие.
Разбойна дружина стала радоваться:
– Немцев-то было шестнадцатеро,
нас-то молоденьких шестеро! —
А ратно-то дело нать доправливать.
Они трупье-то сбодали в море копья-ми,
расхожий товар следом высвистали,
отборной товар в лодью выгрузили.
Вдовицу-норвежанку в полон взяли,
воеван кораблик огнем сожгли.
Разметали по морю по синему,
по широкому печальному раздольицу.
Встала заря многокровавая.
Красно-то солнце ушло к за́кату.
Норвецко трупье плывет к западу.
Разбойна дружина разгулялася.
Они пьют, и льют, и в набаты бьют.
Люто пили – обесстужились,
молоду вдову стали бесчестити.
На первой, на па́зори, на утренней

затянуло дружину в могутны сны.
Один только разбойничек не спит, не лежит —
У руля сидит, на вдову глядит.
Призняла́ся[117] *на коленца молода вдова,*
обвела кругом очи ясные.
Пустила вопль по синю морю,
по светлому, печальному раздольицу.
Стала звати на русску речь:
– Прости, прости, любезный муж!
Прости, осударь, одинакой сын!
Простите, осудари корабельщики!
Простите, горды норвецкие!
Тебе Бог судья, земля русская!
Не виню дружину разбойную,
мне положить обида на свою голову!
Нету причитанья против вдовьего,
нету слез против матерних.
Еще плачет жоночка на русску речь —
молодой-то разбойник прирослушал-

[117] Notes: 117
Приподнялась.

ся,
учал вдовы разговаривать:
– Не плачь-ко ты, жоночка-норвежанка!
Мужу твоему не воротитися,
покоен лежит во синем мори.
Муж твой убит, а и всем там быть.
У тя кто остался роду, племени?
Ты какого отца, какой матери?
Ты русського роду аль норвецкого?!
Ему стала полоняночка сказывать:
– Я по мужу-то немка, а род с Руси.
В Двинской-то губы, в Низовской земли,
у светлого Гандвика студеного
поживала маменька Устьяночка.
Было у маменьки девять сынов.
Я – та десята любимая.
У меня первого брата вода взела;
второго брата земля взела;
третьего мати на войну сдала.
Шесть-то братей на лодью зашли,
побежали до моря, до Варяжского.

Нет об их ни вести, ни павести.
После-то братнева бываньица
одна я у маменьки выросла.
Наехали сваты из-за моря,
взели меня за норвежанина,
за ласкового молодца хорошего.
Увез меня норвежин во свою землю.
Тут год-то за годом, как снег, идет.
Жили-пожили, сына нажили.
Падут ветерочки полуденные,
побежат лодейки весновальные,
стала я мужа уговаривать:
– Поедем, норвежин, в гости к маменьке! —
Навеку меня норвежанин не бранивал,
поперечного словечка не говаривал,
покрутил подстанных корабельщиков,
отворил паруса белы полотняны.
Оминули береги варяжские,
норвецка-та земля потаилася.
Студеное море на волнах стоит,
навстречу-то ваша лодья бежит.

Труба-то трубит, и копье звенит.
Зарудилися поддоны корабельные,
побежала кровь во сине море.
Выпили норвеги чашу смертную.
Не осталося в живых ни единого.
Нету у меня мужа милого,
нет у меня детища любимого.
Только сраму у меня много добыто,
вековечного укору будет до веку…
Молодо-ет разбойник приужáснулся,
захватился за сестру, приросплакался.
Зачал дружину роспинывать,
не по-доброму братьев побуживать:
– Горе нам, братья-разбойники!
Грозна беда сотворилася!
Страшное дело учинилося!
Мы зетя на копья насýнули,
милого племяша секли на полы,
родну сестру обесчестили!

Старина о Запаве Путятишне и Соловье Будимировиче[118]

Володимир-князь стольно-киевский
Срядился за стол пообедати
С племянницей Запавой Путятишной…
Тут по Киеву звоны пошли,
Заиграли по Днепру гусли звончаты,
Зазвенели струны сладкогласные,
Запели голоса соловьиные.
Припадала Запава в окошечко,
Глядела на лодейное прибегище.
– …Подошли корабли белопарусны,
Тридцать кораблей без единого.
Нос-корма по-звериному,
Борта взведены по-туриному…
На большом корабле молодец сидит,
На коленях держит гусли звончаты,
Поет голосами соловьиными… —

---

[118] Notes: 118

Впервые опубликовано в сборнике «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947). *–Примеч. ред.*

Говорит Запаве Владимир-князь:
– Корабли пришли новогородские.
В гусли бьет именитый гость:
Соловей-сударь Будимиров сын.
Из Новаграда ходит в землю Грецкую,
Торгует собольями-куницами.
Стоит под Киевом малый час,
А платит нам пошлины великие.
Ступай-ко, мила племянница,
Пошли своих барыней боярыней
Звати Соловья к нам за княжий стол.
Молода Запава не замешкалась;
Верховым боярыням приказывает:
– Бежите, бажоны, до пристани,
Зовите Соловья Новгородского
Ко князю Владимиру обедати! —
Учали боярыни спесиваться,
Надуватися стали, обижатися:
– Не гораздо мы по пристаням шататися,
Нам грязно под гору спущатися.
Пущай пройдут подметальщики,

Посыплют дорогу желтым песком… —
Их не стала Запава дожидатися:
Шапоньку на одно ушко,
Шубоньку на одну пуговку.
Под гору спустилась, как на крылышках.
Тут на гостя-гусляра засмотрелася:
Очи его соколиные,
Брови его соболиные,
Уста его сладкогласные,
Игра ето светлашумная.
А и Соловей Запавою любуется,
В песнях-гуслях мешается.

– Не заря ли тебя, девица, спородила,
Не часты ли звезды возлелеяли?
…С лица бела, с очей весела,
Трубчата коса по колен плетена… —
Любо молодцу с девицей побеседовать.
Он шутками бает, прибаутками:
– Ох, и был бы я кораблику хозяином,
Я бы свататься пошел к твоим родителям…

А мое здеся службишко убогое:
Смолю поддоны корабельные,
Конопачу бортовины лодейные…
Не пойдешь ты, девица, за меня замуж…
Говорит Запава со усмешками:
– Я равня тебе, конопатчику:
Я служу Матрешкой-судомойкою,
В поварне брожу ложкомойкою.
– Ты в хорошей поварне судомойничаешь!
Парча на тебе цареградская,
Камка на тебе венищейская!
– А и твой кафтан семибархатной,
Подкафтанье твое семишелковое,
Шапка в каменьях, как жар, горит…
Ты в этом ли уборе корабли смолишь?
—
… … … … … … … … … … … … … …
Тут не павы на море спустилися,
Запавины боярыни явилися:
– Пожалуй-ко, Запава, свет Путятишна,

Дядюшка обедать дожидается.
Еще сказывал Владимир стольно-киевский:
У обеда быть гостю новогородскому.
Пожалуй, Соловей Будимирович! —
Тут лицо у Соловья разгорелося,
Его белое тело расхотелося.
– Государыня, Запава Путятишна!
Я не знал твоего роду-племени,
Спроста с тобой разговаривал.
А буде, есть твое сердечное желаньице,
Я спрошу тебя у князя во замужество.
Я срублю тебе терем во Киеве,
Поставлю хоромы в Новегороде!
Говорит Запава Путятишна:
– Не польщусь на терема златоверхие,
А польщусь на любовь твою верную!
Еще после этого бываньица
На честном княжом столованьице
Соловей с Запавой обручилися,
Золотыми кольцами сменилися.
И жених невесту одаривал:

Сорок сороков черных соболей,
Сто аршин хрущатой камки:
В золоте камочка, не помнется,
И не помнется и не согнется.
Еще было слово положено:
Итти жениху за сине море,
Доправити дело торговое.
На поход клали времени целый год,
Через год на Русь воротитися,
Тогда-де с Запавой венчатися.

А и тут корабли Будимировы,
Тридцать кораблей без единого,
Отворили парусы полотняны,
Выкатали якори булатные,
Ушел Соловей за сине море.
Молода обручница Путятишна
Утерла слезы с бела лица,
Говорит своим барыням-боярыням,
Приказывает нянюшкам-мамушкам:
– Теперь мое дело невестино,
Сядем-ко, бажоны, придано шить,
Бархаты строчить красным золотом,

Камку садить скатным жемчугом! —
Барыни-боярыни спесивятся,
Шьют, не шьют – кропают, обижаются;
Кажда под носом засветила
По три свечи воскояровы:
– Глазки-де у нас невидучие,
Перстышки у нас несгибучие!

А и после этого бываньица
Осень проходит ненастлива,
Зима со снегами, с морозами,
Доходит весна, разливна-красна.
Молода Запава не ест, не лиет:
Соловьюшко желанного в гости ждет.
… … … … … … … … … … … … …

Месяц за месяцем, как дождь, падет.
Год прошел, и другой идет, —
Соловей Запаве вестей не шлет.
В ту пору, во время безугодное,
Отколь взялся во Киеве детинушка;
Сказался купчиною немецкиим,
На имя Лиханя Прокудин сын.

Явился к Путятишне не ждан, не зван,
Баял со слезами, с воздыханием:
– Плымши я, Лиханя, по синю морю,
Терпел непогодушку великую.
Ино мой кораблик Бог помиловал.
Неподалече шли Соловьевы корабли;
Тридцать кораблей без единого,
Непогодой закружило, опрокинуло,
Всех закрыло под одну волну.
Соловей ушел, как топор, ко дну…
Нам нельзя было к ним подступитися,
Разве за души утопших помолитися…

…Падала Запава о тесовый пол,
Била долонями бело лицо.
Не над горсточкой плакала, над пригоршней.
Она оделася в платьице печальное,
Затеплила свещу шестинедельную,
Заводила песнь, мольбу горькоплачевную.
А немчин Лиханя Прокудин сын
Дело правит, не мешкает,

Докупился до боярынь Запавиных:
– Меня Запаве нахваливайте.
За меня итти уговаривайте.
От меня обижены не будете. —
Зачали боярыни Соловья хулить,
Будимировича хаять, Прокудина хвалить.
Путятишна Запава самонравна была,
Самовольна была, самовольна слыла.
– Становитеся, шкуры, перед образом!
Бейте поклоны лицеземные…
Тысячу земных, пятьсот поясных!
Молитеся, шкуры, за Соловья,
За его пресветлую душеньку. —
…Не стали боярыни Лиханю хвалить.

Мавра, сватья всемирная,
Взялася за дело Лиханино:
Стесала задатку пятьдесят рублей…
Умеючи к Запаве подъехала:
С Запавой о Соловье поплакала,
Села с Путятишной обедати,
Выпила браги полтора ведра.

Охмелела – Лиханю завыхваливала,
Соловья, дурака, завыхаивала.
Хватала Запава ендову вина,
Выплеснула Мавре в черны глаза,
Окатила шубу со разводами…
Выгоняла Мавру метлой со двора…
Пропали у Лихани пятьдесят рублев.
Два года Запава Соловья ждала.
Много молено – вдвое плакано:
Милого друга дожидано…

А после этого бываньица —
Молода Запава самонравна была,
Самосильна была, самовольна слыла —
Созвала она Лиханю во Божью церкву:
– Целуй мне, Лиханя, живоносный крест,
Что видел Будимировича мертвого! —
Целовал Прокудин живоносный крест,
Клялся-ротился[119] *на Евангелье:*
– Мои очи Соловья мертва видели,

---

[119] Notes: 119
Ротиться — присягать.

Смертный вопль уши слышаля…
На моих глазах Соловей тонул,
Клевали его рыбы пододонные.

Говорит Запава князю-дядюшке:
– Некуда бесу, дак в уголье.
Нет Соловья, за ворону иду.
Была бы я парнем – загуляла, запила.
А девка… с кручины за немилого пошла!
—
Говорит Владимир племяннице:
– Я этого Лиханю не хулю и не хвалю,
Верные люди сказывали:
У него в Немцах дом и в Царьграде дом,
Ходит на кораблике хозяином…
У тебя, Запава, своя воля:
Хошь – замуж иди, хочешь – так живи!

После этого бываньица
Запава да Лиханя за столом сидят:
Сегодня у Запавы обручальный день,
Завтра и свадьба – венчальный день.
Лиханя сидит, величается:
– Здесь не петь, не летать никаким

соловьям,
Здесь быть соколам, все Прокудиным сынам!
…Не успел Лиханя похваличися,
Над Киевом-градом звоны пошли,
Заиграли по Днепру гусли звончаты,
Зазвенели струны серебряны,
Запели голоса соловьиные…
Владимир-князь просветлел лицом,
Просветлел лицом, будто солнышко.
Прянула Запава на резвы ноги,
Скамью повалила со боярами.
Вышибла окошечко слюдяное,
Глянула в прибежища лодейные,
Завопила со великой со радости:
– Идут корабли Будимировы:
Тридцать кораблей, все целехоньки!
На переднем мой Соловей сидит,
Жив-здоров сидит Будимирович!..

И Запава Путятишна
На ножку справилась,
За Лиханю сграбилась,

Била-дула по толстым щекам,
По шее накладывала:
– Не беда, что меня обманул,
Мое сердце в тоску загонил,
А беда, что крест целовал,
Престрашную клятву солгал! —
Тут Запава Путятишна
Полетела, как на крылышках,
Полетела ко лодейным пристаням…
А Соловьюшко встречу идет…
Тут радость любезная,
Веселие слезное.
Говорит Будимирович:
– Ты, невеста обручная,
Неужели ты меня ждала?
Неужели ты моя да моя?
Нас держала во Цареграде война,
Запирал море царь Салтан…
– Я твоя, сударь, навеки.
Ты пришел ко времени:
Венцы уготованы,
Столы поставлены,

Гости созваны.
Пойдем венцы принимать,
Пойдем пиры пировать!
Старина стародавняя,
Как бы морю на утишенье,
Добрым людям на услышанье.

Братанна[120]

Гандвик – Студеное море,
Светлое, печальное раздолье,
Солнышко в море уходит,
Вечерняя заря догорает.
Маменька помирает,
Сына и дочь благословляет:
– Ухожу к заре подвосточной,
Ухожу к звезде полуночной.
Се тебе, милому сыну,
Промысел морской оставляю,
Отецкой лодьей благословляю.
Где руки отцовы трудились,
Туда и тебе, сыну, ходити.
Сестра тебе в материно место,
Братанна в доме хозяйка.

---

[120] Notes: 120

Впервые опубликовано в сборнике «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947) и переиздано в сборниках «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967), «Гости с Двины» (М.: Детская литература, 1970) и др. *–Примеч. ред.*

Мир тебе, доченька родная,
Речь у тебя не людская,
Да велика кротость-терпенье,
Велико по дому раденье.
Поживите, деточки, в совете.
А кто совет ваш нарушит,
Кляну того морем и землею!
Земля на того и море!
Услышь меня, синее море!
Поблюди моего милого сына,
Подроди[121] *немую Братанну!*
И солнышко закатилось,
Вечерняя звезда восходила,
Маткины очи затворила.
И днем поют попы-дьяки,
Ночью брат с сестрой плачут.
После этого быванья
Брат с сестрой зажили в совете.
Он в море пойдет – простится,
С промысла придет – доложится,

---

[121] Notes: 121
Подроди — прибавь силы, здоровья.

И брата Братанна хвалит,
По головушке его гладит.
Только речь у ней не постатейна[122],
Говóря у Братанны непонятна.
А брата, как мать, жалеет,
День и ночь по дому радеет.

После этого быванья
Возрастные годы приходят.
Тут брат сестру не спросился,
Молодой женой оженился.
Глаза у ней с поволокой,
Роток у ней с позевотой.

Молодая жена Горожанка
Немую золовку[123] *невзлюбила,*
Остуду в семье заводила,
Гарчи'т, что лихая собака:
– Ахти, безголосая рыба,
Ахти, камбала криворота,
Оборотень деревенский,

---

[122] Notes: 122
Не постатейна — здесь: необычна для человека.

[123] Notes: 123
Золовка — сестра брата.

За что тебе ключи и пояс?
Я тебя, дуры, не меньше!
Тебе надо мной не смеяться!

В зимнюю безвременную пору
Грубость Горожанка согрубила:
Лодейные паруса сгноила,
Амбарному гнусу стравила —
Подвела на немую Братанну.

И брат на сестру в кручине,
А жену от брани унимает:
– Не твое дело, жена Горожанка,
Парусы – материны статки,
Не твои, не мои нажитки!

Лютая зима окротеет,
Перед красным летечком смирится,
А людской-то злобе краю нету.
Злая жена Горожанка
В погодливо время, в распуту,
В глухую, безлюдную ночку
У Братанны ключи отвязала,
К лодейному прибе́гищу сходила,

Причальные цепи отомкнула.
Тут великая невзгода учинилась:
Лодью водой повернуло,
Заторными льдами зажало,
Якори рвало самосильно.
Беда на Братанну упала —
Подвела на нее Горожанка
Воровским своим поклепом и подметом.
И брат на сестру опалился,
Тяжко на Братанну оскорбился.
Перестал с сестрой говорити,
К столу сестры не стал звати.
Не так-то жили при матке,
За одним столом, в одном хлебе…

После этого быванья
Горожанка на Братанну, как пес, гарчит,
А Братанна, как стена, молчит,
Знай горькие слезы проливает,
Их правой ногою заступает,
Чтобы не было брату укоризны.

И в ту пору, в то время
Горожанка младеня породила,
А злобы своей не отложила.
Коль матери любы дети!
Горожанка и о том не умилилась,
Пуще на злобу устремилась.

О празднике было о вешнем,
Недельный день осветился,
С промыслу хозяин воротился,
Дома у ворот поколотился.
Брата сестра услыхала,
Поскорёшеньку отворяла,
На шею желанному напала,
Птичкой воронкой кричала,
Кукушицей куковала.
И брат на сестру умилился,
Что камень от сердца откатился.

Недолга немая беседа.
Горожанка в окно усмотрела,
Пуще лютой змеи освирепела,
Что ровня она бешеной собаке;

Душегубное дело учинила:
Младеня из зыбки схватила,
Золовкиным ножом заколола,
Шибла[124] *золовке на постелю.*
Выбежала к мужу космата,
В ногах закаталась безобразно:
– Увы тебе! Люто, люто!
Сестра твоя, лиходейка,
Убила нашего младеня!

И отец видит страшное дело.
Затрясся, кабыть от морозу,
Пришла на него озноба люта.
Сгорстал сестру за руки,
Ей руки отсек по запястья.
Повисли ручки, как рукавички.
Этого страху мало,
Этой беды недостало —
Своего убитого младеня
Брат сестре навязал на локти,
Выгонил сестру за ворота.

---

[124] Notes: 124
Шибла — здесь: бросила.

И почто с кручины смерть не придет,
С печали душу не вынет!
Боса, кровава, косматa,
Без памяти Братанна ступает,
Светлого деничка не видит,
Не путем бредет, не дорогой —
Черным лесом дремучим,
Белым мохом зыбучим.
Уж некуда Братанне деваться, —
Ей бы заживо в землю закопаться!
Кабы мать-то земля расступилась,
Она живая бы в землю схоронилась.
И тут как свет осветило,
Как на волю двери отворило:
Развеличилось отеческое море
От запада до востока!
Тут волны, как белые кони,
Тут шум, как конское ржанье.
К камню Братанна припадает,
К морю кричит и рыдает:
– Батюшко море, кормилец,
Матка у нас помирала,

Морю нас поручала!
Батюшко синее море,
С тобою живу, помираю,
В лютый день припадаю!
Услышь меня, синее море:
Нет на земле упокоя,
Некуда деться от злобы! —
В камень немая припадает,
В море младеня простирает.
Море убогую слышит,
Море убогую видит.
Страшно стало у моря:
Гром, и облак, и сумрак,
Трубные звуки и буря!
В бурях гора затряслася,
В море Братанна урвалася.
И море Братанну подхватило,
В бездонных пучинах огрузило.
Еще речью море говорило:
– Кто с морем в любви и совете,
Кому на земле управы нету,
Тому от моря управа.

Пригожается сердце морское
Ко всякой человеческой скорби!
И в ту пору, во то время
Диво славно и ужасно:
Пала Братанна в море,
Рученьки мертвы висели,
Пала с мертвым младенем,
Пала нема, полумертва —
Встала цела и здрава.
Волнами ее подхватило,
В сердце морском переновило:
С костью кость сошлася,
С жилой жила свилася.
Дивны у моря угодья![125]
Руки целы и здравы.
Живой воды немая поглотила,
Запела и заговорила.
Выговаривает светло и внятно,
Поет постатейно и красно:
– Мир тебе, синее море!

---

[125] Notes: 125
Угодья — деянья.

Слава морю до веку! —
А море, как лев, рыка́ет,
С младенем, как мать, играет.
И ожил дитя, засмеялся,
По-ребячьи в волнах заплескался.
Вышла Братанна из моря,
Как ново на свет родилась.
Она славу морю припевает,
На руках-то младенец играет.
Слава синему морю,
Мир тебе, сердце морское!
После этого быванья
Брата сестра вспомянула:
– Птичка бы я была, воронка,
Домой бы я полетела,
На окошечке бы посидела,
Брата бы я поглядела!
Дойду я до братнева дома,
Покажусь вдовой-побирухой,
По речам меня не признати,
По рукам на меня не подумать:
Я ушла безъязыка, безрука.

По-вдовьи Братанна повязалась.
Опоясалась по-старушьи,
Младенца в пазуху склала,
Сажей лицо замарала.
Солнце пришло на запад,
Белый день на закате.
К дому Братанна подходит.
В доме песня и пля'сня.
Говорит Братанна кухарке:
– Здравствуешь, тетенька-голубка!
Всё ли у вас поздорову?
Что у вас за пир, за веселье? —
Статны и внятны вопросы,
Сладки и светлы разговоры,
И кухарка Братанну не узнала.
– Здравствуй и ты, сиротинка!
А пляшет и поет Горожанка,
Этому дому лиходейка.
Брата с сестрой разлучила.
Нашу хозяюшку сгубила.
Ишь, собака, скачет да смеется,
А ей золовкина слеза отольется!

Уж Братанна ей не внимает,
Она в горницу гостину доступает.
Гости сидят за столами,
За яствами, за питьями.
Горожанка перед ними дробно ходит,
Золотым перстнем прищелкнет,
Серебряным каблуком притопнет.
А хозяин выше всех посажен,
Пуще всех хозяин печален:
Без сестры у него пиру нету.
А сестра стоит, поклоны правит:
– Здравствуйте, хозяин с хозяйкой! —
Горожанка Братанну не признала:
– Уваливай, нищая коробка!
Здесь не монастырь, не поминки:
Господские песни да пляски!

Отвечает странница хозяйке:
– Тут-то меня и надо!
Я песни петь разумею,
Былинами душу питаю. —
Не туча с дождем прошумела,
Хозяин в углу отозвался:

– Садись-ка, тетка, на лавку,
Сказывай ста́рину-былину,
Разгони мою тоску-кручину! —
В горнице гово́ря замолчала,
Странница младеня закачала,
Запела сама, заговорила:

– Маменька помирала,
Сына да дочь благословляла:
«Живите, деточки, в совете,
Сестра, обихаживай брата,
Будь ему в материно место.
Брателко, не обидь сестрицы.
К морю пойдешь – простися,
С моря придешь – доложися.
Клятвою вас заклинаю,
Во свидетели море призываю».
Тут вечерняя звезда восходила,
Маткины очи затворила.
И брат с сестрой зажили советно,
Однодумно они, однолично.
А сестра говорить не умела,
А горазда на всякое дело.

После этого быванья
Брат сестры не спросился,
Молодой женой оженился.
Молода жена Горожанка
Немую золовку невзлюбила,
Что дом приказан золовке,
А молодка у ней под началом.
Стало все не в честь да не в радость,
Все не в доброе слово.
Лихорадство Горожанка учинила:
Лодейные парусы сгноила,
Подвела под немую золовку…

Горожанка сделалась в лице переменна:

— Врака, врака, врака все!

А брат слушает, дивится, а сам на сестру не подумал, что́ ушла нема и увечна; эта цела и здрава, в речах сладка и успешна.

А странница сидит, как свеча горит,
Слово говорит, что рублем дарит:
– Да… парусы в зиму сгноила.
И этой напасти мало.
Этой беды недостало.

Молодая жена Горожанка
Мужневых трудов не пощадила,
Промысловую лодью погубила,
Подвела на немую золовку
Ябедой, поклепом и подметом…

Горожанка опять зубы явила:
— Врака, врака, врака! Ябеду сказывает и врет!
А муж говорит:
— Не сбивай, со врак пошлин не берут.
Странница эта опять поет:

– Да… промыслову лодью погубила.
И этой кручины мало,
Этого горя недостало.
Коль матери любы дети!
Горожанка дитя не пожалела:
Дитя свое заколола,
Золовкино столовье зарудила,
Душегубством золовку уличила.
И брат сестре казнь придумал:
Без суда, без сыску, без управы
Руки сестре изувечил,
Навязал на локти младеня

И выгонил сестру за ворота…

Горожанка схватила со стены ловецкое копье да шибла в певицу. Муж копье перехватил на лету, бросил в угол, а сам заплакал:

— Правда, правда! И у нас то!

И опять стала тишина, только странница поет:

– Да… выгонил сестру за ворота.
Побрела кровава, космата.
Шла, пришла на край моря
И к морю немая возопила,
Смерти себе запросила.
На море волны встали,
Как лист, земля затряслася…
В море немая урвалася.
Как сноп, ее море носило
И в сердце морском переновило:
Была нема и увечна,
Стала цела и здрава.
Запели уста, заговорили,
Руки младеня подхватили.
В живой воде дитя заплавал,
По-ребячьи дитятко заплакал…

Дивны у моря угодья!..
Я бабой-старухой срядилась,
К брату на праздник явилась.

Братанна платок-то сдернула да сажу стерла. Больше слов не надо.

Брат сестру узнал, тут радость неудержимая. Упал сестре в ноги, целует ей руки, уста и очи, к сердцу жмет свое детище. А Горожанка заскакала собакой да прянула в окно, только пыль свилась вслед. Больше Горожанку здесь никто не видал. Да и кто ее рад видеть!

И после этого быванья
Брат с сестрой зажили в совете.
Он в море пойдет – простится,
С моря придет – доложится.
А Братанна племянника хвалит,
По головушке его гладит.
Дивны у моря угодья!
Слава сердцу морскому!

Старина
О Соловецком разорении[126]

В конце XVI в. Соловецкий монастырь, отказавшийся принять растленные патриархом Никоном книги, был подвергнут осаде. Восемь лет осаждали правительственные войска монастырь и только посредством хитрости овладели неприступной твердыней.

По взятии монастыря начались страшные казни. Несколько сот монахов было утоплено, повешено за ребра и т. д.

О разорении обители и о доблестных Соловецких страдальцах повествует настоятель Выгорецкой киновии князь Денисов[127].

Полное название его труда следующее: «История об отцех и страдальцех Соловецких иже за благочестие и святые древне-церковные законы, в настоящая времена великодушно пострада-

---

[126] Notes: 126

Впервые опубликовано в газете «Архангельск» 17 января 1916 г. и переиздано в журнале «Москва» в марте 1994 г.

[127] Notes: 127

Кн. Денисов был современник описываемых событий.

ша»[128].

Народ откликнулся на это печальное событие целым рядом трогательных стихов. В напеве и словах этих стихов много скорби о «порушенной Старой, правой вере».

В Московском было осударьстве,
А и тут всех князей пересуждали,
А и тут всех бояр пересмотрели:
– А и кто у нас будет да всих ярее?
А и кто у нас будет да всих лютее?
Выбирали Осоргхинова да князя.
Возговорит государь-царь:
– Ты послушай-ко, мой верный воевода:
Как настало ноне времечко последно,
А порушена ноне стара вера
По всему по белому по свету…
Ты послушай-ко, мой верный воевода:
Как на том на синем да на мори,
А на том на морском да утоке
В честном монастыри да Соловецком,

[128] Notes: 128

Старины эти — варианты известных сюжетов — были представлены в Московское общество любителей русской словесности и послужили предметом доклада одного из членов означенного общества.

У Зосима-света у Соватья,
А живут там старцы да вси – по веры.
Они держат стару спасену веру,
А не слушают моего царского указу.
Ты послушай-ко, мой верный воевода:
Ты бери-ка да пушки да медны,
А ты бери солдатов да поболе,
А и зелья-пороху да колько надо,
Да садитеся да в легки кочи,
Поезжайте по синему по морю,
Ко тому ко оттоку ко морскому,
Ко тому ко монастырю ко честному,
Ко Зосимы-свету, ко Соватью.
Выводи оттуль стару веру праву,
Заводи у них нову веру неправу.
Возговорит как тут да воевода:
– А и гоже ли, осударь, нам none подумать:
А и ехать ли нам по синему по морю,
Ко тому ко оттоку ко морскому,
Ко тому ко острову ко большому,
Ко тому монастырю ко честному,

А ко Зосимы-свету ко Соватью?
Выводить оттуль стару веру праву,
Заводи у их нову веру неправу?

Тут государь стал гневаться на воеводу за препирательство, и воевода покорился.

А берет он сорок полков да все военных,
А и сорок пушек да все медных,
А и зелья-пороху да колько надо.
А садятся они да в лехки кочи,
А и едут ко утоку ко морскому,
Ко тому монастырю ко честному,
Ко Зосиму-свету, ко Соватью.

В то время по молитвам Зосимы и Савватия начинает дуть противный ветер, и суда относит в сторону. Но Христос не велит своим ученикам задерживать войско. Спас обращается к Соловецким инокам.

Возговорит как Спас да милосердный:
– Уж вы гой еси, старцы соловецки,
Как настало ныне времечко страдимо,
А страдимо времечко, счастливо:
Скоро матушка Россия загорится,

Со восточныя сторонушки запалится,
А почнут, почнут городочки горети,
А от той огненной купели
Никотора душа не спасется.
А котора душа убоится,
И та душа в предвечную муку.
Уж вы гой еси, старцы соловецки,
У Меня круг престолу места много,
На престоли золотых венцов довольне;
Вы первы ко Мне, старцы, ступайте,
Со престолу золоты венцы хватайте.

Как на ту пору на синем да на мори
Задувает она, легка поветерь.
Побежали кочи они варове
Ко тому ко оттоку ко морскому,
Ко тому ко острову ко большому,
Ко тому монастырю ко честному,
К Изосиму-свету ко Соватью.

А в те поры в монастыри да в Соловецком
А у их честны заутрени отходят,
Собирались старцы во Соборну церькву:

– Уж вы гой еси, старцы соловецки!
Кабы какой ноне вторы не вышло.
А и блазнит ноне на синем да на мори,
А и сплыват за корабликом кораблик;
А идет к нам сила да не мала,
А идет сорок полков да все военных,
А у их сорок пушок да все медных,
А не то они идут молиться,
А не то они идут ратиться?

Совет держат соборны старцы.
Положили соборны старцы:
– Да и то идет войско православно,
А не ратиться идет оно, молится.

Как на ту пору солдаты-те догадливы были:
Они брали сорок ядер да все цыгунных,
Зарежали сорок пушек да все медных,
А палили по монастырю по честному…
А ведь попали Спасу в Преображенье,
А Пресвятой Богородицы во праву ручку…
Они старцев всих перерубили,

А они старцев всих передавили,
Во сине море да всих сгрузили.
Они поставили нову веру неправу,
А порушили они мати стару веру праву.

Илья Муромец[129]

[129] Notes: 129

Цикл про Илью Муромца впервые опубликован в сборнике «По мотивам былин» (М.: Детгиз, 1963). Одно сказание, «Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром», публиковалось и отдельно — в сборниках «Поморские были и сказания» (М.: Детгиз, 1957), «Запечатленная слава» (М.: Советский писатель, 1967) и др. — *Примеч. ред.*

Исцеление Ильи Муромца

Развеличилась туча грозовая
от востока солнца на запад.
Гром гремит светлошумно,
дождь идет тихогласно.
Этой тучи самогрозной
белорыбица в море убоялась,
в глубокие поддоны кидалась.
Красный зверь в лесу устрашился,
под дубовое кореньё хоронился.
Три орла из тучи вылетали,
ударились о сырую землю,
перекинулись старыми стариками:
по плечам мужицкие кафтанцы,
по ногам березовые лапти,
по рукам калицкие клюшки.
Пала дорога на Муром,
идут калики, играют,
на правую ножечку пляшут,
на левую ножку припадают.

В Муроме, на заднем порядке,
стоит убогое подворье:
сквозь хоромишки воронишки летают,
сквозь тынишки воробьишки попадают.
В черной избе сидит детина,
держит книгу локтями.
Хлопнули худые ворота,
скрипнули двери избные.
Гости порог переступили,
на правую ноженьку сплясали,
на левую ноженьку припали.
– Здравствуй, богатырь именитый!
Здравствуй, Илья Муромец преславный!
Русской земле – оборона,
на врагов – непобедимая победа!
Детина насупил брови:
– Вы кого бога́тырем зовете?
Не меня ли, убогого человека?
Я сижу на лавке недвижен,
пуще всех на свете обижен.
Соседи мне прозвище кидают,

сиднем Илюхой обзывают. —
Калики говорят, будто гром гремят:
– Взвеселись у Ильи, ретивое сердце,
размахнитесь, могутные плечи,
разгуляйтесь, резвые ноги!
Радость на Илью накатилась:
по избе Илья стал похаживать,
босыми пятами пол притаптывать,
ручными перстами принащалкивать,
подгибаются под Ильей половицы,
не несут богатырской силы.
Наплясавшись, Илья, нагулявшись,
гостям поклонился в ноги:
– Вижу, люди вы непростые,
диво надо мной учинили,
богатырство на меня положили.
Вы где, государи, живете?
На ответ прошумели ветры,
будто руки упали на струны.
Трое калик орлами обернулись
и под синий облак полетели,
клёкотом друг друга позывая.

Чищенина

Батька и матка Ильи Муромца
чуда над детищем не ведали,
робили работушку крестьянскую,
чистили место в сыром бору.
Корни-пни надо выворотить,
поле вспахать да и выборонить.
Бились с землею до полудня,
хлебца хватили, с ног свалилися.
Долго ли спали? Прохватилися.
Не спят, сидят, будто сон глядят.
Лес трещит и земля гудит:
Илья по полянам похаживает,
дубы с корнем выворачивает,
по дальним оврагам покидывает.
Вычищено место на полверсты.

Прянули на ноги мать с отцом,
глазам не верят, сына спрашивают:
– Ты ли это, милое дитятко?
Кто твоим ногам дал хожденьице?

Кто твоим рукам дал владеньице?

Говорит Илья отцу-матери:
– Здравствуйте, желанные родители!
Чуяли вы грозу великую?
Шел ли в бору светлошумный дождь?
Выпали с дождем гости чудные,
были гости у нас в дому,
наделили меня силою незнаемой.

Богатырский конь

Надобен Илье богатырский конь.
Добывает он жеребчика молоденького,
маленького Карюшка косматенького.
Его по утренним зорям выхаживает,
по медвяным росам выкатывает,
рукавичкой жеребчика выглаживает.
Из своих рук Карюшка поил-кормил,
внушал ему слово человеческое:
Званье тебе – богатырский конь,
служба твоя будет немалая.

Карюшко, где Илью увидит, подбежит и голову подаст, чтобы погладили, пожалели.

Многие дивились:

— Ты, Илья, с конем любишь разговаривать. Конь тебе какой речью отвечает?

Илья объяснял:

— У лошади ум в ушах: я что-нибудь говорю, и ежели он уши стоймя поставит, значит ему речь моя любопытна. А ежели он ушами помахивает, значит говорю пустое.

Снаряженье Ильи

В черной кузнице огни горят,
звон звенит, искры сыплются.
Работают кузнецы мастеровитые,
стегают молотами пудовыми:
куют Илье доспехи богатырские.
Тут броня и кольчуга,
и булатный меч,
долгомерное копье
и червленый щит.

Выговаривали мужи-муромцы:
– Не спрашиваем, Илья Иванович,
куда твоя путь-дороженька. —
Отвечал Илья мужам-муромцам:
– Дорога моя до Киева,
мимо города Чернигова.

Говорят мужи-муромцы:
– Прилетели оттуда вести грозные,
обложили Чернигов татарове.

– То мне и любо, то и надобно —
с татарами за ручку поздороваться.

Стал Илья коня приоседлывать,
приоседлывать-приобуздывать.
На потник накладывал войлочек,
на войлок седелышко черкасское.
Тут двенадцать подпру́г подпрягается,
тринадцатая – на хребетну кость.
Пряжечки – красного золота,
петелки плетёны от семи шелков.
Не ради красы – ради крепости:
не сшиб бы богатыря его добрый конь,
не оставил бы богатыря во чистом поле.

А и видели – богатырь на коне сидит,
а не видели поездки богатырские.
Только видели – в поле куревá курит,
курева курит, пыль столбом валит.

Поход Ильи Муромца на Чернигов

Гонит Илья коня доброго:
– Поторапливай, милый Карюшко!
Заждались нас люди в Чернигове.
Умный конь как стрела летит.
Буйный ветер в ушах свистит.
Угадал Илья в Чернигов при ночных часах.

А ночь была кромешная, душная,
дорогу зарницы показывали.
Над городом туча погромыхивала.
Вкруг стен спят татаровье кучами,
не чуют беду неминучую.

С надворотной башни запел петух,
возвестил часы полуночные.
В этот знак из тучи ударил гром,
пролетела над татарами молния.
Илья говорит: – Мой час пришел,
настала служба великая.

На татар Илья как гроза упал,
накатился на татар, как девятый вал.
Долгомерное копье впереди летит,
самосильно шьет ряды татарские.
Тяжко да часто блещет меч,
непостижная мощь богатырских плеч.

Как совы ночные, как овечьи стада,
без ума и без памяти побежала Орда.
Ливень престрашный татар
в долину речную гонит,
полумертвых река
в тине и глине хоронит.
Кончилась ночь мятежная,
мятежная ночь, кромешная.
Сияет заря раноутренняя,
восходит солнышко красное.
Ключевою водой Илья умывается,
белым шитым платком утирается.
Тогда городу ворота отворилися,
идут к Илье люди – черниговцы,
творят Илье поклоны до лица земли,
подносят Ивановичу хлеб и соль,

еще зовут его в Чернигов воеводою.
Отвечал Илья мужам-черниговцам:
– Некогда мне здесь воеводити.
Расскажите дорогу до Киева,
ближнюю дорогу, прямоезжую.
Отвечают мужи-черниговцы:
– Нет на Киев прямоезжей дороги,
схватил дорогу Соловей-разбойник,
сидит на дубах, воюет.
Человека по дороге учует,
как змей зашипит да свистнет,
как медведь заревет, обранен.
Кому это услышать случится,
у того душа от тела отлучится.
Нет туда пути ни конному, ни пешему.
Только галки там летают бестолковые,
да вороны там суются пустопёрые.
Илья Муромец рассмехнулся:
– Я этой дорогой и поеду,
любопытствую Соловья послушать.
Полечу туда я с галками-трепалками

и с воронами с худыми, пустопёрыми.

Соловей-разбойник

Едет Илья тропами собачьими,
ускоками россомашьими.
Заколодило дорогу, замуравило
частым ельником, мелким березником.
Одолел Илья черны грязи смоленские,
дивится на березу – русальную, поклонную.
Тут и гнездышко Соло́вье на семи дубах,
страховидное подворье, разбойное.

Заслышал Соловей поступь конскую,
раскипелся, ощетинился, напыжился,
да как свистнет, да как визгнет не по-доброму,
взвыл по-волчьи и залаял по-звериному,
заревел, как та медведица обранена.
От престрашного от посвиста от дикого
на деревьях листья в трубочку свива-

лися,

малы елочки с травою заплеталися.

Свой тугой лук Илья Муромец выхватывал,

на тетиву калену стрелу накладывал.

Ударила стрела Соловью в лоб,

пал Соловей на землю как сноп,

ему руки-ноги Илья ремнем сыромятным стянул

и как пуговицу к своему седлу пристегнул.

В эту пору Соловьева жена и дочь по воду ходили, заслышали, что деется какой-то страх. Дочка говорит:

— Глянь-ка, маменька, наш батюшка едет, мужика-полонянника везет.

Мать говорит:

— Дура ты слепая, мужик-деревенщина едет, нашего батюшку везет.

Жена Соловьева не мешкала,

свое коромысло прихватывала,

нацелилась, метала в Илью Муромца.

Илья к седлу пригибается;

било коромысло по ельнику,
по мелкому кудрявому березнику.
Над тем Соловей распотешился:
– Это жёнка с дочкой проказничают.
Мы и дома так-то сражалися,
ухватами, лопатами кидалися.
Правится дорогой прямоезжею,
вслух Илья думу думает:
– Замешкались мы у Чернигова,
задержались у гнезда Соловьиного.
Угадаем ли к Киеву в урочный час?..
Конь эти речи на ум берет,
набрал силу немерную,
птицей полетел быстролетною.
Долы, овраги перескакивал,
мхи-болота меж копыт пущал,
быстры реки перепрядывал.
Солнце идет на полдень,
Илья едет Киевской горою,
спрашивает двор кня'жецкий.
Князь Владимир с дружиной обедал,
глянул в окно, подивился:

– Жалует гость незнакомый,
сидит на коне, как сокол.
Конь под ним как зверь лютый.
Илья Муромец с коня спрянул,
среди двора коня поставил,
сам в столовую горницу заходит,
кланяется Владимиру-князю,
здравствовал княжую дружину.
Говорит Илье князь Владимир:
– Ты откуда, добрый молодец, прибыл?
Какого ты города и рода?
Как твое отчество и имя?
– Зовут меня Илья, сын крестьянский,
из Мурома в Киев прибыл.
– Как ты справил дорогу,
каким обходом, объездом?
– Ехал я дорогой прямоезжей,
В Чернигове утреню молился,
далее опять прямой дорогой
до Черной Грязи смоленской.
У Черной Грязи Соловья послушал
и прямехонько к вам

в стольный Киев.
Все, кто за столом сидели, засмеялись,
захихикали, заощерялись.
А Владимир говорит строго:
– Плетешь ты, детина, негораздо,
Во сне тебе Чернигов приснился.
На Чернигов беда накатилась:
облегли Чернигов татаре.
Не был ты у Грязи у Смоленской,
не видел ты березы поклонной.
Волки той дороги забоялись,
медведи той дороги испугались.
Объявилось там страшилище лесное,
завелося Соловьище проклятое,
а который этот свист и шип услышит,
тот без памяти повалится, не дышит,
и такого человека в свете нету,
кто бы видел образину эту.
Илья на то рассмехнулся:
– А я эту птичку видел
и к тебе привез на погляденье.
Глянул Владимир в оконце,

шубоньку накинул на одно плечо,
шапоньку на одно ушко
да скорым шагом на улицу.
Следом дружина устремилася.
Илья развязал полонянника:
– Вот оно, страшилище болотное,
вот оно, диво страховидное!
Князь Владимир глядит на Соловья:
– Ну-ка свистни нам по-соловьиному,
ну-ка шип пусти по-змеиному,
рявкни нам по-звериному.
Соловей говорит:
– Не ты, княже, меня в полон брал,
одолел меня Илья Иванович,
одного Илью и слушаю.

Илья ему перстом грозит:

— Свисти, только вполсвиста, шипи, да не гораздо, медведем не рявкай, крякни уточкой.

Князь Илью перебил:

— Ты богатырь, а и мы не дети малые. И пущай он свистит и шипит как можно ужаснее.

Соловей говорит:

— Больно ты, князь, недогадлив: ехал я долго,

сидел неудобно. Поднеси чару вина, тогда у меня и песенка будет!

Принесли ендову́ вина,
невелику – полтора ведра.
Брал разбойник одной рукой,
испивал за единый дух.
А и тут-то лоб залощил,
глаза вытаращил.
Свистнул первый свист,
и посыпался с деревьев лист.
И свищет раз, и два,
заходила по двору курева,
подымалась пыль столбом,
закружилась шепа с песком.
И метла метет,
и пашет помело.
Всех крещеных
по оврагам разнесло.

Илья Муромец стоцтался ногой:
– Околей, еретик проклятой!
Умолкни, собачья пасть.

Соловья повели на торговую казнь. Он урвался

от стражи и волком полетел в чистое поле. Догонила его стрела каленая, перёная. Одной бедой на Руси стало меньше.

Илья Муромец и Святогор

Захаживал в Киев Иванище,
могутное старчище столетнее.
Почитался каликой перехожею,
накрывался капою[130] *царьградскою,*
подпирался клюкою калицкою,
в той клюке весу девяносто пуд.
Со всеми Иванище сварился,
на Илью глядит, косоротится:
– Я тебя, Ильюха, ничем зову,
ничем зову и ни во что кладу!
Святогор-богатырь больше тебя,
ездил на звере, на ме́мане,
доставал рукою до облака.
Не снесла его силы сыра земля,
отошел он в горы поднебесные.
Говорит Илья раздумчиво:
– Я хотел бы с Святогором встретить-ся,

---

[130] Notes: 130
Капа — шапочка с покрывалом.

силою с ним помериться.
Отвечает старчище Иванище:
– Встреча была бы короткая —
на ладонь тебя посадит,
другой расхлопнет.
После этого бываньица
правил Илья службу дальнюю:
русские украины досматривал.
Видит: гора однокаменна,
вершина в небо взялась,
по горе тропа извилась.
Едет в гору муж чуден,
бел, как серебряный голубь,
а конь под ним черен, как ворон.

Илью страх берет и задор,
следом едет да вопит:
– Эй, господине! Эй, государь Святогор!
Конь вороной мерно по камню копытом стучит.
Всадник, прям как свеча, безответно молчит.

Илья подъехал ближе, глянул Святогору в лицо.

Древний лик недвижен, очи крепко сомкнуты.

Илья кричит:

— Ты, государь, спишь или задумался? Жив или преставился?

Святогор открыл глаза. Лик его озарился улыбкой.

— Добро, Илья Муромец, что старцев наказ не забыл и меня поискал. Я истомился от древности лет, а не могу отойти на покой, пока не отдам тебе силы моей.

Илья говорит:

— Могу ли, государь, понести столько силы?

Святогор ответил:

— Стань, Илья, на север лицом. Русской земле поклонись и покорись.

Богатыри слезли с коней, и Илья трижды ударил челом в русскую сторону, на север. Оборотясь к Святогору, поклонился тем же обычаем.

— Опоясшь меня, господине, силою твоею.

Святогор слагает с себя меч свой — кладенец. Тем мечом стал Илью опоясывать, золотые пряжки затягивать. Этот чин правит, а сам Илье в уши как бы песню кладет:

– Слушай, Илья, слово тайное,
тайное слово и крайнее:

судьба твоя богатырская,
служба великая, грозная.
Много ты поту утер
за русскую землю,
а трудов осталось
втрое, впятеро.

Чует Илья, что приходит он из силы в силу, и полнота этой силы сердце веселит и молодит.

После этого богатыри обнялись и трижды поцеловались. Потом выпили по чаше меду и съели по кусу хлеба. А к ночным часам стали опять подыматься в гору.

Сияли звезды. Святогор читал звездное небо как книгу. Илья слушал и всю эту мудрость слагал в своем сердце.

Раным-рано тропа привела на вершину горы. Тут Илья смутился: стоит на вершине гроб, колода дубовая.

Святогор говорит:

— Вот и дом мой!

Илья спорит:

— Мое домовище!

Святогор говорит:

— В чей рост и в чей толст долблено, тот и ляжет.

Илья кровлю сдернул и завалился в колоду. Святогор рассмехнулся:

— Будто ты, дитя, ягодка в ко́робе катаешься.

Лег Святогор: по его мере, по его росту, по его плечам выдолблена колода.

Он говорит:

— Хорошо, укладно. Накрой меня кровлей, брат.

Илья разгоревался:

— Не гораздо, господине, шутишь. Накрою на образец, а лежать не дам.

Накрыл Святогора играючи, а кровля в колоду вросла: ни поднять, ни пошевелить. Илья кричит:

— Помани, помани маленечко, государь! Я эту крышку единым махом на-полы растешу!

Он взял меч выше своих плеч могучих и ударил вдоль доски. Одночасно по месту удара вытянулась железная полоса. Как колуном колол, бил Илья вдоль крышки. С каждым ударом стягивала колоду новая железная полоса.

Илья приправил стегать мечом поперек кровли. Тогда колоду начали пеленать тяжкие, поперечные обручи. Бил Илья, как кузнец молотом стегал. Знай эхо звенит по долинам да конь Святогоров жалобно заржет.

Так день прошел, и месяц светит — каждую травинку видно, и обручи на домовище можно счесть, как письмена.

Илья поглядел на звезды, звезды показывали третий час пополуночи. Скоро утро. Надобно обрядить домовище. В головах утвердил долгомерное копье Святогорово, а в ногах кованый щит. На кровлю положил свой меч муромский и концами пояса мечного опоясал колоду.

С запада еще светил месяц, с востока брезжил рассвет. Илья взял Карего под уздцы и начал спускаться с горы.

Калин-царь

При дворе у князя Владимира состояла дружина молодецкая. Владимир над ними приказывал, а слушались они Илью Муромца.

Выговаривал князь Илье Муромцу:

— Твоя робята — бога́тыри с тебя, со старшего, пример берут. Когда они в чистом поле врагов, что соколы ворон, преследуют — это дело красовитое. Но когда твои богатыри здесь по улицам добрых людей гоняют — это ладно ли?

Илья перебил князя:

— Это не твои речи, княже. Это твои думцы толстобородые нажужжаля.

Князь рассмехнулся:

— Так зачем же молодые богатыри, сидя на пиру, в эти толстые бороды ложками с кашей да киселем стреляют?

Илья говорит:

— Ложка с кашей не беда. Не прилетела бы стрела татарская, каленая. Слыхал, княже, Синяя Орда к нашим рубежам подалась?

Князь говорит:

— По сказкам[131], они в Запад норовят. Авось, нас обойдут.

— Княже, не обойдут. Долго еще ордынский жених русской невесты домогаться будет.

— Слыхал, Илья, что в Киев с Запада послы приехали неверные? Мне надобно пир срядить. Смотри, чтобы твоя дружина чего не насмешила.

— Ты, княже, меня не смеши. Западные города за нашими плечами как за крепкою стеной. Послы оттуда приехали — пускай ждут, пока позовут.

К приему послов думные люди, бояре в гридню с утра забрались и заняли богатырский стол. Вот по сеням топает Илья. С ним тридцать избранных молодцов. Дьяки, думцы слышат топот, плотнее уселись: не пустим.

Илья говорит:

— Я в сенях князя подожду, а вы к нахвалам подойдите и вежливо попросите, чтобы наш стол очистили.

Дружинники спрашивают бояр:

— Вы, государи, давно здесь? Может, и ночевали тут?

Думные отвечают:

---

[131] Notes: 131
Здесь: свидетельское показание.

— Мы завсегда в избах спим, в тепле. Не то что вы край дороги, под кустом.

Дружинники смеются:

— Вы как кошки. Кошка, известно, избной зверь.

Сидящие заругались:

— А вы — собаки! Собака — науличный зверь.

Илья это слышит, из сеней к столу махнул, говорит дьяку:

— Дозволь с крайчику присесть!

Тот опростал вершок места. Илья ногою уперся да как двинет боком, вдоль по лавке всех сидящих. С другого конца лавки гости и посыпались на пол.

Дружина со смеху запокатывалась. Которые с лавки свалились, там и лежат, верещат.

В это время князь с послами торжественно входит в гридню. Сначала князь остолбенел, потом сунулся к лежащим:

— Почто валяетесь?

— Челом тебе бьем, княже, на Илью с дружиной.

Князь медведем ревет:

— Эй, мои верные слуги! Посадить Илью-крамольника в темницу, а этих его скалозубов со двора согнать.

Слуги по углам стоят, на Илью и на его дружину с трепетом глядят.

Илья говорит:

— Я не крамольник. Граду Киеву и князю не изменник. Пойду сяду в темницу. И ты, княже, туда перину, подушку и теплое одеяло пошли, а также всякого питенья и еденья.

Не простясь, хлопнув дверью, дружина вышла на улицу:

— Илья Иванович, дозволь князя поучить!

— Дальше одного перестрела не бегайте. Играть не время.

Тридцать три богатыря гордо, для показу, от города поехали, а Илья в клеть залез, наказание отбывать.

Неверные послы все это видят и на ус берут. Из Киева поехали, говорят:

— Эх, похохотать не с кем!

Отъехали от Киева верст на полсотни. Тут в глазах зарябило и дух захватило: дол перекрестный, откуда послам в Запад поворотить, кипит черным людом. Кони ржут, костры горят, язык незнаемый — Орда станом стала.

Послам деться некуда. Их привели к царю, в черный табор. Послы знают, как его титуловать:

— Здравствуешь, собака, злодей Калин-царь!

Царь спрашивает:

— Откуда и куда идете?

— Были в Киеве, идем в западные грады.

Царь говорит:

— И я надумал в западные грады.

Послы ужаснулись:

— Что ты, батюшка-собака! К нашим городам дороги нет, верст на полтысячи болото. Мы тебе советуем опрокинуться на Киев.

Калин ощерил зубы:

— Дурачком меня считаете, неверные? Поди-ка сунься в Киев: там Илья Муромец и под стать ему дружина — тридцать три богатыря.

Послы говорят:

— Слушай, Калин. У Владимира-князя с дружиной великое нестроение. Илья Муромец посажен в яму, на цепь. Богатырская дружина предалась чужому королю и отъехала неведомо куда. То все было при наших глазах. И можешь ты, батюшка-собака, Киев взять без бою и без драки.

Калин-царь скороспешно садится на стул, скоро ярлык подписывал, мертвой главой запечатывал. Говорит своему скорому гонцу:

— Будешь в Киеве, у ворот, приворотника не спрашивай. К князю зайдешь, не докладывайся. Шиби ярлык перед князево лицо.

Едет гонец по Киеву, в князевы ворота колотится. Встретил думного дьяка, думает — князь! И шиб ярлык дьяку под ногу.

Дьяк говорит:

— Так-то ты, синяя образина, своего царя ярлык почитаешь? Подай мне в руки, я князю снесу. А ты иди в поварню, пей и ешь, покамест мы ответ пишем.

Гонец в поварню бежит, а Илья Муромец амбарну дверь ногой отмахнул и кричит:

— Эй, дьяче! Я гонца видел. Зови ко мне князя и бояр!

Князь и бояре собрались. Дьяк многограмотный ярлык распечатал, плюнул на печать и зачитал:

«От собаки Калина-царя Киевскому князю Владимиру.

Синяя Орда, не дошед до Киева верст полсотни, станом стала у большого перекрестка. Кладу на Киев дань непрекословну, срочну: со всех волостей собери людей гораздых на вечную работу. Тот полон в табор ко мне приведи самолично. Чтобы не испужались и не разбежались, обмани, будто Калин играет, в гости зовет.

Золото красное и серебро чистое из амбаров, из клетей повымети, повыскреби и в бочки погрузи, в сороковки. И те бочки ко мне в табор прикати.

Коней добрых, всех, что по стойлам стоят и по выгонам пасутся, сочти и в мои табуны пригони.

Сроку на эти дела даю три дня, три ночи.

Буде в три дня к моему перепутью людей и коней не пригоните и бочек золотых не прикатите, я, собака Калин-царь, учиню над Киевом такой образец, что и по мертвым плакать будет некому. Киев-город на дым пущу и по всем волостям головней прокачу».

Илья Муромец стукнул кулаком по столешнице:

— Ишь как лает собака косая. Ишь как зубы оскалил пес лихой. Да кабы самого не зашибли! Князь, ответ будем писать?

— Мы тебе, Илья Иванович, послушны и пословны.

Илья говорит:

— Дьяк, пиши!

«Синему Калину
от города Киева.
Батюшка-собака,
в Киев не ходи,
ног не труди,
стой, где стоял,
держи, как держал.

Жди гостей
со всех волостей.
Придут гости,
игра будет в кости».

Синего гонца ночной караульщик провожал, след метлой заметал.

Калин-царь ответ из Киева перед войском вслух вычитывал и похвалялся:

— Синей Орды вся вселенная боится, имени вашего страшится.

Послов неверных Калин одарил и отпустил. Они той же ночи ускакали и дары в лесу бросили, чтобы легче утекать.

А в Киеве так явилось, что как извне беда навалилась, то и внутренняя распря миновалась.

Князь Владимир говорит Илье:

— Ты Орде ответил умственно и резво. Ты орел, парящий в небе. Тебе с горы виднее. А где твои орлята?

Илья говорит:

— Они во мгновение ока весть получат.

На тонкой берестяной полосе он написал:

«Невзгода над Киевом: Синяя Орда станом стала в поле Перекрестном. Я срядил коня, не мешкайте и вы. На утренней заре ударю в синий лоб. Вы сле-

дите бой из лесу. Опрокиньтесь в нужный миг».

Эту грамотку туго намотал Илья на стрелу перёную.

На широкий двор выхаживал,
тугой лук натягивал,
калену́ стрелу накладывал.
Звенит шелко́вая тетива,
поет калёная стрела,
полетела, куда надобно.

Ильина дружина богатырская отъехала от Киева, сколь далеко стрела, пущена из лука, может перелететь. Сидят в шатре, доспехов с плеч не складывают. Кони напоены, накормлены. Сидят, молчат, чего-то ждут. И кони стоят, слушают, как трава растет.

И в эту пору стрела калёная, перёная ударила в мачту, на которой шатер держался, и расколола мачту надвое. Дружина стрелу брали, грамотку Ильину прочитали. Боевой обычай Ильи Муромца дружина знала, в походах с ним бывала, но и свою воинскую хитрость прикопила.

Лесом дремучим, при ночных часах, дружина правит путь к полю Перекрестному.

В это время и над Киевом вечерняя заря накры-

ла небо, красная, многокровавая. На Софийской башне одиноко, мерно били в колокол. Горожане провожали Илью Муромца в поход. Жёнкам и старухам охота пореветь, попричитать, но глянут Илье Муромцу в лицо — и умолкнут. Он едет, как жених к венцу, тих и весел.

В тысячу кнутов навязала Орда тысячу узлов, чтобы русских полонянников стегать.

Ты сама на себя, Орда, в кнут узлов навязала!

Орда была — страх ночной. Богатырство русское — утренние зори.

Едет Илья от Киевских гор, гонит дружина лесом дремучим. Орда, не чуя беды, спит тяжким сном. Видится она по долине, будто мгла и туман. С горы поглядеть, будто синяя пёсья муха заслепила долину. По этому туску и мгле прокатился Илья, как пламя палящее, как огонь поедающий. Дрогнула Орда и замешалася. Не скоро они на ноги справились, а как опомнились, раскроились на два полчища, большое и визгучее. Визгучие стоят на запасе: ежели большие не тотчас управятся с Ильей, то визгучие кидаются на помощь.

Поглядите, как было: полк большой подпадает под Илью Муромца. Что было люто и что было страшно в этой сече? Страшен был нестерпимый блеск, неутомленное бряцанье и звененье бога-

тырского меча.

Выше могучих плеч вздымал Илья свой тяжелый меч.

Ударит на запад, о правую руку, и отмахнет на восток. И валятся татарове под ноги Ильину коню. А дружина Ильина давно стоит в лесу на горке и глядит, и ждет.

От великого боя богатырского, от тяжелого топота конского земля дрожала.

С полдня, не стерпев великой силы богатырской, все большое полчище татарское поворачивает тыл и бежит, бежит без памяти, чая спрятаться в лесу. При конце долины показалась луговина гладка. И то была трясина, покрыта мелким цветом. Гонимые Ильей отряды бегут по луговине, и просяжают с головой, и тонут без следа, пешие и конные.

Но и сам Илья напугал следящую за ним русскую дружину. Конь остановился край болота. Сгоряча стегнул коня плетью. Карько оступился и просел в болото до колен.

Глядите, как дело учинилося: визгучие, как заколдованные, смотрят на Илью, стоят, как остолбелые; шлем позлащенный горит на солнце нестерпимо. В руках будто не меч, а молния звенящая. То уж внятно, что Илья не прост человек.

Но когда Илья просел в болото, визгучие возликовали и увалом черным покатились по долине, чтобы Илью стоптать в трясину и болотной смерточке предать.

Но, как поток весенний, опрокидывается на визгучих русская дружина, окружила, сбила в мяч визгучее полчище и зачала обкашивать мечами, за кругом круг, что косцы зеленый луг.

Как эта сеча началась последняя, трое из дружины поспешают проведать Илью. А Илья сам в бой летит на Карем, жив-здоров, малость в болотной тине умарался. Кричит дружине:

— Нате-ко меня!

— Прибавляйся, батюшка Илья Иванович!

Как сокол падает на черных воронов, пал Илья в самую середку полчища татарского. Тут и Калина-царя конем стоптал. Тесно стало действовать мечом. Тогда хватает Илья свою палицу булатную весом в девяносто пуд. Загудела палица, как веретено. Ряд за рядом, круг за кругом валятся татарове. Под стать Илье дружина правит подвиг богатырский. Валятся вороги увалами, лежат перевалами.

День преклонился на вечер. Солнце пришло на запад. Илья Муромец с дружиной стал на угоре, на костях на синих. Снял золотой шлем, слушал к

северу и к западу, отслушивал к востоку и к полудню… Ни голоса, ни шелеста. Тогда вся дружина, сняв шеломы, отирают пот кровавый.

Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром

Что во городе во Киеве
у князя Владимира
заводился почестен пир.
Тут все-то созваны
князья и бояре
и могучие богатыри:
Добрыня Никитич свет,
Алеша Попович млад,
и Дюк Степанович,
и Василий Буслаевич.
Только нету матерого старика,
только нету Ильи Муромца,
не позвали Ивановича.

Илье-то Муромцу
обидно палося.
Он с полатей спрядывает,
шелковы портки подтягивает,
на крылечко выхаживает,

тугой лук натягивает,
калену стрелу накладывает…

Полетела калена стрела,
отшибала маковки
у хором-то боярских,
у домов-то купецких.
Илья-то Иванович
по улке похаживает,
кричит во всю голову:
– Эй вы, голи кабацкие,
доброхоты царские,
собирайте золоты коньки,
хрустальные маковки,
волоките во царевы кабаки,
пропивайте на зеленом на вине,
поминайте Ильи Муромца
обиду великую!

Эти голи кабацкие,
все горькие пьяницы,
сосбирали золоты коньки,
хрустальные маковки,

потащили во царевы кабаки,
пропивали на зеленом на вине.
Эти голи кабацкие,
они будут во полупьяне.
Илья-то Иванович
по кабакам-то похаживает,
умильно выговаривает:
– Вы, други любезные,
голи кабацкие,
не оставьте старого
старичонка убогого,
Илейку-то Муромца,
на обиде великие.
Пойдем на княжий двор,
Володимира повыгоним,
со княжа стола повысадим!

Говорят голи кабацкие:
– Илья Иванович,
твое пили-кушали,
тебя и слушаем!

Эти голи кабацкие,

все горькие пьяницы,
они валят по городу,
идут по Киеву,
бегут на княжий двор.

Володимир стольно-киевский
увидал, закручинился:
– Охти тошнехонько!
Илья-то Муромец
сосбирал голей кабацкиих.
Идут меня выгонити,
со стола-то повысадити!
Ты, Добрыня Никитич свет,
с Ильей-то Муромцем
вы братья крестовые.
Ты Илью поуговаривай,
не ходил бы на мой-то двор
со голями кабацкими.

И Добрыня Никитич свет
добывал Илью Муромца,
с головы ронил шапоньку,
умильно выговаривал:

– Илья Иванович,
крестовый брателко!
Мы крестами менялися,
поясами поясалися,
у нас клятва положена
друг друга слушати.
Не ходи ты на княжий двор
со голями кабацкими.

Говорит Илья Муромец:
– Я князя ничем зову,
я Владимира не слушаю,
я слушаю Добрынюшку,
крестового брателка;
нейду на княжий двор,
не велю голям кабацкиим.
Что со этой-то радости
Володимир стольно-киевский
принадвинул белодубовых столов,
принабавил питей-кушаний.
Говорит Добрынюшке:
– Ступай, Никитич млад,
зови-тко Муромца

ко мне на княжий пир,
ко мне во княжий стол.
И Добрыня Никитич свет
добывал Илью Муромца,
с головы ронил шапоньку,
умильно выговаривал:
– Илья Иванович, крестовый брателко!
Мы крестами менялися,
поясами поясалися.
У нас клятва положена
друг друга слушати:
пожалуй во княжий пир,
пожалуй во княжий стол.

Говорит Илья Муромец:
– А я князя ничем зову,
а я князя ни во что кладу,
но я слушаю Добрынюшку,
крестового брателка:
приду во княжий стол,
приду во княжий пир.

Будет пир во полупире,

княжий стол во полустоле.
А и тут песни поют,
а и тут гудки гудут,
тогда Илья пожаловал.
И Владимир стольно-киевский,
он прядал со лавицы,
Илье в пояс кланялся,
умильно выговаривал:
– Что уж гость-от идет не по нам,
не по нашим достаточкам,
Илью-то Ивановича,
гостенька самолучшего,
я чем буду потчевати,
я как буду чествовати?

Говорит Илья Муромец:
– Ты хитер, Володимир-князь,
догадался, кого послать
по Илейку-то Муромца.
Кабы не Добрынюшка,
не его речи умильные,
тебе не быть бы на городе,
не сидеть во княжом столе.

Старина стародавняя,
былина, быль досельная
морю на ути'шенье,
добрым людям на услышанье.

Илья и Идолище

Говорит Владимир Илье Муромцу:
– Что-то нет вестей из Царя-града,
не приходят корабли цареградские.
Все ли ладно в земле греческой?

Говорит Илья князю Владимиру:
– Не хвала мне будет на печи лежать,
из Царя-града грозной вести ждать.

Седлал Илья коня доброго,
срядился в доспехи богатырские.
Видели Илью, что в седле сидит,
не видели поездку молодецкую.
Только видели – в поле курева курит,
курева курит, пыль столбом валит.

Едет Илья день до вечера,
поет хорошую напевочку:
– Засиделся я в тесном городе,
застоялся ты, Карюшко, в стоиле.
Нам ведь любо в поле ветра попрове-

дати. —
При ночных часах Илья коня кормил;
у ручья поил да и сам вздремнул.

С утра опять дорога дальняя
в ту сторону, в полуденную.
Тут навстречу Илье будто сокол летит,
не сокол летит, человек спешит.
Илья коня приостанавливал,
из-под ручки на встречного посматривал.
Бежит старчище могутное,
помахивает палицей, что клюшкою.
Нараспашку васильковое кафтанишко,
на одно ушко шляпочка воскрыльчата.
Признал Илья калику перехожего:
– Ты постой-ко, батюшка Иванище!
Куда бежишь, как настеганный?

Заревел медведем старчище Иванище:
– Воры вы, изменники, предатели,
славные могучие богатыри!
Отдали неверным славный Царь-город,

Царь-город вы псам под ногу бросили.
Константину-царю помощи не подали.
– Сказывай толком, Иванище!

– Был я, калика, в Святой земле,
справил богомолье,
домой пошел.
Надо идти через Царь-город,
эта дорога запуталась.
Царь-город схватили татарове,
государит Идóлище поганое.
Царь Константин на цепи сидит,
на русских богáтырей кручинится.

Говорит Илья Иванищу:
– Бегал ты впустую вкруг Царя-града,
не зашел того Идолища поздравствовать.
Влепил бы ему в лоб благословеньице,
ведь в твоей-то клюке девяносто пуд.
Сила у тебя богатырская.

– Сила та маленько осталась,
а ухватка-сноровка потерялась.

Отвечает Илья Иванищу:
– Мне придется в Царьград прогуляться,
с Идольской рожей повидаться.
Конного, оружного не пустят,
перехожего калику не приметят.
Сменимся, Иванище, одёжей!
Оставляю доспехи и лошадь,
ты давай мне калицкую сряду.
Соблюдай моего доброго Карьку,
паси его в укромном долочке.
Я обратно буду на неделе. —
Обул Илья липовы лапотки,
оборы крученого шелка,
рубаха – камка хрущатая.
По кафтану девять пуговиц со звоном,
на главе воскрыльчатая шляпа.

Явился Илья в славный Царьград,
Орда заслепила входы-выходы.
Илья приворотников не спрашивает,
борзо ступает на царский двор.
– Тут ли поганое Идолище?

– Тут-перетут, он обедает,
с ним сидят гости званые.
Пришел – не зван, уходи – не дран.

Пнул Илья ногой дверь дубовую,
шаг шагнул в палату столовую.
Сидит царище ордынское,
под ним три перины пуховые.
Голова у царища, как пивной котел,
зубы, как у лошади, и рот до ушей.
Глазки глядят, как собаки едят,
ножищами возит, что лыжами,
ручищами чалит, что граблями.
Увидел Илью, скосоротился:
– Скоро я буду у вас на Руси,
русских богатырей в кулак зажму.
Видел ли, калика, Илью Муромца?
Каков он в рост?
Каково он толст?
Говорит Илья Идолищу:
– В один день с Ильей мы родилися,
вместе мы грамоте училися.
Одинаковы мы ростом и постатью,

каков есть я, таков и Илья.

Идолище тут расхохочется:
– Буду я в городе Киеве,
вашего Илью ногтем прижму.
Еще много ли Илья зараз хлеба ест?

Говорит калика перехожая:
– Краюшечку от ковриги откушает
И тою краюхою неделю сыт.

Говорит Идолище поганое:
– Ваш Илья – видеть нечего,
ваш Илья плюнуть не на что.
А мне целый бык – на задний зуб.
По четыре я ковриги за щеку кладу,
я четыре ведра пива зараз вылакаю.

Говорит Илья с усмешкою:
– У моего родителя, у батюшки,
вся в тебя была корова прожориста.
Она без поману пила-ела
да и лопнула.

Разъярилось тут Идолище поганое,
глазки сделались моржиные кровавые.

Он отхватывал от пояса булатный нож,
шиб ножом в Илью Муромца.
Илья от ножа уклоняется,
ударил нож в дверь дубовую,
выпрянула дверь на широкий двор,
зашибла двенадцать татаровей.
Тут Илья осержается,
схватил свою шляпу греческую,
ляпнул по роже по идольской;
треснул Идолище на-полы,
вылетел с простенком на улицу.

Взвыла орда не по-доброму,
тучами лезет на богатыря.
Вкруг Ильи татар черным-черно,
черным-черно, как черных воронов.

У богатыря сердце раскипелось,
раскипелось ретивое, разгорелось.
Вознес Илья палицу выше могучих плеч,
жахнул с востока до запада,
ударил к полудню и к северу.
Коней и всадников с ног сшибал,

пеших татаровей с землей ровнял.
Табунами орда на Илью бежит
и, что грязь, у него под ногой лежит.

Концы и слободы царьградские вымостил Илья головами татарскими.

Илья в темницу поспешает,
расковал царя Константина,
выпустил на вольную волю.
В Цари-граде праздник учинился,
пир на весь мир учредился.
Всем городом Илью похвалили:
– Одно в небе красное солнце,
один богатырь преславный —
Илья Муромец именитый. —
Тут Илья на Русь сторопился:
– Ждет меня Иванище в овраге,
коня моего караулит.
Будет мне от старого побранка,
сердитая будет поговорка,
что долго в гостях засиделся.

Три дороги

Ехал Илья полями дальними,
наехал три дороги нехоженых.
На росстани – Ала́тырь, бел-горюч камень,
На камне надпись написана:
«Прямо ехать – убиту быть,
вправо ехать – богату быть,
влево ехать – женату быть».
Тут Илья приразумался:
– Богатство мне, старому, не надобно,
на веку я на богатство не зарился.
Не поеду я в дорогу, где богату быть.
Женитьба – дело бестолковое,
житье мое птичье, бездомовное.
Поеду дорогой, где убиту быть,
съезжу я, полюбопытствую,
как это меня убивать будут.
Он едет прямою дорогою,
с вечера едет до полуночи.

Темная ночь, кромешная,
Карюшко дороги не путает:
яхонты в узде, как фонарики,
в сбруе камни самоцветные,
что огни горят, дорогу показывают.
Встал перед глазами черный лес,
тут свистки свистят
и рожки трубят.
Тут станица разбойная,
с дубов разбойники прядают,
из-под дубова коренья выскакивают.
У них бороды как бороны,
усы как кнуты.
В руках кистени,
а в зубах ножи.
Спереди насунулся большой отряд,
Карего хватают, снять узду хотят.
Сзади навалился другой отряд,
справа накинулись сто человек,
к левому стремени – другое сто.
Ладятся Илью с коня стащить,
выбить из седла, на землю свалить.

Илья сидит, усмехается:
– Напужали вы меня, братцы, до смерти.
Навалилось вас народу человек пятьсот
на худого сиротину беспомощного.
А и взять вам с меня, нищего, нечего,
и ограбить вам будет некого.
Лошаденко мое самое немудрое,
как есть оно кляча водовозная.
Хотя был я недавно во Царе-граде,
и давал мне за Карюшка царь греческий
табун коней самолучших.
А и сбруя на коне деревенская,
только званье сбруе – шемаханская.
Пряжки красного золота,
по сбруе камни самоцветные
не для красы, а для светлости.
Еду я ночью осеннею —
на дорогу светят камни драгоценные.
В узде блестят камни яхонты.
Каждый яхонт ночью как фонарь го-

рит:
не запнется конь, не оступится.
Тут разбойники в задор пришли,
закричали, засвистели, закуражились:
– Хватит нам, братцы, дурачину слушать.
Нам богатство привалило небывалое.
Рубите дурачине буйну голову,
а коня ведите в темный лес. —
Сердце у Ильи разгорелося,
разгорелось ретивое, раскипелося:
– Не хотите, норы, слушать присказку,
я зачну сказку сказывать!
От седла Илья палицу отстегивал
(весу в палице девяносто пуд).
Он вздымал палицу выше могучих плеч,
махнул-махнул палицей впереди себя,
отмахнул-отмахнул позади себя,
жахнул-жахнул палицей вправо от себя,
грянул-грянул в сторону в левую.
И валятся разбойники увалами,

увалами лежат, перевалами.
Жили вы, злодеи, без милости,
и вас Илья не помиловал.
Воротился Илья к камню, к росстани,
сделал на камне надпись новую:
«Прямо ехать способно всем.
Добрый путь и конному и пешему».
Читает Илья надписи, думает:
«Съезжу в дорогу, где женату быть.
Что за невеста насватывается?»
Он едет от всхожего до полудня.
Видит палаты белокаменные.
На крыльце стоит Панья-королевична,
бьет челом, низко кланяется:
– Приворачивай, удалый добрый молодец.
Напою, накормлю тебя досыта. —
Зашел Илья в горницу столовую,
не глядит на яства на сахарные.
Спросил себе квасу деревенского,
отломил от краюхи хлеба черного.
В то время Панья-королевична

двери в спальню размахивала,
ласковые речи приговаривала:
– Отдохни с дороги, желанный гость.
Ложись на кроватку тесовую,
на мягкую перину пуховую.
А ложиться изволь к самой стеночке.
—
Говорит Илья королевичне:
– Что за кровать и на курьих ногах?
Будто как люлечка-качулечка.
С краю посижу, а спать погожу,
дело ребячье – свалюсь да убьюсь.
Панья как собака ощетинилась,
скрипнула зубами, оскалилась,
за ноги богатырю хватается,
силится богатыря к стене толкнуть.
Взял Илья Панью под пазушки,
шиб на перину к самой стеночке.
Кровать на оси поворотилася,
Панья в подземелье провалилася.
Выбежал Илья на широкий двор,
обошел вокруг палат белокаменных.

Видит под стеной дверь железную,
засыпана песками зыбучими,
завалена пнями, колодами.
Колодья Илья ногой распинывал,
пески руками разметывал.
Пнул ногой в дверь железную,
на стороны дверь разлетелася.
Пахнул в подземелье весенний дух.
Полез из подземелья истомленный люд.
Заманила их Панья – собачья душа,
пока не напала на Илью-богатыря.
Много народу Илья освободил,
напоил, накормил и домой спроводил.
А Панью оставил в подземелье сидеть.
– Сиди тридцать лет,
а понравится – живи тут весь век.
Воротился Илья к камню Алатырю.
На камне надпись поднавливал:
«Влево дорога очищена.
Ехать способно всякому».

Не поехал Илья в ту дорогу, где богату быть. На

богатство Илья не задорился.

Три богатыря

Стояла весна красная, но вместо журавлиных стай пролетали над Киевом черные вороны. Князь Владимир следил их полет и тяжко вздыхал:

— Либо было что, либо будет.

Мимо княжего двора проезжают Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Они в полном богатырском наряде. Князь их окликнул:

— Эй, государи, приворотите ко мне!

Князь, принял их в сенях и говорит:

— Не спросившись, не сказавшись, в какой поход срядились, государи? Ветры зловещие, вести тревожные. С востока, или с полдня, Орда на Киев катится. Извольте, государи, в Киеве сидеть. Город стерегите.

Илья говорит:

— Наше дело богатырское: врага в поле встретить, а не ждать, когда он ворота зачнет ломать.

Князь говорит:

— Пойдем, сгадаем на рукавице.

Вышли на двор. Владимир снял с руки шитую золотом рукавицу:

— Ежели упадет перстами в поле, поезжайте.

Кинул рукавицу за ворота. Она упала перстами во двор.

Илья говорит:

— Гадай не гадай, а дома сидеть, избные углы подпирать не будем.

Князь, на гневе, схватил богатырских коней за поводья, поставил в стойла и конюшню запер на замок.

Илья с усмешкой поклонился князю:

— Воля ваша, а больши'на наша.

Пошли со двора, не оглянулись. У городских ворот привратников не спросились.

Идут чистым полем. Облака плывут, и цветы цветут.

Идут богатыри, песню поют, величают широкое раздолье. Поют, не чуют доспехов тяжких на плечах.

Под ноги пала тропинка, завела на высокий могильник. С высокого взлобья видно землю от края до края. Илья говорит:

— Ну-ко, государи, берите своими глазами, что за облак край земли с полудня?

Добрыня говорит:

— Дым.

Алеша говорит:

— Тучка дождевая.

Илья припал ухом к земле и стал отслушивать. Тихо сказал:

— Топот слышу и как бы поступь человеческая.

Добрыня говорит:

— Ни коней, ни оружия не надо. Покажемся простыми мужиками.

В кургане, где они стояли, был хов, накрыт кустом. В этот хов сложили богатыри все свои доспехи и оружие.

В это время солнце пришло на запад, день склонился на вечер. Рассудили богатыри ночь перележать на холме и путь продолжать по утренним зорям.

Дорожные люди долго не спят. Сон отряхнули к рассвету, шли по утренним росам.

В небе всхожее солнце, а по ковылям по серебряным неисчислимые черные гнезда — табор ордынский.

Добрыня говорит:

— Таиться нельзя. Побредем по табору как глупенькие.

Побрели неспешно меж татар, будто в Киеве по рынку. Рубахи и порты холщовые, сапоги в пыли. Татаре ухмыляются, видят, что мужики — дураки, не понимающие, куда попали. Над русской про-

стотой смеются, а сами, от нечего делать, сабли свои кривые точат. Только и слышно: жик-жик, жик-жик.

Остановились против царского шатра. Рты разинули, будто сроду не видели такого богатства. А из шатра и сам царище вылез. Лицо у него совиное, глаза ястребиные.

— Вы какие? Лазучить ходите?

— Батюшка-царь, есть мы киевские мужики, — Илья отвечает. — Пошли покос посмотреть и невзначай сюда попали.

Царище говорит:

— Я тоже косить иду. Слышите, как моя орда косы точит — сабли острые.

Алеша Попович не стерпел:

— Завидущие ваши глаза! Совесть у вас как розвальни: садись да катись!

Царище распахнул шатер:

— У меня добра побольше вашего. Глядите, какое у меня стульё.

Алеша заглянул в шатер и говорит:

— У нас в Киеве эко-то стульё по баням.

Илья покосился на Поповича:

— Алеша, ты смалчивай, за тебя дядюшка Владимир беды плачивал.

Царище пуще раскуражился:

— Желаю показать, на каких конях я с моими воеводами в Киев въеду.

Край поля стояли три коня оседланные. Их держали за поводья важные мурзы.

— Сейчас я покажу на образе ордынскую посадку богатырскую, — говорит царище.

Царь с двумя мурзами собрались садиться на коней, а Попович Алеша и брякнул:

— У нас в Киеве на эких клячах воду возят.

Тут царище рассвирепел:

— Эй, Орда! Вяжите этих мужиков! Бейте до смерти кнутами!

Илья крикнул:

— Падайте, ребята, на коней!

Царище с татарами, как шарики, раскатились на стороны. Единым махом прянули богатыри в седла. Кони взвились как птицы. Более ничего татаре не видели. Только видели, что в поле курева курит.

Добрые кони чуют, каких государей несут. Так летели — птица не догонит. Покамест татаре погоню сряжали, Илья, Добрыня и Алеша были у кургана, где оружье и доспехи оставили. Единым мановением руки пооблачились в кольчуги и в броню, опоясались мечами, увенчались золочеными шлемами. Еще пыль в поле не улеглась,

еще эхо повторяет посвист богатырский и топот, а уж богатыри снова на конях.

Знают богатыри, что будет погоня, и дерзновенно летят навстречу ей.

С погоней сшиблись богатыри на полудороге. Как огонь на сухую траву, упали на татар богатыри. Дрогнула земля от топота конского, прозвенели мечи, и легли синие головы под белый ковыль. Все полегли, до единого.

Илья посмотрел на солнце и сказал:

— Царище татарский будет ждать вестей до полудня. В полдень он растревожится, срядит Орду для похода на Киев. Братья мои милые, Добрыня и Алеша, мы будем вестниками. Налетим на Орду быстрее крылатых стрел, принесем весть страшную и конечную.

Добрыня и Алеша говорят:

— С тобою, Илья, у нас одно сердце, одна мысль.

В этот день, в это утро Орда над собой беды не чуяла. Орда жила, людям беду готовила. Пряжу прядут, удавные петли вяжут, ножи куют, не хлеб рушать. Они хлеба не едят, сырым мясом сыты. И царище ордынский не без дела сидит у шатра, кремневым ножом точит жало у сабли и поет:

– Единым взмахом этой сабли

я всему городу Киеву голову снесу.

Вдруг в шатре стало сумеречно: солнечный лик искажен и красен от гнева.

А с киевской стороны по серебряным ковылям неслись на Орду три сизых облака. Иным показалось, что летят три птицы великих. А иные кричат, что марево манит.

Когда Орда увидела, что солнечный лик исказился гневом, и когда понеслись по ковылям три облака или три птицы, тогда настала в мире великая тишина. Одни цикады небоязненно пели в траве.

Но по первом взмахе трех богатырских мечей все стало страшно и мятежно. Над татарами пролетел гнев и раскроил Орду на-полы. Вслед, будто три вихря, пролетели сквозь Орду три богатыря. Из конца в конец по татарским полкам пронеслись богатыри. Как лес непроходный, ощетинилась Орда. Что огонь палящий, пролетели тем лесом три богатыря, выжгли три дороги широких.

Три богатыря секли Орду мечами, как дрова кололи. Клали дрова в поленницы, и поленья в лучину излучинили. От великого боя, от тяжкого топота, от железного лязга и скрежета, от ржанья конского, от свиста и рева тряслась земля и дым

топился до неба.

И некому было вздумать, что будет конец лютому дню.

Но солнце пришло на запад, день приклонился на вечер, и пала на землю безглагольная тишина. Три всадника могутных — Илья, Добрыня и Алеша — тихим шагом въехали на горку, с которой утром оглядывали Орду.

Илья снял шелом и слушал к северу и к западу, потом отслушивал восток и полуденную сторону — ни вздоха, ни шелеста. Спит престрашная Орда, не встает.

Тогда Илья чистым платом отер чело и лик свой светлый. Сняли шеломы Добрыня и Алеша и отерли кровавый пот.

Послесловие

Как небо украшено звездами, так русское песенное слово богатырей именами.

Светел месяц среди звезд, славен Илья посреди других богатырей.

Сколько в поле цветов, столько былин об Илье Муромце, и ни в одной песне не сказано, не помянуто, что Илья умер.

Да как умереть? Народная сила бессмертна,

богатырский день не вечереет.

Бывали времена: Русь в огне горела и в слезах тонула.

И восставала из пепла краше прежнего. Приходила из силы в силу. И ныне русское имя честно и грозно от Запада до Востока.

Вечно приходит весна.
Вечно юнеет русская слава.
Жаворонок звонкий,
в красные дни утеха!
Взлети под синие облаки,
пой славу новым богатырям!

Сказы о вождях

Предисловие

Ряд лет я записываю разговорную речь, главным образом у себя на родине, в пределах бывшей Архангельской губернии.

Промышляю словесный жемчуг «по морям и по волнам», на пароходах и на шхунах, по пристаням и по берегам песенных рек нашего Севера.

Слушаю, как говорит народ и что́ говорит.

Ежели собеседники меня не видят, заношу в тетрадь тут же, буквально и фонетически. В противном случае слышанное и упомненное записываю дома.

Записываю северную речь, потому что дар поэтического слова чрезвычайно свойствен людям Севера.

Северный художник слова (рыбак, зверолов, лесоруб, заводский рабочий) большею частью малограмотен и поэтическую свою одаренность выказывает естественней и скорей всего в разговорной речи-беседе.

Такой поэт и не подозревает, что он художник, художник слова. Ведь он стихотворений не пишет, рассказов не печатает.

И в то же время картинная, насыщенная об-

разами речь доказывает с несомненностью, что перед нами поэт. Его лаконически выразительные, неожиданно остроумные реплики в беседе зачастую более ценны, чем многие из напечатанных на ту же тему стихотворений.

И ведь он, этот твой или мой собеседник, нисколько не думает о красоте своей речи. Он всего лишь стремится выразить свою мысль как можно вернее, он хочет быть понятым как можно лучше.

Вот, к примеру, материал о Ленине и Сталине. Эти речи записаны из уст людей, в данный момент (момент разговора) слишком серьезно настроенных, чтоб украшать свою речь.

Образность и сила этих речей — исключительно от стремления говорящего быть наиболее убедительным, точно и правильно понятым.

Записываю я и отдельные выражения, сколько-нибудь поразившие слух, и целые рассказы. Кроме упомянутых «песенных рек», такому промышленнику, как я, много дают вагонные разговоры (мне часто приходится ездить между Москвой и Архангельском), ожидальные залы при вокзалах.

Предлагаемый материал представляет собою сводку, объединение отдельных мыслей, афориз-

мов, суждений народных о замечательных людях и деяниях нашего времени.

Повторяю — записано в разное время и от разных людей, но объединено здесь в интересах широкого читателя.

Сказы о вождях[132]

Сначала привожу три «гнезда», сводки народных высказываний, народных афоризмов, суждений, замечаний о величайших людях современности.

Сводки этих речений располагаю хронологически. Высказывания о Ленине записаны в 1927 году. Два отрывка о Сталине — в 1927 и 1928 годах.

I

Ленин с Марксом издали закон — ни прибавить, ни убавить. Потом всяки от них наотходили да назвались: эсеры, меньшевики. Эти слабо закон ведут. Говорят:

«Большевики силой взяли, а мы — умна собачка. Мы лаской будем выманивать куски». Ленин их всех рассмотрел, как в бутылке воду. Ленин доказывает книгами, в каки годы капитализм можно, в каки невозможно. Ленин грамоту очень

---

[132] Notes: 132

Впервые опубликовано в сборнике «У песенных рек» (М.: Гослитиздат, 1939). *–Примеч. ред.*

востро знал. Книг от него осталось сколько сундуков — всё его ум. Промеж Маркса ученьем и Ленина ученьем нитки не продернешь. О, как надумано, да как сказано, да как положено-то!

Ленин с молода зачал на царя тучу грозовую собирать: «Царь, в каку ты яму Россию пихнул!» Царь говорит: «Ленин меня всего заругал. Я больше из мочи вышел. Рад из царства-то уехать!» Царя не стало, временно правительство вылезло, как вошь на гребень. Ленин их тоже прижал к ногтю.

Ленин не с войском, с маленькой звездочкой пришел. Ленин из ничего человека-то сделат. Не выпугат человека. Человек-от маленькой, худой, Ленин его распрямит да поставит.

Ленин откуда едет, робят рваных кучу везет. Другой вовсе робенок сопливой, под одну коростину закрылся. Ленин уж не опротивится: «Тебя в гости повезу, шапочку куплю». Ленин заумирал, народ за его захватились, за френчик: «Куда ты сторопился?! Ишь, дождь гремит! Нужда еще не вылезла из дому!»

В самое утро советское к Ленину приехали гости других держав. Они приняли на смех это слово: «товарищ». — «Это — детско слово. Надо: „господин такой-то“».

Ленин созвал собрание. Велел принести весы. На одну чашку положили слово «товарищ», на другую — «господин».

Дак «товарищ»-то о пол брякнуло. Тяжеле золота.

Из роду человеческого мы Ленина пуще всех жалеем!

Сталин дорогую работу работает — людей ростит. Он грамотой порато высок — изо всех книг высказать может. У него на все царства есть улики, на все капканы ключ. Изо всех держав к нему за умом идут и едут, пешком и на конях. Народу — всё как свадьба идет. Возле Кремля дорогу, как песок, размесили.

Сталин на веку никого не баивался. Прежде другие державы нас ничем звали, теперь они перед нами на перстышках[133] заходили…

Сталин говорит им: «Ежели вы не хотите по-нашему, так не задевайте нашего веку!»

Слово сказано, как пуля стрелена. А все бы слушал, все бы рядом стоял. У Сталина нет этой дикой ласкоты. На его спросы ответов не напасешься. А с его гроз я велик возрос!

---

[133] Notes: 133

На перстышках (от слова «перст», «палец») — на цыпочках.

Ему заповедано: «Докамест они не подымутся и не возмужают, свободно своих рук не опущай».

Сталин — первой строитель по нашей земле.

II. Сталин[134]

Он с мала где книгу услыщит, дома все на рассказ[135] расскажет. Усов еще не наростил, а уж Маркса со стола не убирал.

Внушат товарищам-то: как рыба в море, так мы в Марксе должны ходить. А выйдем из этого моря, умрем как рыбы на суше.

Про Сталина Ленин сказал: «Сколько я знаю, столько он знат».

У царя-то были порядки как у старухи, у слепой. Россия-та сидела, расшеперя лапы — «О, господи помилуй!..», а с неба ничего не падет; только дождь. Теперь наш Союз — как улей. Сталин в главном-то месте как матица пчелина.

Ум решительной: он крепко дело держит. Ученьем здравым во всю землю победу творит. Ал цвет мил на весь свет.

---

[134] Notes: 134

Здесь также объединены отдельные краткие высказывания о вожде, записанные на Севере среди народа в 1927–1928 годах.

[135] Notes: 135

На рассказ — на память.

Почему Сталина мудрым взвеличали? Потому, что он не то что словом красным, он делом правду свою кажет. Ему наговаривают: «Зачем наши грандиозны достиженья зачинать сразу во всех местах? Пущай бы наш народишко теоретически подрос да подучился?!» Сталин повторят им: «Нет, мазурики! Надо враз практическу работу предъявить. На нас и свои надежду полагают, и чужие глядят, как собаки едят. Плотного труда не покажешь, дак они зубы оскалят».

Сталин скуп на слова-то, а молвит — будто на сердце положит тебе. Он пускай бы больше говорил, мы его-то гово́рю будем разбирать как книгу.

Прежде народишко-то был по будням заношен. Сталин говорит: «С песнями вам будет нарядно на свете. Как в пути доброй товарищ — половина дороги, так в работе песня…» Из-за того теперь песни списывают от всех народов.

По-домашности, около себя-то, он обходительной, склонной, простой. У его ничего запасов нету. Гостей много без зову придут, дак все уж надо в магазин посылать.

Он говорит: «Каков я есть, такого меня и сказывайте. Ежели обедаю, не врите, что „государством управлят“, а скажите — ест. Ежели отдыхаю,

не обманывайте приходящих, что „заседают“, а — спит».

Из-за границы всё пишут слезы. Там фашист как ворон крови ждет. Там народную кровь как воду цедят. Товарищу Сталину порато на сердце тошно, ведь там умирают его дети. Он дышит[136] им: «Не падайте в печаль».

У нас Иван Егорович ездил в Москву-то, кабыть на шестнадцатой съезд. Как воротился, его и спрашивают: какова Москва-та?

— Я Москвы не видал. Только Сталина одного.

На Западе, там вертятся еще банны-ти верт-люги[137]:

«Ничего не будет! Революции не будет!..» А как труба струбит, короли устрашатся, царства убоятся.

Еще жарко будет вам, толстые карманы!

Вам беда придет от своих бедняков. Труба струбит, барабан сгремит — знайте, кровососы, что суд пришел!

Огненной серп

---

[136] Notes: 136

Дышит — здесь: шепчет, близко наклонясь, с лаской, так, что ощущаешь дыхание.

[137] Notes: 137

Вертлуг — род деревянной задвижки на дверях.

Скоро вас дожнет,
А молот в преисподню заколотит!

III. Маркс – Ленин – Сталин

Далее приводятся записи более поздние (преимущественно 1928–1934 годы) и более фабульные по характеру.

Весь этот материал не объединен в целостную эпопею, потому что работа по собиранию не закончена.

Этот более поздний по времени материал о Марксе, Ленине и Сталине добыт также, главным образом, от северян (архангелогородцы, пинежане, олончане), но не всегда на месте жительства, а и в Ленинграде, Москве, по Ярославско-Архангельской, Октябрьской, мурманской железным дорогам.

Так же как и вышеприведенные сводки кратких высказываний, большинство предлагаемых эпизодов представляет собою устную, легендарно-сказочную биографию наших вождей, естественно возникшую параллельно книжной, исторически точной.

Слышанное из газет и брошюр в понятии и

памяти людей «неписьменных», но талантливых и любознательных преломляется иногда очень любопытным и неожиданным образом.

Богатейший материал по линии поэтической интерпретации книжно-газетных фактов дали мне: Т. И. Томилов, уроженец Пинежского уезда Архангельской губернии, мастер живого слова, песенник и сказочник, и его сестра Соломонида Ивановна Черная, также человек исключительной одаренности. Живя более десяти лет в Москве, Соломонида Ивановна сознательно хранит культуру народного поэтического красноречия. С трудом разбирая «гражданскую» печать, Соломонида Ивановна является подлинным художником разговорной речи. Не умея писать, она прекрасно рисует.

С благодарностью упомяну также А. В. Щеголеву[138] (Пертозеро, Сунский район Карельской АССР), Попова М. И., Лазарева М. Л., Пустошного, Петунову А. Р. (г. Архангельск); Подрухина, Туголукова (Мезень); Лыткиных, Кобылиных (Пинега); Колычева, Перфильева (Устюг Великий) и многих других, имен которых не знаю.

Упомянутый Т. И. Томилов, от которого я слы-

---

[138] Notes: 138

А. В. Щеголева любила Надсона, Майкова, Фета, Фофанова, но сама писала стихи в стиле поморских виршей XVIII века.

шал, например, ряд рассказов о детстве и учебе Ленина и Сталина, очевидно, буквально понял такие выражения, как: «Ленин и Сталин — лучшие ученики Маркса». Отсюда понятны подробности быта марксовой школы, где на партах сидят будущие вожди народов.

Как на источник своих рассказов, ссылался Т. И. и на какие-то «майские номера» (газет).

Такие рассказы, поэтически претворяющие слышанное или читанное, как недавно возникшие, не вошли в репертуар многих сказочников. Да и сказатели приводимых текстов отнюдь не считают это сказкой.

О Марксе

(От Т. И. Томилова)

Другие профессора говорят Марксу:

— Напрасно воображаете! Народы еще и в думушке неводят, чтобы царей уволить. Вам еще пятьдесят лет ждать.

Маркс говорит:

— Пятьдесят лет?! Мало, вовсе мало! Мы сто пятьдесят лет работать приготовились.

(Т. Томилов)

Германцы говорят Марксу:

— Сто лет пройдет, тогда тебя народ послушает.

Маркс говорит:

— Ведь не у всякого народа голова-то глиняна. Иные и через пятьдесят лет позовут.

Ленин

Ленин родился, Маркс стал радоваться о нем, стал ждать его. Письма посылал Ленина родителям:

— Володю смеряйте ниткой от катушки и пошлите ниточку мне в письме. Я узнаю, велик ли вырос.

К Марксу поступать по многу дней ходили. Кому до самого дела надо, Маркс тех выбирал. Ленин пришел. Маркс говорит: «Послезавтра зайдите». А Ленину ночевать негде. Ушел домой, может — верст двадцать.

В показанный день является. Маркс говорит: «Сейчас обедаю, вечером зайдите».

А вечером сам Ленину навстречу выбежал на нижнее крыльцо:

— Прости ты меня, старика, я твое желание испытать хотел!

(Т. Томилов)

А учиться Ленин стал, Маркс ему перво слово в тетрадку напишет, Ленин дальше сам знат.

(Т. Томилов)

Ленин писать учился, что́ напишет — Марксу проверить снесет.

Молоды-то тетрадочки Ленина все марксовой рукой правлены.

Есть, показывают за стеклом.

(Т. Томилов)

Ленин сидит, пишет в кабинете у Маркса, а Маркса дома нет. Ленину и понадобилась небольшая справка. Он к себе на квартиру и сбегал. Маркс воротился, выговаривает ему:

— Ведь у тебя перед глазами мои справочные книги, вот здесь в кабинете.

— Вас не было, как же я без спросу возьму.

(Школьная уборщица рассказывает детям этот якобы действительный случай из жизни Ленина, старается внушить бережное и почтительное отношение к классному инвентарю.)

...А я вот что читал:

У Ленина был товарищ. Он Маркса ругал, а сам ничего и не читал, хотя был прилежен к науке. Вот ему Ленин десять рублей в долг навязал. Тому отдать нечем, а совесть неспокойна. Говорит Ленину:

— Возьми чем хочешь. Не люблю долгу.

А у Ленина была книга взята из библиотеки, сочинение Маркса. Он говорит товарищу:

— Спиши мне две главы, по пяти рублей за главу!

Тот рад. Списал да и внялся. И себе всю книгу списал. Убедился, стал с Лениным заодно думать.

(Ленинград. Имя рассказчика неизвестно)

Это тоже в заграницы было. Ленин худенький портмонетик на лестнице нашел с деньгами. Кабы кожаной бумажник, дак сдал бы швейцару — и все, а тут видит, дело небогато, дак сам по квартирам ходил, на пяты, на седьмы этажи подымался — спрашивал, кто обтерялся.

(Записано в Поморье)

В котором городе Ленин жил за границей, там жители сказывали приезжающим:

— Не трудитесь адрес записывать. Где всю ночь окно светит, там Ленин и живет.

Ленин-от не спал тогда бывать сколько годов. На царя составлял улики, книгу сшивал.

(Т. Томилов)

Ленин тогда, что́ лишнее заработает, все по бедным вдовам, по многосемейным разнесет. Он тайно подает, никто не знает, куда деньги деват, его и корят:

— На кого ты зарабатываешь, эстолько пишешь, ночами сидишь?

— Семью кормлю.

— Что за семья??

— Вдова есть, сироты есть…

(Записано в Поморье)

Это еще за границей было.

Ленину принесли некотору сумму на дело революции. Он схватил деньги да без шапки — в подвал, отдал там погибающей с голоду семье.

— Это тоже дело революции — болящему лекарство дать, голодному кусок в рот положить. Ребята-ти выростут, они с процентами революции вернут.

(Записано в Поморье)

Маркс писал в Россию:

— Посылаю вам доверенного человека…

— По чему его будем узнавать?

— Он со звездочкой придет.

…хорошу погоду богаты гуляют, а бедны в дождь. Туча накатится, Ленин и выйдет. За ним бедной народишко и бежит, звездочку эту видят.

Генерал с Лениным на тротуаре встретился, звездочки забоялся, в грязь соскочил… может, взгляду испугался.

Теперь в Ленина память звезду ту носят на сердце.

(Т. Томилов)

Ленину надо попасть в Россию, а война перегородила. Солдаты говорят:

— Мы тебя всем войском в пазухе унесем.

(Т. Томилов)

Николай с одной стороны, Вильгельм с другой стороны посылают солдат воевать. А боев все нету да нету…

Поехали узнавать, что случилось…

А это Ленин. Разнял драку, стоит меж войсками и говорит:

— Браттню вы кровь проливаете! Не в ту сторону воюете!..

С леву руку германские стоят, его слушают, с праву руку российские стоят, его слушают… Война-та перестала.

(Северн. ж. д., 1922 г.)

Ленин скромной был, узнал, что его в главно место приехали приглашать, он в лес убежал, в ельнике спрятался. Его с аэроплана усмотрели, взяли.

(Т. Томилов)

Еще в военное время было. Ленин делал доклад, а некий прибывший на собрание прямо с поезда и сидевший рядом с Ильичем товарищ уснул… Члены президиума сконфузились, не знают, как быть. Стали ложечками брякать в стаканах, чтобы разбудить. И Ленин им кулаком затряс, зашикал на них, а сам свое пальто с локотника взял да тому под голову подложил:

— Ему завтра опять на фронт.

(Мурманская ж. д.)

…Один парень — деловой, а прошибся сгоряча в ответственном поручении. Его на собрании разгромили, даже хотят билет отобрать… Он стоит на лестнице, глаза уставил и губу закусил…

А с лестницы толпа за Лениным вслед. Ленин сразу обиженного усмотрел, под руку взял, с ним пошел, стал о чем-то советоваться; просит завтра же позвонить, о чем-то напомнить просит…

Тот, виновной-то, из мертвых воскрес.

Ленин умел во пору человека поддержать.

(Порт Сорока на Белом море)

Мы приехали с сибирского фронта.

Днем в военкомате отчитывались, вечером принял нас Ленин. Мы, конечно, подготовились — цифры, справки.

Легко сказать — к председателю Совнаркома являемся, нельзя ударить в грязь лицом.

Приехали, а Владимир Ильич портфели у нас из рук берет, нас на диван усаживает, чаем, ужином потчует.

— Владимир Ильич! Мы доложиться явились…

— Ваш доклад я уж читал, знаю. А вы ведь устали. Делу отдано время, теперь пусть будет потехе час.

(Вагон мурманск. ж. д.)

Проездом с фронта на фронт должны были явиться к Ленину в Москву два товарища. Оба в одинаковых заслугах.

К Ленину они попали порознь. Один спросил отпуску на три дня, и другой спросил отпуску на три дня… Вечером оба встретились в гостинице:

— Получил отпуск?

— Нет. А ты?

— Я получил.

Обиженный — к Ленину:

— Почему ему дали, а мне нет?

— Потому что он беспартийный, а ты член партии. С тебя много и спрашивается.

(Архангельск, 1927. М. Лазарев, служащий)

В перерыв заседания ответственный, но юный товарищ пушил по телефону заведующего редакцией какой-то газеты за невысылку гонорара на дом.

Ленин слышит брань, усмехнулся:

— Укроти, господи, лютого зверя, мышь!.. А мы-то, бывало, сами топаем в газетку. Рады, что гонорарий выписан…

(Архангельск, 1927. Записано от неизвестного)

Ленин непременно желал помочь вдове умершего за границей товарища. Чтобы та не назвала, не сочла его благодетелем, он придумал ей, что столовался у ее мужа и деньги занимал:

«Обстоятельства не позволили повидаться своевременно с вашим мужем, так уж позвольте уплатить мой должок вам…»

(Ленинград, 1925. В гостях)

Ленин ехал с завода, подобрал пьяного парнишку-мастерового. Пьяный, едучи, маленько пришел в себя. Ленин у него дознался адреса, до квартиры довез… Там видели, кто привез, внушили дураку-то. Он пить бросил, человеком стал.

(Ленинград. Рассказал извозчик)

На каком-то съезде Ленин с доверенными ходил в сад обедать. Однажды и посадил с собой нищего старика от ворот. Старик ест худо. Ленин говорит:

— Дедко, не унывай, устроим тебя.

А старик:

— Ничего не надо, только поднеси простого рюмку. Привык.

Ленин велел подать, товарищи вознегодовали:

— Какой пример!..

Ленин назавтра и не спросил для старика. Тот и ушел так… Доверенные товарищи и зажалели:

— Нет, уж лучше угостить его!

— То-то!.. Ему восьмой десяток. Он с этим умрет. Ему весело — с людьми рюмку, а один он больше выпьет.

(Ленинград)

Мы летом Владимира Ильича посетили. Он чаю приказал подать. Я стакан выпил, больше — застеснялся:

— Благодарю, Владимир Ильич, решительно не могу.

А он:

— Я сегодня с приезжими, может, раз полдесятка чай пить садился и еще непрочь, а ты стакан выпил да и — «решительно не хочу».

(Октябрьск. ж. д., 1927)

— Ишь, зимой снят Владимир Ильич, а без высокого воротника шуба-та…

— Это не шуба, пальтишко его давношно… Все не хотел сменить. Ему говорят: «Ваше пальто мастеровой в гости не оденет. Заведите себе шубу енотову. Нынче у любого бухгалтера шуба по моде…» Он слушать не хочет: «Пусть у других по моде. А я надену — ишь, скажут, коммунисты занаряжались… Ленин, скажут, с купца снял да и на себя надел…»

(Порт Сорока на Белом море. 1927)

…К Октябрю выдача была костюмов, Ленину принесли шерстяну троечку.

Он говорит:

— Повесьте там в шкапу.

Они и видят, еще прошлых лет выдачи два костюма висят неодеваны. Как повесили, так и висят…

Разруха только что отошла, к Ленину пришли

товарищи, спрашивают, нет ли костюма пошикарнее надеть на демонстрацию… Владимир Ильич обрадовался:

— Есть, есть! Новых два в шкафу висит…

Те поглядели и сконфузились:

— Владимир Ильич… нет ли фасона помоднее…

Он удивился:

— А разве другие фасоны бывают?.. Я и не слыхал…

(Белое море. Пароход, 1925)

У них всем ландрин выдавали, где Ленин-то работал. Вот товарищам и неловко: «Не можем же мы Ленину ландрину баночку дать…»

Ленин узнал и заобиделся:

— Что я — царь Горох, что меня выделяете?! Подать мне коробочку ландрина! Больше не надо, а мое подай.

(Белое море, р. Маймакса. На лесопилке)

…Нагрянули было к Ленину праздные посетители. Заслышал разговоры да смехи — как будешь отказывать?! Пальто насунул, воротник поднял, щетку в руки — да марш коридором… Тогда электричество темно горело, гости думают — с уборкой ходит человек… дали ему убежать…

(г. Архангельск)

Владимир Ильич у себя в кабинете занимались, а Митюшка-рассыльной — знаешь, Марьи Федоровны сын — в коридоре. Он даром сидеть не любит, Митюшка-то. Думает: «Государственная личность Ленин, с утра свод законов выполняет наедине в своем кабинете… Какой вид имеет и что происходит?!» Он и любопытствует, в скважину, в замочную:

— Смотрю, говорит, перья и чернила пустуют, дела гербовые брошены. А вождь народа Ленин из бумаги голубка сделал и в окно пустил. Пустил и в простенок скрылся, другого голубя вертит. А на дворе ребята завизжали — поймали! Владимир Ильич им нового кидают. Кинут и спрячутся. А ребята визжат, ловят этих голубков, не могут уследить, кто, откуда бросает.

(Ленинград, 1924. Фурштатская ул. Говорила жена дворника)

У Ленина в кабинете три сотрудника было: двое

— доверенные лица, третья проста машинистка. Ленин в другой город запоезжал, а канцелярию тут надо оставить.

Доверенные сняли со стены по портрету, говорят:

— Пускай нам Ленин под своей личностью подпись сделает…

Машинистка думает: «И я попрошу…» Сбегала, открыточку с Лениным купила.

При отъезде доверенные просят его:

— Не откажитесь пару слов на память вот здесь…

Ленин и забранился:

— Я вам что — Собинов?! Вы что — барыни?! Может, кудрю отрезать!

Те и ушли по своим делам.

А машинистка видит, что Ленин рассердился, застыдилась, сует свою открыточку в карманишко, попасть не может… Ленин и заметил:

— Вы что?

— Простите… Я тоже хотела вас просить, но не нужно…

— Давайте, давайте…

…Подписал свою карточку на машинистку и руку ей пожал. Она рада-радехонька, а доверенны пеняют Ленину:

— Нам — дак не подписали…

— Вы ребята отпетые, ребята веселые, здоровенные, нисколько вам мой отказ не обиден. А она человек грустный, кроткий, мнительный. Ей нельзя отказать.

Я невеличка была, меня соседка пол мыть пособлять взяла в Совет.

Только в кабинете убрались, Владимир Ильич и заходит. Коробочку с ланпасье мне и подает… Я руку фартуком вытерла, одну конфеточку взяла…

— Все, все твое!

…Ланпасье мы с чаем выпили, а коробочку я в комоде сколько годов храню…

(Ленинград, 1925. Волково кладбище)

…Этот Василий Никитич служил у нас казначеем. Один сослуживец для какой-то беды вымолил у него на краткий срок крупную сумму… Ни в срок, ни после денег не отдал. Вся беда на казначея пала. Он виноватого ради малых детей пожалел, сам пошел на принудиловку. Принудительны работы отбыл, стал партизаном, тогда еще междоусобна не отошла. На двух фронтах кровь пролил против белых. А Ленин не спал, это дело о растрате обыскал, к себе вызвал Василья-та Никитича, с поклоном на прежню должность просил.

(Архангельск. Лесопильный завод на Маймаксе)

У нас Василий Феоктистович звыше приходского нигде не кончил, а посмотрите, какой музей собрал… Первой маляр был по губернии, а до старости бос и наг ходил. Не подумай, что пропивал: последни сапожонки с ног, пиджачишко с плеч на старину выменивал… Избушку свою, и чердак, и подполье, и хлев, и поветь — все разными редкостями захламостил. И за это во всю жизнь ничего, кроме ругани да смеху, не заслужил. Ни над кем никто нигде так не потешались, как мы над Васильем…

А в революцию Василий Феоктистович к Лени-

ну махнул.

…Ученые профессора сконфузились, что серой мужик музей проводит, а Ленин ему говорит:

— Не обидься ты, Василий Феоктистович, на профессоров. Они из-за многих дел не успели твое дело высмотреть. А нам с тобой по пути. Поезжай домой, я похлопочу.

…Каковой музей так и называется теперь… имени Василия Феоктистовича Кулакова.

(Рассказал житель г. Вельска)

Иной раз настолько спешная работа, что и до свету лечь нельзя. Он сидит, не помнит о часах, не смотрит, что ночь на дворе…

Но если с ним работает посторонний человек, Ленин вскоре забеспокоится, что человек устал… Зевает:

— Ну, наработались… спать пора…

Тот убежит с легким сердцем, а Ленин окно занавесит да ночь сидит.

(Архангельск)

Петунова А. Р. указывает на картину в кооперативе г. Архангельска:

— Видишь на картины, они вместе сидят, Ленин руки сложил, Сталин к нему повернулся… Это ихна последня беседушка.

…У Ленина здоровья заубывало. Сталина каж-

дый день требует. Тот домой к обеду посулится, а и к ужину не попадет.

Последний-то совет весь вечер держали, да и ночь прошла. Оглянулись — утро! Ленин проводить пошел, еще что-то вспомнил, еще остановил. Правой рукой Сталина руку взял, леву ему на плечо положил, последню волю стал высказывать. Часы бьют — они не помнят времени… Полдень стало вызванивать, тогда простились. Эта последняя была беседа. Ленин и помер! — «Я обо всем распорядился».

…Ленин столько трудился…

Про него смолоду опытны люди сказали:

— Из этого парня старик не будет…

(Архангельск, 1925)

Ленина несли хоронить, звезда красна над гробом шла. А как закрыли, и не стала.

(1924. Москва. М. С. Кундюбникова, уборщица)

…Какой-то ум придет…[139]

И смотришь, какое лицо, и одежду смотришь.

Спит Ленин. Музыка, трубы, гром пушек — ничто не разбудит.

---

[139] Notes: 139

То есть что-то возникает в памяти: является воображению.

Спи, ты все добре управил!

(1924. Москва. М. С. Кундюбникова, уборщица)

ПУГОВКА

К нам на завод приезжает Ленин. Мне кричат: «Наторова, ты примешь пальто…» В клубе жарко. Ленин стал говорить, скинул пальто на стул. Я схватила — да в гардеробную. Вижу, у левой полы средней пуговицы нет. Я от своего жакета оторвала да на ленинское пальто и пришила толстым номером, чтобы надолго. Он уехал, не заметил. А пуговка немножко не такая… И так мне это лестно, а никому не открываю свой секрет.

Тут порядочно времени прошло. Иду по Литейному, а в фотографии «Феникс» в окне увеличенный портрет Ленина. Пальто на нем то самое… Я попристальней вглядываюсь — и пуговка та самая, моя пуговка.

Он в эту же зиму и умер. Я достала в фотографии на Литейной заветной тот портрет…

Он у меня около зеркала в раме теперь.

Каждый день подойду, посмотрю да поплачу:

— А пуговка-та моя пришита…

(Ленинград. Волково кладбище. Наторова из Архангельска)

…У нас ребята в газеты читали: за границей партия шла рабочих с пением в майский день. Полиция наскочила — и в тюрьму. Одного давно искали. Его в ту же ночь — застрелить… Он под дулом-то выхватил газету — майский номер, там Ленин во весь лист, — и накрыл глаза… Солдаты ружьем брякнули, честь отдали: «Не можем в Ленина стрелять».

(Архангельск, 1927. Лесопильный завод на р. Маймаксе)

Нам иностранный матрос в Маймаксе рассказывал:

— …Они там у себя забастовку объявили, а полиция принудила работать. Привелось плашкот к пристани подводить. Они взялись по двенадцать человек на канат. Надо бы: «Разом сильно, разом вдруг», или там по-ихнему кричать, а они: «Раз, два, Ленин! Раз, два, Ленин!» Полиции не к чему придраться. Они ведь стали на работу…

(Архангельск, 1927. Лесопилка на р. Маймаксе)

…У нас доктор был в Ульяновске. Может, и сейчас жив. Его в Москву не раз приглашали. У него один был ответ: «Наш город не меньше Москвы: здесь Ленин родился».

(Москва)

…Вася ездил доверенным от Госторга из Архангельска в Норвегу. В городе Берген выбежали к пароходу дети. Русских увидели, стали кричать: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Худо выговаривают, а понять можно.

Вася заговорил с ними по-русски, но они только одну эту речь выучили:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

(Архангельск)

КАК ФЕДОСЬЯ НИКИТИШНА

У ЛЕНИНА БЫЛА

У нас папаша был кровельщик, работал в Смольном, да перед самой революцией и скончался. Так что и жалованье недополучено. Временное правительство явилось, мамаша пошла относительно денег, воротилась со стыдом, как с пирогом. Только и спросили: «А ты, бабка, видала, как лягушки скачут?..»

Зима нас прижала, мамаша говорит:

— Все Ленина хвалят теперь: не сбродить ли мне в Смольной-то?..

Какое-то утро встаем — нету старухи. Думаем — у обедин, а она это в Смольной угребла… И подумайте-ко, ползала, ползала там по кабинетам, да на Владимира Ильича и нарвалась… Пишет он, запивает конфетку холодным чаем…

Она нисколько не подумала, что это он сам, тогда портретов-то мало было, и спрашиват:

— Вы, сударь, на какой главы: на письме или на разборе?

Он россмехнулся:

— Как приведется, сударыня. Вам на что?

— Меня люди к Ленину натакали, ко Владимиру Ильичу. Говорят, твое дело, Федосья Никитишна, изо всех начальников один Ленин может распутать… А я гляжу на вас, как быстро пишете, и думаю — экой господин многограмотной, уж, верно, не из последних начальников… Где мне Ленина искать, не войдете ли в мое положенье?..

Преспокойно уселась да вкратце и доложила.

У Ленина глаза сделались веселы, расхохатыват…

— Верно, Федосья Никитишна… Без Ленина обойдемся.

Вызвал сотрудника, выметку из книжечки дал:

— Товарищ, срочно оборудуйте Федосье Никитишне ее дело.

...Мамаша домой приходит и деньги выкладывает:

— Все начальники в Смольном хороши! И без Ленина дело сделали.

А через месяц приносит с рынка фотографическую карточку:

— Вот купила начальника, с которым в кабинете-то сидела...

Мы взглянули, да и ахнули:

— Мамаша, ведь это Ленин и был!

(Слышал в вагоне Северной ж. д. в 1928 г.,
рассказывала женщина, едущая из Архангельска
в Ленинград, к мужу.)

Сталин

...Его тоже годов семи привели в училище к Марксу. Ребятишки за столом балуют. Маркс говорит:

— Молчите теперь! К нам поступил который Землей поворотит.

(Т. Томилов. 1930)

Какой-то раз заходит Маркс к ученикам:

— Дети, прусской король опять нас к ответу требует. Кто меня заменит, королю достойное изъявление напишет?

(Маркс и сам бы написал, да ему надо учеников испытать.)

Все принялись стыдиться, а Сталин спросил:

— А вы сами для чего не напишете?

— Нам некогда.

Сталин и взялся, простым сердцем. Про него судят:

— Ты, молодой мальчик, Маркса взялся заменить…

— А я по себе рассудил. Я радуюсь, как мне кто поможет, так и он. Никто бы не вызвался, так не обидно ля ему?

Товарищи говорят:

— Ужо после дела хвались…

А Сталин такó сдумал, что прусского короля чиновники в три заседания не могли ответить. Рабочий класс отлили медаль в эту честь. Маркс пока ее убрал в письменный стол и ученикам про это молчит. А Сталин только раз спросил:

— Как моя работа?

— Ничего, довольно успешно.

А ученье кончилось, Маркс при всех на бархатной подушке Сталину эту медаль вынес. Речь сказал:

— Дорогой ученик! Не знаю, как я дотерпел до этого часу. Давно бы вам эту заслугу выдал, да боялся, что очень молоды, загордитесь…

(Т. Томилин. 1930)

У Маркса на две статии были ученики.

Одни такие, что если от питья, от еды, от нездоровья да от отдыха останется какой часок на дню, они этот часок на революцию жертвуют. А не останется — и так ладно… Эти ученики не успели.

И другие у Маркса были ученики.

У них если от революционной работы останется сколько поры ночью, дак и поедят, и вздремнут. А нет — и так живут. Это Ленин и Сталин. Эти успели.

(Белое море, 1930. Пароходский служащий)

Один германский ученой говорит:

— Я не люблю этого беспорядку, этой драки. Я без изъяну поворот сделаю. Добрым словом богатых людей убежду. Которые богаты, те ведь

и умны. А Марксово слово всякому понятно, тем более умному…

А Сталин говорит:

— Доброе слово не уймет злого. Сытые не могут голодных понять. Богатого надо принудить.

Они и рассоветились. Сталин на родину поехал и германский на родину. Сталин у себя все дела сотворил, пошел германского проведывать, послушали ли его богачи, а тот давно в тюрьме сидит.

(Архангельск. Лесопилка на р. Маймаксе. А. И. Дашкова)

Первый зажит не в России вспыхнул. Маркс в иной стране этого огня добывал. Ленин угля живого за пазухой в Россию принес, Сталин дров нарубал, костер затопил и во весь свет пламенный привет запосылал.

(Архангельск, 1934. Маймакса)

Народ — как туча грозова, а Ленин да Сталин — две молнии.

…У Маркса да у Энгельса Ленин да Сталин главны доверенны.

Сталин в Ленина место, а Ленин в Маркса место.

У Маркса все на Ленина сдано, а Ленин занемог — все Сталину доверял.

К Марксу придут за советом, он в Россию посылат:

— У меня все на Ленина да на Сталина сдано.

(Архангельск. Лесопильный завод на р. Маймаксе)

Маркс Ленину да Сталину капитал оставил: «На свою семью разделите».

Они на всю землю разделили: «Все наша семья».

(Архангельск. Лесопилка на р. Маймаксе)

…Немец, француз, англичанин, русский…

Маркс говорит:

— Это все мои дети, и всех их я капиталом наделю…

Русской этот капитал в дело вложил. Барыши пошли на барыши.

(Архангельск. Лесопилка на р. Маймаксе)

Сталину смолода люди наговаривали:

— Напустился ты на богатых да на сильных: знаешь, что за это будет?

Отвечает:

— Не боюсь богатых гроз, а боюсь убогих слез!

Сталин не устрашился царю эти слова повторить.

— Разве это порядок — люди людей жмут, люди из людей кровь сосут?! Разве это дождь, слезы-то человеческие, что их нельзя остановить? Разве вы, цари, не видите, что дом догнивает?

Царь говорит:

— А нам только бы дожить, а там, как хошь…

(Архангельск. На пароходе. 1934)

Сталин как настоящий хозяин поступил. Всем домом поворотил. Которо бревно хорошо, то в дело пошло, а гнилье выбросил.

(Архангельск, 1933. Комзчев из Черео-кова)

К Москве изо всех стран человеческий род плывет на сохранение. Здесь главный спокой.

Ленин постоянно Сталиным заменялся, при всех его называл да чествовал. Люди Сталину и говорят:

— Какой вам почет! Поздравляем вас с этой честью!

Сталин говорит:

— Здесь прежде всего самому Ленину честь. Ежели столь единственный человек, как Ленин, других больше себя почитает и славит, это прежде всего доказывает, что он сам великой души человек.

(Белое море. На пароходе. 1933)

С молоду-то он откуда придет, после народу, его разволнуют, он сядет, Маркса откроет, почитает, пока сердце не обойдется. Тогда свое опять думат да пишет.

(Белое море. Пароход. 1934)

Он смолоду-то все спешил. Обедать надо, он на стуле не сядет за стол. Все походя перекусит.

Его свои-то уговаривают:

— Сядь да поешь!

А он:

— Это разве работа? Это дело? Это занятие — еда-то, что садиться надо?!

(Москва, 1934. Говорит приезжий с Северной Двины)

Сталин в Москве все равно что всемирна электрическа станция: во все концы мира свет подават.

(Москва, 1934. Приезжий с Севера)

Ткем ли, куем ли, доим ли, шьем ли, пашем ли, лес ли секем, дом ли кладем — во всяком деле нашего успеха только вторая половина. Первую за нас Сталин уже сделал.

(Москва, 1931. Приезжий с р. Пинеги)

У красильщика спросили:

— А какой из вас мастер лучше? А какая краска садится крепче?

— Сталин первый красильщик. А краска крепче всех красна, которой он красит. Не смыть никому.

(Москва, 1934. Приезжий с Пинеги)

Он наказывает:

— Который партийной человек — неучен, дак учись, а учен, дак людей учи, что сам знаешь и умеешь… Учись либо учи, а не то дак ты живой мертвец.

(Москва, 1931. Приезжий из Архангельска)

Иностранец спросил про Сталина:

— Почему его именуете мудрым?

— Не мы его так назвали, не он на себя это звание положил… дела его вопиют, что он мудрый…

Сталин именья не собират. Во всем дому ничего нет, только книги. Пальто-то из году в год все одно да и фуражка та, мы заметили.

(Ленинград, 1935. Приежий с Севера)

Сам кислу булку, и сыру, и горелу будет есть и вниманья не обратит:

— О, хорошо…

А в школах где или в ротах узнает, что худой хлеб, дак… только держись начальство!

(Ленинград. Приезжий с Севера)

Ему скажут:

— Пожалуйте обедать!

— Разве я не обедал?!

— Когда же?!

— Ну нет, дак иду…

В гражданску войну-ту, бывало, сам не съест, да людям скормит.

(Белое море, 1934 г.)

…Кое-как поест, да за работу. Ну, если кто в гостях, дождется и третьей перемены[140]. Товарищи, кто потолковее, нарочно в обеденные часы заходили, чтобы он хоть из вежливости лишнюю минуту за столом посидел у закуски…

…Сталин за стол не сядет. Так, закусит за работой. Разве уж ради посторонних, дак нарочно, свои-ти, гостей созовут, чтобы он сел.

(Белое море, 1934 г.)

У Сталина тако поведенье: кто придет, с тем радуется, а сколько времени с гостем пробыл, те часы у ночного опочиву оторвет. Кто это знает, те очень тужат, что гости долго сидят…

(Архангельск, 1934)

---

[140] Notes: 140
То есть третьего блюда.

Сталин куда за город в автомобиле поедет, народ кто в чем из домов выскакивают. Эта об одном башмаке, у этого лицо в мыле — брился, утереться не поспел.

(Москва, 1935)

От Сталина которы отходили, они читатели и писатели были, тем свои головы кормили. А как отошли, ум и память вдруг потеряли…

(Москва. Приезжая с р. Пинеги)

У нас один инженер высокий пост на заводе занимал. Квартира, жалованье… А жену принудил аборт сделать. Зубную докторшу привел, которая этим промышляла. Сделали на дому, да и неладно. Жена-та лежать навек осталась. Он ее и бросил. Люди до властей довели. У него билет отобрали и присудили убогую-то до смерти кормить. Он семь лет в Москву ездил хлопотать, инженер-то.

Сталин ему лично сказал:

— Нельзя тебя по нашим законам простить. Ты ученой, и ты женщину нечеловеком сделал и младеня истребил.

(Ленинград, 1933)

(Коммунистка, управдом московского жакта, признается, что и с делами и без дела любит она зайти в комнату к гражданке НН.)

— Люблю ее — детское у нее сердце. Я часто в кухне им, домашним хозяйкам, про Сталина рассказываю, излагаю газету. Другие бабы слушают одним ухом, та примусом занята, другая стиркой. А эта слушает, все позабудет. И молоко упустит, и каша подгорит. Видно, что ей на сердце ложится… Как не любить таких…

(Москва, 1935)

Я маленькой человек, я бы вот чего хотел: я с товарищами у Сталина в руках как спички в коробке. Он пускай нами чиркает да зажигает, где надо. Я хоть раз бы вспыхнуть рад — мое бы дело сделано.

(Москва, 1935 г.)

Корабли поднебесные[141]

Теперь бы мне звонкий, зычен голос
со умильной, со грозной запевкою…
Похвалить бы племя крылатое,
небопарную[142] *природу соколиную.*
Напеть бы им здоровья великого,
им долгого веку протяжного.
О, честные советские летчики.
Дорогие, любые товарищи!
Подымайтеся выше всех:
на вас служба наложена краше всех!
… … … … … … … … … … … … …
Лежит пустыня полярная,
место темное, самогрозное,
человеческому роду непроходное.
Над нашими морями полуно́чными

---

[141] Notes: 141

Впервые опубликовано в сборнике «У песенных рек» (М.: Гослитиздат, 1939) и переиздано в сборнике «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947). *–Примеч. ред.*

[142] Notes: 142

Небопарный — парящий в небе.

по зимам горят сполохи негасимые,
по летам – заря поздновечерняя.

Дрогнула льдина,
тороса подломились,
снега опустились,
ручьи покатились…
Поет пустыня поморская
утичьими голосами,
человеческими словесами.
Встречает самолеты поднебесные:
летят желанные, летят долгожданные,
наши милые, советские летчики!
Их Сталин выняньчил,
вспоил, вскормил, выучил,
до полного возраста,
до крепка ума-разума.

У них то́рна, широка дороженька!
У них многая вольная,
воля довольная,
через лес,
через поле,

через синее море.
Они ходят-похаживают,
дороги не спрашивают.
Высоко подымаются,
далеко напускаются.
Дождем умываются,
облаками утираются.
С моря на море самолеты перелетывают,
вести-радости по народу перенашивают.
Еще эта птичка рукодельная,
натодельная птичка одномедная,
берея[143] *морскому зверю промысловому.*
Ловея она трепущей сладкой рыбице,
избавленьице помору промысло́вщику.
Кто в отно́с попадет,
самолет того найдет.
Соколо́м налетит,
под крылом унесет!

---

[143] Notes: 143
Берея — существительное от глагола: «брать».

… … … … … … … … … …

У Севера серебряные кудри.
По кудрям Севера дарили,
белопарусный кораблик подносили.
Седой Север с лавки не встает,
со снежных кудрей ледяную шапку не снимает.
«У нас этого дару и дома довольно.
Великого Мерзлого моря
деревянной ложкой не учерпать».

Сталинские гусли зазвенели,
самолеты на Север прилетели.
Седой Север с лавки встает,
со снежных кудрей ледяную шапку снимает,
многолетно Сталина хвалит:
«Самолеты – дар неоцененный,
неготовыми дорогами поле́тят,
ледяную силу обломят,
самогрозную пучину одолеют!»

Чкалов и Родина[144]
(Северный сказ)
Незабытная память

Ум веселится, вспоминая Валерия Чкалова, и не велит грустить сердцу. Чкалов — имя крылатое, неугасимая жизнь, незабытная память.

Вольный свет на волю дан, и Чкалов все свое желанье, весь свой разум устремил к воздушной навигации.

Чкалов понимал самолет краше всех и летал красовито, был жаден на эти труды, во всякий полет сам кидался.

Чкалов — это упрямка и храбрость без меры.

Начальники говорили:

— Летаешь ты мимо правила. Летай без лишнего!

Они умели уговорить и утешить, удержать и управить огнепальное чкаловское сердце.

Летчики-навигаторы, искусной руки мастера, спрашивались с Чкаловым. Он говаривал:

— Незачем умельцу и на свете жить, ежели

---

[144] Notes: 144

Впервые опубликовано в: Б. В. Шергин. Собрание сочинений. Том 4. Очерки. Статьи. Письма (М.: Москвоведение, 2015). –*Примеч. ред.*

станет уменье таить.

Были у Чкалова два желанных товарища, Байдуков и Беляков. С ними Чкалов сдумал-сгадал орлиную думу:

— Полетим на ту сторону мира. Откроем нехоженый путь, подадим мирную руку народам Америки.

Самолет, поспешный к делу, навигаторы сами учредили. На челе учеканен серп и молот в обличенье капитальным храпам, а под крыльями звезда — в означенье светлой, звездной новизны.

Путь от Москвы до Америки, путь прямолетный и самый кратчайший, идет через Северный полюс. Многими столетиями, неусыпающим разумом доступал человек того полюса. Что кораблей потонуло, сколько отважных людей потерялось.

Через Северный полюс дорога безвестная; там, за полюсом, страна небывалая. Вечных снегов никто не прогребал, мерзлого моря никто не измерял. Навигаторы храбрые, где вы день дневали и ночь ночевали? — Нигде: над бездонной пучиной.

Чкалов полюс перешел и позади оставил.

Летят… С севера туча катится, на море темень

валится.

Выплывут из туманов, самолет морозы хватают, саваном ледяным одевают. Летят, — с облака на облако качаются. Ударит дикий ветер, с самолетом воюет. Летели, полуночному солнцу в очи глядели. Видели диво: две зари, как две сестры, вместе сошлись.

Два дня и две ночи с полуночью отбывали это подорожье, не смежая крыльев. Жена Чкалова вестей ждала — два дня, две ночи головы к подушке не прикладывала.

И вот промчалась весть по всему миру: советские навигаторы справили путь. Указали прямолетную дорогу к вечным прибылям дальних народов. Славно отмогуществовал Чкалов против всей мировой авиации:

— Это тебе, Америка, должно быть внушительно теперь.

Америка — базар. И этот базар нашим летчикам хорошую цену сказал. Богатая богатина льстила:

— Хотя вы не можете потрафлять на наш американский разговор, но за такое удивление рады мы вас в масляную кринку посадить.

Трудовой народ встречал советских навигаторов простертыми руками. Простые люди веселились сердцем и умом.

Капитальные американцы говорят:

— Погостите, мы будем вам показывать еще наши разные первые сорта.

Но не могут русских чужеземностью пленить. Голос Родины доносит по ветру:

— Домой, домой, дети мои!

Три друга сели на пароход, не оглянулись.

Америка возложила тогда на живого Чкалова венок из белых роз…

…Как пучину морскую перешли народы прошлую войну. В тихости великой хочет жить и строиться Страна Советов. Подает соседям руку, мирную и дружную: Погасим вражду!

…Как орел клекотом собирает орлят, так великий Советский Союз созывает под крыло тишины и мира все народы мира. И радостной надеждой ширится сердце человеческое.

30/XII–1950 г.

Сказ о Ворошилове и Буденном[145]

Этот «сказ» о Ворошилове и Буденном представляет собою сводку маленьких рассказов, афоризмов, слышанных и записанных мною на Севере, в районе Архангельска (лесопильные заводы) в 1928–1934 гг. от участников Гражданской войны.

Исторической точности, последовательности, перечня всех героев того времени искать здесь не приходится. Отдельные свидетели славных походов дают свои наиболее яркие впечатления, даже отрывки впечатлений.

С точки зрения фольклора интересней было бы предложить этот материал в чистом, сыром виде. Но архаическую композицию фразы в северном говоре трудно воспринять широким кругам читателей.

Германска война долго стояла; люди по городам в лаптях забегали. Революция пошла. Соседни

---

[145] Notes: 145

Впервые опубликовано в сборнике «У песенных рек» (М.: Гослитиздат, 1939). *–Примеч. ред.*

державы рука за руку связались, на нас навалились. Польша завертелась как корабельной бот. Други' подъехали.

«Наделите-ко меня Черным морем или Белым...» Напасть за напастью, генерал за генералом. Крым из рук удернули и Сибирь урвали. Неможно отдуться!

Взялся человек на имя Клим Ворошилов, другой Буденной Семен. Оба от Ленина и Сталина неотступны. Люба работа была — на конях храбровать. Ленин говорит: «Ты, гроза, грозись, мы друг за друга держись.

Поди, Буденной, испугай белых. Клим Ворошилов, стукни генералов. Там наши товарищи за решеткой помирают голодною смертью».

Ленина речи Буденной на ус берет; и Ворошилову эти речи светлы и хороши.

Буденной — как ястреб, не толстой, а красной, сухой, мужественной, широко костьё. Смолоду привык на лошадях. Где он есть, дак уж тут песен!

Постатной Ворошилов да Буденной шапки-заломашки наложили, в солдатские шинели оделись. Троцкий говорит: «Надо для страху эполеты». — «Эполетов не хотим! Трись ты эполетами!»

Поскакали на конях, только сабли блестят: «Кто хочет в Крым купаться?! Старых генералов на табак молоть!..» Молодежи навалило — голос в голос, волос в волос, и дума одна. Худо ли с Ворошиловым да с Буденным в глазах!

Сначала начальства-то страшились: в походе идут впереди, оружьем опоясаны, заслуги на грудях бренчат… А дале расслушали, что веселы да певки. Петь мастера и воевать мастера. Ночью со всеми у костра привалятся, у самих папирос мало, а людям наваливают: бери да кури.

И спали так, человек подле человека. Ружья прочь — да и спим.

Постатной Ворошилов да Буденной неделями с плеч не складывали одежды. Примокнут да припотеют. А их ни грязь, ни снег не держит — все идут да едут. У Ворошилова конь умной, ступиста лошадочка, на картинах она есть. Поначалу не ела, все в домашную сторону глядела. Ворошилов чего-то пошептал, из ладони напоил. Лошадка с того разу заела.

Кони летят во весь мах, ворошиловской уж оббежит. Как птица раздваивать воздух. А то начнет выхаживать, голову-то выгибать на ту сторону да на другую. Ворошилов узду снимет, конь голову в охабочку подаст. Разговор-то весь понимал.

Хозяин с ним разговаривать да разговаривать, дак выучил.

Умны были в Первой Конной лошади. Той весны — не помню, какая река — налилась велика. Мы пулемет в лодке везли. Воронуха кобыла рядом плыла. Лодку качнуло, опружило. Мы заревели: тонем! Лошадка на гору выплыла да в лагерь прибежала, ржет. Товарищи догадались, побежали на реку. Нас мимо несет. Переняли живых. Вовсе в воде были, только рот хранили.

Весной да и осенью воды нас обидели. Весной реки велики, осенью — дождь да грязь до полголяшки. А командиры — все вперед да вперед. В полночь команда:

— По коням, ребята! дождь идет хор-р-роший!

…Опять летом — вспеклись, из каждой канавки водички попробовали. Командиры шутят:

— Ребя! распивайся потолще!

— Хм… С воды пьян не будешь.

К Черному морю идем. Там нас вина виноградны дожидают!

Ну а до виноградов-то наравне с нами едят годовалые житники, хлебают троеденную кашу:

Чорт нам, не каша!

Вчера сварена.

Вчера сварена,
вчера выхлебана!

Буденный посвистывает, Ворошилов приговаривает. Кони удилами позванивают — им весело итти.

Южными городами шли, барыни за нашими начальниками гонялись, как сомошеччи. Увидят, что по улице скачут, дак на след-то не могут насмотреться. Оба ни одну не разорили, ни тот, ни другой. И нам шпанить не дозволяли.

Ворошилов тогда был легонькой — недосуг тела наводить. Теперь, по картинам-то, помягче стал. Туго всегда подпояшется — не залезешь, ветер!

У белых было все чужое, все в людях выпрошено. По всей Европе хожено да прошено. Свое-то всё растеряли да разволочили. Они любили бы поплотнее влепить когти, да не дали красные.

Кабы Европа пароходов не подала, белые бы в море сунулись. Так их Конна армия перепугала.

Ихний главный генерал ехал из Киева в Одессу. И ему повиделось: конь с лесом наровень, на коне Буденной. Генерал умарался, а Буденной: «Еду к морю!»

Этот генерал или другой потом в нерусских

газетах писал: «Ленин нас как с саней срывал[146] щепу. Лучше бы нам сразу упороть в Европу!»

Товарищ Ворошилов, да Буденной, да Фрунзе с барышом в этот поход сходили. Брались упромыслить пятьдесят городов, а взяли все сто.

Эти походы отошли, пришло домостроительство. А державы есть еще около, матюкливы таки, продувны. Литвинов туда ходит ругаться. А на Ворошилова вся охрана сдана — не спи, слушай: не шарконет ли кто где саблей.

Клим Ворошилов — помогательное имя. Одного рабочего за границей схватили в тюрьму. Он и завопил Ворошилова. А у Ворошилова приказ: «Где ака обида, будите среди ночи...» Поскакал добывать товарища. Стучит в немецкие ворота: «Пустите для переговоров!» А те: «Брось ружье: нас прежде войны сожгешь!» — «Воины не ходят без оружия!» — «Вот горе с тобой! Потушить бы тебя, дак канители не обраться. Ужо ладно. Стой, где стоишь. Сами тебе вынесем его...» Высвистнули того товарища в ворота: «Знал ты, кого вопить...»

Я насмотрелся Клима-то Ворошилова на параде. Кремль-то крашеной, башни, выходы, флаги,

---

[146] Notes: 146

На Севере «срывать» употребляется в смысле: сваливать («Рой бревна под гору», «Он меня со стула роет»).

песни, музыка!.. Конна армия в сбруе с ружьями и со всяким боем идет. Конь коня лучше, молодец молодца удалее!

Уборы позванивают, удила серебряные…

У Ворошилова конь как снегу белого, летит во весь мах, а он сидит — масла на голову поставь, не прольет.

Безголовы автомобили — и те на него глядят: повернулись в его сторону, как утки-коряковки.

Слово о Горьком[147]

Слово о Горьком составлено на словесно-речевом материале, собранном от северян в 1934–1936 годах. Слышанное из газет и книг неграмотные, но поэтически одаренные люди отобразили по-сказочному своеобычно.

«Посылка за Горьким» слышана от Томилова, крестьянина Пинежского района. О смерти Горького говорила А. В. Щеголева[148] (Сумский посад.) Следует также упомянуть С. И. Черную и Колычева (город Архангельск).

Почему этот человек назван Горьким? Потому что его слово царям было горько и они Алексея горькой смертью стращали. Потому что он с горестью жизнь начинал, прискорбным путем ходил, полынный хлеб ел, горькую воду пил.

Был бедных людей рода и колена. Не в радости

---

[147] Notes: 147

Впервые опубликовано в журнале «Колхозник» в июне 1937 г. и переиздано в сборниках «У песенных рек» (М.: Гослитиздат, 1939), «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947), «Океан-море русское» (М.: Молодая гвардия, 1959) и др. –*Примеч. ред.*

[148] Notes: 148

Тогда еще страна не знала о страшном злодеянии, ускорившем смерть любимого писателя.

начался и родился. Мати Алексея приносила, горше чаицы морской возопила: «На велико ты терпеньице удался!» Горького бабушка ростила. Первые шанежки вынет, завернет, Алеше тащит: «Ешь, дитя, чтобы не увидели». Он на улку выбежят, всем ребятам даст шанежки откусить. Бабушка чай пьет. Он скажет: «Ты уж чашечек пятнадцать выпила». — «Полно ты! Я тихо пью». В робятах был сдумчивый такой. Рано книги пытать залюбил. Люди смолоду — наряжаться да дичать, он — учиться самоуком да писать. Бабушки не стало, в наймы пошел. Ест квашеные поскребки, спит на голом полу с собаками. Рубаха в заплатах, колени наружу, портянок не стираны, рукавицы розны, пальцы отмерзли, подошвы отпали. Все не по своей воле, все не по времени юности.

Могута была с юности надсажена, жилы вытянуты, а он не любил стонать, мужески терпел. От нужды убежал, от болезни не мог убежать. Горький смолоду зачал о рабочем человеке радеть и промышлять, смолоду восстал на царя смело и небоязненно. Другой бы в книгу да за справкой, Горький все давно знает наизусть. Он смала что́ узнал, то навек. У кого такой памяти нет, дак уж не вложишь. Народ говорит:

— Коль парень мудрой, весь день проговорит напамять… Царя, толкует, не надо… Разве экой жорнов стопудовой спихнешь?!

Горький не велит бояться:

— Не запугивайтесь! Что вы теперь не на управлении, и то теперь до времени. Придет пора — ударит и час!

Народ был недвижный прежде. Им надо посоветовать. Горькому верят: он сам горе хлебнул. Тут власть зашевелилась: «Горький крамолится на царя». Орла Государственного змеем двуглавым зовет. Стали дозирать пути, которыми Горький ходит, велели таких людей имать. Он от многие беды побежал на западные страны, как пчела от дыму улетел. В России жить — надо замок висячий на губы. Горькому молчать негоже. Ушел невесел, кручиноват: вернусь, когда время позовет.

Из страны в страну, из города в город ходил до старого Рима. Остоялся у теплого моря, на путешествии к черным державам. Тут море соленое; подворье поставил на острове и пальмы вкруг него. Тут жил, умом на родине летал. Телом далеко сидел, разумом нами. Жил в чужом языке, дорожил русской речью. Питался от книг: писал, чтобы не смущался трудовой народ и врагу не

верил. Раз в неделю пароход придет, письма привезет да книги увезет. Тех держав начальники поставили негласну охрану, чтобы Горький с рабочими людьми не сходился и сам бы в смуту не пришел. А буржуазии невозбранно было увещевать пришельца к свои прелести. Но, услышав колкие ответы, она отходит с удивлением.

Слава Горького далеко носилась. Царь послов посылает: «Похвали нашу державу, тогда отпустим все грубости, пожалуем чином и деньгами». Горький послов с надворья спровадил, ни на очи не пустил:

— Подьте, да опять ко мне с глупыми разговорами не ездите.

…Живет, свое дело правит, а уж гортань пересохла в черных ветрах от дум да печали. Тут день за днем, как трава растет, год за годом, как дождь идет. В Северной земле стало не по-прежнему. Ленин да Сталин доспели пир на весь мир. Бежат люди к Москве, как дети в материнскую пазуху. Там будет пир-столованьице. Пошел стол навесело. Зачали люди хвастаться. Ремесленны люди — своим трудом, чернопахатны крестьяне — урожаями, рыболовы хвастают промыслом, ученые люди — науками, корабельщики — дальним плаванием. Товарищ Сталин их послушивает, вдоль

по лавицам высматривает:

— У меня от всякого колена гости созваны, от всякого сословия люди собраны, только не вижу за столом Максима Горького. Я новых друзей наживаю, а старых не утрачиваю.

Ему отвечают:

— Носится та слава, что живет Горький на путешествии в жаркие страны. Поставил подворье на острове, тут море соленое и пальмы вкруг него.

Тихий ветер веет, Сталин говорит:

— Подайте лист и чернила: «…У нас не по-старому, у нас не по-прежнему, на деревьях начал лист разметываться. Теперь не молчится никому. Тут и вас надо…»

Сталин скоро пишет, скорее того запечатывает. Посылает гонцов по Максима Горького. Сказывать скоро, итти долго. Шли… да край моря дошли. Тут приправный пароход дожидается. Красны флаги подняли; плыли семь дней, завидели остров и подворье каменное и человек под деревом стоит. Горький вышел смотреть, которого царства пароход пришел и которого племени люди…

Бесценное письмо скоро распечатывает, скорее того прочитывает. Сталина руку узнал, сладко принял. Был блеклой, одним часом сделался

румяной.

Садит гонцов за стол, поит, кормит, спрашивает:

— Видел я небо четыре года тучами покрыто, как досками заколочено.

Гонцы говорят:

— То германская война.

— Видел звезду на Севере сияющую, пять лучей испускающую великих.

— То наши Советы посреди держав, как в небе звезды.

Горький говорит:

— А в здешних краях у богатых мыши с хлеба опухли, а народ с голоду мрет… Я вас все ждал. На дороге стоял. Каждый день про вас все думал, устал порато.

Тут заходит на пароход, побежали в Советы. Остров опустел, подворье пало, пальмы повяли.

Царская власть Горького не любила, чести ему не творила. Вождь народов сам на пристань вышел поздороваться. От его голоса на море волны стали и корабль закачало.

…Тут дела идут, как гусли гудут. У большой семьи много и работы. Горький за людьми, как садовник за садом ходил. Молодежь любил: молодые всё с радости делают. О, как он жадал

людьми, которы к свету рвались! Словом и делом пособлял. Не то что нукал да дакал. Не льстил, не потакивал; скажет — как в сердце тебе вся земля наша сердцем весела. У нас всяк над своим делом радуется. Сталин человека на высоку степень подымает. Вся страна чести себе добывает. На Сталина глядите, навыкайте от него… Беда там, где печаль и тщеславие. Беда тем, кто ветры пасет и за тенью бегает…

Прежде горе было малограмотным, на веку-то много вытерпит, а высказаться нéкак. Так землей и западет. Много острых умом беспамятно умерло. Горький таким списывать жизнь велел. Баб книги писать заставлял:

— Баба-мученица, пой теперь да говори, пой да говори! Высказывай сердце свое. Не тужи, что грамотой недовольна: читатели сами добавят.

У Горького была щедрая рука, для всех открыта. Как не было денег — не срамился. Стали деньги — не хранился. Делился любовно, дарил с пространством сердца. Целый день на всех стол да скатерть. Другие жмут кошелек: деньги есть, дак кажду копейку под свой палец подгибают. Горький не едал, не пивал один. Откуда идет — ребята со всех дворов за конфетами.

Горький возрастом был велик, сух телом; брови

нахмурит… Подумаешь, медведь — старик-от… А из глаз как зори утренние! Взор острый, разум быстрый. Другие при старости придут в нечувствие, мыслями утолстеют. Горький до смерти сохранил смысл цел и разум здрав.

Годы проходят, как гуси пролетают. Сколько дел исполнено, вдвое-втрое задумано. Горькому недосуг умирать, но тише вешней воды, ниже шелковой травы приходит смерть, и Горький с белым светом запрощался:

— Прости, Иосиф Виссарионович с твоима товарищами. Прости, рабочий народ с заводами и ремеслами. Простите, крестьяне-чернопахатны с полями и деревнями. Прости, мать сыра-земля и все, на тебя живущие!

Хорошо было с Горьким красоваться, тяжело провожать в необратну дорогу, горько сказывать жалимую причеть:

Любо с Горьким было встречаться,
Горько с Горьким расставаться.
Не стало нашего писателя,
Советской земле доброхота.
Ныне от тебя осиротели.
Кто нам книги урядит!
Рано тебя смерть победила.

Скоропишущую руку подломила.

День пошел в гости к вечеру, Горького положили в стену на спокой.

Две сказки[149]

I. Провиант

Опять было. Красные части стояли на луговом берегу, а город за рекой под белыми. Выгодное у белых оказалось местоположение, возвышенное. Особенно задорились красные на монастырек, что над самым городом на холме красовался. Занять бы такую позицию, вся бы заречная округа красная стала. А у белых хлебом скудно; и монашки монастырские ждали-ждали от благодетелей жертвы, да и жданки съели. А красных ужасти как боялись.

Исправник заявил монастырскому собору — стогодовалым старицам:

— Назначаю в обитель пятьдесят человек охраны из добровольческого батальона.

Девятипудовая мать Канделябра и кривая мать Флегмония завопили:

— Батальона не допустим нашего девичества растлить!!!

---

[149] Notes: 149

Впервые опубликовано в журнале «Октябрь» в феврале 1938 г. и переиздано в сборнике «У песенных рек» (М.: Гослитиздат, 1939). –*Примеч. ред.*

— Ах вы, песочницы! Ах вы, мухи могильные!

— Все равно: мы девицы-отроковицы, хоть и долговременные!

Слово взяла игуменья:

— Ты мне вот что скажи, ваше высокородие: кормить твоих солдат кто будет?

— Как кто? Монастырь.

— Поди-ко постукайся!.. Пущай нас угодники соблюдают.

— Это, конечно, дешевле; но тридцать человек принять вы обязаны. Монастырь пункт стратегический.

Пришлось матушкам на своем скудном иждивении пятнадцать человек (уступил исправник) охраны содержать.

Сущие лодыри, охрана эта, днем еще посидят-позевают у ворот, а ночью все караулы те же черноризницы несли. Конечно, на случай тревоги охрана спала при оружии.

Вот в глухую ночь пристает под монастырь лодка, нагружена мешками. Из лодки вылезла баба большенного роста, замотана платками. Караульщица хотела было ударить набат, но баба начала честь-честью креститься и кланяться на обитель. Караульщица расхрабрилась, подошла поближе.

— Что за мешки? Откуда ты, тетка?

А баба ей шопотком:

— Тише, матушка! Я для обители провиант привезла, бараньи туши, хлеб, сахар головами. Не кричи, а то нахлебники ваши отымут у вас.

— И то отымут дармоеды. Откуда провиант-от?

— От благодетелей, велели раздать по секрету матушкам. Для того ночью и послали.

— Правильно и сделали. Опивают и объедают нас наши охранители.

— Ужо, матушка, после потолкуем. У вас где охрана-та ночует?

— В каменном корпусе. Вверху охрана, внизу старухи.

— Ты мне подальше от охраны покажи местечко. Я туда стаскаю мешки; то уж ваше будет, на свету и разделите.

— Ты мне сейчас надели сахарку фунтиков пять да муки белой. Наши чернохвостницы делить будут — дак и без зубов и без волос останешься.

— Вот и стой карауль, чтобы никто не увидал. Я провиант повыгружу, тогда тебе покажу, который мешок ковырять.

— Что мне стоять, я в келью за кулечками сбегаю. Только ты, баба, тихонько носи. Наши старухи, как собаки, чутко спят, а солдаты все с

ружьями и с левольвертами.

Десять ли, двенадцать ли мешков приезжая баба в монастырь заволокла, под колокольню поставила, привратница с мешками летит.

— Сыпь скорее, на грех проснется кто…

А баба кругом осматривается:

— В этом корпусе охрана-та спит?

— Все жители тут до единого человека.

— Выход из дому один?

— Для обоих этажей выход один. Эво-де дубова дверь.

— Окна за решетками?

— Старинны решетки литые в обоих этажах. Да ты, баба, не стесняйся: чем меня наградишь, то между нами останется. Я секреты хранить умею. Вот мои кулечки. Сюда мучку, сюда сахарок.

Баба на кулечки не глядит, а бревно у крыльца призняла да дубовые двери в дом и подперла: не вылезти теперь никому. Говорит привратнице:

— Развязывай провиант скорее!

Старуха дернула за веревку, а оттуда — красноармеец с усами с черными. Вот дак сахар!.. Заверещала было не по-хорошему, но тут и остальные десять мешков ожили, развязались, десять парней-удальцов выскочили, из лодки пулеметы выгрузили, заняли монастырь. Всеми

командует та баба, которая их сюда волочила. Платки сняла, оказалось — это красный комиссар был переряжен.

Охрана постреляла было из своей западни, да окошки не в ту сторону. Патроны вышли, утром сдались.

Город и весь берег к вечеру советские стали. Кто станет противиться, коли главная позиция оказалась красными занята.

II. Сказка о красноармейце куроптеве

Горным берегом Красная армия завладела, на болотном — белая банда доживала. Красные тут зимовать решили. Куроптев — по суземку квартиру искать пошел, заблудился, набрел на усадьбу богатой вдовы Кулаковой.

— Хозяйка, мне придется у вас отдохнуть.

Кулачиха остервенилась на постояльца, а прогнать не смеет, ее усадьба в красной части привелась. Отрядила ему холодный чулан. Живет Куроптев день и два и слышит, что при ночных часах сходятся в комнатах неведомые люди, а досмотреть нельзя: чуть вечер, хозяйка гонит его в чулан спать. За товарищами в три дня не сходишь, да и дело можно испортить, надо самому

разведать.

Куроптев заметил, что Кулачиха пуще всего на свете верит приметам да колдовству, да чудесам, да всяким старушьим затейкам.

В лес сбродил, на приметном месте нашел старую дупленастую осину. Дома сел на лавку и заплакал. Кулачиха огрызнулась:

— Что еще?

— Ох-ти-хти! Какое чудо в лесу явилось! Дупленастую осину у оврага знаете?

— Ну дак что?

— Там матушка Пятница явилась, гласы испущает и чудеса подает. Сам видел, сам слышал.

— Кому подает-то?

— Всем прибегающим.

На рассвете Куроптев и слышит: хозяйка куда-то засобиралась. Догадался, что осиновому дуплу молиться.

К чулану подошла, Куроптева на замок заперла.

— Солдат, спишь?

— Сплю.

— Поспи еще часок-другой, я ужо отомкну.

Куроптев минутку переждал, потом раму вышатал, вылез на улицу да ельником-березником напрямик и порхнул в овраг, где дупленастая

осина стояла. Только успел в дупле угнездиться, Кулачиха по дорожке пыхтит. Спустила в дупло двадцать копеек, помолилась, приложилась и возгласила:

— Мати дупленастая Пятница! Я степанова дочка, иванова жена, помилуй ты меня!

Куроптев из дупла:

— Ликуй ныне. Как не помиловать!

Кулачиха еще громче:

— Мати дупленастая Пятница! Навязался ко мне злодей из Красной армии. Ослепи его и оглуши!

— Ладно, ладно! Ослеплю и оглушу. Только корми его маслом трижды в день да пусти спать на печку, он с того ослепнет и оглохнет.

Кулачиха, значит, на радостях — домой, и наш хитрец ельником-березником — во свою кладовку.

Полдня еще не было, хозяйка его завтракать зовет.

На столе блины плавают в масле.

— Ах, что вы, хозяйка, мне совестно.

— Садись, садись, лопай знай!

Он поел, глаза трет:

— Что-то в глазах рябит…

— Ешь, ешь. Лей масло-то, лей.

— У меня и в ушах звенит.

— Поливай маслом-то, поливай. Не жалей хозяйского добра… Ложкой-то не туда полез!

— Ась?

— Неужто не слышишь?

— Ась?.. Хозяйка, я не увидел и не услышал, сведи меня на печь.

Руками шарит; что́ она скажет, он не слышит. Еле печь нащупал. К ночи простонал:

— Хозяюшка, принеси мне из чулана мое ружьишко. Я хоть подержу его в последний раз…

Кулачиха с радости на одном каблуке ходит. Сунула ему винтовку:

— Лежи, гадюга, околевай!

— О-хо-хо! Наслужился боле…

Она его ругает, кукишки ему кажет, знает, что не видит и не слышит. А наш притворщик все это терпит.

Ночью стук в окно. Зашли два мужика и сундучок нанесли. Бороды, полушубки сняли, сделались белые офицеры.

Кулачиха суетится, с коньяками, с закусками, а офицеры план на столе развернули, стали толковать.

— Ко красным окопам сколько мин подложено?

— Двенадцать мин.

— Путь Красной армии сколькими минами прегражден?

— Двадцать четыре мины.

— Секретные документы с нами?

— Все здесь.

Потом они стали пить да гулять.

Люди бы думать да гадать, Куроптев — делать. Нацелился из винтовки да — хлоп! Один упал… Зарядил, нацелился — хлоп! Другой лежит.

Куроптев сундучок схватил — да в волость. День и ночь бежал. Начальники планы досмотрели, мины разыскали и уничтожили, много в сундуке важных бумаг нашли. Те офицеры были шпионы. Куроптеву честь и награда, а белым бандам страх. Они видят, что офицеры не вернулись и планы пропали, в один день берег очистили; может, неделю бежали без отдыха.

Сборник старин у архангельского города, у корабельного пристанища[150]

[150] Notes: 150

Публикуется по: *Шергин Б.* У Архангельского города, у корабельного пристанища: Сборник старин. М.: Гос. Изд-во, 1924. Две старины («Зачинается слово от седого океана», «Василий и Снафида») также вошли в сборник «Поморщина-корабельщина» (М.: Советский писатель, 1947). — *Примеч. ред.*

Предисловие

Старое народное искусство вместе со старым бытом и укладом ушло безвозвратно из нашей жизни. На его место пришла цивилизация и разнообразная пестрота мимолетных злободневных развлечений.

Наше поколение еще помнит старое живым. И теперь, теряя его безвозвратно, начинаем мы понимать утрату. Мы не берегли старую красоту, мы даже не знали ее как следует и не умели ее ни оценить, ни полюбить. Сейчас уж почти схоронили ее в музеях и толстых этнографических трудах. А между тем она слишком еще нужна нам. В старом народном искусстве — родина наша. Родина во всем: и в пейзаже, и в домах, и в крестах на могилах, и в старине, и больше всего в искусстве. Человек без родины — сирота. Потому что душа глубоко корнями уходит в родную почву, и если вырвать ее — высохнут корни, будет перекати-поле. Нас же постоянно отрывали от родной почвы, прививали чужие культуры. Надо сохранить хотя бы воспоминание о прошлом богатстве — не в изуродованном и не в заспиртованном виде, а живым и действенным.

Если смолкают колыбельные песни, старухи позабыли сказки, а старики — ста́рины, не можем ли мы перенять их исчезающее уменье?

Не в мертвой этнографической записи, а в художественной книге — с любовью и благоговением запечатлеть полновесный и скупой язык их, глубину и цельность настроений, однообразный ритм простых мелодий, наивные и строгие образы.

Так мы задумали ряд книг из области русского фольклора.

Чтобы каждая книга была и для малого, и для старого.

Народное искусство жило века. Не подходит заключать его в современных мимолетных книгах, которые перелистают и позабудут.

Старые люди писали свои книги подолгу, подбирали, не торопясь, что к чему подходит. Книги переходили из рода в род.

И в тех книгах изображение словесное — текст — и изображение лицевое — иллюстрация — не спорили друг с другом и не кричали врозь, а в полном и строгом согласии воздействовали на душу читателя.

Ныне художник и писатель разобщены от книги литографским камнем и наборным шрифтом.

Но в полной мере от них зависит любовь и внимание к материалу.

В этом отношении автор сделал все, что он мог сделать при данных условиях.

Слова, произносившиеся на веках певучим речитативом, запечатлены в их живом говоре — отсюда фонетическая орфография книги.

Старинные слова звучат для современного читателя необычно, может быть, затрудняют его, — и на помощь ему приходят иллюстрации в духе и стиле изображений лицевых книг. Слова, напев и иллюстрации — все вместе дает настроение и вводит в дух старого искусства.

Все старины эти еще живут в далеком поморье в Архангельской земле.

Тексты их в разных вариантах можно найти во многих записях этнографов и собирателей фольклора. Так, в записях Григорьева — «Архангельские былины и исторические песни» (три тома), в книгах Маркова — «Беломорские былины» и Ончукова «Печорские былины» и др.

Но старины настоящего сборника восприняты автором с детства от старших поколений в живой непосредственности настроений.

Отсюда оригинальность, подлинность и цельность этих текстов, ни в какой мере не тронутых

ученым анализом, нередко мертвящим живую творческую мысль.

А. Покровская
1924

Зачинается слово от седого Океана… от Архангельских песенных рек

Есть у седого Окиана Белое море.

У Белого моря есть Архангельской город,

есть Архангельска Двина.

Летами над городом день и ночь простирает

власы красное солнце.

А в зимную пору неизреченно сияют спóлохи

огненным венцом.

Светил же мне в полуночной стране и третий

свет истинный.

Как поставлено на небеси праведное солнце

таяти и согревати моря и реки, болота и озера,

таково мне было на земли материн-

ское
многоласково слово, благостный взгляд, тихий
песенный голос.
Ныне это солнышко да закатилосе,
ты погасла, моя звезда полуночная!
Ох, и крепко спит да моя матушка
в Архангельской да во сырой земле!

Двина-мати,
Море отец, синя пучина, возьми мою
Тоску и кручину.
И выйду я на море, на синее,
Посмотрю во раздолье широкое:
отец правит судном.
Запой, отец!
Уймись печаль человеческая.
Над морем плывут
облака широки, как лодейные парусы.
Поет отец о морской ли глубине,
о небесной ли высоте.
О песня, архангельская слава!
по синю морю поют плывущи,

и по матерой земле бредут поющи.

По Большой Земле, полуночной тундре́!

летят земные крылья – олени.

Поет самоеди'н – пошел с олешками в Канскую землю

на ле́тованье.

Поет у прялки прядея,

Поет ткач у кросен.

И после матери —

златых словес помяну Пафнутья Осиповича Анкудинова.

Тот по летам ходил морем в Норвегу,

а зимами мастер был неводов и сетей ладить.

От него изучился сказывать старины.

Еще же и красному знаменному пению, ходя по божницам.

И юн был – всего не упамятовал, а теперь

слюбилося и хочется все поведать, да далеко спрашивать.

И третию наведу на память

Наталью Петровну Бугаеву.

Которая почасту гостила у нас в Архангельском

городе, перстами прядущая волну, а устами ведущая

стих об Иосафе, о Пустыне и иные без числа.

И добре́ потрудившись, в песнех сконча-ла жизнь.

О Архангельская страна,

в которой древо жизни моея поется!

… … … … … … … … … … … …

А я был хо́тен до старин и стихов,

и стало мне то дело в приметy.

Сберег былины до Москвы, ино самому мило.

О былина́! детям забава, юным утеха, старым

отдых, работным покой!

И ныне часть собрали в малую книжицу

да предложили напев.

И кто ноту знает, добро бы ему и

о том порадеть, чтобы напиться

песни от живых сказителя уст.
Поючи простирайтесь на тот
архангельской язык.
Пой по старине:
Держи ясак постановной.
Забудь дневную печаль.
Поючи держи в уме студеное северно море,
архангельски текучие дожжи
и светлые туманы.
Тогда станут былинные словеса
Поющим и послуша́ющим не на час,
не на неделю, на век человеческий.

Мать, дочь
И сыновья-разбойники

Что у моря да у синего,
У синего моря у солоного,
У Архандельского города,
У карабельнего пристанишша,
Жила мати-хозяюшка,
Богата вдовица богомольная.
А было у матери деветь сынов,
Деветь сынов да десята дочь,
Свет одина́ка у ей Марьюшка.
А перьвого сына земля взела.
Второго сына вода взела.
Третьего сына в солдаты здала.
Шесь сыновей да во розбой пошли,
Во розбой пошли, стали розбойничеть,
Во синем-то мори да подорожничеть.
А мати выдала дочь да за норвежанина,
За норвежанина за богатого.

Увез ей нарвежин за сине море,
За сине-то море да во свою землю.
Во свою землю да во большу семью.
Она год жила да не печалилась,
Другой жила да в уми' не было.
На третей-то год да родила сына́,
Родила сына да ясна сокола.
А тут молода да стосковаласе.
Она стала норвежина упрашивати,
Упрашивати да уговаривати:
– Подем, нарвежин, в гости к мамушки,
Да в город поедем во Архандельской.
А тут же норвежин-от не ослышалсе,
Он снастит караблик да белопарусной,
Ай бежат оны да по синю морю,
По тому-то широкому роздольицу.
Тут сине-то море на волнах стоит,
Из-за моря да тут карап летит.
Как на том карабли да шесь розбойников.
Напали розбойники на норвежина,

Срубили ему да буйню голову.
Оны малого младеня в море бросили.
Молоду вдову да обесчестили,
Обесчестили да во полон взели.
Норвецко суденышко огнем сожгли.
Розметали его по синю морю,
По тому-то широкому роздольицу.
Тут шесть-то разбойников спать легли.
Поставили шостого в караульшики,
Караулити да молоду вдову.
Тут стал ей разбойничек выспрашивати,
Выспрашивати да ей выведывати:
– Ты скажи, молода, да каковá роду,
Какой ты земли, каково городу?
А тут молода стала сказывати,
А сказывати да приговаривати:
– Што у моря да у синего,
У синего моря у солоного
Жила маменька-хозеюшка,
Богата вдовица богомольняя.

А было у маменьки деветь сынов,
Деветь сынов да десята дочь.
Первого сына земля взела
Второго сына вода взела,
Третьего сына во солдаты сдала.
Шесь сыновей да во розбой пошли,
Во розбой пошли, стали розбойничеть,
По синю морю да подорожничеть,
А выдала меня да за норвежина,
За норвежина за богатого.
Увес миня норвежин во свою землю,
Во свою зимлю да во большу семью.
А я год жила да не печалиласе,
Я другой жила да в уми' не было.
На трете-ет год да родила сына.
Принесла сына да ясна сокола.
Ай тут молода да стосковаласе.
Я стала норвежина упрашивати,
Упрашивати да уговаривати:
Поедем норвежин в гости к мамушки.
Мы в город поедем да во Архангельской.
А тут-то норвежин да не ослышалсе.

Он снастит караблик да белопарусной.
Побежали по морю да по синему,
Ай сине-то море да на волнах стоит,
На стречю ту нам да тут карапь бежит.
Черной-то карапь да шесь розбойников.
Напали разбойники на норвежанина,
Снесли ему да буйню голову.
Малого младенца в море бросили.
Как миня вдову да обесчестили,
Обесчестили да во полон взели,
Норвецко-то суденко огнем сожгли,
Розметали его да по синю морю.
Как тут-то разбойник приужахнулсе,
Приужахнулсе да горько сплакалсе.
Он стал будить своих товарышшей:
– Ставайте-ко братья-розбойники.
Ох, што наделали да што сотво́рили!
Любезному-то зетю голову снесли,
Милого племяша в море бросили,
Родну ту сестру да обесчестили,
Обесчестили да во полон взели!

Мать и сыновья-капитаны

Что у моря, моря да у синего,
А у сине́го моря у солоного
Тут гулят вдова да со матросами.
С капитанами да со уда́лыми.
Нагуляла вдова да себе два сына,
А два сына да ясных сокола.
Пеленала во пелены полотнены,
Во свивальнички да во шелковые.
И пошла вдова да ко синю морю,
Ко синю морю да ко солоному.
Тут нашла вдова да две тесиночки,
Две бортовины да две судовые,
А нашла вдова да два гвоздочика,
гвоздочика да два булатние.
Сколону́ла вдова да детям люлечку,
Детям люлечку, малу качулечку,
И спустила вдова да во сине море:
Да ты баю, баю да море синее
Да море синее, море солоное.

А уж ты пой, корми да море синее,
А и синее море солоное.
И ушла вдова да во темны леса,
Во темны ти леса да во дремучие.
А во лесах скиталась да ровно тридцать лет,
А и тридцать лет да ровно три года.
А тут ей што во снах да повидалосе,
Ей што в могутных показалосе?
Да как из-за моря да из-за синего,
Из-за синего моря, солоного,
А летели тут два ясных сокола.
Их стала вдова да тут выспрашивать:
– Вы куда, куда да ясны соколы?
Тут один сокол да выговарыват,
А друг-от сокол да приповедыват:
– Мы летим, летим да за сине море,
За сине море да в гости к матушки!
А от сна вдова да прохватилосе,
А во дальней путь да снаредилосе.
Ай пошла она да ко синю морю,
Ко синю ту морю да ко солоному.

А как из-за моря да из-за синего,
А из-за синего моря солоного
А тут летят бежат да два черных суднá,
Два церных судна да два та сокола.
Как на тих-то судах да капитанами,
Капитанами да два родных братá.
Тут вдова та во бережку похаживат,
Она белым-то платочком помахиват,
Она тонким голосочиком повáживат:
– Уж вы гой еси да корабельщики!
Вы возьмите меня да на церно судно,
А свезите меня да за сине море.
А уж вы старые, дак я замуж иду,
А молодые вы, дак я и так живу!
Как один-от брат да приужахнулсе,
А друго-от брат да приросплакалсе.
– А уж и это диво ле чуднее есь?
Как родна-та мать да идет за сына,
За рожоного да замуж проситсе!
Как и тут-та мати да прироздумалась,

Природумалась да приустра́шилась:
– Капитаны вы да карабельшыцьки,
А отколь у вас да черны ка́рабли,
Отколе у вас да белы парусы,
А отколь у вас якори булатние,
И отколь канаты карабельные,
А какого вы роду, роду-племени?
А тут один-от брат да приповедыват,
Друго-от брат да приросскызыват:
– Черны карабли да ис тесиночек,
Из бортовинок да из судовыих.
Белы парусы да ис пеленочек,
Из пеленочек да ис полотненых.
Карабельни канаты из свивальничков,
Из свивальничков да из шолковыих.
Крепки якори да из гвоздочиков,
Из гвоздочиков да из булатниих.
А и сине-то море у нас татушка,
А и ты та есь да наша матушка.

Князь, кнегиня и старицы

Ой ты море, море, море синее,
Море синее, море солоное!
Ты нас поишь, кормишь, море синее,
Да одеваш, укрываш, море солоное!
И женилсе князь да во двенадцать лет,
И он взел кнегину девети годов.
И он жил с кнегиной ровно три года.
Ровно три года, ровно три месеца.
На четвертой год да кнезь гулеть пошол.
А он ходил, гулял да ровно три года,
А ровно три года, ровно три месяца.
На четвертый год да он домой пошол.
И на стречу ему идут три старицы,
А три ти старицы да три манашицы,
Чернокнижницы да черноризницы.
– А уж вы старицы да вы манашицы,
Чернокнижницы да черноризницы,
Не видали ли да не слыхали ли

Вы моей жаны, моей кнегинушки,
Моей кнегинушки да Катеринушки?
– А мы видеть ей дак мы ей видели,
А и слыхать про ей дак тожо слышали.
А у твоей жаны да у кнегинушки,
А у кнегинушки да Катеринушки
А полюбовнички да прихохонечки
А добрых команей да призаездили
А ясных соколов да призагóнили.
А и стоят оны да по колен в назьму.
А оны пьют воду, воду болотнюю,
А и едят траву, траву осотову.
А и сбруна вся да приоборвана.
А и коретушки да вси приломаны.
А и во погребицах да во глубокиих
Пива ти пьяные, меды стоялые
А вси то рóспиты да вси то рóзлиты,
А сладки пренички да псам пометаны.
А и во горницах да в светлых светлицах
А цветно платьицо да призаношено.
Ларцы кованы да приворóшены,
Замки вéсучи да прироздерьганы.

Золота казна да природержана.
А иша чем кнегина занимаитсе:
– А и ходит из горницы во горницу,
А и в кажной горницы да в светлой свéтлици
У ей по люлечки да по качулечки.
А в кажной люлечки да во качулечки
По младенчику, да все по малому,
Ай все по малому, по годовалому.
А и ходит кнегинушка прилюлькиват,
А и прилюльковат да прибаюкиват,
Прибаюкиват да прикокуйкиват.
Ай ты лети-ко, кнезь, да к своему двору,
К своему двору да ко высокому.
А ссеки с кнегины буйню голову.
А ничего у бледи не выспрашивай,
А не порáто с курвой розговаривай!
А и бьет та кнезь да он добра коня,
А и гонит коня да во всю голову,
А к своему двору да ко высокому.
А он кидат коня да середи двора,

Ко столбу коня да не привязыват.
Ай забегал жа кнезь да на красно крыльцо.
А он стукнет, брякнет во большо кольцо,
Во большо-то кольцо да во серебрено.
А и отворит двери тут кнегинушка,
Тут кнегинушка да Катеринушка.
А и нанес тут кнезь да саблю вострую,
Он ничего кнегины не выспрашиват,
Он ничего жаланной не выведыват,
А разит он ей да буйню голову.
Тут не бела березка подломиласе,
Не кудрява зелена поклониласе,
Ничего кнегинушка не молвила,
Ай не молвила и не охнула.
Только о пол головушка состукала.
А тут походит кнезь да во конюшенка,
А добры комони да тут по стоильцам,
Оны по стоильцам по белодубовым.
Они едят пшаницу белоярову,
А оны пьют воду, воду ключевую.

А сбруна́ висит да приначишшена.
Тут кареточки да в красном золоти,
Во погре́бицах да во глубокиих
Пива ти пьяные, меды стоялые
Оны сосцитаны, оны росписаны.
А тут не́ пито да не шевелено.
А тут походит кнезь да на высок тере́м,
Ай зашол нынь кнезь да в большу горницу,
А в большу горницу да в светлу светлицу.
А и цветно платьицо да тут по стеночкам,
Оно не ношено да не оде́вано.
А ларцы кованы да не воро́шены,
Замки ве́сучи да не задеваны,
Золота казна да не издержана,
Тут нету люлечки, да нет качулечки.
Нет младенчика, да нету малого,
Нету малого да годовалого.
Только тут стоит да долга пря'лица,
Со куделюшкой да с веретенышком,

Со кнегининой да со работушкой.
А много прядено да боле плакано,
А и кнезя домой было дожи'дано.
А его три года ровно три месеца.
А и зайдет та кнезь да в другу горницу,
В другу горницу да в светлу светлицу.
Ай цветно платьицо да тут по стеночкам,
Ларцы кованы да тут не тронуты.
Замки весучи да не шевéлены,
Золота казна да не задевана.
Тут нету люлечки да нет качулечки,
Нет младенчика да нету малого,
Нету малого, свет годовалого.
Только тут стоят да кросна главные.
А и много ткано, боле плакано,
А и кнезя домой было дожи'дано
Его три года ровно три месеца.
А дошол да кнезь да в третью горницу.
В третьей горницы да во последные,
Тут стоят кресты да чудны образы,
Тут горят свеши да воскояровы,

Тут кадят темьяном росным ладоном,
Тут лежит книга́, книга́ Евангельска,
А и тут у кнегины много молено,
Много молено да боле плакано,
А и тут кнезя домой было дожи'дано
А его три-то года да три месеца.
А и бежит тут кнезь да на широкой двор.
А и падат кнезь да на добра коня,
Он и гонит коня да сломя голову.
А и настречу ему да ети старицы,
А старицы да все манашины,
Черноризницы да чернокнижницы.
– А уж вы старицы да вы манашины,
А черноризницы да чернокнижницы,
Ай вы почто кнегину оговóрили
А вы мою жану, мою кнегинушку
А вы мою жаланну да Катеринушку?
А и бьет коня да по крутой бедры.
А он и перву старицу конем стоптал,
А и втору старицу копьем сколол,

Он и третьей старицы голову срубил.
А он и ставил копье да долгомерное
А он одным концом да во сыру землю,
А он вострым ножом да к ретиву сердцу.
А и пал с коня да на востро́ копье,
Буйня головушка да покатиласе,
Она жолтым песочком задавиласе.
Как и тут-то кнезю старину поют.
Старину споют ему, конец скажу́т.

Василий и Снафида

Поется на тот же голос, что и старина
о князе, княгине и старицах.

Старина скажу да старопрежнею
И былина́ спою да быль досельнею.
И от моря было да от синего,
И от того роздольица широкого
Да все стоит пустыня богомольная.
И во той пустыни во прекрасные
Да тут и жило сорок царских дочерей,
А их ведь сорок девок вси Давыдьевны,
Вси Давыдьевны да вси родны сестры.
А у их та Снафида молодехонька,
Да зеленым Снафида зеленехонька.
В она вси нача́ла ладно справила,
Она часы, каноны в ряд управила,
Завела себе да друга милого
И молодого Васеньку Чурильевича.
А и станет Васенька на правом крыле,

А и Снафида свет она на левом же.

А и нать бы смотрети все на Спасов лик,

А Василий свет на Снафиду гледит.

А и нать бы молити на пречистой лик,

А Снафида свет на Василья гледит,

А и нать бы петь: «Осподи, помилуй нас».

А Давыдьевна спела: «Васенька, сердешной друг,

Коли тебя не вижу, так и быть не могу,

Ише кипит у моя да ретово сердце».

А тут ей брал Василий за праву руку,

Он водил Снафиду круг золотой вербы,

Да они круг зеленой повенчалисе,

Да во прекрасные пустыни солюблялисе.

Тут узнат Чурилья да игуменья,

Она та жа маменька Васильева,

А сревит Чурилья зычним голосом:

– А уж вы гой Снафидины сестренницы.

А вы подите-ко да во темны леса,

А во темны леса да во дремучие!
Наживи'те у змеи да ересна́ зелья,
А ересно́го зельица багу́льнего!
А недолго сестренницы сряжалися,
А походили они да во темны леса,
И во темны леса да во дремучие,
Наживали у змеи'шша ересна́ зелья'.
И во та поры Чурилья-свет игуменья
А пива, меды она россы'тила,
да ересного зелья насоло́дила.
И она шла ко Снафиды, низко кланялась:
– А ступай-ко, Снафидушка Давыдьевна,
А ко подносу поди да всё ко медному,
А ко стокану поди да ко хрустальнему.
Да выпей, выкушай да пива пьяного,
А пива пьяного, меду стоялого.
Ише тут Снафида не ослышалась,
А она крес кладет да все стокан берет,
А выпиват стокан да за единой дух.
А у ей ясны очи помутилисе,
А у ей белы ручки опустилисе,

У ей резвы ножки подкосилисе,
А и пала Снафида на тесовой пол.
А и во та поры Чурилья да игуменья
И она шла к Василью, низко кланялась:
– А доступай-ко, Васильюшко Чурилье-вич,
А до подноса поди да все до медного,
А до стокана поди да до хрустальнего.
А выпей, выкушай да пива пьяного,
А пива пьяного, меду стоялого.
А и тут Василий не ослышалсе.
А и крест кладет да он стокан берет,
А выпиват стокан да за единой дух,
Ино охте мне да ростошнехонько!
У его ясны очи помутилисе,
У его белы ручки опустилисе,
А и резвы ножки да подкосилисе.
А и падет Василий на тесовой пол.
… … … … … … … … … … … …
А понесут Василья на крутых плечах,
А молоду Снафиду на белых руках,
Схоронили их да у синя моря,

А у синя моря да у широкого.
Положили их да на высок угор,
А на высок угор да на окатистой.
Росцвела на Василье золота верба,
На Снафиде яблоня кудрявая.
У их кореньё с кореньем соростаитсе,
У их ветьё с ветьём соплетаитсе,
У их листок со листком да солипаитсе.

А и были люди – миновалисе,
А их звали, величали – забывалосе.
Про Василья, про Снафиду старину поют,
Как бы синему морю на утишенье.
А тихославной Двины да слава до моря,
А студеному морю слава до́ веку.

Мати князя Михаила
его княгиню погубила

А походит князь Михайло
Во сине то море да во роздолье.
А покидает князь княгину,
Свою желанну Катерину.
Ише наказыват Михайло
Да своей матери родимой:
– А уж ты маменька родная,
Ты береги мою княгину,
Мою жаланну да Катерину.
Да ты корми мою княгину
Да ты медами да сахарами.
А уж ты пой мою княгину
Да ей чаями да кофеями.
Да води мою княгину
Да ей во парную баню.
У нас водичка та ключева,
Да мягки веники шолковы.
А и уехал князь Михайло

А во сине море широко.
Его маменька родима
Да жарко банюшку топила.
Да говорит она кнегины,
Своей невески Катерины:
– А дорога моя невеска,
Да у нас венички шолковы,
А водичка та ключева!
Да завела она кнегину
А на тесовой на полочик.
А ей белы ти руки завезала,
А и ясны ти очи призакрыла
Да тонким белым полотенцом.
Она горюч камень калила
Да на утробу навалила
А дорогой своей невестки
Она желанной да Катерины,
У ей младеня да выжигала,
Да из утробы вынимала.
Да она плотничков скрычала:
– Да уж вы дядюшки хороши,
Да уж вы плотнички удáлы.

Да мне ка сделайте колоду,
Да мне ка нову ту соснову!
Да ети плотнички удалы
Да ей колоду мастерили,
Да ей сосновую долбили.
А тут и маменька родима
Она положила кнегину
Свою невеску да Катерину
Да ей со малым то младенем
А во соснову ту колоду.
Да трои обручи набила,
А во сине море спустила.
И во сине море глубоко.
Ай во ту пору да во то время
А кнез Михайло да воротилсе
Да из-за синего то моря,
Да от широкого роздолья.
А его кнегина да не стречает.
– А ой ты маменька родима,
А и где моя кнегина,
Моя желанна да Катерина?
– А твоя кнегина Катерина

Она спесива, горделива.
Она ушла да не спросилась.
Она пришла да не сказалась.
А ушла твоя кнегина
Да в божью церьков ко обедни,
Да к честной равной воскресенской!
Да тут походит кнезь Михайло
Да к божьей церьквы да ко обедни,
Да к честной равной да воскресенской.
– Да этта нет моей кнегины,
Моей жаланной да Катерины!
Да уж ты маменька родима,
Да и где моя кнегина
Моя жалання да Катерина?
– Твоя кнегина да Катерина
Она спесива и горделива,
А ушла да не спросилась,
Она пришла да не сказалась,
А ушла твоя кнегина,
Она во и'гришшо весе́ло,
Она во гу́льбишшо широ́ко!
А и походит кнезь Михайло

Да он во гу́льбишшо широко,
Да он во и'грошшо весело.
Он не нашел своей кнегины,
Своей желанной да Катерины.
Да ефти дядюшки хороши,
Да оны плотнички удалы,
А они кнезя да зажалели:
– А ты послушай-ко, Михайло,
Да померла твоя кнегина,
Твоя жаланна да Катерина.
Твоя та маменька родима
Она жарко банечку топила
Да завела она кнегину
Да на тесов-от на полочик.
Ей белы ручки да замотала,
А ясны очи да завезала
Да тонким белым полотенцем.
Да горюч камень накалила,
Да на утроба навалила
А дорогой своей невески,
Она кнегины да Катерины.
А ей младеня выжигала,

Да твоего-то да все сыночка
Да из утробы вынимала.
А она поло́жила кнегину
Ише со малым со младенем
Да все во нову ту колоду,
Да во долблену ту соснову.
Да во сине море спустила
Да во солоное глубоко.
А во ту пору да во то время
А тут воротитце да кнезь Михайло
А он на своет на караблик.
А он походит в сине море
А во широко да промышляти,
А неводами да неводити.
А он и закинул да шелков невод
Да ничего не упромыслил.
Да он другой нако́н закинул
Да упромыслил он песочик,
Да со дня моря да камешочик.
Да во третей-то он закинул,
Да упромыслил он колоду,
Да белодубову хорошу.

А во колоды-то кнегина,
Его жаланна Катерина.
Она со малым со младенем.
Как и тут-то кнезь Михайло
Он ко колоды то припадает,
Свою кнегину да обнимает.
Как и тут-то кнезь Михайло
С белым светом да роспростилсе.
А унесла его колода
Во сине море глубоко.

А его мати та родима
Вдоль по бережку бежала,
Тонким голоском кричала:
– Три я душеньки сгубила:
Перву душеньку безвинну,
Другу душу безответну,
Третью душу непорочну.

Князь роман и княгиня Марья Юрьевна

Снарядилсе князь Роман да за синё море,

А за сине море похóдит да битьсе рáтитьсе.

А посадил он кнегиной да молоду жену.

А тут восплачитсе кнегина да Марья Юрьевна:

– А ты не езди-ко, Роман, да за синё море,

А за сине море широкое раздольице,

Уж и мне-ка ноне мало спалось,

Да мне-ка иного да во снах виделось.

А и будто у меня да со правой руки

А сокатилосе кольцо да обручальное.

А не послушалсе Роман да молодой жены.

А он снастит корабли да белопарусны,

А отъезжает кнезь Роман да за синё море,

За сине море, широкое раздольице.

А тут и год то пройдет да будто день минёт.

А по утру было да все по раннему,

А тут ставает кнегина да Марья Юрьевна,

А ключевой-то водою да умываласе,

А тонким белым полотном да утираласе,

А ишше кланялась Спасу да Богородице,

А и садилась у окна да у косятого

А глядеть-то она да на сине море,

На сине море, широкое раздольице.

А из-за моря-то моря да моря синего

А из-за синего моря да все широкого,

А выплывали сокола да черны корабли.

А хорошо то корабли да приукрашены,

А они красным-то золотом изунизаны,

А они чистым серебром да приокованы,

А они скатным жемчугом да изусажены.

А становились корабли да в тихой гавани,

Они метали якоря да все у города,

А оны флаки подымали да все шелковые,

А мосточки ти мостили да все дубовые,

А настилали камочки да одинцовые,

А и тема́ же мосточками дубовыма,

А хрущатыма камками да одинцовыма

А проходил тут Бориско да сын Заморенин,

А он и шел во палаты да во кнегинины,

А не умеет Бориско да речи русские,

А не толкует кнегиня да речь немецкую,

А говорит же Бориско да переводшиком:

Ише есь у двора да у Романова

Молодой-то Михайло да переводшиком.

Переводит Бориска да все на русску речь:

– А уж ты здраствуешь кнегина да Марья Юрьевна,

А с молодым-то Романом да со Васильевичем.

А отвечает кнегина да Марья Юрьевна:

– Уж ты здравствуй-ко купец да доброй молодец,

А счесливо бежал да по синю морю.

А у нас кнезя-то Романа да нету в городе,

А за сыне море уехал да он поля'ковать.

Говорил же Бориско да сын Заморенин:

– Уж ты ой еси кнегина да Марья Юрьевна,

А мы пришли из-за моря да из-за синего,

А привезли мы товары да разноличные,

А разноличные товары да все заморские.

А и тонки ти шолки да хрущаты камки,

А и штофы ти у нас да все орленые,

А и сукна ти у нас да одинцовые,

дорогие те товары да каки' надобно.

А не умеет ведь Бориско да речи русские,

А не толкует кнегина да речь немецкую.

А говорит ведь Бориско он переводшиком.

А и тут же кнегина да Марья Юрьевна,

А отпирала ларцы да медны кованы,

А она меряла меру да золотой казны,

А серебряной казны да брала без счету.

А тут сплакались слуги, да слуги верные:

– А уж ты душечка-кнегина, да Марья Юрьевна,

А не ходи-ко ты кнегина да на черной корабль,

А на черной-то корабль да в тихой гавани,

Как товар-от тебе да тут прилюбитсе,

А и ум-от от тебя да тут отступитсе.

А говорит им кнегина да Марья Юрьевна:

– А не ревите-ко вы слуги, да слуги верные,

А мне-ка нечего с Бориском да розговаривать,

А не умеет Бориско да речи русские,

А не толкую я, кнегина, да речь немецкую,

А я скоро откуплю товары заморские.

А и скоре того кнегина да я домой приду.

А походит кнегина да на черной корабль,

Только взела с собой Михайла да переводшика.

А и ведет ей Бориско да сын Заморенин,

А ей по сукнам-то ведет да одинцовыим,

А по мосточкам-то ведет да по дубовыим,

А он заводит ей на палубы тесовые,

А он во те ли во каюточки судовые.

А и тут же Бориско да сын Заморенин,

А он подносит кнегины да меду пьяного,

А он вторую ту чару да зелена вина,

Тут и ум-от от кнегины да отступаитсе,

А и Заморенин кнегины да прилюбаитсе.

А он не знает Бориско да речи русские,

А не толкует кнегина да речь немецкую.

А он целует кнегину да в сахарны уста.

Ай во ту пору было да во то времечко,

А матросы у Бориска да наученые,

Они сымáли мосты да все дубовые,

А скатали камочки да одинцовые,

А отворяли они парусы полотнены,

Подымали они якори булатние,

Выходили они да все из гавани,

Ай бежали они да во синё море,

А во синё море – широкое раздольице.

А во синем-то мори да во раздольице

А ише стало корабличек покачивать,

С кормы на нос чермленой да поворачивать,

А и тут-то кнегина да сдивоваласе:

– А не бывало на веку да в тихой гавани

Да ише эка та погода да розгуляласе.

Говорит ей Бориско да сын Заморенин:

– А ты не бойсе-ко, кнегина да Марья Юрьевна,

А верно на мори волна да росходилася,

Нанесло зводенёк да до тихой гавани.

Ише не знает Бориско да речи русские,

А не толкует кнегина да речь немецкую.

А перепалось у кнегины да ретиво сердце,

А бежит она по лесенки на палубу…

У кнегины резвы ножки да подкосилисе:

А и сине-то море да на волнах стоит,

По синю ту морю да тут карапь бежит,

А тут карапь-то бежит да как стрела летит,

Как стрела та летит, да кверху злетыват.

А и тут же кнегина да горько сплакалась:

– А и трои проклят да сын Заморенин,

Я сронила с головы да золотой венец!

А и день-то пройдет да все другой минёт,

А и третьи ти сутки да миновалисе,

А тут Больша та земля да показаласе.

Ише стали корабли да в тихой гавани,

А и метали якоря да все у города.

Опускали оны парусы шолковые,

А мостили мосты да все дубовые,

Настилали камочки да одинцóвые

А ише вышиты камочки да в красном золоти,

Прирозýбраны камочки да в чистом сéребри.

Приусыпаны камочки да в скатном бисери.

А и тут же Бориско да сын Заморенин

А и берет он кнегину да за белы руки,

Он за перьсни те берет да золоченые,

А и ведет он кнегину да на красно крыльцо,

А во свои ти палаты да белокаменны:

А он поставил Бориско да сын Заморе-

нин,

А он поставил дружину вокруг двора

И молодую ту кнегину да караулити.

А у ворот-то поставил да приворотничков,

А во сенях-то поставил да караульщичков

Да молоду ту кнегину да караулити.

А и во тех-то во палатах да белокаменных

А розоставили столы да вси дубовые,

А розослали белые браны скатерти,

А наполóжили есвица сахарние

А наносили вина да пива пьяного.

А пива пьяного, меду да все стоялого.

Ай говорил как тут Бориско да сын Заморенин:

– А ты послушай-ко, кнегина да Марья Юрьевна,

Да я возьму тебя, кнегина, да за себя замуж.

– Трои проклят Бориско да сын Заморенин.

А я сронила с головы да золотой венец.

А и тут же Бориско да сын Заморенин

А он позорил кнегину да Марью Юрьевну.

А он дерет со кнегины да платье цветное,

А говорит он кнегины да Марьи Юрьевны:

– А ты потешь-ко, кнегина, да добрых молодцов,

А ты спляши нага да по уда́лому.

А и тут же кнегина да не ослышалась,

А и сколько кнегина да тут выплясыват,

А она боле слезами да уливается:

– А ты прости меня, Спас да многомилостив,

А я сронила с головы да золотой венец!

А во двори'-то дружина да упивалась,

А напивались у ворот да приворотнички,

А и напивались во сенях да караульшички.

А приупился Бориско да сын Заморенин.

А ише стали они да опочи'в держать.

А ише тут то кнегина да догадаласе:

– Благослови-тко мене Спас да со Пречистою,

А ты выведи меня да на светую Русь!

А и бежит нынь кнегина да поскорешеньку,

А поскорешеньку бежит да потихошеньку.

Из полат выбегат да все на улицу.

А ише спят во палатах да трои суточки,

Как со сна-то дружина да прохватиласе,

Прохватилася дружина да перепáласе:

– А у нас где-ка кнегина да Марья Юрьевна?

Побежала дружина да ко синю морю,

Ко синю морю, широкому раздольицу.

Как широко-то море да на волнах стоит,

Во синем мори погода да поднималасе,

Говорила дружина да все Борисова:

– Уж мы скажем Борису да все Заморину:

Убежала кнегина да ко синю морю,

Во синем мори кнегина да утопиласе.

А и бежала кнегина да она три-то дни,

А она три-то ведь дни да она три ночи.

А забежала кнегина да во темны леса,

Во темны ти леса да во дремучие,

А во те ли во болота да во зыбучие.

Да во лесах-то она три года скиталасе,

Да она горьким-то кореньицем питаласе,

Она долгима-то косами закрывалась.

А тут повытают снежочки да у чиста поля,

А выбредала кнегина да ко синю морю,

Ко синю морю да на жолты' пески.

А и тут-то кнегина да горько сплакалась:

– А уж ты море ли море, да море синее,

А ты возьми-ко мое да тело белое,

А упокой ты мою да душу грешную!

А и заходила кнегина да в море по́ пояс.

А как из-за моря, моря да моря синего,

Из того же да роздольица широкого

Ай выбегает суденышко малешенько.

На суденки-то удалый добрый молодец,

Ише кнегинин переводшык да свет Михайло.

Ай говорит он кнегины да таковы слова:

– А уж ты гой еси кнегина да Марья Юрьевна,

А выбредай ко мне кнегина да на черно судно,

Я свезу тебя кнегина да на светую Русь.

А тут высказыват кнегина да Марья Юрьевна:

– А уж ты хто таков, удалой доброй молодец?

Не слыхала я этта да речи русские,

А я русские той речи да ровно три года.

Отвечает Михайло да доброй молодец:

– А уж ты миленька кнегина да Марья Юрьевна

Не узнала своего да слуги верного;

Как и есь я Михайло да переводшичек.

А походила ты к Бориску да на черной карапь.

А ты не знала с има́ да розговаривать.

А ты взела меня с собой да во помощ-ники.

Тут слезами кнегина да умываласе,

А Михайла-то кнегина да устыжаласе.

Забродила кнегина да в море по́ шею.

– Уж ой еси молодой да доброй моло-дец,

А ты брось мне-ка с судна да хоть пор-тенышко,

Я закрою свое да тело на́гое!

А и тут же Михайло да не ослышалсе,

А скидовает свое да платье верхнее,

А подает он кнегины да Марьи Юрьев-ны.

Заходила она да на суденышко,

Ише скоро кнегина да одеваитсе:

– А спасибо тебе, да свет Михайлушко,

Надо мной ты, Михайло, да не кура-

жиссе.

Ай побежали они да по синю морю,

По тому-то широкому раздольицу.

А тут пришли они с Михайлом да на светую Русь,

На светую Русь да в стольнем городи.

Тут пива ти варят да все вино курят.

А доходила кнегина да Марья Юрьевна

А до своих-то полат до белокаменных,

А она спрашивать стала да своих верных слуг,

Нынь пошто вино курят да все пива варят?

А не признали кнегину да слуги —

По-мужски то кнегина да нынь обряжена,

А говорят-то кнегине да таковы слова:

– А воротилсе кнезь Роман да из Большой земли,

А он искал своей кнегины да Марьи Юрьевны.

Увезли его кнегину да во Большу землю.

А искал он кнегину да ровно три года,

А он Большу ту землю да все на дым спустил.

А перебил он и старого и малого,

Да за свою ту желанну да Марью Юрьевну.

А теперь у нас кнезь да природумалсе,

А он сосватал за себя да нынь боярску дочь.

А о вчерашной день Романушко сосваталсе,

А сегодня у Романа да обрученьице,

А и завтре у Васильевича венчальной день.

Ай говорила тут кнегина да Марья Юрьевна

Своему-то Михайлы да другу верному:

– А ты бежи-ко, Михайло, да во Торговой ряд,

А ты купи-ко, Михайло, да гусли звончаты.

А подем мы к Роману да на широкой двор,

А мы скажемся у кнеза да скоморохами.

А и тут же Михайлушко не ослышалсе.
А походит Михайло да во торговой ряд,
А купил он ей гусли да гусли звончеты.
А пришли ко кнезю да на широкой двор,
Ише в те ли во полаты да белокаменны.
Оны сказалисе у кнезя да скоморохами,
Запогудывали в гусли да в гусли звончаты.
А и тот же Роман да свет Васильевич
Не узнал своей кнегины да Марьи Юрьевны.
По-муски' то кнегина да все обряжена.
А он дает ей браты'ню да зелена вина,
Зелена-то вина да из своих ведь рук.
А выпивала кнегина да за единой дух,
А со правой руки сымала да золото кольцо,
Золотое-то кольцо да обручальное,
Она которым со Романом да обручаласе,
А положила во братыню да во серебрену,

Воротила Роману Васильевичу.

А и тут же Роман да свет Васильевич

А он хватат у ей перстень да золото кольцо,

Прижимает кольцо да к ретиву серцу,

А обливает слезами да все горючима:

– А уж ты ой есь молодой да скоморошина,

Говори-ко ты мне да правду истину,

А у мня где-ка кнегина да Марья Юрьевна?

А искал я кнегину да ровно три года.

Я Большу ту землю да все на дым спустил,

Перебил я и старого и малого…

А и тут же кнегина да Марья Юрьевна

Она падат Роману да во резвы ноги,

А умывает слезами да все горючима.

Зрадова́лся у нас кнезь Роман Васильевич.

А он хватает кнегину да за белы руки,

Прижимает кнегину да к ретиву сердцу,

Он целует кнегину да в сахарны уста,

А он ей садит на место да на кнегинино:

– А мне не надобна невеста да все обручная,

Да только надобна кнегина да Марья Юрьевна,

Ай того же молодого да он Михайлушка

А поставил себе да в друга милого,

А в друга милого во брата да во названого.

Из первых публикаций

Архангельской город[151]
С полудня из Русской земли

много дорог пришло в полунощный Архангельской город.

Там плотным дорогам, делу рук человеческих, у Архангельского города конец приходит. А полагается начало нерукотворенным морским путям.

Вратами назову тебя, желанный Архангельский граде, и дверью в недоведомые полунощные концы.

К тебе сходятся и у тебя снаряжаются многоумные мужи испытывать немерную глубину Студеного Океана.

От твоих пристаней отходят познавать мрачные пределы Последнего моря.

Увы, увы, люто, люто живым

в густоте серединных городов, в частоте деревенского множества.

Почто испугались, почто отпрянули на таковые

---

[151] Notes: 151

Впервые опубликовано в журнале «Москва» в марте 1994 г. *–Примеч. ред.*

тысячи и версты от воли морские.

Стану посереди многошумного града Москвы.

Полетаю думою на восток и на запад, на юг и на полночь. И мысли моей поперек города станут.

И в которую сторону ни сдумаю, везде города кипят людьми, как трупы червями.

И дорогами натоптано и наезжено, как сетью кинуто.

И ходу мне у вас нету, и вздохнуть некак.

Корабельная пристань Российской державы Архангельской город

О реку, о Двину пойдет Архангельской город с летнего полдня на полночь.

А поставился на мыс, где высокой Пур-наволок лицом на летний запад, на Двину.

Широка и державна бережистая та река возвеличила город, как венцом.

Толь глубиною немерна река та, оли с Океана моря великие суда ходят о самой берег без кручины.

А от полунощного океана на летний полдень развеличилось Белое море

В Белое море пала Архангельская Двина.

Тихославная та река плывет с полудня к северу много выше тысячи верст. А звеселив Архангельской город, выйдет в море Корабельным устьем, Пудожемским, Никольским. Зовется Низовская Земля. Тут островами много. Острова те и наволок Архангельской отгородили от моря. Тут и мхи лежат, и леса стоят.

Который берег возвыше, там люди наставились хоромами. А кругом вода обошла. Куда сдумал, а везде карбас да лодка надо. Пешком ходить некак.

Ныне солнце, красуяся, на высоту восходит
И, радуяся, землю согревает

В летнюю пору, как солнце на небеси светит в ночи и во дни, и у моря дни станут светлы и красны. На островах будет светло и любо.

Расцветут прекрасные и разноличные цветы

и возвевает тонкий, и прохладный, и тихий ветерок. И как бы дым тонок и светел носится над цветами.

Я любил быть на пожни те. Стоял же молча на многие часы, всласть имея ветра оного добровонное дыхание.

Летят от цветка ко цветку медуницы и мотыли. И сколько будет на островах птиц серебряных и золотых, каждая наводит свои голоса.

У воды на белых лудах чайки ребят петь учат, а зводеньком на песок выполаскивает раковицы-розиньки. Над рекой вьется шиповник, а где мох, там трава багон ароматная и ягодами синими и красными обильно. Тут и комара в две руки не отмашешься, да забудется лихое, как родная вспомянется сторона.

Обильна страна та

На приглубистых рыбных местах утки плавают и гогары кричат. Скот идет к воде от деревень. Мычат, как серебряные трубы трубят. И над водами, и над островами небо. И в небе златозарное солнце.

Съезжие праздники годовые

В Архангельском уезде всякая волость держит свои кануны и богомолья, как установлено в досельные времена.

В Архангельском городе богомолье правят во второе воскресенье о Великом говеньи, как зима станет кротеть.

Пиво варим и столы ставим на всех мещан, на всех крестьян, на всех господ пригородных слобожан.

А в Соломбале николят, и славят, и варварят. Те же канунные пива варят и народ на госьбы копят.

По весне в Первой Деревне отменитое гулянье. Горой и водой гости едут.

По шестой неделе по Великом дни всемирно собрание за рекою в Вознесенской волости.

В первые роды тут Двина шла устьем, а потом переменилась на другую постель. Память оставила — озерка невелики. Как зеркальцами обложились вознесенские-те деревни.

Тут у Вознесенья обычай

Вместо креста над мертвым срубят столб в человека. А на челе или на поясе нарежут знак родовой фамильный, которого рода мертвый лежит.

Тамги те, знаки и клейма праотеческие в Архангельской стране блюдут и знают по деревням, и селам, и посадам. Знак-от свой наводят, нарубают и нажигают на жердях, на утвари и скот клеймят, кто где волен, чтобы ведомо было, кто володеет.

Да по Петрове дни

великое гулянье живет в Заостровье.

Пресловутое то Общее Богомолье. Потому зовут общее, что праздник тот заедин подымает вся широкая округа.

А дождемся Ильина дни громовника и поедем всем городом, оприче грудных младенцев да стогодовалых стариков, на Кегостров. В каждом доме с полудня говоря и беседа, с вечера песня.

Дальше гости накануне с вечерней водой прибежат. Скопятся окольние волости, и своя родня,

и сторонние люди.

Любой заходи — всем стол да скатерть. Садись под святые да почивай ендову. А после стола поют. Хлеб уберут и запоют песни.

– Чаша моря Соловецкого – да
– Кушайте, гости боера, – да
Виноградье величальные.

Время наряду и час красоте

В те дни, как отпоют святую литоргию и отведут полуденной опочив, в те дни девицы и молодицы облокаются в большой наряд.

Рострубисты орленые штофники, пуговки литые, петелки витые, и полушубки кованой парчи, жемчужные повязки и сборники, на шею ожерелки, и перлы, и цепи. Рукава батисту белого, и перстни однозолотны и серебрены, и всякое прищеголье.

А изнарядясь во весь образ и чин и уставясь и устроясь, выступят степенями и будут ходить городками и утушкой и поведут хороводы.

И, погуляв, да зайдут закусить да переменятся в иной убор. И так не по один раз.

А в тонкости, каков держат чин и в игрищах и

караводах, мне того не показать. Не рассказать древних игрищных уставов.

Толко идет каравод посолонь, прообразуя небесное движение и круг, Солнце, луну и звезды.

А кругом идут или рядом, поклонятся или поворотятся, то всё чинят тихостно и степенно, любо и красовито. А не кричат и не скачут. Никотора громко не схохочет, не сосмеется, рот не отворит. Того нельзя.

Мурманский промысел тресковый

На том промысле живет лов трески, пикши, зубатки, палтосины.

А более всего промышляют треску…

(Далее часть текста утрачена.)

Проводины бывают промышленникам великие. С вином, с песнями. Проводинные обеды собирают званые.

Когда на Мурман ходили пешом сквозь дикие лопские дебри, в те времена жены поморские заводили многоденные плачи, пели многорыдательные песни на последнее прощание. Ажно от тех рыдательных плачей содрогалася сыра земля.

И теперь живут плачи песенные на проводинах,

как множество народное поведет отъезжающих на суда.

Кто слыхал и видал, как провожают жены поморские мужей и сыновей на Новую Землю и в иные страны, задвённые, тот не забудет до гробовой доски. Единообразен рыдательный тот напев, хватает за душу. И думаешь — тоске конца не будет. Но по нескольких стихах зов бывает с кличем и рыданием. Тут слезы ручьем и сердцу свободней.

И не дешевы слезы те и не даром льются. Многое множество судов каждый год горький и конечный изъян терпят.

Море — измена лютая. Мачты обломит, снасти оберет, дно пробьет. В море идешь — либо добыть, либо домой не быть.

К 1910 году за пять лет выстроено на Севере более ста тридцати судов. И за то же время потерпел наш поморский флот более четырехсот случаев гибельных. В 1911 году прибавлено было новопостроенных тридцать пять кораблей. И в том же году тридцать семь судов вконец разбито и сорок семь судов получило аварии.

В 1912 году новопостроено тридцать три судна, а конечна гибель взяла сорок судов.

Ино не напрасны тревоги, не бесцельно слезят

свои ясные очи матери и жены архангельские.

Как зима придет

После Филиппова заговенья дни станут кратки и мрачны. Кто поздно встает, и дня не видит.

А что ближе к Святкам, и ударят морозы. Тогда будет время резво и весело, и прозрачно.

Середка дня займется на небеси огненная заря, а стоит только час и два. Деревья и хоромы против небесной лазори белы, как в сахаре заиндевели и закуржевели. Дух захватывает морозом-то. Дрова только тюкнешь, дак береги ноги.

А солнце не видать. Только видим до времени зарную славу его.

А как преклонится день на вечер, выйдет на небо Большая Медведица и потекут над землею звездные силы.

То положено начало ночи.

О звезды, небесам красота

Да те же звезды святят не без пользы. Одни сияют на знаменье плавающим. По звездам корабли ходят.

А другие звезды на провод птицам бывают. Перелетать беспутные и широкие места.

А иные звезды светят на покой зверям и на стражбу рыбам.

А не своею волей ходят звезды, и не чувственны они и не животны. И не видят и не смотрят ни на что. Но огонь невещественный, который ничего не ведает и не знает.

Слушайте дело дивно и несказанно

В замороз, как ночь преполовится и будет время к первым петухам, тогда придет час на светлые сполохи.

А начальное дело — учнет в синеве небесной как бы пояском серебряным продергивать. От запада до востока, а с севера заподымается как бы утренняя заря. И вдруг все погаснет. Опять из-за моря протянутся пальцы долги без меры и заходят по небу. Да заря займется ужасная, как бы пожарная. И опять всё потухнет, и звезды видать. Сиянье же обновится. Временем станет как стена, по сторонам столбы, и столбы зачнут падать, а стена поклонится. А то будто голубая река протечет, постоит да свернется, как свиток.

Бывало, спишь — услышишь собачий вой,

откроешь глаза — по полу, по стенам бегают светлые тени. А за окнами небо и снег переливают несказанными огнями.

Мама или отец будили нас, маленьких, яркие-то сполохи-сияния смотреть. Обидимся, если проспим, а соседские ребята хвалятся, что видели.

Зимою в городе,

когда придут дни народиться Солнцу, и жилища, и полаты стоят убраны красно.

В каждом доме одна горница больше всех. В ней столы, на них постлано бело и блюда с яствами стоят и с медвяными пищами.

А по конец стола наположены козули — звери, птицы, люди, все деланы с вымыслом мастерским, упестрены золотыми сахарами нарядными.

По той вере и у нас полагали на скатертях оленей златорогих и сиринов, празднику честь творя.

Мерою козули те живут и в пол-аршина, а есть и в пядь — невелички.

О воде великой и кроткой

Да в той же Северной стране, в Низовской земле вода не стоят без перемены. Но живет на дню две воды. Большая вода и малая, пола и кротка.

Те две воды есть дыхание моря.

Человек дышит ускорно и почасту, а море велико. И как в дыхании вынесет к небу свое безмерное лоно, мы скажем — вода заприбывает.

И подымаются плечи те водные до заката солнечного.

А сполнив реки, море опочиет на мал час. И люди скажут: вода задумалась.

И, постояв, вода дрогнет и учнет кротеть и пойдет на убыль. Над волнами прошумят слышно. Скажем: «Море вздохнуло».

Маниха

В Двинской губе на малую воду при последних часах приходит ложная прибыль-маниха. Она одночасно и убудет.

Заприбудет истова больше.

Сувой

Когда полая вода пойдет на малую, взводень ходит от встречи — сувой…

(Окончание рукописи утрачено.)

Творю память Великому Новгороду[152]

Наш в корнях неколебимый нигде русский быт, наше дивное исконно русское искусство в главных своих видах — архитектуре, поэзии, даже живописи, в лице чудесных новгородских икон — сохранились на Севере России в формах наиболее древних, наиболее драгоценных.

Совершенно естественно, что в специальной и художественной литературе Северу принадлежит первое место. С каждым годом все больше и больше приезжает в Архангельский край людей, чутких ко всему действительно ценному, своеобразно красивому, свежему. И смотрят, любуются, учатся.

Но что самое главное, чем мы, жители Двинской земли и всего Беломорья, можем особенно гордиться, — это наш архангельский северный народный говор.

Говор Двинского понизовья и Поморья — говор господина Великого Новгорода и древней Москвы. Но главным образом — Новгорода.

---

[152] Notes: 152
Опубликовано в газете «Архангельск» 28 июня 1915 г. –*Примеч. ред.*

И это совершенно естественно. Новгородцы утвердились на Севере еще в XI веке. Кегостров, Заостровские деревни, Лявля и большинство архангельских деревень и посадов были основаны и заселены новгородцами. И нынешнее население Севера — потомки древних новгородцев. В течение многих веков Заволочье, Двинская земля, как звали наши края, находились в политической и религиозной зависимости от своей матери — города Новгорода.

Все, что в северном крестьянине так бросается в глаза, — его свободное, равное обращение с начальством и с «барами», любовь к независимости, дух свободомыслия, — все это, думается, не только влияние северной природы с ее широкими, полноводными реками, дремучими лесами, морским бесконечным простором, но и бессознательная духовная память о свободном, вечевом Великом Новгороде.

Влияние самодержавной Москвы на Архангельскую область началось гораздо позже, не ранее XVI века, хотя завидущие глаза Белокаменной были жадно устремлены на богатства Севера еще со времен Ивана Калиты.

Впрочем, говоря о различии в наречиях, надо сказать, что века назад московская речь имела,

безусловно, мало общего с современным — искусственным, «свысока» — выговором московского простонародья. В древних рукописях Москвы много близкого и приятного северному Духу. Собственные имена нередко пишут так: «Ондрей, Оликсей, Офонасей» и т. п.

Язык новгородских письменных памятников еще более, чем исторические причины, показывает почти полную тождественность древне-новгородского и нынешнего архангельского наречия.

Помимо всех этих «Олекса», «Офонька», новгородская орфография постоянно допускает «ц» вместо «ч» и обратно: «Цюдо», «плацюсе», «уличи», «черкви». «...Ащели поп переставится и вте поры поцнуть мыти его водою и оболокати во всю смертную скруту», — говорится в древнем чине «Како погребити попы и дияки и мирские человеки».

Там же: «Плацюси и рыдаю, егда помышляю смерть...», «А вопу да крыку того, да прицету плачному в черкви не быти, ино на уличи ли на могилище жонкам плакище творити по чину».

В рукописях светского характера, разных грамотах, актах, записях подобных примеров еще больше.

Нисколько не удивительно и то, что века не изменили северного говора. Инородческое влияние несущественно и ничтожно, а от Центральной России слишком Север обособлен. Мало было сношений и мало шло народу на Север из средних губерний, где давно стерлись грани между отдельными наречиями[153].

Сохранив невредимо свои особенности в течение веков, говор архангельский приобретает совершенно исключительный интерес.

Оставив в стороне археологическую ценность северного наречия, посмотрим на него со стороны грамматической и художественной. И тут выступает его изумительное обилие форм, богатство синонимами, оборотами, гибкость, несравненная полнота.

«Море вздохнуло» говорят о приливе; «взводень рыдает» в бурю; «ветры пали со полуночи» — подули с севера ветры. Эти выражения не из каких-либо поэтических произведений, а из живой, обыденной, народной речи.

Послушайте говор крестьян по Двине, говор поморов. Какое нескончаемое богатство выражений! Какая археологическая правильность, я бы

---

[153] Notes: 153
Литературного языка не касаюсь.

сказал стильность, в построении фраз! Говорят всегда громко, полногласно, емко, с богатейшими интонациями. Особенно женщины.

Когда говорит помор, не только в его словах, но и в музыке его речи слышится и видится и морской простор, и полет суденышка из какой-нибудь «госпожи Кандалухи» губы на Грумант, на Матку, в Норвегу… Дует бодрящий «шелоник» или «обедник». Носятся и кричат чайки, выпучив белые груди-паруса, резво взбегает шилка на взводень, стрелой несется вниз… Хлещет соленая пена. Поскрипывают мачты. Лопочут флюгера… Так и речь помора.

Имея в виду всю археологическую ценность, богатство и своеобразную красоту северного наречия, такие истинные художники — собиратели сказаний, песен, былин, как г-жа Озаровская, должны с величайшей точностью записывать все особенности архангельского говора. Имея музыкальный слух, должны уметь передать все богатство интонаций, всю певучесть речи. И эта музыка голоса, при устной передаче слышанного и записанного народного произведения, так же важна, интересна и не допускает фальши, как и сам текст.

Надо, чтобы русское общество узнало о древ-

ности северного говора и оценило его образное богатство.

Пусть ценит свою речь и северный люд и этим почитает память Великого Новгорода.

Боги[154]

Спас Ярое око, Никола Морской, Святая Пятница, Егорий Хоробрый.

Во дни древние свершены вы на великих досках и поставлены на высокое тябло.

Из века в век перед вами жертва рода моего, свечи и ладан, наонное пение, уставные метания.

От молитв, от огня и дыма стали темны многоцветные вапы.

Потухло золото, угасла алая киноварь, меркнет чекан серебряной басмы.

О божница отеческая и четверица божественная! Тебе кланялись мои деды и отцы, тебе ныне я собеседую.

Спас Ярое око

Темен и грозен твой лик, святый боже, раскосы нарисованные очи, нос подобен стреле, а уста улыбаются.

Изгиб их как лук Эрота…

---

[154] Notes: 154

Опубликовано в газете «Возрождение Севера» 1 февраля 1919 г. *–Примеч. ред.*

От поры туманнаго детства, бледной юности я знаю и воображаю тебя, древняго бога, в струях кадильного дыма, в пламени жертвенных свеч, в тревожном мерцаньи твоего божественнаго нимба.

Перстами праотцев моих возложена тебе, боже, на рамена цатасерп (?) среброзлатый, а в кольца нимба вдеты перстни, жемчужныя серьги, пестрыя ленты.

Ныне снова смертно томит меня давняя мечта моя… И ты, боже, помяни наши дары и приносы молебные.

Вот я жгу перед тобой воск и ладан, дую тебе в лик струю благовоннаго дыма, смотрю с надеждой в твои нарисованные глаза и мечтаю, мечтаю…

Никола Морской

На божнице место Николино высоко и светло. Постановлен ты у нас, Господине, в ряд с большим богом Спасом.

Честно и грозно держим мы завет праотеческий, над всеми богами чтить морского бога Николу.

Полста лет и больше ходил ты, Государь, на дедовском суденышке, указывал ветру и поветерью.

И Николиной милостью барышны учинялись промыслы, богаты уловы.

За то обильна была тебе от дедов жертва и дородна слава.

В твою, осударь, честь рудили деды лед горячей кровью зверя морского в первый день весновального промысла.

Искони поклоняется Николе Морскому Двинская земля, и Поморие, и Мезень, и Печора.

В день твой Николин жертва тебе, Государь, от нас — канун да ладан, ушат пьяного пива.

В честном пиру тебе, Государь, жирен кус на божницу от ныне до веку.

Святая Пятница

Приходили московские гости, становились на середню половицу.

Смотрели высоко, кланялись низко.

Спрашивали:

— А и чья это госпожа в большом углу? Не красна ли девица, не соседска ли молодица, не приежжа ли барыня?!

— Нет, господа гости московские. В большом углу, там не красна девица, не соседска молодица, не приежжа барыня.

Там сидит на престоле всечестная госпожа, великая Пятница!

О, божина великая Пятница, тебе честь воздают на торгах да на ярмангах, тебе молятся в гостиных рядах, в торговых людях.

Емлешь ты, государыня Пятница, посулы богатые, гостиницы почтенные и даешь ты в куплях прибыль, в продаже барыш.

Того ради держим мы тебя, государыню, на божнице чисту и обрадливу.

Празднуем тебе, госпожа, в году двенадцать праздников, двенадцать избранных дней пятничных.

В те дни полыхают пред тобой свещи воскояровы, застилает твое лицо темьянный дым, стоит перед тобой канунное пиво, пирог с рыбой — пища божественная.

Егорий Хоробрый

Сидишь ты, Егорий Хоробрый, на добром коне, тянешь лук крепко и стреляешь метко — разишь змея.

Бел конь как куропать, черен змей Адовен, злато одеяние Егорьево, багряная манатья перекрыла шафранное небо.

У тебя, Егорий, бледен лик, а волос темен; червлены уста, а очи мертвы.

Ты, Егорий, бог над серыми волками и над всяким зверем в темном лесу и в чистом поле.

Рыщешь ты со своими дивьими псами — серыми волками от востока к западу, от юга к северу.

Сыплешь свои каленыя стрелы по земле и по небу.

Посылаешь своих дивьих псов — серых волков на наш скот карь и ворон, бел и гнед.

…Подыму я на помощь себе Истиннаго Спаса.

Подыму я на помощь себе скотьяго бога Велеса:

— Не вели, государь Истинный Спас, волчьему богу Егорью Хороброму метать свои каленыя стрелы по земле и по небу!

— Оборони, государь скотий бог Велес, наш скот карь и ворон, бел и гнед от Егорьевых псов — серых волков.

А ты, Егорий Хоробрый, рази своими каленными стрелами дуб в поле, камень в море, а нас помилуй.

Из «Истории о зачале Выговской пустыни»[155]

А книга эта — творение боголюбезнаго отца и учителя поморскаго Ивана Филипповича.

СТАТИЯ I

Помяните Епифания старца во Столпозере утопшаго[156].

...Выехав из лесу, увидели гонители великое Столпоозеро, а на прибережной ниве старца Епифания с братиею, жнущих рожь.

Воззрясь на отряд, окаменели пустынники в ужасе великом.

Епифаний же вскрикнул не своим голосом и побежал.

С гиканьем и свистом, погоняли его мучители и загнали на высокий кряж надводный.

Тогда, видя конец свой, взмолился отец Епифа-

---

[155] Notes: 155

Опубликовано в газете «Возрождение Севера» 17 мая 1919 г. *–Примеч. ред.*

[156] Notes: 156

В этой и следующей статье повествуется о гонениях, которым подвергалось старообрядчество со стороны гражданских и духовных властей. Описываемыя события происходили в XVIII веке.

ний воплем великим:

— Видишь ли, Христе, беду мою!.. Прими страдание мое в честь… Упокой меня в воде и смерти!

И, перекрестясь, ринулся с кряжа высокаго в озеро и утонул.

А остальных пустынников поймали в лесу и скованных отвели на Олонец, на архиерейский двор.

Духовныя власти передали староверцев заплечным мастерам… И один, возрастом юный, как стали на дыбы подымать, — сдался.

А остальные доблестно, в лютых муках, скончались за древлее благочестие.

СТАТИЯ II

О боголюбезном отце и учителе поморском Филиппе, который скончался огнем за древлее благочестие, а с ним народа великое множество, старых и юных.

…Понеже майор да чиновники боялись, как бы кто старца Филиппа не предупредил и старец не сбежал, так они, бросив зорить Надеждин скит, той же ночью вышли на Филиппа.

Освещали себе путь в лесу факелами смоляными.

Подойдя к Филипповым за версту, обставили они пустыню частыми караулами.

И приказано было караульным солдатам брать на стрельну всякаго, кто из понятых или посторонних мужиков побежит раньше времени в обитель.

Но один из понятых, именем Василий, ползком, по кустам да по болоту, продрался в скит, да пал отцу нашему Филиппу в ноги:

— Прости меня, отче честный! Ше я сюда с нововерами гонить тебя… теперь благослови меня с вами пить одну чашу… Сейчас сюда будут солдаты…

И то сказав, Василий горько заплакал.

Ласково к нему наклонился старец:

— Бог тебя простит, милое чадо. Идем с нами ко Христу… Мы уж давно готовы.

И ударил старец Филипп в било, как было условлено.

Тогда собралось в церкви великое число старцев и стариц, и жен и мужей, и юношей и дев, хотящих горети.

И были все одеты в саваны белые и в бумажные венцы на главах.

В церкви же вдоль стен навалено было смолья и береста, и дров нагорожено клетками до

потолку.

А на полу втолсту наслано вересу и серы.

Для дыму, чтобы задохнуться поскорее.

А окна были забиты щитами.

Как все в церковь собрались, повелел отец Филипп двери деленами забрать и заложить дровами.

Повелел еще отец наш засветить все паникадила и зажечь свечки и лампады затеплить.

Тогда стал Филипп говорить — готовить братию на смерть.

— Огненнаго ли крещения, братие, убоимся! Столь пресветлаго, столь лучезарнаго!.. В вихре пламенном вознесемся братие в вечное царство…

…Пришел, братие, наш смертный час, остатния минуты, последняя ночь. Буди нам эта ночь священна и торжественна! Как Христова ночь светозарная, светоноснаго дня провозвестница…

И в то время, как старец говорил, с улицы гулко заколотились у окна.

И в то же время подошедшие солдаты взяли церковь в топоры и стали рубить окна и двери.

Как затрещали у окон ставни, старухи закричали:

— Ой, батюшко, батюшко, уже сюда попада-

ют!..

Тогда благословляет отец Филипп детям своим сотворить последнее прощание.

Все умолкли и положили начало.

Тогда поклонился учитель Филипп братии до земли и рек, аки гром грянул:

— Простите мя, отцы и братие, в сем веце и в будущем!..

Единогласно ответствует церковь:

— Бог тя простит, честный отче, нас прости!..

И начали все прощаться друг с другом — и мужья с женами, и родители с детьми, и братья с сестрами, и возлюбленные с любимыми.

И учинилась в церкви великая плачь прощальная.

Простясь же, стали все рядами, держа в руках зажженныя свечи. И запели доблестные торжественным гласом победную песнь:

— «Всемирную славу…»

И в то время подпустили в поджогу огня…

…«И загореся церковь и бысть шум пламенный, аки гром.

Пламень всю церковь охватил, и пойде огонь вверх, аки столп».

Солдаты и понятые, бросив топор, побежали от пожарища. Принялись грабить скитское стро-

ение.

А вольные мученики как загорелись, так ни один человек не скричал, не сревел.

Точно прежде огня все умерли, будто легким сном уснули.

А где отец Филипп стоял, там окно было некрепко заперто, одним ставнем. Оно скоро и прогорело.

И вот, видит народ и многие из начальства, что отец наш Филипп стоит в пламени, аки столп, и ризы его целы.

А огненное сияние окружает главу старца великим и святолепным венцом.

И стоял так отец Филипп, пока потолок не упал.

А то видев, один из начальных лиц некий господин офицер пал на землю да, ухватя себе голову руками, начал смеяться и плакать, восклицая:

— Ох, что сделали!.. Мы дивнаго учителя дивных сожгли учеников!..

Тогда солдаты и понятые перестали грабить, и напал на всех страх великий.

А которые с отцом Филиппом горели, как поклонились порядочно последним поклоном, так все яко уснули. Никто ни руки, ни ноги от себя прочь не откинул…

И тако учитель наш Филипп огнем скончался за древлее благочестие, и с ним народа великое множество, старых и юных, огненное прияли крещение, лучезарную смерть.

А было то в Поморских краях, в пределах студеного моря, еже и Белым именуется.

Из недавнего прошлого[157]

Над снежными еще полянами разносится по северу переливный, частый звон Светлой недели. Но уж начали синеть снежные сугробы, и таят они под собой вешнюю воду, холодную и чистую. А там, в сердце России, далеко сошел снег, подсохли дороги и скоро начнет сквозить бледная зелень дерев. Хорошо в эту пору в Москве на окраинах. На шестой неделе поста пришлось нам быть на знаменитом Рогожском старообрядческом кладбище. Собственно кладбище не так велико, бóльшую часть громадного участка земли, носящего это звание, занимают храмы, училища, богадельни и т. п. здания.

Рогожское кладбище — центр поповщины для всей России.

Мы, с нашим спутником-старообрядцем, присели на крыльце величественной многоярусной колокольни, возносящей вверх золотыя главы. Солнце клонилось к закату, зажигая червонными бликами купола и кресты, распростертые в синеве небесной свои перекладины.

---

[157] Notes: 157
Опубликовано в газете «Архангельск» 13 апреля 1914 г. –*Примеч. ред.*

Слева в зимнем храме шла служба.

Там снопы желтых, льющих медовый аромат свеч горят перед древними ликами в золотых кованых окладах. Трепетно переливаются и мерцают драгоценные камни. От узорных нимбов свисли вниз жемчужные рясна.

Тускло блестит парча тяжелых облачений. Над опушенной мехом жемчужной шапкой архиепископа склоняются рипиды. И под бряцание кадил в струях ладана поднимается над темными рядами молящихся двуперстно благословляющая десница.

На высоких аналоях шелестят расписанные золотом и киноварью страницы пудовых крюковых книг и мерно, торжественно унылыми аккордами несутся звуки древнего знаменного напева.

— А что было раньше? — заговорил наш спутник. — Так ли было лет десять-пятнадцать назад? То ли видели наши деды и отцы?

И рассказал он нам грустную повесть.

Была тогда такая же весенняя радостная пора — последние дни Страстной недели.

Так же радовались люди ожиданию великого праздника возстания Солнца праведного.

Сумрачно было только в древнем благочестии.

Гонительное было время. Умирал в ссылке

митрополит Амвросий. Старообрядческое духовенство преследовали и травили без устали. Запрещены были службы, и на Рогожских храмах висели печати.

Настала ночь, которую сладкоголосый поэт Дамаскин славословит в своем каноне как священную, светозарную и светоносную.

Христова ночь.

На окраине Москвы, в одном из глухих переулков, под самой крышей дома богатого купца шла тайная служба.

Наглухо были закрыты и задвинуты ставнями окна, а у ворот на всякий случай поставлены караульные. Могли прослышать и явиться власти.

Пришлось бы хозяину расстаться не с одной сотенной, а попа ожидал острог или ссылка. В горенке, где совершалась служба, и в прилегающем к ней помещении было много народу. Службу правил молодой священник Евтропий. Его с трудом разыскал для праздника хозяин и «под рогожкой» привез его накануне.

Отпели канон Великой субботы. Зажгли свечи и начали пасхальную службу. Тропари и ирмосы канона справили по уставу с припевами и только начал священник: «Аще и во гробе сниде безсмертие» — как с улицы донесся звонкий стук

в ворота.

Послышались громкие голоса. Внизу гулко затопали по половицам. На чердаке по лестнице кто-то бежал. Все поняли, что нагрянули власти. Поднялась суматоха.

В моленной торопливо гасили свечи и рвали со стен образа.

— Не отпирай покудова, — кричали вниз. — Дай попа ухороним!

Никто не ожидал, что в такую ночь потревожат, не дадут встретить праздник.

Снизу вопила какая-то женщина:

— Батюшку прячьте, батюшку берегите!

Священник в ужасе метался по комнате.

— Одевай, батько, кафтан, — с трясущимися губами кричал хозяин, — встаньте которые в дверях поплотнее — авось успеем!

Но уж было поздно. Близко стали слышны шаги и бряканье оружия. Столпившихся у входа быстро оттеснили. В дверях стояла полиция.

— Взять попа! — скомандовал пристав.

В паническом ужасе бросился священник в боковую дверцу, ведущую на чердак. Квартальный за ним… Мешают Евтропию бежать парчовые одежды, заплетаются ноги. Вот сейчас запнется и свалится.

Перескочил еще через балку. Больше некуда… Перед глазами слуховое окно…

В безумии ужаса, не разсуждая, вскочил он на подоконник.

— Господи прости!.. — громко крикнул.

И бросился вниз.

Взметнулась епитрахиль, звякнул крест, парча блеснула…

Разбился Евтропий насмерть.

Около распростертаго на камнях священника в белых рясах собралась толпа. Рыдали одни, а у других мрачным огнем загорались глаза. Судорожно прижимали они к сердцу два перста, словно клялись в чем.

Квартальные составляли протокол о причинах, вследствие которых «вышеозначенный лжепоп Евтропий» не мог быть арестован.

А он лежал, раскинув руки, и кровь от виска струйкой вилась по белому подризнику…

— Я тогда еще невелик был… Об эту пору, весной все было, как сейчас вижу, — закончил наш спутник.

Он поник головой.

И в серебряной бороде блеснула слеза.

И вдруг гулко загремели над нами колокола. Из открытой двери храма торжествующе донесся

унисонный напев.

Снова проглянуло солнышко, затянувшееся было облачком.

Все это так, но ведь, идя на костер, сказал Аввакум, что каждая капля крови мученической и каждая щепочка и золинка от костров, на которых жгли доблестных богатырей духа, как зерно, дадут урожай сам-сто и сам-тысяча.

По вере[158]

Пришли к староверкам на Благовещенскую в первый день Пасхи посмотреть «Царскую вечерню» по древнему обряду.

В пять часов на клиросе ударили в кандию, и в моленную двумя дверями из трапезной вошли христиане. Стали рядами. Мужчины справа, женщины слева.

Опять ударили в кандию, воскурили ладан, разогнали на высоких аналоях древния крюковые книги, запели странным однообразным напевом. Моленье началось…

Яркая и темная предковая красоты иконостаси — озарена десятками желтых свеч и лампад. Плывет к потолку синий дым темьяна, шелестят лестовки, шуршат шелковыя шали, старинные сарафаны женщин.

Над всем встал суровый староверческий напев:

– Христос воскресе из мертвых,

Смертию на смерть наступи

---

[158] Notes: 158

Опубликовано в газете «Возрождение Севера» 27 апреля 1919 г. *–Примеч. ред.*

И гробным живот дарова.

… … … … … … … … … … …

На хорах, откуда разрешается посторонним смотреть и слушать, у леваго окна сидит сегодня необычная публика.

Молодой человек в английской форме, две дамы в белых косынках и реалист.

Они не отрываясь смотрят вниз. Лица у них ласковые. Изредка делятся впечатлениями. Их радует неведомая ранее красота старого обряда, умиляют люди, умеющие так стильно молиться.

Оба клироса вышли на сход во второй раз. Запели «Пасху».

Мальчик-канонарх выкликает гласы и запевы, а хор сурово и вместе радостно отвечает:

— Да воскреснет Бог и разыдутся враги его…

— Пасха священна намо дэнэсэ, Пасха таинственная, Пасха весечестэная…

— Сий день иже сотвори Господь возрадуемся и возвесэлимся в он.

Сильный мужской голос, странно вибрирующий, запевает:

— Пасха кра-а-сэ-э-на-а… Пасха Господэня Пасха…

Протяжно, дружно водя голосами то вверх, то

вниз, спели последнюю стихиру:

— Воскресэния дэие и просветамося торжествомо, и друго друга приимэмо. Рцеми братие: И ненавидящийхо насо простиме веся воскресэнииеме. И тако возопиемо: Христосо воскресэ из меретовыхо, сомертею сомерте поправо и сущиимо во горобехо живото дарова.

А разойдясь по клирасам, снова монотонное:

— Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи…

Реалист, из компания наблюдающих с хор, в увлечении перегнулся через перила. Брови у него удивленно приподняты, а губы поминутно расплываются в улыбку.

Он музыкант, и староверческое пение ему кажется диковинным. Впрочем, все происходящее ему нравится, и под конец он уверенно по-староверчески гудит «Христосо Воскресе».

К компании подсаживается молодец в пиджаке, подстриженный в скобку.

Каждый раз, как молодой человек в военной форме обращает внимание своих дам на какую-нибудь затейливую особенность гласовых мелодий, молодец в пинжаке шепотом, но обстоятельно разъясняет:

— У здешних христиан пение оновое, иначе — хомовое, раздельноречное, а у приемлющих священство — праворечное. Однако и то и другое две ветви одного древа…

— В Москве будете, побывайте на Рогожском, там тоже поют до чрезвычайности…

В моленной служба к концу. Гаснут свечи. Сумрачно. Отпели последнее «Христос Воскресе».

Звенит кандия. Плавно, все как один, касаясь руками подручников, кладут люди исходное начало.

Чинно склоняются черные силуэты мужчин в долгих кафтанах.

Снова полна церковь шепотом молитв, шорохом лестовок, шелестом шелковых сарафанов и шалей.

Долго потом звучит в ушах:

— Христосо Воскресэ изо мэртавыхо,

Сомертею на сомертэ наступиво,

И гробнымо живото дарова.

Велик день[159]

Канун.

СТАТИЯ ПЕРВАЯ[160]

В Архангельском городу у Успенья на бору звонил звонарь заутреню. Хорошо звонят звонки, тонки звонки колоколенки.

Тут один колоколец позвонче всех.

О Велико говенье, в Вербно воскресенье свечки шанталочки притаивают. Во пресветлом раю, во небесном терему верны праведники приплакивают.

Еще красна-та Девица, Пресвята Богородица, ино Марья да Акимовна.

Она погромче всех:

— Уж вы верны, верны, праведны! Мне привиделся ноне грозен сон, грозен сон нерадостен… Я про сына увидела, про милого, про Иисуса да про Христа…

---

[159] Notes: 159

Опубликовано в газете «Возрождение Севера» 20 апреля 1919 г. *–Примеч. ред.*

[160] Notes: 160

Печатаемыя статьи — современного происхождения.

А и будто солнышко да закатилося, а Его буйна головушка с плеч покатилася.

Ино, охти мне да ростошнехонько, — моему дитятку да жить малехонько…

Да ох, и плачу я, да разливаюся, верным, праведным да поклоняюся:

— Уж вы верны, верны праведны! Вы подите-ко, да попросите-ко, да у Ильи пророка грознаго. Да он не даст ли мне, да красной девице, да своей огненной каретушки!

Я скачу, слечу на сыру землю. Ох, на сыру землю, да святую Русь.

Я найду свое чадо милое, свое дитятко родимое…

СТАТИЯ ВТОРАЯ

Летела утица через три моря, уронила перышко во Двину-реку.

На той ли на матушке на Двины-реки выростала кудрява золота верба.

Шла-прошла Богородица по Святой Руси, по Двины-реки.

Увидела Богородица золоту вербу:

— Ты почто, верба, раскудрявилась?

— Оттого я, верба, раскудрявилась: Божьему Сыну страдать пора; Иисусу Христу помирать

пора…

Станут крещены приплакивати,

Золотой вербой помахивати.

СТАТИЯ ТРЕТЬЯ

Из-за Кега, Кега-острова, из-за матушки Двинареки я приплавлю лесу гладкого, я выкачу лес на высок угор:

— Ох, вы, плотнички-работнички! Мне состройте дом, ноне в пять окон…

…Ох, ноне плотнички-работнички, они дело делают не(—)дано,

Работают работу неслыханну.

Они рубят-ладят бел сосновен гроб.

— Ширина долина ненамеренная.

По утру было, по речнему, о великой было о пятницы. Шла-прошла Богородица по Святой Руси, по сырой земли:

— Вам Божья помощь, работнички! Иша хто такое ноне преставился? Кому домовина — бел сосновен гроб, — ширина, долина ненамеренная? Ле дарю, ле князю, ле боярину, ле славному, могучему богатырю?..

Отвечают плотнички-работнички:

— Ох, да кто того не знат не ведает, каков ноне день на Святой Руси!.. Велика избранная Пятни-

ца… Уж как эта домовина — бел сосновен гроб не царю, не князю, не боярину, не славному могучему богатырю…

Ох… да эта домовина — Исус Христу.

Бел сосновен гроб — сыну Божьему.

СТАТИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

Я взойду, взойду на Сион-гору,

Посмотрю, посмотрю на сыру землю.

Ино чем земля изукрашена?

— Изукрашена земля церквами соборными.

Во церкви было соборные, во соборные, богомольные, так звонят перезвоны колокольные. Там горят свещи воскояровы.

Там поют попы, попы-дьяконы.

Они Божьего Сына во гроб кладут, Иисус Христа хоронить несут.

По утру было по раннему, в субботу было, о велик канун.

Шла-прошла Богородица по Святой Руси ко Божьей церквы.

Вокруг церкви попы идут, Божьего Сына хоронить несут.

Увидела красна Девица, услышала Марья Акимовна… Она кинулась, она всплакалась:

— Разступитесь, раскачнитесь, люди добрые!
Вы постойте — погодите, попы да дьяконы!
Расколися — раскатися, гробова доска!
Ты развейся — развернися бел тонкой саван!
Ты возстань, восстань, мое дитятко!
Ты воскресни, воскресни, безсмертный Сын!

СТАТИЯ ПЯТАЯ

Не тихо поветерье повеяло, не бела береза вострепещилась.
Не серебряна тетивочка вызваниват —
Не рыдай, не рыдай мене, маменька! Ты послушай ноне дива дивного,
Дива дивного, чуда чудного!
— Уж как перво диво — я в гробу лежу.
Второ диво — в небесах сижу,
А третье диво — я в аду хожу,
В аду хожу — Сотону вяжу.
Я во ад сойду — Адама выведу,
Посажу Адама во блаженный рай.

СТАТИЯ ШЕСТАЯ

Не буйны ветры подымалися, не темны леса пошаталися. Не золота труба вострубливат — Исус Христос возговариват:

— Не рыдай мене, мати! Радуйся! Я день в гробу, я другой лежу, а на третий день, мати, выстану!

На Велик-от день, на Христову ночь, затресется матушка сыра земля, сине море всколыбается, высоко небесье пошатается.

Гробова доска раскатится,

Бел тонкой саван развернется…

Я воскресну, маменька, в полуночи.

Пойду с тобой по Святой Руси.

Рожество твое[161]

Сии слова говорити о святых вецерах:

Откуда зачатися словеси?

Зачатися словеси от седьмого небеси.

На седьмом-то небе да не стук стучит, не стук стучит да не гром гремит. Там колют плахи долгомерныя, калят каменье дресвяное; там греют воду ключевую, топят байну Саваофову.

На седьмом-то небе да не шум шумит, не шум шумит да не гром гремит. Старой Бог да в байны паритсе. Он березовым веничком помахиват, белодубов шаечкой пошшалкиват, на горючу каменку наздавыват. Бежит водица ключевая, шипит каменье дресвяное.

…Андели-архандели, иже херувимы к байны прилетели, стукнули-брякнули в двери…

Не грозна тучушка возгромыхиват — бог Саваоф возговариват?

— Кто там?!.

Возопили андели, вострубили архандели, херувимы возговорили, серафимы возглаголали:

---

[161] Notes: 161

Опубликовано в газете «Возрождение Севера» 17 января 1919 г. *–Примеч. ред.*

— Отче наш, ничего ты не знаешь… У тебя на земли да народился сын, над царями Царь, над богами Бог!

Ему свету слава, слава и держава.

Откуду зачаться словеси?

Зачаться моими словеси от синяго моря, от горючаго камня.

На синем-то море, на горючем камне Дева Мария Сына спородила. В Иордан-реке Сына крестила, во пелены Сына повивала. Во пелены хрущатыя, во свивальнички золотые.

В какой земле? В Индейской.

В каком часу? Во полуночи.

Тут и сядет мати Мария на круг бережок, да на горюч камешок. Она станет сына укачивати, укачивати да убаюкивати:

— Ты послушай, послушай, мать сыра земля! Ты послушай, послушай, море синее! Ты послушай, послушай неббо звездное: не простого я дитятка спородила. Не простого Сын роду-племени. Он по матушке — Давыдович, он по батюшке — Исус Саваофович!

…Тут сыра та земля зашаталася, тут сине-то море всколыбалося, с неба часты звездочки посыпались.

Прочитали попы-архиереи, дознались чины городовы, проведовали гости торговы, прослышала нищая братья, что, деи, мати Мария нового бога спородила. Валят миром:

— Здравствуй мати Мария! Ты, бают, бога спородила? Дозволь приложиться — Христа прославить!..

В колокола зазвякали, дьякона завякали, ниши заревели, попы запели, кадилом замахали — Христосика испугали.

Из «Златоструя»[162]

Сия повесть из книги «Златая струя». Которую книгу принес Капитон Иванович Варакки из Андурской пустыни и положил у нас в Архангельском городе.

I

Что увидит отец наш Нифонт раным-рано на пути во святую Софию к обедне?

Увидит демона Алазивона и с ним двенадцать бесов образом страховидных и скверных.

Что услышит отец наш Нифонт?

Услышит безчинный плищ бесовский и крики иголки.

Докукали бесы князю своему Алазивону:

— Ох, горе нам окаянным! Увы, увы! Чуешь ли Алазивоне, како славят Исуса в церкви? Язва нам, беда наша — Исус… Переселись мы соблажняя хрестьяны! Оборол Исус Адову державу, погубил нашу заманную славу! Ох, увы, увы!!

---

[162] Notes: 162

Опубликовано в газете «Возрождение Севера» 23 февраля 1919 г. *–Примеч. ред.*

Речет к ним князь Алазивон:

— О беси, дружина моя! Та-ли вас печалит кратковременная Исусова слава! Того ли не знаете — церковное пение в мал час минуется. А моленье отойдет — и станут нас человеки славити мирскима песнями и плясанием и играним. И будет наша слава не верста Усусовой…

Что послучится увидети отцу нашему Нифонту после обедни?

Прошли мимо святую Софию люди, скоморохи пляшучи и играючи, и в свирели свиряючи, и в сопели сопячи.

А на оных глядя играющих человеков, многие кристияне обвеселились сердцем и учали пети песни неистово, а иные бити в бубны и в гудки гудети.

А то видев, треклятые беси учинились в радости великой.

Что увидит еше Нифонт, отец наш?

Уж не сами идут человеки, в гудки гудящие и в бубны бьющие. Влекут их беси невидимою сетью и пуще втемляют им на плясание и на свирели…

А вот хозяин некий, сидючи в окне, обрадовался на скоморохов. И его научил бес дать скоморохом рубль за потеху.

Тот рубль принял невидимо князь Алазивон,

завернул в плат и послал к Сатане в бездну.

А посланному наказал:

— Скажи Сатане, царю нашему: Вот те дар послал бес Алазиван. Буди тебе в честь. А мы де, бесы, многих ноне христьян уловили.

Борзо потечет бес с рублем во Адово жилище.

Сатана о подарке зело обвеселился:

— А вот мне-ка радость, да вот мне велика! Любы мне, окаянному, хрестиянския жертвы! Того, деи, невежи не знают — кто, деи, дает плясунам да сопельникам — бесу дает… Поспешайте слуги мои на землю. Понюжайте християн на песню и на плясню, и на клики и на скоки.

Сатана эти речи говорил, да мало поноровя пришел другой бес да выложил ему серебра и меди полну калиту.

И были эти деньги поддоны от безпутных христьян антихристовым детям скоморохам.

О погибели християнской возвеселилась бесова сила на долог час.

А все то видел отец наш Нифонт Новгородский духовныма своима очами и о том печален был.

II

Из той же книги «Златая Струя», слово о Мастридии-девице, которая выколола себе очи сама за любовь свою пречистую.

В Олександрии Египетской жила девица именем Мастридия.

Безмолствуя сидела в дому. Проводила юность в постах и молитвах.

Диавол же, завидуя чистоте человеческой, поостряется на девицу.

Влагает отроку некоему любовное на нее мечтание.

Стал оный ходить неотступно около Мастридииных палат.

Стал посылать к ней многовещательныя эпистолии.

Но ответа не получал никогда.

Если случалось девице выйти из дому, он смущал ее жалобными взорами, оскорблял ее дерзкими речами.

Перестала Мастридия показываться и в церковь.

И вот однажды выходит к юноше служанка, говоря:

— Иди! — зовет тебя госпожа моя.

Радостно следует за нею влюбленный.

Думает исполнить свою мечту.

Но встречают его гневныя очи, горестныя речи (и пряла в это время Мастридия лен чистый):

— Почто ты досаждаешь мне! Почто печалишь меня! Не даешь мне выйти из дому!..

— Госпожа, я люблю тебя! Горит мое сердце к тебе огнем неугасимым!

— Ты так меня любишь, юноша… Что любо тебе во мне?!

— Очи твои вижу ясныя! И очи твои прельщают меня!

Мастридия же, беседуя, держала в руках веретено.

И когда услышала, что очи прельстили человека, занесла руку и выколола себе веретеном очи.

Тогда входит в юношу страх…

Он бежит из города и вселяется в пустыни.

И в черныя облекается ризы.

И до смерти плачет о своем согрешении.

Отходящая красота[163]
(Письмо из Москвы)

Громадная, полная электрическим светом аудитория московского Политехнического музея. И более двух с половиной тысяч человек, в глубоком безмолвии внимающих маленькой, совсем сказочной старушке в синем сарафанчике и пестреньком платочке. Старушка поет…

Вдаль устремлены ясные глаза, а чистый старческий голос льется в древних, мерно прекрасных напевах классических былин. Величавые, загадочные тени реют, предстают «умному» взору и кажутся странно близкими.

Уходят богатыри… И звучит жуткий, трагический напев песни о казни Грозным своего сына.

Растрогав всех полной великой печали и тихой грусти в мелодии и содержании побывальщиной о князе Михаиле, убившем свою кроткую «кнегину», сказительница, по программе, заводит

---

[163] Notes: 163
Опубликовано в газете «Архангельск» 21 ноября 1915 г. –*Примеч. ред.*

быстро-веселую плясовую скоморошину[164] «Кострюк». В такт лихому напеву старушка начинает помахивать платочком, прихлопывать в ладошки. Чем далее, тем веселее. Сказительница не только поет, она «играет» «Кострюка» и водит за собой настроение слушателей, покоряет их. «Небылицу в лицах», скоморошину, полюбившуюся всей Москве песню с нелепыми, потешными образами и подмывающим стихийным припевом, подхватывает вслед за певицей и гремит тысячей голосов вся аудитория.

Потом бесконечные овации.

Сказительница эта, выступающая ныне в Москве, покорившая москвичей, удостоенная в Твери, куда ездила петь, торжественной встречи и грандиозных проводов, приглашенная уже в Петроград, — наша землячка, пинежская крестьянка Марья Дмитриевна Кривополенова, старуха 72 лет.

Привезла ее в Москву артистка Ольга Эрастовна Озаровская, известная художница-этнограф.

В газете «Архангельск» уже сообщалось, как артистка «обреча» сказительницу.

---

[164] Notes: 164

Скоморошина — песня, былина, назначением которой было развеселить слушателей. Из таких скоморошин составлялся репертуар древнерусских скоморохов.

Марья Дмитриевна, всю жизнь боровшаяся с горькой нуждой, собирала милостыню в деревне Великий Двор и случайно зашла в дом, где жила г-жа Озаровская. Тут выяснилось, что старушка знает много былин-старин. Уезжая в Москву, О. Э. взяла с собой и Кривополенову.

Имя Кривополеновой уже было известно науке.

Пятнадцать лет назад ученый специалист Григорьев, записывая по р. Пинеге словесные произведения народного творчества, встретил М. Д. и записал весь ее обширный репертуар. Он признал ее одной из лучших сказительниц на Севере — обетованной земле всех ценителей русской красоты.

В предисловии к былинам этой сказительницы собиратель дает и биографические сведения о ней.

С детства жила М. Д. в большой нужде. Во время приезда на Пинегу Григорьева жив был еще ее муж, горький пьяница и буян. Часто приходилось ей обращаться к мирской помощи. Потом мужа убили в лесу бродяги. Это не внесло перемены в жизнь М. Д. По-старому, когда своего хлеба не было, она с дочкой питалась Христовым именем.

Но приезжает на Пинегу артистка Озаровская

— и… открывается самая светлая страница в жизни сказительницы.

Она в той самой «каменной Москве», про которую так часто пела в своих старинах. О Кривополеновой пишут в журналах и газетах, о ней делают доклады в ученых обществах, с нее пишут портреты, о ней собираются издать монографию, ею заинтересованы все.

И это нисколько не удивительно. Скромная, маленькая, даже неграмотная старушка — большая художница в душе. Эта художественность натуры ярко выступает в отношении сказительницы к окружающему ее миру и во всех ее словах. Чувствуя себя полноправным членом общества, М. Д. вся живет в эпохе Грозного царя и очень любит о нем петь. Автомобили, трамваи и т. п. чудеса большого города не производят на нее большого впечатления.

Для нее важно лишь то, что здесь «каменна Москва», царские терема, гробница Грозного, дом Скуратова «Скурчатки».

В Третьяковской галерее сказительницу поразили «Богатыри» Васнецова, и она тут же каждому из них спела соответствующую былину.

Выучив старины еще в детстве, от столетнего своего деда, М. Д. с глубоким чувством поет их.

Она удивительный лирик в душе. И в слова, и в напев своих былин вкладывает она всю душу. Вносить лиризм в исполнение эпических песен, может быть, черта позднейших сказителей, но эта черта в высшей степени симпатична в Марье Дмитриевне. Тем более что певица сохраняет все разнообразие и оригинальную красоту былинных напевов. Напевы эти передаются от певца певцу неизменно, наравне с текстом, и, забыв почему-либо древний «голос» — мелодию былины, не станет уж ее петь, а перескажет обычной речью.

По преемству приняв свои былины из глубины времен, сказительница Мария Дмитриевна Кривополенова передала теперь это драгоценное наследие науке. Записанное, оно сохранится «на вся времена», но грустно становится, когда представишь себе, что скоро навеки отзвучат вещие голоса и закроются ясные очи последних былинных сказителей.

Москва.

Пафнутий Осипович Анкудинов[165]

Из темных сеней, по скрипучей, с балясными перилами лестнице надо подняться на чердак. Прямо в полутьме сруб вышки с низенькой дверью. Тут и живет Пафнутий Осипович. У двери слушаю: есть кто дома или нет? — Дома! Мерно звучит за дверью песенный голос:

А берет Илья ключики серебряны,
А серебряны ключи позолочены.
Отпирает Илья конюшонки стоялые;
Он выводит коня да неезжалого…

Дернув скобу, через высокий порог ступаю на вышку. Пафнутий Осипович, старик лет 60, сидит у окна за своим обычным зимним делом — шьет парус. Летом он ходит на мурманских пароходах.

— Здрасте, Пафнутий Осипович!

Пафнутий Осипович поднимает голову и весь расплывается в улыбку:

— А-а! Добро здоровье! Скинновай шубу, белеюшко, да садись… Я, покамесь засветло, конец

---

[165] Notes: 165
Опубликовано в газете «Архангельск» 26 апреля 1916 г. –*Примеч. ред.*

дошью.

Сидя на лавке, наблюдаю за работой хозяина. На коленях у него угол распластанной по полу парусины. Парусину эту надо прошить по всем швам смоленой дратвой. Для того чтобы не повредить ладони швальной иглой, на правой руке у старика надета громадная кожаная рукавица. Пафнутий Осипович называет ее иногда… «наперсток», иногда «пакша». В комнате слегка попахивает кожей и смолой. Все давно знакомое. У развалистой русской печки шумит самовар. Прямо над дверями в стену врезан большой медный крест, а по косяку вязью выведено: «Христос с нами уставися». Хозяин вышки живет во старой вере. В большом углу, на божнице, у него стали рядком древние иконы. В середине «деисус» строгого новгородского пошиба, по бокам «Праздники» «преизящных писем Строгановских». Тут же на божнице медные складни, ручная кадильница и пара кожаных лестовок свисли вниз черными треугольниками. От икон по стене протянута полка с старопечатными книгами. Тут и «Поморский устав», и «Октай»[166], и творения Симеона Дионисевича «иже на Вы-

[166] Notes: 166
Октай — октоих, т. е. восьмигласник.

ге реце»[167], и, наконец, стиховник, крюковой сборник духовных стихов, переписанный рукою самого Пафнутия Осиповича.

За окном почти смеркалось. Недолог зимний день. Темно стало и на вышке. Самовар на полу, зашипел и оболокся паром. Пафнутий Осипович встает и потягивается:

— Ну, слава Богу, на сей день работы довольно.

Он складывает паруса, сбрасывает рукавицу и полощется некоторое время у рукомойника. Потом не спеша начинает хозяйничать. Зажигает лампочку, стелет на стол камчатную скатерть, ставит самовар, подает на блюдце рыбник и шанежки. Заводится разговор. Сначала идут распросы о здоровье родных, потом следуют мои новости про учебные дела, наконец переходим на более интересные темы.

Пафнутий Осипович знает «на голос» добрый десяток старин-былин и множество духовных

---

[167] Notes: 167

Князья Мишецкие Семен и Андрей управляли знаменитой старообрядческой киновией на р. Выге в конце XVII — начале XVIII века. Принадлежа к поморскому согласию, оба были людьми высокообразованными и оставили много сочинений. Наиболее популярны: «Виноград Российский», «История о соловецких страдальцах» и «Ответы».

стихов. Некоторые стихи поет по крюкам[168] с книги. Старик большой любитель крюкового пения и кого угодно сумеет увлечь рассказами о дивной красоте мелодий, скрытой в таинственных крюковых знаменах.

Неудивительно, что я учусь у него петь по крюкам. Сегодня у нас как раз «урок». Чаепитие окончено, и на столе появляется старинный «Октай учебный» с «Разводом демественному[169] и крюковому знамени». Щелкают книжные застежки. На первой странице «Октая» киноварью, чернью и золотом вырисована «лестница», восходящая и нисходящая крюковая гамма. Каждый раз надо пропеть сначала лестницу, потом уж выпевать гласы «Октая».

— Это како знамя? — спрашивает Пафнутий Осипович.

— Дуда.

— А это?

— Параклит.

---

[168] Notes: 168

Крюки — певческая нотация, разработанная на Руси теоретически и практически уже в XII веке. В XVIII веке господствующая церковь сменила древние «крюки» на «итальянскую ноту». Крюковая нотация осталась в церкви старообрядческой.

[169] Notes: 169

Демественное пение — пение придворных византийских певцов. Демественным напевом у старообрядцев поют в большие праздники. Так было и в старой Руси.

— Это?

— Подчашие[170].

— Ну, ладно… Теперь споем кряду всю строку.

Перед глазами строчка хомового[171] текста с черными знаменами — крюками и красными пометами:

В два голоса тянем:

«Господи воззвахо ко тэбиэ…»

Мой учитель увлекается:

— И ах! Сколь красиво! Дуда-то! дуда коль ловко со стрелой прясо светлой да с пауком сошлась!.. Ну-ко иша раз! Во-во! Ну-ко иша!..

Он блаженно улыбается:

— Вить вот каково от правдедов искусство осталось! Разве может итальянска нота против крюка выстоять? Кака ей цена?! Ужо погоди, схватятся, как с горы-то скатятся…

К сожалению, гость Пафнутия Осиповича несколько молод для того, чтобы надолго увлекаться наонными мелодиями, сетовать на современность и грустить о прекрасном прошлом.

---

[170] Notes: 170

Дуда, крюк, параклит, подчашие — знаки, знамена древней нотации.

[171] Notes: 171

Хомовое — наонное пение, есть то же крюковое, но с особенностями в тексте. Напр., слова «Азъ есмь Бог» поются: «Азо есме Бого». Хомовое пение употребительно только у старообрядцев-беспоповцев. Так поют и архангельские старообрядцы.

«Октай» водворяется на полку.

— Ну а теперь старину, что ли, споем?

Я оживляюсь:

— Пафнутий Осипович, про Василья и Снафиду?!

— Про Василья и Снафиду?! Ладно… Дак вить ты и так про Василья и Снафиду хорошо знаешь? Я вот, как тебе притти, про Илью пел, как бой у их с Добрыней был… Голос уж очинь у этой старины хорошой! Ровно ручей льется…

Ясно, что Пафнутию Осиповичу хочется петь про Илью.

Хочется непременно! Но былина эта бесконечно длинная, а петь надо обязательно до конца. Старина не сказка, на полуслове нельзя обрывать. Кроме того, уж вечер, а у меня на совести уроки на завтра, и я кротко говорю, что Василья и Снафиду знаю еще плоховато, а Илью очень люблю, но про него мы споем потом…

— Ладно, ладно, — соглашается старик. — Мне-то все однако, давай про Снафиду. Сперва я обначалую, а ты потом пристань.

Он чинно выпрямляется на лавке, кладет руки на колени и ровным голосом заводит:

– В вольнемы-а-было в воль-онемы городи,

У пречи-истого Сопа-са да у-крешшенья;

А ы жиы-ло у Спа-са сорок царских-е дочерей.

Мы поем с чувством. Обоим до глубины души жаль безвременно погибших Василья и Снафиду. Особенно нам нравятся заключительные строфы:

А и были люди, да миновалися;

А их звали, величали – забывалося.

Про Василья да про Снафиду была складена,

Мы Василью да Снафиды и память творим.

По окончании старины выслушиваю кой-какие технические замечания.

— Ежели старина плачевная, — говорит Пафнутий Осипович, — дак не пой с подерьгой, а пой в ростягу. Води голосом-то! Стихи разны, там про Богородицын сон, про Пятницу, про Пустыню тожо вытягать на голоса надоть. Ну а ежели весела кака старина, там, к примеру, про Катерину Микулишну, как с прихехе в карты играла, дак уж тогда с подбором, с прихватом играй.

Сегодня веселье как-то плохо на ум идет.

— Спеть разве про князя Михайла?

— Давай!

Высоко, высоко небо сине-е,

Широко, широко студено море;

А мхи-болота и конца не знать

От той иша Двины да от архандельской.

Напев еще более грустный, чем Василий и Снафида.

За окнами совсем уж темно. Словно стараясь попасть в унисон с печальной мелодией старины, в трубе начинается жалобное подвывание, а на крыше заворочались и ржаво заскрипели флюгера. Видно, поднялась метель.

Спета песня и князя Михайла… Он утопился, а по берегу ходит его мать. Ясно себе это представляю: серое туманное море, мшистый берег, как в Солзе, и на песке разбитый карбас… Мать князя Михайла бродит по берегу и вопит. Ветер рвет на ней платок, треплет подол, а уйти она не может…

«Глаза у нее, как у Сашки дикой, когда она по рынку бегает», — думаю я.

Пафнутий Осипович сидит молча, закрыв глаза. Потом немного в нос, исподтишка запевает:

Древяно гроб… сосновено…

И люблю этот стих, и боюсь его. Стих «гробополагателей» с жутким, бесконечно-заунывным наонным напевом:

Древяно гроб сосновено
Ради мене строено-хо-оно.
И припев после двух стихов:
Ты гробе наш, гробе,
предвечный наш доме!
В нем буду лежати,
трубна гласа ждати.
Ангели вострубято.
Гробных всихо возбудято-хо-оно.

Тишина в комнате. Только тикают часы да потрескивает. Изредка проскулит в трубе вьюга.

Старческий голос ведет заунывный стих:

Ты гробе наш, гробе,
предвечный наш доме!..

Вспоминается что-то читанное или слышанное: во времена волка-Никона, бывшего патриарха и его преемников, когда по Русской земле текли потоки крови страдальцев за отеческое благочестие

и стлался дым от костров, от сжигаемых в срубах мучеников, многие, убежденные в пришествии антихриста, убегали в северные дебри. Ожидая со дня на день светопреставления, отшельники в некоторых местах каждую полночь ложились в гробы и со свечами в руках, заслышав крик петуха, начинали петь стих «Древян гроб»:

Пойду аз к Богу на суд;

К суду две дороги.

Одна-то дорога во царство небесно,

Друга-то дороженька во тьму кромешнюю.

Старик сидит ко мне боком. Он закрыл глава. Точно не живой…

Ты гробе наш, гробе,

предвечный наш доме..

Часы на стене начинают бить 9 часов. Я поднимаюсь:

— Пафнутий Осипович! Уж мне пора домой.

Он поворачивается ко мне, и я вижу снова дорогое, знакомое лицо.

— Домо-ой? Давай посиди ише. Веть време-то рано? Али уроки нать учить?

— Да-да, уроки, да и поздно.

С лампочкой в руке он идет меня провожать.

На крыльце мы прощаемся.

За воротами, на Новой дороге ни души. Где-то забрякал в колотовку караульщик.

— Какова пора — гости'! — слышу я еще раз Пафнутия Осиповича.

Не знаю, жив ли теперь Пафнутий Осипович. Не слышно о нем лет семь. Как это принято в северном староверии, Пафнутий Осипович ушел под старость в «пустыню». Может быть, он и посейчас поет свои стихи в Онежских, Пинежских, в Мезенских дебрях.

А может быть, лежит в сырой земле, шумят над ним темные ели да изредка звучит заунывный напев поморской панихиды и струится вверх дымок из медной кадильницы.

Наталья Петровна Бугаева[172]

В светлые летние ночи призрачной красотой овеяны острова Двинской дельты. В летние ночи гладь Двинских протоков тиха и бледна. Темные силуэты деревень встали на высоких угорах. Старые деревянные церкви, такие тихие и простые, возносят в бледное небо свои шатры и чешуйчатые главы… Иногда жилье сползло вниз, и тяжелые срубы, грузно навалясь на сваи, смотрятся в воду.

Север, обетованная земля художников, Север, сокровищница старинного словесного жемчуга.

Здесь жив до сих пор классический эпос. Здесь велика любовь к песне, к обряду, к слову.

«Слово на Севере любят и хранят, и украшают им свою жизнь, как скатным жемчугом»[173].

В двинском крае старинную поэзию хранят обыкновенные женщины. Особенно ярким это свойство души бывает во время обрядов, плачей на свадьбах, на похоронах. Слушая «плачный

---

[172] Notes: 172
Опубликовано в газете «Архангельск» 7–8 июля 1916 г. *–Примеч. ред.*

[173] Notes: 173
Озаровская О. Бабушкины старины. Пг.: Огни, 1916.

причет», размеренные певучие строфы, разделяемые воплем, выкриком, вылившимся тоже в определенно-мелодическую форму, не знаешь, чему дивиться: художественности содержания или совершенству внешней формы «плача».

Особый отпечаток на архангельскую поэзию наложил дух староверия.

Этот дух веет на Севере повсюду. Сама природа с великим морским простором, с широкими реками, темными бесконечными лесами настраивает на особый лад душу северянина и влечет его к мистицизму старой веры.

Канонный, бесконечный напев, темные величавые сарафаны, белые узкие рукава, струи кадильного дыма из старой кадильницы, таинственные скиты, кладбища со сказочно красивыми резными столбами и крестами неотделимы от пустынных рек и озер, от дремучих елей и сосен, молитвенно воздевающих хвойные паникадила.

Молитвенно растворяется в этой атмосфере душа человека, и уход в старую веру на Севере не редок.

В Архангельском крае в домах старинные изображения райских птиц Сирина и Алконоста. В книге «Граноґраф» повествуется про каждую.

Слушая пение райской птицы:

Кто поблизости ея будет,
Тот все в мире позабудет;
Тогда ум от него отходит
И душа его из тела исходит.

Про пение Сирина:

… … … … … … … … … …
Кому услышати случится,
Таковый от жития сего отлучится.
Но не яко там он упадет,
Но во следе ея теча, умирает.
… … … … … … … … … …

Бывают натуры, словно оне слышали когда-то пение птиц [блаженного] рая. И уж их «в мире сем» ничто не привлекает. Встречаются такие люди в какой угодно среде и поступают с собою различно.

На Севере они шли в пустыни, в леса, в скиты. Безразлично — по старой, по новой ли вере жили раньше. А если оставались в миру, до смерти томились и мечтали о «прекрасной матери пустыне». В картинах Нестерова и Плотникова лирически нежно выражена эта мечта.

В Заостровьи на кладбище над зелеными моги-

лами растут стройные сосенки и стоят расписные кресты.

Изукрашены кресты титлами, чертами и резами. На крышечке у креста коник.

Под таким крестом спит Наталья Петровна.

Заостровская крестьянка, она часто приезжала в город и подолгу жила, гостила у нас в доме. Считалась как бы членом семьи.

Мечтательница, песенница, она умела заронить в душу любовь к прошлому.

Плоть от плоти, кровь от крови северянка, Наталья Петровна «держала» в году 12 пятниц[174], учила молиться грозному Илье Громовику. Свято верила в домовых хозяина и хозяюшку, в банного, в водяного хозяина. Рассказывала таинственные были о древних людях. Пела стихи, пела песни.

Смотрит мечтательно и говорит.

Рассказывает про моленную своего племянника в Заостровье:

— …Образа ти хороши, прежны, правильны. На среднем тябле Деисусно моленье постановлено, а на сторонах порядовно праздники, лики разны… Чины к чину, ряд к ряду, лико к лику. А вси в

[174] Notes: 174

Обычай почитать в году 12 «избранных» пятниц — очень древний. В стихах и в сказаниях пятница выводится как живое божественное существо.

венцы, в басмы, в цаты изодены, пеленами изувешаны… Уж столь красиво, дак… Перед каждым образом свешна. Мущины в долгих кафтанах, женщины в сарафанах, хазы золоты. Платки шолковы, на кромку надеты… Пенье — старинно, долго проголосно. Водя голосами-то. Как запоют, дак не знать, где и стоишь. Ладоном еще накадят. Буди в раю…

Летом ездим гулять за реку.

Ходим по обрывистому угору. Под высоким солнцем лениво плывет река. Когда с воды тянет ветерок, пожня шелковисто волнуется травами в цвету. Наталья Петровна идет и, ровно наклоняясь, рвет цветы. Уж целый букету нея. Красивый. Маслице похоже на солнышко с белыми лучами. Розовая и белая «кашка» и пушистые метелки «чая».

— Наталья Петровна, курочка или петушок?

Улыбаясь, смотрит на кисточку метляка и говорит:

— Хорошо здесь. Тишина. Недаром праведные-то столь пустыню возлюбили. На век бы тут остаться. Чтобы глаза не видели да уши не слышали. — Тяжело вздохнет. Радостей на веку мало было. — Утти бы в пустыню… Прекрасная мати пустыня!..

Станет говорить стих:

Отцы во пустыни скитались,
И сам Господь пустынё похваляет.

И уж поет:

Прекрасная мати пустыня,
Любезна моя другиня,
И сам Господь пустыне похваляет:
– Прекрасная мати пустыня.
Цветы расцветают;
В пустыни птицы воспевают
Архангельскима гласы…

Наклоняется, рвет цветы и говорит:

— Иосиф-царевич белокаменны полаты, сады-виноградy, все оставил. Был красавец, куда взглянет — цветы разцветают. Пошол в пустыню. По темным лесам идет, зверя не боится. Дудочку вырезал, играт на дудочке. Зверье за Иосифом идет, его не трогают.

Пришол в пустыню, стал и говорит:

Прекрасна мати пустыня,
Любезна моя кнегина!
Прими мя, пустыня,

Со многима грехами.

Пустыня ему отвечает, она во тысячу гласов:

… … … … … …
У меня во пустыни
Постом попоститься,
У меня во пустыни
Богу помолиться.
У меня во пустыни
Не с кем погуляти;
У меня во пустыни
Не с кем говорити.
… … … … … …

Хорошо на лугу. Подует с Двины ветерок, тихонько зашумят и заволнуются травы и цветы. Полетят мотыльки. И опять все стихнет под солнышком. В чашечке шиповника возится и басовито гудит бучень. Поет Наталья Петровна:

… … … … … … … …
Придет мать весна-красна,
Я пойду во темны леса,
Во зелены луга.
Станут листвие шумети,

Да вси со мною говорити.
И я буду цветы собирати,
Про пустыню буду пети.

— Когда скиты остатки нарушали, я молода была. Николай Первой последний был гонитель. Пустынь иша много стояло:

…за Цигломиной, за Рикасихой, Лахта, Корода, Табор, Андурска пустынь… За Лявлей было… Указ пришел все жечь, по бревнышку раскатывать. Иконы либо жгли, либо на воз складут, а на лики чиновники сядут. Медны складни начальство в городу на сплав продавало. Стариков, старух всех разгонили. На дворе зима. Деваться им некуда. По миру пошли… Мерзли, так по двое, по трое каждый день находили… Андели, беда кака была. Хоть в петлю было полезайте…

Уносилась мыслью в далекие века и зачинала досельный сказ о Соловецком разореньи. Возбуждают и разстраивают разсказы о недавних гонениях, а о Соловецком разореньи уж и «Славу поют и старину скажут». Скорбь о нем, скорбь песенная. Эпическая дымка заволакивает это событие в памяти народа.

— Не восхотели отцы, соловецки доброхоты, нову веру примать. Помолилися Спасу Преобра-

женью да и затворились. Послали на их войско. Кругом обитель обстали. Да колько лет даром и простояли. Воевод каждый год сменяют, монастырь все стоит. До того дошло и всем не мочно стало… Зосим и Саватий стали на небе совет советовать, стали Богу за обитель печаловать: «Создай, Господи, один конец!» Тут им Спас проглаголует: «Не печалуйтесь, мои светы. Чому быть суждено, то и сбудется. Я, истинной Спас, соловецких стояльцев не покину. Готовы им венцы золотые, отворены райские двери».

А в Москве царь последнего лютого воеводу посылает:

Ты послушай-ко, мой верный воевода!

… … … … … … … … … … … … …

Как на том на синем да на мори,

А на том на морском да на утоке

В честном во монастыри да в Соловецком

А живут там старцы да вси поверы.

Они держат стару спасену веру.

… … … … … … … … … … … …

Ты послушай-ко, мой верный воевода,

Ты бери солдатов да поболе,

Ты бери-ко да пушки медны,
Поезжай к монастырю ко честному,
Заводи у их нову веру,
Выводи оттуль стару веру праву.
Воевода и едет по морю с войском.

Зосим-Саватий опеть, как увидали суда, стали на поветерь противну[175] запушшать. Стали к Спасу конатьсе…[176] «Благослови Господи Боже, обитель боронить!» Спас опеть возговорит. Уж не к Зосиму-Соватью, а к соловецким стояльцам.

Уж вы гой еси, старцы соловецки,
Вы послушайте, рабы мои любезны:
Как настало ноне времечко страдимо,
А вить страдимо времечко счастливо.

---

[175] Notes: 175
Противна — противное течение.

[176] Notes: 176
Конаться — неоднократно ч[то]-н[ибудь] делать.



… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

У меня круг престолу места много,
На престоли золотых венцов довольно.
Вы первы ко мне, старцы, ступайте,
Со престолу золоты венцы хватайте.

Опеть монастырь обложили. Из пушек стали палить. Да так до самого Крещенья. А в монастыре одного начальника Логин звали. В темну-ту пору, святкам зачало у его сердце тоснуть. Канун Крещенья отмолились, а он места прибрать не может. Сходил, караулы поставил, и стал его сон долить. Только повалился, ему как в ухо кто-то и сшептал: «Логине, возстани, воинство ратно во граде будет скоро!» Скочил, осмотрелся — никого нету… Опять его сон одолил. Другой раз голос сказал: «Логине, возстани, воинство ратно во граде входит!» Он опять скочил и думат: «К добру ле, к худу! Што это мне?..» И опять его сон одолил. Третье голос ровно ему сшумел: «Воинство ратно во граде, во граде!..»

Логин кинется туда… В самых воротах сотолкнулись соловецкие с воеводиными. И соловецкие защитники все в битве полегли.

Оставшихся в живых всех разсудили: одних в прорубь, других на плаху, третьих на крюки; руки, ноги, языки обрезали.

Казни были на льду. Пришла весна, тела оставались неубранными.

Тепло стало. Стала трава зеленеть. А лед у берега с телами мучеников стоит, не тронувшись. «А ночами над има андельско пенье, свечи горят, ладоном веет, столпы к небу огненные выздымаютсе».

Пришел указ тела казненных зарыть. И захоронили их в братскую могилу. Когда зарыли последняго, льдина треснула и, разделившись, ушла в море.

Алексей Человек Божий[177]

Из конца в конец по Руси бродят калики и «поют славу Оликсею, Оликсею — Божьему человеку.

Искони хвалит его и Двина, и Вага, и Поморье.

Тихая, святая слава Алексея Человека Божия на Руси напоминает нежное поэтическое представление о св. Франциске Ассизском на Западе.

Певала про Алексея Человека Божьяго и Наталья Петровна. Одно споет, другое, расскажет.

… … … … … … … … … … …

---

[177] Notes: 177

Впервые опубликовано в журнале «Москва» в марте 1994 г. *–Примеч. ред.*

Он и был у Христа, свет, избраной.
Он и был всем крещеным богоданой.
Он и первый у Господа печальник
И за всю свято-русскую землю.
Он и пешим, убогим заступник,
Он и старым, малым кормилец.
Поют славу Оликсею,
Оликсею Божьему Человеку,
По всему крещеному миру.
Во веки его славы не избыти.

Дивное ожерелье Севера многими перлами блистало. Еще много этих перлов осталось. Многие, наверно, слыхали былину-новеллу про Домну Фалалеевну. Говорят, не так давно редкая женщина в Архангельске не знала про «Домнушку».

Тоненьким голосочком пела ее Наталья Петровна. Иной раз и сплакнет.

Близка эта старинка сердцу северной женщины:

— Пошел «свататься» на Домне Фалалеевне нелюбой Дмитрий-князь. А Домна выскочила на крыльцо и стала насмехаться над ним. Вернулся Дмитрий домой и послал слуг звать Домну в гости. Два раза приходили слуги, приглашая:

Приходи-ко ты, Домнушка,
Приходи, Фалилеевна,
Ты ко князю ко Митрею,
Посидеть с красными девушками,
С дорогима подруженьками.

Не стала Домна с ними и разговаривать, а говорила отцу:

Не пойду я к Митрею,
Не йду я к Михайловичу.
Он не в гости, не в пир зовет,
Он возьмет меня насильне…
… … … … … … … … …

В третий раз пришли слуги и принесли отцу Домны богатые подарки. Стал Домну посылать к Митрию-князю и отец.

Покорилась Домна Фалилеевна. Пришла к Митрию. Он ее встречает, поит вином и ведет «во покои во особые».

– Ты постой, постой, Митрий-князь,
Ты постой, Михайлович!
Я сбегаю ко батюшку
Во высокую горницу.

… … … … … … … … …
Как родима-та мамушка
Мне сошила два платьица.
Перво платье обручальное,
Друго платье венчальное.
Обручально-то платьицо
да я на полу стопчу,
Венчально-то платьице
Да иша я в лоскуты прирву.
… … … … … … … … …
Ты пусти меня, Митрий-князь,
Ты пусти меня, Михайлович!
да я сбегаю ко мамушки
На высоку могилоцьку,
Попрошу прошеньица…

Отпустил ее Митрий-князь. Побежала Домна. Растерзала в отчаяньи свои обручальные и подвенечные наряды. Потом

Брала, брала Домнушка
да свечу воскоярову,
Иша булатной ножичек.
Побежала Домнушка,

Побежала Фалилеевна
Ко родиной матушки
На высоко могилище.
Она брала в леву рученку
Да свечу воскоярову.
Да брала в праву рученку
Да булатный ножичек.
Да наставила ножичек
Против белаго горлышка.
… … … … … … … …

Давно умолкла Наталья Петровна, а точно сейчас слышу:

Схоронили Домнушку,
Схоронили Фалалеевну
На высоком угорышке
Под кудряву вербушку…

Из воспоминаний О Марье Дмитриевне Кривополеновой[178]

Маленькая, тоненькая, с глубокими чашками голубых, младенчески чистых глаз, с личиком, рдеющим румянцем, то смеющаяся, а чаще плачущая! Марья Дмитриевна была явлением удивительным, чудесным даже для Севера, где вообще творческая одержимость и поэтический пафос не редки.

Эта замечательная артистка и поэтесса всю жизнь ходила с нищенской сумой: «Под одним окошком выпрошу, под другим съем...» Но и старые и малые, дальние и ближние, подавая кусок, кланялись этой женщине в пояс. Ее встречали и провожали будто сказочную царевну.

С 1915 по 1922 год, проездом с Пинеги на Москву, Марья Дмитриевна не раз гостила в нашем доме в Архангельске.

Ей необыкновенно шли старинные наряды моей матери. В «орленом» (узор из птиц. *–Б. Ш.*)

---

[178] Notes: 178

Впервые опубликовано в журнале «Литературная учеба» в апреле 1986 г. *–Примеч. ред.*

штофнике, в трубастом шугае, в жемчужном рогатом «сборнике» шествует бабушка на выступление в «коммерческий клуб» или «на театр»… Кегостровские, соломбальские «жонки» перекликаются с карбасов: «Царску золотошвейку (!) сегодня видели! Буди карапь во флаках!» Но пинежские бабы, завидуя, поджимали губы: «Маху Коротку видели… Ну уж… В прежну моду кол огородной одень и то красивой будет…»

Всем своим стилем и существом эта северная старуха оставляла впечатление, непринужденно, как на Пинеге в пиру. Председатель, профессор, объявляет перерыв. И наша северная дива поясняет: «Пережом надо сделать! Мужики пущай сходят коней проведают, а вы, робята, до ветру сбегайте… Бабушка чай пить подё».

Устав от столичных впечатлений, Марья Дмитриевна с очевидным удовольствием гостила в Архангельске. В старинном нашем доме ей нравились низкие потолки, коротенькие оконца, теплые лежанки, старинное «божество», модели кораблей по стенам, стогодовалая мебель. «Заболеть бы мне у вас… Слечь бы у вас на полгодика, на годик!..» Хотя в нашем доме сказительнице приходилось полемизировать со староверами. Ее земляк Трофим Томилов, тряся бородою, похожею

на медный поднос, стращал: «На театрах безгодно и безлетно Иродиада с главою на блюде пляшет. Ты, Марья, с нею в паю будешь…»

Бабушка негодовала: «Разве я пляшу? Разве я скачу перед гармонью?! Я и девок на игрищах учу ходить статно, внятно, косно, постатейно… Деревенски девушки в мое наученье таково внялись, так под их три бонбы зараз подкати, из караводу не побежат и вежливость с лица не сронят!..»

Но и жест, и движенья самой Марьи Дмитриевны во время исполнительства были, сравнительно, очень сдержанны. Почти всегда руки ее лежали спокойно. Только модуляции голоса, сиянье глаз, румянец выдавали ее артистический темперамент.

Марьюшка была человеком древней культуры, но не считала грехом скоморошество. Всюду устраивавшая «театр», всюду готовая быть «режиссером», на «родинах, на именинах, на хоронинах» наша «скоморошиця» ревниво искала оправданья своему жизнерадостному искусству в «божьем писании», в книгах «древлеписьменных»…

Я читал бабушке из древнего «Измарагда» о скоморохе Вавиле и двух его женах. Жены эти, составлявшие «труппу» Вавилы, когда он «взошел

на столп», построили себе две кельи у подножия «столпа»[179]. Читал также из Лескова «Скоморох Памфалон». Но самое разительное впечатление оказала на нашу сказительницу средневековая французская легенда «Жонглер Богоматери». В оправдание своего скоморошества старуха везде и всюду рассказывала ее, и в 1921 году О. Э. Озаровская, слышавшая эту легенду из уст Марьи Дмитриевны, запрашивала меня письмом, из каких «харатейных патриарших» книг, как уверяла бабка, вычитал я эту легенду.

Вот один из пересказов нашей сказительницы: «Был целовек смала обуцен скоморошить, людей утешать; где праздник, где ярманка, он там на головы стоит, руками в набатець бьё, ногами в гал торели медны выкидыва, не одну не сронит.

Во Граде Туре народ с торгу в манастырь подё, кланяцце Божьей Матери Турьской. Велика была, преславна Богородиця, в монастыри стояла на божници. Скомороху ейной лик пал на сердце, он тут и постригса. Братия служат Турьской Богородици: хто поет, хто цитат, хто пишот. Скоморох не знат ни цитать, ни писать. Только он горазден

[179] Notes: 179

Древнерусские скоморохи имели своего святого патрона Вавилу-скомороха. В 90-х годах прошлого столетия икона Вавилы (изображен с гуслями) находилась в церкви деревни Уймы под Архангельском.

в бубень стукать, в накры бить. Он погоревал да и сдумал (долго прял да коротко отнял): не примет ли Царица Богородица за жертву мое ремество, в котором я родилса?

До розсвету, до звону в церковь залез. Турьской Богородицы свещу затеплил, поклон сотворил: „пресвета богородиця, прими мой труд…“ На голову стал, руками в бубень ударил, ногами завылегивал, семь торёлей залетало… Не одна не падё на пол. В небывалом эком правиле и трудитце скоморох многие ноци.

Дале бубенцу стукоту розслушали караульщики, допехали до игумна и до братии, што новой манах поцéми, таём в церковь ходит, там его лукавой с ног на голову ставит. Тот, деи, манах ляганьем и играньем богородичной лик безцестит.

Тут привелса празник Покров. Братия с игуменом говорят: „Мы сегодня в церкви с вечера по темным углам завалимся. Только скоморох свою игрушку заведё, мы его и схватим. Пускай в миру дурачится, беса тешит“.

Вот братия лежат по углам, караулят… Только петух пропел, и скоморох в церковь заходит. Горящу свещу Богородицы поставил и поклон положил. Дале, с ног на голову справилса, а лицом на икону зрит. В бубенци ударил, ногами

заиграл, торели залетали: семь торелей, как семь звезд перед Богородицей кружаютца. И пот бежит скомороху на лицё, пада на пол.

И тут на монастыри к заутрени созвони'ли. Братия опомнились, прянули ко игрецю да и остолбели: прецюдная Царица Богородиця от божницы сохóдит, до скомороха доступáет и прецистым своим убрусом трудя'щой пот с лиця и со лба рабу своему благочестно утирает… Братия где стояли тут и пали: „Цюдную Царицу величаем! Богородицына скомороха хвалим!“

Хвалим бога на струнах
и варганах.
Хвалим на свирелях
и гуслях.

На свете рáзны таланести, разны участи. Который целовек людей от печали отманиват, Бог такого целовека любит».

(Сказание о Богородицыном скоморохе встречается в сборнике «Звезда пресветлая». Старинные списки этой книги распространены были на реке Пинеге Архангельской губ. Оправдывая свой «скоморошеский дух», М. Д. Кривополенова при случае рассказывает эту легенду.)

Слово устное и слово письменное

Слово устное и слово письменное *Беседные очерки*[180]

Любую нашу мысль мы излагаем на бумаге не в той форме, в какой высказывали эту мысль в разговоре. Вразумительность разговорной речи подкрепляется интонацией голоса, отчасти мимикой и жестом.

Эмоциональность живой речи, восклицания, паузы исчезают при записи. Устная фраза, перенесенная на бумагу, всегда подвергается некоторой обработке, хотя бы по части синтаксиса. Фонетическая запись устной речи утомит читателя своей пестротой.

Отсюда законы речи литературной, необязательные для речи устной, живой. Вот одна из причин различия между живой речью и речью письменной.

Имеются высказывания, что народная устная словесность и словесность литературная суть две самостоятельные стихии.

Не правильнее ли думать, что хотя эти стихии

---

[180] Notes: 180

Впервые опубликовано в журнале «Звезда» в декабре 1963 г. *–Примеч. ред.*

неслиянны, но и нераздельны?

Полностью, точно и достоверно изложить многовековую жизнь устного народного слова — вещь многотрудная. Много здесь надобно догадок и домыслов. Много явится, как на ландкарте, белых мест. Сомнительно мнение, что народная поэтическая память донесла до нашего времени как раз все самое ценное, самое отборное. Нет, многое быльем поросло и останется беспамятно.

Перечень известных нам со школьной скамьи видов устного народного творчества невелик: богатырские былины, сказки, песни обрядовые и лирические.

Есть мнение, что ритмизированная форма наших былин устоялась или сложилась не ранее шестнадцатого века.

Какова же была форма древнейших эпических сказаний? «Слово о полку Игореве» тем и драгоценно для нас, что в нем отразился лад и строй забытых русских рапсодий.

И древнегреческий эпос, и эпос других европейских народов, в том числе героический эпос Древней Руси, — все это не читалось, не декламировалось, но по-особому напевалось.

Слушая, как исполняют былины архангельские поморы, можно представить, как звучали эпи-

ческие песни древней Европы. Если вздумаем счесть века и возраст устной нашей поэзии, если положим в начале вещего Баяна, перед нами откроется тысячелетний песенный путь. Школьные хрестоматии водят нас по оазисам этого пути. Водят, как по музею: это — былины, это — сказки, это — песни. Но устное слово в книге молчит. Напоминают ли нам о цветущих лугах засушенные меж бумажных листов цветы?

Мы говорим: «Далекая пора, старина».

Если нам утомительно сыскивать, в чем же красота и жизнь устной народной словесности, поверим на слово столь чуткому к русской красоте Римскому-Корсакову, удивительному Мусоргскому, Врубелю и Васнецову. Эти и подобные им люди чувствовали песенную и художническую душу народа.

Известные нам виды устной поэзии назвал я «оазисами». Не песчаная пустыня окружает эти оазисы, кругом были вечно зеленеющие луга жизнетворческой народной речи. Избыток творческих сил создавал тот или иной вид поэзии.

Бытие отдельных видов устной словесности рассмотрено учеными-исследователями. Но последовательную историю жизни устной словесности трудно уяснить и по ученым трудам.

Впрочем, ведь мы не особенно горюем и о том, что не знаем подробностей своей семейной хроники.

Былины, песни, сказания — это гнезда, свитые под сенью вечно зеленеющего, густолиственного дерева.

Тьмочисленная, тысячеголосая светлошумная листва — это живая народная речь. Бесчисленными голосами шелестела и звенела живая речь. И это был аккомпанемент к былине и сказке. Живой творческий говор рождал поэзию.

Наряду с разговорной народной речью жительствовала на Руси особливая речь — письменная, литературная. Русские люди — северное славянство — книги читали и книги писали на языке южнославянском, а именно — на болгарском.

Обособленность литературного языка от народной речи примечательна была не только в Восточной Европе, но еще резче в Европе Западной.

В Европе Западной со времен раннего Средневековья во Франции, Германии, Англии, Скандинавии образованные люди писали на языке латинском, непонятном народу.

Такое явление объясняется тем, что образованность здесь воспринята была от Рима, одного из центров «средиземной» культуры.

Восточная Европа (славянские народы) приняла образованность от греков — из таких центров мировой культуры, как Царьград, Афины, Александрия. Это была образованность эллинистическая, по существу — античная.

Принципы эллинизма требовали, чтобы литература классическая преподносилась на языке той страны, того народа, который принимал эллинизм. Таким образом, греческая литература переведена была на языки балканских славян: болгарский, сербский.

Русь (северное славянство) приняла греческую образованность не позже IX–X веков. Не представлялось особой нужды переводить греческие книги на русский язык. Русский язык был наречием единого общеславянского языка. Болгары, сербы, поляки, чехи и русские в те времена свободно понимали друг друга.

Русь воспользовалась греческими книгами, ранее переведенными на славяно-болгарский язык.

Большую роль в распространении греческой культуры сыграло высокое совершенство греко-византийского искусства.

Византийская архитектура послужила образцом для создания романского архитектурного

стиля в Западной Европе. Вплоть до эпохи Ренессанса итальянские живописцы следовали канонам живописи византийской. Величественные здания возводились на Руси византийскими зодчими. Чуткому ко всякой красоте русскому человеку восхитительной казалась великолепная греческая живопись, мозаика.

Русский народ, народ-художник, восхищение свое «эллинской премудростью» перенес и на литературу. Предлагаемая народу на славянском языке литература содержала эллинскую премудрость, как и другие виды эллинского художества. Было отмечено, что язык поступавших на Русь книг был понятен русским. У всех славянских наречий корни слов одни и те же. Словарный состав един. Но грамматика южнославянского (болгарского) наречия, ставшего на Руси языком литературным, не тождественна была грамматике языка русского.

Славянская форма слов — младой, златой, брада, врата — нимало не затрудняла. Русские говорили: молодой, золотой, борода, ворота.

Мудрены были формы глагольных спряжений. Например, в живой речи русский человек говорил: «Я уснул, и спал, и встал». Но в книге эти слова излагались так: «аз уснух, и спах, и восстах».

Русскому читателю отнюдь не казался странным этот особливый книжный язык. Ведь книга трактовала о вещах необыкновенных. Естественно, что и речь должна быть необыкновенной, небудничной. Южнославянские грамматические формы стали обязательными для образованного писателя. Употребление русских грамматических форм считалось признаком необразованности.

Убеждение в том, что в писаниях о вещах серьезных и важных должно применять и грамматику особливую — такой взгляд господствовал в России до конца XVII столетия. Надобно подчеркнуть, что язык древнейшей нашей литературы прост, лаконичен, от него веет свежестью.

Вот рассказ летописца о смерти князя Олега.

«Бе осень и вопроси Олег кудесников, волхвов:

— Отчего ми есть умрети?

И рече ему кудесник един:

— Княже, конь, его же любиши и ездиши на немь, от того ти умрети.

Рече же Олег: „Николи же сяду на конь, не вижу его боле того“.

И пребысть несколько лет на видя коня. Дондеже и на грекы иде. И пришедшу ему Киеви помяну конь свой. И бысть ответ: „Умерл есть“. И поеха Олег на место идеже бяху лежаще кости коневи

голы и лоб гол. И наступи ногою на лоб, рече:

— От сего ли лба смерть ми взяти? И выникнучи змея и уклюну князя в ногу. И с того разболевся, умре».

* * *

Если мы посмотрим на письменность нашу, скажем, с конца века XIV по конец века XVII, то увидим, что «славянская» одежда облекает уже иного человека. Грамматика остается, по-видимому, прежняя, но композиция повествования имеет мало общего с древней литературной речью. Литераторы этой эпохи увлекаются «плетением словес».

Епифаний, писатель второй половины четырнадцатого столетия, пользуется «плетением словес» с большим композиторским тактом. У Епифания это или прелюдии к его сказаниям, или полные живым лирическим чувством интерлюдии. Вот образчик Епифаниевой речи:

«Коль много лет многие философы эллинские собирали и составливали грамоту греческую и едва уставили многими трудами и многими временами едва сложили; пермскую же один чернец сложил, один составил, один сочинил, один в едино время, а не во многие времена и годы; один

уединенный, один единственный.

И так азбуку сложил, грамоту сотворил и книги перевел в малые лета; а они, семь философов, едва азбуку уставили; и семьдесят мужей-мудрецов перевод истолковали, книги с еврейского на греческий язык перевели».

Епифания Премудрого Древняя Русь почитала образцовым мастером слова. Эллино-византийскую литературу Епифаний изучил на месте, в Константинополе.

Обладая высоким поэтическим чутьем, Епифаний понимал, что русский язык по богатству равновелик греческому. В житиях Сергия Радонежского и Стефана Пермского не знаешь, чему дивиться: богатству русского языка или мастерству, с которым Епифаний показывает это богатство читателю.

О том, что Епифаний чутко прислушивался к народному поэтическому слову, свидетельствует, например, «Плач пермских людей о Стефане». Этот «Плач», нежный и красноречивый, весьма близок к русским народным причитаниям.

«Извитие словес» высоко ценилось в XVI и XVII веках и позднее. Но в структуре житейских повестей устанавливается отчетливый трафарет: начало, изложение, заключение. Вот образец

такого начала у писателя конца XVII века Андрея Денисова:

«Аще, убо, древле творцев Омир толико тщание, толико подвизание, толикий труд показа, во еже написати Тройска града начало, жительство и разрушение, тем же, убо, нам…» (Далее излагается история Соловецкого монастыря.) («Если древний поэт Гомер такое старание, такой подвиг, такой труд показал, чтобы описать города Трои начало, жизнь и разрушение, тем более нам…»)

Писатели сторонятся богатств народной красной речи. Любое «житие» обильно уснащается трафаретными стихами — цитатами из Псалтыри.

Протяженно сложенные силлогизмы напоминают ткань, до преизбытка заполненную узором. Очевидно, это было и во вкусе читателя. Москва, например, обожала пеструю узорчатость даже в каменной архитектуре.

Разгадку устойчивости древнеславянских форм в нашей письменности не даст ли титул центров русской образованности: Славяно-греко-латинская академия в Москве (XVII век) и другая — старейшая — в Киеве? Русь, войдя в орбиту славяно-греко-латинской культуры, сознательно шла по избранному пути. Новые идеи, возникав-

шие в литературе восточноевропейской, ярко и творчески отображает письменность русская.

В XIV веке и ранее образованные русские люди питают ум и душу премудростью книжной. Устная народная словесность уже не удовлетворяет.

Но былины, сказки, песни по-прежнему украшают быт.

Русские люди, стоявшие на уровне славяно-греко-латинской культуры, не могли снижать общий для всей Восточной Европы высокий литературный стиль. В свою очередь, и читателю, и слушателю простая разговорная речь в книге показалась бы весьма неуместной. Вкус к высокому стилю деревенские грамотеи сохранят и в веке XIX.

В XIV веке завременились на Русской земле зори освобождения от ненавистного монгольского ига.

Вдохновенная проповедь единства Руси, пламенный призыв к единому национальному сознанию были для русского народа как живая вода, как дождь для иссохшей земли. Славяно-греко-латинская премудрость поставлена была на божницу, когда услышала Русь победные трубы с Куликова поля.

Когда Русь сбросила с плеч татарский хомут,

душа великого народа широко и державно расправила крылья. Забылись эти речения: мы — рязанцы, а мы — новгородцы. Ведь все говорили единым русским языком, и русская народная речь приходила из силы в силу.

* * *

Любопытно, однако, что в XVI–XVII веках, при непрекословном следовании правилам грамматики словенской, у писателей-книжников остро и неожиданно прорывалась живая, окатистая народная речь.

Тому пример такой начетчик, как Иван IV. Доказывая Курбскому законность единодержавия, исписывает целые тетради бесконечными словенскими цитатами. Но темперамент Ивана Васильевича известен: он вдруг перескакивает на речь русскую, притом бранную.

«…Единого моего слова гневного ты стерпеть не похотел. Ко врагу нашему, кралю Жигмонту сбежал. И оттоле лаешь на нас, как пес из-под лавки. Только укусить не можешь».

«…Вы будете государить, а царь при вас, как староста в деревне: сиди да вам в рот гляди да притакивай».

Курбский, человек также темпераментный,

но сдержанный, литературно образованный, в ответных писаниях с удовольствием кольнет глаза царю его литературной безграмотностью. Как-де можно в образованное государство писать таким избным слогом?!

Однако язвительная острота царских эпистолей проняла сердце Курбского. Он говорит, что нельзя так «грызть кусательно» человека, живущего на чужбине.

Ивану IV тесно было в рамках условного схоластического наречия: «Сердце яро, места мало, расходиться негде».

Родословную свою Иван IV выводил из Древнего Рима. Узнав, что шведский король Густав Ваза тоже считает себя потомком кесаря Августа, Иван IV пишет Густаву: «В которых своих чуланах ты, Густав, сыскал, что ваш род от Августа? А наши купцы, бывши в Стекольном, видели, как родитель твой, в рукавицы нарядясь, ходит с кнутом по торгу, у кобыл зубы считает, коней торгует. А потому ваш род самый мужицкой. Еще пишешь ты, что Москва на Украину задорится и на Волынь… И то бы не дико: язык един, вера едина. А что пишешь, будто мы у тебя хотим жену отнять, и мы тому, на Москве, много смеялись. Неграмотные твои толмачи перевели наше слово „рубеж“

словом „жена“. О рубежах речь была. А твоя жена нам не надобна. Никто ее у тебя не хватает».

* * *

В семнадцатом столетии распространена была по России «Грамматика, сиречь наука о еже право писати и право глаголати». Этот солидный том в кожаном переплете с медными застежками был пособием и для прозаиков, и для поэтов. Однако это была грамматика все того же условного, схоластического словенского языка.

Наряду с этим в середине семнадцатого столетия раздается пламенный призыв к употреблению русского народного языка в литературе.

Знаменитый Аввакум Петров автобиографию начинает так: «Не позазрите просторечию нашему, люблю свой русский природный язык, виршами философскими не обык речи красить.

Небрегу о красноречии, не уничижаю своего языка русского… Ох, ох, бедная Русь! Чего-то тебе захотелося немецких поступов и обычаев».

Аввакум пишет царю Алексею: «Вздохни-тко по-русски. Ведь ты, Михайлович, русак, а не грек».

Сосланный в Сибирь Аввакум так описывает путь по Тунгуске:

«О, горе стало! Горы высокие, дебри непроходимые; утес каменный, стеной стоит, и поглядеть — заломя голову!»

Народная молва так оценила борьбу Аввакума за народность языка: «Яснее солнца письма Аввакумовы».

Однако возникла и оппозиция. Пуристы находили невероятным допустить в литературу «деревенских баб басни».

Лишь в середине XIX века сочинения Аввакума Петрова были оценены как замечательный памятник живой русской разговорной речи.

* * *

Со времен Петра I литературный язык наш испестрили слова немецкие, голландские и французские.

Сам преобразователь даже в быту любил — щегольнуть голландской фразой. Проезжая Белым морем, поставил он на берегу памятный крест. На поперечном дереве вырезал собственноручно: «Дат крус макен Питер Михайлов». («Этот крест сделал Петр Михайлов».)

Во второй половине XVII века появляются в Москве ученые люди с Украины. Ученый ритор обучает москвичей ораторскому искусству:

«Наиперше маем зложити з письма святего фему. Бо ведлуг тея фемы мусится все казане чинити… Же бы що обецалем мувити и показати, то и мувилем и показалем». («Сначала выберем тему из писания. Вокруг той темы сочиним все сказание. Что обещали, то и скажем и покажем».)

* * *

Нестроение литературного языка упорядочил Ломоносов. Он составил грамматику языка русского. Ломоносов переновил корабль русской литературной речи. Обветшавшее убрал с дороги. Славянский язык остался в книгах церковных.

Когда Пушкин принял в руки руль — правило корабельное, литература русская пошла по курсу державному, славному. В паруса дунули русские ветры.

Сколько веков полноводная река живой народной речи плыла рядом с речью книжной!

Хотя бы бегло взглянем, рядом жили эти две стихии или вместе?

Русские люди искони любили слушать книгу. Фабула книжного сказания, если она была разительно яркой, запечатлевалась в памяти слушателей.

Устно-народное поэтическое слово, заимствуя

книжный сюжет, никогда не воспринимало форм грамматических. Полюбившийся сюжет народ непреклонно обогащал русскою красотою.

Наблюдаются явления и обратного порядка. Например, в XVI–XVII веках писатель-историк, собирая материал для биографий той или другой исторической личности, иногда обращался к памяти народной. Если в устах народа все эти памяти были живыми цветами, то, переведенные на условный литературный язык, цветы эти нередко видятся нам поблекшими.

Таким образом, стихия живой народной речи и стихия речи литературной, условной существовали хотя нераздельно, но и неслиянно.

«Помянув родителей», то есть века XVII, XVIII, выходим на широкое раздолье русской литературы XIX века.

Тургенев сказал: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»

В этой похвале Тургенев объединяет и живую народную речь, и русскую речь литературную.

Язык классической нашей литературы XIX века весьма богат потому, что создавали его люди глубокой мысли, люди высоких стремлений,

страстно искавшие правду.

Многосложны человеческие характеры, но проницательный взгляд художника-психолога видит и высоту неудобовсходимую, и глубину неудобозримую.

Русские классики XIX века в подлинниках штудировали авторов французских, немецких, английских. Блестящее знание литературных форм Запада изощрило русское писательское мастерство.

Каково соотношение русского языка, закрепленного в литературе, и русского языка разговорного?

Если язык русский есть богатство, наследие отцов наших, то славные писатели наши, как добрые сыны, приумножают отцово наследие.

Не департамент одобрил их речь, не министерство рекомендует, — нет, весь народ русский на Севере, на Волге, в срединной России, в Сибири читает и слушает эту речь и находит, что все сказано статно и внятно.

* * *

Толстой изображает судьбу человека внимательно, последовательно, детально.

Психолог Достоевский тонко-прозрачно рас-

крывает перед нами и свет, и тьму, и доброе, и злое — все, что скрыто бывает в глубинах сердец человеческих.

Но ни нравоучительность Толстого, ни громоздкость Достоевского не отягощают. Это потому, что и Толстой и Достоевский являются художниками слова. Чувство эстетического удовлетворения все время сопровождает работу нашей мысли.

Но сейчас для меня важен лишь следующий вывод: писатели-психологи бессознательно, незаметно внушают нам и приучают нас внимательно и вдумчиво относиться к поведению людей, нас окружающих. И тогда обогатится и расширится твоя мысль, тогда у тебя и речи будут.

* * *

Итак, русский язык стал языком литературы. Что же, река живой народной речи и река русской речи литературной слились воедино? Нет, они остались неслиянны, хотя и нераздельны.

Это потому, что у писателя (классика) все скована единой идеей: и фундамент, и стены, и кровля — все сцементировано единой мыслью («Война и мир», «Воскресение», «Анна Каренина»).

К творению писателя-классика ничего не при-

бавишь, не убавишь. Органически целостны и мысль, и язык. Толстой, Достоевский, Тургенев, Гоголь монументальны. Эти здания знали наши деды и отцы, и мы с вами.

Но рядом, но вокруг неутомленно бегущая, терпкая разговорная речь. Можно к разговорной речи применить стих Державина:

Алмазна сыплется гора
С высот, четыремя стенами,
Кипит внизу, бьет вверх бургами…

Еще видится нам теперешняя речь рекой без берегов. Сколько струй чистых и мутных, светло-прозрачных и иловатых!

В последнее время и в печати не раз поднимался вопрос о чистоте литературного языка.

Порою также делаются ребятам краткие, но убедительные внушения:

— Нельзя говорить: одел калоши, раздел пальто. Калоши надо надеть; раздеть можно человека, пальто надо снять. Правильному языку учитесь у великих наших классиков.

Если первые две заповеди конкретны, то последняя абстрактна (по-русски говоря).

Правильно и достойно поступают, когда велят молодежи учиться языку у классиков.

Школьная программа предписывает знакомство с некоторыми образцами классической литературы. Что имеет в виду школа? Ответ дают темы программных ученических сочинений: характеристика Онегина, Чацкого, Печорина; роль крестьянства в «Кому на Руси жить хорошо».

Следует отметить, что если в классическом произведении налицо яркая фабула, то молодежь причтет такое произведение к числу интересных книг.

Но, получив задание учиться у классика языку, ученик по-иному должен перестроить свои мысли.

«Учись языку у Толстого»... Это целая программа. Ученик раскрывает «Войну и мир». С чего начать? Разобрать фразы по частям речи и по частям предложения?

Кто будет проходить такой «заочный курс»?

В планах по обучению языку у классиков есть еще один важный пункт: любая литературная эпоха очень быстро становится историей.

Боюсь сплетать силлогизм — не сделать бы вывода, что Пушкин, Толстой, Достоевский являются уже историей литературы и произведения их — исторические памятники.

Нет, живы они и, во-первых, потому, что пи-

сатели эти запечатлели несравненную глубину русской философской мысли. Живы они точно так же, как живет и вечно юнеет могучая русская музыка Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского.

Неумирающая сила дышит и в изобразительном искусстве того времени: Серов, А. Иванов, Суриков, Репин и др.

Древний философ говорит о Гомере: «Гомер каждому, и дитяти, и мужу, и старику, столько дает, сколько кто может взять».

Если книга заключает в себе светлый разум, чистую совесть, поэтический талант — в такой книге великая сила и угодье.

В греческом языке слово «логос» обозначает и «слово», и «ум». «Слово есть провозвестник ума». Мы должны всячески обогащать свой ум, свою речь.

Философ Платон требует, чтобы творческий пафос присущ был и педагогу-учителю, и плотнику-строителю, и ремесленнику.

Гениальный Ломоносов воплотил в себе идеи Платона. Ломоносов был и физик, и химик, и филолог, и историк, и ученый-электрик, и географ. И любой вид деятельности Ломоносова озарен, как солнцем, творческим пафосом, поэтическим

вдохновением.

Разнообразны виды человеческого труда. Но интерес к литературе, к книге объединяет людей различных профессий.

* * *

Родимый край, реку, берег любят не за красивые пейзажи. У меня стопа открыток — виды Севера. Бумага и бумага. А берестяной туесок из-под морошки сколько лет хранит живое благоухание родины!

Как птицы по весне летят на Север и поют: «В крае суровом, ненастном, далеком родина наша, родные леса», так неутомленно стремится наша молодежь в края небывалые, но прекрасные.

Свойства поэта и художника чудодейственны. Творческая сила одного человека заставит десятки людей почувствовать пленительную, нежную красоту северной природы: тень дремучего бора, сияние цветущих лугов, жемчужные нюансы неба и воды…

Вспоминаю северную сказку. Парень идет с девицей по берегу, спрашивает: «Богата ли ты?» Она отвечает: «Я богаче тебя. Видишь, за рекой черный ельник и белый березняк?» Он говорит: «Ну что — елки да березы боговы». Она говорит:

«Нет, мои эти ели и эти березы! А видишь, летят по реке лебеди и утки?» — «Ну что, лебеди и утки боговы!» — «Нет, мои эти лебеди и утята!»

* * *

«Учись — свой ум точить!» И ты, творческая душа, руководитель, передовик, оттачивай свой ум и свою речь на алмазном камне художественной литературы.

Ты, дорогой мне человек, перекинемся душевным словом: каких писателей ты успел полюбить? Я, например, люблю Чехова и Пришвина. По-моему, никто так, как Чехов, не видит человека.

Лаконизм, простота, изящество, высокая художественность — все собрал в себе Чехов. И Пришвин: уж ты все свои бока обтер, лазая с ним по тундрам, по лесам, по горам, по долам. Это он научил тебя видеть и понимать природу, и землю, и всякую тварь, на ней живущую.

Гляжу на Чехова, на Пришвина. Они ничем от нас не отгорожены, как и те светлые, которые жили и творили в прошлом столетии.

* * *

Если хочешь стать добрым, разумным и желанным собеседником, читай книги, в которых словам тесно, а мыслям просторно. Найди поэта, который видит солнце «и в малой капле вод».

Полюби книгу, которая научит тебя видеть «разумное, доброе, вечное». Читай то, что обогащает твой ум.

Если в тебе самом есть содержание, то и каждый твой день будет содержательным. «Хозяин что ступит, то дело найдет».

Когда научишься видеть, что «серенькое» русское небо богаче красок жемчужной раковины, когда почувствуешь глубину беседы простых людей, тогда любое твое слово к товарищам будет живым.

Как учиться у художника? Поживи с Чеховым. Вникни в те рассказы, где Чехов вяжет героя с природой.

Каким художником является Чехов в ряде своих «весенних» рассказов! Ранняя, зыбкая весна, недавно оттаявшие поля, подмерзшие лужицы — будто карандашный набросок. Но велико изящество этих скудных линий. Чехов как истинный поэт видит, что сквозит и тайно светит в этом

предначатии русской весны.

Чехов не берет взаймы и у словесности фольклорной. Речь его разительна богатством мысли. Чехов облекает мысль в простые слова, «но им без волненья внимать невозможно». Иной чеховский рассказ «тих, как день ненастный», но оттенки северного жемчуга нежнее и изящнее брильянтовых изделий. В противоположность, например, Гоголю, у Чехова нет речений роскошных, обворожительных.

Тонкое изящество чеховской мысли таково, что вопрос — «язык чеховских рассказов вместе или рядом с живой народной речью?» — вопрос этот окажется примитивным или тяжеловатым.

* * *

Вопрос о том, как поживает «народная» речь в наши времена, есть вопрос школьный, отвлеченный. Быт города и деревни нивелируется. Устанавливается массовый язык.

Поэтически одаренные люди давным-давно равняются по тому или иному направлению общей литературы.

Я упомянул, что словарь печатной речи и речи устной в наши дни стал нейтральным. От газетного пошиба не убежишь.

Если говорить о разговорной речи, то как прежде, так и теперь люди не записывают своих высказываний. Устное красноречие не теряется. Если человек талантлив, если мышление его живо, таких людей ценят: «У него есть что призанять».

Над языком, над речью в первую очередь должен думать писатель.

Тусклое пренебрежение, косное предубеждение к «простонародному» языку зиждет язык литературный не на живой речи, а на литературно-бумажном наследии. Словарь русского народного языка просеивают не через решето, а через сито. Вместо доброй муки не пойдут ли в дело высевки?

* * *

Разговор о языке, о речи, как о всякой вещи, тогда будет на пользу, когда ты видишь в речах собеседника «раздумьице великое». Если он не удовольствован знанием, науками, ты добавляй. И спор не беда: в споре истина сыскивается.

«Народные русские сказки»[181]

Нет народа, который не имел бы сказок, и нет человека, который бы сказок не любил.

Дион Хрисостом, византийский поэт и философ, говорит о Гомере: «Гомер каждому, и юноше, и мужу, и старцу, столько дает, сколько кто может взять». Эти слова применимы к фольклору вообще и к сказке преимущественно.

Давно существуют письменность, грамотность, книга. Много раньше началось устное творчество, устное сказывание.

Законы построения устного художественного произведения отличны от творчества книжно-литературного.

Чтобы получить вещь, пригодную для устного сказывания, для произношения, надо выбросить из нее не только все вялое, явно бесцветное, бескровное, но и все нейтральное, все среднее. В устном произведении, по существу, композиция проста (относительно), интрига выразительна, характеры действующих лиц резко очерчены,

---

[181] Notes: 181

Рецензия на сборник сказок А. Н. Афанасьева. Опубликована в журнале «Литературное обозрение» в марте 1937 г. –*Примеч. ред.*

свет и тени контрастны.

Литературное произведение может стать почвой, рождающей сказки. Точно так же обилие народных рассказов и темы нашей современности может оказаться золотоносным песком, из которого время намоет немало чистого золота.

Сказок много, частью живущих в народе, частью записанных. Есть сказки, древние как мир, сказки-мифы, повествующие о богах и героях, о таинственных силах природы, о человеке. Некогда самый процесс сказывания являлся делом магическим, сказка почиталась откровением.

Мы любим сказку как род поэзии, ценим ее язык, образность, остроумие.

Даже в городе, тем более в деревне, в лесу, в поле, на покосе, на рыбных промыслах, на пароходе дальнего плавания, в вагоне дальнего следования, в избе в долгие зимние вечера — постоянно создается обстановка, удобная для беседного сказа. Живое слово незаменимо.

Если сказка потеряла свое магическое значение, утратила амплуа «священной истории», то интерес к ней как занимательнейшему времяпрепровождению остр по-прежнему. Книга может быть талантливой, может быть бездарной, она может лежать без употребления и дни, и

годы. Устное сказывание не может быть плохим или безразличным. Тогда оно перестает существовать, его не будут слушать. Книга лежит, «ни пить, ни есть не просит», а сказочник вот сейчас, сию минуту должен захватить своих слушателей, все время держать их в напряжении.

Вот почему настоящая сказка всегда крепко сбита, скульптурно-рельефна. Без этих свойств сказ гибнет.

Чтецы-артисты нередко исполняют сказку с эстрады, исполняют весьма художественно. Но это все не то, что живет где-нибудь на Севере в промысловом стане, при свете лучины или керосиновой коптилки, когда сказочники один перед другим рассказывают сказки целую ночь, смеются и плачут с аудиторией, приплетают последние новости, задирают то одного, то другого из слушателей. И хоть бы только пять минут балагурил такой посказатель, хотя бы два часа говорил, его «слово» всегда будет стройным, цельным организмом.

Вразрез с этим требованием народного сказывания — полностью уложить словесное произведение в любой участок времени, отнюдь его не уродуя, — поступают вышеупомянутые чтецы-актеры. Они произвольно вырубают при-

глянувшийся им кусок из книги, сделанной для прочтения, и преподносят этакий короткий обсечек публике… Периоды, скобки, косвенная речь, все книжные особенности напоминают в этом случае платье, вывернутое швами наружу.

Сказка всегда полярна натурализму. Вот слышанные мною на Севере «сказочные» объяснения, почему ныне принято обращение «товарищ» и «ты» вместо «вы».

«Когда советы начали заводится, к Ленину приехали гости других держав. Они на смех приняли, что их называют „товарищ“. — Это детское слово. Надо: „господин такой-то“… Ленин созвал собрание, велел принести весы. На одну чашку положил слово „товарищ“, на другую — „господин“. Так „товарищ“–то о пол грянуло… Тяжелее золота.

Ленин на „вы“ говорить отменил. Говорит: будете называться на „вы“, дак выть век будете…»

Вот деталь народной поэтической биографии Владимира Ильича:

«Ленин родился, Маркс обрадовался. Письма писал еговым родителям: Володю смеряйте ниточкой и пошлите нитку мне в письме. Я узнаю, большой ли вырос».

Это все не быль. Но разве это ложь? Это — обра-

довались люди и от избытка чувства украшают биографию своего героя. Я говорил о том, что книга, роман, войдя в народ, может превратиться в сказку.

Лет десять назад, близ Белого моря, на лесопильном заводе по рукам грамотеев ходили «Зимняя сказка» Шекспира и «Пустынник таинственной гробницы», древний переводной роман. Грамотеи пересказывали прочитанное в казарме. Слушатели в свою очередь стали передавать и Шекспира и «Пустынника» в форме северной новеллы. Главы романа были перекомплектованы и упорядочены по принципу сказочной обрядности. Число действующих лиц сократилось на три четверти, по имени назывались только два основных героя, отпали описания природы и т. д. Как только «Пустынник» и Шекспир начали жить в устах сказочников, книжки эти перестали читаться. Между тем объем той и другой вещи не сократился. Естественно отпавшая книжная специфика заменялась подробностями и деталями устно-речевого мастерства. Это явление довольно редкое, обычно литературное произведение, перерождаясь в сказку, сокращается в объеме.

Показывая мне томик опять-таки переводного старинного романа «Родольф, или Пещера смер-

ти», соломбальский старик хвастал:

— Вот, парнишка читал три вечера, а я расскажу в час.

— Как же ты запоминаешь?

— Хорошо да худо помнится, а середне забывается.

Мы знаем, какой громадный интерес представляют записи сказок, например, Ончукова, Зеленина, Соколовых, знаменитые афанасьевские сказки для социолога. Достаточно упомянуть, что сказками интересовался В. И. Ленин.

Вл. Бонч-Бруевич в статье «Ленин о поэзии» приводит такие слова Ильича о фольклоре: «...на этом материале можно было бы написать прекрасное исследование о чаяниях и ожиданиях народных... в сказках Ончукова, которые я перелистал, — ведь здесь есть замечательные места. Вот на что нам нужно было бы обратить внимание наших историков литературы. Это доподлинно народное творчество, такое нужное и важное для изучения народной психологии в наши дни».

Упомянутые сказки Ончукова были записаны в конце XIX — начале XX века. Старейшим, капитальным собранием сказочных записей являются сказки Афанасьева.

Конечно, сказка, прочитанная в книге, не живет так, как живет она в устах народного сказителя. Не все сказки этого собрания равны по качеству. Но даже сквозь пыль и паутину плохих записей можно разглядеть руку, кисть народа-живописца.

Сказки, собранные знаменитым исследователем и собирателем русского фольклора Александром Николаевичем Афанасьевым, — наша гордость, наш золотой фонд, россыпи, изобилующие драгоценностями. Восемьдесят лет назад вышло первое издание «Народных русских сказок» Афанасьева. Многократно переиздававшиеся, они снова и снова возвращались в народ.

Если современная наука требует фонетической записи фольклора, точного воспроизведения говора, то «просвещенные» ценители народного творчества середины прошлого столетия поголовно были шокированы «языком простолюдинов» в первом издании афанасьевских сказок (1855 год). Ведь даже в Германии, родине фольклористики, знаменитые братья Гримм, издавая народные сказки, находили необходимым очищать, исправлять народный язык.

Подчиняясь таким авторитетам, Афанасьев иногда правил язык сказок, делая его «истинно на-

родным» в духе господствующих представлений о «русском стиле». Но, обладая художественным чутьем, он не посягал на текст записи, когда видел, что данная сказка блестяще отредактирована самим народом и записана хорошо.

Например, несомненно нетронутыми дошли до нас такие шедевры, как: «Лиса», «Колобок», «Журавль и цапля», «Судное дело ерша с лещем», «Байка о щуке Зубастой», «Теремок», «Репка», «Война грибов», некоторые сказки о Бабе-яге, об Иване-царевиче и т. д.

Издание сказок Афанасьева предположено выпустить в трех томах. В первом томе дан ряд сказок о животных, о силах природы, сказки волшебные и героические.

Сказки о животных — память тех времен, когда зверям приписывали все человеческие свойства, когда люди не сомневались, что рядом существует таинственный мир, государство животных со своим языком, законами, наукой.

Сказки показывают нам, каким видали и знали мир зверей, птиц, насекомых наши праотцы.

На Северной Двине коты всегда были гладкие, холеные. Блюлась заповедь «коту хорошо, дак и скоту хорошо». Оказывается, существовало поверие, что коты постоянно общаются с невидимым

домовым хозяином, от которого зависит здоровье скота. Так сказка соприкасается с жизнью.

Со стороны «звуковой инструментовки», ритма замечательны, например «Смерть петушка», «Мизгирь», очаровательна «Бабушка-задворянка».

Мир еще более нарядный и таинственный открывается у Афанасьева в волшебных сказках: Баба-яга, Кащей, братец Иванушко — сестрица Аленушка, Царство медное, Солнцева сестрица… Сказки, в частности афанасьевские, которые воспринимаются нами как поэтический образ, для историка, для социолога, для этнографа дают яркую подлинную картину мировоззрений, мироощущений, взглядов, бывших некогда всеобщими. То, что мы называем сказкой, некогда рассматривалось как бытовой факт. Писатель, минуя сотни пыльных исследований, по сказкам Афанасьева увидит мир таким, каким знало и видело его древнее общество…

В издательстве «Academia» вошло в привычку преподносить «сказочный русский стиль» в виде залихватски-кустарной «разлюли-малины». Очевидно, издательство не подозревает, что как раз в области оформления книги, украшения рукописей уровень подлинно народного искусства

чрезвычайно высок.

Плохое и хорошее, точно насмех, перемешано на страницах книги. На одном и том же развороте тиснуты заставки разных стилей.



В бумагах старых моих и разбросанных попался мне портрет Бориса Викторовича Шергина, сделанный мною в 1966 году, в конце года — скорей

всего, в сентябре. Я только что познакомился тогда с ним, это была, пожалуй, наша вторая с ним встреча.

Слушать речь народную[182]

Интересной мне кажется та дискуссия о стилистике, что идет в «Литературной газете». Множество вопросов поднято. Я не оспариваю чьей-то точки зрения, я хочу — попутно — раздумывать свое: рядом или вместе жительствуют речь литературно-книжная и речь устная, разговорная?

И мне хотелось бы вспомнить следующее.

Судьбы русской речи, литературной и устной, судьбы русского языка весьма любопытны.

В десятом столетии Русь входит в орбиту великой средиземной культуры, центром которой являются Константинополь, Афины, Рим, Александрия.

Византийская, эллинистическая литература распространялась у нас в переводах на славяно-болгарский язык. В те времена славянские наречия были близки между собою. Спустя некоторое время русские люди сами стали ездить в

---

[182] Notes: 182

Отклик на статью В. В. Виноградова «Заметки о стилистике современной советской литературы» («Литературная газета», 19 октября 1965 г.). Опубликован в «Литературной газете» 23 декабря 1965 г. –*Примеч. ред.*

Константинополь для получения образования, для перевода греческих книг.

Но переводы делались не на живой русский, народный язык, а все на то же славяно-болгарское наречие, которое, по традиции, становится нашим литературным языком.

Но в эпоху татарского ига эта традиция сыграла большую и ценную роль. Мрачной была эпоха татарщины, но и в эту тяжкую пору Русь всеми силами поддерживала духовное общение с Константинополем, Софией, была в курсе философских и литературных течений Восточной Европы.

В этих планах великий труд приняла на себя группа образованнейших людей, объединившихся в Москве в четырнадцатом веке в княжение Димитрия Донского.

Благодаря политической и культурной деятельности этих лиц над Русской землей засияли зори освобождения.

Но мы толкуем о литературном языке. В число упомянутых московских деятелей входил замечательный поэт Епифаний. Современники дали ему титул Премудрый.

Епифаний получил образование в Константинополе, блестяще изучил классическую

литературу. Вернувшись на родину, жизнь свою посвятил литературе.

Несравненна щедрость, с которой Епифаний рассыпает перед читателями богатства русской речи. Удивительно изящество литературного слога. Епифаний пишет прозой, проза звучит как музыка. Особо по вкусу были русскому человеку лирические отступления поэта. Например, «Плач пермских людей о Стефане». Плач этот нежен и красноречив.

Удивительное дело: читая Епифания, забываешь, что он спрягает глаголы и склоняет существительные не по-русски. Такова сила литературного таланта.

При всем при том обособленность литературной речи усугубила в ней свойства схоластики.

В то же время могучие потоки живой устной речи нарушали запруды и преграды. Ведь чувства свои — и радость, и горе, и гнев — человек выражает природной своей речью.

В переписке царя Ивана IV с князем Курбским (XVI век) устная речь колоритно врывается в письменность. Царь Иван, книжник и начетчик, сначала выписывает цитаты на «словенском» наречии. Но сердце у царя яро, в рамках книжного языка тесно. Он с полуслова перескакивает на

родную речь:

«Единого моего слова гневного ты стерпеть не похотел. Ко врагу нашему, кралю Жигимонту сбежал. И оттоле лаешь на нас, как пес из-под лавки. Только укусишь не можешь… Вы будете государить, а царь при вас, что староста в деревне: сиди да вам в рот гляди и притакивай».

Из письма Ивана IV шведскому королю Густаву Вазе:

«В которых своих чуланах ты, Густав, сыскал, что ваш род от Августа? А наши купцы, бывши в Стекольном (Стокгольме. *–Б. Ш.*) видели, как родитель твой, в рукавицы нарядясь, ходит с кнутом по торгу, у кобыл зубы считает, коней торгует. И потому ваш род самый мужицкой…»

У царя Ивана разговорная речь прорывается стихийно, сгоряча. Попутно он лепит «славизмы».

Застойна была литературная речь, но со дна били родники искрометной устной речи.

В последующем, семнадцатом веке неожиданно, как набатный колокол, раздается призыв протопопа Аввакума в защиту русского народного языка. Столетие спустя узаконил русский язык Ломоносов: он вводит систему стилей: «высокий штиль», «низкий штиль». Аввакум признает толь-

ко просторечие. Этот бунтовщик-раскольник, скитаясь по тюрьмам, по ссылкам, неутомимо пишет, уговаривает, утешает, проклинает. Эта литература распространялась в списках. В народе говорили: «Светлее солнца письма Аввакумовы. Иное и со смеха уморит».

Знаменитую «Автобиографию» Аввакум начинает декларацией:

«…Люблю свой русский, природный язык, виршами философскими не обык речи красить».

Он пишет царю Алексею: «Вздохни-тко по-русски. Ведь ты, Михайлович, русак, а не грек».

Блистители литературных норм до крайности возмущались стилем Аввакума: «Это — неистовых баб басни».

Восемнадцатый век. Петр Первый недаром сказал: «Все флаги в гости будут к нам». Распространяются переводы с немецкого, французского. Увлечение Западом стало модным. По «маниру огородов Версальских» начали одеваться и писать стихи. Поэты, подражая Корнелю и Расину, взялись за лиру. На Руси временно прописались музы и Аполлон.

Все это видится как бы предвесенняя мокропогодица. Наступала весна. Смотрительно и промыслительно русский народ оснастил мно-

гоносный корабль, сокровищницу песенного слова.

Архангельский мужик Ломоносов подрубил ветхие подпоры, содержащие корабль на берегу. Славно и державно пошел корабль в плавание.

И первым кормщиком на этом корабле явился Пушкин.

Отсюда началась новая эра для жизни языка русского.

Тургенев называет русский язык великим, могучим, свободным. Здесь содержится похвала и народному устному слову.

Блистательная русская классика XIX столетия и в наше время ставится за образец.

Радиопередачи для старшеклассников на тему о «„е́же“ право писати и право глаголати» всегда кончаются фразой: «Учитесь языку у классиков».

Знакомый подросток внял этому совету. Окидывая взглядом период в полстраницы из «Войны и мира», говорит: «Думаю разобрать этот период сначала по частям речи, затем по частям предложения»...

Помню, гимназический преподаватель русского языка, подводя итог литературным красотам XIX столетия, восклицал: «Это — божественно! Мгновенье, ты прекрасно, остановись!»

Наверное, и в XV веке, услаждаясь красотами Епифания, люди говорили: «Краше не было и впредь не будет».

Очевидно, нельзя устанавливать литературные каноны и нормы, основываясь на классике того или другого столетия.

Меня спросят: «По-твоему, народная устная речь и сейчас остается былинной, песенной, сказочной?»

Я отвечу: «Нет! Все течет, все преходит, все меняется».

Конечно, у вдумчивого, мыслящего писателя в самом себе, от ума и сердца создается его литературная речь. Но пусть он выйдет из своей «кабины». На заводе, в колхозе, на любой разработке, в свободные часы всюду увидит кучку людей, с удовольствием кому-то внимающих. Этот «кто-то» — их рядовой товарищ, но у него дар слова. Кинокартину, радиопередачу, газетную статью он осмысливает по-своему, речь льется, как вешний ручей. Газетные термины кажутся камешками на дне этого ручья.

Всегда прибыльно для писателя слушать народную речь. Тогда и устное слово, и слово литературное будут не рядом, а вместе.

Словарь поморских и специальных слов и выражений, объяснение собственных имен и названий

Адмиральский час — так с петровских времен и почти до революции назывался в Архангельске полдень.

Аксинья-полузимница — 24 января старого стиля. По народному календарю — середина зимы, когда уже прошла половина холодов.

Аредовы веки (Аред — мифическая личность, упоминаемая в Библии, достопамятная удивительным своим долголетием) — народное русское выражение удивительного долголетия, равнозначно с «Мафусаиловы годы».

Афанасьев день — 18 января старого стиля. С этого дня кончается полярная ночь, в полдень показываются утренние зори. Со 2 февраля старого стиля появляется солнце, светлое время увеличивается с каждыми сутками, постепенно переходя в беззакатный северный трехмесячный день.

Барк, барка — океанское парусное судно, у которого задняя мачта снабжена косыми парусами,

а остальные имеют прямые паруса.

Бахилы — высокие кожаные сапоги на мягкой подошве, с круглыми носками, сшитые на прямую колодку, удобные для хождения по толстому льду в зимнее и летнее время, употребляются поморами на промыслах.

Баюнок (от слова «баять») — сказочник.

Берчатый (от слова «бердо») — узорчатый; узорчатое нецветное тканье.

Благо — много.

Блазнить — мерещиться, казаться, представляться.

Бот — род лодки; ходит на веслах или под парусом, в наше время применяются моторные боты.

Братыня — деревянный или медный сосуд для браги или кваса.

Бриг, бригантина — типы легкого двухмачтового судна: у брига прямое вооружение, у бригантины — вторая мачта с косыми парусами; строились на Севере в XVIII–XIX веках.

Буево — открытое возвышенное место.

Бус, бусель — мелкий дождь, мокрый туман, морось.

Бутенант — воинский чин в польской армии во времена польской оккупации 1612 года.

Быванье — событие, происшествие.

Быстрина — течение, быстрота, быстрое течение воды.

Важенка — самка оленя.

Вап, или **вапа** — краска.

Варака — гора, крутой холм, скалистая гора у берега моря.

Ватерлиния — линия или полоса, наведенная краской по корпусу судна, от носа к корме. Глубже этой линии судно при погрузке не должно садиться в воду.

Веденьев день — 21 ноября старого стиля. По народному календарю — время обильных снегопадов: пошла настоящая зима.

Велизария питает — Велизарий, знаменитый византийский полководец (499–565), после громких побед над персами и другими врагами Византии в результате дворцовых интриг подвергался временной опале, которая впоследствии и дала повод к легенде об ослеплении Велизария, в которой упоминалось, что мальчик-поводырь собирал подаяние для прокормления несчастного Велизария.

Верес, вереск — можжевельник; вересовый — можжевеловый.

Верфь — место, где строят суда и корабли.

Ветреница — шитый из разноцветной материи

длинный и узкий флаг, показывающий направление ветра; прикреплялись на длинных шестах. Встречались и служили скорее украшением в Архангельске, включая начало XX века.

Ветхое (ветховое) озеро — озеро, в котором рыба ловится только на ветхом (ущербном) месяце.

Взводень — сильное волнение на море; крутая, большая волна, крутой вал.

Вздохнуло море — начался прилив.

«Виноград (то есть сад) российский» — книга Андрея Денисова (1675–1730) о преследованиях, которым подвергались со стороны церкви и царской власти староверы в конце XVII — начале XVIII века. Андрей Денисов основал на реке Выг крупное поселение староверов, которое стало своеобразным культурным центром Поморья (так называемая Выгореция).

В исподи головой — низко склонив голову.

Вняться — вникнуть, понять.

Вода большая — прилив.

Вода кроткая — отлив, состояние воды во время наибольшего отлива, затишье при смене отливно-приливных течений.

Вода малая — отлив.

Вож — вождь.

Волощане — жители волости.

Воротиша — возврат; без воротиши — без возврата.

Во срету — навстречу.

Всток — восточный ветер; порывистый, часто штормовой силы ветер с востока, дующий в западном устье пролива Маточкин Шар.

Всхожее и закатное солнце — восход и закат.

Выть — еда, прием пищи. В обычных условиях у поморов было три-четыре выти в день: первая выть — завтрак между 4 и 6 часами утра; вторая выть — обедник (обед) в 9 часов утра; третья выть — паужина — между обедом и ужином; четвертая выть — ужин (ужна). На промыслах были две главные выти: первая — в 9 часов утра и вторая — в 3 часа дня.

Вязьбленое тканье — род сквозной узорчатой прошивки на ткани, сделанной посредством выдергивания поперечных ниток, мережка.

Гальот — вид морского парусного судна, разновидность шхуны голландского образца, на Севере появился с XVIII века.

Гандвик, Гандвиг — песенное название Белого моря, слово скандинавского происхождения.

Гарчитъ, гаркать — хрипло лаять.

Глыза — глыба.

Глядень — 1) знак на берегу (обычно крест или

пирамида из камней), указывающий безопасный фарватер при заходе в становище или пролив; 2) возвышенный пункт у становища, с которого открывается широкий вид на море. Отсюда наблюдали за морем.

Гнус амбарный — мыши.

Говоря — речь, разговор.

Голк — крик, галдеж.

Головщина — уголовщина.

Голомень, голомя — дальнее от берега, открытое море; голомянный — уходящий далеко в море.

Голубец — голубая, бирюзовая краска.

Горло, гирло, горловина — пролив, соединяющий два бассейна. Горло Белого моря — пролив, соединяющий северную часть Белого моря с Баренцевым морем.

Гость — купец.

Грумаланы (груманланы) — русские промышленники, плававшие на Грумант (Шпицберген) и зимовавшие там.

Губа, губица — большой залив, в который впадает более или менее крупная река. Губа носит название той реки, устье которой выходит в губу.

Губка, или **лахта** — небольшая губа, мелковод-

ный морской заливчик.

Гудок — древнерусский музыкальный инструмент, похожий на виолончель.

Гусиная земля — у поморов так называлась некая северная земля, где покоятся души храбрых и добрых людей.

«Де мортуи низиль ни бебэне» — искаженная латинская поговорка: «De mortuis aut bene, aut nihil» — «О мертвых (говори) или ничего, или хорошее».

Домовище — гроб.

Досельный — старинный.

Дравить (то же, что драить) — тереть, чистить; палубу дравить — мыть палубу.

Дресва, дресвяный камень — камень из породы гранитов, в пережженном и измельченном виде употребляется для мытья полов, палубы и деревянных тротуаров; для этого раскаленные в печи камни бросают в холодную воду, отчего они становятся хрупкими, а потом измельчают до крупнозернистого песка.

Егорьев день — 23 апреля старого стиля, время весеннего половодья на Севере. «Егорий — с водой, Никола (9 мая ст. ст.) — с травой, Троица (50-й день после Пасхи) — с листом».

Езы — колья, которые вбивают в дно реки и

переплетают прутьями для ловли семги.

Еконская губа — становище Еконга в восточной части Мурманского берега.

Ела (отсюда — ялик) — легкое на ходу беспалубное однопарусное судно с высоким носом и кормой; применяется для рыбного промысла у мурманских берегов и в Норвегии, откуда и взят поморами образец этого судна.

Жадать — любить, ценить, жадно хотеть, жаждать.

Жать в себе — сдерживать(ся), зажимать.

Жира (жировать) — богатство, роскошество.

Заболонь — ближайшая к коре, молодая часть древесины. Превращается в годичное кольцо. Заболонь, как недостаточно окрепшая часть древесины, при подборе судостроительного материала удаляется.

Задвенный — удаленный, далеко задвинутый.

Залежка — скопление зверя на льдине или на берегу.

Зарод — стог сена.

Зарудить — окровавить, окрасить кровью.

Зарупасить — загромоздить льдом, наторосить.

Затор — стеснение льда в устье весною.

Звягливо — крикливо; звягливо и рогато —

крикливо и неуклюже.

Здвиженье — Воздвиженье, церковный праздник 14 сентября (ст. ст.). По народному северному календарю с этого дня начинается холодное время.

Земляна старуха — древняя старуха, «в землю зрит, край могилы ходит».

Зимнее море — часть Белого моря, прилегающая к Зимнему берегу.

Зимний берег — восточное побережье Белого моря от Двинской губы до Мезенской.

Знатливый — знахарь, ведун.

Зуек — северная птица вроде чайки. Зуйками называли у поморов мальчиков, работавших на промысловых судах.

Икотница (от слова «икота») — больная особой, вроде падучей, распространенной на Севере болезнью, кликуша; бранное слово у пинежан и мезенцев.

Казенка — каюта на судне, в которой помещался или хозяин, или кормщик.

Канон — правило, чин.

Канская земля — полуостров Канин, в прежнее время место безлюдное. «В Канский мох провалиться» — затеряться, пропасть.

Кантеле — музыкальный щипковый инстру-

мент вроде гуслей у финнов и карелов.

Карбас — парусно-гребное судно древнерусского образца для речного и морского прибрежного плавания. Карбас легок и поворотлив на ходу; распространен на Севере до наших дней. Морские карбаса были с палубой.

Карбасник — владелец карбаса.

Каяне — от названия города Каяна, на территории нынешней северной Финляндии, с которого шведы (свеи) не раз делали набеги на Поморье.

Кемь — западный берег Белого моря с центром в городе Кемь.

Кережка — вид санок с плетеным кузовом; в них промышленники тащили за собой продовольствие и мелкие снасти.

Кожаный старец — в Соловецком монастыре старец, заведовавший запасами кожи и кожаных изделий.

Койда — деревня, и сейчас существующая в Архангельской области, в Мезенском районе.

Кокора, или **кекора** — ствол дерева с корневищем; при помощи ее связывают бимсы со шпангоутами. На речных судах заменяет шпангоуты.

Комоло — безрого.

Копылья, кополы, или **уторы** — вертикальные

стояки у саней, вделанные в полозья. «Поставить разговор на копылья» — заговорить о главном, основном; «с копыл сбиться» — потерять правильную нить в жизни, сбиться с панталыку,

Корабельщина — корабельный лес.

Корга — каменистый островок (или мель), образовавшийся у берега.

Корга, или **корг** — передний вертикальный брус, крепящий обшивку судна спереди, — форштевень.

Корела — западный берег Беломорья (Карелия).

Кормщик, или **коршик** — капитан морского промыслового судна.

Коробка нищая — презрительное выражение: на Севере нищие ходили с коробом или корзиной.

Кортома — аренда.

Костыч — косоклинный, с застежками по переду, сарафан у староверок.

Котляна — судовая артель промышленников на моржей.

Коча, коч, или **кочмара** — древнейшее парусное палубное судно, устройством схожее с лодьей, но значительно меньших размеров. Коча известна на Севере еще во времена новгородского

владычества.

Кошка — отмель.

Креневой — крепкий.

Кренья — полозья.

Крестовые братья — названые братья.

Кротеть — ослабевать, уменьшаться. Кроткая вода — отлив. Зима окротела — конец зимы.

Кряж — выступ горы.

Кудесы — волшебство, чародейство.

Кукуль — шапочка из меха или тонкого сукна вроде капора или чепца, носили монахи и дети.

Кулемка — ловушка для зверя.

Кумирические боги — боги античной мифологии (от слова «кумир» — изображение языческого бога).

Кутер — вид морского парусного судна; строились на Севере в XVIII и XIX веках.

Куфман *(норвежск.)* — купец.

Лазори — утренние зори.

Лахта — небольшой морской залив.

Лая — приток Северной Двины.

Левкас — смесь клея или олифы с мелом; левкасом густо покрывали предмет, подлежащий окраске.

Лекала — модель, форма частей судна в натуральную величину или части деревянного

чертежа, сколоченные на месте постройки судна. Расположение лекал определяет очертания будущего судна.

Лесина — дерево.

Лестовка — четки у староверов; полотняные четки клали с умершими.

Лета 7158–1650 года — летосчисление в допетровской Руси, до 1700 года, велось «от сотворения мира» (1650 + 5508).

Летние горы — то же, что и Летний берег, — часть побережья Белого моря, влево от устья Двины.

Лихорадство — злодейство, злой умысел, лиходейство.

Лихтер — буксирное разгрузочное судно. Товары с больших кораблей выгружаются на лихтеры и так доставляются на берег.

Лодьма — деревня в устье Северной Двины.

Лодья — самое большое из поморских судов, морское палубное трехмачтовое парусное судно. Древняя лодья подымала груз в 12 тысяч пудов.

Лоншак — годовалый.

Лопь, лопский берег — так в старину называли Кольский полуостров, где жили лопь, лопины, или лопари — исконные жители Кольского полуострова (отсюда — Лапландия).

Льяло — приспособление для литья пуль.

Мана (от слова «манить») — обман.

Мара (отсюда — марево) — мираж, густой туман.

Матерая вода — места с большими глубинами, глубь; матерый берег — материк; матерый лед — ледник или глетчер.

Матица — балка, которая поддерживает доски потолка.

Медведь — остров Медвежий.

Межонное время, также **меженник, межен** — тихие дни в середине лета, когда почти совсем нет ветра; уровень рек в это время принимается за норму при исчислении нормального уровня.

Михайлов день — 8 ноября старого стиля; на Груманте начинается полярная ночь.

Многоядная (от слова «многоядение» — обжорство) — много пожравшая.

Мягкие шесты — то есть приятные на ощупь.

Набат — барабан.

Наблюдник — полка, на которую ставят тарелки на ребро.

Наволок — возвышенный мыс.

Навь — мертвец; навий — относящийся к мертвому.

Навыкновенные дохматы (от слова «навык»)

— незыблемые правила; привычные, установившиеся порядки.

Накры — медные тарелки в оркестре.

Напрасный — внезапный.

Натодельный — для того сделанный; специально сделанный, приспособленный или предназначенный.

Нать — надо.

Находальник (от слова «находить» — набег, наскок) — участник набега, разбойник.

Немецкая слобода — район в Архангельске. Здесь с давних времен жили домами и дворами немцы, англичане и голландцы. До войны 1914 года Немецкая слобода слыла самой богатой частью города.

Неможет (отсюда — неможется) — болеет.

Ненокса — посад на берегу Белого моря.

Несоблюдно — небрежно.

Нестудированный (от слова «штудировать») — неученый.

Николин день, Никола-вешний — 9 мая старого стиля, на Новой земле — поворот от зимы к весне, прилетают птицы.

Обаятельный — волшебный, оговоренный (от слова «обаять» — околдовать, очаровать).

Обмен *(ругательн.)* — обманный, поддельный,

фальшивый человек.

Ободверина — косяки у дверей.

Огнело (от слова «гнет») — придавило, прижало.

Одинакий — единственный.

Озноб — простуда.

Окладное бревно — основание дома.

Оли — даже.

Окутка — (отсюда — окутывать) — одеяло.

Оприкосить — сглазить.

Орда — небольшой зверек из редкого, уничтоженного сейчас вида полосатой белки.

Остуда — холодок, здесь — холодное отношение.

Относ, унос; попасть в унос или относ — быть унесенным на льдине.

От Петрова до Покрова — от Петрова дня (29 июня ст. ст.) до Покрова (1 октября ст. ст.).

Отпрядывать — отскакивать; отпрядыш, отпрядный камень — отпрянувший, отскочивший от берега в воду камень, одиноко стоящий в воде камень.

Очередь — степень, чин.

Павесть — слухи, недостоверные вести (в отличие от вестей).

Паволока — холстинка, которую наклеивали

на доску, приготовляя последнюю к живописи; потом покрывали левкасом, лощили, полировали, а после этого наносили рисунок.

Палагунье, палагушка (пол-лагуна) — деревянный лагун для молока.

Партес — нотное пение по партиям.

Паужна — третий в течение дня прием пищи у поморов-промышленников (см. слово «выть»), еда между обедом и ужином.

Переладец — набор колокольчиков, аккомпанирующих гудку.

Перешерстить — перебрать, переменить.

Пластать — гореть широким, сильным пламенем.

Побочина — боковая обшивка у судна.

Побывальщина — быль, бывальщина.

Поветерь — попутный ветер; на поветерь — по ветру, на попутный ветер.

Погудальце — смычок для игры на гудке.

Поддон — нижний настил судна, в отличие от верхнего настила — подтоварья.

Подтоварье — деревянный настил, идущий над днищем судна, на который кладут груз; предохраняет груз от подмочки.

Пожиточный — имеющий много пожитков (имущества), зажиточный.

Поклониться большим обычаем — поклониться в пояс (знак большого уважения).

Покрут — команда промыслового судна; покрут обряжать — набирать, вербовать команду.

Полдень — юг. На полдень — на юг.

Поливной камень — камень, покрываемый водой во время прилива.

Полудник (на полдень, на юг) — южный ветер.

Попажа — попадание, попадать.

Порато — очень, весьма, сильно, крепко.

Породить — прибавить, укрупнить, прибавить силы, здоровья.

Порозно — порожно, пусто.

Порядовный — идущий по одной линии, соседний.

Поседатеть — поседеть.

Пословный — повинующийся по первому слову.

Посолонь (по солнцу) — поворот по солнцу, в направлении движения солнца.

Постановный — степенный.

Постать — статность, осанка; постатейно — статно, прямо, с достоинством; постатейно поет — поет как подобает.

Постель реки — русло реки.

Прибегище — пристань, причал для кораблей.

Приглубый — крутой (под водой) берег, под которым глубоко.

Приправить — приняться; приправитъ работы — приняться за работу.

Причеть — поэтические речи, распеваемые на Севере женщинами в торжественных случаях жизни.

Провещиться — говорить, высказываться (от слова «вещать»).

Прокурат — проказник, затейник, шутник.

Прохватиться — спохватиться.

Пружить, опружить — опрокидывать.

Прядень — пряжа.

Пых — дух; **пых перевести** — дух перевести.

Радеть — усердно желать, стремиться.

Радоница — родительский день, день поминовения усопших.

Разводье — время смены течений; лед в это время расходится, образуя проходы для судов.

Рангоут — общее название всех деревянных или стальных брусьев на судне (мачты, реи, стеньги, бушприт), на которых укреплены паруса.

Раньшина — небольшое поморское судно древнего типа, приспособленное для ранних весенних промыслов.

Реями ходить — лавировать.

Рождество — христианский праздник рождения Христа, 25 декабря по старому стилю.

Розный — рваный.

Ропака, ропаки — нагромождение льда, гряды стоящих по берегу льдин.

Рочить *(мореходн.)* — закреплять, привязывать; рочить шкоты — крепить шкоты.

Румпель — рычаг для управления судном.

Салма — пролив между островами или между островом и материком.

Сальница — сковородка с налитым в нее салом. В носок вставлялась льняная светильня.

Свеи — шведы.

Свестен — имеет вести, знает.

Свиль — винтообразно расположенные волокна в дереве, делающие его непригодным для обработки.

Сгорстать — схватить в горсть.

Семенов день, или **Семен-летопроходец** — 1 сентября старого стиля, начало осени.

Сивер, или **Север** — северный ветер,

Сирин (от греческого слова «сирена») — в памятниках древнерусской письменности и в народных сказках фантастическая птица с женским лицом и грудью.

Скоморох — бродячий актер в Древней Руси.

Скорополучно — скоро и благополучно.

Сличные — схожие друг с другом, похожие лицом, одинаковые.

Сменный ветер — переменный ветер.

Соломбала — древний пригород Архангельска; здесь долго сохранялся старый быт.

Сполохи — северное сияние.

Сретеньев день — 2 февраля старого стиля, начало промыслов тюленя.

Сряжаться — собираться.

Стадный (от слова «стадо») — многий, многочисленный.

Становой — главный.

Ста́рина, или **стари'на** — эпическая песня.

Статки — остатки, наследие, наследство.

Стекольный — Стокгольм.

Степень — ступень; стать на степени — стать на ступени; степенные — здесь: члены правления.

Столешница — дощатая поверхность стола, верхняя доска.

Страдники — бранное слово; буквально — крестьянин-бедняк, нанявшийся в работники на летнее время (в страду), последний бедняк в деревне.

Странный человек — странник.

Стреж — фарватер реки.

Строчное пенье, солевое — музыкальные термины у поморов.

Сувой, или **токунцы** — беспорядочное волнение при встрече противоположных течений, при встрече ветра и течения.

Суземок — малонаселенное пространство на Севере.

Суземы — дебри.

Сурядный — опрятный, порядочный, чистоплотный, правильный.

Сыгровка — репетиция.

Таланесть — талант, способность.

Такелаж — веревочная оснастка судна; стоячий такелаж — снасти, которые удерживают в надлежащем порядке мачты и прочие брусья, служащие для установки парусов: бегучий та келаж — снасти, посредством которых производится управление парусами.

Тана губа — Тана-фиорд.

Телдоса — деревянные щиты на дне, внутренняя обшивка палубного судна.

Тертуха — массажистка.

Тинок, или **тинек** — моржовый клык.

Титла вытвердить — выучить условные обозначения принятых в церковнославянском языке

сокращений (от слова «титло» — надстрочный знак, обозначающий пропуск букв, сокращение, характерное для некоторых слов церковнославянского языка).

Тиун *(стар.)* — судья низшей степени.

Толкучие горы — беспорядочно расположенные горы.

Торосовитый — малопроходимый из-за скопления торосов — морских льдов.

Триодь цветная — собрание пасхальных песнопений в православной церкви,

Троицын день — начало лета на Севере; по церковному календарю — пятидесятый день после Пасхи.

Трудники, или **годовики** — подростки, которых родители «по обещанию» отдавали на срок в Соловецкий монастырь, одновременно они обучались судостроительному мастерству.

Тулиться — прятаться, укрываться.

Турья гора — гора на западном берегу Белого моря.

Туск (отсюда — тусклый) — непрозрачное, тусклое небо.

Угор (от слова «гора») — возвышенный, гористый берег, не затопляемая приливом часть берега.

Удробел — оробел.

Упряг — мера рабочего времени в крестьянстве в прежнее время, от отдыха до отдыха, — примерно треть рабочего дня.

Усадить — украсть.

Устьяне — жители речного устья.

Утлый — ветхий.

Утренник — весенний или осенний мороз по утрам, до восхода солнца.

Ушкуйники, или **ошкуйники** (от слова «ошкуй»), **ушкуйная голова** — первоначально — промышленники на белого медведя; смелые, отчаянные люди. В Древней Руси ушкуйниками назывались ватаги новгородцев, которые в больших лодьях — ушкуях — ходили на дальние северные реки и занимались разбоем.

Фактория — торговая контора и склад купца за морем, в данном случае — на Груманте.

Хехена — гиена.

Черева — внутренности рыб.

Чернопахотные реки — реки, по берегам которых преобладало земледельческое население.

Читать по толкам — читать бегло, в отличие от чтения по слогам.

Чудь — чудское, финское племя, в древности населявшее Северную Русь.

Чунка — детские санки с высокими побочинами и спинкой — кузовом.

Шаньга — ячменная лепешка на масле, сметане, с крупой.

Шаять — тлеть.

Шелоник — юго-западный ветер (с Шелони).

Ширша — деревня близ Архангельска.

Шкуна — вид морского парусного судна; строились на Севере в XVIII–XIX веках. На шкунах поморы плавали почти до наших дней.

Шнека — рыбацкое однопарусное судно на Мурмане, образец которого взят у древних норманнов. На шнеках поморы промышляли треску еще в начале XX века.

Шнява — род поморского судна, отличалось неповоротливостью.

Штевни, носовой и кормовой, — брусья, сдерживающие концы досок, образующих обшивку судна. Поморское название штевня — корч или упряг.

Этажиссе *(простонар.)* — возвышаешься, задаешься.

Этта — здесь.

Юрово — стадо морского зверя; юровщик — староста артели на промысле морского зверя, самый опытный мореход-промышленник.

Ягра — протянувшаяся от берега в море подводная отмель.

Ярь — медная окись, употребляемая в качестве зеленой краски.



Юрий Коваль
Веселье сердечное

Совсем еще недавно в Москве на Рождественском бульваре жил Борис Викторович Шергин.

Белобородый, в синем стареньком костюме, сидел он на своей железной кровати, закуривал папироску «Север» и ласково расспрашивал гостя:

— Где вы работаете? Как живете? В каких краях побывали?

До того хорошо было у Шергина, что мы порой забывали, зачем пришли, а ведь пришли, чтоб послушать самого хозяина. Борис Викторович Шергин был великий певец.

За окном громыхали трамваи и самосвалы, пыль московская оседала на стеклах, и странно было слушать музыку и слова былины, пришедшие из давних времен:

А и ехал Илия путями дальными,

Наехал три дороженьки нехоженых…

Негромким был его голос. Порою звучал глуховато, порой по-юношески свежо.

На стене, над головой певца, висел корабль, вернее, модель корабля. Ее построил отец Бориса Викторовича — архангельский помор, корабел, певец, художник. И сам Борис Викторович был помор архангельский, корабел, певец и художник, и только одним отличался он от отца: Борис Викторович Шергин был русский писатель необыкновенной северной красоты, поморской силы. Истории, которые рассказывает он в книгах, веселые и грустные, случались во времена давние и совсем близкие, и на всех лежит печать какого-то величественного спокойствия, вообще свойственного северным сказаниям.

Поздней осенью 1969 года я вернулся из путешествия по северным рекам, сестрам Белого озера — Ковже и Шоле.

В Москве было выпал снег, да тут же потаял. Не осенняя, не весенняя, пасмурная и жалкая показалась из-под него земля. День за днем был темен и тускл.

Вдруг ударил мороз, начался гололед.

На Садовом кольце я видел, как перевернулся на всем ходу пикап, вышедший из Орликова переулка. Он опрокинулся на спину, обнажив грязное желтое брюхо, перевалился набок.

Колесо отделилось от него, пересекло улицу и,

ударившись о бордюрный камень, подпрыгнуло, улеглось у моих ног.

Каким-то образом из машины вылетела серая кроличья шапка. Ветер подхватил ее, и, размахивая ушами, покатился кролик по скользкому асфальту.

Выбрался из кабинки шофер, побежал по улице за шапкой. Я поймал ее, отдал бедолаге. Задыхающийся и полумертвый, он долго стоял рядом, смотрел издали на перевернутую машину.

— Тоска-то какая, — сказал он. — Тоска… беспокойство.

Мороз держался несколько дней. Он разогнал пасмурность, но тоска и беспокойство никак не проходили. Никакие дела у меня не ладились.

В эти дни разыскивал я Бориса Викторовича Шергина, которого не видел с весны, да не мог разыскать. Звонил к нему на квартиру, на Рождественский — Б–1–36–39. Соседи по коммунальной квартире ничего толкового сказать не могли.

— Где Борис Викторович — не знаем, а Миша в больнице.

Наконец из больницы позвонил мне Михаил Андреевич Барыкин, племянник и самый близкий в те годы друг Бориса Викторовича.

— А дядя Боря в Хотькове с лета остался, —

сказал он. — Захотел жить там дальше. Одному ему плохо, а я-то ведь в больнице. Живет у моей матери Анны Харитоновны. Дом голубой под шиферной крышей.

20 декабря, в субботу, я приехал в Хотьково.

Погода сделалась прекрасной. Морозное мандариновое небо, а снегу-то почти не было — иней да ледок на пожухлых травах. Встретились школьники, которые тащили домой елки. На них было приятно смотреть — новогодние ласточки.

На горке, над речкой Пажей, стояли сосны, яркие, медовые. Иглы их были тронуты инеем.

Я перешел Пажу по мостику, слабому, неверному. Поднялся на бугор. Дом голубой под шиферной крышей стоял замечательно, высоко и вольно. От дома далеко были видны хотьковские крыши, сосновая горка названьем Больничная, тропинка под соснами, узоры, изгибы реки, а правее — мост могучий, железнодорожный, за ним — чернокирпичный остов соборной церкви.

— Как вы речку перешли? — спрашивала меня, встречая, Лариса Викторовна, сестра писателя. — Мостик очень опасный. Мы его называем «мост вздохов». Ходит ходуном под ногами, подкидывает — тут и вздыхаешь… Ах, какая погода. Унылая пора, очей очарованье… — Лариса Викторовна

оглядывала меня добро. Седые букли придавали ей вид женщины из старого забытого альбома. — Эта кошка — настоящая муфта, — рассказывала Лариса Викторовна, пока я раздевался, а кошка терлась у ног, — залезет в форточку, как будто кто муфтой заткнул. Коты орут, а она смотрит из форточки — кто там есть, стоит ли выходить?

Появилась из кухни и Анна Харитоновна, хозяйка дома, дородная и — сразу видно — добродушная тетушка.

— Так с лета у меня и остался, — рассказывала она. — Не хочет один в Москве жить. А я говорю: живите, я и щей всегда наварю.

— Болеет Боря, — поясняла Лариса Викторовна. — Совсем не выходит. Да вот подите к нему в кабинет.

Борис Викторович сидел на кровати в комнате за печкой. Сухонький, с прекрасной белой бородой, он был все в том же синем костюме, что и прошлые годы.

Необыкновенного, мне кажется, строя была голова Бориса Шергина. Гладкий лоб, высоко восходящий, пристальные, увлажненные слепотой глаза и уши, которые смело можно назвать немалыми. Они стояли чуть не под прямым углом к голове, и, наверное, в детстве архангельские ребя-

тишки как-нибудь уж дразнили его за такие уши. Описывая портрет человека дорогого, неловко писать про уши. Осмеливаюсь оттого, что они сообщали Шергину особый облик — человека, чрезвычайно внимательно слушающего мир.

Как-то прошлым летом на Рождественском бульваре Лариса Викторовна показывала мне фото молодого Шергина.

— Боренька здесь похож на Гауптмана, — сказала она. — Верно ведь?

Я согласился, хотя толком и не помнил, как выглядит Гауптман, и мне вдруг очень захотелось нарисовать Шергина. Я тут же принялся за дело, набросал несколько портретов. Один из них попросил подписать на память.

Борис Викторович портрета не мог увидеть, но взял лист, положил на стол, подписал. Соразмерить подпись с изображением не удалось. Она получилась в левом верхнем углу и затерялась среди бурных разводов.

— Ну что, Ляля? — спросил он сестру. — Получился рисунок? Или опять я на Гауптмана похож?

— Ты похож здесь на Николая Угодника.

Лариса Викторовна ошиблась. Облик Бориса Викторовича Шергина действительно напоми-

нал о русских святых и отшельниках, но более всего он был похож на Сергия Радонежского.

— Сумерки! Сумерки! Сумерки!.. Времена темные. Мы с сестрой все вспоминаем, как в Архангельске уже готовились в это время ряженые…

В хотьковском «кабинете», в комнате за печкой, Борис Викторович рассказывал мне о своей нынешней жизни. Я рассказал о поездке на Белое озеро. Борис Викторович был прекрасный слушатель, не пропускал ни слова, заставлял повторять, сокрушался, что реки северные замусорены сплавом, смеялся иногда, как ребенок.

— А я вот сижу как приколоченный, — печально говорил он. — Да и вот Миша-то не ходит, в больнице лежит… уж такой мой душевный собеседник… Сумерки! Сумерки! Не успевает рассветать — и темно. А глаза как чужие стали… только и вижу окна переплет. А о Москве и думать не хочу. Буду Мишу ждать. Ночь не сплю, жду, пока рассвет, вот рамы обозначатся! Сколько вспоминается: вдруг всплывают речи, вот женщина плачет, свои у нее горечи, досады, плачет:

Под угор слезу на камушек,
Погляжу на Двину…

В комнате чувствовалось приближение Нового

года. На столе в банке стояла еловая ветвь. А кроме стола, кровати да табурета не было мебели. Главным героем комнаты было, пожалуй, окно. И сумерки уже туманили его, постукивали под ветром в стекло облитые ледяною коркой вишневые ветки, замороженные золотые шары оплетали прозрачный заборчик.

— А еще я по ночам петухов слушаю. Неверные здесь петухи, инкубаторские. Они не понимают полуночи. Поют как попало.

Тут Борис Викторович стукнул кулаком по столу, сильно рассердившись на хотьковских петухов.

Внезапно и Анна Харитоновна ворвалась к нам в «кабинет». Она, оказывается, с кухни услыхала про петухов.

— А ведь кур надо вовремя загонять! — возмущалась она. — Дурные петухи! Инкубаторские!

— Поют — ничего не понимают, — вставила с кухни и Лариса Викторовна.

— Как попало бродят! — завершил Шергин.

Тут я тоже возмутился поведением хотьковских петухов, изругал их на все корки, и Анна Харитоновна, которая видела меня впервые, сделалась мною довольна. Если ругает петухов инкубаторских, значит свой человек.

— Вы, Борис Викторович, ему еще про колдунов расскажите, — доброжелательно сказала она.

— Каких колдунов?

— Наших колдунов, хотьковских.

— А что, здесь колдунов, что ли, много?

— Ужас просто, — сказала Анна Харитоновна. — Колдуют с утра до вечера.

— Много, много колдунов, — с кухни заметила и Лариса Викторовна, — и очень разные. Могут болячку наколдовать, на корову порчу напустить. Но Бореньку колдуны уважают. Один обещал даже с глазами помочь, да вот не приходит.

— И на порог больше не пущу, — сказала Анна Харитоновна. — Болтун.

— Когда-то еще Сперанский предполагал заняться колдунами, — сказал Шергин. — У нас в Архангельске, помню, был суд над колдуном, у которого злая сила была. Я мальчишка был, гимназист, не вникал. А свидетелей была целая волость… Я-то был глупее теперешнего.

Настал вечер. На кухне хлопотала Анна Харитоновна. Заходили соседи, и я все ожидал какого-нибудь колдуна, да они не являлись.

Дружеский разговор писателя; его речь была разнообразна, образна. Я не хотел забыть эти промелькнувшие блики и жемчужины шергинского

разговора и кое-какие слова его записал прямо тогда в «кабинете». Свои-то реплики позабыл и в дальнейшем их опускаю. По словам Бориса Викторовича легко восстановить нашу беседу.

— Старые рассказчики говорят, что теперь культура слушанья упала. Слушать не умеют… В Архангельске я выступал весной сорок первого года на лесопильном заводе. Перед самой-то войной… Меня не отпускали рабочие. Я около трех часов рассказывал. Культура слушанья была высока.

Здесь надо отметить, что Борис Викторович не называл себя писателем, во всяком случае в разговорах со мной. Он считал себя артистом, рассказчиком. Свои вещи он готовил как устные рассказы и только через много лет их записал.

— Сейчас уже не рассказываю… Да уж и очи потухли, и голос пропал… Вот я теперь иногда начну что-нибудь сам себе рассказывать — это уж привычка. Я раньше думал — это свойство артистов рассказывать самому себе, а сейчас думаю — это свойство стариков. Кривополенова сама себе рассказывала. «Я, — говорит, — стенам рассказываю!» И рассказывает, рассказывает сама себе и хохочет, играет сама с собой… И сейчас в Москве, на Рождественском бульваре, выйду

на лавочку посидеть перед домом, а ребята московские, футболисты, как свечереет, соберутся вокруг меня — рассказывай! Радио они не слушают, телевизор надоел всем. Вот я слушал по радио выдуманные легенды о лопарях. Как будто немец какой написал! Там Севером и не пахнет! А передача для детей, для несчастных ребят. Редакторы звезд с неба не хватают!..

Интонации в Архангельске остались старые, словарь изменился… Мне уже не бывать в Архангельске. Меня ругают: «Ну уж ты, бросил родной город». А вот один человек, Третьяков его фамилия, мальчишкой еще прочел мои рассказы. И вот с друзьями — их было восемь человек — стали они копить деньги, чтоб поехать на Север. И поехали. Он до сих пор ездит. «Я, — говорит, — на Север, а жена на курорт». Так она на курорте там и осталась… Рассказы так подействовали, что люди деньги копили. Мне приятно…

Работаю сейчас мало, диктую кое-что сестре… Ляля! Сестра! — Лариса Викторовна на этот раз не отозвалась, была где-то в глубине дома, и Борис Викторович продолжал: — Диктую книгу «Слово о друзьях». Там жизненные резюме о людях… Ляля! Принеси, что вчера писали! Ляля! Сестра! Ух ты, глушня!.. Давно эту книгу пишу, много

лет уже. Это моя московская жизнь, опыт моих бесед с московскими рабочими, учащейся молодежью. Там я упоминаю разных своих старинных друзей, пишу и о том, как сейчас идет работа с молодежью, борьба с пьянством, с хулиганством. Вспоминаю в этой книге и отцовых друзей — моих учителей. Это были кораблестроители и мореходцы, но какие воспитатели! Они ведь имели дело с дружинами, с бригадами молодежи. Сборные дружины, сбродные, а умели обходиться без боя, без драки.

Второушин Конон Иванович, по прозвищу Тевтон, — вот был воспитатель! Директор технического училища в Архангельске спрашивает Конона Ивановича: «Какие у тебя педагогические приемы! Какие методы?» А Тевтон отвечает: «Какие методы? Когда я их воспитываю? За день ребята наработаются, а вечером повалом лягут в избе, а я лягу на лавке, и тогда начинается беседа. Я говорю, а они один за другим начинают засыпать. Я соберу портянки, мокрые валенки и рукавицы, все это положу на печку сушить, а сам писать сяду. Так и воспитываю… Душевное слово — главное в воспитании».

Из «кабинета» за печкой мы постепенно перебрались в гостиную, где был накрыт стол.

Собрались и друзья — хотьковские соседи, среди них были, назову точно, Надежда Сергеевна Козлова и Зинаида Яковлевна Ракова, которые здравствуют и поныне и живут все там же, над речкой Пажей.

Анна Харитоновна была подлинной хозяйкой стола. Самые разные грибочки, пироги да варенья украшали стол, только не было на нем ничего редкого, магазинного. Руки у Анны Харитоновны были добрые, округлые, те самые руки, которые вспоминаются каждому из нас, ведь у каждого в жизни, хоть ненадолго, была своя Анна Харитоновна.

— Анна Харитоновна прекрасно плакать умеет, — вполголоса рассказывал мне Борис Викторович. — Вот о моем покойном брате плакала… Сейчас-то уж у нее сил нет…

В этот вечер Анна Харитоновна плакать не собиралась, она сияла, и хлопотала, меня закормила пирогами и студнями, и сил у нее много было, я это видел и радовался.

— Спели бы, что ли, — попросил я.

— Да не знаю — что? — засомневалась Анна Харитоновна. Лицо у нее было удивительно доброе и будто вытесано, прошу прощенья, топором.

— У Анны Харитоновны сейчас не поймешь и

какой голос, — заметила Лариса Викторовна, — то ли «бас профундо», то ли «меццо кухаркино».

— У нас девушки такими голосами поют: высоко-высоко, до неба доходит.

— Наших девок, — горделиво сказал Борис Викторович, — никому не перевизжать.

Анна Харитоновна запела «Меж высоких хлебов затерялось…», и соседки подхватили, только мы с Борисом Викторовичем слушали. Начались и другие песни, мне неизвестные, пела одна Анна Харитоновна. К глубокому сожалению, я не записал ни слова, все внимание мое было с Борисом Викторовичем. Так хорошо было сидеть рядом с ним.

Иногда он наклонялся ко мне, шептал на ухо:

— Мало кто остался, кроме семьи Барыкиных, кто помнит старину… Фольклористы прозевали Подмосковье. Сколько здесь было интересного. И очень много общего с северным…

Стали просить и Бориса Викторовича спеть былину. В шутку предложил подыграть на гитаре. Посмеялись, уж очень несовместимы казались Борис Шергин и современная гитара.

— Под гитару можно частушки петь зубоскальные, — сказал Борис Викторович, — а былину?.. В недавние времена был такой певец — Северский.

Это был модный человек — вельветовая рубашка, брючки, такой модный джентльмен. У него были очень неуклюжие гусли на коленях. Он говорил, что невозможно, как северные сказители, сидеть идолом и дудеть в одну дуду. И вот он очень изящно, со сделанным маникюром, начинал: «Не сырой-то дуб к земле клонится…» Одной рукой аккомпанирует, а другой изображает жестами, что поет. А у нас былины пелись всегда без аккомпанемента. Я видел только одного кареляка, который сопровождал пение игрой на кантеле. А уж тот карел, от которого записана «Калевала», пел без аккомпанемента.

Борис Викторович, помолчал, вспоминая, и запел про Авдотью-рязаночку:

Дунули буйные ветры,
Цветы на Руси увяли,
Орлы на дубах закричали,
Змеи на горах засвистели.
Деялось в стародавние годы.
Не от ветра плачет сине море,
Русская земля застонала.
Подымался царище татарский
Со своею синею ордою…

Вдруг почему-то я вспомнил о медведях.

Рассказал, как напугался однажды медведя, который «мне на ногу наступил» — отпечатал свой след на моем следу. Говорил я взволнованно, и, наверное, в рассказе моем прозвучали нотки пережитой опасности.

— Людей, чистых душой, звери не трогают, — сказал Борис Викторович. — Медведь, если человека встретит, в сторону уйдет. Медведицы бедовы. Не съест, а уж выпугат. Вот знакомая моя, Соломонида Ивановна, пошла по чернику. Вычесывает ягоду гребнем, глядь — медведица! И два медвежонка. Идет на Соломониду с распахнутыми лапами. А спички были! Прижалась Соломонида к березе старой, дерет кору, подожжет — в медведицу бросит. А медведица мох роет. Нароет моху — бросает в Соломониду, всю ее мохом залепила. Долго так бросали-то, после уж разошлись, когда спички кончились.

Борис Викторович тут засмеялся, а я записал рассказ на листочке, не зная, что это фрагмент из его вещи «Соломонида Золотоволосая». Моя запись отличается от принятой. Да у Шергина всегда бывают варианты.

С медвежьей темы в тот вечер мы долго не могли слезть, и Борис Викторович много расска-

зывал. Это не был такой правильный, связный рассказ. Он вдруг вспоминал что-то, оттуда брал, отсюда черпал…

— А вот Борис Иванович Ерохин спал в обнимку с белым медведем. «Есть, — говорит, — у меня медведь. Мы с ним спим в охапку».

Борис Викторович засмеялся. Кажется, его смешило это «в охапку», и он повторил:

— «Я с ним, — говорит, — в море хожу да сплю с ним в охапку!» Все-то они с медведями, что Сергий Радонежский, что Серафим Саровский… А волков нет у нас на Севере… Покровителем волков считается великомученик Егорий. Что у волка в зубах, то Егорий дал…

Про медведя, что мне «на ногу наступил», я думал написать охотничий рассказ и сказал об этом Шергину.

— У нас не говорят: охотник, — заметил Борис Викторович. — Охотник — это по гостям ходить или еще до чего. У нас говорят: промышленник, промышлять… А ведь надо написать про того медведя. Слово — ветр, а письмо-то — век.

Я думал, что мы кончили о медведях, но Борис Викторович сделал мне все-таки еще один подарок. Не знаю, что он вспомнил, да сказал вдруг задумчиво:

— А у нас у старосты в бороде медведь зиму спал…

Прощаться с Борисом Викторовичем никогда не хотелось. Да была уже полночь, и гости разошлись. Надо было спешить на поздний поезд.

— Покурим последнюю, — сказал Борис Викторович, и мы снова пошли в «кабинет».

Он курил всегда папиросы «Север», а недокуренные бычки клал на пенек. Это был такой серебряный пенек-пепельница.

— Будто в северном лесу под Архангельском, — подшучивал он над своим курением. — Папиросы «Север», пенек…

Тут я рассказал, что встретил в Москве человека, который составлял для издательства сборник автобиографий советских писателей. Готовился уже третий том таких автобиографий. Не худо бы, толковал я, и Шергину попасть в этот том.

— Третий том? — иронично размышлял Борис Викторович. — Я уж, наверно, в четвертый или в пятый. Нет, не стану писать. Кому это нужно?

Я твердо сказал, что нужно многим, и мне в частности. Писать для него в то время было делом не совсем простым. Сам писать не мог, диктовал сестре. Раньше-то бывало не так.

— А как бывало? Бывало, пол мету, веник в

сторону — и пишу! Ладно, не для третьего тома, для вас напишу. Вдруг и сгодится.

Мы распрощались, а недели через две я снова поехал в Хотьково. Никак уж я не ждал, но Борис Викторович передал мне пять рукописных страничек, записанных рукою Ларисы Викторовны. К моему изумлению и счастью, на каждой странице в левом верхнем углу было написано: «Для Юры Коваля», посредине, тоже на каждой странице, заголовок «Б. Шергин» и на каждой же странице в правом углу дата: «3.1.70 г.»

Рукопись эта хранится сейчас у меня. Она действительно не попала пока ни в третий том, ни в пятый. Вот ее текст.

«Богатство северорусской речи известно. Не только беседная речь, но и домашний обыденный разговор изобилует оригинальностью речевых оборотов. Бесконечно богат и речевой словарь, при этом чисто русский. Но уважали книги с содержанием героическим. Юмористических книг и журналов не читали.

Однажды я дал старику, моему дяде, комплект юмористического журнала „Будильник“. Он вернул мне журнал со словами: „Что же отсюда можно вынести?“

В Архангельске почти в каждом доме была и

русская классическая литература. Но романы русские и западноевропейские пересказывались богатейшей северорусской речью.

Северные люди — мореходцы, много видевшие и слышавшие, не имели обычая записывать свои приключения. Интереснейшие свои встречи и приключения излагали они зимою в семейном кругу.

Я, Б. Шергин, напечатал свой первый рассказ в одной из архангельских газет, когда мне было девятнадцать лет. Но мастерство устного рассказывания, по силам моим, я воспринял много раньше.

Первым моим серьезным рассказом я считаю легенду „Любовь сильнее смерти“, напечатанную в 1919 году.

Здесь надобно подчеркнуть, что с детских лет меня прельщали кисти и краски. Я расписывал двери, шкафы, сундуки, посуду. Поэтому, приехав в Москву, я был зачислен в ученики московского Строгановского художественно-промышленного училища. Это был важный этап в моей жизни.

Но как раз в это же время Москва и Петроград переживали увлечение русским народным словом. Усвоенный мною с детства северный фольклор оказался как нельзя более кстати. Я

выступал в вузах, средних школах, собраниях художников. Наиболее культурная аудитория особенно оценила исполнение былин в их подлинном звучании. Учащиеся особенно любили рассказы с интересной отчетливой фабулой. Младший возраст любил сказки и прибаутки.

В 1924 году издан был в Москве сборник былин с моими иллюстрациями под названием „У Архангельского города, у корабельного пристанища“.

В 1936 году выходят „Архангельские новеллы“ (М.: „Советский писатель“) — сборник новелл и сказок, бытовавших на Севере, слышанных от бывалых людей.

В 1939 году вышла книга „У песенных рек“ с моими рассказами-новеллами. Половину материала этой книги представляют собою мысли, афоризмы, суждения народные о замечательных людях и деяниях нашего времени.

В 1947 году вышла книга „Поморщина-корабельщина“ (М.: „Советский писатель“) — это также запись устных моих рассказов о Севере.

Отдельные сказки, рассказы, новеллы печатались в „Литературной газете“, „Известиях“, „Ленинградской правде“, в газетах, издаваемых в Архангельске, в журналах „30 дней“, „Октябрь“, „Смена“, „Пионер“, „Вокруг света“, „Нева“, „Кол-

хозник“.

В этом цикле А. М. Горький считал лучшим сказ „Рождение корабля“.

В 1957 году Детгиз издал большую книгу „Поморские были и сказания“, оформленную В. А. Фаворским[183].

…И в устных моих рассказах, и в книгах моих сохраняю я особенности северной речи, и слушатели и читатели мои ценили и ценят этот мой стиль.

В богатстве русского языка можно убедиться, не только слушая живую речь.

Приведу такой факт: из Соловков привезены были сундуки с церковными облачениями. На одном из сундуков была позднейшая наклейка „Белые одежды“. На первый взгляд все одежды были белые. Но был к сундукам приложен старый инвентарь, и у составителя, человека XVIII века, вкус и взгляд были более тонкие и острые, чем у нас. Наше поверхностное понятие „белый“ он заменяет словами: цвет сахарный, цвет бумажный, цвет водяной, цвет облакитный (облачный). Мы бы сказали — муаровый.

На другом сундуке тоже новейшая наклейка

---

[183] Notes: 183

Опускаю несколько строк, в которых Борис Викторович называет ряд своих изданий, да не помнит дат. *–Ю. К.*

„Красный цвет“. Но старинный составитель инвентаря вместо слова „красный“ употребляет слова: цвет жаркий (алый), цвет брусничный, цвет румяный.

Таково же определение тонов желто-зеленых: цвет светло-соломенный, цвет травяной, цвет светло-осиновый.

Слово „красный“ употреблялось в смысле красивый. Народ и сейчас говорит: красная девица, Красная площадь».

На этом текст автобиографии прерывался. Или оканчивался? Шергин был мастером финала, а тут, мне казалось, финала нет, и я высказался в этом роде.

— Какой будет финал — это ясно, — печально пошутил Борис Викторович. — Да что еще говорить? Хватит…

Мне стало неловко. Действительно, что же еще было говорить? Что, мол, еще жив, ослеп, почти забыт, почти не печатают?

— Хорошо и необычно, что в автобиографии много о русском языке.

— Биография писателя — его отношение к слову, — подтвердил Борис Викторович. — Остальное — факты жизни. Первая моя книжка «У Архангельского города, у корабельного пристанища»

— это ведь запись устного репертуара моей матери… Анна Ивановна Шергина, хранительница слова… Мать умерла в том году, когда вышла книжка…

О матери своей и об отце в беседах наших Борис Викторович вспоминал часто, видно было, что никогда с ними в душе не расставался.

— Мой отец был и кораблестроителем и мореходцем. Его посылали в ответственные плавания и на Новую Землю, и дальше. Он сорок пять лет ходил в море. Он всегда носил с собой записную книжку и заносил туда что увидел. Вот откуда я знаю берега Белого моря.

В рассказе «Поклон сына отцу» Шергин писал про отца: «Зимой в свободный час он мастерил модели фрегатов, бригов, шхун. Сделает корпус как есть по-корабельному — и мачты, и реи, и паруса, и якоря, и весь такелаж. Бывало, мать только руками всплеснет, когда он на паруса хорошую салфетку изрежет».

На той модели, с которой Борис Викторович никогда не расставался, которая всегда висела над его головой в квартире на Рождественском, парусов уже не было, потерялись остатки изрезанной салфетки. Наверно, они особенно украшали корабль, но и без них видна была подлинность

пропорций, красота работы. Отчего-то ясно было, что модель построена той самой рукой, которая создавала поморские корабли и ладьи.

Рядом с кораблем висела на стене окантованная в рамочку фотография, для него чрезвычайно дорогая. На ней он сфотографирован вместе с Марьей Дмитриевной Кривополеновой.

— Марья Дмитриевна — вот уж была артистка! В Москву ее привезла Озаровская — громадный знаток северного устного творчества. Нашла ее в верховьях Пинеги и привезла в Москву. И эта старуха, которая всю жизнь провела в дремучих лесах Пинеги, ничуть не растерялась перед многотысячной аудиторией и прекрасно говорила. Дети, старшеклассники, студенты слушали ее затаив дыхание — настолько она была артистична. Дикция изумительная. А ей было тогда семьдесят два года. Ее репертуар — древний северный эпос.

Я с нею тоже раз выступал, но неудачно, потому что мелодии у нас не совпадали. Один был сюжет, а напев другой. И я со стыдом слез с эстрады. Мы с нею не спелись.

У Марфы Семеновны Крюковой такого таланта не было, а память колоссальная. Фольклористы всегда ее одолевали. Она была очень интересный, по-своему одаренный человек, но вот писатели

ее не оценили. Говорили, что такая память, какой она обладала, — патологический случай.

В большой коммунальной квартире на Рождественском бульваре у Бориса Викторовича были две комнаты: темная прихожая-столовая и вторая, посветлее, — кабинет в два окна. В прихожей висели четыре картины, которые поначалу трудно было рассмотреть.

Это были филенки шкафа, расписанные Шергиным. Расписывал-то он, конечно, цельный шкаф, да когда переезжал с Мало-Успенского переулка на Рождественский бульвар, шкаф не сумели вытащить на улицу, взяли с собой только филенки.

К тому моменту, когда я подружился с Борисом Викторовичем, филенки были уже сильно замыты. Кто-то, не знаю, сестра или племянник, когда-то постарались промыть их от пыли да смыли часть живописи. Надо было им прочесть вовремя у Шергина «Устюжского мещанина Василия Феоктистова Вопиящина краткое жизнеописание»: «Но молодые бабы суть лютой враг писаной утвари. Они где увидят живописный стол, сундук или ставень, тотчас набрасываются с кипящим щелоком, с железной мочалкой, с дресвой, с песком. И драят наше письмо лютее, нежели матрос пароходную палубу. Но любее нам

толковать о художествах, а не о молодых бабах».

Единым взмахом кисти, смело, артистично были написаны эти волшебные филенки. На одной изображен был корабль под парусами, плывущий в волнах и в цветах. Матросы в красных кафтанах, румяные да усатые, браво глядели вдаль, правили «в голомя», в открытое море. А на другой филенке — любезная парочка, франт и франтиха, окруженные дивными цветами. Он — в шляпе, в зеленом сюртуке и в парике времен Моцарта протягивает ей запечатанный конверт с любовным посланием. Она — в розовом платье, на плечах какие-то сногсшибательные пуфы вроде фонарей и юбка, возможно а-ля помпадур.

Понимаю, что пересказ живописного сюжета не великая похвала картине, смею, однако, сказать, что Борис Викторович живописец был настоящий. В его росписях видна драгоценная школа народной северной русской живописи.

Филенок было четыре, я описал две. Эти две хранятся сейчас у меня. Хочу сказать здесь, что готов передать эти филенки в любой музей, который не станет держать их в подвалах, а покажет зрителю. Лучше бы всего в музей Шергина, все равно где — в Москве, в Архангельске или в Хотькове.

Конечно, Борис Викторович расписывал не

только шкафы, печи, прялки, блюда, ложки, туеса. Писал он изредка иконы, как правило, в подарок дорогим друзьям. Одна из таких икон — «Новгородские чудотворцы» — хранится сейчас в собрании художника Иллариона Голицына.

Нынешние художники-профессионалы, как правило, к «писательской живописи» относятся снисходительно, считают нас, грешных, «малярешками самыми немудрыми». А вот ведь, друзья, Борис-то Викторович Шергин не только кистью владел, а и технику живописи знал так глубоко, как и сейчас не каждому ведомо. Надеюсь, кому-то из художников попадут в руки эти записки. Им любопытно будет прочесть такой рецепт приготовления доски под живопись яичной темперой, взятый из того же «Вопиящина»: «У стоящей работы сухое дерево проклеивали клеем, который выварен из кожаных обрезков. Как высохнет, всякую ямуринку загладим. Тогда холщовую настилку, вымочив в клею, притираем на выдающие места, где быть живописи.

Паволока пущай сохнет, а я творю левкас: ситом сеянной мел бью мутовкой в теплой и крепкой тресковой ухе, чтобы было как сметана. Тем составом выкроешь паволоку, просушивая дважды, чтобы ногтя в два толщины. И по просухе лощить

зубом звериным, чтобы выказало, как скорлупка у яйца. Тогда и письмо. Тут и рисованье, тут и любованье. Тут другой кто не тронь, не вороши, у которого руки нехороши…»

Борис Викторович не однажды читал нам «Жизнеописание Вопиящина», читал строго и назидательно, но в некоторых местах мы умирали от смеха. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать отрывок для тех, у кого нет книги Шергина:

«Самозваный художник, а по существу малярешко самое немудрое, Варнава Гущин не однажды костил Иону Неупокоева в консистории, якобы пьянственную личность. Но мастер призванный, а не самозваный, Иона, когда ему доверено поновить художество предков, с негодованием отвергал, даже ежели бы поднесли ему кубок искрометной мальвазии, не то что простого. Но даже и принявши с простуды чашки две-три и не могши держаться на подвязях, Иона все же не валялся и не спал, но, нетвердо стоя на ногах, тем не менее твердою рукою пробеливал сильные места нижнего яруса; причем нередко рыдал, до глубины души переживая воображенные кистью события».

Борис Викторович работал и как художник

книги. «У Архангельского города, у корабельного пристанища» и «Архангельские новеллы» вышли в свет с его иллюстрациями. Первой книги я так и не достал, а вторая мне кажется замечательным памятником русского искусства. Борис Викторович сделал здесь суперобложку, переплет, форзац и двадцать четыре иллюстрации. На обложке сильными синими линиями условно нарисована река с надписью: «Северна Двина», а по ней корабли плывут со спинки на обложку, на титуле купидон трубит в трумпетку, бежит прямо на зрителя. Купидон нарисован кистью, тушью, в сложнейшем ракурсе. Иллюстрации Борис Викторовича в этой книге напоминают работы Н. Тырсы, Н. Кузьмина.

Знание живописи, истинная любовь к художеству светится во многих рассказах Шергина. Меня же, признаюсь, по молодости бесконечно веселило, как Борис Викторович переделывает названия красок: «кобель синий» или «нутро маринино». Художники догадаются, что это кобальт и ультрамарин. А еще у него были не только белила, но и «желтила».

Борис Викторович знал, что я всерьез занимаюсь живописью. Бывало, что я жаловался: дескать, меня ругают, зачем я разбрасываюсь

— или уж пиши, или рисуй.

— Что уж дураков-то слушать? — успокаивал меня Шергин. — Мне бы сейчас в руки кисть… Как душа просит. Живопись — это как еда, питье, нет, это — жизнь живая…

«А дни, как гуси, пролетали».

Он очень любил эту фразу. Во многих, многих его рассказах снова встречаемся мы с ней — и тронет душу печаль, которую Борис Викторович называл «весельем сердечным».

Был однажды день. Осенний, сентябрьский.

Солнце пронизало редеющую листву. Легко опускались на бульвар листья, и долго, как в путешествие, шли мы с Борисом Викторовичем к лавочке. Наметили третью, да не добрались, сели передохнуть на вторую.

Борис Викторович всегда-то был светлый, а в этот день, наверное, светлейший.

— Скоро гуси полетят, — говорил он, — с гусиной земли, а уж мне-то — на гусиную землю.

Я засмеялся, стараясь не понять, что такое гусиная земля, сказал, что это он в мечтаниях полетит на родной Север. А он называл землю, где покоятся души поморов.

Он совсем уже ничего не видел, кроме света, и я рассказывал, что происходит вокруг.

— Это с дерева лист упал. Это дама с бульдогом. Взаимно очень схожи.

Борис Викторович смеялся моим незамысловатым шуткам, попросил подать ему опавший лист и долго держал его, сухонького, в руках.

Он часто доставал папироску, да не позволял подносить спичку, прикуривал сам. Тогда глаза его необыкновенно оживали, устремлялись к точечному огоньку, и медленно приближал он огонек к лицу своему.

— Я вас никогда не видел, — сказал он.

Я наклонился, и Борис Викторович легко коснулся перстами моего лба и щек.

— Малые корабли строились без единого гвоздя, — рассказывал он. — Они были шиты корнями березы или вереска и были очень крепки. Тишина, белые ночи, когда что полдень, что полночь. Безмолвие. Паруса ветерок надувает, и судно тихонько бежит вдоль берега… А дни, как гуси, пролетают.

В те пролетевшие дни я подготовил для издательства «Детская литература» книжку под названием «Чистый Дор». Название Борису Викторовичу нравилось.

— Только надо шутников опасаться, — посмеивался он. — Скажут еще, что все написанное

— чистый вздор!

Некоторые короткие рассказы я читал Борису Викторовичу. Он слушал ласково, смеялся, никогда не делал никаких замечаний. Иногда глаза его делались не такими внимательными, и я это место в рассказе подчеркивал и спрашивал потом:

— Здесь переделать?

— Укатать.

Он редко говорил «обкатываю» про свои рассказы. Он их «укатывал» на слушателе, или «улаживал».

— Мне кажется, в море литературы, — говорил он, — как и в море вообще, текут реки. Много чистых родников и много мутных потоков. В Архангельске, где я родился, провел молодость, юность, живо было устное народное творчество. Кругом там пели еще былины и рассказывали сказы, предания. В молодости я при случае где-нибудь в знакомой семье пел былины, передавал так, как сам слышал. Но вообще молодые не пели былины, это считалось делом стариков. Мы рассказывали сказки. Говорят, что в детстве усвоил, то остается на всю жизнь. А я усвоил в детстве подлинное былинное звучание, сказы северные, подлинные. Вот так в самом начале я передавал услышанное от старшего поколения

устное слово…

Борис Викторович, конечно, знал, что я иногда записываю наши разговоры. Он относился к этому одобрительно, считал, что и они в Архангельске, в детстве, так относились к рассказам своих стариков. Речь его старался я записывать дословно, точно, даже с повторами. Он помогал в этом, замолкал, задумывался.

Ему было очень одиноко в последние годы, он радовался любому гостю, слушателю. И все-таки, беседуя со мной — сейчас я понимаю, — он все говорил не просто так, он меня немного зачем-то воспитывал.

— Сколько писателей — столько рассказов. Если уж писатель пожелает что-то отписать — обязательно отпишет и скажет: взято из жизни. А ведь не разберешься: искренне это или нет? Как же разобраться? Выдает неверное слово.

Журналисты, полагаю, должны уж честно брать сюжет из жизни. Да где они, такие журналисты? А так — откуда взят сюжет? Что-то прочитано, что-то учтено. Вот мы пустим анкету. Пускай писатели скажут, что такое сюжет. Обязательно спутают с фабулой. Писатели всегда путают сюжет с фабулой. Думают, это одно и то же.

— Я тоже путаю, — признался я.

— А вы про это вообще не думайте.

О том, как сам он работает и работал, говорили много, часто, подробно. Из моих записей вполне можно составить рассказ, который надо считать устным, а назвать можно:

РАССКАЗ О РАССКАЗАХ

Лет двадцать пять назад я стал интересоваться рассказчиком, личностью рассказчика. Люди попадались очень интересные, но немного хороших рассказчиков на моем пути встречалось, всего несколько десятков человек.

Большинство моих рассказов — и устных, и печатных — идут от первого лица — «я». Но это не я, Борис Шергин, это — и молодой моряк, и портниха архангельская, и старуха, которую немцы заставили копать себе могилу. В большинстве случаев я передаю рассказ, слышанный мною от какого-то человека.

Я запоминаю тему рассказа, а потом сам с собою наедине начинаю вспоминать услышанное вслух, а когда улягусь спать, вспоминаю на память, чтобы не забыть сюжет. Стараюсь встретиться с рассказчиком и в другой раз, а если не удается, я по памяти изображаю этого человека, изображаю словом.

Вначале рассказ получается эскизно, сыровато, а потом уже начинается обработка. Я только тогда выношу вещь к слушателям, когда она зазвучит свободно, импровизировать считаю недопустимым. Рассказ должен быть художественным, должен быть готов в интонациях.

Вот рассказ «Митина любовь». В нем молодой человек говорит о своей любви. Кстати, звали его Дмитрий Иванович Селютин, он жил в пригороде Архангельска и был бригадиром на кораблестроительной верфи. Я слышал его рассказ целиком всего один раз. Он рассказывал подробно, искренне, тихо повествовал свою историю. Я запомнил этого очень скромного молодого человека.

«Ты сам-то прекрасный, — говорила ему старуха-гадалка. — Только ума-то у тебя нет, а ты, как тетеря лесная, не понимаешь…»

У него в лице была детская простота, но рассказывал он страстно:

«У меня годов до двадцати пяти к дамам настоящего раденья не было…»

Не знаю, жив ли Селютин или нет, я его тридцать лет не видел.

Никто, конечно, не станет в большой аудитории говорить о своей любви. Мне же потом

приходилось в более помпезной обстановке рассказывать, да ничего не поделаешь.

Очень много лет я свои рассказы носил только устно. Когда рассказ у меня укатывался, улаживался, я выносил его на сцену — школьную или клубную, — и он продолжал совершенствоваться. Я тогда его пускал в печать, когда он оказывался обкатанным и уложенным. Записывал не сразу. Большие-то повести я не писал, тем более романы.

Конечно, не каждый рассказ вводил я в свой репертуар и в литературу. У меня многое осталось нереализованным. Иногда я пытался сделать рассказ, но малое знакомство с рассказчиком не давало такой возможности.

Я всегда старался колоритной северной речью одеть сюжет. Тут мне один написал, что героя нельзя передавать языком поморов. А у меня как раз самым искренним стремлением было именно этим языком донести рассказ до слушателя.

Вот «Мимолетное виденье» — рассказ портнихи. Я слышал эту историю от нашей родственницы несколько раз. Звали ее Мария Ивановна Зенкович. Муж ее был польский помещик, высланный в Архангельск, служил чиновником особых поручений при губернаторе. Мария Ива-

новна, портниха, была модная архангельская дама, я записал ее рассказ, стараясь изобразить речь архангельских обывателей: «Корытину Хионью Егоровну, наверно, знали? Горлопаниха, на пристани пасть дерет — по всему Архангельскому городу слышно. И дом ее небось помните: двоепередный, крашеный? Дак от Хионьи Егоровны через дорогу и наша с сестрицей скромная обитель — модная мастерская...» Мне кажется, я точно передаю ее речь. Может, это не так, да переспросить уже не у кого.

«Простодушно беседуя с заказчицей, расставляю я свои коварные сети насчет новоприезжей особы, что-де умна и прекрасна, как мечта, и на двунадесяти языках воет и говорит. А Федька, молодой-то Маляхин, ужасти какой был бабеляр. Закатался, будто кот, на бархатных-то диванах.

— Папенька, какой сюрприз для нашей фирмы! При наших связях с заграницей!..

А папенька, медведь такой:

— Хм... Какая-нибудь на велисапеде приехала».

Мария Ивановна говорила с некоторым жеманством, и надо было передать это в слове. Тут помогли мне особенности портновского разговора: «У моей сестрицы новой выдумки нарядное фуро, у меня прозаический чепец а-ля

Фигаро, а Катя всегда комильфо и бьен ганте...» Рядом с этим сильно звучали простецкие речи: «Настенька-голубушка! Назвала бы ты нас суками да своднями. Через нас твой благоверный в рассужденьи Катерины изумился».

Северные рассказчики не «играют», они преподносят рассказ без жестов, одной только модуляцией речи и трагические и лирические места передают.

Предлагаю еще три устных рассказа Борис Викторовича, записанных и скомпонованных мною в разное время.

БЫЛИНА В МОСКВЕ

Моим постоянным вдохновителем был великий мастер — Владимир Андреевич Фаворский. Он любил классику, древние языки. Больше всего он любил былины.

А публика больше всего любила сюжетные живые рассказы, потому что в современной обстановке былины рассказывать очень трудно. Их пели на кораблях, когда шло спокойное плаванье, или в долгие северные вечера, когда торопиться некуда... Зима, моряки дома, по стенам — модели кораблей, древние иконы. Так и три часа можно

рассказывать. Северные сказители целый вечер могли говорить, когда в домах собирались люди, например на Святках. В Рождественский пост веселых рассказов не было, только былины. На Севере тысячелетние былинные напевы звучали всегда к месту.

Теперь я часто ощущаю, что обстановка мешает. В московский быт былина не влезает. Обстановка и темпы столичной жизни не дают петь долгое, медленное, давнее:

Заводилась непогода у синя моря,
Доносило непогоду до святой Руси.
На святой Руси, в каменной Москве,
В каменной Москве, в Кремле-городе
У царя у Ивана у Васильевича
Было пированье, почестей стол.
Все на пиру пьяны-веселы,
Все на пиру стали хвастати.
Прирасхвастался Иван Грозный царь:
– Я взял Казань, взял и Астрахань.
Я повывел измену изо Пскова,
Я повывел измену из Новагорода,
Я повыведу измену из каменной Моск-

вы!

Тут бы и слушать, что дальше-то будет, а некогда вслушиваться москвичам-горожанам, им бежать надо. Фаворский же был классик, он любил былины. В этом месте он особенно оживал, и хоть слушал меня много раз, а все переживал заново.

И все палачи приустрашились,
И все палачи приужаснулись!..
Один Малюта не ужаснулся,
Один Скуратов не устрашился.
Хватал царевича за белы руки,
Поволок его за Москву-реку,
На то на Болото на Торговое.
Кладет его на плаху на дубовую,
Ладит сечь буйну голову.

В подмосковных деревнях в десять часов уже темно, и тут поневоле собираются женщины и что-нибудь рассказывают. Теперь в моде уголовная хроника. И литература детективная нарасхват. Потом, конечно, ее бросают, ибо она не дает ни уму ни сердцу. Здесь, в Подмосковье, былину слушают хорошо.

Вот что интересно! Под Москвой есть деревни, где говорят на «о»! В Хотькове, я знаю, живет одна старуха лет восьмидесяти, говорит, как на родине, на «о».

Московская речь — образец речи русской, это прекрасная речь.

РЕЧЬ МОСКОВСКА

У нас на Севере над москвичами подшучивали:

Была-то в Москве,
Шла по доске.
Доска-то – хресь!
Я лицом-то в грезь!

И вот изображали тех, кто в Москве побывал, и старались говорить по-московски: «Речь московска, походка господска…» Вот вы говорите: Ванька добрый. Москвичи скажут: Ванька добрай. А северяне скажут: Ванька доброй.

В типографиях, когда печатали мои книги, затруднялись все это передать, еще и не хватало знаков с ударениями. И все печатается без ударения, и все, конечно, страшно врут. Помните, как Мартынко из сказки поел «рогатых яблоков»? Не-

легко это печатно передать, так, чтобы прочесть правильно:

«Сорвал пару и съел. И заболела голова. За лоб схватился, под рукой два волдыря. И поднялись от этих волдырей два рога самосильных.

Вот дак приужахнулся бедной парень! Скакал, скакал, обломить рогов не может. Дале заплакал:

— Что на меня за беды, что за напасти! Та шкура разорила, пристрамила, разболокла, яблоком объелся, рога явились, как у вепря дикого. О, задавиться ле утопиться?! Разве я кому надоел? Уйду от вас навеки, буду жить лучче с хичными хехенами и со львами».

Вот есть такой Омский северный русский народный государственный хор. Очень колоритно пели, по-омски. Раньше ими везде интересовались, а теперь их всюду гонят. «Спим, — говорят, — только в вагонах, сидя. Слушают только веселенькое, а как запоем северную классику, кричат: «Веселенькое что-нибудь!»

И приходится им разменяться.

Я уж не знаю, кто тут виноват, да только стали им речь выправлять. Верно, в Министерстве культуры это указывают. Кое-кому из хористок это стало нравиться. Не хочется нынешним дамам древними бабками слыть, стали петь на «а».

Лет двадцать назад приходили ко мне многие артисты-рассказчики, Лекционное бюро посылало их сеанса на два учиться северной речи. Ну, за два-то сеанса я их выучивал, за один бы ни в жисть не выучить. Так-то.

СТАРИНА О ВАРЛАМИИ КЕРЕТСКОМ

В дни юности слышал я от отца поморскую балладу — мы говорили: стари'ну — о Варламии Керетском:

– Иерею Варламие,
Где твоя молодая жена?
– Она ушла в гости к татеньке,
Ко родителю-маменьке.
– Нет, иерею Варламие,
Твоя жена за гульбой ушла:
Ночью в город Фарлаф на лодье прибежал.
По твою госпожу в божью церковь послал.
Она, боса и пьяна,
С корабельщики целуется,
Со фарлафами валяется…

Всех стихов не помнили уже ни мать, ни отец, забытое пересказывали простой речью. О том, как поп Варламий убил свою молодую жену, занес гроб-колоду на варяжский корабль, перебил варяжскую дружину, открыл паруса, ушел на лодье в море…

И вот приехал ко мне Владимир Иванович Воронин — знаменитый северный капитан. Он знал свой вариант этой стари'ны. Он прочитал его мне и сказал, что всю жизнь собирался записать, скомпоновать свой вариант, я-то и не стал записывать. Вот беда. Что я не записал? Капитан Воронин с острова Диксона не вернулся. Там он умер. Доблестный был герой-полярник. Он вел на буксире баржу. Взял канат, которым была прикреплена баржа, намотал себе на руку и надорвался. Удивительный был человек, артист, рассказчик, каких не бывало. Он любую сценку так умел изобразить в лицах. Теперь и не знаю, кто скажет полную старину о Варламии Керетском…

С Маршаком мы спорили, он говорил, что в России не было баллады, дескать, только в Шотландии. А вот ведь попу Варламию во искупление греха определено было вечно плавать во льдах:

Не устал Варламий

У руля сидеть,
Не уснул Варламий
На жену глядеть,
Не умолк Варламий
Колыбельну петь:
– Спи, жена иереева,
Спи, краса несказанная!..

У Бориса Викторовича в комнате висел на стене небольшой этюд, писанный маслом: берег Белого моря. Этюд скромный, в серых и охристых тонах.

— Степан мне подарил, — пояснял Борис Викторович. — Он ведь кончил Академию святого Луки в Париже. Мастер. Живописец. А художников не любил. «Я, — говорит, — пейзажист, а вы-то кто такие?»

О Степане Григорьевиче Писахове — необыкновенном нашем сказочнике, истинной жемчужине русской литературы, — Борис Викторович говорил всегда ласково, с большой любовью, но вспоминал о нем с улыбкой. Шергина смешила эта писаховская фраза: «Я — пейзажист, а вы-то кто такие?»

— И действительно, кто они такие? — продолжал Борис Викторович. — Иногда и не поймешь. А Степан Григорьевич — живая душа Архангельска.

Знал о нашем городе всю подноготную, каждый дом. Живая душа Архангельска — так о нем я думал всегда. Сейчас про Степана да и про меня говорят: говор, говор, северный говор. Мысль живая, живая душа дороже всякого говора…

Не так давно мне попалась в руки книга Степана Писахова «Сказки, очерки, письма», изданная в Архангельске в 1985 году. Приятно было прочесть в его письмах ответные отклики Борису Викторовичу: «…староверы за разрешением спорного места в писании обращаются к Шергину. Борис, прекрасно разбирающийся в древних писаниях и составивший сборник из житий святых острее Декамерона, делает подобающую рожу и разъясняет».

— Очень талантливый собеседник, — рассказывал о Писахове Шергин. — Он застольный рассказчик был прекрасный, а с эстрады выступать не мог. У него дикция была ужасная… Вот отпустил Степан бороду и стал похож на преподобного Серафима. С ним водиться — как на крапиву садиться. Вдруг обидится, не пишет ничего, потом сразу страниц шестнадцать, не знаешь, как и прочесть… Он у меня подолгу гостил. А в Москве знал одну Садовую. Кругом Москвы по Садовой бежит!

Борис Викторович засмеялся. Его смешило, как бежит Степан Писахов вокруг Москвы по Садовому кольцу, шарахаются прохожие, развевается писаховская борода. «Я — пейзажист, а вы-то кто такие?!»

Встречаясь с Борисом Викторовичем Шергиным, подолгу дружески беседуя с ним, я всегда получал только доброе, человеческое, положительное. Он почти не жаловался на судьбу, на слепоту. Он говорил так: «Глаза стали дрейфить».

Долгое время я не знал, что у него одна нога на протезе, спросить, отчего он так трудно ходит, стеснялся. Мне было дорого то, что сижу рядом с ним, слушаю. Видеть лицо его живое, вместе смеяться — было моим счастьем, оно затмевало мне глаза, и я забывал, что жилось ему очень трудно. Денег не было. Книги издавались редко.

Здесь надо вспомнить добрым словом Владимира Викторовича Сякина, редактора издательства «Молодая гвардия». Самоотверженно прошибал он косность сухих сердец, добивался выхода книг Б. Шергина. Владимиру Викторовичу — поклон от читателей, а Борис Викторович любил Сякина, посвятил ему свой лучший рассказ — «Для увеселения».

Журналы, радио, телевидение практически позабыли Бориса Шергина.

— Радиоцентр детского вещания записывал меня два дня. Раньше я по радио рассказывал много, потом там знакомств не стало… Телевидение хотело снять меня, приходили раз… но с тех пор никто не бывал…

На литературном небосклоне вспыхивали тогда и отгорали звезды разной величины, они брали на себя все внимание бурлящего современного мира, а в самом центре Москвы кое-как сводил концы с концами Борис Шергин. Поразительно было равнодушие именитых писателей, летящих на гребне славы. Его ведь знали многие, да позабыли.

А другие, к стыду нашему, не знали, не читали и даже не слыхали этого славного имени, а если слыхали фамилию, то произносили ее неправильно (правильно — Ше́ргин).

В те дни я ничего не знал, Борис Викторович не говорил мне о своих «Дневниках». Об этом памятнике русской культуры будут еще много говорить и писать. Мне же терзают душу горькие его записи:

«…Годами забрался, летами зажился. Имени доброго не нажил, дак хотя бы „положения в све-

те“ или запасу про черный день… Ничего нет. Ни постлать, ни окутаться, и в рот положить нечего. Нет знакомого человека, у которого не взял бы в долг, и, по-видимому, без отдачи… Иной раз встречу заимодавцев своих. Что же… Без стыда рожу не износишь…»

Хорошо еще, что с ним был верный Миша — Михаил Андреевич Барыкин. Они прожили рядом очень много лет. Михаил Андреевич знал, что такое «дядя Боря». Творчество Шергина было и главным смыслом его жизни.

— Если уж я что не так, — говорил он, — то дядя Боря и за меня сделал.

Михаил Андреевич часто лежал в больнице, подолгу не бывал дома, но возвращался всегда к дяде Боре.

Борис Викторович никогда не был женат. Все отцовское чувство отдал он Мише, называл его «душевным собеседником», «племянником», хотя Миша был из дальних родственников.

Михаил Андреевич играл на контрабасе, и бросала его судьба по разным оркестрам. Так и жили они — то Миша заработает на контрабасе, а вдруг да Бориса Викторовича издадут.

Однажды Борис Викторович сказал мне:

— Была такая газета — «Культура и смерть».

Я засмеялся. Я думал, что он шутит так, чтобы повеселить меня. Разговор ушел в любимую северную сторону. Борис Викторович не стал разъяснять ничего. Он понимал, что мне нужно шергинское, а это было другое. Впрочем, я догадался, что речь идет о газете «Культура и жизнь».

И вот недавно писатель Сергей Михайлович Голицын, который знал и любил Шергина, спросил меня:

— А помните, как Борис Викторович называл газету — «Культура и смерть»? Так вы почитайте. Номер пятнадцатый от тридцатого мая сорок седьмого года.

Я прочитал. Не хочется называть автора статьи «Против опошления народного творчества». Впрочем, назову: Вик. Сидельников. Не знаю, что это — псевдоним или фамилия. Лучше бы псевдоним. Не хочу и цитировать статью, но надо:

«Книга Шергина псевдонародна. С каждой страницы ее пахнет церковным ладаном и елеем, веет какой-то старообрядческой и сектантской „философией“. Редактор книги т. Циновский и издательство отнеслись к порученному делу безответственно».

Эта ложь по тем временам была убийственна.

Не знаю я судьбы т. Циновского, не знаю даже его имени, но думаю, что сейчас самое время сказать наконец ему спасибо.

Настал для меня час подать заявление в Союз писателей. У меня уже вышло несколько книжек для детей, «норму», нужную для вступления в Союз, я выполнил.

Бориса Викторовича я считал своим духовным учителем и мечтал, конечно, получить от него рекомендацию. Но заговорить на эту тему долго не решался. Не хотелось, чтобы он думал, что мне нужно от него больше, чем он мне уже дал. Вот как неловко записал, черт подери. Ну ладно. Подъехал я к Мише с этой темой: так, мол, и так, прямо и не знаю…

Михаил Андреевич руками замахал, дескать, дядя Боря к тебе всей душой, а ты… короче, беги в магазин, а я буду котлеты жарить. Так и получил я эту чудесную рекомендацию за столом с котлетами и винегретом. Лариса Викторовна записывала, Борис Викторович диктовал, а Михаил Андреевич меня по спине хлопал.

Пораженный до глубины души тем, что оказался в рекомендации «неутомимым путешественником» и «истинным художником», я ел котлеты и думал: вот как… счастье-то наконец привалило!

Дурацкая радость и гордость распирали меня тогда, как, впрочем, и сейчас распирают. Какие еще литературные медали нужны?

Бегу по Садовому вокруг Москвы:

— Вон как Борис Шергин мне написал!

Михаил Андреевич Барыкин был мне добрым другом. Душевный он был человек. Мягкий.

Вот как-то позвонил, а голос хриплый, сиплый, как из парилки:

— Дядя Боря скучает, печалится… намек понял?

И я побежал на Рождественский. А Борис Викторович не скучал, курил папиросу, клал бычки на пенек.

— Прилетел соколом, — сказал он. — Да от Красных ворот лететь недалеко.

Михаил Андреевич накрыл стол. Объявился портвейн. Мы с Мишей выпили.

— Это Миша скучал, — смеялся Борис Викторович. — Посидеть не с кем. Я-то ему надоел.

— Ну, дядя Боря, — сипел Михаил Андреевич, — ну несправедливо… Юрий Осипыч может подумать… а это неверно, да ты и сам говорил…

Здесь, читатель, я должен сказать, что Борис Викторович в рот спиртного не брал никогда в жизни, даже не пробовал. Это пишу не для того,

что сейчас модно не пить. Это — правда. Чокнется с нами, если пристанем: «Ух, крепка, забориста», — а не выпьет. Нас, впрочем, не осуждал никогда, а в назидание читал на память из «Устьянского правильника» — рукописной книги XVIII века:

— Пьянство у доброго мастера хитрость отымает, красоту ума закоптит. А скажешь: пьянство ум веселит, — да ведь так и кнут веселит худую кобылу.

Вдруг пришел странный человек. В очочках. Его звали Роман. Он был скрипач и пианист.

— Давай, Миша, сыграем, — сказал Роман. — Мы ведь с тобой старые лабухи.

Стали строить контрабас к роялю, у соседей нашлась гитара, стали ее строить к контрабасу.

Долгий, долгий вечер играли мы втроем «Брызги шампанского», «На сопках Маньчжурии», «Грустный бэби», «О, Сан-Луи». И пели!

Борис Викторович слушал нас и смеялся и никогда не сказал, что мы играем что-то чуждое ему. Он радовался, если у нас получалось. По всем законам песенного времени и пространства Борис Шергин — последний исполнитель тысячелетних былин — должен был сказать: «У нас на Севере поют не так».

— Хорошо, — радовался он. — Как у нас на Се-

вере.

Долго сидели мы, и вечера не хватило. Прихватили ночь — все расстаться не могли…

…А дни, как гуси, пролетали.

Отпевали Бориса Викторовича в церкви Михаила Архангела. Меншикова башня. На Чистых прудах.

Из литераторов, помню, были Юрий Галкин, Владимир Глоцер, Владимир Сякин. Единственным членом Союза писателей оказался я.

Горько плачущая пожилая женщина — вдова художника Ивана Ефимова — все добивалась, есть кто из Союза писателей. Глоцер указал на меня. Не знаю, зачем он решил так меня наказать. Женщина, не видящая ничего от слез, накинулась на меня, ничего не видящего:

— Я хочу выразить свое возмущение! Умер замечательный писатель, а где ваш Союз?

Спасибо Миша вступился:

— Это друг, а не представитель.

— Голубчик, простите, — говорила Ефимова, — но так обидно, нет никаких представителей.

«Да зачем они здесь?» — думал я.

Человек в клетчатой кепке подогнал «москвича» к дверям церкви, вынул венок от Детгиза, снял кепку, внес венок в церковь, вышел обрат-

но, надел кепку, сел в машину и уехал. Это было единственное официальное явление.

Был пасмурный промозглый день. Шел мерзлый дождь. Могильщики вызывали ненависть. Речей никто не говорил, все молча прощались, глядя на дорогое, неземное теперь лицо.

«Придет день воскресения, яко светлое утро», — прочитал я на соседней могиле. Здесь лежал названый брат Бориса Викторовича Анатолий Викторович Крог. Брат пришел к брату. Кузьминское кладбище. Участок № 80.

Холодный пронзительный ветер отогнал нас от свежей могилы. Шофер автобуса торопился, грозил вот-вот уехать и бросить нас. Добрались до Рождественского, никак не могли согреться… и ночи прихватили, вспоминая о русском писателе, святом человеке.

Пролетали гуси… И Борис Викторович продолжал к нам приближаться. Все весомей, дороже становилось его слово. Каждая запись, сделанная невзначай, обретала новый смысл. Я перебирал порою эти записи, вдруг терял их в своих бесконечных разъездах, переворачивал все вверх дном, находил. Писать о Шергине никак не решался, все казалось, это будет второе прощание. В ненаписанном есть жизнь, ненаписанное — это

еще не пережитое окончательно. Как будто даже есть шанс снова зайти на Рождественский, услышать доброе слово.

Проходили годы, и вот я — один из самых молодых его друзей — стал одним из немногих. Уже обращаются ко мне как к знатоку, а все мое знание — преданность старшему другу.

Вот все думаю: что же произошло, почему литературные поделки времени заслоняли и заслоняют его имя, неужели «Культура и смерть»? Нет, конечно. Газета есть газета. Ударили сильно, но убийства не состоялось. Шергин остался, только русский читатель был его почти лишен. Да ведь и не только Шергина. Многие вернулись к народу, пусть и к другим поколениям. А творчество Бориса Викторовича как-то и не пропадало. Его ведь иногда печатали. Мало, но тоненькая струйка тиража текла, дотекла хотя бы до нас с вами.

Сейчас, грешник, беседую с литераторами и меряю их порой: знают Шергина, любят ли? Не обвиняю тех, кто не знает, — общая беда, а про себя неинтеллигентно думаю: «Знал бы — лучше писал бы».

В литературе, конечно, есть счет. Это все знают. Есть счет текущего времени и счет всевремен-

ного слова.

Вдруг вспомнил: заговорили как-то об аде. Шергин сказал:

— Ад — пустая душа. Душа, забывшая мать, предавшая отца. Другого ада я не понимаю, не принимаю.

— А рай? — спросил я.

— Это просто, — улыбнулся Борис Викторович. — Это — мое детство в Архангельске, живы отец и мать… Это — мы сейчас сидим вдвоем, и скоро Миша придет…

Зимой ли, осенью прохожу по Рождественскому бульвару, считаю лавочки: первая от его дома, вторая, третья. Их зачем-то передвинули — одну чуть влево, другую чуть вправо, неподвижны только два окна, заросшие пылью. После смерти Михаила Барыкина окна онемели.

Был жаркий июльский, какой-то асфальтовый день. Вдруг я вошел в подъезд. Остановился перед коричневой дверью и увидел обрезанные звонки. Видали вы? Кнопка еще торчит на косяке, а провод перерезан — звоните в небо… Я вышел вон, как-то позабыв, что существует метод стука в дверь.

Зашел и в другой раз, твердо и долго колошматил в дверь, наконец открыл ее какой-то мальчик.

Открыл дверь и отбежал в сторону. Перепуганно глядел он на меня из глубины коммунального коридора. Я не знал, что делать, и тупо спросил:

— Где мама?

— На работе, — ответил мальчик, и я вылетел из подъезда.

Зачем ходил, зачем пугал детей? Нельзя, наверное, так бездарно бродить по квартирам из чужого времени.

Читатель станет смеяться, но все-таки я зашел туда и в третий раз. И опять был асфальтовый день, и долго не открывали, но хотя бы кричали через дверь: «Кто?»

Открыла женщина, охваченная стихией стирки.

— Здесь жил писатель Борис Шергин, — сказал я. — Скажите, кто-нибудь живет сейчас в его комнате?

Она не понимала ничего, никак не могла выйти за пределы мыльной пены.

Объявился какой-то дальний жилец.

— Да ведь это Екатерина Алексеевна, — сказал он. — Идите в квартиру двенадцать.

Поднимаясь на другой этаж, я понял, что иду к вдове Михаила Андреевича.

Екатерина Алексеевна открыла мне и вдруг

меня узнала — и обо мне слыхала, и книжки мои читала. Этого я никак не ожидал.

— Где же корабль? — спросил я.

— Здесь корабль, здесь.

Сидя на кухне, я успокаивался, что корабль на месте.

Появилась ее дочь Лариса, которой я хотел было объяснить про корабль, да она оказалась аспиранткой Литинститута и защищала диплом по Степану Писахову. Вот тебе и мои знания про корабль!

Заварили и чай с травками.

— В комнаты Бориса Викторовича, — рассказывала Екатерина Алексеевна, — так никого и не поселили. До сих пор стоят там шкаф и рояль. А сейчас дом забирает какое-то министерство, вот мы и ожидаем, когда выселят.

Какое министерство? Когда заберут? Что будет с домом? На эти вопросы ответить, конечно, я пока не могу. А по Рождественскому ходить стало легче. Все-таки теперь известно, что здесь живут люди, преданные памяти Бориса Шергина, и чай они с травками пьют, и про корабль знают.

Никак не могу расстаться с этой рукописью, которая, по сути дела, давно уж кончилась.

Наверное, чтоб затянуть работу, я поехал в

Хотьково. Был август. Жаркий полдень. В речке Паже молодые люди купали большую черную собаку. Остановился с ними поболтать.

Про Шергина спрашивать их не стал, чтобы не огорчаться. Поговорили мы с минуту, и я пошел дальше.

Тропинка, ведущая на бугор, справа и слева была обсажена картошкой. Фиолетовые картофельные цветы напомнили о хотьковских колдунах, были велики, как пионы.

Я поднялся на бугор и встал прямо перед домом, в котором много лет прожил Борис Викторович. Вдруг я засомневался. Дом обнесен был высоким глухим забором, которого я не помнил. В соседнем саду под яблоней пожилая женщина мыла в тазу морковь.

— Простите, — сказал я. — Где здесь дом Анны Харитоновны?

— Да вот же он.

— А забор-то вроде не тот.

— Так ведь дом продали сразу после смерти Анны Харитоновны.

— А Бориса Викторовича вы помните?

— Ой, да как же, как же не помнить! Заходите, заходите…

Так встретился я через много лет с Надеждой

Сергеевной Козловой. И долго сидели мы под яблоней.

— Борис Викторович, он ведь одну зиму и у меня жил с братом… Все, бывало, ждал его, выйдет на бугор и жалобно так зовет: «Толя… Толя…» У меня тогда сын с Севера вернулся и пил сильно, и мы все ругали его, а Борис Викторович говорил: «Не ругайте, не ругайте его, вы не знаете, что такое Север». Борис-то Викторович уж слепенький был, вот выглянет из окна, вон его окно-то, а я в саду ли, в огороде что-то делаю, ну, как сейчас, морковь мою, Борис Викторович и скажет: «Надя, ты что делаешь?» А я скажу: «Да вот, Борис Викторович, морковь мою». А он скажет: «Надя, ты уж приходи вечером». Так всегда хорошо поговорим с ним, душевно… Не было такого человека, который бы мимо Бориса Викторовича в жизни прошел и не заметил, у всех к нему сердце лежало, это потому, что Борис Викторович святой был, его ведь и колдуны боялись. Я им и говорю: это вам не на картошку колдовать: сама-то в цвет, а в земле-то нет…

— Что ж, неужто есть еще в Хотькове колдуны?

— Да уж этого-то добра хватает… А туда вы, за забор, не ходите, там все изменилось, только вот окошечко Бориса Викторовича, посмотрю и

поплачу…

За забор в бывший дом Анны Харитоновны я не пошел. Нельзя мне туда.

Посмотрел на окошечко, пошел обратно.

Главное — «не сронить бы, не потерять веселья сердечного».

Да разве потеряешь?

1987



В бумагах старых моих и разбросанных попался мне портрет Бориса Викторовича Шергина, сделанный мною в 1966 году, в конце года — скорей

всего, в сентябре. Я только что познакомился тогда с ним, это была, пожалуй, наша вторая с ним встреча.

Вкладка


КНЯЗЬ РО·КНЯГИНИ
·МАРЬЯ
РОМАН·
МАРЬЯ

Князь Роман и княгиня Марья Юрьевна.

«У Архангельского города, у корабельного пристанища». 1924


княгиня во тереме
мати
княгиню погубила
мати
князь Михаило
князь
княгиня со младенцем

Мати кнезя Михаила его кнегину погубила.

«У Архангельского города, у корабельного пристанища». 1924


князь
манашиць
княгиня
князь

Князь, кнегиня и старицы.

«У Архангельского города, у корабельного пристанища». 1924


Норве́га.
Море
Рыбы
Архангельской город

Мать и сыновья-капитаны.

«У Архангельского города, у корабельного пристанища». 1924


снафїда
василїй
Б.
Ш.

Василий и Снафида.

«У Архангельского города, у корабельного пристанища». 1924



Копия фрески Николо-Корельского монастыря. 1913



«Сказка о дивном гудочке» (эскиз)





Иллюстрации Б. Шергина к книге С. Протопопова «Сказка о дивном гудочке для голоса и

фортепиано». 1926



Катерина Микуличка

Рис 5

Катерина Микулична (эскиз). «Архангельские новеллы». 1936



Пронька Грезной. «Архангельские новеллы». 1936



Мартынко. «Архангельские новеллы». 1936



II



IV



V



VI

Старина о госте норвежине (эскиз). «Архангельские новеллы». 1936



К сказу «Как Федосья Никитишна у Ленина была». 1930-е (?)



Эскиз обложки к сказкам о Шише Московском. 1920-е (?)



Эскиз плаката для профсоюза Всеработземлес.

1920-e



Святой Христофор

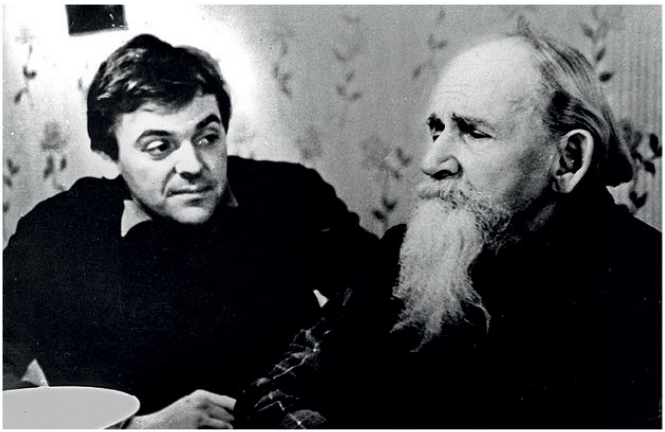


Белая ночь. 1914

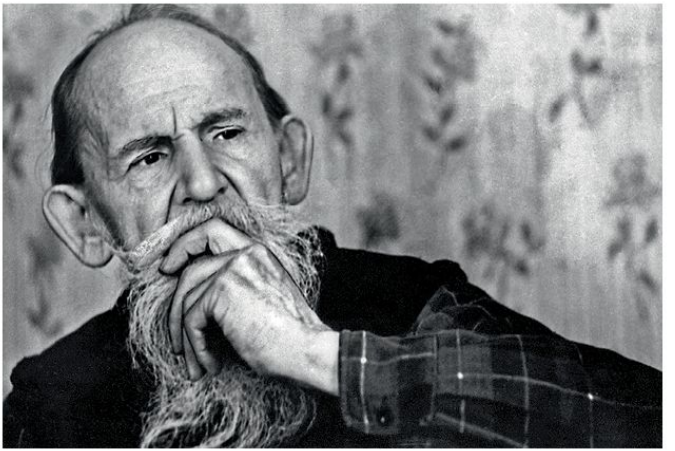


Архангельск, Соборная площадь в XVIII веке. 1910-е (?)





Б. Шергин и Ю. Коваль в Хотькове. 1966*Фото В. Ускова*



Б. Шергин в Хотькове. 1966*Фото В. Ускова*